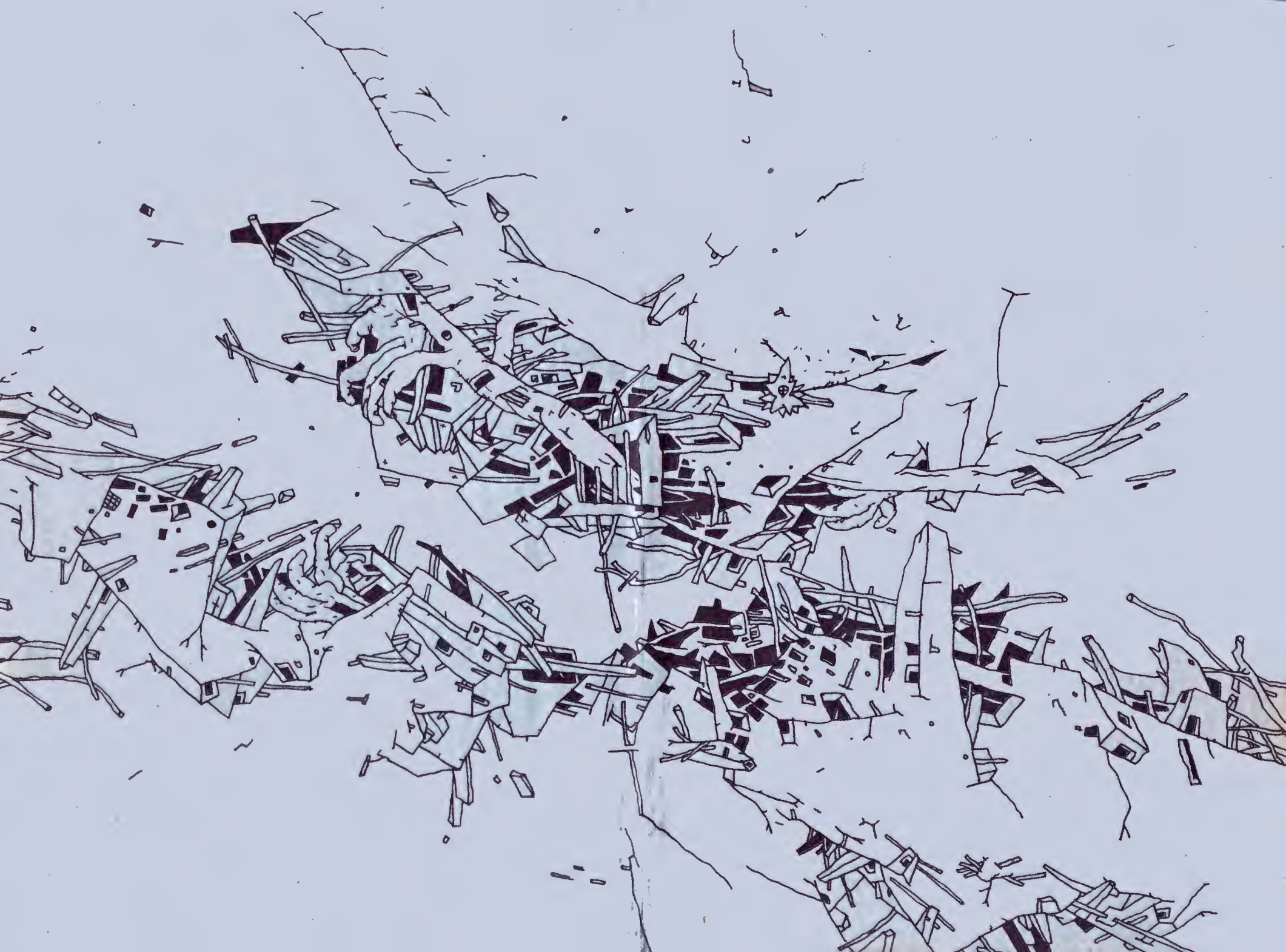


ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

мастера современной прозы

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ



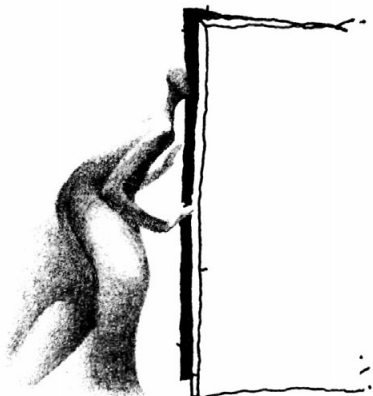




**мастера
современной
прозы**



**МОСКВА "РАДУГА"
1990**



мастера современной прозы

Редакционная коллегия:

**Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Виноградов В. С., Затонский Д. В.,
Зверев А. М., Литвинцев Н. С., Палиевский П. В., Топер П. М., Чельшев Е. П.**

швейцария

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

ПРАВОСУДИЕ

ГРЕК ИЩЕТ ГРЕЧАНКУ

АВАРИЯ

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

ЗИМНЯЯ ВОЙНА В ТИБЕТЕ

ПОРУЧЕНИЕ...

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

ББК 84.4Ш

Д97

Составление *В. Седельника*

Предисловие *Н. Павловой*

Редактор *Е. Приказчикова*

Дюрренматт, Фридрих

Д97 Избранное: Сборник: Пер. с нем./Составл. В. Седельника; Предисл. Н. Павловой. — М.: Радуга, 1990. — 496 с. — (Мастера современной прозы)

Ф. Дюрренматт — классик швейцарской литературы (род. в 1921 г.), выдающийся художник слова, один из крупнейших драматургов XX века. Его комедии и детективные романы известны широкому кругу советских читателей.

Предлагаемый сборник представляет малоизвестную у нас в стране философскую и сатирическую прозу писателя; в своих романах, повестях и рассказах он тяготеет к притчево-философскому осмыслению мира, к беспощадно точному анализу его состояния.

В книгу вошли роман "Правосудие", повести "Грек ищет гречанку", "Авария", "Лунное затмение" и др., а также рассказы, написанные в разные годы.

Д $\frac{4703010100-127}{030(01)-90}$ 60-90

© Составление, предисловие и перевод на русский язык, кроме произведений, помеченных в содержании *, издательство "Радуга", 1990

ISBN 5-05-002536-2

НЕВЕРОЯТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Люди, мимо которых он проходил, вели себя спокойно, поезд этот ничем не отличался от других поездов, которыми он ездил по воскресеньям...

Ф. Дюрренматт. Туннель

Швейцарский писатель Фридрих Дюрренматт давно завоевал широчайшую известность. Еще на пороге 60-х годов его пьесы "Ромул Великий", "Визит старой дамы", "Физики" обошли сцены мира. Переводился и ставился Дюрренматт и у нас. С увлечением воспринимались не только его драматургия, но и его проза — рассказ "Туннель", повести "Авария", "Грек ищет гречанку", детективные романы "Судья и его палач", "Подозрение", "Обещание". Сегодня Дюрренматт (в 1991 году он отметит свое семидесятилетие) — признанный классик швейцарской литературы. Он неохотно дает интервью, говорит погрузившись в себя, не спеша и как будто бы мало заботится об успехе.

Бывает, художественные произведения теряют со временем свою актуальность, перестают воздействовать на нового читателя. Этого нельзя сказать о творчестве Дюрренматта. Пожалуй, напротив: многие его мысли и образы действуют все сильнее. Реплика гениального физика из его пьесы: "Либо мы останемся в сумасшедшем доме, либо сумасшедшим домом станет мир", казавшаяся когда-то шутовским парадоксом, хоть сформулирована она была после взрыва над Хиросимой и Нагасаки, способна затронуть каждого своим тяжелым реальным значением. Еще в 50-х годах Дюрренматт писал об опасном экологическом состоянии планеты. Он призывал политиков воспринять наконец мир как целое, думать об общей судьбе человечества (статья "Судьба людей", 1950). Но самое главное предостережение Дюрренматта не выражено в словах. Как у всякого большого художника, оно в самом строе его произведений, в том образе непрочной, подозрительной, зыбкой действительности, которую они создают.

* * *

Фридрих Дюрренматт родился в 1921 году в семье пастора одного из сельских приходов кантона Берн. Вокруг, по долинам, холмам и горам, были разбросаны деревни. В одной, неподалеку, жил в прошлом веке великий швейцарский писатель Иеремия Готхельф. Дюрренматту выпало родиться в деревне побольше. Тут был собственный "театральный зал", в котором среди прочего ставились произведения местного учителя. И вокзал, где ненадолго останавливались поезда, шедшие в отдаленный Люцерн и близкий Берн. Мир был замкнут в себе, жил по своим патриархальным законам. Мальчику виделось в нем много чудесного. Выступая в 1964 году в московском Институте мировой литературы имени Горь-

кого¹ перед большой аудиторией, Дюрренматт, не без хитрости ухмыляясь, вспоминал, каким привычным и частым впечатлением его детства была смерть: в приходе то и дело кого-то отпевали, кого-то хоронили, дети, как всюду по деревням, с любопытством смотрели, как забивают скот, — так объяснял он некоторые мрачные стороны своего творчества. Но над деревней поднимались горы, широко простиралось небо. Мальчик любил рисовать созвездия, названия которых узнал в школе. И слушать мать, пересказывавшую детям библейские истории, например историю о всемирном потопе.

В начале 40-х годов Дюрренматт занимался литературой и философией в Бернском и Цюрихском университетах, но увлекался и рисованием — второе его призвание, которому он верен до сих пор. В Цюрихе, а потом проходя под Женевой военную службу, Дюрренматт стал писать первые свои рассказы.

Это были годы второй мировой войны. Война бушевала у самых границ нейтральной Швейцарии. Швейцарцы жили тогда, вспоминал Дюрренматт, "среди зловещего спокойствия, как в центре тайфуна". Мирная жизнь нейтральной страны продолжала свое обычное течение. Затемнение в городах, шум пролетающих над швейцарской землей курсом на Северную Италию английских военных бомбардировщиков воспринимались как нечто стороннее, почти театральное. За исключением трудностей с продовольствием, все как будто бы оставалось по-прежнему. Но реальной была оккупация страны Гитлером.

Для Дюрренматта жизнь потеряла устойчивость не только по этой причине. "Я рос, — писал он о своем детстве и юности, — в мире христианского благочестия". Люди, тогда его окружавшие, были отнюдь не идеальными (от отца будущий писатель знал, например, о крестьянке, покаявшейся перед смертью в убийстве отца и матери). Но общий порядок еще казался незыблемым. Религия, нравственность, патриотизм, политика как будто не противоречили друг другу.

Этот-то упорядоченный мир и разбила для начинающего писателя вторая мировая война. Дюрренматт не был ее участником, не видел своими глазами злодеяний фашизма, не узнал страданий, испытанных миллионами. Но еще до начала войны он познакомился с эмигрантами из фашистской Германии, и наивное убеждение, что слухи о творящемся в гитлеровском рейхе — выдумка, рухнуло.

Раннее творчество Дюрренматта родилось из отчаяния и протеста. Все вокруг казалось прогнившим и лживым. Протест вызвала двойственность официальной швейцарской политики: как известно, нейтральная Швейцария, ставшая прибежищем для тысяч эмигрантов, пропускала в то же время немецкие поезда, шедшие через ее туннели в Италию; некоторые фирмы сотрудничали с Гитлером; на швейцарско-германской границе задерживались и возвращались обратно в рейх на погибель еврейбеженцы; многие антифашисты переходили границу нелегально. Но сомнения шли и глубже: сам человек казался тогда начинающему писателю неудавшимся созданием Творца. Потом он сравнивал свое тогдашнее состояние со студенческим бунтом конца 60-х годов. Он мог бы вспомнить и бунт молодых людей на поколение раньше, в первую мировую войну, когда его отражением стал важный для Дюрренматта как художественная традиция экспрессионизм, — содержанием бунта было и там, и тут голое отрицание.

В нашей книге произведения Дюрренматта расположены, как принято в серии "Мастера современной прозы", по жанрам. Сначала крупные формы — роман и пять повестей, потом рассказы. Уже это несколько нарушает хронологический порядок. Но есть и еще одно обстоятельство, мешающее уловить постепенное развитие Дюрренматта-прозаика: писатель постоянно возвращался к своим завершенным произведениям. Известно множество редакций почти каждой его пьесы — он переделывал

¹ Главным поводом для этой поездки было 150-летие со дня смерти Шевченко. Дюрренматт не получил тогда возможности произнести свою речь (она была опубликована позже под названием "Неразрешенная речь в Кисеве").

их вновь и вновь, меняя текст и тогда, когда слышал его со сцены. Так же поступал он и со своей прозой: мотивы и образы не покидали создателя, они изменялись, росли вместе с автором. Опубликованные и неопубликованные его произведения остаются с ним, как живые его спутники. В 1981 году был опубликован рассказ "Бунтовщик". Но это сжатая запись романа, создававшегося "в уме" в 40-е годы. Повесть "Зимняя война в Тибете" вошла в опубликованные в 1981 году "Материалы"¹. Но ей предшествуют несколько самостоятельных произведений — недописанный роман "Город" (1947), рассказ "Из записок охранника" (1980), с которыми повесть связана и мотивами, и даже прямыми совпадениями в тексте. И все-таки ранний Дюрренматт легко распознается. Его художественный мир строился тогда по иным законам, чем впоследствии.

Первые рассказы Дюрренматта — это причудливые, мрачные, фантастические картины. В 1942 году он написал, например, короткую прозу "Рождество", не включенную в настоящую книгу. В бескрайнем поле на снегу лежит младенец Христос, с головой, сделанной из марципана. Все вокруг недвижно, недвижим и младенец; если приподнять его веки, то можно увидеть под ними пустые глазницы. Проходившему человеку хотелось есть, и он откусил эту голову. Вряд ли стоит искать объяснение этой картине. В ней нет ничего, кроме пустоты, ужаса, неверия и нецеленаправленной ненависти.

В нашу книгу включен рассказ "Собака". Его персонажи ближе к реальности — старик проповедник, девушка, неотступный их спутник — пес. Но ситуация по-прежнему фантастична: страшный пес — воплощение темной, злой силы, — растерзав старика, исчез, а потом вновь появился в городе вместе с покорившейся ему девушкой.

Намеренная неопределенность, неясность причин и мотивов — все это роднит ранние опыты Дюрренматта с не раз возрождавшейся в XX веке традицией романтизма. "Начало повествования неопределенно, шатко, как будто рассказчик располагает лишь приблизительными данными о ранней молодости А." — так начал Дюрренматт запись своего раннего замысла "Бунтовщика". В этом рассказе есть сходство со знаменитой новеллой австрийского неоромантика Гуго фон Гофманстала "Сказка шестьсот семьдесят второй ночи", написанной на рубеже веков: на пути в неведомое героев и тут и там ждут таинственные совпадения, смутные догадки. Но в отличие от Гофманстала Дюрренматт занят политическими проблемами. Он пишет о власти, терроре, насилии, бунте.

Уже в первых своих прозаических опытах Дюрренматт постоянно подчеркивает двойственность ситуации человека: он может стать и палачом и жертвой или — такой поворот еще более характерен — он палач, страж, охранник и жертва одновременно. Романтическая неопределенность сочетается с жестокостью современного искусства.

Одно из самых глубоких по замыслу и мощных по воплощению произведений раннего Дюрренматта — фрагмент неоконченного романа "Город". Опять прежде всего возникает образ, картина: Город, прекрасный издали, но пугающий по приближению, Город с лежащими над ним ядовитыми туманами, с тротуарами, замкнутыми внутри аркад так, что приходится передвигаться, "согнувшись, внутри домов", где сидят неподвижно, не произнося ни слова, их обитатели. Неподвижность взрывается динамикой, так свойственной Дюрренматту впоследствии: толпа, к которой присоединяется молодой герой, движется во главе со стариком угольщиком на ненавистный Город с его таинственной Администрацией. Но столкновения не происходит, оно будто отодвигается в сторону: Город настолько уверен в своем могуществе, что посылает на встречу толпе, остановившейся перед мостом, одного сумасшедшего, размахивающего знаменем. Толпа наступает, мост, как живой, колеблется и стонет под ее тяжестью. Но крик помешанного обращает ее в бегство.

¹Работа над "Материалами" началась еще в середине 60-х годов. Тогда был написан первый фрагмент, названный "Документом". К настоящему времени вышло три книги "Материалов" — F. Dürrenmatt. Stoffe I—III. Zürich, Diogenes, 1981.

В ранней прозе Дюрренматта нет россыпи неожиданных подробностей, на которые так щедрый его прославленные произведения. Его работа подобна пока работе художника-графика, тонкими, четкими линиями покрывающего белое поле неизведанного. Своей стилистикой "Город" напоминает немецкий экспрессионизм: те же резкость и эмоциональная напряженность, ту же абстрактность и одушевление неживой материи, тот же интерес к толпе, массе, нарисованной как единое, нечленимое целое. У Дюрренматта толпа появляется много раз, например в рассказе "Пилат" (1946).

Отношения героя с Городом напоминают бессильные попытки землера К., героя романа Франца Кафки, во что бы то ни стало вступить за таинственно-запретную для него ограду Замка ("Замок", 1926). У Дюрренматта молодой герой, появившись в конце концов в управлении Города, предлагает себя в услужение. Три отвратительные старухи, пожирающие за игрой в карты огромные торты (нарисованные, надо думать, не без памяти о шекспировских ведьмах из "Макбета"), определяют его судьбу. Дальнейшее повествование раскрывает двусмысленность намеченной ситуации: свою должность тюремного надзирателя герой должен исполнять, не отличаясь платьем и поведением от арстантов. В бесконечном коридоре тюремного подземелья он занимает выбитую в стене нишу. Не ясно, однако, за кого принимают его невидимые фигуры, сидящие в нишах напротив: за охранника? Или такого же арстанта? Кем считает его Город? И кто же он в конце концов на самом деле?

В "Городе" впервые разработан важнейший для Дюрренматта мотив "лабиринта", повторенный затем не только в повести "Зимняя война в Тибете", но и в рассказе "Туннель", в новелле "Поручение", в поэтической прозе "Минотавр".

Откуда появился этот мотив и что он для Дюрренматта значит?

В первом томе "Материалов" — записях воспоминаний, впечатлений и размышлений, которые в конце концов привели писателя к созданию "Города", а потом и повести "Зимняя война в Тибете", — этот мотив связывается и с "ходами" под склонившимися хлебами, где любил играть деревенские дети, и с особенностью столицы Швейцарии Берна, тротуары которого затенены аркадами. На первых страницах "Города" Берн с омывающей его высокую центральную часть рекой еще вполне узнаваем. В "Записках охранника" сходство уже неуловимо. Образ отступил к общему своему значению.

Жизнь наполняла давние впечатления все новым и новым содержанием.

Швейцарские горы рассечены туннелями. В одной из недавних статей Дюрренматт сетовал даже, что из страны пастухов Швейцария превращается в страну кротов. Но в годы войны туннели были основой оборонной стратегии: в случае нападения Гитлера швейцарская армия должна была отступить в горы, чтобы, укрывшись в ущельях и под землей, дать решительный отпор противнику. Не случайно уже в "Записках охранника" тюремное подземелье "военизируется", герой получает вместе со служебной формой каску и автомат, в переходах подземелья раздаются выстрелы. Провожатый приводит героя в большую пещеру, где к потолку подвешен за руки человек, а среди наваленного кругом оружия сидит офицер, бывший командир героя на последней войне. (Именно эта сцена перешла потом из "Записок охранника" в повесть "Зимняя война в Тибете".)

Нарисованная писателем зловещая пещера разительно не соответствовала патриотической идее сопротивления в горах, воодушевлявшей швейцарцев в годы угрозы гитлеровского нападения. У автора были собственные представления о патриотизме: "Патриотизм — это безумие", — написал он однажды. Ситуацию страны в те годы и в дальнейшем, как, заметим, забегая вперед, и ситуацию в мире, он расценивал гораздо скептически. В неприятии автором "мира отцов", в бунте героя против Города важным слагаемым было и настороженное отношение к швейцарской военной стратегии: ведь население, народ оставались в таком случае на произвол врага, а армия и, что особенно задевало Дюрренматта, "администрация Города" оказывались укрытыми в подземелье.

Начиная с "Города", Дюрренматт постоянно сталкивает своих читателей с расщепленностью значений и смыслов. Подземелье — спасение и укрытие, где человек может стать причастным к управлению Городом. Но оно же тюрьма, лабиринт, выход из которого невозможен. Человек внутри лабиринта — охранник, администрация, власть. Но он же заключенный, пленник, жертва. Каждый должен выбрать одну из возможностей и забыть, что имеет отношение ко второй. Почему болтается на веревке человек посреди пещеры? Он поплатился за то, отвечает на этот вопрос офицер, что отказался считать себя охранником. Кем же он в таком случае себя считает? Следует ответ: узником.

Если существует лабиринт, писал Дюрренматт, то должен быть и тот, кто в него заключен, — Минотавр. Всю свою жизнь он изображал минотавров на своих рисунках, создал, словно Пабло Пикассо, целый такой цикл. В его поэтической прозе 1985 года, так и озаглавленной "Минотавр", а в подзаголовке "Баллада", действует то же мифологическое существо с головой быка и телом человека, рожденное дочерью Солнечного бога Пасифаей, существо наивное и чистое, не сознающее своей силы, и дружелюбное, тыкающееся с полным непониманием в зеркальные стены лабиринта. Несмотря на трагическую развязку, это был счастливый Минотавр, не понимавший, что находится в заточении. Но в ранние годы, признается писатель, он был не в состоянии найти для существования в лабиринте хоть какие-то светлые краски — слишком переполняли его самого смятение, страх, отчаяние. Он сам чувствовал себя минотавром, загнанным в безысходность мира.

Следующая модификация образа лабиринта, замкнутого в себе пространства, подземного хода, была создана в рассказе "Туннель" (1952) — произведении мрачном и натурализирующем. Но в этом коротком рассказе автор достиг и свободы по отношению к материалу, объективности, юмора.

Путь от Берна в Цюрих в железнодорожном вагоне занимает менее двух часов. Многие совершают его чуть ли не каждый день, проживая в одном месте, работая в другом. Ездил в оба конца по многу раз в неделю когда-то и сам Дюрренматт в бытность свою студентом в Цюрихе. Герой новеллы, тучный Двадцатичетырехлетний, — фигура, не без юмора уподобленная тяжеловесному уже в те годы автору. Есть между ними и более важное сходство — способность распознавать страшное.

От недавних прозаических произведений этот рассказ отличается достоверностью обстановки. Ни в чем никакой неопределенности. Пассажиры заняты обычными делами — читают, играют в шахматы. Называются всем известные остановки, которые должен миновать поезд. (Позднее, в романе "Правосудие", Дюрренматт с той же точностью перечислит названия цюрихских улиц — за передвижениями героев можно будет следить по плану города.) Поезд въезжает в короткий туннель. Но тут-то и обнаруживается брешь в действительности — туннель не кончается, не кончается и через час, не кончается и потом...

Игровая площадка очерчена. В достоверность врывается фантазматория. Все спокойны; самоуверенный турист-англичанин с наивным восторгом произносит: "Симпсон!" И только один Двадцатичетырехлетний, заранее, будто в предчувствии ужасного, заткнувший уши ватой, "надевший поверх очков еще вторые, старавшийся закрыть те отверстия в своем теле, сквозь которые и проникает все чудовищное" (еще один вариант укрытия и убежища под пером пустившегося в безудержную игру автора), видит другую сторону происходящего: машинист давно прыгнул, поезд мчится навстречу гибели с невероятной скоростью по никому не ведомому туннелю...

До "Туннеля" Дюрренматт написал несколько пьес, которые вскоре были поставлены. В них на, казалось бы, архисерьезном материале — в пьесе "Ибо сказано..." (1947) из истории анабаптистов-перекрещенцев, а потом в принесшей автору мировую известность комедии "Ромул Великий" (1949), где на сцене происходит смена исторических эпох (Римская империя рушится под напором варваров), — утвердился в правах неизменный у Дюрренматта в дальнейшем юмор. В юморе писатель видел выражение духовной свободы человека, поднявшегося над постигнутой

им действительностью. Освободительную силу юмора мы могли почувствовать и в его прозе еще до "Туннеля" — в прелестной истории о газетах в древние, доисторические времена ("Сведения о состоянии печати в каменном веке", 1949). Но юмор, блестящий и летучий, как всегда у Дюрренматта, не нес пока на себе той нагрузки, с которой он без труда, с той же видимой легкостью справлялся в дальнейшем. Это позже, в пьесе "Ромул Великий", автор поместил во дворце императора бюсты великих римлян "с преувеличенно строгими лицами", а перед входом в резиденцию должны были, согласно ремарке, копошиться куры. Все это не только смешно, не только пародийно по отношению к торжественности античных и классицистических трагедий, но выполняет и другую важнейшую для автора задачу. Смешные, неколебимо достоверные детали (что может быть реальнее живых кур на сцене!) самой своей юмористической неуместностью помогают начать расценку жизни, намекают на неустойчивость видимого, колеблют одно, чтобы показать за ним нечто совсем другое. Пробуждается наша, читательская, способность распознавать страшное.

Входя в пестрый мир дюрренматтовской прозы, полезно, быть может, вспомнить для сравнений и сопоставлений не только некоторые его знаменитые пьесы, но представить себе хотя бы отчасти малоизвестную у нас публицистику.

В 1976 году появилась книга Дюрренматта "Соответствия". Конкретным поводом к ее написанию стало присвоение ему звания почетного доктора Беэр-шевского университета в Израиле. Текст в дальнейшем перерабатывался и расширялся, в конечном итоге в книге были высказаны идеи, существенные для представлений автора о современном мире.

"Соответствия"... Но речь гораздо чаще шла как раз о несоответствиях, о двоющемся лике современной жизни. Дюрренматт пишет о расхождении жизни и понятий, о разрыве между реальностью и мифом, утравившимся в умах людей. Действительность и представления о ней далеко расходятся, особенно в нашем веке (вспомним, что первой реальностью для молодого писателя были эмигранты: в мир сложившихся представлений вторглась не соответствовавшая им действительность).

Совокупность пригнанных друг к другу понятий образует идеологию. Любая идеология, настаивал Дюрренматт, лишь в малой степени соответствует реальности и потому нуждается в постоянных с ней соотношениях, корректировке. Застывшая идеология агрессивна. В защиту идеологии проливалось не меньше крови, чем ради захвата чужих земель.

В 1971 году Дюрренматт написал сатирическую повесть "Падение", возникшую из резко отрицательных впечатлений от пребывания у нас, на Четвертом съезде советских писателей (1967). Его поразила, вспоминал он впоследствии, абсолютная пустота и выхолощенность всего происходившего. Речь шла не о литературе и даже не о политике. Страна и литература будто исчезли, шло прославление правящей верхушки, иерархии чинов, людей, стоящих у власти и оторвавшихся даже от непосредственной своей задачи — управления государством. В повести Дюрренматта действующие лица обозначены номерами: №1 — первое лицо страны, №2 — второе и так далее в строгой последовательности. В полном вакууме, без грана живого воздуха, разворачивается борьба за власть и падение первого лица государства.

Дюрренматт неоднократно резко высказывался о нашей внутренней ситуации и внешней политике. Лишь в последние годы писатель с сочувствием следит за тем, что происходит у нас. В 1987 году он был на Московском форуме деятелей культуры "За безъядерный мир, за выживание человечества". В перестройке, как явствует из его высказываний, он видит возможность сближения далеко разошедшихся рядов — государственной политики и интересов народа. В удачной реализации этой возможности он, однако, далеко не уверен.

Дюрренматт неуживчив и неудобен. Но, истинный художник, он занят прежде всего не политическими проблемами, а той реальностью, с которой они в конечном итоге неразрывно связаны, хотя, кажется, от нее давно оторвались, — реальностью человека.

В статьях о театре Дюрренматт неоднократно писал об анонимности

современной жизни. Вместо лица, воплощавшего в себе полноту власти (каким был, например, царь Креон в трагедии Софокла "Антигона"), перед сегодняшним человеком — безликая государственная машина. "Дело Антигона решают секретари Креона". Произвол диктаторов привел к гибели миллионы. Однако вина не только на них, но и на всей государственной системе. Зло широко разлито. Стоя сегодня перед опасностью уничтожения, человечество не понимает, в сущности, как до этого дошло. "Ведь все происходит не так, как ожидаешь, господа, а постепенно и в то же время внезапно..." — говорится в сатирической комедии "Бидерман и поджигатели" другого крупнейшего швейцарского писателя, Макса Фриша.

Именно комедия, писал Дюрренматт в книге "Проблемы театра" (1954), способна показывать гротескное лицо современного мира, именно она приоткрывает истину.

"Комедией в прозе" названа в подзаголовке и повесть "Грек ищет гречанку" (1955). В сущности, повесть построена по тем же законам, что и написанное Дюрренматтом для сцены. Четко разработана экспозиция. Как и положено в классической драматургии (Дюрренматт любит сохранять ироническую приверженность классике), друг другу противостоят две силы. Герой, грек Архилохос, — служащий машиностроительного концерна Пти-Пейзана, жалкий бедняк, закостеневший в верности принятым им правилам жизни. В сорок пять лет он не только не пьет, не курит, не знает женщин — он создал еще свою иерархию абсолютно нравственных личностей, портреты которых развешаны у него в каморке. На первом месте в этой системе — глава государства, следующие занимают президент фирмы, потом священник и так далее. Наслушавшись чужих советов, Архилохос решает жениться. Тут по газетному объявлению "Грек ищет гречанку" и является та, род занятий которой скрыт до поры до времени — во всяком случае, от самого героя. На сцене прекрасная женщина Хлоя.

Фигуры расставлены, разводка завершена. Дальше действие развивается "как выстрел" (так писал Дюрренматт о темпе своей драматургии).

Но мотором повествования являются, в сущности, не события. Развивается принятая автором фантастическая логика, согласно которой, как в сказке, можно все. Именно эта логика толкает вперед действие. Фантастичны, гротескны у Дюрренматта не только образы, фантастичен, движется по законам гротеска, отменяя жизнеподобие, и сюжет.

Нравственность и доброта, как будто подтверждая свою жизнеспособность, торжествуют одну победу за другой. Честному герою воздается сверх всякой меры. Тяжелый и мрачный мир приобретает воздушность и легкость.

Но тут-то и дает себя знать другая, отрезвляющая логика. Картина, как в рассказе "Туннель", переворачивается. Герой узнает, кто на самом деле его невеста, и мир для него рушится.

Нет, повесть Дюрренматта до конца сохраняет блеск и легкость. Многочисленные содержатели и поклонники всеми силами стараются выдать Хлою замуж, но ситуация лишена той мучительности и надрыва, которые сопровождали в романе Достоевского намерение Тоцкого сбить с рук Настасью Филипповну. Интерес для Дюрренматта в другом. На каждом шагу у него обнаруживаются двусмысленность, двусмысленность, то и дело работает прием, который можно назвать "перевертышами". Игра противоположных смыслов сжата подчас даже в отдельной фразе, в одном единственном слове. Ведь Хлоей звали и другую гречанку — героиню буколического романа "Дафнис и Хлоя" писателя Лонга, жившего во II—III веках н.э. То была невинная девушка, которую надо еще обучать любви. Дюрренматт называет свою героиню Хлоей, пародируя давний античный образ.

Все наоборот, все наоборот. В рассказе "Мистер Ч. в отпуске" черт спускается на землю, чтобы творить добро. Он старательно сев доброе: дарит, например, монахиням вечерние платья и бюстгальтеры. Но мир, как оказывается, не может существовать без зла: за недостатком коррупции экономика приходит в упадок.

”Перевертыши” множатся. Каждую хорошо известную историю можно толковать и совсем по-другому (на таком ироническом перетолковывании древних мифов построен рассказ ”Смерть пифии”, 1976). Дюрренматт пишет о волнующей его зыбкости жизни по-разному, но главный вывод остается одним и тем же: там, где нам мерещится твердь, в любую минуту может открыться провал, и вместо порядка обнаружится хаос.

История страны, где живет Дюрренматт, уходит корнями в глубокую древность. Семь столетий назад, в 1291 году, три старых кантона объединились, защищая свою независимость, что и стало основой швейцарской государственности. Еще на века раньше здесь жили племена ретов и гельветов, покоренные в I в. до н.э. римскими завоевателями. В произведениях Дюрренматта чувствуется дыхание этой седой старины. То и дело в новом облике появляются мифологические и библейские образы (Минотавр, Геракл, Вавилонская башня, блудный сын). Посвоему претворяет творчество Дюрренматта и античную идею рока.

Огромную роль в современной жизни, по Дюрренматту, играет случай. Небольшая случайность, ошибка, допущенная по небрежности или забывчивости, может привести к аварии на атомной электростанции. Случайность может урезонить безоглядную веру человечества в технический прогресс. Все ли можно было предвидеть в действительности нашего века? Не обнаружили ли события, развивавшиеся на наших глазах, непредвиденное не только в отдельных людях, но и в целых народах? Дюрренматт создает действительность, чреватую катастрофами. В тезисах к пьесе ”Физики” он написал о роковой подвластности человека случаю, особенно очевидно перевертывающему все его замыслы, когда он по строго разработанному, как будто бы нерушимому плану движется к намеченной цели.

Читатель, вероятно, помнит неоднократно переиздававшуюся и экранизированную у нас повесть Дюрренматта ”Авария” (1956). Непредвиденный случай забросил ничем не примечательного коммивояжера в компанию старичков пенсионеров, которые, продолжая для забавы свои прежние служебные занятия, творят над новичком суд с соблюдением всех процессуальных правил. Под общий смех постепенно выясняется, что на совести у коммивояжера Трапса не один из рук вон плохой поступок и даже, пожалуй, убийство, если называть вещи своими именами, чего, конечно, ни один человек не делает. Рассказ Дюрренматта кончается неожиданно: преуспевающий коммивояжер повесился в комнате, отведенной ему для ночлега, куда так недавно его проводили забавные хозяева.

У каждого большого писателя есть не только повторяющиеся образы, но и свои характерные коллизии. Для Дюрренматта — это разбирательство, разоблачение. Разоблачение, иногда судебное (в произведениях Дюрренматта удивительно много убийств, шпионов, преступников, судей, криминалистов), но чаще выходящее за пределы компетенции суда. Он, как говорилась, автор известных у нас криминальных романов: ”Судья и его палач” (1950), ”Подозрение” (1951), ”Обещание” (1957). Но в сущности, и остальные его произведения ”заражены” эстетикой криминального жанра. Отбрасывая привычные объяснения, Дюрренматт хочет доискаться до скрытых причин и следствий. Многим обаянный Бертольд Брехту с его умением представить обычное в настораживающе непривычном ракурсе (знаменитый ”эффект очуждения”), Дюрренматт вряд ли оспорил бы мысли предшественника и по поводу детективности в большой литературе XX века. ”Свой жизненный опыт, — писал Брехт, — мы получаем в условиях катастроф. На материале катастроф нам приходится познавать способ, каким функционирует наша общественная совместная жизнь. Размышляя, должны мы раскрывать ”inside story” (подоплеку. — Н. П.) кризисов, депрессий, революций и войн. Уже при чтении газет (но также счетов, известий об увольнении, мобилизационных повесток и так далее) мы чувствуем, что кто-то что-то сделал, дабы произошла явная катастрофа. Что же и кто сделал? За событиями, о которых нам сообщают, мы предполагаем другие события, о которых нам не сообщают. Они и есть подлин-

ные события" (Б. Брехт, "О популярности детективных романов")¹.

В произведениях Дюрренматта постоянно ведется дознание по тем или иным поводам. В пьесе "Визит старой дамы" выясняется вина главного героя Альфреда Илла и — что гораздо существеннее — готовность жителей маленького городка убить его за миллион долларов. В "Ромуле Великом" обнаруживается преступность изжившей себя Римской империи, на смену которой идет не менее преступной варварство.

В чем же последняя правда о герое "Аварии" Альфредо Трапсе и почему он повесился?

Наивно было бы полагать, что этот такой современный, нормальный, преуспевающий человек повесился из раскаяния, вдруг осознав смысл своих поступков. Подобный поворот совершается иногда в душах дюрренматтовских героев: человек для писателя странная смесь добра и зла. Но Альфредо Трапс не таков.

В повести несколько уровней истины, несколько правд о Трапсе. Правда не только в том несознательно совершенном убийстве, которое столь тонко расследовали старички.

Герой беспрестанно удивляется — прежде всего самому себе. В прошлой жизни он действовал, так сказать, инстинктивно, разного рода случайности вели его от поступка к поступку. В обвинительной речи прокурора смутные его намерения обрели пугающую определенность. И Трапс преисполнился немислимой гордостью. В своих глазах он теперь трагическая фигура, личность, человек, способный на все. Заурядному облику не соответствует не только совершенное Трапсом — ему не соответствуют его легко проснувшиеся амбиции. Трапс вешается, сопротивляясь попыткам адвоката доказать непреднамеренность происшедшего; самоубийство тут — акт самоутверждения.

Скрытое, неосуществленное, задавленное или только зарождающееся уравнило у Дюрренматта в правах с реальностью. Его образы обладают особой содержательностью — в них намечено сразу несколько смыслов, открыто несколько разных "действительностей". Кто эти милые старички с их устрашающим, раблезианским обжорством? Мирные пенсионеры или апокалипсические фигуры, будто сошедшие с полотен Босха? Не напоминает ли невзначай идущая тут игра о неотвратимости Страшного суда над делами человеческими? Какие возможности таятся в Трапсе и что еще мог бы он совершить в будущем?

Существует мнение, будто герои Дюрренматта безжизненны и напоминают марионеток. Известный американский писатель Курт Воннегут уподоблял произведения Дюрренматта прекрасным и редкостным швейцарским часам, в механизме которых все совершенно, но нет никаких тайн. В этих произведениях, писал Воннегут, есть одна живая душа — душа автора².

Согласимся с американским писателем. Но лишь отчасти.

Дюрренматту действительно чужд тот разветвленный психологизм, который долгое время почитался, во всяком случае у нас, обязательным признаком большой реалистической литературы. Этот писатель мастерски изображает движения человеческой души, но только тогда, когда человек проявляет себя в действиях, представляющих общий интерес. Герои Дюрренматта попадают в ситуации чрезвычайные. Даже заурядный Трапс поступает при этом сверхнеобычно. Надо обладать совершенно особым и изощреннейшим мастерством, чтобы убедительно показать обоснованность и естественность этих в общем совершенно неестественных поступков.

В раннем рассказе, "Из записок охранника", многие страницы занимает длинный разговор героя с представителем Города. В его душе спорили озлобленность и благородство, униженность и гордость. Возвратившись еще раз к тому же материалу, Дюрренматт опустил в повести "Зимняя война в Тибете" этот диалог. Ему не было больше нужды погружаться

¹Брехт Б. О литературе. М., Художественная литература, 1988, стр. 285.

²Über Friedrich Dürrenmatt. Zürich, Diogenes, 1986. S.382.

во внутреннюю жизнь своего персонажа. Все было выведено наружу, выявлено с совершенной отчетливостью: психологизм Дюрренматта — это раскрывающиеся в поступках скрытые мотивы его героев. В сфере искусства писатель занимается тем (или: прежде всего тем), что в науке называется социальной психологией.

В мировой литературе у него свои предшественники. Это не классические реалисты XIX века, а сатирик Свифт, беспощадный исследователь натуры человека Бюхнер, немецкие экспрессионисты и прежде всего их предтеча — драматург и поэт-кабаретист Франк Ведекинд.

Отписанные Дюрренматтом реакции и поступки сверхнеобычны. Но страшное дело: в них отражается типическое и общее, узнаваемое и понятное для многих людей. "Гюлленцы, — писал Дюрренматт о жителях городка, выведенного в пьесе "Визит старой дамы", — такие же люди, как мы все". Ни один человек не похож на другого. Не похожи один на другого и дюрренматтовские герои. Но в их жизнях, в их социальных реакциях есть много общего. Как всегда, неважничиво и в то же время определенно автор прочерчивает соответствия между своим Альфредо Трапсом и общей ситуацией: "В стране росло благосостояние, как было держаться от этого в стороне?" Если его начальник отправился на тот свет и без существенной помощи героя (кто, кроме Создателя, в силах судить тут со всей определенностью?), то ясно, что Трапс живо усвоил некоторые характерные правила поведения современного человека — "оттереть к стенке, действовать, не считаясь ни с чем". Что это, частные, хотя и весьма распространенные свойства человека или они имеют общественные последствия? Не по одному ли шаблону действуют люди? Нет ли общего, стереотипного и в их судьбах? Как написал Дюрренматт в повести "Авария", в сущности по тому же поводу: "Судьбы разыгрываются одинаково". Отрицать сходство судеб людей в XX столетии рискованно.

В середине 50-х годов, почти одновременно с работой над повестями "Авария" и "Грек ищет гречанку", Фридрих Дюрренматт был занят еще двумя замыслами: повестью, получившей впоследствии название "Лунное затмение", и пьесой "Визит старой дамы". Премьера пьесы состоялась в цюрихском "Шаушпильхаузе" в 1956 году. Теперь, когда она успела обойти сцены лучших театров мира, странно читать авторские признания, что писалась она в надежде на заработок, более верный в западных странах для драматурга, чем для прозаика, и потому отодвинула до начала 80-х годов повесть "Лунное затмение", сюжет и содержательное зерно которой были переименованы и развиты в пьесе. Сходство пьесы и повести, опубликованной впервые в 1981 году в третьем томе "Материалов", заметно без труда. Совпадает главная ситуация — окружение главного героя соглашается убить своего земляка за куш в миллион долларов. Но место действия и характеры совсем другие. Сравнение пьесы и повести помогает еще раз осознать, насколько распространены в современной действительности в разных обликах занимавшие Дюрренматта свойства людей. И сколь неистощим его интерес к пестроте и многообразию жизни.

Замысел "Старой дамы", писал Дюрренматт, не созрел бы в его воображении, если бы он не был принужден тогда часто ездить из своего городка Невшателя в Берн. И если бы поезд не останавливался среди прочих и на вокзалах двух крохотных городков. Так, вместо отдаленной деревушки высоко в горах, где должно было развиваться действие "Лунного затмения", возник иной образ — пришедший в ветхость вокзал опустелого городишка. Главный герой повести — высокий здоровый мужчина в возрасте за шестьдесят — пробивался на своем "кадиллаке", а потом пешком через заваливший дорогу глубокий снег в заброшенную деревушку. Приехавшему на поезде, работала дальше фантазия автора, подобная сила ни к чему. Поэтому это, скорее всего, богатая женщина, а отдать предпочтение поезду она могла потому, что не раз попадала в автокатастрофы. Так появились у героини пьесы про-тезы.

Но оставим в стороне популярную и у нас "Старую даму". (В 1989 г. Михаил Козаков даже экранизировал пьесу на "Мосфильме".) Обратимся

к повести по-своему не менее совершенной, хотя автор как бы лишь записал теперь давно хранившийся в памяти замысел. Отсюда и настоящее время, так характерное при пересказе воспоминаний: "В середине зимы перед самым Новым годом через деревню Флётиген... проехал огромный "кадиллак"... " — и так далее.

Как будто бы с совершенным жизнеподобием рисует автор крестьян высокогорного села, с их суровой практичностью, мрачным упорством и грубыми нравами. Тут все осталось так, как было вчера и позавчера, будто это село описал не Дюрренматт, а классик прошлого века Готхельф. Нигде не видно туристов, одни и те же лица изо дня в день. И никто, привыкши к суровости жизни, ничему не удивляется.

В эту-то деревню, прямо в трактир, и пробирается приехавший из Канады, а в прошлом местный житель, Ваути Лохер.

Как во многих произведениях Дюрренматта, толчок событиям дает человек, пришедший откуда-то, вернувшийся, как библейский блудный сын, через многие годы домой. Скоро выясняется, что в чемодане у Лохера четырнадцать миллионов долларов и что он отдаст их своим землякам, если за это в ближайшее полугодие будет убит крестьянин Мани, который женился когда-то на Клеры, беременной от него, Лохера.

В этой повести еще меньше от "чувств" (любви, ревности и т.п.), чем было в "Старой даме", где героиня все же вспоминала былое с Иллоу в Конрадовой роще. Повесть написана не о чувствах, а об их отсутствии. Для того чтобы пойти на убийство, здесь не требуется времени, за которое благородное возмущение успело бы смениться колебанием, а потом тайным и явным согласием (все эти переходы мастерски показаны в "Старой даме"). Тут, не забыв поторговаться, соглашаются скоро, соглашается и крестьянин, которого надлежит убить, потому что иначе никогда не купить маленький трактор, о котором Мани мечтал всю жизнь, а "четырнадцать миллионов — это четырнадцать миллионов".

Какова мера правды и мера фантазии в этой повести? Похожи ли на реальных эти крестьяне из забытой богом горной деревушки? "Лунное затмение" напоминает известный рассказ Иереми Готхельфа "Черный паук" (когда-то Дюрренматт создал серию иллюстраций к нему), написанный в середине прошлого века про крестьян примерно из тех же мест, также продавших в тяжелых обстоятельствах душу дьяволу. Фантастическая ситуация позволила в свое время Готхельфу выявить страшные свойства человеческих душ. Тем же занят и Дюрренматт. Фантастическое соседствует у него с реальным, страшное со смешным. Чего стоит, например, "проход" вообразившего себя популярным священника в окружении крестьян по крутой дороге, во время которого те только и думают, как бы отделаться от него, ну хоть столкнув с обрыва, чтобы он невзначай не помешал "делу".

Во втором томе "Материалов", роясь памятью в прошлом, Дюрренматт пытался отыскать впечатления, которые, преобразившись, вошли в задуманную им повесть. Он вспомнил о своей недолгой жизни в похожей деревушке, где читал тогда Гофмана и впервые пытался сочинять для театра. Но гораздо больше его занимали крестьяне: "Они были дремуче суеверны, их страстью было браконьерство, а кто не возвращался с гор и погибал на охоте, о том складывались легенды". Многочисленные истории, одна фантастичнее другой, рассказывались об умершем несколько лет назад хозяине трактира, которому незадолго до смерти привиделась в полнолуние белая собака, вскопавшая на облучок телеги и заговорившая с ним человеческим голосом. Крестьянам в повести тоже является знамение: когда подпиленное дерево уже готово рухнуть на Мани, на луну вдруг наползает круглая тень — то ли это Австралия, как думает один из присутствующих, то ли, как кажется большинству, конец света, и луна сейчас упадет на землю.

Автор показал своих персонажей, как говорится, без прикрас.

Однако, как всегда, он видел в них и другие качества. Свет и тьма человеческой души, от которых в конечном счете зависит и течение жизни, непредуказанно взаимодействуют, создавая глубину нарисованной писателем картины.

Гангстер в женском монастыре (рассказ "Мистер Ч. в отпуске") вдруг сталкивается лицом к лицу с прекрасной монашкой, несущей торг гостю. Не удержавшись на ногах, оба падают на колени, а взглянув в такой позе друг на друга (точно размеченные мизансцены), мгновенно влюбляются и целуются. Торжествует любовь. Это, конечно, вполне шутовское, соответствующее духу рассказа, воплощение добра. Но в повести "Грек ищет гречанку" — вещи, изяществом и прозрачностью подобной старинным кружевам, — стихия добра действует на читателя притягательно. В мире, где человеколюбивые начинания привычно "рифмуются" со смертоносными (фирма Пти-Пейзана производит медицинские инструменты, помогающие при деторождении, как приложение к оружию), сохраняют неотразимую силу доброта, мягкость и способность к любви. Гречанка Хлоя, как часто у Дюрренматта, раскрывается окружению двояко: она и собственность всех этих пти-пейзанов, она и само торжество человечности, понимания, преданности, любви. Все ненатурно и легко в этой повести. Но это легкость на крайнем пределе возможного, легкость призрачная, готовая исчезнуть, подточенная скепсисом и иронией. То, что когда-то кричало в литературе (пошедшая на панель Соня у Достоевского как высшее воплощение милосердия и христианской любви), дается Дюрренматтом не задерживаясь, походя.

В "Лунном затмении" в ситуации фантастической и уже потому соответствующей фантастичности нашей жизни есть лишь один человек, не желающий брать денег, — это жена, а потом вдова крестьянина Мани. В других поздних произведениях Дюрренматта таких чистых душ героев нет. Различия лишь в разной степени запутанности и погруженности в зло. В рассказе "Смити" (как и в пьесе "Сообщники", 1972) действует вполне деловое объединение в помощь преступникам по устранению трупов. Все существует примерно по тем же законам, что в "Трехгрошовой опере" Брехта: сообщество грабителей мало чем отличается от сообщества промышленников. Но у Дюрренматта все ужаснее, страшнее. Так и нужно автору, чтобы показать в страшных обстоятельствах проблески человечности, а заодно и невозможность таковых в "нормальной" жизни. Именно в этом рассказе среди членов преступного кооператива находится человек, которого вдруг охватывает такая острая нежность к убитой и такая дикая гордость, что он не берет миллион (обычный куш) у высокопоставленного убийцы, поясняющего, приветливо улыбаясь, что это труп его жены.

Страшен в этом рассказе юмор, будто медлящий превращаться в гротеск, сохраняющий стихию смешного, что еще больше пугает в соседстве с ужасом. Ужас в самой юмористической легкости, с которой ведется повествование: все катится как по накатанному, не встречая преград.

В прозаических произведениях Дюрренматта 80-х годов вновь возникает характерная для него детективная ситуация: кто-то берет на себя исполнить некое поручение и начинается расследование убийства. Отличие от ранних детективных романов, однако, в том, что, в сущности, ищут не убийцу. Вопрос о вине, заданный автором читателям, относится и к преступлениям, в произведении не описанным.

Роман "Правосудие" (вышел в свет в 1985 году, автор использовал, кардинально переработав, несколько ранних набросков) начинается с убийства, совершенного при всех, после чего преступник и не думает скрываться. Невероятная путаница, масса комических эффектов (страшное и тут перемешано со смешным) возникают с самого начала потому, что набравшая скорость полиция натывается на "статичность" преступника: он тут, под рукой, сидит рядом с напрягшимся, как тигр перед прыжком, прокурором в концертном зале, и арестовать его мешает только нескончаемая симфония Брукнера.

В романе много подобных намеренных замедлений, ретардаций. Кипит жизнь, главное происшествие обрастает боковыми ветвями, казалось бы не имеющими никакого отношения к делу. О каждом из множества лиц тут же вкратце сообщается его жизненная история. Для характеристики дамы, произносящей в романе всего несколько слов, сказано: "итальянская вдова немецкого промышленника". В тексте то и дело

встречаются скобки — автор помещает в них дополнительные сведения. Все описано, осмотрено, выяснено. Но по-прежнему непонятно, почему цюрихский кантональный советник и крупный промышленник господин Колер выстрелил, зайдя на минуту в фешенебельный ресторан, в профессора германистики Винтера и почему он, с таким удовольствием почитывая Платона, пребывает потом в тюрьме.

В романе ищут не убийцу, но смысл. Начальник кантональной полиции, как и многие другие, не может примириться с тем, что осужденный не сообщил причины, по которой он убил человека.

Но смысла в этом мире нет. Законы здесь совершенно другие. Все так же кощунственно, как вывеска "Утоли моя печали" над забегаловкой, где действующие лица опрокидывают стаканчик.

В этом-то сорвавшемся с петель мире арестованный Колер предлагает молодому незадачливому адвокату Шпету, от лица которого ведется повествование, расследовать теоретическую возможность: а что, если принять, что убил не он, а совсем другой человек? Автор будто задает нам вопрос: неужто возможно такое? Может ли эта нелепая версия быть принята за реальность? И отвечает: очень даже может!

Разбираясь в истоках повести "Лунное затмение", Дюрренматт вспоминал шалость студенческих лет. Однажды ночью он вместе с товарищами принялся звонить на метеорологическую станцию университета, сообщая, что в различных точках страны Луна, скрытая в Цюрихе облаками, приняла четырехугольную форму, удвоилась, утроилась и тому подобное. На следующее утро обнаружилось, что научная общественность пришла в движение. Профессор объяснил студентам на лекции возможность подобного явления при определенном состоянии атмосферы. Происшествие с луной вошло затем в сюжет обдумывавшейся тогда повести "Лунное затмение". Опыт же с мгновенным усвоением невероятного факта отразился не только тут, но и в "Визите старой дамы", и в "Правосудии". Человеческое сознание легко принимает ложь и фальсификацию. Его легко повернуть в любую сторону, в том числе обратить ко злу. В написанном в давние годы детективном романе "Судья и его палац" Дюрренматт видел воплощение зла в скрывавшемся в Швейцарии нацистском преступнике. Начиная со "Старой дамы" и дальше, вплоть до последних своих произведений, он не локализует зла: на волнующее или невольное участие в преступлении, считает Дюрренматт, способен каждый. Выстрел Колера, свидетелями которого были присутствовавшие в ресторане, подергивается пеленой тумана. Утверждается новая "очевидность": убийство совершил другой человек, кстати, он чемпион страны по стрельбе.

Кое-что в романе "Правосудие" так и остается неясным. Высказано несколько предположений о причинах совершенного Колером убийства. Вероятно, в преступлении были замешаны пришедшие в столкновение интересы двух трестов (эта идея возникает к концу романа). Но вероятна и догадка Шпета: стремительный бег событий, результатом которых стали пять трупов и множество сломанных судеб, не имел иного толчка, кроме прихоти Колера, пожелавшего узнать, как далеко простирается его власть над людьми. Все происшедшее, если принять эту версию, было срежиссировано Колером с таким же мастерством, с каким он играл на бильярде. "На основе этого поручения, — объясняет Шпет дочери Колера, Элен, — ваш отец хочет исследовать границы возможного".

Автор, безусловно, и не хотел полной ясности: ведь разгадка мотивов убийства все равно была бы частной по отношению к замыслу романа. Автор хотел растревожить читателей не туманностью дела Колера (это только одно и не самое главное его намерение), а отсутствием правды, истины вообще. Влюбленный в Элен Шпет считает ее то чистой душой, то сообщницей отца, посвященной в его расчеты. Но если, рассуждает Шпет, правильно второе предположение, то где та правда и истина, которой можно было бы ее пристыдить? "Что мы еще собой представляем? Что воплощаем? Осталась ли хоть крупинка смысла, хоть гран значения в описанном мною наборе?"

Знаками совершенной зыбкости, неустойчивости, приметой распадающейся действительности и являются в этом романе любимые

Дюрренматтом "перевертыши". Все двойится, бросает неверные отражения, выстраивается в комические подобию. Вдруг, будто бы ни к тому ни к сему, на страницах романа появляется пара ученых-социологов, они расследуют, какую пользу принесло университету убийство видного германиста. Муж и жена — почти что куклы и так сжились друг с другом, что госпожу профессоршу можно принять за брата-близнеца ее супруга. Вместо зловещей большеголовой карлицы-миллионерши прожигает жизнь под ее именем другая. Да и позиция самого рассказчика, автора записок адвоката Шпета, сомнительна и двойственна. Последний идеалист, еще не оставивший борьбы за справедливость (хоть фамилия его Шпет в переводе с немецкого значит "поздно"), он становится фигурой двусмысленной. Раз принявши поручение Колера, он волей-неволей допустил и его невиновность. Как говорит Шпету другой участник этой нечистой затеи: "Для нас Колер больше не убийца. Теперь мы должны подыгрывать".

Непредвиденные случайности все время толкают Шпета в нужном Колеру направлении. Шпет думает, что совершает поступки, но кто-то (что-то) действует на него. За случайностями в этом романе, как и в реальной жизни, проглядывает закономерность.

Но необходимость и свобода, закономерность и волевое решение находятся у Дюрренматта в подвижных, глубоких отношениях, хоть, казалось бы, его герои связаны по рукам и ногам. Рассуждая в одной из теоретических статей о нравственности и ответственности в современном "безликом" мире, он писал и об обязанности прорвать эту безликость, к торжеству которой причастны все: "Хоть мы говорим: "Мы этого не хотели", мы ведь все-таки сделали свой выбор".

От описанного в романе "набора", от всех этих колеров, штюссилоппинов и им подобных, от концерна "Штайерман — жертвам", производящего не только протезы, но танки, автомапы и минометы (все это-де усовершенствованные модели протеза руки, выполняющей функцию защиты), автор переходит к просторам более широким. Взгляд в прошлое — и перед читателем краткая история Швейцарии, пара абзацев — и свободно очерчен швейцарский дух, швейцарский образ мыслей. Спрятавшись за спину бунтующего Шпета, автор скептически и сурово (быть может, слишком сурово?) оценивает движущие силы швейцарской действительности: "Идеалы страны всегда имели практическую основу. В остальном же жили так, что для каждого предполагаемого врага было выгодней не соваться, — аморальная по сути, но здоровая, жизненная установка".

Но и граница, отделяющая автора от героя, часто размыта (Дюрренматт шутивно продолжает игру в раздвоения и слияния и в этом случае): как сказано в тексте, автор будто вступает в рукопись Шпета, с ней совпадает (буквально совпадает кое-что, например, в описании Шпетом и автором парка у виллы Колера).

На последних страницах, однако, игре уже нет места. Перед нами сам Дюрренматт под звездным небом, на террасе своего дома.

Удивительны эти внезапные лирические отступления, столь неожиданные для чуравшегося откровенностей писателя. Речь здесь идет уже не о событиях романа и не об одной Швейцарии. Почти забыв о своих героях, оставив выдумку, Дюрренматт говорит о страшной игре, в которую втянуто современное человечество.

В непреднамеренности текущей жизни, в путанице существенного и случайного, в смешении интересов всеобщих и личных Дюрренматт, причувивший своих читателей к "двойной оптике", предлагает увидеть вместо плавного перехода еще один разрыв — между настоящим и будущим человечества. Никогда еще, полагает писатель, будущее не было столь проблематично, необязательно, никогда еще возможности будущего развития не отходили так далеко от настоящего и не отличались так друг от друга.

Будущее человечества занимает Дюрренматта и в новелле "Поручение" и повести "Зимняя война в Тибете".

Новелла "Поручение" (1986) отличается скупостью и холодноватой отстраненностью стиля. Достаточно сказать, что ее двадцать четыре глав-

ки — это двадцать четыре предложения. На страницах растянулись фразы, в которых нет ни единой точки. Части огромного предложения ловко сопряжены, из одного, как и в самом дюрренматовском мире, с неизбежностью вытекает другое. Целое прозрачно. Новеллу с полным основанием можно назвать классической. Но это классичность поздняя, классичность XX века, родившаяся из усталости и отчаяния. В ровности тона этой новеллы есть нечто от ровности освещения и тревожной застылости мира на столь же "классических" полотнах сюрреалиста Кирико. Города Кирико будто вымерли — это мир, который остался после исчезновения человека.

Изображенное Дюрренматтом недалеко от этого часа. Подчиняясь неведомому механизму, действие то и дело возвращается на круги своя. Кажется, что главным для автора был вообще не сюжет, не действие, а картина. Где-то в песчаной пустыне расположен тайный полигон, на котором постоянно проводятся испытания военной техники многих стран. Повсюду громоздятся груды развороченных металлических конструкций. Время от времени слышатся взрывы. Все так же чудно и странно человеческому взору, как лунный ландшафт. В этих-то условиях и действуют дюрренматовские персонажи. Сюжет детективен, но игрушечен, он будто наклеен на трагический фон.

Молодая журналистка Ф. отправляется в экзотическую страну на экзотическое место преступления, где жизнь ее сейчас оказывается висющей на волоске. Надо всем происходящим тень терроризма. Но наиболее впечатляющий эпизод, когда героиня попадает к фотографу-любителю, главной своей задачей считающему перехитрить всех наблюдателей и с помощью камеры, этого глаза Полифема, запечатлеть все фазы совершающихся убийств и преступлений. Только так, смонтировав множество жутких кадров, можно постичь происходящее. В конце концов и этот наблюдатель попадает под наблюдение других наблюдателей.

В 1981 году пришел к завершению давний замысел, разрабатывавшийся в неоконченном романе "Город" и рассказе "Из записок охранника": автор "записал" теперь текст окончательного варианта — повесть "Зимняя война в Тибете".

Когда-то, в 40 — 50-х годах, Дюрренматт, по собственному его признанию, не справился с вызревающим уже тогда замыслом "Зимней войны в Тибете". Для окончательного воплощения ему не хватало тогда ни дистанции к материалу, ни духовной и художественной зрелости. Не хватало ему и того политического опыта, тех трагических проблем и предчувствий, которые рождены нашей действительностью.

Несмотря на сравнительно небольшой размер, повесть воспринимается как грандиозная фреска. Планета после атомной катастрофы. Одиавшие, озверевшие люди рушат последние остатки техники, в которой видят причину происшедшего. Но где-то на плоскогорьях Тибета (это место, комментировал Дюрренматт, может быть и гораздо ближе) продолжают биться люди. Управление Городом, мировая Администрация раздрагают с детства воспитанное, въевшееся в сознание убеждение, что рядом не такие же полумертвые, а враги, с которыми надо бороться, ради которых жить. Против кого воюют люди? Что и кого они защищают? Ради чего теряют руки-ноги и голову? Враг — это фикция. Родины нет. Существует незримая Администрация и наемники, представители разных народов и рас, уничтожающие себя и себе подобных. "Я наемник" — первые слова этой повести, солдат наемной армии, человек, продавший себя посторонней власти...

Дюрренматт написал о замерзших городах, о потерявших разум людях, о мире, похожем на бордель и застенок сразу. Но не меньше, чем о мире после атомной катастрофы, в повести говорится о мире до нее. Ведь абсурдная ситуация, когда укрывшиеся в бункерах правительства (так преобразился еще раз образ пещеры, убежища) вызывают по радио к своим уничтоженным ими народам, выросла из предшествующего времени, из разрыва между людьми и административной системой.

Много страниц в повести уделено физическим процессам, происходящим во Вселенной. Дюрренматта увлекает теория больших чисел, по

поводу которой он написал когда-то специальную статью. Но Солнечная система занимает автора не сама по себе, а как параллель к напряженному, предкатастрофическому состоянию земной цивилизации, как возможность дать образ сегодняшней действительности.

Превратившийся в калеку наемник, едва передвигающийся по бесконечному подземному лабиринту, царапает на стене свои записи протезом, которым служит привязанный к культе автомат. Обезумевший от страха, он в любую секунду готов стрелять. Призрачные фигуры врагов, как тени на задней стене пещеры Платона (философа, о котором не раз вспоминают в повести), кажутся ему реальной жизни у входа в лабиринт и пещеру. Уже один этот образ — фантастический и убедительный — будто само современное человечество.

* * *

Дюрренматт — мастер прозы высокого интеллектуального накала. Истоки этого ее качества не в занятиях автора философией в молодые годы. В его прозе не разворачивается диспут, не развиваются идеи и концепции, что привычно в произведениях такого рода. Интеллектуализм Дюрренматта в другом. "Настоящий писательский труд, — сказал он однажды, — всегда есть участие в продумывании и проигрывании возможностей человека". В этой приоткрывающей правду художественной игре он достиг совершенства.

Н. Павлова

ПРАВОСУДИЕ

РОМАН



JUSTIZ
Roman

Перевод С. Фридлянд

© 1985 by Diogenes Verlag AG, Zürich

Этот роман не основан на фактах. Имена, лица, место, действие выдуманы автором. Возможное сходство с истинными событиями, местами или лицами, все равно — живыми или мертвыми, носит чисто случайный характер.

I

Спору нет, я пишу этот отчет для порядка, из своего рода педантизма, чтобы приобщить его к делу. Я хочу заставить себя еще раз пересмотреть весь ход событий, которые привели к оправданию убийцы и к гибели невинного. Я хочу еще раз продумать шаги, на которые меня толкнули, меры, которые я принял, возможности, которые были мной упущены. Я хочу повторно и добросовестно взвесить все шансы, которыми предположительно еще располагает юстиция. Но главным образом я пишу этот отчет потому, что в запасе у меня есть время, много времени, месяца два как минимум. Я только что вернулся прямым из аэропорта (те бары, куда я заглядывал на обратном пути, в счет не идут, мое теперешнее состояние тоже не имеет значения. Я пьян в стельку, но до утра я снова протрезвею).

Когда я выскочил из своего "фольксвагена", сняв револьвер с предохранителя, гигантская машина, уносящая доктора honoris causa Исаака Колера, с ревом и воем взмыла в ночное небо и взяла курс на Австралию. Старик проделал один из своих гениальных трюков, позвонив мне перед отлетом; ему, без сомнения, было известно, что я задумал, так же как всем было известно, что у меня нет денег, чтобы за ним последовать.

Поэтому мне ничего другого не остается, кроме как ждать, когда он вернется, когда-нибудь в июне, а может, в июле, напиваться, часто или изредка, смотря по состоянию моих финансов, и писать, писать — единственное занятие, которое еще подобает окончательно прогоревшему адвокату.

Но в одном кантональный советник просчитался: время не загладит совершенное им преступление, мое ожидание его не уменьшит, мое пьянство его не зальет, мои записи его не оправдают. Рассказывая всю правду, я тем самым запечатлеваю ее глубоко в памяти, я вызываю в себе способность однажды — в июне, как я уже говорил, или в июле, словом, когда бы он ни вернулся (а он непременно вернется), все равно, буду я пьян или трезв, — совершить в здравом уме и твердой памяти то, что я намеревался совершить в состоянии аффекта. Мой отчет не только обоснование, но и подготовка убийства. Справедливого убийства.

Снова протрезвясь, у себя в кабинете: справедливость теперь можно восстановить только с помощью преступления. И не покончить после этого с собой нельзя. Я отнюдь не собираюсь таким путем избежать ответственности, напротив, лишь таким путем я отвечу за свой поступок, пусть даже не с юридической, зато по крайней мере с человеческой точки зрения. Я знаю всю правду и не могу ее доказать. У меня нет свидетелей по самому главному пункту. Благодаря моему добровольному уходу из жизни им будет проще поверить мне и без свидетелей. Я иду на смерть не как ученый, который, поставив опыт на самом себе, убивает себя во имя науки, нет, я умираю потому, что продумал свое дело до логического конца.

Место преступления (оно особенно важно). Ресторан "Театральный" с фасадом в стиле рококо — один из немногих архитектурных памятников, сохранившихся в нашем безнадежно застроенном городе. Ресторан занимает три этажа, что известно далеко не каждому, большинство знает только про два. На первом этаже в нескончаемо долгие утра — у нас рано встают — можно найти заспанных студентов, впрочем, и деловых людей тоже, последние часто засиживаются до обеда, а то и позже, затем, после кофе с вишнежкой, все стихает, официантки прячутся, и лишь часов около четырех прибывают истомленные учителя, заявляют усталые чиновники. Но основной вал накатывает к ужину и потом еще раз, после половины одиннадцатого: наряду с политическими деятелями, менеджерами и финансовыми воротилами — прочие представители свободных и сверхсвободных профессий, но одновременно и слегка робеющие иностранцы, ибо наш город любит выдавать себя за международный центр. Поэтому на втором этаже все до ужаса изысканно. До ужаса, иначе не скажешь: в двух низких, с красными обоями залах стоит тропическая жара, но гости терпят, дамы — в вечерних туалетах, мужчины нередко в смокингах. Воздух пропитан потом, духами и, сообразно с профилем заведения, ароматом кулинарных изысков нашего города — телячьи медальоны с пом-фри и тому подобное. Здесь встречаются (собственно, то же самое общество, что и этажом ниже, только в парадном обличье) после премьер и после крупных сделок, однако не затем, чтобы проверить дело, а затем, чтобы отпраздновать уже провернутое. На третьем этаже характер "Театрального" снова меняется, и ты с удивлением отмечаешь известный налет распущенности. Здесь правит бал бесцеремонность. Залы третьего этажа, высокие, светлые и большие, смахивают на залы дешевого питейного заведения — обычные деревянные стулья, на столах клетчатые скатерти, всюду подставки для пивных кружек, у самой лестницы — полупустое кабаре с второразрядными фокусниками и третьеразрядным стриптизом. Гости играют в карты и в бильярд. В этом зале собираются городские зеленщики, строительные подрядчики, владельцы универсальных магазинов, хозяева больших гаражей, специалисты по сносу домов, они порой сидят часами, ставки здесь фантастические, а вокруг игроков шныряют поддипалы, нелепые и подозрительные личности, протистутки тоже сидят и ждут, иногда их три, иногда четыре, все время за одним и тем же столом у окна, их не просто терпят, нет, они являются частью обстановки по доступной цене. Относительно доступной. Люди и в самом деле богатые считают и пересчитывают каждый грош.

Первый раз я встретил кантонального советника, когда сам только что сдал государственный экзамен, написал диссертацию, получил звание

доктора и патент на адвокатскую практику, но продолжал работать, как и в студенческие годы, у Штюсси-Лойпина в роли мальчика на побегушках, хоть и рангом повыше. Мой принципал успел к тому времени снискать известность далеко за пределами нашей страны благодаря оправдательным приговорам, которых сумел добиться для лиц, обвиняемых в убийстве братьев Эtti, Розы Пик, Дойбельбайса и Амслера, и благодаря сделанному им сравнению между Вспомогательными мастерскими "Трёт" и Соединенными Штатами Америки (причем очень и очень в пользу трётенцев). Мне надлежало препроводить Штюсси-Лойпину в "Театральный" заключение по поводу одного из тех сомнительных дел, которым он отдавал явное предпочтение. Я застал прима-адвоката на третьем этаже, у бильярдного стола, где он только что завершил партию с кантональным советником, а за другим столом играл доктор Бенно с профессором Винтером, и лишь теперь, когда я это записываю, мне задним числом становится ясно, что там собрались все главные персонажи предстоящего действия, словно в некоем Прологе. Был собачий холод, на дворе стоял не то ноябрь, не то декабрь, точную дату установить нетрудно, и я замерз, так как по привычке ходил без пальто, а мой "фольксваген" мне пришлось оставить в нескольких кварталах от "Театрального".

— Закажите-ка себе грогу, молодой человек, — обратился ко мне кантональный советник. Он пристально оглядел меня и подзвал официанта. Я невольно повиновался, тем более что мне все равно следовало ожидать распоряжений от Штюсси-Лойпина, который отошел с моим заключением в сторону и теперь листал его за одним из столиков.

В передней части зала играли зеленщики, темными силуэтами выступали они на фоне окон. С улицы доносился приглушенный грохот трамвая. Кантональный советник все еще разглядывал меня, не пряча взгляда и без тени смущения. На вид ему было под семьдесят. Он, единственный из всех, не снял пиджак, но и потеть не потел. Я наконец назвал себя, смутно догадываясь, что имею дело с человеком высокопоставленным, но имя его мне в голову не приходило.

— Вы не родственник ли полковнику Шпету? — спросил он, но себя не назвал, то ли не придавая этому значения, то ли предполагая, что он мне и без того знаком. (Полковник Шпет, марциальный аграрий, ныне федеральный советник. Сторонник наращивания атомных вооружений.)

— Едва ли, — ответил я. (Чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом: я родился в 1930 году. Свою мать, Анну Шпет, я никогда не знал, отец вообще неизвестен. Я вырос в сиротском приюте, о котором вспоминаю с удовольствием, особенно необозримый лес, к нему примыкавший. Дирекция и педагогический состав были там выше всяких похвал, детство — счастливое, иметь родителей — это не всегда к лучшему. Мои несчастья начались с доктора h. c. Исаака Колера, до того у меня хоть и бывали затруднения, но не безнадежные.)

— Вы собираетесь стать компаньоном Штюсси-Лойпина? — спросил он. Я удивленно взглянул на него.

— И не думал.

— Он высоко вас ценит.

— От меня он это почему-то до сих пор скрывал.

— Штюсси-Лойпин все от всех скрывает, — сухо заметил старик.

— Ну и напрасно, — беззаботно отвечал я. — Мне хочется самостоятельности.

— Вам будет очень нелегко.

— Возможно.

Старик засмеялся:

— Вы еще всякого натерпитеесь. В нашей стране без поддержки трудно пробиться наверх. В бильярд играете? — вдруг спросил он без всякого перехода.

Я ответил отрицательно.

— Ну и напрасно, — сказал он и снова задумчиво уставился на меня с глубоким удивлением в серых глазах, но уже не насмешливо, как мне показалось, а без юмора, сурово, после чего подвел меня ко второму бильярду, где играли доктор Бенно и профессор Винтер, этих я знал: профессора — по университету, он был ректором, когда я туда поступал, доктора Бенно — из мира ночной жизни, процветавшей в нашем городе, в те времена, правда, не долее чем до полуночи, но зато весьма интенсивно. Бенно был человеком неопределенного рода занятий. Когда-то он был олимпийским чемпионом в фехтовании, за что и получил прозвище Хайнц Олимпиец, когда-то он стал чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета, а известным игроком в гольф он оставался до сих пор; еще когда-то он содержал картинную галерею, которая не окупалась, теперь же, если верить слухам, он преимущественно управлял чужими капиталами.

Я поздоровался, они кивнули.

— Винтер на всю жизнь останется в бильярде новичком, — сказал доктор h.c. Колер.

Я засмеялся:

— Зато вы, наверно, мастер.

— Разумеется, — спокойно ответил он. — Бильярд — моя страсть. Дайте-ка сюда кий, профессор, все равно такой удар вам не осилить.

Профессор Адольф Винтер передал ему кий. Винтер был мужчина лет шестидесяти, грузный, но небольшого роста, сверкающая лысина, золотые очки без оправы, ухоженная черная с проседью борода, которую он любил с достоинством поглаживать, всегда тщательно одет, хоть и консервативно, однако не без изящества, словом, один из тех гуманитарных краснобаев, которыми кишмя кишит наш университет, член ПЕН-клуба и Фонда Устери, автор двухтомного кирпича под названием "Карл Шпиттелер и Гесиод, или Швейцария и Эллада. Сравнение". Издательство "Артемис", 1940 (мне, как юристу, философский факультет всегда действовал на нервы).

Кантональный советник старательно натирал мелом кожаную нащепку. У него были спокойные, уверенные движения, и как бы резко ни звучали его слова, эта резкость не казалась высокомерной, скорей продуманной и выдержанной, все в нем свидетельствовало о силе и непоколебимости. Чуть наклонив голову, он окинул взглядом бильярдное поле и ударил, быстро и решительно.

Я провожал глазами движение белых шаров, их столкновение, откат.

— От борта дуэлетом — вот как можно справиться с Бенно, — промолвил кантональный советник, возвращая кий профессору. — Усвоили, молодой человек?

— Я в этом ничего не смыслю, — ответил я и занялся своим грогом, который кельнер тем временем поставил на столик.

— Ничего, когда-нибудь поймете. — Доктор h.c. Исаак Колер захохотал и, сняв со стены скатанную газетную подшивку, удалился.

Убийство. То, что произошло три года спустя, общеизвестно, и об этом можно рассказать в двух словах (для чего мне совсем не обязательно быть

трезвым). Доктор h.c. Исаак Колер отказался от мандата, хотя колеровская партия выдвинула его кандидатуру на пост правительственного советника (правительственного, а не федерального, как о том писали некоторые зарубежные газеты), вообще отошел от политики (свою адвокатскую практику он забросил много раньше), возглавил кирпичный трест, который приобрел все больший международный размах, попутно отправляя обязанности президента в ряде правлений, подвизался также в одной из подкомиссий ЮНЕСКО и порой месяцами не показывался в нашем городе вплоть до того не по сезону теплого дня, в марте 1955 года, когда он провез через наш город английского министра Б. Визит министра носил сугубо частный характер — в одной из частных же клиник нашего города его пользовали от язвы желудка; теперь он сидел рядом с бывшим кантональным советником в "роллс-ройсе" последнего и безо всякого интереса знакомился напоследок с нашим городом; весь месяц он категорически отказывался от этого знакомства, чтобы под конец все-таки сдать, зевая, глядел он на проплывающие мимо достопримечательности, технический институт, университет, Мюнстер, романский стиль (кантональный советник подбрасывал по мере надобности короткие реплики), река трепетала сквозь мягкий воздух (как раз садилось солнце), набережная была полна людей. Министр, еще храня на губах привкус бесчисленных картофельных пюре и овсяных каш с сухофруктами, которыми его пичкали в частной клинике, но мечтая о неразбавленном виски, слышал голос советника как бы издалека, а шум транспорта — как шум еще более отдаленный, и под этот шум он задремал; им овладела свинцовая усталость, а может быть, и предчувствие, что язвы — вещь отнюдь не безобидная.

— Just a moment ¹, — произнес доктор h.c. Исаак Колер, после чего приказал шоферу Францу остановиться перед "Театральным", вылез, велел подождать минуту, успел еще машинально указать зонтиком на фасад "восемнадцатого века", но министр Б. никак не реагировал, он дремал и видел сны. Кантональный советник направился в ресторан, проник через вращающуюся дверь в большой зал, где был почтительнейше встречен метрдотелем. Время шло к семи, все столики были заняты, гости ужинали, мешанина голосов, чавканье, звяканье вилок и ножей. Бывший советник огляделся по сторонам, затем решительно проследовал к центру зала, где за маленьким столиком сидел профессор Винтер, всецело занятый филе а-ля Россини и бутылкой шамбертена, достал револьвер и пристрелил члена ПЕН-клуба, не преминув для начала приветливо с ним поздороваться (вообще все свершилось самым благоприспособленным образом), после чего столь же невозмутимо проследовал мимо остолбеневшего метрдотеля, который молча таранился на него, мимо растерянных, до смерти напуганных официанток, через вращающуюся дверь под теплое мартовское небо, снова сел в свой "роллс-ройс", к дремлющему министру, который так ничего и не заметил, который даже не осознал, что машина останавливалась, который просто дремал, просто видел сны, то ли о виски, то ли о политике (кстати, его и в самом деле смыла волна Суэцкого кризиса), то ли о некоем предчувствии по части своей язвы (на прошлой неделе газеты опубликовали сообщение о его смерти, с очень скупым комментарием, причем большинство газет ухитрилось перевернуть его имя).

— В аэропорт, Франц, — приказал доктор h.c. Исаак Колер.

¹Одну минутку (англ.).

Интермеццо его ареста. Без злорадства об этом рассказывать трудно. Через несколько столиков от убитого сидел за трапезой глава кантональной полиции вместе со своим старым другом, скульптором по имени Мокк. Погруженный в себя, да вдобавок глухой, Мокк вообще не воспринял ничего из происходящего ни раньше, ни потом. Оба ели potaueu — отварное мясо с приправами и к нему бульон с овощами. Мокк — не без удовольствия; полицейский начальник, отнюдь не поклонник "Театрального", лишь изредка здесь бывавший, — не без отвращения. В этом блюде решительно все было ему не по вкусу: бульон слишком холодный, мясо слишком волокнистое, брусника слишком сладкая. Когда раздался выстрел, начальник не поднял глаз, что вполне возможно, во всяком случае, так рассказывают, поскольку он как раз в эту минуту по всем правилам высасывал мозг из мозговой кости, потом наконец встал, даже опрокинув при этом стул, как человек порядка, снова его поднял и подошел к Винтеру, но тот уже лежал на своем филе а-ля Россини, все еще сжимая рукой бокал с шамбер-теном.

— Это не Колер тут был? — справился начальник у по-прежнему невменяемого, бледного метрдотеля, который в ужасе на него воззрился.

— Так точно. Совершенно верно, — пролепетал метрдотель.

Начальник задумчиво разглядывал убитого германиста, затем перевел мрачный взгляд на тарелку с жареным картофелем и бобами, скользнул по миске с нежной зеленью салата, помидорами и редиской.

— Тут больше ничего не поделаешь, — изрек он.

— Так точно. Совершенно верно.

Гости, поначалу окаменевшие, вскочили со своих мест. Из-за стойки глазел повар и прочий кухонный персонал. Только Мокк невозмутимо продолжал есть. Вперед протиснулся худой человек.

— Я врач.

— Ничего не трогайте, — спокойно распорядился начальник. — Нам его сперва надо сфотографировать.

Врач наклонился к профессору, но приказа не нарушил.

— Действительно, — констатировал он. — Убит.

— То-то и оно, — спокойно ответил начальник. — Вернитесь на свое место.

Затем он взял со стула бутылку шамбертена.

— А это мы конфискуем, — сказал он и протянул бутылку метрдотелю.

— Так точно. Совершенно верно, — пролепетал тот.

Затем начальник отправился звонить.

Вернувшись, он застал над трупом прокурора Йеммерлина. Прокурор был одет в парадный темный костюм. Он собирался на симфонический концерт и, когда раздался выстрел, доедал на втором этаже во французском ресторане омлет "Сюрприз" на сладкое. Йеммерлина в городе не любили, и о том времени, когда он уйдет на покой, мечтали все — шлюхи и конкуренты из другого лагеря, воры и взломщики, проштрафившиеся прокурористы, деловые люди, оказавшиеся в затруднении, но также и юридический аппарат — от полиции до адвоката, мало того, собственные коллеги и те его не жаловали. Все изощрялись в дурацких шутках по его адресу, ну и тому подобное. Прокурор занимал безнадежную позицию, авторитет его был давным-давно подорван, присяжные все чаще открыто ему перечили, а с ними заодно и судьи, но больше всего страданий причи-

нял ему начальник полиции, молва утверждала, будто начальник считает так называемую уголовную часть нашего населения его лучшей частью. Впрочем, Йеммерлин был юрист высокой пробы, он отнюдь не всегда терпел поражение, его запросов и реплик боялись, его бескомпромиссность внушала уважение в такой же мере, в какой возбуждала ненависть. Он являл собой образец прокурора старой закваски, для которого каждый оправдательный приговор есть личное оскорбление, который одинаково несправедлив и по отношению к бедным, и по отношению к богатым. Йеммерлин был холост, недоступен искушениям, никогда в жизни не прикоснулся ни к одной женщине. Что и составляло его профессиональный недостаток. Преступники были для него чем-то непонятным, почти демоническим, они повергали его в ярость, которая подобала героям Ветхого завета, он был пережитком несгибаемой, но зато и неподкупной морали, доледниковый валун в "болоте юстиции, которая готова все оправдать", говорил он столь же пламенно, сколь и желчно. Вот и теперь он был чрезвычайно возбужден, тем более что лично знал и убитого, и убийцу.

— Господин начальник! — негодуяще вскричал он, все еще держа салфетку в руке. — Говорят, будто убийство совершил доктор Исаак Колер!

— Правильно говорят, — буркнул начальник.

— Но это же просто невозможно.

— Колер, верно, спятил, — ответил начальник, сел на стул возле покойника и раскурил одну из своих неизменных "Байанос". Йеммерлин промокнул салфеткой пот на лбу, подтащил стул от соседнего стола и тоже сел, так что грузный мертвец лежал головой в тарелке как раз между обоими крупными и массивными блюстителями закона. Они сидели и ждали. В ресторане стояла мертвая тишина. Никто больше не ел. Все смотрели на зловещую троицу. Лишь когда в зал ворвалась ватага студентов, возникло некоторое замешательство. Студенты начали с пением разбредаться по залу, не сразу сообразили что к чему, продолжали драть глотку и лишь потом замолкли смущенно. Наконец появился лейтенант Хэррен с другими членами комиссии по расследованию убийств. Полицейский фотографировал, судебный медик стоял без всякого дела рядом, а пришедший с комиссией окружной прокурор извинился перед Йеммерлином за свой приход. Тихие приказы, распоряжения. Потом мертвеца подняли — на лице подливка, борода в гусиной печенке и зеленых бобах, — уложили на носилки и перенесли в санитарную машину. А золотые очки Элла обнаружила, только когда ей позволили убрать со стола, в жареной картошке. После чего окружной прокурор приступил к допросу первых свидетелей.

Возможный вариант первого разговора. Когда официантки вышли из оцепенения, когда гости медленно и нерешительно заняли прежние места, а некоторые снова начали есть, когда прибыли первые журналисты, прокурор вместе с начальником полиции удалились для обсуждения в кладовую возле кухни, куда их проводили. Прокурор хотел какое-то время побыть наедине с ним без свидетелей. Предстояло организовать и провести открытый процесс. Краткое обсуждение среди полка с хлебом, консервами, мешками муки, бутылками масла прошло неудачно. Согласно докладу, с которым начальник полиции впоследствии выступил перед парламентом, прокурор потребовал широко задействовать силы полиции.

— Это еще зачем? — спросил начальник. — Кто ведет себя, как Колер, тот бежать не собирается. Мы спокойно можем арестовать его дома.

Йеммерлин разгорячился:

— Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы будете обращаться с Колером как с любым другим преступником?

Начальник промолчал.

— Этот человек — один из самых богатых и самых известных жителей нашего города, — продолжал Йеммерлин. — Наш священный долг — (одно из его любимых выражений) — действовать с сугубой строгостью. Мы должны избежать даже тени подозрения, что мы ему попустительствуем.

— Наш священный долг, — спокойно возразил начальник, — обойтись без ненужных расходов.

— Значит, тревогу номер один объявлять не будете?

— И не подумаю.

Прокурор возрился на хлеборезную машину, возле которой стоял.

— Вы дружны с Колером, — наконец изрек он, даже и не сердито, а холодно, как бы по долгу службы. — Вам не кажется, что это обстоятельство может повлиять на вашу объективность?

Молчание.

— Дело Колера будет вести лейтенант Хэррен, — невозмутимо отвечал начальник.

Так начался скандал.

Хэррен был человеком действия, честолюбивым, а потому с самого начала проявил неумную поспешность. Ему удалось всего за несколько минут не только поднять по тревоге всю полицию, но и встревожить все население, поскольку он пропихнул на радио, перед программой новостей в семь тридцать, экстренное сообщение кантональной полиции. Буча поднялась страшная. Вилла Колера оказалась пустой (Колер был вдовец, его дочь, стюардесса компании "Свиссэр", находилась в полете, кухарка ушла в кино). Можно было заподозрить попытку скрыться. Патрульные машины прочесывали город, пограничники были предупреждены, Интерпол поставлен в известность. С точки зрения чисто технической это заслуживало высокой похвалы, вот только упускалась возможность, которую предвидел начальник полиции: разыскивали человека, и не думавшего скрываться. Несчастье уже произошло, когда в начале девятого из аэропорта поступило сообщение, что Колер проводил до самолета одного английского министра, потом преспокойно уселся в свой "роллс-ройс" и приказал везти себя обратно в город. Тяжелей других пострадал на этом деле федеральный прокурор. Успокоенный безупречным функционированием могучего государственного механизма, еще торжествуя свою победу над треклятым начальником, он как раз изготавился слушать увертюру Моцарта к "Похищению из сераля" и в предвкушении удовольствия уже погладил аккуратную седую бородку и откинулся в креслах, а Мондшайн уже поднял дирижерскую палочку, когда по проходу большого концертного зала в сопровождении одной из самых богатых и самых простодушных вдов нашего города, мимо заполненных слушателями рядов проследовал к первым рядам разыскиваемый полицией с применением новейших технических средств доктор h.c., спокойный и уверенный, как обычно, с невинным выражением лица, будто ровным счетом ничего не случилось. Доктор h.c. занял место подле Йеммерлина и даже потряс остолбеневшему прокурору руку. Возбуждение, шепот и — увы! — хихи-

канье трудно было не заметить, увертюра явно не удалась, поскольку и оркестранты прекрасно видели все происходящее, один гобоист даже привстал от любопытства, Мондшайну пришлось начинать дважды, прокурор же пребывал в таком смятении, что сидел будто окаменевший не только во время увертюры, но и во время последовавшего за ней Второго фортепьянного концерта Иоганнеса Брамса. Правда, он сумел оценить ситуацию к тому времени, когда начал свою партию пианист, но прерывать Брамса не рискнул, слишком велик был его пиетет перед культурой, он страдал от сознания, что надо бы вмешаться, но теперь было слишком поздно, приходилось ждать антракта. Зато в антракте он начал действовать, протиснулся сквозь толпу, с любопытством обступившую кантонального советника, стремглав помчался к автоматам, принужден был вернуться и попросить у гардеробщицы мелочь, позвонил в полицейское управление, связался с Хэрреном и организовал сбор всех частей. Меж тем Колер разыгрывал святую невинность, он отправился в бар, где угощал вдову шампанским, этому подлецу вдобавок до того везло, что даже второе отделение концерта началось за несколько секунд до прибытия полиции. Вот и пришлось Йеммерлину вместе с Хэрреном торчать перед закрытыми дверями, покуда в зале бесконечно тянулась Седьмая Брукнера. Прокурор возбужденно метался взад и вперед, так что капельдинерам несколько раз пришлось его призывать к порядку, и вообще с ним обращались как с дикарем. Он проклинал на чем свет стоит всю романтику, проклинал Брукнера, за дверью до сих пор тянули адажио, и когда наконец после финала раздались аплодисменты (которые, кстати сказать, тоже никак не хотели кончаться), а публика между шпалерами полицейских начала покидать зал, доктор h.c. оттуда вообще не вышел. Он исчез. Начальник полиции провел его через служебный выход к своей машине и отвез в полицейское управление.

Возможный вариант второго разговора: в управлении начальник провел д-ра h.c. в свой кабинет. По дороге они не обменялись ни единым словом, теперь начальник шел первым по пустому, плохо освещенному коридору. В кабинете он молча указал на покойное кожаное кресло. Закрыл дверь на цепочку и скинул пиджак.

— Располагайтесь со всеми удобствами.

— Спасибо, я уже расположился, — отвечивал Колер, который тем временем успел сесть.

Начальник выставил два бокала на стол, разделявший оба кресла, и достал из шкафа бутылку красного вина.

— Шамберген Винтера, — пояснил он, разлил вино по бокалам, тоже сел, некоторое время смотрел прямо перед собой, потом вдруг начал усердно вытирать пот со лба и с шеи.

— Дорогой Исаак, — наконец заговорил он, — скажи мне ради бога, зачем ты пристрелил этого старого осла?

— Ты подразумеваешь... — как-то неуверенно начал кантональный советник.

— Ты вообще-то соображаешь, что натворил? — перебил его начальник.

Советник не без удовольствия отхлебнул из своего бокала, но отвечать сразу не стал, а вместо того с некоторым удивлением, хотя и не без легкой насмешки поглядел на собеседника.

— Ясное дело, — ответил он наконец, — ясное дело, соображаю.

— А почему ты пристрелил Винтера?

— Ах, ты вот про что, — протянул кантональный советник и вроде бы задумался, потом со смехом: — Ах, вот ты про что, недурно, недурно.

— Что недурно-то?

— Да все.

Начальник решительно не знал, как на это реагировать, был сбит с толку и рассержен. Убийца же, напротив, явно развеселился, несколько раз издал тихий смешок, его явно что-то забавляло.

— Ну, хватит. Почему ты убил профессора? — снова упорно и настойчиво подступил к нему начальник, а сам вытер пот со лба и с шеи.

— Без всякой причины, — признался кантональный советник.

Теперь начальник с великим удивлением воззрился на него, подумав даже, что ослышался, потом допил свой бокал, налил еще, но расплескал вино.

— Без всякой?

— Без всякой.

— Но это же бред, уж, верно, какая-нибудь причина у тебя была, — в нетерпении вскричал начальник. — Это бред!

— Прошу тебя, делай то, что велит тебе твой долг, — сказал Колер и допил вино.

— Мой долг велит мне арестовать тебя.

— Вот и действуй.

Начальник пришел в совершенное отчаяние. Как трезвый и рассудительный человек, он любил ясность в делах. Убийство для него было своего рода несчастным случаем, который не подлежит моральному суду. Но, как человеку порядка, ему требовалась видимая причина. Убийство без причины, с точки зрения начальника, попирало не законы нравственности, а законы логики. А так не бывает.

— Всего бы лучше упрятать тебя в сумасшедший дом для обследования, — яростно выпалил он, — не бывает, чтоб человек без всякой причины совершил убийство.

— Я абсолютно нормален, — спокойно парировал Колер.

— Может, позвонить Штюсси-Лойпину? — предложил начальник.

— Зачем?

— Вот голова садовая! Тебе же нужен защитник. Самый лучший из всех. А Штюсси-Лойпин у нас самый лучший.

— С меня хватит и назначенного.

Начальник сдался. Он расстегнул воротник и глубоко вздохнул.

— На тебя, видно, нашло помрачение ума, — прохрипел он. — Дай сюда револьвер.

— Какой такой револьвер?

— Из которого ты застрелил профессора.

— Вот чего нет, того нет, — изрек доктор h.c. и встал с места.

— Исаак! — взмолился начальник. — Надеюсь, ты избавишь нас от необходимости тебя обыскивать.

Он хотел снова подлить себе вина, но в бутылке уже ничего не осталось.

— Этот проклятый Винтер слишком много выпил, — буркнул начальник.

— Прикажи наконец увести меня, — предложил убийца.

— Будь по-твоему, — отвечал начальник, — но тогда и мы тебя ни от чего не избавим.

Он тоже встал, снял с дверей цепочку и позвонил.

— Уведите этого человека, — приказал он. — Он арестован.

Запоздалое подозрение. Если я пытаюсь воссоздать эти разговоры — их "возможные" варианты, поскольку лично при них не присутствовал, — то отнюдь не с намерением написать роман, а из необходимости точно, насколько удастся, воспроизвести события, впрочем, и это отнюдь не самое трудное. Хотя правосудие действует главным образом за кулисами, но и за кулисами размываются с виду столь резко очерченные сферы компетенции, меняются либо подвергаются новому распределению роли, происходят разговоры между действующими лицами, которые в глазах общественности числятся заклятыми врагами, и вообще господствует совсем иной тон. Не все бывает зафиксировано и приобщено к делу. Информацию можно сделать достоянием гласности, а можно и утаить. Так вот, при мне начальник всегда был очень словоохотлив и откровенен, он по доброй воле все рассказывал, давал ознакомиться с важными документами, нарушая порой ради меня инструкцию, да и вообще до сих пор ко мне расположен. Мало того, сам Штюсси-Лойпин был по отношению ко мне воплощением предупредительности, даже когда я уже давным-давно находился в противоположном лагере, ветер переменялся только теперь, да и то по совершенно другой причине. Вот почему мне незачем выдумывать эти разговоры, достаточно их реконструировать. В крайнем случае я могу их вычислить.

Нет, мои "сочинительские" затруднения совсем иного рода. Хотя я отчетливо сознаю, что даже задуманное мною убийство и самоубийство не способны послужить окончательным доказательством моей правоты, меня, пока я описываю события, время от времени осеняет безумная надежда это доказательство предоставить, ну, например, выяснив, куда девался револьвер Колера. Орудие убийства так никогда и не нашли. Обстоятельство, казалось бы, второстепенное. На ход процесса оно никак не повлияло. Убийца был известен, свидетелей хватало с лихвой — персонал и посетители "Театрального". И если начальник в начале следствия бросил все силы на то, чтобы отыскать револьвер, то отнюдь не из желания добыть еще одну улику против Колера — в том не было ни малейшей необходимости, — а единственно из любви к порядку, в согласии со своими криминалистическими установками. Однако, как ни странно, усилия начальника ни к чему не привели. Путь, проделанный доктором h.c. Исааком Колером из "Театрального" до концертного зала, был всем известен и хронометрирован с точностью до минуты. После выстрела в поглощающего филе а-ля Россини профессора Колер, как нам известно, сразу же сел в свой "роллс-ройс" подле министра, грезящего о виски. В аэропорту убийца и министр вместе вышли из машины, причем шофер (который еще ни о чем не знал) не заметил никакого револьвера, равно как не заметил его и директор компании "Свиссэр", подскочивший с приветствием. В зале аэропорта поболтали о том о сем, далее были вслух высказаны неперемьенные восторги по поводу здания, вернее, по поводу его внутреннего оформления, после чего Колер с министром нога за ногу проследовали к самолету, причем Колер слегка поддерживал министра под локоток. Церемония торжественного прощания, возвращение вместе с директором в зал, еще один беглый взгляд на убегающую по взлетной полосе машину, приобретение в киоске "Нойе цюрхер цайтунг" и "Националь-цайтунг", проход через весь зал, по-прежнему в сопровождении директо-

ра, хотя на сей раз без восторгов по поводу интерьера, далее — в ожидающую машину, из аэропорта на Цолликерштрассе, двойной сигнал перед домом простодушной вдовы, которая тотчас вышла (времени было в обрез), и с Цолликерштрассе — прямым в Концертный зал. Никаких признаков оружия, вдова тоже ничего не заметила. Револьвер бесследно исчез. Начальник приказал тщательнейшим образом обыскать "роллсройс", затем прочесать маршрут, которым следовал Колер, далее — виллу Колера, комнату кухарки, жилище шофера на Фрайештрассе. Ничего. Начальник еще несколько раз подступался к Колеру, даже накричал на него и устроил ему длительный допрос. Тщетно. Доктор h.c. перенес это с легкостью, зато Хорнуссер, следователь, который продолжил допрос вслед за начальником полиции, под конец рухнул без сил. Тут был внесен протест со стороны федерального прокурора в том смысле, чтобы полиция и следователи не проявляли чрезмерного педантизма, есть ли револьвер, нет ли револьвера, не стоит отводить его наличию слишком важную роль, продолжать поиски — значит выбрасывать на ветер деньги налогоплательщиков, короче, пусть начальник и следователь приостановят поиски; исчезнувшее оружие приобрело значение лишь позднее, стараниями Штюсси-Лойпина. Если в последние дни револьвер пробуждает во мне новую надежду, это уже совсем другая история, которая составляет одну из трудностей моего предприятия. В роли рыцаря справедливости я произвожу весьма жалкое впечатление, я ни на что больше не способен, кроме как писать; едва передо мной забрезжит возможность повлиять на ход событий другим способом, действовать по-другому, я бросаю свою портативную "Гермесбэби", бегу к своей машине (это опять "фольксваген"), даю газ и мчусь, как, например, вчера утром, к заместителю по кадрам компании "Свиссэр". У меня возникла одна идея, одно гениальное решение. Я ехал словно в чаду и только чудом прибыл в аэропорт живой и невредимый, и все встречные тоже остались живыми и невредимыми. Но кадровик не пожелал дать мне необходимую справку, он и принять-то меня отказался. Возвращение происходило в более чем умеренном темпе, на перекрестке один постовой даже предложил мне для скорости толкать машину сзади. Я снова ощутил себя битой картой. Еще раз поручить розыск частному детективу, то есть Линхарду, я не мог, он и брал слишком дорого, и вдобавок при сложившемся положении вещей едва ли был заинтересован в моем поручении. Какой дурак захочет по доброй воле рубить сук, на котором сидит? Поэтому у меня не осталось иного выхода, кроме как самому выйти на Элен. Я позвонил. "Нет дома". "В городе". Тогда я отправился наугад, пешком. Думал прочесть несколько ресторанов или книжных лавок и нашел, прямо-таки наткнулся на нее, но — увы! — она сидела, со Штюсси-Лойпином, перед кафе "Селект", за кофе со взбитыми сливками. Я углядел обоих только в последнюю секунду, когда сам уже стоял перед ними, растерянный, потому что искал только ее, и кипя от злости, потому что с ней сидел Штюсси-Лойпин, впрочем, это ничего не меняло по существу, они, надо думать, и без того давным-давно спят друг с другом, дочурка убийцы и спаситель ее папены, она — в прошлом моя возлюбленная, он — в прошлом мой шеф.

— Прошу прощения, фройляйн Колер, — начал я, — мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут. Наедине.

Штюсси-Лойпин предложил ей сигарету, сунул себе в рот другую, дал огня.

— Ты не против, Элен? — спросил он.

Я мог бы убить этого прима-адвоката на месте.

— Против, — отвечала она, не поднимая на меня глаз, хотя и отложив сигарету. — Впрочем, пусть говорит.

— Ладно, — сказал я, придвинув стул и заказав себе черный кофе.

— Итак, чего же вам угодно от нас, почтеннейший гений юриспруденции? — благодушно спросил Штюсси-Лойпин.

— Фройляйн Колер, — начал я, с трудом скрывая волнение, — я должен задать вам один вопрос.

— Слушаю. — Она снова закурила.

— Задавайте, — изрек Штюсси-Лойпин.

— Когда ваш отец провожал английского министра к самолету, вы еще служили стюардессой?

— Разумеется.

— И в том самолете, на котором министр возвращался в Англию, тоже летели?

Она загасила сигарету.

— Вполне возможно.

— Благодарю вас, фройляйн Колер, — сказал я, затем поднялся, откланялся и ушел, оставив недопитый кофе.

Теперь я знал, куда могло исчезнуть орудие убийства. Все проще простого. До смешного просто. Старик сунул револьвер министру в карман пальто, когда сидел рядом с ним в "роллс-ройсе", а его дочь Элен вынула револьвер из кармана во время полета. Для стюардессы это не составляет труда. Но теперь, обладая этим знанием, я вдруг почувствовал усталость и пустоту и долго, бесконечно долго брел по набережной, так что дурацкое озеро со своими лебедями и парусниками все время оставалось справа от меня. Если мои рассуждения верны — а они должны быть верны, — Элен знала о преступлении. И виновна так же, как ее отец. Но тогда она меня предала, тогда ей известно, что я прав, тогда ее отец одержал победу. Он оказался сильнее, чем я. А борьба с Элен не имела никакого смысла, потому что Элен уже приняла решение, потому что исход борьбы уже был предрешен. Я не мог заставить ее выдать родного отца. Во имя чего я стал бы взывать к ней? Во имя идеалов? Каких идеалов? Во имя правды? Она ее скрыла. Во имя любви? Она меня предала. Во имя справедливости? Вот тут она могла бы спросить: справедливости, а ради кого? Ради деятеля культуры местного значения? Пепел не ропщет. Ради бесхарактерного, изолгавшегося бабника? Он тоже кремирован. Ради меня, наконец? Не стоит труда. Справедливость — не чье-то личное дело. И еще она могла бы спросить меня: справедливость, а зачем? Ради нашего общества? Одним скандалом, одной темой для разговоров больше, а послезавтра новая повестка дня все равно выдвинет другие вопросы. Вывод из логического упражнения: польза от справедливости не перевешивает в глазах Элен ее папочку. Для юриста — вывод трагический. Может, ввести в игру самого бога? Это, вне всякого сомнения, очень доброжелательный, но малоизвестный господин с сомнительными источниками существования. И еще: у него и без меня хватает дел (диаметр Вселенной, согласно Ситтеру — устаревшие данные, по самым скромным подсчетам — в сантиметрах: единица и двадцать восемь нулей). Но надо было выстоять, собраться с духом, придушить философию, продолжить борьбу против общества, против Колера, против Штюсси-Лойпина и начать

борьбу против Элен. Склонность к размышлениям — черта нигилистическая, она ставит под сомнение признанные ценности, вот почему я снова лихо обратился к действительной жизни, приободряясь и имея на сей раз озеро, лебедей и парусники с левой стороны, вернулся в Старый город, мимо пенсионеров и мимо парочек, к своему великому удовольствию озаренный как бы космическими лучами заходящего солнца, потом весь вечер без остановки пил "клевер" (который вообще не перошу), и когда около часа ночи в сопровождении одной дамы, хоть и с неважной репутацией, но зато с отменным телосложением, приблизился к ее дому, в подъезде меня поджидал Штубер из полиции нравов, он записал все адреса и любезно поклонился, поклон был задуман как едкая ирония, как жаровня углей, высыпанная на голову спившегося адвоката. В общем, получился прокол. Да, прокол. (Зато дама оказалась выше всех похвал, она даже сказала, что, поскольку для нее это большая честь, заплатить я могу и в другой раз, в чем я усомнился, откровенно признавшись, что до следующего раза навряд ли стану богаче, затем я назвал ей свою профессию, после чего она меня пригласила к себе в поверенные.)

Страна и люди. Без кой-каких сведений нам не обойтись. Для убийства потребно как непосредственное, так и отдаленное окружение, средняя годовая температура, средний процент землетрясений и человеческий климат. Здесь все сопряжено одно с другим. Предприятие, которое порой выступает под названием "наше государство", а порой — "наше отечество", было в грубом исчислении учреждено более двадцати поколений тому назад. Место: сперва все происходило главным образом среди мела, гранита и молассы, позднее к этому присоединились третичные отложения. Климат: так себе. Эпоха: сперва не очень, утверждалась доморощенная власть Габсбургов, избыток кулачного права, раз надо брать силой, будем брать силой, взламывали рыцарей, монастыри и замки, как несгораемые шкафы, грандиозные грабежи, добыча, пленных не брали, перед битвой — молебн, после драки — повальное пьянство, война себя вполне окупала, потом, к сожалению, изобрели порох, великодержавная политика натолкнулась на растущее сопротивление, любителей размахивать алебардой либо кистенем утихомирили, адептов ближнего боя прихлопнули на расстоянии, и восьми поколений не минуло, как уже свершилось приснопамятное отступление, далее еще семь поколений относительной дикости, в течение которых отчасти убивали друг дружку, угнетали крестьян (свободу здесь никогда не воспринимали слишком уж буквально) и вели битвы из-за религии, отчасти же на широкую ногу культивировали ландскнехтство, продавали свою кровь тому, кто больше заплатит, защищали князей от горожан, всю Европу — от свободы. Потом наконец грянули громовые раскаты Французской революции, в Париже перестреляли ненавистную гвардию, которая стойко защищала обреченную позицию на службе у прогнившей системы, что правила милостью божьей, а тем временем один из гвардейских офицеров, аристократического рода, между прочим, сидя в мансарде и тем самым в безопасности, сочинял свою "Осеннюю песню". "Рощи заперсттели, нивы пожелтели, осень началась". Немного спустя Наполеон окончательно сокрушил свору рабов и господ. Поражения, однако, пошли нашей стране на пользу. Проклюнулись первые ростки демократии и новые идеи: Песталоцци, бедный, оборванный и пламенный, бродил по стране от од-

ного несчастья к другому. Намечался крутой поворот к бизнесу и ремеслу, задрапированный в соответствующие идеалы. Начала расти промышленность, прокладывались железные дороги. Правда, земля была скудна полезными ископаемыми, уголь и руды приходилось ввозить и перерабатывать, но повсюду ревностное прилежание, растущее богатство — без расточительства, хотя, к сожалению, и без блеска. Бережливость утверждалась как высшая добродетель, основывались банки, поначалу робко, долги считались чем-то постыдным, и если некогда важную статью вывоза составляли ландскнехты, ныне это стали банкроты: кто разорялся у нас, мог попытаться счастья по ту сторону океана. Все должно было окупаться, и все окупалось, даже необозримые груды камней, даже галька, языки глетчеров и обрывистые склоны, ибо с тех пор, как была открыта природа и любой лоботряс получил возможность испытать прилив возвышенных чувств в горном уединении, стало возможным и создание индустрии туризма: идеалы страны всегда имели практическую основу. В основном же жили так, что для каждого предполагаемого врага было выгодней не соваться, аморальная по сути, но здоровая жизненная установка, свидетельствовавшая если не о величии, то по крайней мере о политическом благоразумии. Так вот и приспособлялись, благополучно пройдя через две мировых войны, маневрировали между хищниками, но всякий раз выходили целыми и невредимыми. На сцену явилось наше поколение.

Наше время (1957 год после Рождества Христова). Значительная часть населения живет почти беззаботно, беспечно и обеспеченно, церковь, учебные заведения и клиники всегда готовы к услугам по доступной цене, кремация же в случае надобности производится бесплатно. Жизнь движется по накатанной колее, но прошлое раскачивает постройку и сотрясает фундамент. Кто многим владеет, тому страшно многое потерять. Тот замертво падает с лошади, когда опасность осталась позади, как упал всадник, проскакав по льду Боденского озера; не хватает духу, чтобы признать необходимость собственного благоразумия, человек не готов и дальше мириться с тем, что никогда не был героем, а был просто наделен здравым рассудком, он протискивается в ряды героев, оживает предание об отцах-воителях, героические мифы грозят коротким замыканием, память живет доисторическими битвами, и вот уже иной сам возводит себя в борцы Сопrotивления, а дальше приступают к делу генштабисты, они заклинаниями вызывают из небытия мир нибелунгов, грезят о ядерном оружии, о героической борьбе не на жизнь, а на смерть в случае агрессии, ибо гибель армии должна тупо и неотвратимо сопровождаться гибелью нации, тогда как народы, давным-давно угнетенные и поработенные, умеют избегать этой участи то храбростью, а то и хитростью. Но предполагаемая гибель может нагрянуть в другом, более изощренном виде. Землю, которую нация собиралась защищать до последней капли крови, скупают иностранцы, чужие руки содействуют процветанию хозяйства, свои же в лучшем случае осуществляют общее руководство, хотя едва ли правят, граждане государства образуют верхний слой, а под ним, скучившись в жилищах, сдаваемых за бешеные деньги, ютятся бедные и работающие итальянцы, греки, испанцы, португальцы и турки, нередко презируемые, зачастую неграмотные, илоты, на взгляд многих хозяев — существа низшего сорта, которые, пополнив ряды сознательного пролетариата и

обладая превосходством как результатом привычки к умеренности, могут однажды заявить о своих правах, вдруг осознав, что фирма, именуемая себя нашим государством и уже наполовину перекрученная иностранным капиталом, зависит от них целиком и полностью. На самом-то деле, как мы смутно о том догадываемся, протирая глаза в немом изумлении, наше маленькое государство ушло с исторической арены, едва оно присоединилось к большому бизнесу.

Реакция общественности. Вот на каком фоне резко выделяется убийство, совершенное доктором h.c. Колером. Результат можно было предвидеть заранее: коль скоро мы деполитизировали политику — вот где мы устремлены в будущее, вот где мы вполне современны, вот где проявляется наш новаторский дух и миру суждено либо погибнуть, либо полностью "ошвейцариться", — итак, коль скоро от политики нечего больше ожидать ни чудес, ни новой жизни, разве что — да и то лишь изредка — дорог — еще лучшим покрытием, коль скоро сама страна с точки зрения биологической ведет себя вполне прилично и не слишком усердствует в деторождении (то, что мы малочисленны, составляет наше великое преимущество, а то, что благодаря иностранным рабочим наша раса мало-помалу улучшается, — наше величайшее преимущество), любое нарушение повседневной суеты вызывает взрыв благодарности, любое разнообразие желанно, благо ежегодное торжественное шествие гильдий с его закостенелым церемониалом никак не способно возместить отсутствие карнавала. Поэтому действия доктора h.c. Исаака Колера внесли некоторое разнообразие, люди получили возможность неофициально посмеяться над тем, чем официально возмущались, и уже вечером того дня, когда скончался Винтер, из уст в уста переходили слова, приписываемые не то одному высокому должностному лицу, не то и вовсе городскому голове, что, мол, Колер вторично заслужил звание доктора honoris causa, поскольку воспрепятствовал профессору Винтеру произнести первого августа свою очередную речь. Да и неумелые действия полиции едва ли способствовали росту гражданского негодования, уж слишком велико было всеобщее злорадство: отношения жителей с полицией у нас весьма напряженные, и вообще наш город давно уже не соответствует своей репутации. Сделавшись неожиданно для себя мегаполисом, он тем не менее тщится сохранить патриархальные черты — задушевность, добродетельность, мещанское прилежание, которые всегда себе приписывал и продолжает приписывать до сих пор, тщится сохранить собственное лицо в нагрянувшей безликости, связанный традицией, которая давным-давно перестала быть таковой. Время оказалось сильнее, чем наш город со всем его прилежанием; время делает с городом все, что вздумает. Вот почему мы не такие, какими были некогда, но и не такие, какими должны быть, мы не в ладах с настоящим, мы не желаем того, к чему принуждены обстоятельствами, из духа противоречия не делаем до конца то, что необходимо, а делаем лишь наполовину, да и то против воли. Ярким выражением этого убожества служит непомерное разрастание прерогатив полиции, ибо всякий, кто не ладит с настоящим, должен вводить ограничения. Наша общность, по сути своей, обернулась полицейским государством, которое сует свой нос решительно во все, в нравственность и в транспорт (причем и то и другое находится в хаотическом состоянии). Полицейский не является более символом защиты, скорей

уж символом преследований. Кончаю. Пьян в дым. Вдобавок та самая дама из мебелированных комнат заявила в мою контору (это по-прежнему мансарда на Шпигельгассе), ей понадобилась юридическая защита. Я посоветую ей завести собаку. Тогда она сможет на законном основании выводить ее, а вместе с ней и себя два раза за ночь. (Рекомендация Общества защиты животных, со скрежетом зубным принятая к сведению прокурором Йеммерлином.)

Итак, прокурор Йеммерлин. Он ненавидел кантонального советника. Бесщабность последнего действовала ему на нервы. Он не мог простить, что Колер ухитрился в Концертном зале пожать ему руку. Он до такой степени ненавидел Колера, что раздваивался от собственной ненависти. Вопиющее противоречие между его ненавистью и его чувством справедливости достигло пределов, для него невыносимых. Он то взвешивал возможность выступить с самоотводом, сославшись на свою пристрастность, то бездействовал, надеясь, что кантональный советник сам даст ему отвод. Вконец запутавшись, он поделился своими тревогами с кантональным судьей Егерленером. Егерленер прозондировал почву у следователя, тот в свою очередь — у начальника полиции, а начальник с тяжелым вздохом велел препроводить кантонального советника из окружной тюрьмы к себе в кабинет, чтобы создать непринужденную обстановку. Доктор h.c. был в отменном расположении духа. Виски "Белая лошадь" — выше всех похвал. Начальник снова завел речь о Штюсси-Лойпине, поскольку назначенный защитник никуда не годится. Колер ответил, что это не имеет значения. Тогда наконец начальник поведал о терзаниях Йеммерлина. В ответ кантональный советник заверил, что просто представить себе не может более неллицеприятного обвинителя. Эти слова, доведенные до сведения Йеммерлина, исторгли у последнего яростный выкрик, что теперь-то он прочтет кантонального советника и учтет его пожизненно, после чего судья совсем было собрался своей властью устранить Йеммерлина, но передумал, боясь, как бы прокурора от злости не хватил удар, со здоровьем у того дело обстояло не лучшим образом.

Процесс. Кантональный суд в составе судейской коллегии из пяти судей состоялся довольно скоро по нашим понятиям, со скоростью звука, можно сказать, — спустя всего лишь год после убийства, то есть снова в марте. Преступление произошло у всех на глазах, не было также надобности выяснять, кто убийца. Вот только установить мотивы преступления суд так и не сумел. Получалось, будто их вообще нет. Из кантонального советника ничего выудить не удалось. Суд оказался перед неразрешимой загадкой. Тщательный допрос обвиняемого судьями не дал ни малейшей зацепки. Отношения между убитым и убийцей были настолько корректными, насколько это можно себе представить. Деловых связей между ними не существовало, ревность исключалась полностью, даже догадок в данном направлении никто не строил. Перед лицом этого более чем загадочного факта возникали два толкования: либо доктор h.c. Исаак Колер — душевнобольной, либо — безнравственное чудовище, убийца из любви к убийству. Первую точку зрения представлял официальный защитник Люти, вторую — прокурор Йеммерлин. Против первой свидетельствовал сам вид Колера. Колер производил вполне нормальное впечатление, против второй — славное прошлое Колера, ибо быть политическим

деятелем и предпринимателем уже само по себе подразумевает высочайшую нравственность. Вдобавок общественное мнение с незапамятных времен прославляло социальные (не социалистические!) амбиции Колера. Но ни один процесс не задевал в такой степени честолюбивые струны Йеммерлина. Ненависть, поношение, остроты, в которых люди изощрались по его адресу, поистине окрыляли старого законника, до его победительного вдохновения остальные попросту не доросли, бесцветный Люти не возмел действия. Тезис Йеммерлина о том, что мы имеем дело с нелюдьёю по имени Колер, ко всеобщему изумлению, восторжествовал. Пять судей сочли своим долгом заклеить Колера в назидание остальным, и даже Егерленер прислушался к их мнению. Снова — и в который раз! — было предпринято все возможное, чтобы спасти хотя бы фасад морали. Народ, как гласило обоснование приговора, вправе не только требовать, чтобы круги, благополучные с финансовой точки зрения и вышестоящие — с общественной, вели нравственно безупречный образ жизни, но и вправе своими глазами наблюдать его. Кантонального советника приговорили к двадцати годам исправительной тюрьмы, то есть хотя и не пожизненно, но практически все равно выходило пожизненно.

Поведение Колера. Любой мог заметить достоинство, с каким держался избалованный преступник. Появляясь в зале заседаний, он поражал всех свежим видом, недаром же он отсиживал срок предварительного заключения главным образом в психиатрической клинике на берегу Боденского озера, хотя и обязанный соблюдать, весьма, впрочем, милостивые, предписания полиции, но зато под надзором профессора Хаберзака, близкого своего друга. В пределах клиники он мог позволять себе все виды движения, его партнером по гольфу был деревенский полицейский. Наконец, представ перед судом, Колер наотрез отказался от каких бы то ни было поблажек и потребовал, чтобы к нему отнеслись как "к человеку из народа". Примечательным было уже само начало процесса. Доктор h.c. прихворнул, грипп, столбик термометра добрался до тридцати девяти, но он все-таки настоял, чтобы слушание не откладывали, и даже отказался на время разбирательства воспользоваться больничным креслом. Пяти судьям он заявил (выдержка из протокола): "Я нахожусь здесь затем, чтобы вы, сообразуясь со своей совестью и с законом, по праву судили меня. Вам известно, в чем меня обвиняют. Отлично. Теперь ваше дело — судить, а мое — подчиниться вашему приговору. Каким бы он ни был, я сочту его справедливым". Когда приговор был вынесен, Колер от всей души поблагодарил высокий суд, особенно упирая на человечность, с какой к нему отнеслись, не забыл он поблагодарить и Йеммерлина. Публика слушала этот поток слов, скорее забавляясь, чем растроганно, у всех сложилось впечатление, что в лице доктора Исаака Колера правосудию удалось заполучить уникальный экземпляр, и когда его увели, всем показалось, будто наконец-то опущен занавес над делом, хоть и не до конца ясным, но, уж во всяком случае, однозначным.

Теперь обо мне, тогдашнем и теперешнем. Такова в общих чертах предыстория, она может разочаровать, я понимаю, это событие, порожденное злобой дня, событие, странное лишь для непосредственных участников и для более посвященных, повод для сплетен, для острот более или менее плоских и для некоторых моральных сентенций о кризисе Запада и

демократии, уголовное дело, добросовестно освещенное судебными репортерами и прокомментированное главным редактором нашей всемирно известной городской газеты (между прочим, тоже другом Колера) с обычным для нашей страны достоинством, на несколько дней тема для разговоров, едва ли далеко перешагнувших границы нашего города, скандал провинциального масштаба, который по праву был бы забыт в самом недалеком будущем, не скрывайся за ним один вполне определенный замысел. Если же мне предстояло сыграть в этом замысле решающую роль, это уж моя личная беда, хотя должен признаться, я с самого начала чувял недоброе. Впрочем, здесь необходимо немного осветить мои обстоятельства после колеровского процесса. Они уже тогда оставляли желать лучшего. Я попытался как-то встать на ноги; на Шпигельгассе, над молитвенным залом благочестивой секты "Святые Ютли", я открыл собственную практику, помещение со скошенной внешней стеной, у трех окон, с несколькими креслами, сгруппированными вокруг письменного стола от Пфистера, с цветными наклейками из "Беобахтера" на стенах, причем о качестве покрывавших стены обоев я предпочел бы умолчать, и с покамест бездействующим телефоном, — закуток, возникший благодаря тому, что хозяин дома приказал снять стенку между двумя мансардами и соответственно заколотить вторую дверь. В третьей мансарде обитал проповедник, он же основатель секты Симон Бергер, внешне смахивающий на св. Николая Флженского, с ним у нас была общая уборная. Правда, расположение у моей конторы было чрезвычайно романтическое, правда, неподалеку жили в свое время Бюхнер и Ленин, вид на трубы и телеантенны Старого города пробуждал восхищение, доверительность, уютное чувство родного угла и желание разводить кактусы, но для адвоката оно решительно не годилось, и не только из-за неудобств с транспортом, до меня и вообще было нелегко добраться: лифта нет, крутые скрипучие лестницы, хаотическое сплетение коридоров. (Добавлю: это раньше моя контора была неудачно расположена, когда у меня еще сохранялись какие-то амбиции, когда я еще хотел твердо встать на ноги, чего-то достичь, заделаться исправным бюргером, а для спившегося ходатая по делам девиц легкого поведения, каким я в результате стал, мой закуток подходит как нельзя лучше, хотя теснота из-за размещения в нем дивана приняла размеры поистине угрожающие; здесь я сплю один или с кем придется, здесь живу и даже иногда стряпаю, а ночью "Святые Ютли" у меня под ногами горланят псалмы, типа "Мы ждем тебя, наш друг и брат, тебе здесь каждый будет рад", во всяком случае, Лакки, покровитель и защитник той самой дамы с примечательным телосложением и неопределенной профессией, который частью из любопытства, частью из делового интереса имел со мной беседу и вообще зондировал почву, казался всем этим вполне удовлетворен и даже по-приятельски заметил, что только здесь и можно отдохнуть душой.) Словом, клиенты и раньше меня не жаловали, я был почти безработный адвокат, кроме нескольких мелких лавочных краж, взысканий по исполнительному листу да уставов спортивного общества арестантов (по поручению департамента юстиции), мне было, в общем-то, нечем заниматься, я проводил время либо на зеленых скамьях вдоль набережной, либо перед кафе "Селект", играя в шахматы (с Лессером, причем оба мы упорно разыгрывали испанский дебют, так что в общем и целом это все время была одна и та же партия, и кончалась она одинаково, патом), в столовых женского фрейна я поглощал блю-

да хотя и лишённые фантазии, зато весьма полезные. При таких обстоятельствах я навряд ли мог отвергнуть письменное приглашение Колера навестить его в тюрьме в Р.; мысль, что в приглашении старика есть какая-то странность, поскольку решительно нельзя понять, зачем ему понадобился неизвестный, еще ничем себя не прославивший адвокат, и вдобавок страх перед его превосходством — словом, все свои смутные предчувствия я отогнал, просто не мог не отогнать. Во имя нравственности, которая есть продукт нашей трудовой морали. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. На бога уповай, а без дела не бывай. Короле, я поехал в Р. (Тогда еще в "Фольксвагене".)

Наше исправительное заведение. На машине можно доехать минут за двадцать. Плоское дно долины, пригородная деревня, унылая, много бетона, несколько фабрик, на горизонте — леса. Впрочем, было бы преувеличением утверждать, что наша тюрьма известна каждому жителю нашего города, ибо четверта арестантов составляют от силы ноль целых одну десятую процента его населения. Впрочем, это заведение должно быть известно любителям воскресных прогулок, даже в том случае, если многие принимают ее за пивоварню либо за сумасшедший дом. Тому же, кто прошел через охраняемые ворота и стоит перед главным зданием, вполне может показаться, будто перед ним неудачная по архитектурному замыслу церковь либо часовня из красного кирпича. Это смутное ощущение религиозной причастности никоим образом не нарушает фигура охранника: приветливые, набожные физиономии, ни дать ни взять Армия спасения, повсюду тишина, благодатная для нервов, в прохладном полумраке на человека невольно нападает зевота, к которой, однако, примешивается душевная скорбь. Здесь юстиция являет миру заспанный лик, что и неудивительно, учитывая вечно завязанные глаза этой дамы. Есть и другие примеры доброты и забот о спасении души, тебе навстречу выходит бородастый капеллан, ревностный, неутомимый, потом тюремный пастор, далее дама-психолог в очках, во всем угадывается желание спасти, укреплять, наставлять души, лишь в самом конце довольно, впрочем, безотрадного коридора просвечивает мир, гасящий угрозу, хотя через зарешеченные стеклянные двери невозможно разглядеть подробности, да и два человека в штатском, что сидят на скамье перед кабинетом директора и ждут, преданно и мрачно, пробуждают какое-то легкое недоверие, какое-то неприятное чувство. Но тот, перед кем открывают стеклянную дверь, кто перешагивает таинственный порог и проникает внутрь, не важно, в каком качестве — то ли слегка растерянных членов некой комиссии, то ли арестантов, поставку которых осуществляет правосудие, оказывается, к своему удивлению, в царстве по-отечески строгого, но отнюдь не бесчеловечного порядка, короче говоря, перед тремя мощными галереями в пять этажей, которые все просматриваются с одного определенного места, в царстве совсем не мрачном, а, напротив, пронизанном светом сверху донизу, в царстве решеток и клеток, не лишённом, однако, ни собственного лица, ни приветливости, ибо здесь через раскрытую дверь камеры можно углядеть потолок небесно-голубого цвета и нежную зелень комнатной липы, там — приветливые, довольные физиономии заключенных в коричневых тюремных робах; состояние здоровья подопечных выше всех похвал, монашеский, размеренный образ жизни, раннее выключение света, простая пища поистине творят чудеса, библиоте-

ка содержит наряду с описаниями путешествий, наряду с душевспасительным чтением для арестантов обоих вероисповеданий пусть даже не новейшую литературу, зато классику, от дирекции раз в неделю — киносеанс, на этой неделе — "Мы, вундеркинды", посещаемость воскресной проповеди заметно превосходит в процентном отношении таковую же по ту сторону тюремной стены, жизнь разматывается медленно и равномерно, людей увлекают и развлекают, они получают оценки. Здесь примерное поведение имеет смысл, оно облегчает положение, речь идет, разумеется, лишь о тех, кому предстоит отсидеть лет десять или того меньше, тут воспитательные меры уместны. Напротив, там, где надежды нет, от пожизненно приговоренных никто не требует исправления из благодарности за предоставляемые послабления, недаром же они — гордость заведения, к примеру Дроссель и Цертлих, которые на воле своими злодеяниями повергали в трепет мирных граждан; охранники относятся к ним с робким подобоострастием, они — звезды местного контингента и ведут себя соответственно. Нельзя замалчивать то обстоятельство, что у обычных уголовников это порой вызывает зависть, и они дают себе слово в следующий раз подойти к делу основательнее; точно так же и медаль, заслуженная нашей тюрьмой, имеет свою оборотную сторону, но, если рассматривать вопрос в совокупности, кто не захотел бы при таких условиях вступить на стезю добродетели; лишенные постов и должностей чиновники обретают новую надежду, убийцы обращаются к антропософии, извращенцы и кровосмесители ищут духовных благ, тут клеят пакеты, плетут корзины, переплетают книги, печатают брошюры, и даже правительственные советники заказывают себе костюмы в местной портновской мастерской, вдобавок здание пронизано запахом теплого хлеба, здешняя пекарня славится, ее булочки для бутербродов внушают изумление (колбасу надо заказывать), волнистых попугайчиков, голубей, приемники можно заслужить прилежанием и вежливостью, для желающих продолжать образование есть вечерние школы, и не без тайной зависти неволью закрадывается мысль, а ей на смену приходит твердая уверенность, что этот мир в полном порядке, именно этот, а не наш.

Беседа с директором исправительного заведения. К великому моему удивлению, я был приглашен к директору Целлеру. Он принял меня в своем кабинете — комнате с внушительным столом для заседаний, телефоном, папками. На стенах — таблицы, черные доски со множеством бумажек, почерк почти всюду каллиграфический, среди преступников, как, к сожалению, почти везде в этой стране, немало учителей. Окно не зарешечено, вид на тюремную стену и небольшой газон, причем и это скорее напоминало бы школьный двор, не цари здесь абсолютная тишина. Ни автомобильных сигналов, ни шороха, как в доме для престарелых.

Директор приветствовал меня холодно и сдержанно, после чего мы сели.

— Господин Шпет, — начал он нашу беседу, — заключенный Исаак Колер пожелал, чтобы вы его посетили. Я разрешил ваше посещение, вы будете беседовать с Колером в присутствии охранника.

От Штюсси-Лойпина я слышал, что тот может беседовать со своими клиентами без свидетелей.

— Штюсси-Лойпин пользуется нашим доверием, — ответил директор на мой вопрос. — Не хочу сказать, что вы им не пользуетесь, просто мы вас еще не знаем.

— Понятно.

— И еще одно, господин Шпет, — продолжал директор уже более приветливым тоном. — Прежде чем вы начнете говорить с Колером, я хотел бы рассказать вам, какого я мнения об этом заключенном. Возможно, это вам пригодится. Не поймите меня превратно. В мои обязанности не входит выяснять, почему люди, порученные моему надзору, оказались здесь. Это меня не касается. Мое дело — исполнение приговора. И ничего более. Вот почему я не намерен рассуждать и о преступлении Колера. Но, признаюсь вам честно, этот человек вызывает у меня недоумение.

— В каком смысле?

Директор слегка замялся, потом сказал:

— Он кажется абсолютно счастливым.

— Можно только порадоваться, — заметил я.

— Не знаю, не знаю, — ответил директор.

— В конце концов, у вас действительно образцовое заведение.

— Стараюсь, как могу, — вздохнул директор. — И все-таки согласитесь, если мультимиллионер счастлив, отбывая срок, в этом есть какое-то неприличье.

По тюремной ограде прогуливался крупный, жирный дрозд, привлеченный пением, щебетом и свистом благоденствующих в своих клетках птичек, чьи голоса порой с необычайной силой доносились из зарешеченных окон, и питающий, должно быть, тайную надежду, что ему тоже позволят здесь остаться. День был жаркий, судя по всему, снова воротилось лето, над дальними лесами собирались облачка, а из деревни доносился бой башенных часов. Ровно девять.

Я раскурил сигарету. Директор придвинул мне пепельницу.

— Господин Шпет, — продолжал он, — вообразите заключенного, который смеет прямо с порога заявить вам в лицо, что у вас превосходное заведение, усердные охранники, что сам он вполне счастлив и ничего не желает. В голове не укладывается. У меня это вызвало отвращение.

— Почему же? — удивился я. — Разве у вас и в самом деле не усердные охранники?

— Ну, разумеется, усердные, — ответил директор, — но судить об этом надлежит мне, а не арестанту. Коль на то пошло, в аду не ликуют.

— Разумеется, — поддакнул я.

— Я тогда совершенно вышел из себя, потребовал строжайшего соблюдения всех правил внутреннего распорядка, хотя, согласно указанию департамента юстиции, должен был отнестись к нему с предельной мягкостью и хотя нигде на свете правилами тюремного распорядка заключенному не возбраняется чувствовать себя абсолютно счастливым. Но я ощущал полнейшую растерянность, чисто эмоциональную. Господин Шпет, вы должны меня понять. Колер получил обычную одиночку со строгим режимом, без освещения — вообще-то говоря, это запрещено, — однако уже спустя несколько дней я замечаю, что охранники его любят, я бы даже сказал — почитают.

— А теперь?

— А теперь я с ним смирился, — буркнул директор.

— И тоже его почитаете?

Директор задумчиво поглядел на меня.

— Видите ли, господин Шпет, когда я сижу у Колера в камере и слушаю, как он рассказывает, от него, черт побери, исходит какая-то сила, я

бы сказал, надежда, впору самому уверовать в человечество и во все доброе и прекрасное, он и нашего пастора увлекает своими речами, это поистине какая-то липучая зараза. Но, благодарение богу, я трезвый реалист и не верю, что бывают абсолютно счастливые люди. И тем паче — что они бывают в тюрьмах, как мы ни стараемся облегчить жизнь наших поднадзорных. Мы не звери, в конце концов. Но преступники — они и есть преступники. Вот почему я еще раз говорю вам: этот человек может быть очень опасным, должен быть очень опасным. Вы делаете только первые шаги на своем поприще, поэтому будьте вдвойне осторожны, чтобы не угодить в его ловушку, а всего бы лучше для вас с ним вообще не связываться. Разумеется, я просто советую, не более того; в конце концов, вы сами адвокат, вам и решать. Если б только человека не дергали до такой степени в разные стороны. Этот Колер либо святой, либо дьявол, я счел своим долгом предостеречь вас, что и сделал.

— Большое вам спасибо, господин директор, — сказал я.

— Ладно, я распоряжусь, чтобы к вам привели Колера, — вздохнул директор.

Поручение. Беседа с абсолютно счастливым человеком протекала в соседней комнате. Та же обстановка, тот же вид из окна. Я встал, когда охранник ввел доктора н.с. Исаака Колера. Старик был в коричневой арестантской робе, его охранник — в черной форме и смахивал на почтальона.

— Садитесь, Шпет, — сказал доктор н.с. Исаак Колер. Он вообще держался как хозяин, непринужденно и покровительственно. Я в некотором смятении поблагодарил и сел. После чего я предложил арестанту сигарету, но тот отказался.

— Я бросил курить, — пояснил он, — я решил не упускать возможности сочетать приятное с полезным.

— Это тюрьму вы считаете приятной, господин Колер? — спросил я. Он удивленно поглядел на меня.

— А вы не считаете?

— Я в ней не сижу.

Он прямо засиял.

— По-моему, здесь прекрасно. Это спокойствие! Эта тишина! Я, надобно вам сказать, вел крайне рассеянный образ жизни, раньше. Из-за своего треста.

— Могу себе представить, — согласился я.

— Телефона тут нет, — продолжал Колер. — Здоровье у меня заметно улучшилось. Вот поглядите. — И он сделал несколько приседаний. — Месяц назад я бы так не сумел, — гордо пояснил он, — кстати, у нас здесь есть спортивный клуб.

— Знаю, — сказал я.

За окном все так же, полный надежд, прогуливался жирный дрозд, но, возможно, это был уже другой. Абсолютно счастливый человек разглядывал меня с довольным видом.

— Мы с вами встречались.

— Знаю.

— В ресторане "Театральный", который занимает известное место в моей жизни. Вы, помнится, наблюдали, как я играю в бильярд.

— Я ничего не смыслю в бильярде.

— До сих пор?

— До сих пор, господин Колер.

Арестант засмеялся и, поворотясь к охраннику, сказал:

— Мёзер, не будете ли вы так добры дать нашему юному другу огня? Охранник вскочил и вернулся с зажигалкой.

— Конечно, господин кантональный советник, само собой, господин кантональный советник.

Охранник тоже сиял во все лицо.

Потом он снова сел, а я закурил. Доброжелательность обоих порядком меня изматывала. Я бы с удовольствием распахнул большое незарешеченное окно, но в тюрьме это, должно быть, не принято.

— Видите ли, Шпет, — заговорил Колер, — я ничем не примечательный заключенный, только и всего, а Мёзер — один из моих охранников. Превосходный человек. Он посвящает меня в тайны пчеловодства. Я уже сам почти ощущаю себя пасечником, охранник Бруннер — с ним вам тоже не мешало бы познакомиться — обучает меня эсперанто. Мы объясняемся исключительно на этом языке. Можете сами убедиться: бодрость духа, домашняя обстановка, сердечность, мир и покой. Я стал абсолютно счастливым человеком. А раньше? Господи!.. Я читаю Платона в оригинале, я плету корзины, кстати, Шпет, вам не нужна корзина?

— К сожалению, нет.

— Корзины господина кантонального советника — верх совершенства, — гордо подтвердил охранник из своего угла. — Это я научил его плести корзины, и он уже оставил далеко позади всех наших плетельщиков. Ей-богу, я не преувеличиваю.

Я снова выразил сожаление:

— Увы, мне не нужна корзина.

— Жалко, а то я с удовольствием преподнес бы вам корзину. На память.

— Ничего не поделаешь.

— Жалко. Прямо до слез.

Я начал терять терпение.

— Не могу ли я узнать, зачем меня сюда вызвали? — спросил я.

— Разумеется, можете, — ответил он. — Без сомнения, можете. У меня как-то из головы вылетело, что вы приехали с воли, что вы спешите, что вы заняты. Хорошо, перейдем к делу: тогда, в "Театральном", вы, помнится, рассказывали, что намерены стать самостоятельным.

— Я и стал.

— Да мне докладывали. Ну и как успехи?

— Господин Колер, — сказал я, — здесь об этом едва ли уместно говорить.

— Значит, плохо, — кивнул он, — так я и думал. А расположена ваша контора в мансарде на Шпигельгассе, верно? Тоже плохо. Еще того хуже. Это переполнило чашу. Я встал.

— Либо вы скажете мне, что вам от меня угодно, господин Колер, либо я уйду, — грубо сказал я.

Абсолютно счастливый человек тоже встал, вдруг прямо у меня на глазах сделался могучим, неборимым и вдавил меня обратно в кресло обеими руками, опустив их, словно гири, на мои плечи.

— Не уходите, — сказал он угрожающе, почти злобно.

У меня не осталось другого выхода, кроме как повиноваться.

– Хорошо, – сказал я и притих. Охранник тоже.

Колер снова сел.

– Вам нужны деньги, – констатировал он.

– Это мы здесь обсуждать не будем, – ответил я.

– Я мог бы вам дать поручение.

– Слушаю.

– Я желаю, чтобы вы заново расследовали мое дело.

Я растерялся.

– Другими словами, господин Колер, вы хотите добиться пересмотра? Он помотал головой.

– Если бы я хотел добиться пересмотра, это означало бы, что вынесенный мне приговор несправедлив. Но он более чем справедлив. Жизнь моя завершена и подшита к делу. Я знаю, здешний директор считает меня лицемером, и вы, Шпет, сдастся мне, тоже. Могу понять. Но я не святой и не дьявол, я просто-напросто человек, пришедший к выводу, что для жизни достаточно тюремной камеры, а для смерти вообще достаточно койки, позднее – гроба, ибо назначение человека – мыслить, а не действовать. Действовать может любой бугай.

– Хорошо, – сказал я, – чрезвычайно похвальные принципы. Но теперь я должен за вас действовать. Еще раз расследовать ваше дело. Позволительно ли будет бугаю спросить, что вы затеяли?

– Ничего я не затеял, – коротко ответил доктор h.c. Исаак Колер. – Я просто размышляю. О мире. О людях. Возможно, и о боге. Но для размышлений мне нужен материал, не то мои мысли начинают кружиться в пустоте. И от вас мне не требуется ничего, кроме небольшой помощи в моих занятиях, которые вы спокойно можете рассматривать как хобби миллионера. Кстати, вы не единственный, кого я прошу о незначительных услугах. Вы знаете старину Кнульпе?

– Профессора?

– Его самого.

– Я у него учился.

– Вот видите. Теперь он вышел на пенсию, и чтобы он у меня не закис окончательно, я и ему дал поручение. Он теперь занят исследованием: итоги одного убийства. Он выясняет последствия, которые возымело и еще будет иметь несколько насильственное прекращение жизни одного коллеги. В высшей степени интересно. Он вне себя от восторга. Задача состоит в том, чтобы, исследовав действительность, точно измерить воздействие одного поступка. А ваша задача, любезнейший, будет другого рода, и в некоторой степени она противоположна тому, что делает Кнульпе.

– Каким же образом?

– Вы должны заново рассмотреть мой случай, исходя из допущения, что убийцей был не я.

– Не понял.

– Вам надо составить фиктивное предположение, только и всего.

– Но раз вы убийца, все мои предположения не имеют смысла, – возразил я.

– Нет, только так они и приобретают смысл, – отвечал Колер, – кстати, вас никто и не заставляет исследовать действительность, этим занимается наш славный Кнульпе, вам надо рассмотреть одну из возможностей, которые таит в себе действительность. Видите ли, дорогой Шпет,

действительность нам и без того известна, за нее-то я и сижу здесь и плету корзины, а вот о возможном нам известно очень мало. И это естественно. Возможное почти беспредельно, тогда как действительное строго ограничено, потому что лишь одной из возможностей дано воплотиться в действительность. Действительное — это просто особый случай возможного. А потому его нетрудно вообразить и в другом виде. Из чего вытекает, что нам надлежит переосмыслить действительность, дабы проникнуть в сферу возможного.

Я засмеялся:

— Не совсем обычный ход рассуждений, господин Колер.

— Да, в здешних местах принято размышлять, — ответил Колер. — Видите ли, господин Шпет, по ночам, глядя на звезды между прутьями оконной решетки, я часто задаюсь вопросом: как бы выглядела действительность, будь убийцей не я, а кто-нибудь другой? Кто он тогда был бы, этот другой? Вот на какой вопрос я и хотел бы получить от вас ответ. Я назначу вам тридцать тысяч гонорара, из них пятнадцать в качестве аванса.

Я промолчал.

— Итак? — спросил он.

— Похоже на договор с дьяволом, — ответил я.

— Я же не требую от вас душу.

— Почем знать.

— Вы ничем не рискуете.

— Возможно. Но я не вижу смысла в вашей затее.

Он покачал головой, рассмеялся:

— Хватит с вас и того, что я вижу. Остальное вас не должно волновать.

От вас требуется всего лишь принять предложение, которое никоим образом не нарушает закон и которое необходимо мне для исследования сферы возможного. Все издержки я, разумеется, беру на себя. Свяжитесь с каким-нибудь частным детективом, всего лучше с Линхардом, заплатите ему, сколько он попросит, денег хватит на все, и вообще действуйте по своему усмотрению.

Я еще раз обдумал это странное предложение. Оно мне не понравилось, я смутно чуял ловушку, хотя и не мог сообразить, в чем она.

— А почему вы обратились именно ко мне? — спросил я.

— Потому что вы ничего не смыслите в бильярде, — спокойно отвечал он.

И тут я принял решение.

— Господин Колер, — сказал я, — ваше поручение представляется мне слишком загадочным.

— Ответ можете сообщить моей дочери, — сказал Колер и встал.

— А мне не нужно время для раздумий, я отказываюсь, — ответил я и тоже встал.

Колер спокойно взглянул на меня, сияющий, счастливый, розовый.

— Вы возьметесь за это поручение, мой юный друг, — сказал он, — я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете: шанс — это и есть шанс, а вам он нужен. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. А теперь, Мёзер, вернемся к нашим корзинам.

И оба удалились, под ручку, не сойти мне с этого места, а я был рад, что смогу наконец покинуть обитель абсолютного счастья, и по возможности скорее. Я смылся в прямом смысле слова. Исполненный твердой решимости не ввязываться в это дело и никогда больше не видеть Колера.

Но я согласился. Хотя даже наутро все еще хотел отказаться. Я чувствовал, что на карту поставлена моя адвокатская репутация, пусть даже репутации как таковой у меня еще не было. Но предложение Колера не имело смысла, какой-то фокус, ниже достоинства моей профессии, откровенная возможность дуриком заработать много денег, против чего восставала моя гордость. В те времена я еще хотел оставаться незапятнанным, мечтал о настоящих процессах, о возможности приносить людям пользу. Я написал кантональному советнику письмо, где вторично сообщал о своем решении. На этом дело для меня было закончено. С письмом в кармане я вышел из своей комнаты на Фрайештрассе, как выходил каждое утро, в девять ноль-ноль, намереваясь по обыкновению для начала посетить "Селект", позднее наведаться в свою контору (мансарда на Шпигельгассе), а еще позднее – прогуляться по набережной. В дверях я раскланялся со своей квартирной хозяйкой, зажмурился от яркого света, глядя на желтый почтовый ящик возле дверей магазина, через дорогу от меня, несколько шагов, говорить не о чем, но, поскольку жизнь порой напоминает действие плохого романа, я в это гнетущее, тяжелое, из-за того, что дул фён, то есть типичное для нашего города заурядное утро между девятью и десятью часами, как уже было сказано, встретил, и вдобавок подряд, одного за другим а) старину Кнульпе, б) архитектора Фридли, в) частного детектива Линхарда.

а) Старина Кнульпе. Он заступил мне дорогу у почтового ящика. Я только было собрался сунуть в щель письмо с отказом, как он обошел меня с целой стопкой писем и начал аккуратно, одно за другим, опускать их. Как и обычно, старину сопровождала жена. Профессор Карл Кнульпе имел рост около двух метров, вид у него был изможденный, кожа да кости, напоминал он сразу и проповедника Симона Бергера и св.Николая Флюенского, только без бороды, был неухоженный и грязный, зимой и летом носил пелерину и берет. Супруга его тоже вымахала метра на два, была такая же изможденная, такая же неухоженная, тоже круглый год не снимала пелерины и берета, так что многие полагали, будто она не жена Кнульпе, а его брат-близнец. Оба были социологи и достигли известных степеней в своей области. Но хотя в жизни супруги были, что называется, водой не разольешь, в науке они враждовали не на жизнь, а на смерть и порой обрушивались в печати со злобными нападками друг на друга, он был великий либерал ("Капитализм как духовная авантюра", издательство "Франке", 1938), она – страстная марксистка, снискавшая известность под именем Моисей Штеелин ("Марксистский гуманизм реальной жизни", издательство "Ойропа-ферлаг", 1939), у обоих политическое развитие привело к одинаковым последствиям. Карл Кнульпе не получил въездной визы в США, Моисей Штеелин – в СССР; он позволил себе слишком резкие высказывания против "инстинктивных марксистских тенденций" Соединенных Штатов, она высказывалась еще беспощаднее против "мелкобуржуазного предательства" со стороны Советского Союза. Он позволил, она высказалась. К сожалению, здесь можно употреблять только прошедшее время: недели две назад грузовик Штюрецлеровской конторы по сносу старых зданий задавил обоих, его предали земле, ее кремировали согласно завещанию, которое не на шутку осложнило похороны.

— День добрый! — дал я знать о себе, все еще держа в руках письмо Колеру.

Профессор Карл Кнульпе не ответил на мое приветствие, только, недоверчиво опустив взгляд, заморгал сквозь запыленные очки без оправы, жена его (в аналогичных очках) тоже промолчала.

— Не знаю, помните ли вы меня, господин профессор, — сказал я, малость обескураженный.

— А как же, — ответил Кнульпе. — Помню. Вы изучали юриспруденцию и болтались у меня в социологическом семинаре. У вас и сейчас вид как у вечного студента. Экзамены сдали?

— Давно, господин профессор.

— Адвокатом стали?

— Так точно, господин профессор.

— Молодцом. Социалист небось?

— Отчасти, господин профессор.

— Исправный раб капитала? — осведомилась супруга Карла Кнульпе.

— Отчасти, госпожа профессор.

— У вас, должно быть, что-то есть на сердце, — установил Карл Кнульпе.

— Отчасти, господин профессор.

— Проводите нас, — сказала она.

Я их проводил. Мы прошли мимо "Павлина", письмо я так и не бросил, из внезапной забывчивости, впрочем, почтовых ящиков у нас хватает.

— Выкладывайте, — приказал он.

— Я был в тюрьме, господин профессор, у доктора h.c. Исаака Колера.

— Так-так, значит, вы были у него, у нашего добродетельного убийцы.

Ай-ай! Значит, вас он тоже вызвал?

— Так точно.

Вопросы сыпались вперемежку, то он спрашивал, то она.

— Он все еще счастлив?

— Ясное дело!

— И все еще сияет?

— Само собой!

Мы прошли мимо очередного почтового ящика. Собственно говоря, я хотел здесь остановиться, опустить свое письмо с отказом, но супруги Кнульпе безмятежно двигались дальше, размашистыми, торопливыми шагами. Чтобы не отстать, мне пришлось перейти на бег.

— Колер говорил мне, что вы взяли выполнить одно не совсем обычное поручение, господин профессор.

— Не совсем обычное? Это чем же?

— Господин профессор! Положа руку на сердце: если Колер поручает расследовать им же совершенное убийство с точки зрения его последствий, это ведь не лезет ни в какие ворота. Человек среди бела дня, без всякого повода, ни с того ни с сего совершает убийство, а потом заказывает социологические изыскания на данную тему под предлогом, что лишь так можно исчерпывающим образом рассмотреть действительность.

— Она и будет рассмотрена самым исчерпывающим образом, молодой человек. До бездонных глубин.

— Но ведь за этим что-то должно скрываться, какая-то чертовщина! — вскричал я.

Чета Кнульпе остановилась. Я пыхтел от гонки. Кнульпе протер свои очки без оправы и вплотную подступил ко мне, так что теперь я мог смотреть на него только снизу вверх, а он на меня — только сверху вниз. Он снова насадил очки, глаза его вонзились в меня.

Жена Кнульпе тоже на меня уставилась в неподдельном возмущении и подошла поближе к своему супругу, а тем самым и ко мне.

— За этим скрывается наука, молодой человек, одна только наука, и ничего больше. Впервые открывается возможность с методической доскональностью исследовать и самым исчерпывающим образом представить последствия убийства в гражданской среде! Благодаря нашему высокопоставленному убийце! Уникальный шанс! Открываются такие взаимосвязи! Родственные, профессиональные, политические, финансовые, культурные! Чему не следует удивляться. В этом мире все взаимосвязано, равно как и в нашем дорогом городе, один опирается на другого, один протезирует другому, и когда один падает, слетают многие, вот и сейчас многие слетели. Лично я с головой ушел в изображение последствий на примере нашей почтенной альма-матер. А ведь это только начало!

— Простите, машина...

Я оттащил обоих на безопасное место. От возбуждения супруги сошли с тротуара на мостовую, такси резко затормозило. Оно было битком набито, пожилая дама в шляпе, утыканной искусственными цветами, стукнулась лбом о ветровое стекло, шофер выкрикнул в окно что-то ужасно грубое. А супруги, те даже не побледнели.

— Несущественно, — сказал он, — с точки зрения статистики несущественно, переедут нас или не переедут. Важна только задача, только наука.

Но госпожа Кнульпе с ним не согласилась.

— Почему несущественно? Обо мне можно бы и пожалеть, — заявила она.

Такси уехало, а Кнульпе снова повел речь о своем социологическом изыскании.

— Не спорю, убийство есть убийство, но для человека науки убийство — это феномен, который подлежит исследованию, как все феномены. До сих пор ограничивались изучением причин, мотивов, истоков, окружающей среды. Мне же предстоит изучать последствия. И тут я возьму на себя смелость сказать: это убийство — благо для нашей альма-матер, великое благо для всего университета, прямо так и чешутся руки самому кого-нибудь убить. Конечно, не спорю, убийство — явление прискорбное, такое преступление, сами понимаете, но через брешь, неожиданно возникшую со смертью Винтера, стал возможен приток кислорода, приток нового духа. Выясняются самые потрясающие обстоятельства, наш дорогой покойник был досадной песчинкой в механизме, отсталым элементом, уже и Шекспир сказал по этому поводу: "Зима¹ тревоги нашей миновала", но я не хочу ни грешить, ни изощряться в бездарных островах, я просто отображаю, сопоставляю факты, молодой человек, факты, и ничего больше.

Мы дошли до "Павлина".

— Ну, в добрый час, господин адвокат, — сказали мне супруги на прощанье.

¹Winter (нем.) — зима.

— У меня важное свидание с человеком из Высшего технического училища, — добавил Кнульпе. — Хочу копнуть и на этой территории. Влияние Винтера на педагогический совет — это уже само по себе целая глава, я предвижу сенсацию. Прелюбопытно может получиться.

У входа в ресторан оба снова обернулись ко мне, каждый воздев указующий перст.

— Мыслить научно, молодой человек, научно мыслить. Вам необходимо этому выучиться. В частности, как адвокату, — завершила госпожа профессор Кнульпе, она же Моисей Штеелин.

Они исчезли, а письмо свое я все еще не опустил.

б) Архитектор Фридли. Малость погодя я уже сидел рядом с ним в "Селекте", и письмо все так же лежало у меня в кармане. "Селект" — кафе, где сидят и не уходят целую вечность, с незапамятных времен, или скажем по-другому: миллионы лет назад, когда вниз по реке еще трюхали бронтозавры, перед "Селектом" уже сидели люди. Фридли я знаю со своей штюсси-лойпиновской поры, ибо у него время от времени случались неприятности из-за земельных спекуляций, но сдержать Фридли ничто не могло, он был и остается той лавиной жира, которая сметает с лица земли отдельные части нашего города, после чего там, где прошла лавина, возникают административные здания, меблированные квартиры и доходные дома, только все — более дорогое, чем раньше, по соответственно более жирным ценам. Рассмотрим это грозное явление природы пристальнее, явлению пятьдесят лет, во все стороны прут огромные, влажные от пота, сальные подушки, глаза у лавины маленькие, сверкающие, кое-как воткнутые в лицо, носик крохотный, уши тоже, а все остальное — огромное, селфмейдмен¹, дитя Лангштрассе (моя мамаша, дорогой Шпет, ходила по людям стирать, мой папаша спился до смерти, я сам вылил на его похоронах бутылку пива в могилу), не только меценат велосипедного спорта, без особых призов которого немислима ни одна шестидневная гонка, когда сам он восседает посреди крытого стадиона, поглощая немислимые количества Санкт-Галленской колбасы и сосисок, вдобавок он еще и покровитель музыкального искусства, это благодаря Фридли наш симфонический оркестр и оперный театр не скатываются окончательно до уровня посредственности, это Фридли ухитряется заманить на наши подмостки дирижеров Клемперера, Бруно Вальтера и даже Караяна, а теперь покровительствует Мондшайну; тем самым он хотя бы в сфере искусства возвышает наш город, его же радениями безнадежно изуродованный.

Меня он узнал сразу. Утро, о чем я уже говорил, было теплое, дул фён, люди чувствовали себя как дома, сидели словно парализованные и заколдованные из-за этого обессиляющего климата, жались друг к другу, лично я прилип к Фридли, тот был в отменном расположении духа, макал в свой кофе с молоком одну плюшку за другой, сверх всякой меры чавкал, причмокивал, кофе бежал коричневыми струйками по его шелковому галстуку и белой сорочке.

Бурное ликование Фридли объяснялось помещенным в нашей всемирно известной городской газете объявлением о смерти. Господу богу вздумалось с помощью трагического случая "призвать к себе нашего незабвенного супруга, отца, сына, брата, дядю, зятя и шурина Отто Эриха

¹Selfmademan (англ.) — дословно: человек, сам себя сделавший.

Куглера. Вся его жизнь была — любовь”.

— Ваш враг? — спросил я.

— Мой друг.

Я выразил соболезнование.

— Угораздило же его под Шапом врезаться в дерево, нашего дорогого, славного и доброго старину Куглера, — прокомментировал Фридли, сияя, звучно прихлебывая, макая и заглатывая плюшки, — прямоком угодили в царствие небесное.

— Сочувствую, — пробормотал я.

— Чем сочувствовать, поглядели бы на его ”фиат”, просто жестяная лепешка.

— Какой ужас!

— Судьба такая. Все там будем.

— Пожалуй.

— Приятель, — сказал он, — вы, верно, и не подозреваете, что означает этот удар судьбы для моей ничтожной особы?

Я не подозревал. Раздутая ничтожная особа приветливо на меня уставилась.

— Куглер оставил вдову, — объяснил он. — Женщина на все сто.

Тут только я начал кое-что смекать.

— И на этой женщине вы теперь намерены жениться?

Архитектор Фридли колыхнул той частью своего жира, в которой, по моим расчетам, помещалась голова.

— Нет, молодой человек, я хочу жениться не на вдове, а на жене ее любовника. Тоже женщина на все сто. Усекли? Господи, это же проще простого: если любовник женится на вдове, ему придется перед этим развестись со своей женой, и тогда на ней женюсь я.

— Высшая светская математика, — сказал я.

— Стало быть, усекли.

— Но тогда вам тоже надо развестись, — напомнил ему я, смутно надеясь, что мне поручат вести бракоразводный процесс.

— А я и развелся. Неделю назад. Мой пятый развод.

Опять мимо.

Кельнер принес новую партию плюшек. Класс женской гимназии перебежал через площадь; девочки, некоторые с косичками, другие уже выглядели как молодые женщины; стайка остановилась, разглядывая рекламные снимки перед кинотеатром. Фридли покосился в их сторону.

— Не вы ли тот занятый адвокат, у которого хватает наглости держать контуру на Шпигельгассе, да еще в мансарде? — спросил он, не сводя глаз с девочек.

Пришлось ответить утвердительно.

— Сейчас половина десятого, — констатировал он и, осклабясь, снова обратился ко мне: — Не хочу быть бестактным, Шпет, потому что, вообще-то говоря, я человек вежливый, но я сильно подозреваю, что сегодня вы еще не заглядывали к себе в контуру.

— В точку, — сказал я, — ваше сильное подозрение вполне оправданно. Но я предполагаю не далее как через час или самое позднее после обеда туда наведаться.

— Так-так, предполагаете наведаться. — Он зорко глянул на меня. — Дорогой Шпет, вы сами во всем виноваты. Сегодня я с семи утра до без десяти девять проточал на строительной площадке, — скромно сказал он. —

Я заколачиваю миллионы. Чистая правда. На строительстве, на земельных спекуляциях. Тоже правда. Но за этим скрывается работа. И дисциплина, черт побери. Я пью как бочка, не спорю, но зато я каждое утро сам себя поднимаю за шиворот.

Сальная туша по-отечески обняла меня за плечи.

— Дорогой мой Шпет, — нежным голосом продолжал он, огромная сальная нежность, сияющая от кофейного пара, от сдобных крошек на лице и на руках, — дорогой мой Шпет, я хочу без обиняков поговорить с вами. У вас явные стартовые затруднения, можете не втирать мне очки. Из чего следует: для серьезных людей вас все равно что нет. Адвокат, который к половине десятого еще не сидит за своим столом, для порядочного бизнесмена не существует. Я не хочу глубже залезать вам в душу, на лежебоку вы как-то не очень похожи, но, с другой стороны, вы до сих пор не могли собраться с духом, чтобы совершить настоящее сальто-мортале прямо в гущу жизни. А знаете почему? Да потому, что вы ни черта не смыслите в репрезентативности, потому что у вас нет ни осянки, ни живота. Закончить университет — это, разумеется, весьма изысканно, но хорошие отметки производят впечатление только на ваших учителей. Одного письменного стола мало. Можете восседать за ним сколько угодно, клиенты косяком не пойдут. И правильно сделают, на кой ляд вы им сдались. Нет, мой дружок, ваше разочарование неуместно, "фольксваген" и мансарда — это не только социальный, это отчасти и духовный признак бедности, уж вы на меня не сердитесь. Ничего не скажу против честности и скромности, но адвокат должен вышагивать так, чтоб под ним земля дрожала. И прежде всего вам нужно приличное помещение для конторы, с вашей голубятней вы толку не добьетесь, туда ни один человек не полезет, люди, в конце концов, намерены вести процесс, а не улучшать свою спортивную форму. Короче говоря, дальше так дело не пойдет. И я хочу дать вам шанс. Приходите завтра к семи утра, принесите мне четыре штуки, и мы подкинем вам несколько приличных комнатенок на Цельтвеге.

(Что за этим последовало? Длительные рассуждения о гигантской земельной спекуляции и параллельно поглощение очередной партии плюшек под кофе с молоком, рассуждения иронически-сардонического характера, подкрепленные твердым убеждением, что в этой стране самые крупные махинации можно и должно провертывать только в открытую; с махинаций Фридли перепрыгнул на фестиваль Стравинского и Онеггеровский цикл, а когда я встал, он еще успел заметить, что хаос на дорогах происходит оттого, что наш городской голова предпочитает ходить пешком.)

в) Частный детектив Фреди Линхард одного со мной года рождения. Тощий и черноволосый человек, на редкость молчаливый и скупой на слова. Единственный сын разведенных родителей. Когда он был еще гимназистом, его заподозрили в убийстве родной матери и ее любовника, обоих обнаружили нагишом в мамочкиной спальне, оба лежали аккуратно вытянувшись — она — на кровати, он, психиатр из Кюснахта, — на полу перед кроватью, все равно как коврик. Линхарда взяли прямо с экзамена на аттестат зрелости, он был как раз занят переводом Тацита, когда полиция схватила его, положение Линхарда казалось безнадежным, подозревать больше было некого, только он в ночь убийства находился дома,

хотя, если верить его словам, мирно сидел у себя в своей гимназической келье, в мансарде, набитой классиками и книгами по зоологии. Прибавьте к этому и еще одну незадачу: ему как раз минуло восемнадцать, тем самым он попадал не под ферулу прокурора по делам несовершеннолетних, а в гораздо более беспощадные руки Йеммерлина. Допросы во время предварительного заключения и позднее, перед судом присяжных, протекали более чем свирепо, Йеммерлин атаковал гимназиста по всем правилам искусства, но Линхард держался блестяще, даже обнаруживая известное превосходство, и тогда вдруг неопровержимые улики заперели серьезными противоречиями, а под конец у правосудия не осталось иного выхода, кроме как вынести оправдательный приговор. Улик не хватило даже для того, чтобы назначить опеку. Йеммерлин рвал и метал, именно в ходе этого разбирательства у него впервые случился нервный криз, он неоднократно еще пытался, без всякого, впрочем, успеха, внести протест в федеральный суд с требованием пересмотра дела, тем более что Линхард приступил к отщению. На этого подозреваемого неожиданно свалились деньги, бешеные суммы, умопомрачительное богатство, разведенный папенька оставил сыну все свое состояние. К этому прибавились капиталы отнюдь не бедной маменьки, и вообще презренный металл катился, стекался, слетался со всех сторон, накапливался, множился, приносил проценты, одно наследство следовало за другим, и все это в самые сжатые сроки, деды и бабки, тетки и дядья пачками, так сказать, спешили переселиться в лучший мир, а за ними следовали потенциальные наследники, казалось, будто земля и небо задействовали все имеющиеся в их распоряжении виды смертей, дабы благословить Линхарда земными дарами. И Линхард был щедро благословлен. Едва выскользнув из объятий разъяренного Йеммерлина и едва достигнув двадцати лет, он предстал перед изумленной публикой мультимиллионером. Это было поистине сказочное везение, и счастье играло здесь большую роль, нежели расчет, хотя, впрочем, и расчет наличествовал изрядный. Ибо действия Линхарда против прокурора были столь же просты, сколь и последовательны: он неизменно держался поблизости. Йеммерлин мог направить свои стопы куда угодно, по дороге ему непременно встречался Линхард. Где бы он ни держал обвинительную речь, ему из зала во весь рот улыбался Линхард. Если ему случалось обедать в ресторане, за соседним столиком всякий раз обедал Линхард. Линхард всегда был рядом. Где бы Йеммерлин ни проживал, в соседнем доме обязательно проживал Линхард, если Йеммерлин, клокоча от ярости, переезжал на новую квартиру, этажом выше снимал квартиру Линхард. Йеммерлин решительно не знал, что ему делать. Вид Линхарда был для него невыносим. Он уже несколько раз был готов наброситься на Линхарда и перейти к действию и однажды даже приобрел револьвер. Он кочевал с одной улицы на другую, переезжал из одного района в другой, с Хинтербергштрассе на К. Ф. Майерштрассе, из Воллискофена в Швамендинген, и когда наконец, оставив цивилизацию далеко позади, он начал строить виллу на Катценшванцштрассе у Витикона, рядом тоже возникла какая-то стройка. Йеммерлин заподозрил неладное, и то обстоятельство, что в качестве будущего соседа ему назвали прокурориста одного из цюрихских банков, успокоило его лишь отчасти. Он оказался прав. Когда весной, закатав рукава, он первый раз вышел поливать молодой газон, Линхард бойко сделал ему ручкой из-за свежеекрашенного забора и тотчас заговорил, будто со старым знакомым (впрочем, так оно, в сущности, и

было), и представился как новый сосед. Мифический банковский прокурор был всего лишь подставным лицом. Йеммерлин, шатаясь, побрел к дому, но дойти сумел лишь до веранды. Второй нервной криз, а вдобавок — инфаркт. Врачи не знали, куда его поместить, то ли в психиатрию, то ли в кардиологию. Йеммерлин остался дома, лежал пластом, желтый как воск, и считалось, что его песенка спета. Однако он устоял. Он снова поднялся на ноги, хотя и опустошенный внутренне. По отношению к Линхарду — безмолвное смирение. Они так и остались жить друг подле друга. На лесной опушке. С видом на Витикон. Йеммерлин больше не рисковал поднимать голову. Тем более что он был совсем уж бессилен против нового рода занятий Линхарда. Линхард заделался частным детективом и вел свои дела с большим размахом. В одном из средневековых зданий в Талаккере он снял несколько помещений, целый этаж сразу, чтобы можно было без помех переходить из комнаты в комнату. За вполне современными письменными столами сидели и курили сигары коротко подстриженные плечистые господа, сплошь бывшие спортсмены, хоть и отравившие пивной животик, но вполне довольные жизнью; далее там сидели бывшие полицейские, которых он просто-напросто перекупил, ибо то, что в смысле вознаграждения мог предложить Линхард, значительно превышало возможности нашего города. Но отнюдь не перекупка блюстителей порядка выводила Йеммерлина из себя, бизнес он и есть бизнес, с этим, к сожалению, спорить трудно. Терзали его душу совсем другие приобретения Линхарда. Он не мог не видеть, что старинные залы в Талаккере заполняют сомнительные субъекты, которых он, Йеммерлин, в свое время беспощадно преследовал, бывшие арестанты и бандиты, которых здесь после их возвращения на стезю добродетели употребляли как специалистов. Кстати, "уголовное отделение" Линхарда пользовалось в нашем городе сногсшибательным успехом, несмотря на умопомрачительные гонорары, которые он назначал, и непомерные накладные расходы, которые он обычно ставил в счет, ибо "Частная информационная контора Линхарда" — так официально именовал он свое заведение — поставляла доказательства измен, равно как и верности заподозренных супругов, находила отцов, коль скоро последние не желали по доброй воле удовлетворять требования матерей, добывала информацию по личным, равно как и производственным, проблемам, вела надзор, преследование, розыск, выполняла щекотливые поручения, и к ее помощи нередко прибегали официальные защитники, чтобы воспрепятствовать намерениям Йеммерлина добыть контраргументы либо вообще заполучить что-нибудь новенькое. Немало процессов благодаря конторе Линхарда кончалось вопреки всем ожиданиям благоприятно для обвиняемого, в Талаккере неофициально встречались адвокаты. Линхард как гостеприимный хозяин был выше всех похвал, да и политические противники нередко сходились у него за столом и обменивались сведениями.

Таково краткое вступление. Наша с ним встреча состоялась непосредственно перед "Селектом", в самом начале одиннадцатого. Фридли наконец убрался восвояси, и я тоже встал с места, чтобы отправить все-таки письмо Колеру, но я уже не был исполнен такой же твердой решимости, как вначале, и тут явился, вернее, подъехал Линхард. На "порше". Притормозил. Меня он помнил со времен моего студенчества, он тоже изучал право, хотя и не дольше одного семестра, в свое время он и мне предлагал у него работать, но я отказался.

— Эй, адвокат, — сказал он, сидя за рулем своей открытой машины и не глядя на меня. — Есть ко мне дело?

— Возможно, — отвечал я.

— В машину, — скомандовал он.

Я повиновался.

— Быстро бегаешь, — отметил я.

— Пять тысяч, — ответил Линхард, желая этим сказать, что готов за такую сумму уступить свой "порше". У него было много машин, иногда казалось, что он меняет их каждый день.

Затем я рассказал ему о своей встрече со старым Колером. Линхард вел машину по берегу озера, это у него вошло в привычку, самые важные дела обделывались в машине. "Чтоб без свидетелей", — однажды пояснил он. Он вел машину все время на одной скорости, очень аккуратно и при этом внимательно меня слушал. Когда я кончил свой рассказ, он притормозил. В Юतिकоне. Перед телефоном-автоматом.

— Выгодно, — заявил он. — Сыск нужен?

Я кивнул.

— Если я соглашусь.

Он зашел в телефонную будку, а вернувшись, заявил:

— Его дочь сейчас дома.

После чего мы поехали на Вайнбергштрассе и остановились перед виллой Колера.

— Прямоком туда, — скомандовал Линхард.

Я замялся.

— Мне следует принять предложение?

— Само собой.

— Слишком туманно, — выразил я свои опасения.

Он раскурил сигарету.

— Не примете вы, примет другой, — ответил он, что для него равнялось целой речью.

Я вылез из машины. Рядом с величественным порталом к литой чугунной решетке был прикреплен почтовый ящик. Ящик сверкал желтизной. Напоминал. Письмо с отказом все еще лежало у меня в кармане. Я сознавал свой долг. Хотя, вообще-то говоря, чего ради отказываться от поручения и разыгрывать из себя человека с характером? Нужны мне деньги? Нужны. И точка. А деньги, они на улице не валяются, тут надо не упустить свой шанс, и вот он вам, пожалуйста, этот шанс. Мне не обойтись без представительности, если, конечно, я хочу добиться успеха как адвокат. Архитектор Фридли вполне прав, я действительно хочу добиться успеха. И потом, если вникнуть: поручение Колера, оно ведь и впрямь безобидное, скорее научное исследование, благо Колер может себе позволить подобную экстравагантность.

— Вы, кажется, хотели за свой "порше" пять тысяч?

— Четыре, — отвечал Линхард.

— Какое великодушие!

— Зависит от задания.

— На кой оно вам?

— Занятно.

— Тогда мне надо сперва переговорить с дочерью Колера, — сказал я.

— Я жду, — отвечал Линхард.

Обращение к прокурору. Дольше тянуть нельзя. Я просто обязан рассказать про свою первую встречу с Элен. Мучительное мероприятие, пойти на него можно с большой осмотрительностью, избежать вообще невозможно. Даже если в моем изложении всплывут сугубо личные мотивы. Наконец-то личные, ибо вы с особым интересом прочитаете и подчеркнете эту часть. "Вы" — я не оговорился, я подразумеваю именно вас, господин прокурор Иоахим Фойзер. Вздрагивайте, вздрагивайте. Почему бы мне и не перейти на личности, коль скоро вы, как преемник Йеммерлина, вторым, после начальника полиции, будете читать эти строчки, точнее сказать, уже читаете, и в данную минуту я испытываю адскую радость — адскую, быть может, в двойном смысле этого слова — поприветствовать вас с того света. Начистоту: вы весьма педантичный представитель своей породы, пусть даже в отличие от покойного Йеммерлина изображаете из себя человека прогрессивных взглядов и не пропускаете ни одного психологического симпозиума. Вы обожаете вещественные доказательства. Только что порядка ради вы осмотрели мой труп в анатомическом театре, на вас был светлый плащ, шляпу вы из уважения к обители мертвых держали в руке и скорчили профессионально скорбную мину; самоубийство проведено так, что не подкопаясь, уж признайтесь, но ведь и с Колером я обошелся по всем правилам искусства, у него очень торжественный вид, когда мы так покоимся рядышком, один подле другого. Однако вернемся из вашего настоящего, которое для меня лежит в будущем, в мое настоящее, для вас уже миновавшее. Времена смещаются. Усекли? Не думаю. Разве что разгневались. Я очень тщательно подготовился.

Во-первых, исторически, архитектурно и философски. То, что важно для внутренней жизни, требует четких рамок. Так же и в историческом смысле. Поэтому я собрал самые точные сведения о колеровской вилле. Я даже порылся в материалах городской библиотеки. Выяснилось, что это бывшая резиденция Никодемуса Мольха. Никодемус Мольх, мыслитель занимающегося двадцатого столетия, европеец с бородой как у Моисея, неизвестного происхождения и неизвестной национальности (по одной версии — законный сын австралийской певицы от Александра Третьего, по другой — ранее судимый за растление малолетних учитель второй ступени Якоб Хегер из Бургдорфа), возглавлял субсидируемую богатыми вдовами и тяготеющими к прекрасному полковниками независимую академию, состоял в переписке со старым Толстым, средних лет Рабиндранатом Тагором и молодым Клагесом, затевал космическое движение обновителей, провозгласил всемирное вегетарианское правительство, чего, к сожалению, никто не принял всерьез (не то, возможно, удалось бы избежать первой мировой войны, избежать Гитлера — хоть и вегетарианца, — второй мировой, а также всех последующих напастей), издавал журналы, частью оккультного, частью изысканно порнографического содержания, писал драмы-мистерии, позднее обратился к буддизму, чтобы еще позднее, когда повсюду уже были разосланы письма с описанием его примет, запутавшись в бесчисленном множестве банкротств и исков о признании отцовства, кончить в качестве секретаря далай-ламы — по непроверенным слухам, ибо некоторые из наших сограждан, члены киноспецдиции, вроде бы опознали его в тапере одного из шанхайских баров в тридцатых годах.

Расположение виллы. Для выросшего в бедных или, точнее, в никаких условиях адвоката, который только что принял решение совершить сальто-мортале (цитирую Фридли) в гущу более сладкой жизни, дорога от машины Линхарда к дверям доктора h.c. Исаака Колера оказалась весьма приятной, она вела через парк, где даже сама природа дышала богатством. И флора здесь не поскупилась на свои дары. Деревья как на подбор величественные и до сих пор в летнем наряде. Даже фён — и тот здесь не ощущался, даже по этому вопросу явно был подписан договор с какими-то неведомыми инстанциями, богатым людям многое по плечу. (Для непосвященных: под фёном в нашем городе подразумевают такую метеорологическую ситуацию, которая вызывает головную боль, самоубийства, супружеские измены, дорожные происшествия и акты насилия.) Я шел по заботливо усыпанным гравием дорожкам, выполотым и расчищенным. Вообще это был парк не из современных. Скорей на старинный лад "культуривированный". Искусно подрезанные кусты и живые изгороди. Замшелые статуи. Нагие бородатые боги с юношескими ягодицами и такими же икрами. Тихие пруды. Величественная чета павлинов. И это при том, что парк лежал в центре города, где любой квадратный метр земли стоил астрономических сумм. Вокруг него грохотали трамваи и лился поток автомашин, транспорт, словно океанский прибой, разбивался о чугунную решетку с позолоченными остриями, бушевал, трезвонил и сигналил, но в парке у Колера царил тишина. Возможно, звуковым волнам просто запретили сюда вторгаться. Слышны были лишь птичьи голоса.

Само здание. Вообще оно некогда выглядело просто чудовищно с архитектурной точки зрения, наш западный мыслитель сам набросал его проект. И как удалось кантональному советнику превратить этот ужас в нечто вполне жилое и человеческое, составляет одну из его тайн. Наверняка пришлось отбить множество куполов, башенок, эркеров, ангелочков и зодиакальных фигур (Никодемус Мольх в числе прочего баловался и астрологией), прежде чем из архитектурного монстра вылупилась вилла, хотя и по-прежнему с фронтоном, но оттого еще более приглядная, обитая диким виноградом, плющом, жимолостью и розами, большая и просторная; такой же оказалась она и внутри, после того как я, бросив последний взгляд на "порше", видневшийся отсюда лишь красным пятном, переступил ее порог. Архитекторы потрудились на славу, они повыламывали стены, обтянули полы ковровым покрытием и так далее, все здесь было удобным и легким. Антикварная мебель, каждый предмет — произведение искусства, на стенах — знаменитые импрессионисты, далее — поздние фламандцы (меня вела по дому горничная). В кабинете господина советника меня оставили дожидаться, кабинет был просторный, вызолоченный солнцем. Распахнутая дверь вела в парк, два окна по обеим сторонам двери доходили почти до пола. Драгоценный паркет, необъятный письменный стол, глубокие кожаные кресла, на стенах ни одной картины, сплошь книги до самого потолка, естественные науки и математика, солидная библиотека, с которой как-то не вязался бильярд. Стоял он в объемистой нише, на зеленом поле еще лежали три шара, у стены выстроилась целая коллекция бильярдных киев. Много старинных, с надписями. Кий Оноре де Бальзака, кий Готфрида Келлера, генерала Дюфура, Бисмарка, а одним предположительно пользовался некогда Наполеон. Я оглянулся по сторонам в некотором смущении. Присутствие старого доктора h.c. ощущалось решительно во всем, будто он в любую

минуту мог войти из парка, будто я слышал его смех, будто на мне остановился его внимательный взгляд.

Видение. Тут произошло нечто удивительное, я бы даже сказал — из мира привидений. Внезапно я постиг кантонального советника. Неожиданно для себя. Это постижение как бы снизошло на меня. Я угадал причину его поступка. Я угадывал ее в драгоценных предметах обстановки, в книгах, в бильярдном столе. Я углядел ее во взаимосвязи между строжайшей логикой и игрой, которая наложила свой отпечаток на эту комнату. Я проник в его тайну и ясно увидел: Колер убил не потому, что был игрок. Нет. Колер не был азартным человеком. Ставки его не привлекали. А привлекала его сама игра как таковая, разбег шаров по зеленому полю, расчеты, их осуществление, возможности, заложенные в каждой партии. Удача ничего для него не значила (потому он и мог полагать себя абсолютно счастливым человеком, не кривя при этом душой). Он просто гордился тем, что в его власти определять условия игры, любил наблюдать за становлением некоей необходимости, им же самим созданной. В чем и заключался его юмор. Конечно же, для этого тоже были свои причины. Возможно, утонченная жажда власти, желание поиграть не только шарами, но и людьми, соблазн поставить себя вровень с богом. Очень возможно. Но несущественно. Мне, как юристу, надлежит оставаться на поверхности, а не забираться в дебри психологии и уж тем паче не лезть в философию или теологию. Совершив убийство, Колер просто начал новую партию, и только. Теперь все шло по его плану. Я же был не более как одним из шаров, приведенных в движение его ударом. Он действовал вполне логично. Суду он не назвал причину потому, что и не мог бы ее назвать.

Убийцы обычно действуют по вполне конкретным мотивам. От голода. Или от любви. Духовные мотивы встречаются реже, да и то в искажении, которое им сообщила политика. Мотивы религиозные почти не встречаются и ведут убийцу прямоком в психиатрическую лечебницу. Кантональный же советник действовал из сугубо научных соображений. Это звучит абсурдно, но он был мыслитель. И мотивы у него были не конкретные, а абстрактные. Вот на этом его и можно было подловить. Он любил бильярд не как игру, а потому, что бильярд служил для него моделью действительности. Одним из возможных ее упрощений (модель действительности — здесь я употребляю излюбленное выражение Мокка, ваятеля, который много занимается физикой, мало лепит и вообще неисправимый фантазер, в его ателье я последнее время часто засиживаюсь — где еще прикажете после двенадцати искать выпивку в такой стране, как наша? — разговор с ним из-за его глухоты крайне затруднителен, хотя идей он мне подбросил немало). По той же причине Колер занимался естественными науками и математикой. Они точно так же поставляли ему "модели действительности". Но под конец эти модели перестали его удовлетворять, и ему пришлось совершить убийство, чтобы создать себе очередную модель. Он экспериментировал над преступлением, и смерть для него была не более как метод. Отсюда поручение Кнульпе установить последствия убийства, отсюда и абсурдное задание подыскать другого "возможного" убийцу. Лишь теперь, в его кабинете, наедине с предметами, которыми занимался старик, я понял смысл нашего с ним разговора в тюрьме. "Исследовав действительность, точно измерить воздействие одного поступка", и "нам надлежит переосмыслить действительность,

дабы проникнуть в сферу возможного”. Доктор h.c. открыл свои карты, но тогда я не понял его игру. Лишь приняв эту игру всерьез, можно было отыскать мотив убийства: он убил, чтобы наблюдать, он лишил кого-то жизни, чтобы исследовать законы, на которых основано человеческое общество. Впрочем, приведи он этот мотив на суде, его сочли бы пустой отговоркой. С юридической точки зрения он был слишком абстрактный. А научное мышление устроено именно так. Его абстрактность служит ему защитой. Однако, единожды вырвавшись из своего укрытия, оно может натворить бед. И мы окажемся бессильны перед ним. Не подлежит сомнению, что именно это и произошло с экспериментом Колера: духу науки потребовалось убийство. Тем самым ни советник не оправдан, ни наука не осуждена. Чем духовнее мотив какого-нибудь акта насилия, тем злее само насилие, чем осознаннее, тем меньше ему оправданий. Оно принимает черты бесчеловечности. Святотатства. В этом смысле я рассуждал правильно, и мое видение подтвердилось. Оно предохранило меня от восторгов по адресу Колера, помешало мне хоть на минуту уверовать в его невиновность. Оно помогло мне сохранить к нему отвращение. Убеждение, что убил именно он, с этой минуты уже никогда меня не покидало. Беда в том, что тогда я не распознал всю опасность партии, которую Колер вознамерился с моей помощью разыгрывать дальше. Я полагал, будто мое участие — это всего лишь безобидная техническая деталь, не могущая иметь последствий. Я вообразил, будто партия будет далее протекать в безвоздушном пространстве, так сказать, исключительно в мыслях этого богохульника. Игра его началась с убийства. Как же я мог не догадаться, что ход ее неизбежно приведет ко второму убийству, к убийству, которое на сей раз придется совершить уже не доктору h.c., а нам, представителям юстиции, с которой старик затеял свою игру?

Во-вторых, духовно. Великая встреча требует не только четких рамок, она претендует также и на то, чтобы о ней было поведано в подобающих ей выражениях. Из чего следует: пьянка без просыпу и девки. Выпил я сперва литр-другой яблочного вина, моветон, сам понимаю (вопрос цены), но пил я только для того, чтобы привести себя в должное расположение духа; когда ко мне присоединилась барышня, я перешел на коньяк. Не волнуйтесь, желудок у меня всегда был луженый. Кстати, о барышнях — на сей раз это была не Гизела (ну та, с выдающейся фигурой), а Моника (или Мария, или Марианна, какое-то "М" там, во всяком случае, было), дело у нас шло на высоком уровне, позднее она исполнила мне уйму народных песен из немецких фильмов, под ее пение я уснул, а еще позднее она смылась со всей моей наличностью. Я, перейдя тем временем на грушовку, обнаружил ее неподалеку от Бельвио в одном из кафе, где не подавали крепких напитков. Застал я ее не одну, а с Гизелой и с покровителем Гизелы (упоминавшимся ранее Лакки), который, как выяснилось, был и ее покровителем. Я призвал ее к ответу, а он наигуманнейшим образом урегулировал финансовый вопрос, и Марлене (или Монике, или Магдалене) пришлось выкладывать денежки. Вообще все происходило очень человечно. Я бы даже сказал — благородно: так, официантка, к примеру, закрыла глаза на то, что я принес с собой бутылку «вильямина», и мы выпили вчетвером. Потом пришла Элен, более чем неожиданно, более чем внезапно, прямо явление из другого мира. Из худшего. Увидев ее с Штюсси-Лойпином — когда это, между

прочим, было, два месяца назад, три месяца назад, полгода? — я больше не думал о ней, хотя нет, еще раз, в какую-то ночь, под утро, когда надо мной, словно Будда, раскачивалась Гизела, но уж после этого не думал, наверняка не думал, разве что бегло вспомнил, переходя через мокрую после дождя улицу возле Бельвю, но это не в счет, просто резкие перемены погоды действуют на психику, — и вот она возникла передо мной, ей, видите ли, понадобилось разыскать меня в кафе. Я невольно засмеялся, все засмеялись. Элен сохранила спокойствие, приветливость, превосходство, ясность взгляда, ну, словом, все, что требуется по части безупречной выдержки. В том и был ужас, что она всегда собой владела, всегда сохраняла спокойствие, приветливость, превосходство, ясность взгляда. Я был способен убить, зарезать, придушить, изнасиловать ее, сделать шлюхой, последнее бы охотней всего.

— Мне надо поговорить с вами, господин Шпет, — сказала Элен, просительно взглянув на меня.

— Это что за барышня такая? — полюбопытствовала Гизела.

— Это очень благородная барышня, — ответил я, — барышня из хорошего дома, дочурка одного убийцы.

— А с кем она спит? — захотела узнать Марианна (или Магдалина, или Мадлен).

— Она связалась с одним суперадвокатом, — объяснил я, — с главным светилом из всех юридических светил, с хорошо обученным висельником, с великим адвокатом на все руки по имени Штюсси-Лойпин. Поэтому акт у них бывает не половой, а юридический.

— Господин Шпет, — проговорила Элен.

— Присядьте же, прошу вас, — отвечал я. — Угодно ли вам будет сидеть на коленях у покровителя этих двух барышень, достойного господина по имени Лакки, чьим поверенным я имею честь являться, или, быть может, вы предпочтете кресло?

— Кресло, — тихо сказала Элен.

Лакки придвинул ей кресло, любезно, изысканно, с головы до ног наш светский Лакки, усики черные, лицо прямо с косметической рекламы, кареглазый апостольский взгляд, он даже поклонился, придвигая кресло и на сто миль окрест благоухая туалетной водой и сигаретами "Кэмел". Элен нерешительно села.

— Я, собственно, хотела поговорить с вами наедине, — сказала Элен.

— Вот уж ни к чему, — засмеялся я, — у нас у четверых нет секретов друг от друга. С фройляйн Гизелой я уже несколько недель как сплю, с добродетельной Моникой, или Марианной, черт ее знает, как на самом деле, спал прошлую ночь. Как видите, у нас все вполне публично. Словом, выкладывайте.

У Элен на глазах появились слезы.

— Вы меня однажды о чем-то спрашивали.

— Спрашивал.

— Когда мы с господином Штюсси-Лойпином пили кофе...

— Мне совершенно ясно, о чем вы говорите, — перебил я, — не надо только перед именем этого подонка употреблять слово "господин".

— Я в тот раз не совсем поняла смысл вашего вопроса, — тихо сказала она.

И вокруг нас тоже стало тихо. Гизела соскользнула с моих коленей и начала освежать макияж. Я осатанел от злости, я разлил «вильямин» по

рюмкам и вдруг заметил, что волосы у меня слиплись, лицо залито потом, что глаза жжет, что я не брит, что от меня скверно пахнет, внезапное смущение девушек страшно меня разозлило, казалось, будто они застыдились перед Элен, будто среди нас повеяло духом Армии спасения, я готов был разнести все вдребезги, мир был устроен шиворот-навыворот. Это Элен надо бы ползать на брюхе перед этими девушками, ничего, она у меня еще поползает. Я все больше подливал себе, не говоря ни слова, я просто молча смотрел в тихое лицо с большими темными глазами.

— Фройляйн Элен Колер, — пробормотал я заплетаящимся языком и поднялся, с трудом, шатаюсь, но поднялся, — фройляйн Колер, я хочу сделать вам только одно заявление, одно, но основополагающее. Да-да, сделать заявление, это точная формулировка. Я застал вас тогда с вашим бугаем Штюсси-Лойпином — без паники, любезные дамы, — я застал вас, Элен Колер, с вашим бугаем Штюсси-Лойпином. Верно. Я спросил вас, летали вы в день убийства или нет, причем именно тем рейсом, который должен был доставить английского министра на его паршивый остров. Верно, верно и еще раз верно. Вы ответили на мой вопрос утвердительно. А теперь я хочу швырнуть вам в лицо самое главное, да-да, Элен Колер, швырнуть изо всех сил. Револьвер лежал в пальто у министра, вы его достали оттуда, что для стюардессы не составляет труда, и это был именно тот револьвер, который послужил орудием для вашего дражайшего папеньки, так никогда и не найденным впоследствии орудием убийства, о чем вы и без меня прекрасно знаете. Вы соучастница, Элен Колер, вы не просто дочь убийцы, вы и сами убийца. Вы ненавистны мне, Элен Колер, я вас теперь на дух не переношу, от вас, как и от вашего поганого папеньки, разит убийством, а не водкой и распутством, как от меня. Желаю вам сгнить заживо, Элен Колер, желаю вам заполнить рак в вашу драгоценную матку, потому что, если вам удастся произвести на свет маленького Штюсси-Лойпина, нашей земле придет конец, уж слишком она хрупкая, чтобы носить на себе такое чудище. Мне же будет от души жаль нашу бедную землю, несмотря на все ее грехи, жаль из-за этих чудесных потаскух, которым вы, любезнейшая, в подметки не годитесь, которые занимаются честным ремеслом, а не убийствами, моя нежно любимая, а теперь сгиньте с глаз моих, топайте отсюда. И можете с ходу лечь под своего суперадвоката...

Она ушла. Что было дальше, я помню смутно. Я вроде бы упал, во всяком случае, я лежал ничком на полу, не исключено, что вместе со мной упал и столик, а из бутылки вытекли остатки содержимого (это я помню точно), какой-то гость в очках и со лбом мыслителя пожаловался, на жалобу приплыла хозяйка, типичная бандерша. Лакки, благородный Лакки, отвел меня в туалет, я вдруг понял, что меня раздражают его усики, начал с ним драться, Лакки в прошлом был боксером-любителем, не обошлось без крови, я рухнул головой в писсуар, было очень неприятно, прежде всего потому, что на всем лежал толстый, как штукатурка, слой символика, будто в плохом фильме. Потом вдруг заявила полиция, вахмистр Штубер и с ним еще двое. Несколько часов они продержали меня в участке, допрос, протокол и т.п.

Послесловие. Приходится с чисто технической точки зрения констатировать, что попытка рассказать про мою первую встречу с Элен провалилась. А рассказал я про последнюю встречу, из чего следует, что на

будущее надо принять известные меры предосторожности. Записи, сделанные в подпитии, требуют сугубой осторожности. Короткие предложения, только короткие. Придаточные чреватые опасностью. Синтаксис порождает сумятицу. А теперь нужно дописать эпилог (только что получил от Колера очередную открытку, на сей раз из Рио-де-Жанейро, с пламенным приветом, оттуда он вылетает в Сан-Франциско, а из Сан-Франциско на Гавайские острова, потом на Самоа, короче, время у меня есть). Дело в том, что мне нанес визит начальник кантональной полиции. Визит был очень важный. Это я вполне сознаю. Кстати, этим, вероятно, и можно объяснить, что сейчас я трезв как стеклышко. Доказать покамест ничего нельзя, но, как я подозреваю, начальник догадывается, что я затеял. Ужасно, если это так. С другой стороны, тогда он забрал бы у меня револьвер. Пришел он ко мне без всякого предупреждения, часов около десяти вечера, спустя два дня после той злополучной сцены в кафе. На улице была снежная мокрядь. И тут он вдруг возник у меня в мансарде. Внизу ликующе завывала секта:

Готовься, брат мой во Христе,
Настанет Страшный суд,
И кто погрязнет в суете,
Те душу не спасут.

Начальник был несколько обескуражен. Он смущенно покосился на мой письменный стол, заваленный густо исписанными листками.

— Вы, никак, писателем решили заделаться, — буркнул он.

— А почему бы и нет, господин начальник. Когда человеку есть о чем рассказать, — ответил я.

— Смахивает на угрозу.

— Понимайте как хотите.

Зажав под мышкой бутылку, он огляделся по сторонам. К сожалению, на кушетке у меня лежала девица, которую я совершенно не знал, она просто увязалась за мной, возможно, это был подарок от Лакки, она явно уже разделась и легла, вдохновляемая ложным представлением о своих служебных обязанностях. (Добросовестное отношение к труду чувствуется у нас решительно во всем. Но мне до нее не было дела, я рабобал, я разбирал свои записи.)

— Одевайся, — приказал начальник, — не то простудишься. А потом мне надо побеседовать с адвокатом.

Он поставил бутылку на стол.

— Коньяк, — сказал он, — "Адэ", редкая марка. От друга из Западной Швейцарии. Давайте-ка попробуем. А вы, Шпет, принесите две рюмки. Она сегодня больше пить не будет.

— Слушаюсь, господин начальник, — отвечала девица.

— Ты пойдешь домой. На сегодня хватит.

— Слушаюсь, господин начальник.

Она почти успела одеться за это время. Он спокойно оглядел ее.

— Доброй ночи.

— Доброй ночи, господин начальник.

И она ушла. Мы слышали, как она сбежала вниз по лестнице.

— Вы ее знаете? — спросил я.

— Я ее знаю, — ответил начальник.

Этажом ниже секта все еще горланила свой хорал:

Исчезнет солнце, шар земной
Утратит твердь свою,
Но коль душа твоя с тобой,
То будешь ты в раю.

Начальник разлил коньяк по рюмкам.

— Ваше здоровье.

— Ваше.

— У вас револьвер есть? — спросил он.

Отрицать не имело смысла. Я достал револьвер из ящика письменного стола. Он внимательно осмотрел его, затем вернул мне.

— Вы все еще считаете, что виноват Колер?

— А вы разве нет?

— Возможно, — ответил он и пересел на диван.

— Тогда почему же вы выходите из игры? — спросил я.

Он взглянул на меня.

— А вы еще надеетесь ее выиграть?

— На свой лад.

Он поглядел на револьвер. Я поставил его на предохранитель.

— Дело ваше, — сказал он и снова разлил коньяк по рюмкам. — Как вам мой "Адэ"?

— Великолепен.

— Я оставлю вам бутылку.

— Очень любезно с вашей стороны.

Снизу теперь доносилась не то проповедь, не то молитва.

— Видите ли, Шпет, — заговорил начальник, — вы угодили в скверную ситуацию. Не хочу сказать ничего дурного о достопочтенном господине Лакки и тем более о бедном создании, которое я у вас застал. В том, что подобные типы существуют, их вины, в общем-то, нет, но вот чего достигнете вы, будучи правозаступником шлюх, — это уже другой вопрос, и о том, что коллегия адвокатов в самом непродолжительном времени должна будет принять меры, вы, я думаю, и сами догадываетесь. Коллегия отнюдь не против ходатая по делам шлюх, если тот хорошо зарабатывает, но решительно против, если тот ничего не зарабатывает. Тут уж задета ее сословная честь.

— Ну и что?

— Послушайте, Шпет, вот вы меня спросили, почему я вышел из игры, — продолжал начальник, раскуривая одну из своих толстых "Байанос", причем руки у него нисколько не дрожали. — Вам я честно скажу, что тоже считаю старика Колера виноватым, а все случившееся — комедией, которую я охотно предотвратил бы. Но у меня нет доказательств. А вы продвинулись в своем расследовании?

— Нет, — сказал я.

— В самом деле нет? — повторил он свой вопрос.

И я второй раз ответил отрицательно.

— Вы не доверяете мне? — спросил он.

— Я никому не доверяю.

— Ладно, — сказал он, — будь по-вашему. Для меня история с Колером закончена, и закончилась она моим поражением. Это уже не первое дело, которое закончилось моим поражением. Очень печально, но человеку моей профессии приходится сносить и такое. Да и человеку вашей профессии,

я думаю, тоже. Вам надо взять себя в руки, Шпет. И начать все сначала.

— Уже нельзя, — ответил я.

Внизу под нами снова радостно завывла секта:

Когда ж сомкнется ада пасть,
Оставив смрад и дым,
Тогда, о червь, тебе пропасть
С неверием твоим.

У меня вдруг мелькнуло подозрение.

— Вы что-то от меня скрываете?

Он затаился, глянул на меня, еще раз затаился, встал.

— Жаль, — сказал он, протягивая мне руку, — всего вам доброго. Мне, возможно, придется вызвать вас к себе.

— И вам всего доброго, господин начальник, — ответил я.

Зачин любви. Тут я снова начинаю спотыкаться. Я знаю, что увилить больше нельзя. Я должен наконец рассказать про свою первую встречу с Элен. Я должен признаться, что любил ее. И должен также добавить — с самого начала. Другими словами: с нашей первой встречи. Признание — вообще штука нелегкая, я только теперь оказался к нему способен. Но эта любовь не состоялась, и потому мне придется рассказывать о любви, которую я сам от себя скрывал в ту пору, когда она еще могла как-то состояться, и которая теперь состояться не может. Задача не из легких. Теперь мне, разумеется, известно, что Элен не была такой, какой она мне казалась. Лишь теперь я вижу ее такой, как она есть. Она соучастница Колера. Вообще-то я ее понимаю. По-человечески можно понять, что она покрывает своего бесчеловечного отца. Нелепо требовать от нее, чтобы она его выдала. Только ее признание могло бы сокрушить кантонального советника. Но этого признания она никогда не сделает. Я в достаточной мере профессионал, чтобы не предъявлять к ней таких требований. Мне предстоит идти своим путем, а она пусть идет своим. И все же я не могу отречься от того представления о ней, которое однажды у меня сложилось. В том, что Элен не соответствует моему представлению и никогда не соответствовала, ее вины нет. Я сожалею о своих грубых словах. Я понимаю, что вел себя как мальчишка. А мои пьянки, мои девки! Она имеет право быть такой, как она есть, а я присвоил себе право рано или поздно убить ее отца.

Успей я тогда нагнать ее отца в аэропорту, он бы уже был на том свете, и я вместе с ним. Все было бы в полном порядке, и мир давно занялся бы другими делами. Вся моя теперешняя жизнь имеет только один смысл: рассчитаться с Колером. Расчет будет простой. Хватит одного выстрела. Но пока надо ждать. Этого я не предусмотрел. Как не предусмотрел и расхода нервов на ожидание. Одно дело — восстановить справедливость, другое — жить, дожидаясь, когда ее можно будет восстановить. Я словно в каком-то исступлении. И пью я так много из-за абсурдности своего положения, я словно бы упиваюсь справедливостью. Сознание, что я прав, уничтожает меня. Нет ничего ужаснее, чем это сознание. Я казню себя, потому что не могу казнить старого Колера. Вот в этом исступлении я вижу себя и Элен, оглядываюсь на первую нашу встречу. Я знаю, что потерял все. Счастье ничем не заменишь. Даже если это счастье на поверку

обернется безумием, а мое нынешнее безумие в действительности есть трезвость. Беспощадное осознание действительности. Вот почему я с грустью оглядываюсь назад. Я хотел бы забыть, но не способен к этому. Все так отчетливо запечатлелось в моем мозгу, будто только вчера произошло. Я еще слышу звук ее голоса, вижу ее взгляд, ее движения, ее платье. И себя тоже. Мы были молоды, оба. Не растрчены. С тех пор прошло от силы полтора года, но я уже старый, очень старый. Мы с доверием отнеслись друг к другу, хотя было бы вполне естественно, если б она мне не доверяла. Она неизбежно видела во мне просто адвоката, который хочет заработать. И все-таки доверилась мне с самого начала. Я это сразу почувствовал и тоже доверился ей. Я был готов ей помочь. Все было чудесно. Даже если мы просто сидели друг против друга, даже если мы разговаривали только по делу. Ну, конечно же, я понимаю, что, по правде говоря, все было совсем не так, что все было мираж, иллюзия, заблуждение или — того хуже — подлая интрига, которую Элен затеяла против меня, но, пока я этого не знал, не подозревал даже, я был счастлив.

— Садитесь, господин Шпет, — сказала она.

Я поблагодарил. Она села в глубокое кожаное кресло. Я сел напротив, тоже в глубокое кожаное кресло. Все было как-то странно, эта девушка лет примерно двадцати двух, смуглая, улыбающаяся, раскованная и в то же время робкая, множество книг, массивный письменный стол, на заднем плане — бильярд с шарами, лучи падающего солнца, парк за открытой стеклянной дверью, через которую вошла Элен в сопровождении пожилого господина по фамилии Фёрдер. Фёрдер был безукоризненно одет, мне представили его как личного секретаря Колера, он молча и с видом почти угрожающим начал меня разглядывать. После чего удалился снова, не попрощавшись и вообще не проронив ни звука. Мы остались вдвоем. Элен была смущена. Я тоже. Мысли о ее отце сковывали меня, лишали дара речи. Мне было жаль ее. Я понял, что она никогда не сможет понять своего отца и страдает от непостижимости его поступков.

— Господин Шпет, — начала она, — отец мне всегда много про вас рассказывал.

Это было для меня неожиданностью. Я удивленно поглядел на нее:

— Всегда?

— С тех пор как встретил вас в "Театральном".

— И что же он вам рассказывал?

— Он беспокоился насчет вашей адвокатской практики.

— Не было у меня тогда никакой практики.

— Зато сейчас есть, — констатировала она.

— Не сказать чтоб процветающая, — сознался я.

— Он информировал меня о деле, которое намерен вам поручить, — продолжала Элен.

— Знаю.

— Вы возьметесь за него?

— Решил взяться.

— Мне известны условия, — сказала она. — Вот вам чек. Это аванс. Пятнадцать тысяч. Плюс еще десять. На издержки по делу.

Элен протянула мне чек. Я взял его и сложил пополам.

— Ваш отец не поскупился, — сказал я.

— Он очень заинтересован в том, чтобы вы взялись за его поручение, — объяснила она.

— Приложу все усилия.

Я сунул чек в бумажник. Мы оба помолчали. Она больше не улыбалась. Я почувствовал, как она подыскивает слова.

— Господин Шпет, — наконец проговорила она с запинкой, — я отдаю себе отчет в том, что поручение отца не совсем обычное.

— Очень даже.

— Господин Фёрдер того же мнения.

— Охотно верю.

— Но тем не менее его надо выполнить, — сказала она решительно, почти с жаром.

— Чего ради?

Она умоляюще взглянула на меня.

— Господин Шпет, я могу видеться с папá раз в месяц. Он дает мне указания. Дела у папá крайне запутанные, но его осведомленность потрясает. Он приказывает, я выполняю. Он отец, я дочь. Вам ведь понятно, что я его слушаюсь.

— Разумеется.

Элен разгорячилась. Ее гнев был неподдельным.

— Личный секретарь и адвокаты хотят назначить над ним опеку, — вымолвила она. — В мою пользу, как они утверждают. Но я точно знаю, что мой отец не сошел с ума. А тут еще поручение, за которое вы взялись. Для личного секретаря это очередное доказательство. Поручение лишено всякого смысла, говорит он. Но я твердо убеждена, что не лишено.

Мы снова помолчали.

— Даже если я не могу его понять, — тихо добавила она.

— Фройляйн Колер, — ответил я, — для юриста поручение расследовать убийство профессора Винтера, исходя из допущения, что убийцей был не ваш отец, имеет юридический смысл лишь в том случае, если убийца не ваш отец. Но такое допущение невозможно. И тем самым поручение лишено всякого смысла. С юридической точки зрения. Из чего, однако, не следует, что оно бессмысленно и с научной точки зрения.

Она удивленно взглянула на меня:

— Как мне вас понимать, господин Шпет?

— Я внимательно осмотрел эту комнату, фройляйн Колер. Ваш отец любил свой бильярд и свои книги по естествознанию...

— Да, и больше ничего, — сказала она уверенно.

— В том-то и дело.

Она не дала мне договорить:

— Именно по этой причине он и не способен совершить убийство. Его каким-то чудовищным способом принудили...

Я промолчал. Я сознавал, что было бы неприлично как из пушки выстрелить в нее правдой. Я не мог вдолбить в нее нелепую, дикую истину, что ее отец убил именно потому, что не любил ничего на свете, кроме своего бильярда и своих книг. И нелепо было рассказывать ей о своем прозрении, это была только интуиция, а не доказуемый факт.

— Видите ли, фройляйн Колер, мне ничего не известно о мотивах поступка, из-за которого ваш отец был осужден, — осторожно начал я, — и речь у нас шла о другом. О том, что могло бы объяснить не его поступок, а поручение, которое он мне намерен дать. На основе этого

поручения ваш отец хочет исследовать границы возможного. Он утверждает, будто такова его научная цель. Мое дело — строго придерживаться этого утверждения.

— Но в это же нельзя поверить! — взволнованно воскликнула Элен. Я не согласился.

— Лично я обязан верить, — объяснил я Элен, — обязан, потому что принял его поручение. Для меня это игра, которую ваш отец может себе позволить. Другие держат скаковых лошадей. Я как юрист считаю игру вашего отца куда более занимательной.

Она задумалась.

— Не сомневаюсь, — наконец как-то нерешительно сказала она, — что вы найдете истинного убийцу, найдете кого-то, кто вынудил папá к убийству. Я верю в своего отца...

Ее отчаяние огорчило меня. Я бы с радостью ей помог, но это было не в моих силах.

— Фройляйн Колер, — ответил я ей, — буду с вами предельно открытен. Я не думаю, что мне удастся обнаружить этого "кого-то". По той простой причине, что его нет на свете. Ваш отец никому не позволит себя принуждать.

— Вы очень со мной откровенны, — тихо сказала она.

— Хотелось бы, чтобы вы мне доверяли.

Она вперила в меня внимательный и мрачный взгляд. Я не отвел глаза.

— Я вам доверяю, — сказала она.

— Готов помочь вам лишь в том случае, если вы оставите всякую надежду, — сказал я. — Ваш отец — убийца. Вы сможете понять его лишь в том случае, если не направите свой поиск по ложному следу. Мотивы преступления вашего отца надо искать в нем самом, а не в ком-то другом. И не думайте больше о его поручении. Теперь это мое дело.

Я встал. Она тоже поднялась.

— А почему тогда вы согласились?

— Потому что мне нужны деньги, фройляйн Колер. Не стройте никаких иллюзий на мой счет. Пусть даже ваш отец видит в своем поручении научную ценность, для меня это не более как возможность сдвинуть с мертвой точки свою адвокатскую практику. Так что не питайте ложных надежд.

— Понимаю, — сказала она.

— Я не могу себе позволить действовать иначе, чем я действую, я должен выполнить желание вашего отца. Но хочу, чтобы вы знали, кому доверяете.

— Именно вы и поможете мне, — сказала Элен и протянула мне руку, — я была счастлива с вами познакомиться.

За оградой меня все еще дождался Линхард в своем "порше", только теперь он сидел не на месте водителя, а рядом и курил сигареты, с отсутствующим видом, погруженный в себя.

— Все в порядке, — сказал я. — Поручение принято.

— А чек? — спросил он.

— Тоже.

— Чудненко, — сказал Линхард.

Я сел за руль. Линхард предложил мне сигарету, дал огня. Я курил,

положив обе руки на баранку, вспоминал Элен и был счастлив. Я радвался своему будущему.

— Ну и как? — спросил Линхард.

Я раздумывал, я еще не включил зажигание.

— Существует только одна возможность, — ответил я. — Для нас Колер больше не убийца. Теперь мы должны подыгрывать.

— Согласен.

— Допросите свидетелей еще раз, — продолжал я. — Изучите прошлое Винтера, врагов, знакомых.

— Займемся доктором Бенно, — ответил он.

— Олимпийцем? — удивился я.

— Другом Винтера, — пояснил Линхард. — И Моникой Штайерман.

Моника Штайерман была единственной наследницей Вспомогательных мастерских "Трэг" А/О.

— Почему? — спросил я.

— Приятельница Бенно.

— Нет, ее мы лучше припутывать не будем, — задумчиво сказал я.

— О'кей, — сказал Линхард.

Что-то здесь было не так.

— Странно все-таки, — сказал я.

— Что именно? — полюбопытствовал Линхард.

— Вас порекомендовал мне Колер.

— Чистая случайность.

Я включил зажигание и осторожно взял с места. Еще ни разу мне не доводилось сидеть за рулем "порше". На виадукке Линхард меня спросил:

— Шпет, а вы знакомы с Моникой Штайерман?

— Я ее всего один раз видел.

— Странно, — сказал и Линхард.

В Талаккере я его высадил и поехал прочь из города. Куда глаза глядят. Бездумно поехал в осень. И как я ни сопротивлялся, лицо Моника Штайерман все время выдвигалось на передний план, заслоняя лицо Элен Колер.

II

Начало расследования. Лучшая часть моей жизни началась с размахом. Уже на другой день я окончательно вступил во владение новой адвокатской конторой и "порше", правда, при ближайшем рассмотрении "порше" оказался много старше, чем я предполагал, и находился в таком состоянии, что цена, назначенная за него Линхардом, представлялась уже далеко не столь божеской. А контора раньше принадлежала олимпийскому чемпиону по фехтованию и чемпиону Швейцарии по стрельбе из пистолета, иными словами, доктору Бенно, который давно уже катился вниз по наклонной плоскости. Красавчик олимпиец от участия в переговорах уклонился. По словам архитектора Фридли, который ни свет ни заря отвез меня туда, Бенно изъявил готовность уступить свою контору мне за две тысячи в месяц, из них четыре — вперед, сумма, про которую трудно было сказать, в чей карман она пойдет, но зато я мог немедленно въехать и получить в пользование не только обстановку Бенно, но и его секретаршу, несколько заспанного вида особу из Центральной Швейцарии.

рии с заграничным именем Ильза Фройде, секретарша смахивала на французскую барменшу, то и дело красила волосы в другой цвет, но при всем том была на редкость исполнительна; сделка более чем подозрительная, но разгадать ее я не мог. Зато приемная и кабинет на Целтвеге с видом на неизбежные дорожные пробки вполне соответствовали своему назначению, и письменный стол внушал доверие, и кресла были вполне пристойны, на задний двор выходила кухня и комнаты, где я поместил свой диван с Фрайештрассе; мне не захотелось расставаться с прежней мебелью. Мои дела как-то вдруг пошли в гору. На горизонте замаячил прибыльный бракоразводный процесс, улыбалась поездка в Каракас по делам одного крупного промышленника (ему порекомендовал меня Колер), предстояло улаживать наследственные споры, защищать одного торговца мебелью, составлять выгодные налоговые декларации. Я пребывал в счастливом и потому слишком беспечном настроении, чтобы вспоминать о частном сыском бюро, которое сам же привел в движение и без отчетов которого не мог дальше заниматься делом Колера. А ведь, казалось бы, Линхард должен усугубить мою недоверчивость: и человек-то он с двойным дном, и намерения у него загадочные, и порекомендовал мне его Колер, и сам он слишком жадно ухватился за это дело. Причем действовать начал с размахом. В "Театральном" он посадил Шёнбехлера, одного из лучших своих агентов, которому принадлежал хоть и старый, но весьма комфортабельный домик на Ноймаркте. На чердаке тот оборудовал жилое помещение, где размещалась его огромная дискотека. Повсюду были расставлены динамики. Шёнбехлер любил симфонию. Согласно его теории (а Шёнбехлер был нафарширован теориями), симфонии меньше всего заставляют себя слушать, под симфонии можно зевать, обедать, читать, спать, разговаривать и тому подобное, в симфониях музыка замыкается сама на себе, становится неслышной, как музыка сфер. Концертные залы он отвергал как варварское измышление. Там делают из музыки культ. Симфония же приемлема лишь как сопровождение, утверждал Шёнбехлер, она человечна лишь как фон, в противном случае она насилует. Так, например, Девятую симфонию Бетховена он постиг, когда ел мясо с овощами. Брамса он всячески рекомендовал под кроссворды или под венский шницель, Брукнера — под карты. Всего же лучше запустить две симфонии разом, что он якобы и делал весьма часто. Сознания, какой при этом возникает адский шум, он точно рассчитал квартирную плату для остальных трех этажей своего дома. Квартира непосредственно под его дискотекой отдавалась задешево, вернее, со съемщика вообще ничего не брали, ему приходилось только терпеть музыку, много часов подряд Брукнера, потом столько же Малера, потом столько же Шостаковича. За среднюю квартиру он брал, как все, а к нижней было почти не подступиться. Шёнбехлер был чувствительный человек. Во внешности — никаких особых примет, даже напротив, непосвященным он казался классическим образцом бюргера. Он был всегда тщательно одет, от него хорошо пахло, он никогда не напивался и вообще жил в ладу с окружающим миром. Что до национальности, то он называл себя гражданином Лихтенштейна. Это не бог весть что, добавлял он всякий раз, он и не спорит, но зато по меньшей мере ему и стыдиться нечего: Лихтенштейн практически не несет никакой вины за теперешнее международное положение, если, конечно, отвлечься от того обстоятельства, что он выпускает слишком много почтовых марок, и если закрыть глаза на его

финансовые шалости; Лихтенштейн — это самое маленькое из государств, живущих на широкую ногу. Вдобавок у лихтенштейнца не так легко развивается мания величия, побуждающая его приписывать себе совершенно небывалые достоинства по той лишь причине, что он лихтенштейнец, как это случается с американцами, русскими, немцами или французами, которые априори убеждены, что немец или француз уже сам по себе есть существо высшего порядка. Принадлежность к великой державе — а лихтенштейнец поневоле считает таковыми почти все остальные государства и даже Швейцарию — для человека, ею отмеченного, весьма неблагоприятна с психологической точки зрения, она чревата для него опасностью впасть в некое соотносительное слабоумие. И чем больше нация, тем сильней эта опасность. Свою мысль Шёнбехлер разъяснял на примере с мышьями: одна мышшь наедине с собой считает себя не кем иным, как мышью, среди миллионов других мышей она уже считает себя кошкой, а среди ста миллионов — слонем. Всего опасней мышьяный народец в пятьдесят миллионов голов (пятьдесят миллионов как порядок величины). Подобные популяции состоят из мышей, которые хоть и считают себя кошками, но не прочь бы стать слонами. Эта непомерно разросшаяся мания величия опасна не только для отдельных мышей, но и для всего мышьяного рода. А вот соотношение между "численностью мышей" и порожденной ею манией величия он называл "законом Шёнбехлера". Что до профессии, он выдавал себя за писателя. Это было удивительно в том смысле, что он до сих пор не опубликовал и не написал ни единой строчки. Впрочем, Шёнбехлер и не спорил. Он скромно величал себя "потенциальным писателем". Необходимость оправдывать свое "неписание" никогда не ставила его в тупик. Так, например, он при случае утверждал, что писательство начинается с "чувства языка", что это его первое, поэтическое, условие, второе же, не менее важное, основано на любви к истине. И если хорошенько взвесить два этих основных условия, станет ясно, что, к примеру, заголовок типа "Стихи Рауля Шёнбехлера" немислим хотя бы из-за представления, что подобная лирика должна журчать и струиться подобно красивому ручейку. Можно, разумеется, возразить, что, раз такое дело, надо просто сменить имя автору, но тогда пришлось бы вступить в конфликт с принципом любви к истине. Куда бы ни заходил Шёнбехлер, там сразу раздавался смех. Он был неплохой мужик, и в пивных немало народа кормилось около него. Он приказывал все записывать, счет ему присылали раз в месяц, и от сложения набегала изрядная сумма. Начет источников его существования никто толком ничего не знал. Намеки на щедрую стипендию от государства Лихтенштейн, разумеется, не соответствовали действительности. Кое-кто утверждал, будто Шёнбехлер представляет некую фирму известных резиновых изделий. Трудно было также не заметить, что он много знал и по любому поводу имел четкое, обоснованное суждение. (Возможно, за его нежеланием писать скрывалась не просто обычная леность, возможно, за ним скрывалось убеждение, что в отличие от многих, которые творят, лучше все-таки не творить.) Более всего Шёнбехлер прославился своим искусством заводить разговор, особенно если учесть, что наши соотечественники никогда этим качеством не блистали. Зато он им владел виртуозно. О нем рассказывали анекдоты, вокруг него создавались легенды. Так, например, однажды он на пари (как упорно и неизменно утверждает начальник полиции) до такой степени увлек разговором о взаимоотношениях между нашей страной и

Лихтенштейном некоего федерального советника, который вкушал за соседним столиком свой четырехчасовой чай в обществе членов кантонального управления, что советник даже прозевал экспресс на Берн. Вполне допускаю. Хотя, в общем-то, для федеральных советников это не очень типично. В остальном Шёнбехлер считался человеком безобидным. Никому и в голову не могло прийти, что он служит у Линхарда. Когда это вскрылось, все были потрясены, Шёнбехлер покинул наш город и проживает ныне вместе со своей дискотеккой на юге Франции, к великому сожалению наших сограждан, вот и на днях мне один из них погрозил кулаком, но я, по счастью, был не один, а с Лакки. Итак, этот оригинал по имени Шёнбехлер в один прекрасный день возник за столиком "Театрального", ко всеобщему удивлению, надо сказать, поскольку обычно он туда не заглядывал. Заняв столик, он провел там весь день. Заявился он и на другое утро. Так продолжалось целую неделю, он со всеми разговаривал, он подружился с метрдотелем, с официантками, а потом вдруг исчез, и снова Шёнбехлера можно было встретить в прежних, обычных его пивнушках, а неделя в "Театральном" выглядела как некое интермеццо. На деле же Шёнбехлер еще по разу допросил всех главных свидетелей. Что до дальнейшего расследования, то здесь Линхард прибег к помощи Фойхтинга, принадлежащего к числу тех сомнительных типов, которых Линхард держит в своем талаккерском сыскном бюро и которого я тогда еще не знал лично — знаю только теперь (по бару "Монако"). Фойхтинг — парень ненадежный и вообще поганый, этого никто не отрицает, даже Линхард — и тот нет, как, впрочем, и полиция, которая уже несколько раз его задерживала (наркотики), а потом снова употребляла по своим делам. Фойхтинг — шпик, который знает свое дело и знает свое место. Возможно, он видел когда-то лучшие дни, возможно, он даже учился в университете, но остальная часть Фойхтинга, та, что теперь с трудом пробирается по жизни, мошенничая и шантажируя, производит жалкое впечатление. Беда его в том, сказал он как-то по этому поводу в "Монако", мрачно уставясь в свою рюмку перно, что он не русский, а немец. Немец для этой страны — не профессия, разве что для Саудовской Аравии или Египта, а вот русский здесь профессия. В этом, последнем случае его образ жизни не вызывал бы никаких нареканий, даже напротив, будучи русским, он был бы просто обязан быть таким, какой он есть: опустившимся и вечно пьяным, но даже разыгрывать из себя русского здесь невозможно, потому, что он, Фойхтинг, выглядит точно так, как выглядят немцы в фильмах о французском Сопротивлении. Тут, между прочим, Фойхтинг говорит чистую правду. В порядке исключения. Он действительно так выглядит. Он изучил верхи и низы общества, как никто другой, он прекрасно овладел географией баров и пивнушек. Он способен выяснить что угодно, про любого завсегдага. Но, прежде чем Линхард переправил мне все, что разузнали Шёнбехлер и Фойхтинг, состоялась моя вторая встреча с Моникой Штайерман, произошло то, чего я боялся или чего ждал — сам не знаю, как правильнее. Было бы лучше, если бы эта встреча не состоялась (ни первая, ни вторая).

Работа в Центральной библиотеке. Почему бы и не изложить на этих страницах историю штайермановского рода? До меня только что дошла очередная открытка Колера — предыдущую я получил месяц назад, игра в кошки-мышки продолжается, он решил посетить Самоа чуть попозже, с Гавайев он сейчас отправляется в Японию на роскошном лайнере, а я

здесь предстал перед наблюдательной комиссией, перед ее президентом, профессором Ойгеном Лойпингером. Известный правовед, на лице — дузные рубцы и шрамы, не чужд поэзии, сплошная лысина, принял меня в своем кабинете, при сем присутствовал также вице-президент Штосс, спортивного вида и вообще, как говорится, "бодро-весело-истово". Господа держались на удивление демократично. Правда, акция "под зад коленкой" представлялась им — увы! — неизбежной, ибо в противном случае этого потребовал бы правительственный советник, так не лучше ли опередить события, но оба от души сожалели, скорбели, держались потечески, проявили — как это называется — полнейшее понимание, выражали сочувствие, отнюдь, ну никоим образом не упрекали, хотя, если по правде, между нами, мужчинами, положила руку на сердце, я должен бы и сам признать, что юристу, как никому другому, официально подобает определенный образ жизни в определенной среде; если свести эту мысль к четкой формуле, получится так: чем сомнительней она (среда), тем безупречнее должен быть он (образ жизни); к сожалению, мир — это ужасное скопище филистеров, а уж про наш разлюбезный город и говорить нечего, впору сбежать, и если бы он, Лойпингер, мог бы закрыть здесь свою лавочку, он бы тотчас подался на юг, но главное не в этом, проститутки, разумеется, тоже люди, очень даже достойные люди, бедные создания, которым лично он, в чем и признается без обиняков передо мной и перед коллегой Штоссом, многим, да-да, многим обязан — их теплота, участие, понимание, — в конце концов, закон существует и для панели, если употребить это одиозное слово, но существует отнюдь не в том смысле, чтобы оказывать всяческое благоприятствование, я, как юрист, должен бы и сам понимать, что известные рекомендации, данные мною в свое время преступному миру и полусвету, именно по причине своей юридической неуязвимости произвели сокрушительное действие, знание юридических хитростей в руках известных кругов оборачивается катастрофическими последствиями, полиция в полном отчаянии, коллегия адвокатов, разумеется, ничего не предписывает, не прибегает к нравственному террору, она вообще чрезвычайно либеральна, да-да, я, разумеется, и сам знаю, правила — они и есть правила, даже неписанные, а когда Штоссу понадобилось выйти, Лойпингер, свой в доску и вообще старый рубака, еще спросил меня, не могу ли я сообщить ему один известный телефончик, чтобы поближе познакомиться с одной известной особой, у которой такая примечательная фигура (с Гизелой), а когда выйти пришлось ему, Штосс, с головы до пят бывший чемпион, спросил меня о том же. А еще две недели спустя у меня отобрали патент. И вот я сижу, как потерпевший кораблекрушение, то в безалкогольном кафе, то в баре "Монако", живу в большей или меньшей степени милостями Лакки и Гизелы и располагаю временем, огромным количеством времени, что для меня самое невыносимое, а следовательно: почему бы и не изложить на этих страницах семейную хронику Штайрманов, в конце концов, я затем и сижу в Центральной библиотеке, правда, все проявили немислимую активность, когда я заявился туда с бутылкой джина — почему бы и не проявить основательность, дотошность, скрупулезность, почему бы и не вскрыть закулисную сторону, да и вообще, что осталось бы от Штайрманов без закулисной стороны, без их семейной истории, без их историй. Само по себе имя Штайрман, то есть человек из Штирии, ничего не значит, правда, Штайрман-пращур, как и многие промышленники, однажды пере-

кочевал в нашу страну с севера, но сделал он это уже в 1191 году, когда одного южнонемецкого герцога осенила злополучная идея — основать теперешнюю столицу нашей федерации. Идея, как известно, увенчалась успехом, поэтому Штайерманы — коренные швейцарцы. Что до самого родоначальника, до Якоба Штайермана, то он был из стаи тех висельников всех родов и сословий, которые обосновались на скале над зеленой рекой в разбойничьем вертепе (отделенном от нас в те времена четырьмя дневными переходами); был он беглый уголовник из Эльзаса, и таким манером ему удалось спасти голову от рук страсбургского палача, на новой родине он сначала подвизался в роли ландскнехта, позднее стал оружейником, необузданный и злобный дикарь. С кровавой историей этого города на протяжении столетий неразрывно связан род Штайерманов, в качестве оружейников они ковали отечественные алебарды, которыми дубасили врага в Лаупене и Санкт-Якобе, причем ковали по стандартному образцу Адриана Штайермана (1212 — 1255). Семейству принадлежала также письменно засвидетельствованная монополия на изготовление топоров и орудий пытки для всех южнонемецких епископств. Путь семейства круто вел вверх, кузница на Кеслергассе стяжала громкое имя и славу. Уже сын Адриана, безволосый Бертольд Штайерман Первый (уж не Бертольд ли это Шварц из легенды?), перешел к изготовлению огнестрельного оружия. Того более прославил правнук Бертольда — Якоб Третий (1470 — 1517). Он создал такие знаменитые пушки, как "Четыре Евангелия", "Большой псалтырь" и "Желтый Уриан". Он продолжил традицию литья пушек, с которой, правда, его сын Бертольд Четвертый круто порвал и, будучи анабаптистом, отливал лишь плуги, но уже сын последнего, Якоб Четвертый, возобновил литье пушек, изобрел даже первый снаряд, который при испытаниях разнес в клочки и пушку, и самого изобретателя. Такова, собственно, предыстория. Выпуклая, в общем и целом достойная, да и политически небезуспешная — один председатель кантонального совета, два казначея, один ландфогт. В последующие столетия из оружейной мастерской мало-помалу возникло вполне современное промышленное предприятие. Семейная история становится более запутанной, мотивы — не столь явными, нити теперь прядутся невидимые, к национальным интересам примешиваются международные интересы и связи. Конечно, при этом приходилось иногда поступаться цветами флага, но это усиливало организацию, особенно когда в первой половине девятнадцатого века дальний потомок пра-Штайермана перекочевал на восток нашей страны. Вот этого потомка по имени Генрих Штайерман (1799 — 1877) и надлежит считать основателем фабрики машин и оружия, которая достигла расцвета при его первом внуке Джеймсе (1869 — 1909) и особенно при втором — Габриэле (1871 — 1949). Правда, уже не как трёгская фабрика машин и оружия, а как Вспомогательные мастерские "Трёг" А/О. Недаром в 1891 году двадцатидвухлетний Джеймс Штайерман познакомился с английской сестрой милосердия Флоренс Найтингейл, которой шел тогда семьдесят второй год. Под ее влиянием он преобразовал фабрику в мастерскую по изготовлению протезов, после безвременной кончины Джеймса брат его Габриэль заметно расширил дело, начал изготавливать все мыслимые виды протезов — кисти рук, целые руки, ступни ног, целые ноги, в настоящее время мастерская снабжает мировой рынок также эндопротезами (искусственные бедра, суставы и тому подобное) и экстракорпоральными протезами (искусственная почка, легкое). Когда

я говорю — мировой рынок, в этом нет преувеличения. Он завоеван упорным трудом, качеством, но прежде всего целеустремленной готовностью использовать ситуацию, без зазрения совести, скупая на корню все иностранные предприятия по изготовлению протезов (по большей части мелкие заводики). Это новое поколение вмиг смекнуло, какие выгоды предоставляет фабриканту протезов нейтральный статус нашего государства, а именно: возможность снабжать своей продукцией обе стороны — как победителей, так и побежденных в первой и второй мировых войнах, а сегодня — правительственные войска, партизан и мятежников. Девиз фирмы: "Штайерман — жертвам", хотя в правление Людевица продукция Вспомогательных мастерских весьма приблизилась по характеру к первоначальной: протез — это понятие растяжимое. Человек невольно старается закрыться от удара рукой; следовательно, щит — это как бы протез руки, а камень, который он бросает, — это протез сжатой кисти, кулак, иначе говоря. Единжды постигнув эту диалектику, можно и оружие, производством которого снова занялись Вспомогательные мастерские, без колебаний причислить к протезам — танки, автоматы и минометы можно считать усовершенствованной моделью протеза руки. Как видите, род преуспевающий. Причем если мужчины рода Штайерманов были по преимуществу простой, неотесанный, примитивный народ, сплошь верные мужья, неутомимые работники, зачастую прижимистые, относившиеся к явлениям духовной жизни с великолепным, поистине трогательным презрением, в собирании картин не заходившие далее "Острова мертвых", а в спорте признававшие исключительно футбол (да и то без особого пыла, доказательством чему — незавидное положение футбольного клуба "Трёг" среди команд первой лиги), то женщины рода Штайерманов были совсем другого уровня. Либо великие потаскухи, либо великие богомолки, никогда и то и другое сразу, причем потаскухи были все сплошь уродины, имели торчащие скулы, длинные носы, широкие рты и вечно поджатые губы, зато богомолки — одна другой краше. Что до Моники Штайерман, которой вопреки всем ожиданиям суждено сыграть в деле доктора н.с. Колера главную, я бы даже сказал, двойную роль, то по внешнему виду ее следовало причислить к богомолкам, а по образу жизни — к великим потаскухам. После смерти родителей (Габриэль Штайерман женился в 1920 году на Стефании Людевиц), которые погибли во время перелета в Лондон (точнее сказать, пропали без вести, ибо ни родителей, ни их личный самолет впоследствии так и не удалось отыскать), и после трагической гибели брата Фрица, который, купаясь на Лазурном берегу, нырнул, но не вынырнул, она, родившаяся в 1930 году, унаследовала самое значительное состояние нашей страны, а ее дядя с материнской стороны взял на себя управление протезным концерном. Однако взять на себя управление ее образом жизни оказалось потрудней. Об этой девушке ходили самые потрясающие, а порой и самые нелепые слухи, то сгущаясь до почти уверенности, то снова рассеиваясь, их опровергали — всякий раз это делал дядя Людевиц, — причем именно опровержение заставляло тем охотнее принимать их на веру, до тех пор, пока новый, еще более громкий скандал не превосходил все, что случилось раньше, после чего игра начиналась по новой. На безнравственную наследницу супермиллионов взирали хотя и неодобрительно, но с тайной гордостью: вот, мол, человек может все себе позволить, взирали хотя и завистливо, но с благодарностью, в конце концов, людей это развлекало.

Штайерман стала "роковой женщиной международного класса" в нашем городе, репутация которого, с одной стороны, поддерживается судорожными усилиями властей, церкви и благотворительных учреждений, с другой — снова и снова ставится под сомнение из-за педиков. Благодаря последним, равно как и благодаря своим банкам, но отнюдь не благодаря своим шлюхам, приобрел наш город свою международную репутацию. И тут публика как бы облегченно вздохнула. Двойственная репутация города, который одновременно славится как своим благочестием, так и своими педерастами, с помощью Моника Штайерман самую малость сместилась в сторону традиционного порока. Девушка приобретала все большую популярность, особенно с тех пор, как наш обер-бургомистр начал вплетать ее имя в свои пресловутые речи-экспромты и в свои гекзаметры, которыми он любит улаживать публику на официальных торжествах, ближе к концу, будь то по поводу вручения какой-нибудь литературной премии, будь то по поводу юбилея какого-нибудь частного банка. И если я тем не менее побаивался второй встречи с Моникой Штайерман, у меня были на то вполне определенные причины. Познакомился я с ней у Мокка. Еще в свои штюсси-лойпинские времена. Его мастерская неподалеку от Шафхаузерплац зимой бывала всегда чересчур жарко натоплена, железная печка раскалялась докрасна, дым от трубок, сигар и сигарет превращал воздух в боевое отравляющее вещество, прибавьте к этому невообразимую грязь, вечные мокрые тряпки на вечно незавершенных торсах, между торсами — штабеля книг, газеты, нераспечатанные письма, вино, виски, эскизы, фотографии, корейка. Я пришел к Мокку поглядеть на статую, моделью для которой послужила Моника Штайерман, мне было любопытно, поскольку Мокк рассказывал, что намерен раскрасить статую. Фигура стояла посреди космического беспорядка мастерской, до ужаса натуралистическая, но вполне реальная и в натуральную величину. Она была выполнена в гипсе и раскрашена в телесный цвет, как пояснил мне Мокк. Нагая и в однозначно двусмысленной позе. Я долго разглядывал статую, восхищенный тем, что Мокк умеет и так и эдак. Вообще-то он был мастер намеков; работая под открытым небом, он несколькими ударами высекал из своих порой многотонных глыб именно то, что ему нужно. Возникал глаз, рот, иногда грудь, иногда лоно, а остальное он мог и не доделывать, фантазия зрителя сама создавала то голову циклопа, то зверя, то женщину. Даже лепя свои модели, он довольствовался лишь самым необходимым. Лепить нужно так, как делают наброски, говорил он. Тем удивительней показалась мне его манера теперь. Гипс словно дышал, прежде всего потому, что был мастерски раскрашен. Я отступил, потом снова подошел поближе. Для волос на голове и на лобке он, должно быть, использовал человеческие волосы, чтобы сделать тем полнее иллюзию, но статуя отнюдь не походила на куклу. Она излучала удивительную пластичность. И вдруг она шевельнулась, сошла с пьедестала, проследовала, не удостоив меня ни единым взглядом, в заднюю часть мастерской, отыскала там полбутылки виски и отхлебнула. Она была не из гипса. Мокк меня обманул. Это была живая Моника Штайерман.

— Вы уже четвертый, кто попался на эту удочку, — сказал Мокк, — но лицо у вас было самое глупое из всех четверых. И в искусстве вы тоже ничего не смыслите.

Я ушел. Настоящую статую из раскрашенного гипса, которая, как оказывается, стояла в другом конце ателье, на другой день забрали. За

ней приехал уполномоченный барона фон Людевица, то есть дяди Моника, который осуществлял управление Вспомогательными мастерскими "Трёг" А/О.

Моника Штайерман Первая. Чем дальше заходит мой отчет, тем тяжелее дается мне повествование. Не только сам отчет делается все затруднительнее, но и моя роль в нем — все двусмысленней, я не могу больше сказать, действовал я самостоятельно, или кто-то приводил меня в действие, или кто-то действовал мною как инструментом. А главное, я все больше сомневаюсь в том, что Линхард по чистой случайности ввел в игру Моника Штайерман. С торговцем мебелью мне крупно не повезло: он выдал за антиквариат шкафы, изготовленные в Гагернекке и снабженные сертификатом о подлинности за подписью некоего, им же выдуманного римского эксперта, что ускользнуло от моих глаз, но отнюдь не ускользнуло от глаз Йеммерлина. Покамест мне по-прежнему предстояла поездка в Каракас, но во время моих к ней приготовлений Ильза Фройде доложила о приходе Фантера — тоже один из людей Линхарда. К моему великому удивлению, толстый Фантер, куря сигару, заявился в форме городской полиции, в которой прослужил двадцать лет.

— Вы спятили, Фантер, в каком виде вы ходите!

— Ничего, господин Шпет, это нам пригодится, — вздохнул он. — Это пригодится. Нам позвонила Моника Штайерман, ей нужен адвокат.

— Зачем? — спросил я.

— Ее избивают.

— Кто?

— Доктор Бенно, — ответил Фантер.

— За что?

— Она застучала его в постели с другой.

— Значит, она и должна бы его избить. Смешно. Вы не находите?

А почему именно я ей понадобился?

— Потому что Линхард не адвокат, — ответил Фантер.

— А где она сейчас?

— Само собой, при докторе Бенно.

— Фантер, старина, давайте без подробностей. Где сейчас Бенно?

— Это вы сами требуете подробностей, — возразил Фантер. — Бенно избивает Моника в "Брайтингерхофе". Принц фон Куксхафен тоже там.

— Гонщик, что ли?

— Он самый.

Я позвонил в "Брайтингерхоф" и попросил к телефону доктора Бенно. Трубку взял директор Педроли:

— Кто просит доктора Бенно?

— Шпет, адвокат.

— Он все еще бьет Моника Штайерман, — засмеялся Педроли. — Подойдите к окну, сами услышите.

— Я нахожусь на Цельтвеге.

— Не имеет значения. Слышно на весь город, — пояснил Педроли. — Гости в панике бегут из моего отеля с пятью звездочками.

Мой "порше" стоял на Шпрехерштрассе. Фантер сел рядом, и мы поехали.

— По Хегибахштрассе, — сказал Фантер.

— Это же крюк, — усомнился я.

– Плевать. Штайерманша потерпит.

Неподалеку от Клушштрассе перед знаком "стоп" Фантер вылез.

– На обратном пути проезжайте здесь, – сказал он.

Конец октября. Красные и желтые деревья. На дорогах листва. Перед "Брайтингерхофом" меня поджидала Моника Штайерман. На ней не было ничего, кроме черной мужской пижамы без одного рукава, без левого. Высокая. Рыжеволосая. Наглая. Красивая. Замерзшая. Левый глаз у нее затек огромным синяком. Губы разбиты до крови. Обнаженная рука исцарапана. Она помахала мне, далеко выплевывая кровь. В подъезде отеля бушевал Бенно, тоже весь в кровоподтеках и царапинах, а два носильщика удерживали его, и во всех окнах отеля виднелись лица. Вокруг Моника стояла толпа зевак, любопытствующих, ухмыляющихся, полицейский управлял движением. В белом спортивном автомобильчике мрачно сидел молодой белокурый человек, очевидно Куксхафен, юный Зигфрид, явно готовый к старту. Из отеля выкатился директор Педроли, маленький такой живчик, и накинул на плечи Штайерман меховую шубку, наверняка очень дорогую, я ничего не смыслю в мехах.

– Вы замерзнете, Моника, вы замерзнете.

– Терпеть не могу меха, ты, паразит, – выкрикнула Моника и набросила шубку ему на голову.

Я притормозил возле нее.

– Меня прислал Линхард, – сказал я, – я Шпет, адвокат Шпет.

Она не без труда влезла в мой "порше".

– Бенно потрудился на славу, – констатировал я.

Она кивнула. После чего глянула на меня. Я, собственно, хотел включить зажигание, но под ее взглядом растерялся.

– Мы с вами никогда не встречались? – спросила она, с трудом разлепляя губы.

– Нет, – соврал я и включил зажигание.

– За нами едет Куксхафен, – сказала она.

– Ну и пусть.

– Он гонщик.

– "Формула Один".

– От него не оторвешься.

– Да еще как оторвешься. Куда?

– К Линхарду.

– А Куксхафен знает, где живет Линхард?

– Он даже не знает, что на свете есть Линхард.

Перед знаком "стоп" на Хегихахштрассе я, как и положено, притормозил. На тротуаре стоял Фантер в своей форме, он подошел ко мне, потребовал предъявить документы, я повиновался, он проверил их, любезно кивнул, потом обратился к Куксхафену, который тоже был вынужден остановиться, чтобы тщательнейшим образом проверить и его документы. Затем он обошел машину Куксхафена, медленно, обстоятельно, снова и снова заглядывая в документы. Куксхафен чертыхался, как я заметил в зеркало заднего вида. Еще я успел заметить, как ему велено было выйти, как Фантер извлек свою записную книжечку, а потом я поехал по Клушштрассе в сторону озера, через Хээнвег свернул в Биберлинштрассе и оттуда к Адлисбергу. Осторожности ради я сделал еще несколько ненужных поворотов, после чего мы поехали по Катценшванцштрассе к бунгалу Линхарда.

Я остановил машину перед садовой калиткой. Соседнее шале, по всей вероятности, принадлежало Йеммерлину. Я читал, что сегодня ему исполнилось шестьдесят, отсюда такое обилие машин на обычно пустынной улице. Йеммерлин давал банкет в саду. Только что подъехал Штюсси-Лойпин. Моника в своей черной пижаме, чертыхаясь, ковыляла за мной вверх по крутой лестнице. Штюсси-Лойпин вылез из машины и с любопытством глядел нам вслед, явно забавляясь. Лицо Йеммерлина с миной полнейшего неодобрения выглянуло поверх живой изгороди.

— Вот, — сказала Моника Штайерман и дала мне ключ.

Я отпер дверь дома, пропустил ее вперед. Переступив порог, человек сразу попадал в гостиную. Вполне современное помещение со старинной мебелью. Через открытую дверь виднелась спальня с комфортабельной кроватью. Моника села на диван и взглянула на подлинного Пикассо над старинным сундуком.

— Он меня рисовал.

— В курсе, — ответил я.

Она насмешливо взглянула на меня.

— Я вспомнила, откуда вас знаю, — сказала она. — От Мокка. Я изображала перед вами статую.

— Вполне возможно.

— Вы еще тогда до смерти напугались, — продолжала она, после чего спросила: — Неужели я настолько вам не понравилась, что вы меня даже забыли?

— Понравилась, понравилась, — признал я, — еще бы не понравиться.

— Значит, вы все-таки меня не забыли.

— Не совсем, — признал я.

Она засмеялась.

— Ну, раз уж вы все равно вспомнили...

Она встала, сбросила пижаму и стояла передо мной в чем мать родила, наглая и соблазнительная, нимало не заботясь о том, как хорошо видно, до чего ее разукрасил Бенно. Далее она подошла к большому окну, из которого можно было заглянуть на участок к Йеммерлину. Там собрались гости, и все тарачились на нее, Йеммерлин с биноклем, рядом Штюсси-Лойпин, он помахал рукой. Моника приняла позу той статуи, которую сделал Мокк, Штюсси-Лойпин заплодировал. Йеммерлин погрозил кулаком.

— Спасибо, что вызволили меня, — сказала Штайерман, все еще сохраняя ту позу, в которой ее созерцали ее созерцатели, и тем самым — спиной ко мне.

— Чистая случайность, — ответил я. — По заданию Линхарда.

— Меня бьют все кому не лень, — задумчиво сказала она. — Сперва Бенно, потом Куксхафен. И другие меня тоже всегда били. — Она снова повернулась ко мне.

— Это как-то примиряет с вами, — сказал я. — А теперь у вас заплыл и правый глаз.

— Ну и что?

— Добыть вам мокрую тряпку?

— Ерунда какая. Но в шкафу вы можете найти коньяк и рюмки.

Я открыл старый энгадинский шкаф, нашел требуемое, разлил по рюмкам.

— Вы, должно быть, часто здесь бывали? — спросил я.

— Бывала иногда. Наверно, я настоящая проститутка, — констатиро-

вала она с горечью и чуть растерянно, хотя и великодушно.

Я засмеялся.

— С настоящими лучше обращаются.

Она выпила свою рюмку, потом сказала:

— Пойду-ка я приму горячую ванну.

И заковыляла в спальню. Исчезла. Я слышал, как льется вода, слышал проклятия. Потом она вернулась, потребовала еще рюмочку.

Я налил.

— А это вам не повредит, Моника?

— Пустяки. Я пью как лошадь.

И она заковыляла обратно.

Когда я вошел к ней, она лежала в ванне и намыливалась.

— Ну и щиплет, — пожаловалась она.

Я сел на край ванны. Она нахмурилась.

— Вы знаете, что я хочу сейчас сделать? — спросила она и, поскольку я не ответил, продолжила: — Конец. Пора завязывать.

Я никак не реагировал.

— Я не Моника Штайерман, — равнодушно сказала она.

Я с удивлением на нее воззрился.

— Я не Моника Штайерман, — повторила она и продолжила уже вполне спокойно: — Я только веду жизнь Моника Штайерман, а на самом деле моим отцом был профессор Винтер.

Молчание. Я не знал, что и думать.

— А ваша мать? — спросил я и, еще не договорив, знал, что задаю дурацкий вопрос. Ну какое мне дело до ее матери?

Впрочем, она приняла мой вопрос вполне спокойно.

— Учительница, — отвечала она, — в Эмментале. Винтер ее бросил. Он всегда бросал всех учительниц.

Она констатировала это вполне беззлобно.

— Меня зовут Дафна. Дафна Мюллер. — Она вдруг засмеялась. — Нормальный человек не должен так называться.

— Но если вы не Моника Штайерман, кто же тогда Моника Штайерман? — растерялся я. — Она вообще-то существует?

— Спросите у Людевица.

Потом она вдруг начала огрызаться.

— Это что, допрос? — спросила она.

— Вы требовали адвоката. Я и есть адвокат.

— Когда вы мне понадобится, я вас извещу, — задумчиво ответила она с неожиданной для меня враждебностью в голосе.

Появился Линхард. Я не слышал, как он вошел. Просто он вдруг возник перед нами и набил одну из своих "данхиллок".

— Вы довольны, Шпет? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

— А ты, Дафна?

— Так себе.

— Я принес тебе кой-какую одежду.

— У меня ведь есть пижама Бенно.

За окном взывала сирена "скорой помощи".

— Наверно, опять сердечный приступ у нашего Йеммерлина, — холодно пояснил Линхард. — Я вручил ему шестьдесят роз.

— Да еще он меня видел в голом виде, — засмеялась она.

– Ну, с тобой это часто бывает.

– Послушайте, Линхард, а откуда вы, собственно, знали, кто такая Дафна? – спросил я.

– Да так, узнал. Случайно, – отвечал он и закурил. – Эй, фройляйн Мюллер, куда прикажешь тебя доставить?

– В "Аскону".

– Я тебя отвезу.

– Какой старательный, – похвалила она.

– Все будет поставлено в счет, – сказал Линхард. – А платит вот он. – Линхард указал на меня. – Он разжился здесь бесценной информацией.

– У меня тоже есть для него поручение, – сказала Дафна.

– Какое?

Не до конца заплывший глаз Дафны ярко блеснул, левой рукой она пригладила свои красные, как киноварь, волосы.

– Пусть он передаст настоящей Монике Штайрман, этой паскудной лесбиянке, что я больше не желаю ее видеть. Если это скажет адвокат, получится более официально.

Линхард рассмеялся.

– Девочка, ты даже представить себе не можешь, какой выйдет скандал.

– Ну и плевать, – сказала она.

Сигарета Линхарда никак не раскуривалась в парах ванной. Он еще раз зажег ее.

– Шпет, – сказал он, – мой вам совет: не впутывайтесь вы в это дело.

– Вы меня сами впутали, – отвечал я.

– Тоже верно, – засмеялся Линхард и потом, обратясь к Дафне, сказал: – Ладно, вылезай.

– Экий вы стали говорун, – сказал я и вышел.

Потом с Цельвгега я позвонил Людевицу. Тот рвал и метал. Но я уже слишком много знал. И он сник. Таким образом я и смог нанести визит настоящей Монике Штайрман.

Вторая речь, адресованная прокурору. Чем больше я пишу, тем менее правдоподобным выглядит мой отчет. Я предпринимаю творческие усилия, я даже пробую себя в лирике, я рассказываю о погоде, стараюсь быть предельно точным в смысле географии, сверяюсь с планом города, и все это лишь по той причине, господин прокурор Иоахим Фойзер (вы уж простите, что покойник, лежащий в мертвецкой, снова обращается лично к вам), что вы весьма цените литературу, в частности поэзию, и вообще считаете себя человеком с художественными задатками, о чем любите упоминать кстати и некстати, даже перед судом присяжных, и, следовательно, можете просто забросить в угол мою рукопись, если она будет лишена литературных завитушек. К сожалению, мой опус – не более как набор литературных штампов. Несмотря на поэзию. Очень жаль. Я сам себе вижу сочинителем бульварного романа, где я – фанатичный поборник справедливости, Линхард – цюрихский Шерлок Холмс, а Дафна Мюллер – Мессалина Золотого берега, как принято именовать правый берег нашего озера. Даже статуя с упругой грудью и в непристойной позе – которую я так и не заметил у Мокка, поскольку залюбовался живой Дафной, приняв ее за статую, – даже это чувственное изображение женщины из раскрашенного гипса (о живой статуе я уж и не говорю)

куда ярче сохранилось у меня в памяти, чем девушка, которая сейчас возникнет на страницах моего отчета. Разумеется, само по себе не имеет значения, спала она с Линхардом или нет, и если да, то часто ли это случилось, — с кем она, в конце концов, не спала? — но для моего отчета важны внутренние мотивы и явления, важно, как в нашем запутанном мире происходит то либо иное событие и почему оно происходит. И вот, если внешне все совпадает, внутренние причины можно пусть и не вычислить с полной уверенностью, но по меньшей мере угадать, если же внешние обстоятельства не соответствуют действительности, например, кто-то с кем-то переспал, а в отчете это не указано, или, наоборот, в отчете указано, а на самом деле ничего не было, рассказчик повисает в пустоте, в сфере неопределенного. Так же и здесь. Каким путем Линхард проник в тайну лже-Моники? Может, потому, что спал с ней? Но тогда в эту тайну проникли бы многие. Может, потому, что она его любила? Но тогда бы она ему ничего не сказала. Может, она боялась? Не исключено. Теперь взять Бенно. Хотел ли Линхард с самого начала направить подозрения на него? Была ли Дафна тому причиной? Я задаю эти вопросы, потому что на меня возлагают вину за смерть Дафны. Не надо было мне ходить к настоящей Монике. Но ведь сама Дафна меня об этом просила. Мне полагалось исследовать одну из возможностей. Коль скоро я принял поручение и получил аванс в пятнадцать тысяч франков, пусть даже я был тогда твердо убежден в невозможности этой возможности и сохраняю свое убеждение до сих пор. Ибо в том, что именно доктор h.c. Исаак Колер убил Винтера, нет ни малейших сомнений. Что Винтера мог убить и кто-нибудь другой — это всего лишь допущение, которое ничего не значит, а если в поисках данной возможности открываются не замеченные ранее факты, это объясняется самим характером допущения, будто убийца — не Колер, допущение, на которое мне пришлось пойти ради моих дальнейших изысканий. Впрочем, мое дело — писать правду и придерживаться правды, хотя чего стоит правда, скрытая другой правдой? Передо мной — куча предположений, я шарю вслепую. Что соответствует действительности? Что преувеличено? Что фальсифицировано? Что замалчивают? Что я должен подвергнуть сомнению? Что принять на веру? Да есть ли вообще хоть что-нибудь правдивое, надежное, верное за всеми этими событиями, за всеми этими колерами, штайерманами, штюсси-лойпинами, линхардами, элен, бенно и т.д., которые пересекли мой путь, что-нибудь правдивое, надежное, верное за нашим городом, за нашей страной? Не правильнее ли будет предположить, что все невозвратно заключено в футляр, безнадежно отторгнуто от законов и причин, дарующих жизнь и придающих размах остальному миру? А все, что здесь живет, любит, жрет, ловит, мелочится, обдeldывает делишки, плодится, организуется, не является ли оно захолустным, усредненно-среднеевропейским, провинциальным и нереальным? Что мы еще собой представляем? Что воплощаем? Осталась ли хоть крупица смысла, хоть гран значения в описанном мною наборе? Впрочем, может быть, ответ на вопросы, которыми я задаюсь, притаился везде, позади всех и вся, может, он нежданно-негаданно проявит себя, вырвется из любой мыслимой ситуации, будто из засады? И ответ этот будет приговором нам всем, а правда — приведением его в исполнение. Верую. Истово и страстно. Мне хочется сбросить последние остатки человечности не на благо тому изысканному обществу, в котором я прозябаю, не на пользу тем отвратительным реликтам, которые обступили меня со всех сторон, а во имя

справедливости, ради которой я действую и обязан действовать. Патетически, торжественно, возвышенно, святая серьезность в сопровождении органа — вот что у меня получается, но я не стану вычеркивать и не буду исправлять, к чему исправления, на черта мне стиль, не литературные амбиции водят моей рукой, а намерение совершить убийство, между прочим, господин прокурор, я не пьян, вы ошибаетесь, ни капельки не пьян, а трезв, я полон ледяной трезвости, смертельной. Вот почему у меня нет иного выхода (ваше здоровье, господин прокурор!), кроме как пьянствовать, распутничать, писать отчет, сообщать о своих сомнениях, расставлять свои вопросительные знаки и ждать, ждать, покуда откроется правда, покуда жестокая богиня сбросит покрывало (господи, до чего ж литературно, прямо наизнанку выворачивает). Но на этих страницах правда не откроется, она не есть формула, которую можно записать, она лежит за пределами любого языкового усилия, вне любого сочинительства, лишь в преддверии суда, в этом вечном самоосуществлении справедливости правда становится реальной, и ее можно ощутить. Правда явится тогда, когда однажды я буду стоять перед доктором h.c. Исааком Колером, лицом к лицу, когда я осуществлю акт справедливости и приведу в исполнение приговор. Тогда на один миг, на одно биение сердца, на одну молниеносную вечность, на хлесткую секунду выстрела правда вспыхнет ярким светом, та самая правда, которая теперь в ходе моих раздумий ускользает от меня, которая представляется теперь всего лишь причудливой, злой сказкой. Так примерно видится мне и мой визит к настоящей Монике Штайрман: скорей наваждение, чем действительность, скорей легенда, чем реальный факт.

Моника Штайрман Вторая. Вилла, "Мон-репо", расположена на краю города, в таком громадном, таком запущенном парке, что само здание вот уже много лет почти скрыто из глаз и только зимою можно иногда, с трудом угадать сквозь одичалое сплетение старых деревьев на фоне Вагнербюля какие-то стены и фронтон. О приемах в "Мон-репо" помнят лишь немногие. Уже отец и дедушка "настоящей" Моника справляли праздники и юбилеи в своих загородных поместьях на Цугском и Женевском озерах, а в город наезжали, только чтобы работать (их еще можно было назвать чернорабочими промышленности), приемы же устраивались на природе, тогда как дамы, наезжая в город, селились когда в "Долдере", когда в "Бор-о-лак", когда в этом самом "Брайтингерхофе". "Мон-репо" мало-помалу становился легендой, особенно после того, как однажды утром трое грабителей, приехавших из Западной Германии, были обнаружены перед воротами парка избитыми до полусмерти; полиция случившееся никак не прокомментировала. К делу явно подключился Людевиц. Казалось, кроме Дафны, которую все принимали за Моника Штайрман, в доме никто не живет, всевозможным поставщикам надлежало сгружать свой товар в пустой гараж возле тех же ворот, впрочем, количество сгружаемых продуктов было весьма значительно. Сама Дафна никого на виллу не приглашала, у нее была еще квартира на Аурораштрассе. Я принял две таблетки тройчеля, прежде чем отправиться на Вагнерштуцвег. Резкая перемена погоды через некоторое время завершилась очередной резкой переменой, озеро походило на ручей, до того близко оказалась вдруг противоположный берег. Четыре часа пополудни. Перед воротами я притормозил и поставил машину двумя колесами на тротуар. Ворота были не

заперты, я вошел в парк неуверенной походкой. Все еще под воздействием таблеток. Усыпанная гравием дорожка вела наверх, там и сям на ней встречались деревянные ступеньки, но подъем был не крутой, как я предполагал, судя по названию улицы, ведь недаром "штуц" — это "крутизна". Парк был неухоженный, дорожки, фонтаны заросли мохом, между фонтанами — непроходимые дебри, и повсюду — немислимое количество садовых гномов. Стояли они не поодиночке, а группами, семействами, белобородые, розовые, улыбающиеся идиоты, некоторые даже сидели на деревьях, словно птицы, прикреплённые к веткам, дальше гномы пошли крупнее, мрачные, я бы даже сказал — злобные, попадались и гномы женского пола, они были побольше гномов-мужчин, жутковатые гномши, карлицы с огромными головами. Мне чудилось, будто они преследуют меня, берут в кольцо, я шагал все быстрее, покуда, круто повернув за могучий старый ясень, я вдруг не угодил в что-то железные объятия, ощущение было такое, словно меня швырнули на стену, причем я не мог толком понять, кто принял меня на свою грудь, кто развернул в другую сторону, скорей всего это был телохранитель, и уже после этого остаток пути меня не столько вели, сколько несли. В дверях стоял второй телохранитель, до того крупногабаритный, что, казалось, заполнял собой весь дверной проем, он принял меня из рук в руки и затолкнул внутрь виллы, протащил через вестибюль, потом через залу с потрескивающим камином, там, по-моему, горело целое дерево, и, наконец, в салон, или, если угодно, не в салон, а в кабинет. Здесь меня бросили в кожаное кресло, и я растерянно огляделся по сторонам. Плечи болели, спина тоже. Оба телохранителя сидели против меня в массивных креслах. Они были наголо обриты. Лица словно из обожженной глины. Глаза раскосые, скулы как кулаки. Очень продуманно одеты: темно-синие костюмы из натурального шелка, словно на дворе стоит середина лета, белые, шелковые же галстуки, но ботинки как у штангистов. Они выглядели колоссами, хотя на деле были не так уж и велики ростом. Я кивнул им. Никакого выражения на лицах. Я оглянулся. На обшитых деревом стенах были развешаны и приклеены фотографии в таких количествах, что казалось, будто вся стена покрыта фотообоями, и с тем странным испугом, который сопровождает каждое озарение, я вдруг понял, что все снимки сделаны с одной и той же особы, а именно с доктора Бенно, потом лишь я углядел у стены, что напротив зарешеченных окон, в нише, малопристойный шедевр Мокка, нагую лже-Монику, Дафну, только на сей раз отлитую в бронзе, она поднимала руками свои груди, словно гири, и как раз в ту минуту, когда я заметил ее, отворилась двустворчатая дверь в противоположной стене, и третий бритоголовый телохранитель, более мощный и более шелковый, чем те двое в кожаных креслах, внес на руках сморщенное, скрюченное существо ростом с четырехлетнего ребенка. На тщедушном уродливом тельце было нелепое черное платье с глубоким вырезом, украшенное сверкающим сапфиром.

— Я Моника Штайрман, — заявило существо.

Я встал.

— Шпет, адвокат.

— Так-так, адвокат, значит, — заявило крохотное существо с огромной головой. Всего ужасней был голос. Словно из уродливого тельца говорил другой человек. Говорила женщина. — Ну, и что же вам от меня надо?

Телохранитель, державший карлицу на руках, не шелохнулся.

— Моника...

— Госпожа Штайерман, — поправила меня карлица и одернула свое платье. — От Диора. Элегантно, не правда ли? — В ее голосе звучало спокойное, насмешливое превосходство.

— Госпожа Штайерман! Дафна больше не хочет к вам возвращаться.

— И вы должны мне это передать? — спросила карлица.

— Да, я должен вам это передать, — подтвердил я.

Трудно было угадать, как она восприняла мои слова.

— Виски? — спросила она.

— С удовольствием.

Хотя она не подала никакого знака, двустворчатая дверь за моей спиной отворилась, и четвертый бритоголовый телохранитель внес шотландское виски и лед.

— Чистое? — спросила она.

— Со льдом.

Четвертый налил, но не ушел. Два первых тоже поднялись с мест.

— Скажите, адвокат, как вам нравятся мои слуги? — спросила карлица, и тот, который держал ее на руках, поднес стакан к ее губам.

— Очень представительные! Я думал, что это ваши телохранители.

— Представительные, но тупые, — отвечала она. — Узбеки. Русские подобрали их где-то в Центральной Азии и направили в Красную Армию, а оттуда они попали в плен к немцам, и, поскольку нацистские антропологи не сумели прийти к единому мнению насчет их расовой принадлежности, им сохранили жизнь. Мой отец купил их в Институте расовых проблем. Тогда они шли задешево. Как ни к чему не пригодные отбросы человечества. Я называю их узбеками, потому что мне нравится это слово. А гномов в саду вы видели, адвокат?

Струйки пота бежали у меня по лицу. Здесь было слишком натоплено.

— Целое войско, госпожа Штайерман.

— Я иногда становлюсь посреди гномш, и ни один человек меня не замечает, даже если я двигаюсь. Ваше здоровье!

”Узбек”, который держал Монику, снова поднес стакан к ее губам. Она выпила.

— Ваше здоровье, госпожа Штайерман, — сказал я и тоже выпил.

— Сядьте-ка, адвокат Шпет, — скомандовала она.

Я сел в кожаное кресло. ”Узбек” остановился передо мной, не спуская карлицу с рук.

— Значит, Дафна не хочет ко мне возвращаться, — сказала она, — так я и знала, что настанет день, когда она больше не вернется ко мне. — Поникла огромная, почти безволосая голова, в больших глазах на маленьком морщинистом личике заблестели слезы.

Прежде чем я успел промолвить хоть слово, ”узбек” пересадил карлицу ко мне на руки, сунул мне ее виски, с тремя остальными бросился на колени перед окном, и все они дружно ударились лбами об пол, вскинув кверху могучие зады. Карлица судорожно вцепилась в меня. Со стаканами в обеих руках я чувствовал себя очень беспомощно.

— Это они опять молятся. По пять раз на дню. А меня чаще всего сажают на шкаф, — сказала она, после чего скомандовала: — Виски!

Я поднес стакан к ее губам.

— Правда, Хайнц Олимпиец у нас раскрасавчик? — спросила она без всякого перехода и лишь тогда выпила залпом свое виски.

— Ну еще бы, — ответил я и поставил пустой бокал возле кресла на

ковер. При этом госпожа Штайерман чуть не свалилась у меня с колен.

— Вздор, — сказала она глубоким голосом, полным презрения к себе самой. — Бенно — опустившийся, вульгарный кобель, в которого я втрескалась. Я всегда влюбляюсь в таких вульгарных субъектов, потому что в них влюбляется Дафна.

Я ощущал сидевшую у меня на руках женщину как крохотный скелетик.

— Я дала Дафне свое имя, чтобы она вела ту жизнь, которую я хотела бы вести сама, и она вела ее, — продолжала карлица. — На ее месте я бы тоже спала со всеми подряд. А вы с ней спали? — вдруг спросила она ледяным тоном.

— Нет, госпожа Штайерман.

— Хватит молиться, — скомандовала она.

“Узбеки” поднялись с колен. Тот, что принес карлицу, снова взял ее на руки. Я тоже невольно привстал, по-прежнему держа стакан виски со льдом. Поручение, данное мне, я выполнил и теперь хотел откланяться.

— Сядьте, адвокат, — скомандовала она.

Я повиновался. Сидя на руках у “узбека”, она смотрела на меня сверху вниз. Теперь в ее глазах появилось что-то угрожающее. Приговоренная к маленькому, уродливому тельцу, она могла выражать себя только глазами и голосом.

— Нож, — сказала она.

Один из “узбеков” открыл нож и протянул ей.

— К фотографиям, — сказала она.

“Узбек” поднес ее к стене, и она начала спокойно, будто делала операцию, резать доктора Бенно, когда он смеется, резать доктора Бенно, когда он ест, резать доктора Бенно, когда он сидит, резать доктора Бенно, когда он размышляет, когда он спит, когда он сияет, когда он пьет, она разрешила доктора Бенно во фраке и доктора Бенно в смокинге, в костюме от портного, в костюме для верховой езды, разрешила, разрешила, разрешила доктора Бенно, одетого маскарадным пиратом, в плавках, без плавок, разрешила доктора Бенно в фехтовальной позиции на олимпийском турнире, разрешила доктора Бенно в теннисном костюме, доктора Бенно в пижаме, доктора Бенно, доктора Бенно, мы отступали, давая дорогу, “узбеки” взяли меня в кольцо, а тот, что держал ее на руках, описывал круги в адской жаре кабинета, пол которого мало-помалу весь покрылся обрезками фотографий. Когда они были изрезаны, все до одной, мы заняли прежние места, словно ничего не произошло. Карлицу опять сунули мне на руки, и я сидел, будто отец ребенка-уродца.

— Это мне пошло на пользу, — спокойно сказала она. — А теперь пусть Дафна падает. Уж я позабочусь, чтоб она стала тем, чем была когда-то.

Карлица, сидевшая у меня на коленях, повернула голову и снизу вверх глянула на меня, и все же мне казалось, будто карлик я, а не она.

— Кланяйтесь от меня старику Колеру, — сказала она, — он часто здесь бывал, и когда я на него злилась за то, что он все хотел сделать по-своему, я карабкалась на книжные полки и швыряла в него книгами. Но он всегда умел настоять на своем. Он и сейчас ведет мои дела. Из тюрьмы. В том, что я вместо оптики и электроники перешла к производству противотанкового оружия и зенитных пушек, мортир и гаубиц, его заслуга. Думаете, Людевик к этому способен, не говоря уже обо мне? Вы только взгляните на меня.

Карлица помолчала.

— У меня в голове одни мужики, — сказала она потом; и та насмешка, то презрение, которое испытывало это уродливое существо к себе самому, отчетливо зазвучали в ее голосе. — Унесите, — приказала она.

“Узбек” снова взял ее на руки.

— Адё, адвокат Шпет, — сказала она, и снова в ее голосе послышалось спокойное, насмешливое превосходство.

Распахнулась двусторчатая дверь, и “узбек” вынес Монике Штайерман. Дверь снова затворилась. Я остался наедине с теми двумя, что меня сюда доставили. Они вплотную подступили к моему кожаному креслу. Один взял стакан у меня из рук, я хотел встать, но другой придавил меня к сиденью, потом мне плеснули из стакана в лицо, лед уже растаял. Оба рванули меня кверху, вынесли из кабинета, пронесли через вестибюль, через двери вниз, через парк, мимо гномов, распахнули ворота и швырнули меня к моему “порше”. Пожилая супружеская чета, прогуливавшаяся по тротуару, с удивлением воззрившись сперва на меня, потом на обоих “узбеков”, которые тотчас исчезли в парке.

— Иностранные рабочие, — сказал я и взял штрафной талон, засунутый полицейским под “дворник”. Нельзя было ставить машину перед воротами.

Отчет по поводу одного отчета по поводу отчетов. Три дня спустя после моего визита к Монике Штайерман в нашей всемирно известной городской газете было опубликовано принадлежащее перу национального советника Эшисбургера, поверенного в делах Вспомогательных мастерских “Трёг” А/О, коммюнике следующего содержания: особа, которую десять лет назад некий пансион с Лазурного берега натравил на наше бедное общество и которая непрерывно будоражила город своими скандалами, вовсе не Моника Штайерман, за которую она себя выдавала, пользуясь благосклонным разрешением физически немощной наследницы Вспомогательных мастерских “Трёг” А/О, а родившаяся 9.9.1930 Дафна Мюллер, внебрачная дочь Эрнестины Мюллер, учительницы в Шангнау (кантон Берн), скончавшейся 2.12.1942, и убитого 25.3.1955 года Адольфа Винтера, экстраординарного профессора местного университета. Эта бесцеремонная информация, вполне соответствовавшая характеру национального советника, вызвала именно тот скандал, на который и рассчитывал Эшисбургер. Печать, прежде более чем снисходительная, стала более чем беспощадной, даже драка в “Брайтингерхофе” была изображена наиболее подробнейшим образом. Педроли, к слову, сообщил, что Бенно уже три месяца не платит за стол и проживание, он, Педроли, питал надежду, что за все заплатит Моника Штайерман, а теперь выходит, что Моника вовсе не Моника, однако и Дафна и Бенно бесследно исчезли, и толпа ринулась на меня, благо Эшисбургер дал понять, что я побывал у настоящей Моники Штайерман. Ильза Фроиде отбивалась как тигрица, однако некоторым репортажам удалось ко мне прорваться, я прятался за неопределенными, расплывчатыми оговорками, переадресовывал их к Линхарду, по неосторожности помянул Куксхафена, о котором умолчал Педроли, банда ринулась в Реймс, но малость опоздала: при испытательной поездке на новом “мазерати” произошел взрыв, и принц вместе с машиной разлетелся на составные части, тогда репортеры, снова вернувшиеся в наш город, подвергли осаде “Мон-репо”, целые колонны машин столпились на Вагнерштуцвег, в парк никто допущен не был, не говоря уже

о вилле, один сорвиголова, который под покровом ночи, оснащенный всевозможной техникой, перелез через ограду, пришел в себя поутру в луже перед воротами, без одежды и без оптики, причем он даже не мог бы толком сказать, что с ним произошло: за одну ночь рухнули шансы и на коммюнике, и на продолжение осени, ветер сорвал с деревьев ржаво-красные и желтые листья, шагать теперь приходилось по веткам и листве, а там нагрянул дождь, а за дождем — снег, а за снегом — снова дождь, улицы города покрыло грязное месиво, и в этом месиве, дрожа от холода, стоял репортер. Но скандал не только взбудоражил прессу, он разжег фантазию. По городу циркулировали самые нелепые слухи, на которые я слишком долго не обращал внимания. Меня больше занимало мое собственное положение. Клиенты начали один за другим покидать меня, поездка в Каракас рухнула, выгодный бракоразводный процесс мне не достался, налоговому управлению я не внушил доверия. Перспективное начало на проверку оказалось бесперспективным, аванс Колера весь разошелся, я напоминал себе марафонского бегуна, который взял с места как спринтер; теперь передо мной расстилалась бесконечная дистанция, отделявшая меня от доходной адвокатской практики. Ильза Фройде начала подыскивать себе новое место. Я решил потребовать ее к ответу.

Она сидела в приемной за машинкой, поставив на клавиатуру зеркальце, и красила губы в карминно-красный цвет. Ее волосы, еще вчера соломенно-желтые, сегодня стали иссиня-черными, так что даже отливали зеленью. Было пять минут седьмого.

— Вы за мной шпионите, господин адвокат! — возмутилась Ильза, продолжая наводить марафет.

— Кто ж виноват, что вы так громко беседуете по телефону по поводу нового места, — оборонялся я.

— Каждый человек имеет право зондировать почву, — сказала она, покончив с раскраской. — Но не тревожьтесь, сейчас, когда вас ждет такая огромная работа, я вас не покину.

— Какая еще огромная работа? — искренне удивился я.

Сперва Ильза вообще не отвечала, она водрузила на стол битком набитую сумку и небрежно забросила туда зеркальце и губную помаду.

— Господин доктор, — начала она, — пусть даже вы и выглядите очень безобидно, пусть у вас слишком добродушный вид для адвоката, адвокаты должны выглядеть по-другому. Я их знаю, они либо всем своим видом внушают доверие, либо похожи на людей искусства, как пианисты, только без фрака, но вы, господин доктор...

— Вы к чему клоните? — нетерпеливо перебил я.

— Я клоню к тому, господин доктор, что вы при всем при том пройдоха, каких свет не видал. Вы не похожи на адвоката, но вы адвокат. И еще вы хотите вызволить из тюрьмы ни в чем не повинного кантонального советника.

— Ильза! Что это за бред?

— А зачем вы тогда приняли от кантонального советника Колера чек на пятнадцать тысяч франков?

Я онемел.

— Вам-то это откуда известно? — рявкнул я.

— Ну, мне же приходится время от времени наводить порядок на вашем письменном столе, — зашипела она в ответ, — там же такой хаос. А вы еще на меня кричите.

Она промокнула глаза платочком.

— Но вы этого добьетесь. Вы вызволите нашего доброго советника Колера. И я вас не покину. Я обовьюсь вокруг вас как лиана. Мы вместе этого добьемся.

— Вы думаете, старик Колер ни в чем не виноват? — удивился я.

Ильза Фройде изящно поднялась, несмотря на свою respectableную полноту, и повесила сумку на плечо.

— Это знает весь город, — ответствовала она. — И весь город знает, кто настоящий убийца.

— Вот это уже любопытно, — сказал я, и по спине у меня вдруг пробежал озноб.

— Доктор Бенно, — сказала Ильза. — Он был чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета. Об этом пишут все газеты.

Несколько позже я обедал в "Театральном". С Мокком. Мокк сам меня пригласил — поступок неслыханный для старого скупердяя. Я принял приглашение, хотя и знал, что Мокк приглашает лишь тогда, когда твердо рассчитывает на отказ. Но мне было любопытно узнать, справедливы ли слухи, что после убийства Винтера Мокк обычно сидит за его столом. Слухи оказались справедливы. К моему великому удивлению, Мокк радостно меня приветствовал, но не успел я занять место, как за наш стол подсел начальник полиции, первый раз за все время нашего знакомства подсел к нам, выяснилось также, что нашу встречу устроил именно он, что он взял на себя расходы, и действительно, в конце он оплатил нашу трапезу. А Мокк сыграл всего лишь роль наживки. Начальник заказал суп с фрикадельками из печени, филе а-ля Россини с пом-фри и бобами и, наконец, бутылку шамбертена, в память о Винтере, как он выразился, тот, правда, был невыносимый болтун, но едок хоть куда. На него было приятно смотреть, когда он ест. Я приналег. Мокк накладывал себе жаркое и пюре с сервировочного столика. В самой нашей трапезе было что-то зловещее. Мы ели в таком глубоком молчании, что Мокк напрасно положил слуховой аппарат рядом с тарелкой, дабы ничто не отвлекало его от еды. Потом начальник заказал шоколадный мусс, а я передал ему свой разговор с Ильзой Фройде.

— Вы даже представить себе не можете, Шпет, до чего прав этот уникум в юбке, который исполняет у вас обязанности секретарши. Слух родился в тюрьме. Директор и охранники в один голос клянутся, что Колер не может быть убийцей. Как старый жулик этого добился — понятия не имею. Но если одни уверуют в какую-нибудь бессмыслицу, через положенное время в нее уверуют и другие. Это все равно как снежная лавина. С горы летят все большие массы бессмысленной веры, а кончится тем, что люди из комиссии по расследованию убийств тоже в нее поверят. Вообще-то говоря, лично вас это никоим образом не касается, но лейтенанта Хэррена подчиненные недолюбливают, и его команда просто ликовала бы, окажись арест Колера ошибкой, а что до прочих чинов полиции, то они завидуют комиссии, а если взять всю полицию в целом, то ее в свою очередь недолюбливают страдающие от комплекса неполноценности пожарные и служащие общественного транспорта. И вот уже лавину не удержать, она достигает широких слоев населения, а население и без того радуется каждой нашей промашке, моей — в особенности. Тем временем убийца, глядишь, и превратился в невинного агнца. Прибавьте к этому, что само убийство снискало широкую популярность, пришлось весьма на руку очень и очень многим, что правление гильдии и вообще близкое

окружение Колера, все эти парламентарии, национальные советники, правительственные советники, кантональные и городские и кто там еще повязан на этом деле, все эти генеральные директора и простые директора, боссы и шефы досаждают на активность Йеммерлина и на неуступчивость судей. Они не против осуждения как такового, но они рассчитывали на условный приговор либо на оправдание по причине психической недееспособности, из-за которой никто не считает политического деятеля и впрямь недееспособным. Словом, невиновность Колера пролила бы бальзам на великое множество ран.

Мокк отодвинул тарелку и засунул себе в ухо слуховой аппарат.

— Вы получили от Колера более чем странное задание, а теперь вот эти дурацкие пересуды, что Колер ни в чем не виноват и что настоящий убийца — шалопай Бенно. Только потому, что он был когда-то чемпионом по стрельбе, и это у нас в стране, где каждый мнит себя таковым. Но какого черта этот дурень где-то скрывается, — сказал начальник и занялся своим муссом. — Вот что мне не нравится. Поручение Колера, слухи, будто он невиновен, и исчезновение Бенно как-то связаны между собой.

— Шпет угодил в ловушку, — сказал Мокк и начал рисовать грифелем на скатерти крысу, уже прихлопнутую мышеловкой, но не выпускающую из зубов сало.

На Цельтвеге в моем бюро сидел Линхард.

— Вы как сюда попали? — не удержался я.

— Это к делу не относится, — ответил Линхард и указал на письменный стол. — Отчеты.

— Вы что, тоже думаете, что Колер невиновен? — с досадой спросил я.

— Не думаю.

— Мокк считает, что я угодил в ловушку, — мрачно сказал я.

— Зависит от вас, — сказал Линхард.

Сто пятьдесят страниц. Густо исписанных. Телеграфный стиль. Я ожидал гипотетического изложения смутных комбинаций, а очутился лицом к лицу с фактами. Вместо загадочного незнакомца было вслух названо имя. Сами по себе отчеты имели различную ценность, и относиться к ним следовало с осторожностью. Опрос свидетелей, проведенный Шёнбехлером. Свидетельские показания обычно противоречивы, но здесь масштабы противоречий были просто устрашающие. Примеры: одна из официанток утверждает, будто Колер выкрикнул: "Гад ползучий", в то время как прокурист фирмы дамского белья, сидевший тогда за соседним столиком ("На меня как раз брызнуло соусом!"), показал, что Колер обратился к Винтеру со словами: "Добрый день, старина!" Третий свидетель якобы своими глазами видел, как Колер пожимал руку профессору. Один показал, что, застрелив Винтера, Колер нос к носу столкнулся с Линхардом. Здесь стоял знак вопроса и примечание Линхарда: "Вообще там не был". И подобные противоречивые показания на более чем пятидесяти страницах. Объективных свидетелей не существует. Каждый свидетель подсознательно склонен примешивать к истинно пережитому выдуманное. Происшествие, свидетелем которого он был, разыгрывается не только внем свидетеля, но и в нем самом. Он воспринимает происшествие на свой лад, запечатлевает в памяти, память преобразует запечатленное, после чего каждая память воспроизводит свое происшествие. Особенно велика была несогласованность еще и потому, что Шёнбехлер в отличие от полиции допросил *всех* свидетелей, а чем больше

свидетелей, тем, разумеется, противоречивее показания. Свыше пятидесяти страниц было заполнено взаимоисключающими утверждениями. И наконец, разница во времени. Само происшествие имело место год и девять месяцев тому назад. Человеческой фантазии было предоставлено достаточно времени, чтобы осуществить в памяти необходимые изменения, к этому прибавилась распространенная слабость выдавать желаемое за действительное, умничанье и тому подобное, следующие пятьдесят страниц вполне можно было бы заполнить показаниями тех, кто вообразил, будто является очевидцем убийства, хотя на самом деле там не присутствовал. Но Шёнбехлер произвел тщательнейший отбор. А теперь донесение Фойхтинга. У него метод самый простой. Задаёт прямые вопросы и может себе это позволить, так как во все времена задавал прямые вопросы. И если он о чем-то спрашивал, на это никто не обращал внимания, потому что он спрашивал решительно обо всем, даже когда его вопросы были лишены смысла или выглядели таковыми. Наконец, отдельные камушки складывались у Фойхтинга воедино, хоть и не без труда, пропущенные через бесчисленное множество рюмок мартини, но все же складывались, открывая взору мозаичное панно, которое странным образом подтверждало показания различных свидетелей, приведенных в отчете Шёнбехлера. Так, к примеру, некоторые утверждали, что доктор Бенно тоже был в "Театральном", другие — что он еще до Колера подходил к Винтеру, трети — что он сидел с Винтером за одним столом, а один и вовсе показал, что Бенно покинул заведение вслед за Колером, и, наконец, дама из бара сообщила, что непосредственно после убийства Бенно ворвался в бар, приплясывая от радости, бил рюмки и приговаривал: "Сдох таракан, сдох таракан!" — со всеми задирился и объявлял, что уж теперь-то он на ней женится. Слушатели отнесли его слова к Монике Штайерман, желали ему счастья и принимали от него приглашения. Все это происходило в баре "Утоли моя печали", так называется из-за своих крепких напитков разбойничий вертеп неподалеку от Мюнстера, где Бенно в последнее время стал завсегдатаем. Это "последнее время" уже длилось для Бенно свыше двух лет. Из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, после успешного окончания университета, после спортивной карьеры, после блестящих деловых успехов, после обручения с Моникой Штайерман, самой богатой невестой в городе, Бенно вдруг словно споткнулся, стал другим. Люди начали избегать его. Повсюду считалось, будто Штайерман расторгла их помолвку. Далее — четыре поездки за границу, слухи, что он игрок. На первых порах он еще мог, хоть и не без труда, сохранять контакты с хорошими, богатыми домами, потом его почти перестали приглашать, а под конец и вовсе начали бойкотировать. По инерции он еще продолжал жить на широкую ногу, потому начал распродавать остатки прежней роскоши: гравюры, мебель, несколько ящиков старого бордо. Ряд предметов из тех, что он продавал, принадлежали не ему, к примеру некоторые украшения, по поводу чего были начаты сразу два процесса. (Воздержусь от точного перечисления общей суммы долгов Хайнца Олимпийца, это была катастрофическая, можно сказать нереальная, цифра, свыше двадцати миллионов.) Станным образом факты, установленные Фойхтингом касательно Бенно, во многом совпадали с тем, что удалось выяснить об убитом Винтере (конечно, не считая долгов); частые выезды за границу на конгрессы ПЕН-клуба, которые, как оказывается, вовсе не происходили, но о которых он впоследствии долго и по-

дробно рассказывал, слухи о частых посещениях казино. Оказывается, и Винтер, со своими вечными цитатами из Гёте, тоже околачивался в баре "Утоли моя печали", едва покинув стол для литературных завсегдатаев на третьем этаже "Театрального". Там он сидел в кругу издателей, редакторов, театральных критиков и литературно-биографических корифеев нашего города, чтобы вместе с ними не выпустить из рук господство над нашей культурой. Избранные хоть и терпели его, но подсмеиваясь и, едва он покидал их ради нидердорфских баядерок, за глаза называли "магараджей". Не подлежит сомнению, подытожил Линхард, что, если исключить Колера как убийцу, потенциальным преступником можно считать только Бенно. Бенно принимал Дафну за Моника Штайерман, потом между ним и Винтером что-то произошло. Разрыв Дафны с Бенно явился результатом именно этого инцидента, равно как и последовавшее за разрывом падение Бенно. Будучи женихом Штайерман, он мог рассчитывать на любой кредит, сам по себе — ни на малейший. Тут я настоялся. Версия Линхарда вступала в противоречие с фактами. Ведь Дафна порвала с Бенно лишь после того, как он ее избил. А Моника Штайерман отеклась от Бенно лишь после того, как с ним порвала Дафна. Далее Винтер и Людевиц знали, что Дафна — не Моника Штайерман, и не только они знали. Не так это просто, чтобы один человек выдавал себя за другого, сведя к нулю собственную личность, здесь требуются и другие посвященные. Среди представителей городской власти об этом наверняка кое-кто был осведомлен. А уж про Колера и говорить нечего. Об этом мне, кстати, рассказывала настоящая Моника Штайерман. Короче, об этом могли знать очень и очень многие. Ловушка же, в которую я угодил, по словам Мокка, могла состоять лишь в том, что я вольно или невольно усвоил эту всеобщую веру в невинность Колера, хотя сам и не разделял ее. Я просто как бы согласился поддержать ее, потому что принял его поручение. Поддавшись ложному допущению, что убийца не Колер, я неизбежно должен был выйти на другую кандидатуру: если Цезаря убил не Брут, значит, его убил Кассий, если не Кассий, то Каска. Вполне возможно. Возможно даже, что слух о невинности Колера пошел не от тюремной администрации и не от охранников, а от меня. Откуда начальник узнал о данном мне поручении? Мёзер, охранник, присутствовал, когда Колер мне его давал, чета Кнульпе, Элен, Фёрдер, личный секретарь Колера, без сомнения, еще некоторые юристы, ну потом Линхард, а из людей Линхарда кто? Еще об этом знала Ильза Фройде. Будет ли эта молчать? Возможно, поручение Колера давно уже стало темой общегородских пересудов, и хотя лично я был убежден, что Колер совершил убийство из чисто научного интереса, но благодаря поручению мои поиски уводили от Колера, вместо того чтобы вести к нему. Не в этом ли заключался смысл его поручения? И, поставив ему отчеты о своих изысканиях, не сам ли я давал ход недоступному для моего ума маневру? Но положение у меня было безвыходное. Не сегодня завтра Линхард предъявит счет. Мне нужны деньги, а их единственным источником может быть только Колер. Значит, надо пахать дальше. Несмотря на все сомнения. Или есть какой-нибудь другой выход? Мне пришла в голову мысль навеститься к моему прежнему шефу Штюсси-Лойпину и обсудить ситуацию с ним. Сперва я колебался, потом решил к Штюсси-Лойпину не ходить, отчеты не представлять, и будь что будет. А потом окончательно перестал колебаться. Доктор Бенно возник у меня в ночь с 30 ноября на

1 декабря 1956-го, с пятницы на субботу. Около полуночи. Я точно запомнил. Ибо в эту ночь решилась его судьба — и моя тоже. Я в третий раз перечитывал отчет, когда он рванул дверь бюро, ранее ему принадлежавшего, где за его письменным столом теперь сидел я. Бенно был рослый, крупный мужчина с длинными прядями черных волос, которые он зачесал так, чтобы прикрыть лысину. Шатаясь, приблизился он к моему столу. Он произввел впечатление человека чрезмерно тяжелого для собственного скелета. Руками, которые казались почти детскими в сравнении с массивным телом, он оперся о столешницу и, наполовину освещенный светом настольной лампы, в упор поглядел на меня. Он был явно нетрезв, удручен и трогателен в своей беспомощности. Я откинулся на спинку кресла. Его черный костюм залоснился от долгой носки.

— Доктор Бенно, — спросил я, — где вы пропадали? Вас повсюду ищет пресса.

— А вам не все равно, где я пропадал? — пропыхтел он. — Шпет, не начинайте процесс, умоляю вас.

— Какой процесс, доктор Бенно? — спросил я.

— Который вы затеваете против меня, — ответил он хриплым голосом. Я покачал головой.

— Доктор Бенно, никто не собирается затевать против вас процесс.

— Врете вы все, — закричал он, — врете! Вы пустили по моему следу Линхарда, Фантера, Шёнбехлера, Фойхтинга. Вы натравили на меня прессу. Вам известно, что у меня были причины убить Винтера.

— Но убил его Колер, — ответил я.

— Вы и сами уже в это не верите. — Он трясся всем телом.

— Напротив, в этом никто не сомневается, — пытался я его успокоить. Бенно в упор поглядел на меня, промокнул лоб грязным носовым платком.

— Вы начнете процесс, — тихо добавил он, — а я погиб, я знаю, что погиб...

— Помилуйте, доктор Бенно, — ответил я.

Он, шатаясь, побрел к двери, медленно открыл ее и ушел, не удостоив меня больше ни единым взглядом.

Алиби. Меня опять прервали. Вмешалась судьба. На сей раз в лице Лакки. И еще одного субъекта, которого он представил как Маркиза. (Поскольку, начав писать, я отстранился от роковой игры, куда ввязался как активный участник, мне надлежит теперь назвать вещи своими именами. Итак, среди преступного мира я и сам заделался преступником. Не сомневаюсь, господин прокурор, что подобное признание встретит полное ваше одобрение, но я должен сделать одну оговорку: к этому преступному миру я причисляю и вас, и то общество, которое вы представляете по долгу службы, а не только Лакки, Маркиза и самого себя.) Что до этого человекоподобного субъекта, то его занесло к нам из Невшателя. Вместе с открытым "ягуаром". Во всю вывеску улыбочка, словно этот тип заявился прямиком из Ко, а манеры такие, будто он торгует высокосортным мылом. Дело было в десятом часу вечера. В воскресенье (эту часть отчета я пишу в конце июля 1958 года — слабая попытка хоть как-то упорядочить свои записи). На улице бушевала гроза, гулкие, страшные раскаты грома, дождь еще лил, но это не приносило облегчения, было по-прежнему душно и мутно. Этажом ниже гремели псалмы: "Рухни, мир, в объятья Христовы, к гибели страшной

все мы готовы!”, и еще: ”Дух святой, под бури гром грешников сожги живьем!” Лакки как-то смущенно пощипывал свои усики и вообще вроде бы нервничал, да и его апостольские глаза светились задумчивым блеском, какого я никогда прежде в них не наблюдал: Лакки явно о чем-то размышлял. Оба были в плащах, но почему-то почти сухих.

— Нам нужно алиби, — наконец робко выдавил из себя Лакки. — Маркизу и мне, на последние два часа.

Маркиз заулыбался умильно.

— А до этого?

— До этого у нас такое алиби, что не подкопаешься, — сказал Лакки и пылливо на меня глянул. — До этого мы сидели с Гизелой и Мадленой в ”Монако”.

Маркиз утвердительно кивнул.

Я поинтересовался, не видел ли кто, как они ко мне входили. Лакки, по обыкновению, был настроен оптимистично.

— Узнать нас никто не мог, — заверил он меня. — На этот случай зонтик — незаменимая вещь.

Я задумался.

— А куда вы дели зонтики? — спросил я, потом встал из-за стола и запер в ящик свои записки.

— Внизу. Мы их поставили за дверь в подвал.

— Это ваши зонтики?

— Нет, мы их нашли.

— Где?

— Тоже в ”Монако”.

— Значит, два часа назад вы их взяли с собой на прогулку?

— Так ведь дождь шел.

Лакки с огорчением заметил, что его ответы меня не вдохновляют. Он с надеждой извлек из своего плаща бутылку коньяку ”Наполеон”, и Маркиз в свою очередь тоже наколдовал бутылочку.

— Недурно, — кивнул я, — это уже по-человечески.

После чего каждый из них выложил на стол по тысячефранковой бумажке.

— Мы народ щедрый, — сказал Лакки.

Я отрицательно замотал головой и выразил сожаление.

— Дорогой Лакки, я принципиально не намерен садиться за дачу ложных показаний.

— Усек, — сказал Лакки.

Оба подкинули еще по тысяче.

Я оставался неумолим.

— И с зонтиками у вас какая-то мура получилась, — констатировал я.

— Полиция ищет нас не из-за зонтиков, — вставил Лакки, хотя ему явно было не по себе.

— Но из-за зонтиков она могла напасть на ваш след, — выразил я свои сомнения.

— Вас понял, — сказал Лакки.

Оба пожертвовали еще по тысяче.

Я даже удивился.

— Вы никак миллионерами стали?

— Ну, бывают же у людей доходы, — уклончиво ответил Лакки. — Когда нам выплатят остаток, мы сразу испаримся. Куда-нибудь за границу.

– Какой такой остаток?
– Остаток гонорара, – пояснил Маркиз.
– Какого гонорара? – спросил я еще более недоверчиво.
– За поручение, которое мы выполнили, – уточнил Лакки. – Как только мы будем в Ницце, я передам тебе Гизелу и Мадлену.
– Я тоже передам вам своих девочек, – заверил меня Маркиз. – Невшательки очень практичные.

Я тщательно осмотрел тысячефранковые бумажки, сложил и сунул в задний карман брюк. Лакки хотел посвятить меня в подробности, но я не дал ему договорить.

– Уговор дороже денег: я не знаю, зачем вам понадобилось алиби, и знать не желаю.

– Пардон, пардон, – извинился Лакки.

– А ну выкладывайте ваши сигареты, – скомандовал я тогда.

Лакки был весь прямо нашпигован сигаретами: "Кэмел", "Данхилл", "Блэк энд уайт", "Сьюпер кинг", "Пикадилли". На столе росла гора пачек.

– Одна подружка держит киоск, – объяснил он извиняющимся тоном.

– А что курит господин Маркиз?

– Вообще почти не курю, – смущенно прошептал тот.

– У тебя что, и сигарет при себе нет?

Маркиз отрицательно замотал головой.

Я снова сел за письменный стол. Пора было действовать.

– Теперь будем с вами курить полчаса подряд. Как можно больше. И скорей. Я – "Кэмел", Лакки – длинные "Сьюпер кинг", а Маркиз, господи помилуй, – "Данхилл". Курить так, чтобы можно было прочесть марку, потом гасить и все складывать в одну пепельницу. Под конец каждый прихватит с собой початую пачку.

И мы начали дымить как одержимые. Вскоре мы освоили новый метод: раскуривать по четыре сигареты сразу, а уж потом они сами догорят. За окном по новой разбушевалась гроза, этажом ниже заныли псалмопевцы: "Убей, господь, наш мерзкий род, убей, Христос, и наш приплод. Ведь мы тебя распяли. И дух святой попрали".

– По-честному, я вообще не курю, – стонал Маркиз. Ему было до того плохо, что он даже начал походить на человека.

Спустя полчаса в пепельнице высилась гора окурков.

Воздух в комнате стал прямо опасным для жизни, потому что мы закрыли окна. Покинув комнату, мы побежали по лестнице и этажом ниже угодили прямо в руки полиции: впрочем, сегодня полиция явилась не ради нас, а ради "Святых Ютли". Нажаловались соседи, которые предположили сойти в ад без псалмов. Толстый Штубер из полиции нравов тряс дверь, два его спутника, обычные патрульные полицейские, злобно глядели на нас. Мы все трое были им хорошо известны.

– Но как же так, Штубер, – полюбопытствовал я, – вы ведь из полиции нравов. Какое вам дело до святых?

– Приглядывайте лучше за своими святыми, – буркнул Штубер, давая нам дорогу.

– Потаскуший адвокат, – еще крикнул мне вслед один из полицейских.

– Может быть, нам уж лучше тогда сразу топтать в полицию?! – стонал Лакки.

Встреча с полицией совершенно его деморализовала. Маркиз, по моему, вообще начал со страха читать молитвы. Я уже чувствовал, что ввязался в очень сомнительное дело.

— Ерунда, — пытался я их приободрить. — Ничего удачнее, чем встреча с полицией, просто быть не могло.

— А зонты...

— Я их перепрячу.

Свежий воздух привел нас в чувство. Дождь прекратился. На улицах царил оживление, а на Нидердорфштрассе мы напрямик проследовали в "Монако". Гизела еще была там. Мадлена ушла (теперь я по крайней мере знаю, как ее зовут), но зато там были еще Коринна и Полетта, две новенькие на службе у Лакки, только-только импортированные из Женевы, все три в роскошном виде, сообразно с ценой, и при каждой — уже несколько кавалеров.

— До чего ж Маркиз зеленый! — замахала нам Гизела. — Что вы с ним сделали?

— Два часа резались в карты, — объяснил я, — и Маркизу пришлось курить с нами на равных. В наказание за то, что он хочет увести тебя у Лакки.

— Je m'en suis pas rendue compte¹, — сказала Полетта.

— Дела надо обдeldывать без шума.

— Et le résultat?²

— Теперь я твой адвокат, — сказал я.

Полетта очень удивилась. А я повернулся к Альфонсу. У бармена была заячья губа. Он перемывал рюмки за стойкой. Я потребовал виски. Альфонс выставил нам три смеси "сиксти-найн". Я залпом выпил свою, сказал бармену: "Господа заплатят" — и покинул заведение. Не успев отойти от "Монако" шагов на десять, я услышал, как позади остановилась машина. И мог издали наблюдать, как начальник вместе с тремя детективами из комиссии по расследованию убийств вошел в бар. Я юркнул за угол и свернул в первую попавшуюся забегаловку. Мне и дальше повезло (должно же хоть когда-нибудь): когда час спустя я вернулся к себе, Штубер и двое патрульных успели покинуть дом на Шпигельгассе. Все было тихо, "Святые Югли", должно быть, тоже удалились. Оба зонтика я нашел за дверью в подвале и хотел уже спуститься, чтобы хорошенько их запрягать, но тут меня осенила другая идея. Я поднялся наверх. Перед обителью секты все было тихо, и дверь не закрыта, в противном случае я открыл бы ее собственным ключом, благо он, как это часто бывает в старых домах, подходил ко всем дверям.

Я вошел в переднюю. Сюда еле-еле пробивался свет с лестничной площадки. Возле дверей стояла подставка, и в ней уже было несколько зонтов. Я сунул два своих мокрых зонтика к остальным, плотно прикрыл дверь и поднялся к себе. Войдя, зажег свет. Окно было распахнуто. В кресле сидел начальник полиции.

— Здесь много курили, — сказал он, бросая взгляд на полную окурков пепельницу. — Пришлось открыть окно.

— Ко мне заходили Лакки и Маркиз.

— Маркиз?

¹ А я и не сообразила (франц.).

² А результат? (франц.)

– Да, один тип из Невшателя.
– Настоящее имя?
– А мне ни к чему.
– Генри Цуппей, – сказал начальник. – Ну, и когда же это они у вас были?

– С семи до девяти.
– А дождь уже шел, когда они появились? – спросил начальник.
– Они забежали как раз перед дождем, – отвечал я, – чтоб не промокнуть. А почему вы спрашиваете?

Начальник еще раз бросил взгляд на пепельницу.

– Штубер из полиции нравов видел вас, Лакки и Маркиза, когда вы в девять часов покидали свою лавочку. Куда вы потом направились?

– Я?

– Вы.

– В "Хёк". Я там выпил два виски, а Лакки и Маркиз потом перешли в "Монако".

– Это я знаю, – сказал начальник. – Я их там арестовал. Но теперь мне придется их отпустить. У них есть алиби. Они у вас курили. Два часа подряд.

Он снова перевел взгляд на пепельницу.

– Я вынужден поверить вам на слово, Шпет. Человек, озабоченный судьбами справедливости, не станет устраивать алиби двум убийцам. Это было бы слишком абсурдно.

– А кого они убили? – спросил я.

– Дафну, – ответил начальник. – Девушку, которая выдавала себя за Моника Штайерман.

Я сел за стол.

– Я знаю, вы в курсе, – продолжал начальник, – вы побывали у настоящей Моника Штайерман, которая отреклась от ложной, ну Дафне и пришлось идти на панель. Не согласовав предварительно этот вопрос ни с Лакки, ни с Цуппеем. А теперь ее нашли мертвой в "мерседесе", на стоянке у Хиршенплац. Примерно в половине девятого. Она подъехала в семь, но из машины выходить не стала. Гроза была жуткая. Ну, у Лакки и Цуппея теперь есть алиби, а плащи не промокли. Придется мне их выпустить. – Он промолчал. – На редкость красивая девушка, – сказал он потом. – Вы с ней спали?

Я не ответил.

– Впрочем, это и не важно, – сказал начальник и, раскурив неизменную свою "Байанос", закашлялся.

– Вы слишком много курите.

– Я знаю, Шпет. Мы все слишком много курим. – Он снова покосился на пепельницу. – Впрочем, я вижу, вы проявляете известное участие. Ладно, я тоже проявлю к вам известное участие: такого темного человека, как вы, мне еще в жизни встречать не доводилось. Неужели у вас нет ни одного друга?

– Не люблю заводить врагов, – отвечал я. – Вы меня допросить хотите, что ли?

– Нет-нет, всего лишь проявляю любопытство, – уклончиво отвечал начальник. – Ведь вам еще нет и тридцати?

– Я просто не отлынивал от занятий, я не мог себе это позволить.

– Вы были самым молодым из наших адвокатов, – продолжал на-

чальник. — А теперь вы вообще не адвокат.

— Да, комиссия выполнила свой долг, — подтвердил я.

— Ах, если бы я мог разгадать, что вы за человек такой, мне было бы тогда легче вас понять. Но разгадать вас я не могу. Когда я первый раз пришел к вам, на меня произвела впечатление ваша борьба за справедливость, и я сам себе показался жалким, но теперь ничто в вас не производит на меня впечатления. В алиби я, так и быть, вам еще поверю, но в то, что вас тревожат судьбы справедливости, больше не поверю.

Он встал.

— Мне вас жалко, Шпет. Я вижу, что вас запутали в нелепую историю, и если вы сами при этом становитесь нелепым, помочь тут ничем нельзя. Думаю, именно поэтому вы уже не дорожите собой. От Колера есть какие-нибудь вести?

— Да, с Ямайки, — отвечал я.

— Давно он в отъезде?

— Больше года. Почти полтора.

— Человек так и колесит по нашему шарик. Впрочем, может, он скоро вернется.

С этим начальник и ушел.

Дополнение. Спустя еще три дня. Я скрыл от начальника, что мне довелось переспать с Дафной. Впрочем, он и не требовал ответа, для него это было не так уж важно. Я долго раздумывал, писать мне об этом или не писать. Но начальник прав: все настолько лишено смысла, что бессмысленно что-либо скрывать. В реальность неотъемлемой частью входит и самое постыдное, а к самому постыдному относится роль, которую я сыграл в падении Дафны, пусть даже истинной причиной была месть со стороны настоящей Моника Штайерман. После разразившегося скандала Дафну почти целый год нигде нельзя было сыскать. Ни одна собака не знала, где она скрывается, даже Линхард и тот не знал, если верить его словам. Квартира ее на Аурораштрассе стояла пустая, но плату вносили регулярно. Кто — установить не удалось. Потом Дафна снова вынырнула. В прежнем великолепии. Как будто ничего не произошло. Хотя и с новой свитой. И с одной разницей: теперь она профессионально занималась тем, что раньше делала с расточительным великодушием. Оставленная в беде друзьями, она теперь выезжала на промысел в своем белом "мерседесе", заламывала несусветные цены и в смысле доходов снова встала на ноги. Даже за вычетом всех налогов, коммунального, государственного, оборонного, а также эмеритального¹ страхования и страхования в пользу родственников. Переспать с Дафной считалось высшим шиком. Вдаваться в эпические подробности здесь не имеет смысла. Расскажу только, что однажды она появилась и у меня, постучав в два часа ночи у дверей моей квартиры на Шпигельгассе. Я слез с дивана, на котором спал, решив, что это Лакки, зажег свет, открыл дверь, и вошла она. Войдя, оглянулась. Окно полуоткрыто. Комната выстужена (была середина февраля), на безвкусных обоях — очередные вырезки из "Беобахтера". На рабочем кресле — моя одежда, на качалке — мое пальто. Она вошла в шиншиллах — то ли люди говорили правду насчет цен, которые она заламывала, то ли настоящая Штайерман продолжала платить, — сняла с себя все как есть,

¹Страховой налог для увеличения размеров последующей пенсии.

бросила на кресло и легла на диван. А я лег к ней. Она была очень хороша, и вдобавок было холодно. Оставалась она недолго. Накинула свою шиншиллу и положила на мой стол тысячефранковую бумажку. Когда я начал возражать, она изо всех сил ударила меня правой рукой по лицу. О таких историях люди предпочитают умалчивать, вот и я никому об этом не рассказывал, а если пишу теперь, то потому лишь, что не питаю больше никаких надежд. Сегодня утром без малого в шесть ко мне появился Штубер из полиции нравов и сообщил, что Маркиза и Лакки извлекли под Цолликоном из озера (штайермановская вилла расположена неподалеку от того места, где их нашли). Когда сияющий Штубер ушел, я почувствовал себя несколько оскорбленным: он даже вопросов мне не задавал, а уж послать ко мне человека из комиссии по расследованию убийств начальник вполне мог. Лакки и Маркиз несколько затянули свой отъезд за границу. Так начался день нашего национального праздника, первое августа 1958 года, мрачно начался. Вдобавок была пятница, в этот день хоронили Дафну, судебно-медицинская экспертиза разрешила претать тело земле. В десять часов. Первого августа у нас работают, но только до обеда, в том числе и могильщики, такое маленькое государство не может размахнуться на целый нерабочий день, оно себя не переоценивает. Едва я вышел из комнаты, как громыхнул гром, да и вообще этим летом грозы стали для нас вполне обычным делом. Мой "фольксваген" был в починке (я где-то обедал в каком-то ресторанчике над каким-то озером, потом на ночь глядя отправился на своем "порше" — чтоб уж заодно сделать и это признание, господин федеральный прокурор, — и на нем вместе с Мадленой, если только это была Мадлена, свернул с дороги в какой-то бурелом. Лакки сумел уладить это дело, малышка месяца два провалялась в больнице, а я снова оказался при своем "фольксвагене". Снова оказался. Вообще-то я уже давно мог бы забрать его из ремонта, но не пользуясь больше ни малейшим кредитом у хозяина гаража. А выставленный им счет внушает мне страх). Вот как получилось, что на похороны Дафны я поехал трамваем. Почему я, однако, нажал ручку двери в помещение секты и почему, когда дверь открылась, взял один из двух зонтиков, которые сам туда поставил шесть дней назад, установить теперь не представляется возможным. Произошло это по недомыслию или из склонности к черному юмору, сказать не могу. Пока я бежал по улицам Старого города к Бельвию, используя зонтик как тросточку, небо успело совсем почернеть, хотя было всего лишь половина десятого. Кругом царило нервное возбуждение, и я бежал со всех ног, как всегда перед грозой, тем более что гроза обещала быть совершенно ужасной, в такую-то рань. Типично для Дафны, подумал я. У Бельвию я сел в трамвай. Вообще-то говоря, надо сойти с ума, чтобы при такой погоде ездить на похороны, но тем не менее я чисто механически влез в битком набитый вагон. Время от времени солнце разрывало черную стену облаков, напоминая луч прожектора, который на миг вспыхивает и снова гаснет. У Кройцплац в трамвай вошел грузный, весь в черном господин, роста, можно сказать, маленького, со сверкающей лысиной, ухоженной окладистой черной бородкой, в которой виднелись белые нити, и в золотых очках без оправы. Сперва я невольно подумал, что это Винтер, который явился как призрак, чтобы присутствовать на похоронах собственной дочери, настолько он походил на убитого, и венки при нем был, только я не смог прочесть, что написано на ленте. На кладбище собралось немало народу. Вся знать

нашего города, ибо от грустных воспоминаний ни один человек не застрахован, из новых же клиентов не явился никто. Но похороны Дафны Мюллер были не единственной причиной посетить именно в это утро наше ухоженное городское кладбище. Ибо одновременно с Дафной предавали вечности прокурора Йеммерлина. Его уход из жизни тоже сопровождался всеобщим сожалением, ведь если кто-то никогда больше не сможет злиться, его очень жалеешь. По счастью, к общей печали примешивалось известное злорадство. Ибо смерть Йеммерлина была не лишена комических черт. Йеммерлин, оказывается, был в сауне, куда ходил каждую неделю, и там, уже голый, увидел рядом голого Линхарда и не сумел пережить свое потрясение. Поэтому люди хоть и печалились, но как-то с ехидством. В совпадающих по времени похоронах есть и своя хорошая сторона. Можно одновременно участвовать в обоих. Я прикидывал, кто на какие явился: наш городской голова, прокурор Фойзер и несколько оправданных преступников, которые хотели досадить даже покойнику, — на похороны Йеммерлина; Линхард, Лойпингер, Штюсси-Лойпин — на те и другие, а вот Фридли, Людевиц, Мондшайн, скорей всего, только на похороны Дафны. И у каждого был при себе зонт. Пастор Зенн стоял у гроба Дафны, пастор Ваттенвиль — у гроба Йеммерлина. Оба — в стартовой стойке. Я ждал, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Громыхнул гром. Но ни один из пасторов почему-то не начал молитвы. Пожилой человек, которого я видел в трамвае (у гроба Дафны, кроме него, не было ни души), положил на гроб венки: "Сводной сестре Дафне от Хуго Винтера". Надо полагать, мы имели дело с учителем первой ступени Винтером. Снова рыкнул гром, на сей раз ударило очень сильно. Порыв ветра. Все превратилось в ожидание. Даже народ у соседней могилы поглядывал на нас, все чего-то ждали, а чего — я не знал, пока не понял: тощая сестра милосердия строевым шагом двигалась от кладбищенских ворот, толкая к могиле кресло-каталку, в которой сидела настоящая Моника Штайерман. Карлица ярко накрасилась, на голову она водрузила огненно-красный парик, напоминающий волосы Дафны, и от этого парика голова крохотного существа казалась еще больше, вдобавок на ней была юбка-мини, похожая на детское платьице, и нитка жемчуга, которая проходила между скрюченными ножками и свисала с кресла, а на коленях у нее лежал какой-то предмет, завернутый в черный платок. Рядом с ней шагал коренастый мужчина в темном костюме, слишком коротком и слишком тесном. Это был богатый, как Крёз, грубиян, он же национальный советник Эшисбургер. За собой Эшисбургер тащил венки. Даже городской голова, даже Фойзер, даже сами могильщики покинули могилу Йеммерлина и передислоцировались к могиле Дафны. Пастор Ваттенвиль остался один. Судя по всему, он бы не прочь последовать за остальными. Новые раскаты грома, новые порывы ветра.

— Черт возьми, — сказал кто-то рядом со мной. Это оказался начальник полиции.

Сестра подвезла Моника Штайерман к открытой могиле. Эшисбургер бросил венки на гроб. "Навеки любимой Монике от ее Моник" — было написано на ленте.

Пастор Зенн выступил вперед, вздрогнул от нового громового удара, и все присутствующие подступили поближе. Я против воли оказался позади Штайерман, между сестрой милосердия и начальником полиции, перед

начальником стоял Эшисбургер, а перед сестрой — Штюсси-Лойпин. Гроб начали опускать в могилу. Возле соседней не осталось никого, чтобы опустить в могилу гроб Йеммерлина. Пастор Ваттенвиль все еще на нас поглядывал, тогда как пастор Зенн боязливо открыл Библию, объявил ко всеобщему сведению: от Иоанна, глава 8, стих с 5 по 11, но зачитать обещанный текст ему не удалось: Моника Штайерман высоко подняла предмет, который перед тем лежал у нее на коленях, и с силой, которой никто от нее не ожидал, швырнула его в могилу Дафны, так что он грохнулся о крышку гроба и пробил ее. Это была бронзовая голова изваянной Мокком лже-Моники. Подбежал пастор Ваттенвиль, а пастор Зенн был до того смущен и растерян, что чисто автоматически сказал: "Помолимся, братие".

Но тут упали первые тяжелые капли, отдельные порывы ветра сложились в целую бурю, открылись зонтики. Поскольку я стоял позади Штайерман, я решил защитить ее от дождя и тоже раскрыл свой. То есть я нажал на какую-то кнопку возле рукоятки, но, к моему изумлению, купол взмыл кверху, поднялся высоко-высоко, покружил над печальным сборищем и, поскольку буря прекратилась так же внезапно, как и началась, большой черной птицей рухнул на гроб Дафны. Многие с трудом удерживались от смеха. Я тупо уставился на рукоятку, которая осталась у меня в руке: это был стилет. Мне почудилось, будто я стою в почетном карауле над гробом убитой с орудием убийства в руках, а пастор тем временем читал "Отче наш". Тут могильщики замахали лопатами, теперь можно было предать земле и гроб Йеммерлина. Сестра милосердия повезла Моника Штайерман к выходу, мне пришлось отойти в сторону, чтобы дать дорогу, я все еще сжимал в руках стилет, а люди тем временем закрывали свои зонты: гроза, из почтения обойдя наше кладбище стороной, обрушилась на центр города, там до вечера продолжалось откачивание воды из подвалов, зато кое-где уже хлопали петарды. Люди праздновали. На редкость могучий поток ослепительного солнечного света залил толпу, устремившуюся к воротам, и могильщиков, работающих заступами. Пастор Зенн тоже старался уйти поскорей, а пастор Ваттенвиль растерянно озирался, потому что и городской голова, и Фойзер уже ушли. Только Линхард еще стоял у могилы Йеммерлина и глядел, как гроб засыпают землей. Когда он проходил мимо меня, я увидел, что он плачет. Он потерял врага. Я снова уставился на стилет. Острие у него было темно-бурого цвета, и желобок на узком лезвии тоже.

— Ваш зонтик никуда больше не годится, — сказал начальник полиции, стоявший рядом, после чего он взял у меня из рук стилет с рукояткой от зонта и направился к выходу.

Продажа. Открытка от Колера из Хиросимы совершенно меня успокоила. Колер намерен оттуда поехать в Сингапур. Наконец-то у меня есть время рассказать самое главное, пусть даже это глупость, которую нельзя оправдать никакими финансовыми затруднениями. Я переслал все отчеты Штюсси-Лойпину, и два дня спустя он принял меня в гостиной своего дома, далеко за пределами города. Говоря "гостиная", я очень преуменьшаю, правильной было бы сказать: негостеприимная зала. Она квадратной формы, метров, по-моему, двадцать на двадцать. Три стены — из стекла, дверей нигде не видно, через одну стену открывается вид на старинный городок, который хотя и пощадила автострада, но заливает бесконечный поток машин, в сумерках они придают местности вид какой-то

призрачной жизни, цепи огней бегут по сосудам старых стен, через две других стены видны подсвеченные валуны и многотонные эрратические глыбы, скупо обработанные резцом Мокка гранитные боги, которые правили на земле до того, как ею завладели люди, которые извлекли из глубин горные цепи, разорвали на куски континенты, каменные монолиты, которые, подобно гигантским фаллосам, отбрасывали тени на пустую в те времена залу, потому что кроме концертного рояля по диагонали от него там стояли только два кресла. Рояль — почти у входа, самое неподходящее место, какое только можно себе представить, возле деревянной лестницы, ведущей на антресоли, где, по всей видимости, расположено множество не очень больших комнат, недаром же с улицы, когда я подъехал на своем "порше", дом Штюсси-Лойпина показался мне одноэтажным и, если смотреть со стороны городка, напоминал бунгало. В одном из двух кресел сидел мой бывший шеф, укрытый шлафроком, сидел неподвижно, освещенный одним лишь торшером, что стоял между креслами. Я покашлял, он не шелохнулся, я прошел по разноцветным, искусно подобранным мраморным плитам, которыми был выложен пол, а Штюсси-Лойпин так и не шелохнулся. Я сел во второе кресло и утонул в кожаном океане. На полу возле своего кресла я обнаружил в плетеной корзинке открытую бутылку красного вина, хрустальную рюмку колокольчиком и вазочку с орехами, такой же набор имелся и возле кресла, метрах в четырех от меня, где сидел Штюсси-Лойпин, с той лишь разницей, что перед тем креслом на полу стоял еще телефон. Я внимательно поглядел на Штюсси-Лойпина. Он спал, я вспомнил портрет Варлена, который раньше казался мне утрированным, лишь теперь я понял, насколько гениально художник постиг адвоката: под спутанной копной грязно-белых волос угловатый, грубо высеченный череп крестьянина, нос как узловатый овощ, глубокие складки, которые спускались к словно долотом высеченному подбородку, вызывающе непокорный и в то же время мягкий рот, я разглядывал это лицо, как разглядывают привычный и в то же время загадочный пейзаж, поскольку я мало что знал про Штюсси-Лойпина; пробыв несколько лет моим шефом, он за все это время не обменялся со мной ни единым словом не по делу; может, именно по этой причине я и ушел от него.

Я ждал. Вдруг сквозь очки без оправы на меня воззрились его удивленные детские глаза.

— Шпет, почему же вы не пьете? — спросил он вполне бодрым голосом, словно и не спал минуту назад. (А может, он и в самом деле не спал?) — Наливайте, я тоже себе налью.

Мы выпили. Он наблюдал за мной, молчал и наблюдал.

Прежде чем вести речь о затруднениях, так начал Штюсси-Лойпин, глядя прямо перед собой, а он вполне может себе представить, какого они рода, мои затруднения, впрочем, это сугубо личное замечание, имеющее касательство к сомнениям, которые мной сейчас овладели и из-за которых я к нему притопал, ах ты, пардон, не притопал, а подъехал, на "порше", фу-ты ну-ты, до чего благородно.

Он хохотнул про себя, судя по всему, его что-то немисливо забавляло, еще выпил и спросил, рассказывал ли он мне когда-нибудь историю своей жизни. Нет? Оно и понятно. Ну, хорошо. Итак, он сын шахтера, и его семейство взяло фамилию Штюсси-Лойпин только затем, чтобы их не путали со Штюсси-Бирлинами, с которыми его семейство испокон веку враждовало из-за картофельного поля, а поле это лежало на такой крутиз-

не, что его каждый год насыпали заново, для чего приходилось таскать землю на собственном горбу, причем иногда по нескольку раз, а урожай с этого поля в лучшем случае позволял нажарить три-четыре сковороды картошки, но тем не менее из-за этого поля судились, дрались и убивали. И продолжают по сей день. Короче говоря, закончив университет, он вернулся адвокатом в родную деревню, в деревню Штюсси, ведь там не только Штюсси-Лойпины враждуют со Штюсси-Бирлинами, но и Штюсси-Моози со Штюсси-Зюттерлинами и вообще все Штюсси вдоль и поперек, но так обстояло дело только в самом начале, когда деревня была, так сказать, основана, если, конечно, допустить, что она вообще была когда-нибудь основана, сегодня же каждое семейство Штюсси просто-напросто враждует со всеми остальными. И в этом горном гнезде, слушайте, Шпет, в этом сплетении из семейных раздоров, убийств, кровосмешения, клятвопреступничества, воровства, утайки и клеветы он, Штюсси-Лойпин, провел свои годы ученья как адвокат по крестьянским делам, как ходатай, по выражению деревенских, но не затем, однако, чтобы ввести в этой долине правосудие, а затем, чтобы не подпускать его и на пушечный выстрел; ведь и крестьянин, который сделал вид, будто его старуха погибла от несчастного случая, и который сразу же женился на своей батрачке, или крестьянка, которая вышла замуж за батрака после того, как с помощью мышьяка спровадила на кладбище своего благоверного, у себя в усадьбе принесут все-таки больше пользы, чем за решеткой. Пустые тюрьмы обходятся государству дешевле, чем полные, зато пустые дворы и поля зарастают сорняками и почва сползает в долину.

Он снова хохотнул.

— Господи, ну и были же времена, — удивленно произнес он. — Какая меня тогда муха укусила, не знаю, но я женился на урожденной "фон", на фон Мельхиор, переехал в наш город и сделался преуспевающим адвокатом. А как на дворе?

— Фён. Для декабря слишком тепло. Как весной, — ответил я.

— Может, выйдем?

— С удовольствием.

— Выйдем — это не совсем точное слово, — сказал он и нажал какую-то кнопку в подлокотнике своего кресла, после чего необозримые стеклянные стены ушли в землю, а прожектора за валунами погасли. Теперь мы сидели под свободно парящим бетонным потолком, словно на улице, освещенные лишь светом торшера. — Расточительная конструкция, — заметил Штюсси-Лойпин, все так же глядя перед собой. Порой он видится себе фюрером в рейхсканцелярии. — Но чего вы хотите, Шпет, суперадвокату должен быть по карману Ван дер Хойсен, хотя по доброй воле я предпочел бы Фридли. Судьба тех, кто вошел в моду.

А теперь вот он сидит здесь один-одинешенек. Когда-то он задавал в этом зале пиры, один за другим, но люди из городка подали жалобу, Фюдлибургер тоже, пока... впрочем, это уже к делу не относится. Мебель после этого он всю сплавил, сплошь современные штучки.

Потом, наливая себе вина, он сказал:

— А теперь, Шпет, перейдем к делу.

Я рассказал о поручении, данном мне доктором h.c. Исааком Колером.

Штюсси-Лойпин не дал мне договорить, сказал, что он в курсе, выпил, добавил, что и супруги Кнульпе тоже у него побывали. А насчет задания,

полученного мною, его проинформировала Элен, дочь Колера, кроме того, он проштудировал материалы Линхарда и иже с ним.

Я рассказал о своих соображениях относительно мотивов Колера, о подозрении Элен, что Колера принудили совершить убийство, поведал также о своей встрече с Дафной, о своем визите к настоящей Монике Штайерман и, наконец, о внезапном появлении Бенно в моем бюро.

— У вас в руках редкостный шанс, молодой человек! — воскликнул Штюсси-Лойпин, еще раз подливая себе вина.

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать, — неуверенно пробормотал я.

— Еще как понимаете, — парировал он. — Иначе вы не пришли бы ко мне. Давайте на пробу примем участие в игре Колера. Если допустить, что убийца не он, нет ничего проще, чем найти другого убийцу. Им может быть только Бенно. Вот на него и напал колотун. Он промотал более двадцати миллионов с благословения лже-Моники, Винтер поставил в известность настоящую Моника, помолвка рухнула, Бенно, следовательно, разорен и пускает пулю в сидящего за столиком Винтера. Voilà! Такова версия, необходимая вашему работодателю и тем самым необходимая вам.

Штюсси-Лойпин посмотрел свою рюмку на свет. Со стороны городка к нам донесся рев клаксонов, он продолжался несколько минут: если судить по неподвижным огням фар, две встречные автоколонны въехали одна в другую.

Штюсси-Лойпин засмеялся.

— Это надо же, чтобы именно такому желторотику прямо в руки приплыл интереснейший пересмотр дела из всех, какие знавало наше столетие.

— Мне никто не поручал пересмотр, — сказал я.

— Но поручение, которое вы приняли, неизбежно ведет к пересмотру дела.

— Это Колер убил Винтера, — твердо сказал я.

Штюсси-Лойпин откровенно удивился.

— Ну и что? — спросил он. — Вы это своими глазами видели?

В глубине помещения спустилась по деревянной лестнице какая-то черная фигура. Появившийся захромал в нашу сторону. И когда он подошел ближе, я увидел, что это священник с маленькой черной сумочкой. Он остановился, не дойдя до Штюсси-Лойпина примерно три метра, покашлял, стеклянные стены тотчас заняли прежнее место, прожектора вспыхнули, и гранитные боги бросили свои тени в снова закрытое со всех сторон помещение. Священник был очень старый, чуть кривобокий, морщинистый, и одна нога у него была короче другой.

— Ваша жена получила последнее помазание, — сказал он.

— Порядок, — сказал Штюсси-Лойпин.

— А я буду молиться, — заверил его священник.

— За кого? — спросил Штюсси-Лойпин.

— За вашу жену, — уточнил священник.

— Такая у вас профессия, — равнодушно подытожил Штюсси-Лойпин и даже не повернул голову, когда священник, что-то пробормотав, захромал к выходу, где домоправительница, та самая, что впустила меня, распахнула перед ним дверь.

— У меня жена умирает, — вскользь заметил Штюсси-Лойпин и осушил свою рюмку.

— Но если так... — пролепетал я, вставая с кресла.

— Господи, Шпет, до чего же вы церемонная личность, — сказал Штюсси-Лойпин. — Сядьте как сидели.

Я сел, он снова наполнил свою рюмку. Стены ушли в землю, прожектора погасли, мы снова оказались в саду.

Штюсси-Лойпин неподвижно смотрел перед собой.

— У моей жены хватает душевного величия, чтобы избавить меня от мучительной обязанности сидеть у ее смертного одра, — сказал он равнодушно, — вдобавок у нее побывал священник, а сейчас там врач и сестра. Моя жена, да будет вам известно, Шпет, не просто до чертиков жизнелюбива, до чертиков богата и до чертиков набожна, она к тому же еще была до чертиков красива. Смешно звучит, верно? всю жизнь она меня обманывала. Врач, который сейчас у нее сидит, был ее последним любовником. Впрочем, я ее понимаю. Такой мужчина, как я, для женщины все равно что отравя.

Он снова хохотнул про себя и без перехода сменил тему.

И сообщил мне, что я дурак, раз считаю доктора Исаака Колера виновным. Вообще-то говоря, он, Штюсси-Лойпин, тоже так считает. Правда, показания свидетелей противоречивы, правда, орудие убийства так и не было найдено, правда, и мотива тоже нет, но все равно мы признали его виновным. А почему мы признали его виновным? Да потому, что убийство было совершено в переполненном ресторане. И присутствующие это как-то заметили, даже если их показания противоречат одно другому. И так, мы хоть и знаем не наверняка, но мы наверняка в этом убеждены. Что поразило его уже в ходе судебного разбирательства. Ни револьвером никто не интересовался, ни свидетелей не допрашивали, и судья вполне удовольствовался показаниями начальника полиции, который хотя и сидел поблизости в момент убийства, но ни словом не обмолвился, своими глазами он видел убийство или полагается на свидетелей, вдобавок защитник был пустое место. Йеммерлин же, напротив, в отличной форме. Нам стоило немалых трудов уравнивать наше знание вины Колера с нашей убежденностью. Наше знание ковыляет вслед за ней — да искусный защитник уже из этого противоречия соорудил бы оправдательный приговор. Но мы должны были предоставить нашему доброму Йеммерлину возможность докопаться до причин. Колер дал выгодное поручение мне, так как я ничего не смыслю в бильярде. Отсюда я сделал вывод — Штюсси-Лойпин явно внимательно меня выслушал, — что Колер стрелял, чтобы наблюдать, убил, чтобы исследовать законы общества, а мотив не привел лишь постольку, поскольку суд все равно бы в такой мотив не поверил. Дорогой друг, он, Штюсси-Лойпин, может сказать по этому поводу лишь одно: мотив получился чересчур литературный, их выдумывают только писатели, хотя и он тоже убежден: у человека, подобного Колеру, и мотив должен быть какой-нибудь необычный. Необычный-то необычный, но какой именно?

Штюсси-Лойпин задумался.

— Вы сделали ошибочный вывод, — сказал он, — потому что ничего не смыслите в бильярде. Колер играл от борта дуплетом.

— Да-да, от борта, — вдруг осенило меня. — Колер однажды именно это сказал. За бильярдом в "Театральном". "От борта дуплетом. Вот как можно расправиться с Бенно".

— А как он после этого сыграл? — поинтересовался Штюсси-Лойпин.

— Толком не знаю, — я пытался вспомнить. — Он, кажется, направил шар в борт, от борта шар отскочил назад и толкнул шар Бенно.

Штюсси-Лойпин налил себе вина.

— Колер убил Винтера, чтобы таким путем разделаться с Бенно.

— Но зачем? — растерянно спросил я.

— Ну, Шпет, вы еще наивней, чем я предполагал, — не скрыл своего удивления Штюсси-Лойпин. — А ведь, казалось бы, госпожа Штайерман подбросила вам ключ к решению. Колер ведет ее дела. Даже из тюрьмы. Он там не только плетет корзины. Штайерман нужен Колеру, а Колеру нужна Штайерман. Людевиц — подставная фигура. Но кто здесь хозяин и кто — слуга? В каком-то смысле дочь Колера права. Это было убийство из любезности. Почему бы и нет? Тоже своего рода шантаж. У Штайерман лежат несчетные миллионы, и те двадцать миллионов тоже ей принадлежали, тут уж, надо полагать, Колер навел справки, а потому и расправился с Бенно через Винтера. По желанию Штайерман; возможно, ей даже не пришло в голову высказывать свое желание вслух, возможно, он угадал его.

— Допущение еще более безумное, чем правда, — сказал я. — Штайерман любила Бенно, потому что его любила Дафна, и отеклась от него лишь тогда, когда Дафна отеклась от нее.

— Нет, допущение более реальное, чем правда. Сама же правда по большей части неправдоподобна, — возразил Штюсси-Лойпин.

— Ни один человек не поверит в ваше допущение, — сказал я.

— Нет, ни один человек не поверит в правду, ни один судья, ни один присяжный, даже Йеммерлин и тот нет. Ибо правда, она разыгрывается на уровнях, недоступных правосудию. Если назначат пересмотр дела, то единственная мысль, которая возникнет у суда, будет следующая: Винтера убил доктор Бенно. Поскольку лишь у него есть конкретный мотив. Даже если на деле он невиновен.

— Даже если на деле он невиновен?

— А вас это смущает? Ведь его невиновность — это тоже допущение. И он единственный, кто мог сделать так, чтоб револьвер исчез. Друг мой, возьмите этот процесс на себя, и через несколько лет вы станете ровень со мной.

Зазвонил телефон. Он снял трубку, потом снова положил.

— Моя жена скончалась, — сказал он.

— Примите мои соболезнования, — пролепетал я.

— А, не о чем говорить.

Он хотел снова налить себе, но бутылка оказалась пуста. Я встал, налил ему и поставил свою бутылку рядом с пустой.

— Мне еще ехать, — сказал я.

— Понимаю, — отвечал он. — К тому же "порше" влетел вам в копеечку.

Садиться я больше не стал.

— Господин Штюсси-Лойпин, я не собираюсь вести этот процесс, и с поручением Колера я тоже не желаю больше иметь ничего общего. А собранные материалы я просто уничтожу.

Он посмотрел свою рюмку на свет.

— Вы сколько получили задатку?

— Пятнадцать тысяч плюс десять на издержки.

По лестнице спустился человек с чемоданчиком, явно врач, он помешкал, соображая, подходить ему к нам или нет, но тут явилась домопра-

вительница и проводила его.

— Вам нелегко будет выплатить этот долг даже в рассрочку, — предположил Штюсси-Лойпин. — А всего сколько?

— Тридцать тысяч плюс накладные расходы.

— Предлагаю сорок, и вы отдаете мне все материалы.

Я замаялся.

— Вы что, хотите взяться за пересмотр?

Он по-прежнему рассматривал на свет свою рюмку с красным "тальбо".

— Мое дело. Ну как, продаете?

— Наверно, должен продать, — ответил я.

Он допил свою рюмку.

— Ничего вы не должны, вы хотите.

Затем он снова наполнил рюмку и снова посмотрел ее на свет.

— Штюсси-Лойпин, — сказал я, чувствуя, что уже становлюсь вровень с ним. — Штюсси-Лойпин, если процесс состоится, я буду защитником Бенно.

И я ушел. Когда я вступил в тень одного из валунов, Штюсси-Лойпин крикнул мне вслед:

— Вас при этом не было, Шпет, зарубите это себе на носу, вас не было, и меня тоже.

Затем он допил свою рюмку и снова погрузился в сон.

...Доктор h.c. Исаак Колер телеграммой известил меня о своем прибытии: он должен совершить посадку послезавтра в 22 часа 15 минут рейсом из Сингапура, тогда я застрелю его, а потом застрелюсь сам. Поэтому у меня остается всего две ночи, чтобы довести свой отчет до конца. Телеграмма Колера застала меня врасплох, потому, должно быть, что я уже не верил в его возвращение. Признаюсь честно, я пьян. Я был в "Хёке", последнее время я регулярно бываю в "Хёке", за одним из длинных деревянных столов, рядом с такими же пьяными. Живу на средства Гизелы и других барышень, которые после смерти Маркиза перебрались к нам, не из Невшателя, а из Женевы иерна, тогда как многие из наших в свою очередь перебрались в Женеву и Берн, происходит множество служебных перемещений, которые лично меня никак не касаются, потому что официально я не имею права ничем заниматься, а неофициально мне и нечем заниматься, кроме как ждать, когда наступит послезавтра. 22 часа 15 минут. Место Лакки занял Нольди Орхидейный, он вроде бы уроженец Золотурна, карьеру сделал во Франкфурте и весь из себя такой изысканный, его барышни все теперь ходят с орхидеями, а полиция рвет и мечет, ведь нельзя же запретить ношение орхидей, некая дама-юрист из Базеля, которая около часу ночи в районе Бельвю шла по улице с орхидеей на блузке — она возвращалась с теледискуссии об избирательном праве для женщин, — была задержана, документов у нее при себе не оказалось, скандал разразился страшный, полиция и начальник полиции — последний из-за неуклюжего официального опровержения — выставили себя на всеобщее посмешище. Нольди Орхидейный получил неограниченную власть, завел себе адвоката Вихертена, одного из весьма почтенных наших адвокатов, который из чисто социальных соображений намерен выступить в защиту этих дам, ибо они, коль на то пошло, исправно платят налоги; он даже поднял вопрос о создании салонов массажа. Лично мне Нольди Орхидейный дал понять, что я "со своим образом жизни"

неприемлем более в их деле, однако не допустит моего окончательного падения, это его долг перед покойным Лакки, что он уже побеседовал со своим персоналом — собственные слова Нольди — и что мне дозволено дальнейшее пребывание в "Хёке"; начальник полиции с тех пор тоже ни разу не докучал мне своим вниманием, судя по всему, никого уже не интересует, как погибли Лакки и Маркиз, да и нераскрытое убийство Дафны предано забвению. Таким образом, меня хоть и не содержат, но все-таки поддерживают. Если в "Хёке" гости просят у меня адресочки, которые я даю, не требуя оплаты, и тогда гости — по большей части господа в летах — платят за мое виски, это выглядит вполне благородно, ну и естественно. Вот чем я могу обосновать свое подпитие, скверный почерк и торопливость, ибо, признаюсь честно, получив телеграмму Колера, я для начала ударился в запой, потом кое-как добрался до Шпигельгассе, а вот теперь, двадцать часов спустя, сижу за своим письменным столом. По счастью, у меня при себе оказалась бутылка "Джонни Уокера", к моему, я бы сказал, великому удивлению, хотя нет, теперь я припоминаю зубного врача из Туна, который отыскал меня в "Хёке" и которого я в "Монако" познакомил с Гизелой, да, получается, я пришел не из "Хёка", как, возможно, утверждал ранее, а из "Монако" — поспешность, которая необходима при моих записях, не дает мне ни перечитать написанное, ни замалчивать те либо иные обстоятельства. Итак, свой пузырек я честно заработал, на Гизелу зубной врач не произвел впечатления, напротив, он внушил ей ужас, за "Вдовой Клико" — это была вторая бутылка — он вынул изо рта свои челюсти, сперва верхнюю, потом нижнюю, обе собственного изготовления, возле зуба мудрости, что слева, наверху, он продемонстрировал нам свои инициалы Ц. В., потом взял челюсти в руку, постучал ими и попробовал укусить Гизелу в грудь. У Хиндельмана за соседним столиком слезы от смеха закапали на живот, особенно когда дантист уронил челюсти, которые упали под стол, и не только под наш, но и под стол Хиндельмана, а тот сидел с Мерилин, новенькой из Ольтена, откуда, кстати, и сам Нольди Орхидейный, хотя нет, он из Золотурна, — или все-таки из Ольтена? — после чего дантист полез на четвереньках за своими челюстями, которые мало того, что никто не желал поднимать, но даже наоборот, все заталкивали башмаками под соседний стол. Наконец Гизела все-таки сменила гнев на милость, а мы так долго смеялись, что уже стемнело, и я получил свою бутылку "Джонни". А дурацкое ржание Хиндельмана разозлило меня потому, что в процессе Колера он оказался никудышным представителем обвинения. Это был процесс, я не оговорился, не пересмотр, а рассмотрение. Все предполагали, что Штюсси-Лойпин ведет дело к пересмотру, но он поразил всех, подав апелляцию в департамент юстиции. Доктор h.c. Исаак Колер ни разу не делал признания, что застрелил германиста, профессора Адольфа Винтера, в ресторане "Театральный". Одних свидетельских показаний недостаточно, если сам преступник оспаривает факт преступления, в конце концов, свидетели могут и заблуждаться. По этой причине дело Колера подлежит не юрисдикции кантонального суда, а суду присяжных. И следовательно, надо предпринять все допустимое с точки зрения правосудия и закона, дабы аннулировать старый приговор и передать дело Колера суду присяжных, как и положено. Эта апелляция Штюсси-Лойпина, вызвавшая судебное перетряхивание актов и протоколов, каковое (перетряхивание), к великому ужасу главы нашей юстиции Моисея Шпрюнглина, подтвер-

дило отсутствие признания со стороны обвиняемого, ибо за признание были ошибочно приняты философские выверты Колера, имела результатом, что глава нашей юстиции досрочно спровадил на пенсию председателямывавшего тогда судью кантонального суда Егерленера, а четырем членам судейской коллегии, равно как и прокурору Йеммерлину, вынес порицание, дело же Колера передал суду присяжных — с точки зрения юридической акция несколько поспешная. Яростная атака Йеммерлина ни к чему не привела, протест, внесенный в федеральный суд, был с такой же, можно сказать сенсационной, быстротой отвергнут — явление поистине уникальное для властей, из-за вечной перегрузки работающих обычно со скоростью улитки; словом, новый процесс состоялся уже в апреле 1957 года. Йеммерлин не сдавался, он хотел и здесь выступить в качестве обвинителя, но Штюсси-Лойпин отвел его кандидатуру как лица пристрастного. Йеммерлин сражался как лев и уступил, лишь когда прослышал, что Штюсси-Лойпин намерен привлечь Линхарда в качестве свидетеля. А со Штюсси-Лойпином не совладал бы и Фойзер, причем я только сейчас спохватился, что до сих пор ничего не рассказал о самом процессе, не рассказал, к примеру, о неприглядной роли, которую сыграл на нем начальник полиции, показав, что не видел своими глазами, как стрелял Колер, а просто предположил это. Словом, Штюсси-Лойпин ухитрился нажать на все клавиши сразу. Спору нет, он был великолепен. Приглашенные Штюсси-Лойпином свидетели до такой степени противоречили один другому, что присяжные временами с трудом подавляли смех, а публика просто визжала от восторга; то обстоятельство, что револьвер так и не был найден, Штюсси-Лойпин разыграл словно по нотам, и если прежними судьями оно было оставлено без внимания, иными словами, оставлено без внимания отсутствие *corpus delicti*¹, это уже само по себе является вполне уважительной причиной, чтобы оправдать Колера за недостатком улик. Постепенно Штюсси-Лойпин стал направлять подозрение на Бенно: и к моменту убийства Бенно находился в "Театральном", и как-никак он чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета, и вдобавок владелец коллекции оружия, которую (если верить Линхарду) намерен продать из-за финансовых затруднений — тут по залу прошел шепоток, — далее Штюсси-Лойпин позволил себе кой-какие намеки относительно размолвки между доктором Бенно и профессором Винтером, из-за чего возникла необходимость допросить Бенно, все с нетерпением ожидали допроса, но Бенно не явился в суд. Я и сам разыскивал его уже много дней. Я принял твердое решение взять на себя защиту Бенно, о чем уже ранее уведомил Штюсси-Лойпина, для защиты мне надо было сперва получить от Бенно кой-какую информацию, чтобы далее расследовать преступление Колера, но даже в баре "Утоли моя печали" про Бенно никто ничего не знал. Фойхтинг предполагал, что Бенно скрывается у Дафны. Дафна — добрая душа и не оставляет в беде бывших любовников, некий Эмиль Э., коммивояжер фирмы дезодорантов, который недавно оставил у нее на Аурораштрассе свой месячный доход, сказал, что у него создалось впечатление, будто в квартире у Дафны есть кто-то еще. Найти Бенно не удавалось. Все думали, он сбежал. Подняли на ноги всю полицию, подключили Интерпол, происходило примерно то же самое, что и при аресте Исаака Колера. Затруднения возникли с Дафной, она потребовала, чтобы ей предъявили ордер

¹Состав преступления (*лат.*).

прокурора на проведение обыска в ее квартире; когда же Ильза Фройте на следующее утро переступила порог моего бюро на Цельтвеге, она увидела, что лихой рапирист и меткий стрелок свисает с люстры и при этом покачивается на сквозняке, возникшем оттого, что окна и так уже были открыты, а Ильза, входя, естественно, открыла дверь. У Бенно сохранился ключ от его бывшего бюро, он влез на мой письменный стол, который когда-то был его столом, а тем временем я с Дафной... чтобы хоть таким способом отыскать Бенно... от меня еще много дней спустя разило всевозможными эссенциями вышеупомянутого Эмиля Э. ... Должно быть, именно поэтому я с такой неохотой пишу о процессе: на суде непременно зашла бы речь о моих новых отношениях с Дафной, причем зашла бы в присутствии Элен, надумай Штюсси-Лойпину допросить Дафну, а он непременно бы надумал, не опереди его Бенно своим самоубийством, которое точно было истолковано как признание вины. Доктор h.c. Исаак Колер был с триумфом оправдан. Покидая зал, он задержался возле меня, поглядел холодными, бесстрастными глазами и сказал, что разыгравшееся здесь действие есть самое постыдное из всех возможных вариантов решения проблемы, что мои финансовые затруднения – господи ты боже мой – совершенно понятны, и почему вместо того, чтобы прийти к нему, я передал результаты своих изысканий Штюсси-Лойпину, который и устроил этот постыдный балаган правосудия, оправдательный приговор, тьфу и еще раз тьфу, какой позор для человека – выглядеть невинной овечкой, да и где они есть, эти невинные овечки; а потом он добавил фразу, которая окончательно довела меня до белого каления и подтвердила, что убить Колера – это мой долг, поскольку должен же кто-то восстановить попорченную справедливость, чтобы она окончательно не выродилась в фарс. А сказал Колер следующее: если бы я передал материалы расследования ему, вместо того чтобы продавать их Штюсси-Лойпину, Бенно и безо всякого суда болтался бы на люстре; с этими словами Колер толкнул меня, словно какого-то бродяжку, я отлетел на Мокка, который стоял позади меня, укладывая в карман свой слуховой аппарат, а когда я толкнул его, сказал: "Да-да, как же, как же". Итак, Колер покинул здание суда. Банкет победителей в Доме гильдий, "У стрекозы". Гост президента, выдержанный в гексаметрах, оттуда Колер – прямоиком в Австралию, а я со своим револьвером опаздываю к отлету. Эта история уже известна. С тех пор миновало полтора года, снова настала осень. Всегда осень. Господи, а я опять пьян, боюсь, что мой почерк станет совсем уж неразборчивым, а время одиннадцать часов – осталось еще 35 часов и 15 минут, – если пить дальше, произойдет катастрофа. Ужасно, если Элен до сих пор меня любит, для меня это было бы равносильно смертному приговору. Могу только заверить, что я ее любил, а может, люблю до сих пор, хотя она спит с этим старым огрызком Штюсси-Лойпином, а на днях я встретил ее с Фридли, он обхватил правой рукой плечи Элен, словно давно уже считает ее своей собственностью; впрочем, все это не играет роли. Писать про нашу любовь не имеет смысла, как не имеет смысла передавать мой предшествующий разговор с проповедником секты Бергером на лестнице – предшествующий, я ведь еще раз наведалься в "Хёк", но неудачно, с виски вышла осечка, завсегдагаи смотрели футбол и были в плохом настроении, потому что швейцарцы играли из рук вон, а у типов, которые обычно спрашивают адреса, настроение было и того хуже. "Монако" был закрыт. Я вышел вообще без денег, я оставил дома коше-

лек, мне позарез нужно было виски, я побрел в "Театральный", тоже никого, Альфредо, если, конечно, это был Альфредо, как-то странно на меня посмотрел, Элла и Клара решительно вышли откуда-то из глубины зала, кто-то произнес мое имя, Штюсси-Лойпин сидел за столом, где во времена оны сиживал Джеймс Джойс, и мановением руки пригласил меня сесть к нему. Элла и Клара надулись, но Штюсси-Лойпин — он и есть Штюсси-Лойпин. Он сказал, чтоб я не бегал с расстегнутой ширинкой, а когда я принял приглашение, сказал еще, что я пошел вразнос, и подлил вишневики в свой кофе. А мне нужна бутылка виски, невольно отвечал я, состояние у меня было безнадежное, я понял, что без виски не могу жить, меня охватил панический страх, а вдруг я не разживусь виски, все во мне противилось мысли выпить вместо виски что-нибудь другое, вино, или, скажем, пиво, или водку, а то и вовсе прокисший сидр, который лакают клошары (отчего у них хоть и развивается цирроз печени, но зато не бывает ревматизма), остатки человеческого достоинства во мне требовали виски, только виски, во имя справедливости, которая меня доконает, но тут Элла уже поставила передо мной стакан. Долине Штюсси снова нужен адвокат, холодно начал Штюсси-Лойпин, его преемника, ходатая Штюсси-Зюттерлина, подстрелили на охоте, кто-то принял его за серну, то ли Штюсси-Бирлин, то ли Штюсси-Фойзи, но исключено, впрочем, что это был Штюсси-Моози, следователь в Флэтигене положил дело в архив, отчаявшись его раскрыть, вот подходящее для меня место, деревня впервые получила бы в ходатаи одного не Штюсси, ну а там можно как-нибудь устроить, чтобы я снова вернул себе свой патент. И это он предлагает именно мне, сказал я, залпом выпив свой стакан; именно вам, отвечал он, знаете, Шпет, продолжал он, настало время, чтобы вы из всего делали выводы. И если он, Штюсси-Лойпин, питает неумную страсть вызволить даже виновных из пасти нашей юстиции, коль скоро у них есть хоть малейший шанс избежать этой пасти — чтоб уж оставаться в рамках заданного образа, — то отнюдь не с целью поглумиться над правосудием. Адвокат — это адвокат, а не судья, верует он в справедливость и в закон, основанный на идее справедливости, или не верует — его личное дело, в конце концов, это вообще чистая метафизика, как, например, вопрос о сути числа, но, будучи адвокатом, он обязан разобраться, как должно правосудие воспринимать попавшего в ее лапы субъекта — как виновного или как невиновного, независимо от того, виновен он или невиновен на самом деле. Элен рассказала ему о моем подозрении, но мое расследование не было доведено до конца. Элен хоть и была тогда стюардессой — госпожи, в те времена люди еще воображали, будто это бог весть какая соблазнительная профессия, — но не в том самолете, которым английский министр возвращался к себе на остров. А возвращался он на английском военном самолете, которые навряд ли обслуживаются стюардессами компании "Свиссэр". Почему Элен так гуманно ответила тогда на мой вопрос, понять немудрено, она не сразу уловила смысл моего вопроса, а что до слов, которые сказал мне Колер и которые передал ему, Штюсси-Лойпину, Мокк, то лично он их разгадать не может. Колер ведь сам хотел нового разбирательства; если же он не желает выглядеть невинной овечкой, ему бы надо признать, что он прихлопнул старого члена ПЕН-клуба, и объяснить, черт подери, куда он после этого задевал револьвер. У него, у Штюсси-Лойпина, пренеприятное чувство; вызволить старика из когтей правосудия был его юридический долг, теперь, однако, ему сдается,

что он выпустил на свободу хищного зверя, одиночку, шатуна, которые всего опаснее, за поведением Колера скрывается мотив, но обнародовать его Колер не желает, поначалу он, Штюсси-Лойпин, полагал, будто Штайрман использует Колера для своих целей, теперь же ему кажется, что это Колер ее использует. Винтер, Бенно, Дафна, два сутенера — не слишком ли много покойников, — а в один прекрасный день, если я не уймуся, меня тоже выудят из Зиля. Да, после этой речи я получил бутылку, а уж как я добрался до Шпигельгассе, сказать не могу; откуда Штюсси-Лойпин почевал меня своими соображениями, Элла принесла мне еще один стаканчик виски — чудо, что я вообще оказался в состоянии изложить свой разговор с ним, а сейчас половина второго ночи; должно быть, я ненадолго вздремнул, остается немногим более двадцати часов — нет, девятнадцать, я ошибся, сейчас половина третьего, — и тогда Колер, доктор h.c. Исаак Колер... А разговор с Симоном Бергером, вероятно, произошел на лестнице, когда я с бутылкой виски вернулся на Шпигельгассе. Прошло, по-моему, несколько недель с тех пор, как замолкли псалмы "Святых Ютли", они просто вдруг перестали драть глотки — Штубер из полиции нравов как раз сидел у меня и весьма недвусмысленно намекал, что начальство по-прежнему подозревает наличие связи между мной и организованной проституцией, как вдруг резко, на полуслове оборвался псалом: "О Христос, твои терзанья..." — за этим последовали крики, вопли, протесты, рыдания, шум, какого там отродясь не бывало, и топот множества ног вниз по лестнице, далее — мертвая тишина, и Штубер продолжал выкладывать свои подозрения. Вот почему мне следовало бы удивиться, когда я обнаружил этажом ниже, перед дверями молитвенного помещения, их проповедника. Он стоял неподвижно, прислонясь к дверям. Я хотел пройти мимо, но он рухнул на меня и упал бы, не подхвати я его. Отталкивая Бергера, я увидел, что у него обожжено лицо и нет глаз. Я в ужасе хотел продолжать свой путь вверх по лестнице, к себе, но Бергер не отпускал, он вцепился в меня и кричал, что глядел на солнце, дабы увидеть там бога, а увидев бога, прозрел. Прежде он был слеп, теперь он зрячий, зрячий, и под этот крик он дернул меня так, что оба мы упали на ступеньки, ведущие ко мне. Уж и не помню, что он мне тогда наговорил, я был слишком пьян, чтобы понимать, может, это был полный бред, что он талдычил о внутренности солнца, о полной темноте, которая там царит и неразрывно слита с сокрытостью бога, но постичь это можно, лишь позволив солнцу выжечь твои глаза, да, лишь тогда можно воспринять, как бог, словно лишенная размеров точка абсолютной тьмы, уходит в глубь солнца, с неутолимой жадной впитывает солнце в себя, заглатывает, не становясь от этого больше, словно он бездонная дыра, бездна бездн, и по мере того, как солнце пустеет внутрь, к центру, оно расширяется наружу, покамест еще ничего не заметно, но завтра, примерно в половине одиннадцатого вечера, настанет великий срок, солнце, сохранившись лишь в виде света, вспыхнет, разрастется со скоростью света и все сожжет, земля от этого непомерного сияния изойдет паром — примерно так он говорил, как пьяный пьяному, я и был тогда пьян и таким остался, только еще пьяней, почему и не могу понять, чего ради я пишу здесь об этом проповеднике, который предстал в покрывале перед своей общиной, возвестил им скорый конец света и потребовал, чтобы его приверженцы позволили солнцу выжечь себе глаза, как позволил он, затем он сорвал с головы покрывало, крики, протесты, рыдания, небывалый шум, который

мне тогда довелось услышать, и топчущая вниз по лестнице община — вот каков был ответ на его слова. Я перечитал написанное. Осталось часа три до того, как мне ехать в аэропорт. Начальник уже побывал у меня с утра пораньше, примерно в половине восьмого, а может, еще и половины не было, он сидел перед своим диваном, я очень удивился, когда, проснувшись, увидел его перед собой, правильнее сказать, я заметил его, лишь когда меня вырвало и я вернулся из уборной и хотел снова лечь. Начальник спросил, не сварить ли кофе, и, не дождавшись моего ответа, прошел в кухонную нишу, а я снова уснул. Когда же я проснулся, кофе был уже готов, и мы в молчании выпили его. После чего начальник спросил, известно ли мне, что я — каждый десятый; на мой же вопрос, как понимать этот странный вопрос, ответил, что оставляет на свободе каждого десятого и я — в их числе. Не то он был бы просто обязан арестовать меня прямо у гроба Дафны; подобно мне, он был адвокатом, подобно мне — невезучим, лишь изредка его назначали официальным защитником, вот он и приземлился в полиции — друзья по партии, которые бы в жизни не подумали к нему обратиться, возникни у них личная потребность в адвокате, сосватали его как социалиста юрисконсультантом в уголовный отдел городской полиции, если же он потом продвинулся вверх, а под конец даже стал начальником, это отнюдь не результат каких-то там выдающихся заслуг, а политических интриг, они вознесли его на своей волне, причем точно так же обстоит дело и на других уровнях юридического аппарата, он отнюдь не намекает на коррупцию, но притязания юстиции представлять собой нечто вполне объективное, некий стерильный инструмент, свободный от каких бы то ни было общественных соображений и предрассудков, настолько не соответствуют истинному положению дел, что он и случай с Колером воспринимает далеко не так трагически, как воспринимаю его я; спору нет, я совершил ошибку, сперва приняв поручение Колера, а затем передав Штюсси-Лойпину материалы, с помощью которых Штюсси-Лойпин сумел загнать Бенно на люстру и выиграть процесс, но независимо от того, виноват Колер или не виноват — а ведь всем и каждому известно, что именно господин кантональный советник пристрелил господина университетского профессора, он, начальник полиции, тоже в этом уверен, — но вот как он поглядит на меня, как подумает, куда меня завело мое бурное возмущение оправдательным приговором, хоть и уникальным с юридической точки зрения, однако безупречным и потому вполне понятным — пусть даже справедливости был здесь объявлен шах и мат, — то и увидит, что, если я и впредь намерен упражняться в справедливости, у меня не остается иного выхода, кроме как приговорить Колера, а заодно и себя самого к смертной казни и привести приговор в исполнение, достать револьвер, который я припрятал под диваном, да и переправить сперва Колера, а потом и себя на тот свет, хотя лично он, начальник полиции, считает это пусть и логичным, но лишенным всякого смысла, ибо перед лицом справедливости, взятой в ее абсолютном значении, как идея, каковой, собственно, она и является, я выгляжу ничуть не лучше Колера, достаточно хотя бы вспомнить роль, которую я сыграл в судьбе Дафны. Перед лицом справедливости оба мы — одинаковые убийцы, что Колер, что я. А вот судья, тот отправляет вполне нормальные обязанности. Его дело — следить за тем, чтобы худо-бедно функционировал столь несовершенный институт, как юстиция, призванная заботиться о том, чтобы на этом свете соблюдались известные правила че-

ловеческой игры. Судья так же не обязан быть справедливым, как папа — верующим. Но когда отдельный человек вздумает осуществлять справедливость на свой лад, получится до чертиков бесчеловечно. Он непременно упустит из виду, что жульничество порой оказывается гуманнее, чем непогрешимость, поскольку вселенский механизм время от времени надо смазывать — занятие, которое больше других пристало нашей стране. Фанатический поборник справедливости должен быть и сам справедлив, а действительно ли я справедлив, судить мне, а не ему. Как видите, начальник, я оказался в состоянии передать с большей или меньшей точностью смысл нашего разговора, вернее, не нашего разговора, а вашей лекции, потому что лично я не проронил ни слова, лежал себе, проблевавшись, и слушал вас; не удивило меня также, что вы угадали, какое решение я принял с первого дня, может, я именно потому и не противился собственному падению, может, я именно потому и помог Лакки и Маркизу из Невшателя состряпать алиби, может, я именно потому и стал таким, каков я есть, — даже на взгляд Нольди Орхидейного слишком опустившимся, ниже достоинства тех дам, чьи интересы он представляет, — чтобы на свой лад стать не менее виновным, чем доктор h.c. Исаак Колер, но уж тогда мой приговор и приведение его в исполнение становится для меня справедливейшей акцией на свете, ибо справедливость может вершиться лишь между равновиновными; так, существует лишь одно распятие Изенхаймского алтаря, где на кресте висит распятый великан, безобразный труп, под чьей непомерной тяжестью прогибаются балки, к которым он пригвожден, Христос, еще более страшный, нежели те, для кого нарисовано это распятие, нежели прокаженные; когда они видят на кресте такого бога, между ними и этим богом, по их разумению наславшим на них проказу, устанавливается справедливость: такой бог по справедливости был распят ради них. Я пишу на трезвую голову, господин прокурор Фойзер, я вполне трезв, именно поэтому я и прошу вас не обвинять начальника полиции в том, что он не отобрал у меня револьвер, весь наш разговор, вернее, весь его добропорядочный монолог был произнесен отнюдь не отеческим тоном, а эта история насчет каждого десятого, которому он дает улизнуть, — пусть в нее верит тот, кто способен верить, может, он был бы рад, если бы мог хоть поймать каждого десятого, все вместе взятое было провокацией; задним числом он будет злиться, что не задержал меня тогда, на кладбище, когда зонтик улетел, а он взял у меня из рук стилет; но я его хорошо знаю, он рассуждает быстро, он понял, что тогда пришлось бы не просто заново поднять вопрос о том, кто убил бедную Дафну Мюллер, но и о том, кто убил убийц Дафны, что таким путем он угодил бы в орбиту Моника Штайерман. А кто по доброй воле захочет связываться с протезной империей, которая вознамерилась снова заняться производством оружия? Но зато, когда через два часа, точнее, через два часа тринадцать минут, я выстрелю в доктора h.c. Исаака Колера, начальник полиции тотчас начнет активно действовать, даже если мои выстрелы ни к чему не приведут, — однако, господин прокурор, давайте условимся: с одной стороны, начальник пытался своим душевспасительным монологом сделать так, чтобы выстрелы, если даже я буду стрелять, не причинили вреда, но вот чего вы никак не могли заподозрить, господин начальник (я снова обращаюсь к вам): я давно заменил холостые патроны на боевые. Поэтому я ни разу не вдавался в подробности насчет старьевщика в нижнем этаже нашего дома. Подсоз-

нательно. Чтобы и вы не занялись им подробнее. Этот одноглазый тип — большой оригинал, у него можно купить решительно все. Можно было. Это тоже стало теперь прошлым, торговец уже три недели как выехал, помещение лавки на первом этаже и квартира на втором опустели, у "Святых Ютли" тоже царит тишина и запустение, а вчера (или позавчера, или позапозавчера) я обнаружил у себя заказное письмо, которое получил несколько месяцев назад, но не выбрался прочесть, письмо того содержания, что, мол, дом на Шпигельгассе как памятник архитектуры, находящийся под охраной государства, по причине аварийного состояния нуждается в безотлагательной реставрации усилиями Фридли, который перестроит его изнутри и соорудит в старых стенах роскошные квартиры — это новое направление его деятельности, — в связи с чем я до 1.10 должен освободить занимаемую мною площадь, а поскольку 1.10 давно миновало, мне пришлось блуждать по всему городу, чтобы организовать для себя последнюю бутылку виски, как вчера у Штюсси-Лойпина в "Театральном", не то я сумел бы добыть ее в квартире у одноглазого, пусть не виски, но, на худой конец, бутылку граппы точно так же, как я отыскал в его лавочке, в раструбе альпийского рожка, патроны, а холостые, господин начальник, которыми вы зарядили мой револьвер, ссыпал в рожок. О, мы оба, доктор h.c. Исаак Колер и я, умрем весьма благозвучно, под родные напевы. Но прежде чем я — пусть даже моя трезвость принимает все более угрожающий характер, до того угрожающий, будто передо мной восходит солнце, на которое я, как тот безумный проповедник, должен глядеть не отрываясь, — прежде чем я через час без малого выеду в аэропорт (на своем "фольксвагене", он не очень хорошо перенес ремонт, вернее, я не дал его завершить по недостатку средств), последнее обращение к вам, начальник полиции. Я снимаю свое подозрение. Вы вели себя как порядочный человек. Вы хотели предоставить мне свободу решения, не хотели попираť мое достоинство. Мне очень жаль, что я принял другое решение, не то, на которое рассчитывали вы. А теперь еще одно, самое последнее признание. В этой игре за справедливость я проиграл не только самого себя, но и Элен, дочь убитого мною, который станет моим убийцей. Ведь мне придется застрелиться, потому что он будет застрелен мною. *Futurum passivum*. Снова припоминаю уроки латыни, которые давал мне в приюте старый священник, чтобы подготовить меня к поступлению в городскую гимназию. Я всегда с удовольствием вспоминаю о приюте, даже у Мокка вспоминал, хотя говорить с Мокком очень трудно. Когда один писатель рассказывал о смерти своей матери, к которой, судя по всему, был очень привязан, я начал рисовать преимущества приюта, а семью изображать как рассадник преступлений. Это ваше хваленое семейное счастье, от него же с души воротит — чем явно раздосадовал писателя. Мокк же вдруг захохотал. Мокк, про которого никогда толком не знаешь, с чем он согласен, а с чем нет; я подозреваю, что он умеет считывать с губ, поскольку снова отложил в сторону свой слуховой аппарат, хотя лично он это отрицает (очередная хитрость). Вот когда я хваюсь тем, что вырос без отца и без матери, сказал Мокк, ему это кажется ужасным, к счастью, продолжал он в своей многословной манере — писатель тем временем давно ушел, — к счастью, я стал юристом и не собираюсь заделаться политиком, хотя и это до конца не исключено, но человек, который восхваляет сиротский приют, куда хуже, чем тот, который в молодости воевал либо со своим отцом, либо со своей матерью, либо с обоими сразу, как, напри-

мер, он, Мокк, который ненавидел своих стариков пуше чумы, по его собственному выражению, хоть они и были добросердечные христиане, он их все равно ненавидел за то, что они произвели на свет восемь детей и его в придачу, не спросив ни у кого из этой нетипичной по своим размерам оравы, желает ли он (или она) быть произведенным на свет; делать детей — это преступление, не знающее себе равных, когда теперь он яростно бьет резцом по шепт (Мокк так называет камень), он представляет себе, что таким образом по заслугам воздает своему отцу и своей матери, но в моем случае он спрашивает, что я за тип такой, пускающий слюни по поводу сиротского приюта. Пусть у него, Мокка, в печенках сидит ненависть к тем, кто его зачал, родил, а потом не утопил в помойном ведре, он высекает свою ненависть из камня, превращая ее в фигуру, придавая ей форму, которая мила его сердцу, потому что он сам ее создал, и которая, умея она чувствовать, могла бы в свою очередь ненавидеть его, как он ненавидел своих родителей, которые тоже его любили, которым он тоже причинял огорчения; все это очень человечно, круговорот ненависти и любви между творцом и творением, но когда он представит себе такого, как я, который вместо ненависти к тем, из-за кого он существует и за то, что он существует, любит учреждение, произведшее и сформировавшее его, и который с самого начала был наделен склонностью не к человеческому, а к идеологии или всего лишь к какому-нибудь принципу — к справедливости, например, когда же он вдобавок пытается представить себе, как подобная личность будет впоследствии обходиться с людьми, не соответствующими его принципу, принципу справедливости, чтоб уж не приводить другого примера, — а кто, скажите на милость, ему соответствует? — у него от страха выступает холодный пот. Его, Мокка, ненависть созидательна, моя же разрушительна, это ненависть убийцы.

— Шпет, дружще, — завершил он малопонятный ход своих рассуждений, — мне вас от души жаль. Уж больно у вас все нескладно получилось.

После этого разговора я больше ни разу не переступал порога его мастерской. А почему я рассказываю вам об этом разговоре, господин начальник? Да потому, что этот скульптор, которого недавно чествовали в Венеции, просто до чертиков прав. Я человек из реторты, я выращен в образцовой лаборатории, наставлен в соответствии с принципами воспитателей и психиатров, продуцируемых нашей страной наряду со сверхточными часами, психотропными средствами, тайной банковских вкладов и вечным нейтралитетом. Я и стал бы образцовым продуктом этого опытного хозяйства, но в нем недоставало бильярдного стола. Вот меня и выпустили в мир, не наделив умением разгадать его, поскольку до сих пор у меня не было с ним точек соприкосновения, поскольку я воображал, будто и здесь царят нравы детского дома, в котором я вырос. Без всякой подготовки меня столкнули с законами хищных зверей, царящими среди людей, без всякой подготовки я увидел себя лицом к лицу с теми страстями, которые формируют эти звериные законы, — с жадностью, ненавистью, страхом, хитростью, властолюбием, — но столь же беспомощным оказался я и при встрече с теми чувствами, которые придают человеческие черты звериным законам, — с достоинством, чувством меры, разумом, любовью, наконец. Человеческая действительность потащила меня за собой, как бурная река тащит не умеющего плавать, сопротивляясь грозящей гибели, я на пороге ее сам стал хищным зверем, и к этому зверю

после ночного разговора со Штюсси-Лойпином, когда я продал свои материалы, призванные оправдать убийцу, явилась дочь убийцы: да, Элен поджидала меня в моей адвокатской конторе на Цельтвеге, в моей шикарной трехкомнатной квартире, доставшейся мне от Бенно. Лишь теперь я сообразил, что она ждала меня не перед дверью, а внутри. В кресле перед моим письменным столом. И что она свободно ориентировалась в квартире. Впрочем, Бенно, Бенно, — кто б устоял перед ним! И вот она пришла, потому что доверяла мне, и вот она отдалась мне, потому что я хотел ее, но не хватило у меня в ту ночь ни смелости довериться также и ей, ни убежденности, что и она хочет меня, потому что любит. Так мы и прошли мимо нашей любви. Я скрыл от нее, что никто не заставлял ее отца совершать убийство (даже если чертова лилипутка высказала такое желание), что ему просто нравилось изображать на нашей жалкой планете господ бога, что сам я дважды продался, один раз — ему, другой раз — прима-адвокату, которого тешила возможность довести до конца игру правосудия, подобно грессмейстеру, великодушно доигрывающему партию, начатую новичком. И мы спали друг с другом в ту ночь, не разговаривая и не подозревая, что счастье без слов невысказанно. Поэтому, быть может, и существует лишь мимолетное счастье, его я испытывал в ту ночь, когда начал догадываться, кем мог бы стать, несказанные возможности, которые были во мне заложены и которые я не осуществил, а поскольку я тогда чувствовал себя счастливым целую ночь напролет, я был убежден, что стану тем, чем так и не стал. Но утром, когда мы взглянули друг на друга, нам стало ясно, что все кончено. А теперь мне пора в аэропорт.

III

Послесловие автора. Станным образом я свел случайное, если вдуматься, знакомство с некоторыми людьми, о которых лишь впоследствии узнал, что они были не просто замешаны в это многоплановое действие, но и являлись в нем главными персонажами.

Произошло это году примерно в 1984-м. В Мюнхене. Дневника я не веду, поэтому слишком полагаться на приведенные мной даты нельзя. По-моему, это было в конце мая, а всю историю я воспринял тогда как вымышленную. Удобный парк, удобная вилла, затерянная среди высоких деревьев. В парке, вдоль одной из стен виллы, — накрытые столы. Милая хозяйка. Издатели, журналисты, люди театра, кино — словом, разумно дозированная культурная жизнь. Я, по обыкновению, кого-то с кем-то путаю. Мне смутно кажется, что другая и есть та, про которую я думаю, что это она. Потом выясняется, что это все-таки другая. Потом и еще кто-то оказывается совершенно не тот. Потом я с перепугу сам путаю одного главного режиссера, в театре которого я знал когда-то решительно всех, а теперь не знаю решительно никого. Я думаю, что он думает, будто я хочу навязать ему свою пьесу, а он думает, будто я хочу навязать ему свою пьесу. Какой-то актер мечется, словно король Лир, забывший свой текст, он безутешен: "Театр гибнет. Нет новых пьес". Другого актера я столько раз видел по телевизору, что теперь принимаю его за старого знакомого, а он смущен, потому что видит меня впервые. Какая-то женщина ввозит какого-то старика в кресле на колесиках. Женщина элегантно, высокомерна, красива. Лет около пятидесяти. Я знаю эту женщину, но

не знаю, как ее зовут. Она сдержанно меня приветствует, но обращается ко мне на "ты" и называет меня "Макс". Она меня с кем-то спутала. Смех. Она приносит извинения. Я чувствую себя польщенным. Она переходит со мной на "вы". А кто этот старичок? Ее отец. Должно быть, ему очень много лет? Да, сто без малого. Хрупкий, бесплотный. На редкость бойкий. Кожа розовая. Редкие седые волосы, подстриженные усики, холеная бородка. Нечто среднее между окладистой и клинышком. Он имел беседу с баварским премьер-министром. О политике? Нет, об учреждении фонда эффективных наук. Не понимаю. Сегодня развелось слишком много бесполезных наук. Понимаю. Она все еще думает, что я ее знаю, а я ее не знаю. Хозяйка беседует со старичком. Болтает с ним, часто смеется. Должно быть, старик не лишен остроумия. Сажу между незнакомой знакомкой и вдовой-немкой издателя-итальянца, с которой я однажды в Милане поддерживал знакомство целый день. Знакомка, имени которой я не могу вспомнить, догадалась, что я не могу вспомнить, как ее зовут. Она умолкает. Вдова рассказывает мне про одну актрису, в которую я некогда был влюблен. Актриса сбежала с пожарным. После ужина – в салон. Люди кино и театра толпятся вокруг главного режиссера. Это те, кто интересуется искусством. Другие – вокруг старика в каталке. Это те, кто интересуется действительностью. Некий искусствовед произносит краткую благодарственную речь хозяйке дома, на несколько минут соединив своей речью обе сферы. Он слишком хорошо разбирается в искусстве, чтобы не недооценивать жизнь, и слишком хорошо – в жизни, чтобы не переоценивать искусство. Потом сферы вновь распадутся. Одни спорят о Бото Штраусе, другие – о Франце-Йозефе Штраусе. А какого мнения придерживается старичок? Он – историк, а не метеоролог. Что он хочет этим сказать? Историк делает долгосрочные прогнозы. Он метафизик. Он мнит, будто овладел мировым духом. Метеоролог же позволяет себе лишь краткосрочные прогнозы. Он человек науки. И не считает, что овладел атмосферой. На деле мир непостижим. Что доступно политике? Быстрое хирургическое вмешательство, а затем – наблюдение за непредсказуемым результатом. Что он хочет этим сказать? Концерт, которому он по доброй воле помогал советами и которым не по доброй воле руководил, попал в тяжелое положение. Нет нужды подробней его описывать. Экономические взаимосвязи еще сложнее, чем атмосферная оболочка, прогнозы здесь еще ненадежнее. Старец говорил легко, негромко и быстро. Лишь время от времени слышалось легкое постукивание вставных челюстей. И тогда возникла необходимость то ли убить одного человека, то ли перепоручить убийство кому-нибудь еще. Общая растерянность. Смущение. Потом умиление. Словно старец надумал поведать любовную историю. Разумеется, выносить на обсуждение убийство – это же faux pas¹. Культурная сфера тоже наострила уши. В этом уже было нечто, как если бы старичок, допустим, ел рыбу ножом. Хотя король, да вдобавок король на пороге столетия, имеет право и на это.

– Он бесподобен, – прошелестела одна актриса, которую я тоже когда-то видел, не то по телевизору, не то в кино, или думал, что видел. Экран кино и телевизора запекает все лица в одно. Добрый десяток актеров выглядят одинаково. Старец попросил бокал шампанского. Отхлебнул. Появился один режиссер и артист, мой давний приятель. По

¹Промак (франц.).

происхождению — швейцарец. По виду — российский великий князь, привыкший иметь дело с крепостными, рослый, осанистый, но уже после утраты родовых поместий. Ухоженная бородка, продуманная небрежность в одежде. Поцеловал ручку хозяйке, заметил некоторую растерянность общества, не без удовольствия обвел всех взглядом и с присущей только ему, греющей сердце барственностью изрек: "Приветствую вас, господин советник! Приветствую тебя, Элен! — После чего, благосклонно сделав мне ручкой, продолжал: — Я вижу, господин советник начал рассказывать свою историю. Фантастическая история". Затем налил себе шампанского и сел. А старец продолжал. От него исходила какая-то властная сила, которая всех себе подчиняла. И дело было не в том, что он говорил, а в том как. Вот почему не представляется возможным воспроизвести эту историю так, как ее рассказывал он. Пусть хозяйка не поспует на него за то, что он без всяких там кживоков говорит об убийстве. Ему задали вопрос, примерно так продолжал он, что считается возможным с политической точки зрения. Политика и экономика подчиняются одним и тем же законам, а именно политике власти. Что применимо и к войне. Это прежде всего экономика есть продолжение войны другими средствами. И как бывают войны между государствами, так бывают войны и между концернами. А гражданской войне соответствует скрытая борьба за власть в пределах одного концерна. Повсюду снова и снова возникает необходимость либо отлучить кого-то от власти, либо быть отлученным самому. И в такой ситуации быстрое хирургическое вмешательство весьма уместно, после чего следует выждать, чтобы убедиться, принесло оно пользу или нет. В исключительных, спору нет, лишь в исключительных случаях здесь не обойтись без убийства. Само по себе убийство — метод весьма неэффективный. Терроризм оставляет лишь царапины на поверхности мировой структуры. А вот убийство, совершенное им, было необходимостью. Впрочем, не убийство как таковое составляло проблему, а убеждение, что только убийство может помочь. Разумеется, он мог передоверить убийство. На любое дело можно кого-нибудь отрядить вместо себя. Но ему без малого сто, а он до сих пор сам завязывает себе шнурки. Далее понадобилось еще несколько убийств, но уж эти не потребовали никаких усилий. При сотворении мира вмешательство бога понадобилось всего один раз. Хватило первого толчка. Вот и на него решение проблемы снизошло с быстротой молнии. Старик осклабился. Более тридцати лет назад ему пришлось сопровождать из частной клиники в аэропорт одного столь же известного в те времена, сколь и непопулярного политического деятеля. В клинике он увидел, что упомянутый деятель, уже в зимнем пальто, с растерянным видом стоит перед кроватью. Его преследуют. Введенный им налог на наследство разорил слишком многих. Он вынужден обороняться. И он достает из пальто револьвер. Вот чем он пристрелит каждого наследника, оставшегося без наследства. Сестра с воплем "На помощь!" выскочила из палаты. Тогда он снова засунул револьвер в пальто. Примчался врач с двумя санитарами. Полковник в период военной службы, грубый мясник в медицине, он поставил такой диагноз: болезнь теперь добралась до озга, ну, с медицинской точки зрения проблем нет, он еще раз накачает пациента транквилизаторами, и пусть себе катится на родину, не то отдаст концы прямо тут. Беднягу после короткой схватки, в ходе которой был нокаутирован один санитар, вытряхнули из пальто с револьвером, закатали ему в зад — ах,

пардон, пардон, при дамах — полный шприц, снова упаковали в зимнее пальто и затолкнули в "роллс-ройс". И вот он поехал с вооруженным и очумевшим государственным деятелем обратно в город. Дивный весенний вечер. Смеркается. Часов около семи. Поскольку у нас рано встают, ужинают тоже рано. Когда он вместе с дремлющим финансовым гением проехал по Рэмиштрассе и увидел людей, устремляющихся к ресторанам, у него в голове мелькнула идея, как на элегантнейший манер решить свою проблему. "Боже, — сказала немецкая вдова итальянского издателя, — как увлекательно!" Особа, от чьего влияния он должен был избавиться концерн, имела обыкновение об эту пору ужинать в известном всему свету ресторане. Старец осушил второй бокал шампанского. Он велел шоферу остановиться, вынул револьвер из кармана тихо похрапывающего министра, прошел в ресторан, увидел, что его расчеты верны и упомянутая особа присутствует, застрелил ее, оттуда — снова в "роллс-ройс", засунул револьвер в пальто спящему, доставил его, почтеннейшего министра ее величества, в аэропорт, посадил в самолет, который спецрейсом переправил большого лидера партии на родимый остров, где тот, не успев толком прибыть, привел к окончательному финансовому краху некогда мировую империю. Тихое хихиканье из кружка деятелей культуры. Дочь сохраняет величественную, почти зловещую невозмутимость. Расскажи ее отец, что был комендантом концлагеря, она и тогда не моргнула бы глазом. Мы все слушали, замороженные. Как страшную сказку. И однако, не без удовольствия, даже забавлялись, очарованные легкостью и сарказмом, с которыми повествовал старец и которые смещали все в область абстрактного, нереального. Только один издатель растерянно спросил: "Ну, а вы?" "Друг мой, — отвечал старец, извлекая из футляра массивную сигару (исходя из опыта, приобретенного мною за период курения, предполагаю, что это была "Топперс"), — друг мой, вы упускаете из виду два обстоятельства. Первое — в каких кругах мы с вами вращаемся, и второе — юстицию, ибо та пусть даже скорей бессознательно, нежели сознательно, ориентируется на общественные круги, подлежащие ее суду, хотя порой — особенно по отношению к людям привилегированным — она любит действовать с чрезмерной суровостью, дабы избежать упрека в наличии предубеждений именно потому, что она их питает". Впрочем, чтобы не наскучить: его арестовали, кантональный суд признал его виновным, а суд присяжных впоследствии оправдал, хотя убийство было совершено у всех на глазах. По необходимости. Недоставало прямых доказательств. Показания свидетелей были противоречивы. Орудие убийства так и не было найдено. Кто станет перетряхивать пальто министра?! И мотива преступления тоже не удалось выяснить. Концерн есть нечто непроницаемое для прокурора. Вдобавок, тоже случайно, в ресторане присутствовал бывший чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета, но, когда его захотели допросить, он взял да и повесился. Просто надо, чтоб все так удачно сложилось, причем, нельзя исключить, что и чемпион мог выстрелить как раз в ту минуту, когда он, а ему было тогда семьдесят лет, собрался стрелять; единственно реальное во всей истории — это сам покойник, уронивший голову прямо в филе а-ля Россини с зелеными бобами, насколько он напоминает, но вот каким путем эта реальность осуществилась, по сути дела, не играет роли. Он раскурил сигару, которой до того размахивал примерно как дирижер — своей палочкой. И вдруг все общество разразилось смехом, кой-кто даже за-

аплодировал, один толстый журналист распахнул окно и, став перед ним, хохотал в ночь. "Неслыханное остроумие". Все были убеждены в невинности старца. Я тоже. А почему? Из-за его обаяния? Из-за возраста? Прелестно — рассиялась немецкая вдова итальянского издателя, хозяйка высказалась в таком духе, что жизнь пишет невероятнейшие истории, дочь поглядела на меня холодно и пристально, словно хотела узнать, поверил я или нет. Старец же курил сигару, осуществляя попутно трюк, который никогда не удавался мне: выталкивал дым колечками. Он понимает, продолжает старец, что несправедливо осужденный не столь уязвим, как убийца, отсюда сердечные аплодисменты, уж такая у него судьба, что никто не желает считать его убийцей. Вот и я, вероятно, не верю — это старец уже обратился ко мне, — я, который в своих комедиях пачками препровождает своих героев на тот свет. Новый взрыв смеха, общее оживление, подали черный кофе, коньяк. Остается единственно вопрос морали, снова начал старик, сосредоточив все внимание на пепле своей сигары, который он не сбрасывал, а тщательно наращивал. И внезапно он стал другим. Уже не столетним старцем, а человеком без возраста. Совершил он убийство на самом деле или только собирался, сказал старец, с точки зрения морали важно лишь намерение, а не осуществление. Но вопрос морали есть вопрос оправдания действий, не соответствующих основным законам общества, которыми это общество якобы руководствуется. Для оправдания же мы должны прибегнуть к помощи диалектики. С позиций диалектики можно найти оправдание решительно для всего, тем самым — и с позиций морали. Поэтому он считает всякое оправдание излишним или, если довести эту мысль до абсурда, всякую мораль аморальной, он мог бы заявить, что действовал в интересах концерна, который, кстати сказать, впоследствии все равно обанкротился, так что его изысканное убийство оказалось бесполезным, независимо от того, кто его совершил, он сам или кто-нибудь другой, а потому он мог бы следующим образом ответить на вопрос, чего можно достичь средствами политики: если чего-то можно достичь лишь благодаря случаю и если что-то достигнуто лишь случайно, оно представляет полную противоположность тому, чего намеревались достичь на самом деле. Далее старик попросил извинения. Он покорнейше просит высокочтимую хозяйку извинить его уход, а дочь Элен — доставить его в гостиницу "Четыре времени года". Дочь выкатила старика, не удостоив меня ни единым взглядом. Я счел всю эту историю вымышленной. Ну кто, скажите на милость, так убивает? Однако нельзя было не заметить, что старик некогда обладал изрядной властью, да и теперь еще имеет немалое влияние, не то с какой стати его принимал бы Штраус. Мне он показался промышленным воротилой, у которого на совести есть немало всего, но рассказать про биржевые спекуляции куда сложнее, чем про убийства, вот он и расписывает несовершенное убийство, поскольку может не сомневаться, что в совершенное им убийство все равно никто не поверит, как поверили бы в биржевые спекуляции. В такси я успел забыть его историю, размышлял только о диалектике, которую он подчинил морали, и вдруг вспомнил его имя: Колер, Исаак Колер. Однажды на банкете у своих друзей из местного театра я сидел как раз напротив него. Рядом с его дочерью. Когда-то. Много лет назад. По поводу чего устраивался банкет, уже не помню. Нескончаемо длинные речи. Колер тогда был очень бодрый и загорелый. Дочь рассказала, что он только что вернулся из кругосветного путешествия.

На другое лето или, возможно, в начале сентября умер отец одной знакомой, некоей Штюсси-Моози. Лет пятнадцать назад она служила у нас в доме. Она известила меня, что продается двор ее отца. Я знал этот двор. Он был старый, наполовину разрушенный. Я решил его купить. Вид оттуда очень впечатляющий. Внизу — долина Штюсси, на дне ее Штюсикофен, потом Флётиген, Верхние Альпы. За домом круто обрывается скала. Сама деревня — гнездышко, это еще не собственно Альпы. Старые дома. Часовня. Куда изредка наезжает с проповедью флётигенский пастор. Гостиница. Просто удивительно, что еще сохранились деревни, куда не заглядывают туристы. Вести переговоры мне надлежало с "ходатаем по делам", как там именуют адвокатов. Ходатай занимал комнату в гостинице "У Лойнбергера", а дела проворачивал внизу, в трактире, имея слушателями местных крестьян. Он был скорее нечто вроде сельского судьи, к моменту моего прибытия он как раз улаживал одну драку. Крестьянин с перевязанной головой, чертыхаясь, покинул залу. По прошествии стольких лет я затрудняюсь описать, как выглядел тот ходатай. Лет примерно пятидесяти. Хотя, возможно, и гораздо моложе. Хронический алкоголик. Он пил "беци" — сорт водки, которую в других местах называют плодово-ягодная. Он казался сутулым, не будучи таковым. Злобно-желчным. Лицо отечное, не лишенное одухотворенности. Водянисто-голубые глаза, налитые кровью. Чаше плутоватые, изредка мечтательные. Для начала он пытался меня надуть. Заломил цену вдвое больше той, на которую намекала наша бывшая домоправительница. Рассказывал замысловатые истории насчет трудностей, которые непременно возникнут со стороны общинного совета в Штюсикофене. Разлагалось воевал о неписаных законах. Назвал двор проклятым, хозяин его Штюсси-Моози повесился. Каждый Штюсси-Моози здесь вешался. Крестьяне с наглой откровенностью слушали наш разговор, мимически изображали удушье, когда он говорил о повесившихся, задирали правую руку над головой, словно затягивая веревку, закатывали глаза, высывывали язык. Я смекнул, что ходатай вовсе не собирает меня надуть, а просто хочет воспрепятствовать сделке — зато впоследствии он лихо надул семью нашей бывшей домоправительницы. Он продал двор за бросовую цену одному из Штюсси-Зюттерлинов. Почувствовав, что мой интерес к покупке заметно остыл, скорей из-за враждебного отношения крестьян, чем из-за его уловок, он стал много приветливее. Кстати сказать, он был уже пьян, хотя и не стал от этого менее симпатичным. Даже наоборот. У него появился юмор. Правда, ядовитый. Он начал рассказывать. Крестьяне сдвинулись потесней и подзуживали рассказчика. Его истории, судя по всему, они уже знали. И слушали, как слушают сказочника. Итак, он утверждал, будто был знаменитым адвокатом в самом большом городе нашей страны. Обалденно знаменитым, как он выразился. И деньги загребал лопатой. Зарабатывая в основном на банках, на богатейших семействах города. Но всего милей из клиентуры были ему проститутки. "Мои шлюхи", как он выразился. Он выдал бесчисленное множество побасенок, особенно про некоего Нольди Орхидейного. Большинство из них показалось мне выдумкой, но я слушал с неослабевающим вниманием.

Не столько из-за самих рассказов, сколько из-за упрямой в них социальной критики. Эта критика носила какой-то анархический характер. Она не соответствовала действительности. Она соответствовала его уму. Он углубился в дебри истории о суде над неким убийцей. Он изображал

обвиняемого и пятерых членов судейской коллегии. Крестьяне гоготали от восторга. Он, как защитник, выиграл процесс. После чего он добавил, что оправданный все-таки был убийца. Оправданный, правительственный советник, лихо одурачил и его, и пятерых членов суда. Крестьяне гоготали, теперь они тоже приналегли на "беци". Историю эту они явно слушали не в первый раз и все не могли заслушаться. Они снова и снова требовали продолжения, а он капризничал, ему поднесли стаканчик, он указал на меня, человеку, может, вовсе и не интересно, мне тоже поднесли стаканчик, нет-нет, очень даже интересно. Ходатай начал рассказывать, как он пытался добиться пересмотра дела, но этому воспротивилось правительство, а под конец и федеральный суд. Правительственный советник — он и есть правительственный советник. Каждое юридическое препятствие, каждая интрига вызывали взрыв издевательского смеха. "Вот она, ваша свободная Швейцария!" — вскричал один из крестьян и заказал еще по стаканчику. И тогда, продолжал ходатай, он начал действовать на свой страх и риск. Он дождался, покуда советник вернется из кругосветного путешествия. Из газеты он узнал время прибытия. Затем он сообщил о своих планах начальнику полиции. Тот приказал оцепить аэропорт. Но ходатай, переодевшись уборщицей, проник в уборочную бригаду. А в накладном искусственном бюсте упрятал свой револьвер. Один из полицейских пытался его схватить за накладной бюст, но он поднял крик, будто его хотят изнасиловать. Начальник принес свои извинения, а полицейского велел отправить в арестантскую при аэропорте. Крестьяне с криками восторга хлопали себя по ляжкам. Далее ходатай поведал, как он застрелил убийцу, оправданного благодаря его же усилиям. По дороге к залу для пассажиров первого класса. После чего советник рухнул головой вперед прямо в мусорный бак. Подобно Теллю, прикончившему в том ущелье Геслера, он прикончил злодея, возликовал один крестьянин, а остальные разразились одобрительными возгласами. Дикая поднялся гвалт. Вот она, настоящая справедливость. Ходатай начал изображать в лицах историю своего задержания. Показал, как начальник сорвал с него накладной бюст. Вскрабался на стол. Произнес защитительную речь перед пятью членами судейской коллегии, которые в свое время оправдали убитого, а теперь, соответственно, не могли не оправдать его убийцу. После чего он бросил прямо в лицо судьям: "А пропади вы пропадом с вашим правосудием" — и стал ходатаем по делам в долине Штюсси. Тут рассказчик снова рухнул на свой стул. Один из крестьян встал с наполовину распитой бутылкой "беци" в левой руке, похлопал рассказчика по плечу, заявил, что сам он Штюсси-Штюсси, а ходатай — единственный не Штюсси в Штюссикофене, но, несмотря на это, он истинный швейцарец, после чего он до дна осушил свою бутылку, повалился на стол и захрапел. Остальные затянули упраздненный гимн: "Славься в веках, Гельвеция! Есть у тебя еще сыновья, как их увидел Якоб Святой, всегда готовые в бой". История оказалась мне странно знакомой. Я хотел выяснить кой-какие детали, но ходатай был слишком пьян, чтобы отвечать на вопросы. Некоторые крестьяне с угрожающим видом поднялись со своих мест, покуда другие уже допевали конец второй строфы: "Там, где вершины гор врагу не дадут отпор, бог наша твердь, сами встанем горой, каждый из нас герой. Мы презираем смерть". А ходатая мне было жаль. Блестящий прима-адвокат стал опустившимся провинциальным стряпчим. Он совершил убийство, он выиграл собственный процесс, но

убийство, им совершенное, доконало его. Я полностью отказался от мысли купить двор. Мне следовало убираться восвояси, в долине Штюсси не жалуют пришельцев из города, а так как по номеру моей машины они уже поняли, что я из Невштателя, я был для них вдвойне чужой, хоть и говорил на одном с ними языке, пусть даже не так распевно. Я покинул трактир. Вслед мне неслось громовое: "Явись поутру, господь осиянный, мы дружно тебе воспоем осанну, едва заалеют вершины гор, возносит молитвы швейцарцев хор. Своей душой благочестивой всегда отечеству верны мы". Это крестьяне перешли к новому гимну.

Потом снова пробел в памяти. Старец в кресле-каталке, его дочь, пьяный убийца в штюссикофенском трактире среди пьяных крестьян — все ушло в подсознание, а сверху наложилась досада, что я не могу купить крестьянский двор. Между прочим, купить его я собирался не ради пустой прихоти, мне были нужны перемены. По возвращении домой я приступил к реорганизации. Был выметен весь мусор, накопившийся за сорок лет писательства. Груды необработанной корреспонденции, счета, так и не попавшие мне на глаза и, однако же, оплаченные, сметы, так и не принятые во внимание, горы корректур, бесконечное число раз переписанные рукописи, наброски, фотографии, рисунки, карикатуры, фантастический беспорядок, которому предстояло частью превратиться в порядок, частью исчезнуть. Горы нечитанных рукописей, уже много десятилетий как погребенных в потоке необработанной почты. Я наудачу заглянул в одну из них. Правосудие. Долой макулатуру. При этом я невольно бросил взгляд на первую страницу и прочел имя: доктор h.c. Исаак Колер. Я снова достал рукопись из пластикового мешка. Некий доктор Х. прислал мне ее из Цюриха, но я никогда не читаю присланные мне рукописи. Литература меня не интересует. Я сам ее произвожу. Доктор Х. Я припомнил. Кур. 1957 год. После доклада. В отеле. Я пошел в бар, чтобы выпить стаканчик виски. Кроме барменши, дамы не первой молодости, я застал там еще одного посетителя, который тотчас, едва я успел сесть, назвал себя. Это был доктор Х., бывший начальник кантональной полиции Цюриха, крупный, массивный человек, старомодно одетый, с золотой цепочкой от часов поперек жилета, как их нынче мало кто носит. Несмотря на возраст, ежик на голове у начальника был еще безупречно черным, а усы пушистыми. Он сидел у стойки на высоком табурете, пил красное вино, курил "Байанос" и обращался к барменше по имени. Голос у него был громкий, жесты выразительные, словом, человек без тени притворства, который в такой же мере привлекал меня, как и отталкивал. На другое утро он довез меня на своей машине до Цюриха. Я начал листать рукопись. Она была напечатана на машинке, под заголовком приписано от руки: "Можете делать с этим все, что захотите". Я начал читать рукопись и прочел ее всю. Автор, некий адвокат, не совладал с материалом. Ему слишком мешали текущие события. О самом важном он начал рассказывать лишь в конце, но именно тут ему вдруг не хватило времени. Он пал жертвой собственной торопливости. В общем и целом попытка дилетантская. Да и отдельные места повергали меня в недоумение. Взять хотя бы названия некоторых глав: "Попытка внести порядок в беспорядок". Потом имена. Кто такой Никодемус Мольх, кто Дафна Мюллер и кто Илья Фройде? И кто расставляет у себя в парке целую армию садовых гномов? Начальник вроде бы говорил мне, что любит Жан-Поля? Но спросить начальника уже

нельзя, он умер. В 1970-м. Потом я прочел письмо, приложенное начальником к рукописи: "Я возвращаюсь с похорон. Ездил хоронить Штюсси-Лойпина. На похороны пришел только Мокк. После чего мы с ним пообедили в "Театральном". Ели суп с ливерными фрикадельками, филе а-ля Россини с зелеными бобами. После обеда мы долго искали слуховой аппарат Мокка. Официантка, как оказалось, унесла его с посудой. А что до нашего дорогого фанатика справедливости, то ему и в самом деле удалось пробраться в аэропорт. С командой уборщиков. И выстрелить он выстрелил, но тотчас со страху упал головой в мусорный бак. По счастью, Колер ничего не заметил, ибо как раз в это время взлетал четырехмоторный самолет. Впрочем, наш террорист и не мог причинить большого вреда. В одном он просчитался. Я все-таки занялся подробнее этим старьевщиком. В альпийском рожке были должным образом препарированные холостые патроны. Но потом я решительно не знал, как мне поступить с фанатиком справедливости. Он был человек конченный. Передавать его в руки правосудия я не захотел. Штюсси-Лойпин (смотри выше) принял в нем участие и подыскал ему место. С тех пор прошло несколько лет. Ваш доктор Х., экс-начальник". Я позвонил в Штюссикофен. К телефону подошел хозяин "Лойэнбергера". Я попросил ходатая. Умер. На прошлой неделе. Перебрал "беци". Как его звали? Звали как? Ходатаем. Где его похоронили? В Флётигене, надо думать. Я поехал туда. Кладбище лежало за пределами деревни. В каменной оgrade. Чугунные литые ворота. Было холодно. Первый раз за этот год я уловил дыхание зимы. В кладбищах есть что-то близкое моему сердцу. Ребенком я любил играть на кладбище. Это кладбище имело свое лицо, у каждого покойника была своя могила, могильные плиты, чугунные кресты, постаменты, колонны, стоял там даже один ангел. На могиле некоей Кристли Мозер. Но Флётигенское кладбище было вполне современным кладбищем, учрежденным десять лет назад по решению общинного совета Флётигена. От тех, кто умер более десяти лет назад, не осталось и следа. Поскольку территория была строго ограничена и не подлежала расширению — слишком высоки нынче цены на землю, — усопшему дозволялось не более чем десятилетнее пребывание в родной земле. И затем — прямиком в вечность. Но уж дозволенные десять лет полагалось лежать по стойке "смирно". У всех одинаковые могилы. На могилах — одинаковые цветы. Одинаковые могильные плиты. Надписанные одним и тем же шрифтом. И вот мертвецы покоились стройными рядами, а среди них — и тот, кого я искал. Беспорядочный в жизни, упорядоченный после смерти. Он лежал последним в ряду, возле еще пустой могилы. Плита уже положена, цветы (астры, хризантемы) уже поставлены. На плите: ФЕЛИКС ШПЕТ, ХОДАТАЙ, 1930 — 1984.

Вернувшись домой, я еще раз перечитал рукопись. Вероятно, ее перепечатали с оригинала. И несмотря на лирические отступления, внесенные рукой начальника, она максимально соответствовала исходному варианту. Что до рассказа Шпета, то он в Штюссикофене похвалялся убийством, которого не совершал, а Колер в Мюнхене свалил убийство на человека, которого хотел убрать вместе с убитым. Я снял с рукописи фотокопию. Адрес доктора h.c. Исаака Колера я нашел в телефонной книге. Я отправил копию ему. Несколько дней спустя я получил письмо от Элен Колер. Она просила меня навестить ее. Состояние отца не позволяет ей отлучаться из дому. Я ответил телефонным звонком. И уже на другой день вступил в колеровские владения.

Когда я направлялся к чугунной решетке, у меня было такое чувство, будто я вступаю в рукопись и эта рукопись меня комментирует. Сама природа дышала богатством. Октябрьская флора здесь не поскупилась на свои дары. Деревья как на подбор величественные и почти все в летнем наряде. Не дует фен. Искусно подрезанные кусты и живые изгороди. Замшелые статуи. Нагие бородатые боги с юношескими ягодицами и такими же икрами. Тихие пруды. Величественная чета павлинов. Кругом мертвая, дремотная тишина. Лишь изредка слышатся птичьи голоса. Стены дома увиты диким виноградом, плющом и розами, сам он большой, просторный, с фронтоном. Внутри — легкий и удобный. Антикварная мебель, каждый предмет — произведение искусства. На стенах — знаменитые импрессионисты. Далее — поздние фламандцы (меня вела по дому старушка горничная). Мне было предложено подождать в кабинете доктора н.с. Исаака Колера. Помещение было просторное. Вызолоченное солнцем. Через открытую двустворчатую дверь можно было выйти прямо в парк. Окна по обе стороны двери доходили чуть не до самого пола. Паркет из ценных пород дерева. Гигантский письменный стол. Глубокие кожаные кресла. На стенах никаких картин, только книги — до самого потолка. Исключительно книги по математике и естественным наукам, солидная библиотека. В просторной нише — бильярд, на поле которого лежали четыре шара. Через открытую дверь вкатил себя доктор н.с. Исаак Колер, еще более хрупкий и эфемерный, еще более прозрачный, почти фантом. Судя по всему, он меня не заметил. Он подъехал к бильярду, выбрался, к моему великому удивлению, из кресла и принялся увлеченно играть. Из двери в задней стене вошла Элен. Спортивный вид — джинсы, шелковая рубашка, жакет ручной вязки с тремя большими квадратами, красным, синим и желтым. Она приложила палец к губам. Я понял и последовал за ней. Просторная гостиная. Снова открытая двустворчатая дверь. Мы сели на террасе. Под тентом. Последний раз в этом году я сидел на свежем воздухе. Старые плетеные кресла. Чугунный стол с шиферной столешницей. На газоне — косилка. Первые кучи осенних листьев. Между ними павлины. Она сказала, что я застал ее за работой в саду. В глубине парка какой-то паренек копал землю. И навистывал. А от павлинов им надо избавиться. Соседи протестуют. Они протестуют вот уже пятьдесят лет. Но отец любит павлинов. Как ей кажется, исключительно назло соседям. Он давал своим павлинам кричать сколько влезет. Невзирая на неоднократное вмешательство полиции. На свете нет звука более мерзкого, чем крик павлина. Дома вокруг их участка из-за крика павлинов заметно подешевели. Соответственно упали цены на землю. Тогда отец скупил все на корню, и соседи больше не смели жаловаться. Потом она налила мне чаю. Я сказал, что ее отец — чудовище. Она не стала спорить. А рукопись она прочла? Проглядела — был ответ. Я сказал, что Шпет ее любил, но об этом ему было нелегко писать, и она ведь тоже когда-то его любила. Ах, этот славный Шпет, отвечала она. Единственной женщиной, которую он любил, была Дафна, о ней он и пишет с особой живостью. А любовь к ней, Элен, он просто выдумывает. Выдумывал, уточнил я, наш славный Шпет две недели назад скончался в долине Штюсси. "Чай совсем остыл", — сказала она и выплеснула содержимое своей чашки через ограду террасы на усыпанный желтыми листьями газон, прямо под ноги паренька, который с нахальным свистом пробежал мимо.

А потом закрывали павлины. Обычно они в это время не кричат, пояснила Элен, сейчас они перестанут. Но павлины не переставали. "Пойдемте лучше в комнаты", — предложила она, и мы вошли в дом, закрыли за собой двустворчатую дверь, сели в два кресла, между которыми стоял игровой столик. Коньяку? Да, пожалуйста. Она налила. Павлины за дверью продолжали кричать, тупо, зловеще. По счастью, отец их не слышит, сказала она, а потом спросила, читал ли я, что написано про настоящую Монику Штайерман. Все это представляется мне в достаточной мере неправдоподобным, ответил я. Она тоже была однажды приглашена к Моники Штайерман, летним вечером, начала Элен, ей тогда не было и восемнадцати, и она, как все в этом городе, принимала Дафну за Монику Штайерман, восторгалась ею, но и завидовала тоже, в частности из-за Бенно, потому что Бенно ее избегал, хотя в те времена обольщал всех подряд, этот красавчик Бенно, тогда считалось высшим шиком переспать с Бенно, так же как считалось шиком переспать с Моники Штайерман; хотя все были убеждены, что они оба в будущем поженятся, но это и привлекало. Она, Элен, была как-никак дочерью Колера и потому неприкосновенна. Бенно сознательно ее избегал, а она приняла приглашение Моники Штайерман без малейших колебаний, может быть, втайне надеясь застать там Бенно, настолько она была в него влюблена. После ужина, за черным кофе, она сообщила отцу о своем намерении. Отец спросил, куда именно ее пригласили, на Аурораштрассе или нет, и налил себе "Марк". Он дома всегда пьет "Марк". В "Мон-репо", отвечала она. Туда еще до сих пор никого не приглашали. Никого, сказал отец, до сих пор туда приглашали только Людевица и его самого. Так вот, может ли он дать ей совет? Она все равно не послушает никаких советов, строптивое отвечала она. Не надо ей принимать это приглашение, сказал отец и выпил свой "Марк". Это и есть его совет. Но она все равно пошла. Она доехала на велосипеде до Вагнерштупца, прислонила велосипед к ограде и позвонила у ворот, продолжала Элен свой рассказ. И удивилась, что за этим ничего не последовало. Потом она заметила, что массивная решетчатая калитка вообще не заперта, она отворила ее и вступила в парк, но, едва вступив, сразу же испытала приступ необъяснимого страха. Она хотела вернуться, однако теперь калитка не поддавалась. Если до сих пор Элен вела свой рассказ неуверенно, запинаясь, то тут она принялась говорить так, будто все, что произошло потом, произошло не с ней, а с кем-то другим. С этого мгновения, рассказывала Элен дальше, она уже не сомневалась, что ее заманили в ловушку. Запущенный парк был залит закатным багрянцем, этот поток света показался ей недобрый предзнаменованием. Но она автоматически продолжала свой путь к невидимой вилле. Гравий поскрипывал у нее под ногами. Она заметила садового гнома, одного, потом еще троих, потом сразу несколько вдоль дорожки, они стояли между стеблями неподстриженного газона, среди люпинов и льнянки, выглядывали из сплетения космей: несмотря на щекастые личики, в этом зловещем вечернем багрянце они казались коварными и гнусными, особенно когда она заметила, что вниз с деревьев тоже щерятся гномы, курящие трубку, от омерзения она все быстрее бежала между гномами, пока не очутилась перед целой стайей гномш с огромными головами, крупней, чем те, которых она увидела сперва, — примерно с четырехлетнего ребенка. Цепеня от ужаса, она заметила, как одна из этих фигур оскалила зубы ей навстречу. В паническом страхе она понеслась по парку,

мимо все более многочисленных и непристойных гномов, пока не выскочила на лужайку, где никаких гномов не было, сама лужайка полого поднималась, а наверху ее взгляду открылась вилла. Задыхаясь, она остановилась и поглядела назад. В надежде, что ей все померещилось, что ей просто привиделся кошмар. Но увидела она скалящуюся гномиху, которая мелкими, неверными шажками спешила к ней. Она ринулась к вилле, влетела в открытую дверь, она слышала у себя за спиной семенящие шажки, она пробежала через вестибюль, потом через залу, где в камине потрескивал огонь, хотя на дворе стояло лето, нигде ни души — и только семенящие шажки за спиной. Она вбежала в некое подобие кабинета. Стены, заклеенные фотографиями Бенно, безмерно ее испугали. Первым ее побуждением было повернуться назад, но в зале, в отблесках камина, она снова увидела карлицу с огромной, безволосой головой, маленьким сморщенным личиком и большими глазами. Элен захлопнула двери кабинета и заперлась изнутри. Она была одна. Она бросилась в кожаное кресло, почувствовала непривычный сладковатый запах и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что ее со всех сторон зажали четыре нагих колосса, о которых впоследствии могла бы только сказать, что они были безволосые и что от них разлило оливковым маслом, которым они натерлись, отчего и стали скользкими, как рыбы. Ее раздели, как она ни сопротивлялась. Она услышала неудержимый смех и увидела женщину, которой восторгалась и завидовала и которую принимала за Монику Штайрман. Голая Дафна Мюллер сидела в кожаном кресле. Это она смеялась. Вдруг откуда-то возник профессор Винтер, голый, пузатый. За спиной у похотливого фавна она увидела карлицу. Та сидела на шкафу и с торжествующим видом взирала на Элен. Когда чернобородый сатир взял Элен, у нее в голове сверкнула мысль — именно сверкнула, это не просто устойчивое словосочетание, — мысль проникла в ее мозг, как проникает молния, и не осталось других мыслей, кроме одной — что все происходящее с ней происходит лишь по воле этой карлицы, которая загнала ее в этот кабинет, чтобы с ней, Элен, сделали то, чего страстно желала сама карлица, но чего с карлицей нельзя сделать, а потом, когда на нее бросился Бенно, а за ним четверо скользких бритоголовых, и все это — под неумолчный смех Дафны, Элен овладела, как единственная возможность сопротивления, как единственное оружие, непомерная похоть, она вскрикнула, она кричала, кричала, и похоть становилась тем ненасытнее, чем завистливее становился взгляд карлицы. Карлица дрожала всем телом, в глазах у нее выражалось нечто большее, чем безграничная зависть, казалось, будто она дрожит от горя, что не дано ей, карлице, изведать наслаждение, испытываемое той, которую насилуют по ее же приказу ее же холопы. Наконец карлица в полном ужасе закричала: "Прекратить!" — и разразилась безудержными всхлипываниями. Элен отпустили, карлицу унесли, она осталась в кабинете одна. Она собрала свою одежду, в зале еще не прогорел камин, она пробралась через вестибюль в темный парк, дошла до ворот. Ворота были не заперты, докончила Элен повествование, и она поехала домой на велосипеде.

Она помолчала. Потом спросила меня, не шокирован ли я ее рассказом. "Нет, — ответил я, — но рюмочка коньяку мне сейчас не повредила бы". Она налила мне и налила себе. Когда она вернулась, продолжала она свой рассказ, отец все еще был в кабинете. Сидел за письменным

столом. На нее почти не глянул. Она все ему рассказала. Тогда он подошел к бильярду и начал играть. А ее спросил, чего ей еще надо. Отомстить, сказала она. "Забудь про это", — сказал отец. Но она желала мести. Тогда он перестал играть и внимательно взглянул на нее. Он советовал ей не ходить туда, а она пошла. Это ее дело. Никто не обязан следовать советам, иначе совет будет не совет, а приказ. То, что случилось, не имеет значения, потому что оно уже случилось. Случившееся надо отбрасывать, кто не умеет забывать, тот бросается под колеса времени и дает себя раздавить. А она настаивает на мести. Детка, сказал отец, это он первый раз в жизни так ее назвал, все, что им до сих пор было сказано, это тоже не более как совет, но если она требует мести, прекрасно, будет ей месть. И это уж его дело. Потом он положил на бильярдное поле четыре шара и толкнул, только один раз, сперва послал шар в борт, оттуда шар откатился назад и столкнул другой шар в лузу. Винтер, сказал ее отец, когда очередной шар исчез в лузе. Бенно. Потом Дафна. А когда он сказал — Штайрман, на поле вообще ничего не осталось. А она? — спросила Элен. А она была кием, ответил он. И кий понадобился ему всего один раз. Что будет с ними? — спросила она. Они умрут, ответил отец. В той последовательности, которую он установил. А теперь пусть идет спать, ему надо поработать.

Этот разговор, продолжала она, немного помолчав, когда мы успели выпить по третьей, а из соседней комнаты слышался стук бильярдных шаров, этот разговор сохранился в ее памяти более зловещим, чем то, что произошло в "Мон-репо", у себя в комнате она погасила свет и долго в эту бесконечную ночь разглядывала немилосердные звезды, которым дела нет до того, есть ли на жалком, ничтожном шарике, каким является наша земля, жизнь или нет, а про человеческие судьбы и говорить нечего, и тут ее охватила злость, отец, конечно же, хотел, чтобы она туда пошла, и твердо надеялся, что любопытство увлечет ее. Но вот почему карлица избрала именно ее? Кому было предназначено унижение: Элен или отцу Элен? Если отцу, почему он тогда сначала отговаривал ее мстить? Хотел для себя решить вопрос, стоит ему вступать в борьбу или нет? Но во имя чего велась эта борьба? И кто кому в ней противостоял? Ее беспокоила мысль, что за кирпичным трестом, о котором отец неизменно вспоминал как бы в шутку, скрываются другие, куда более значительные предприятия и что он время от времени заводит речь о силиконе, которому принадлежит будущее, хотя все, кого она только ни спрашивала, утверждали в ответ, будто понятия не имеют, о чем это толкует отец. Может быть, между ним и Людевицем вспыхнула борьба? И случившимся с ней Штайрман давала понять ее отцу, что не желает больше терпеть его вмешательство?

Я задумался над ее рассказом. Одного не понимаю, сказал я, ваш отец рассказывал в Мюнхене про убийство, что мотив он привел ложный, не беда, пусть будет так, но вот что ему только перед рестораном пришла в голову мысль использовать револьвер англичанина — нет и нет, это совершенно неправдоподобно. Элен внимательно на меня поглядела. Неслыханно красивая была женщина. Ваша правда, сказала она, отец солгал. Они вдвоем обсудили это убийство. И бедный Шпет об этом догадался. Отец застрелил Винтера из своего собственного револьвера, потом сунул револьвер в карман министру, а уж потом она достала револьвер из кармана и по прибытии в Лондон выбросила его в Темзу. Министр

летел не на самолете компании "Свиссэр", усомнился я. Да, Штюсси-Лойпин был прав, выдвигая это возражение, отвечала она, но и Штюсси-Лойпин не мог знать, что она сопровождала министра по его личной просьбе. Для этого она регулярно навещала его в частной клинике. Она смолкла. Я оглядел ее. У нее за плечами была целая жизнь, и у меня за плечами была целая жизнь. "А Шпет?" — спросил я, но она уклонилась от моего взгляда. Я рассказал ей про свою встречу со Шпетом. Она выслушала. У Шпета создалось о ней ошибочное представление, спокойно сказала она, вот и у меня создается о ней ошибочное представление. Всего через несколько недель после той ночи она вступила в связь с Винтером, потом с Бенно — отсюда и ссора Бенно с Винтером и Дафны с Бенно, и ее разрыв со Штайерман; с кем она еще спала, по сути, не важно, но всеми подряд — вот, пожалуй, самый точный ответ. Она и сама себя не понимает. Она снова и снова пытается найти рациональное объяснение чему-то иррациональному, но ее поведение не зависит от разума. И может, все объяснения есть не более как предлог, чтобы оправдать собственную натуру, которая той ночью, в "Мон-репо", заявила о себе могучим прорывом, может, она тайне мечтает о все новых насилиях, ибо человек бывает свободным, лишь когда его насилуют, — свободным даже от собственной воли. Но это, разумеется, всего лишь один из вариантов объяснения. Недоброе чувство, что она была всего лишь орудием в руках своего отца, никогда ее не покидало. Все, кого он поименовал во время той игры на бильярде, умерли в им же названной последовательности. Штайерман — последней. Два года назад. По совету отца она вошла в оружейный концерн, отчего акционерное общество "Трэг" прогорело. А потом Монике Штайерман нашли мертвой на ее греческом острове. И четырех телохранителей, изрешеченных пулями. Причем Штайерман обнаружили лишь полгода спустя — она висела вниз головой, на оливе. Разве я этого не читал? Фамилия "Штайерман" ни о чем мне не говорила, ответил я. Когда в газетах было опубликовано сообщение об исчезновении Штайерман, сказала Элен, она обнаружила на столе у своего отца телеграмму, в которой не содержалось ничего, кроме строчки цифр 1171953, если воспринять эту строчку как дату, то получится день изнасилования. Но коль скоро убийство было совершено по поручению отца, кто его выполнил, и кто стоял за исполнителями, и кто стоял за теми, кто стоял за исполнителями? Означала ли смерть Монике Штайерман конец некоей экономической войны? Была ли эта война за власть чем-то рациональным или иррациональным? Что вообще творится в мире? Она не знает. Я тоже не знаю, сказал я.

"Но вернемся к Шпету", — предложил я, если, конечно, она не возражает. Она сказала, что не возражает; когда Шпет взялся за поручение ее отца, она надеялась, что он докопается. Докопается до чего? До того, кто подбил ее отца на убийство до нее. "Не очень логично", — сказал я. "Почему же?" — отвечала она, это она подбила. У нее же был выбор. Получается замкнутый круг, установил я, сперва она сваливала всю вину на отца, теперь на себя. Мы виноваты оба, сказала она. Ну, это уже какое-то сумасшествие. А она и есть сумасшедшая. "Дальше", — скомандовал я. Она не давала вывести себя из равновесия. Когда после того, как отца оправдали и он уехал, Шпет грубо накричал на нее и чуть-чуть не добрался до истины, она пошла к начальнику полиции и во всем ему призналась. "Это как понимать?" — спросил я. Она призналась, она призналась во всем, повторил

ла Элен. "Ну и что?" — спросил я. Она помолчала, потом ответила, что начальник полиции спросил ее точно так же: "Ну и что?" После чего раскурив сигару и сказал, будто все это — прошлогодний снег. Бенно сам лишил себя жизни, выяснять задним числом, кто именно стрелял, или — того больше — обшаривать Темзу в поисках револьвера не представляется возможным, бывают случаи, когда справедливость теряет смысл и обрацается в фарс. Она пускает идет домой, а он со своей стороны забудет, о чем она ему тут рассказывала. Почему ее отец ни единым словом не помянул Шпета? — спросил я. Он его забыл, ответила она. И Штюсси-Лойпина тоже, сказал я. Вообще-то очень странно, продолжала она, ее отец убежден, что убийство совершил не он, а Бенно. Она единственная, кому еще известно, что убийцей был ее отец. А точно ли ей это известно, спросил я, хоть и маловероятно, но, может быть, убийцей все-таки был Бенно. Она замотала головой. Нет, ее отец. Она осматривала револьвер, который вынула из кармана министра, а дома сама заряжала.

Я спросил, зачем она мне все это рассказала? Она в удивлении на меня воззрилась. Тогда с какой стати я переслал ей рукопись? Только чтобы докопаться до правды? Я прежде всего писатель, которого интересует не чужая правда, а своя собственная, я думаю только о том, чтобы написать роман, и больше ни о чем, и если когда-нибудь выйдет книга, то она будет подписана моим именем, а не именем Шпета. Кому принадлежит рукопись, мне или Шпету, знаю только я, а я утверждаю, что получил ее от начальника полиции. Она тоже знала старого болтуна, он часто бывал в гостях у нее и ее отца и пускался с ним в откровенности. Он вполне мог так же откровенничать и со мной. Но уж если я хочу ее использовать, то не надо описывать ее как гётевскую женщину, которых надо перепороть всех до единой, до того они занудные, если, конечно, не считать Филины, единственной из его творений, с которой старец и сам бы не прочь переспать. И Элен устремила перед собой неподвижный взгляд. Мимо окна, посвистывая, прошел все тот же паренек. Найду ли я сам дорогу? Я попрощался. Старик по-прежнему гонял шары. От борта душетом.

Без четверти два. Я захожу к себе в кабинет. Когда я устраивал его, из окна еще было видно озеро. Теперь вид на озеро загородили деревья. Нескольким деревьям даже пришлось срубить, те, которых еще не было, когда я сюда въехал. Рубить деревья очень грустно, их не рубят, их убивают. А дуб стал большой и могучий. По деревьям я ощущаю ход времени, своего времени. Не так, как определяю его при взгляде на небо. Не без печали я нахожу там Плеяды, Альдебарана, Капеллу, зимние звезды, хотя на дворе еще лето, — примета того, что за треть года становишься на год старше. В небе прокручивается объективное, поддающееся измерению время человека почти шестидесяти пяти лет от роду, субъективно же время движется вместе со мной и с деревьями в сторону смерти, и здесь его нельзя измерить, можно лишь ощутить. А как воспринимает время земля? Я гляжу на ночное озеро, оно совсем не изменилось, если отвлекаться от того, что натворили с ним люди. И как воспринимает свой возраст сама земля? Объективно? Кажется себе древней? Четырех с половиной миллиардов лет? Или субъективно считает, будто вступила в лучшую пору своей жизни, так как может миновать еще семь миллиардов лет, прежде чем ее испепелит солнце? Или она воспринимает время на

молниеносной скорости, когда ощущает самое себя нетерпеливой, безудержной силой, бурлит и клочочет внутри, отторгает континенты друг от друга, громоздит горы, смещает пласты, насыпает моря на сушу, а наше странствие по твердому основанию не есть ли в действительности ходьба по основанию шаткому, которое ежечасно, ежеминутно грозит развернуться и поглотить нас? И наконец, как обстоит дело с временем рода человеческого? Мы измерили его со всей доступной нам объективностью, мы подразделили его на древнее время, средние века, новое время и новейшее в чаянии еще более нового; существуют подразделения и более тонкие, когда, например, за наследием Востока следует эпоха греков, в которой смыкаются Цезарь и Христос, за ней по пятам грядет эпоха веры, Ренессанс радостным звоном возвещает век Реформации, а за ним идет век, когда неудержимо возрастает разум, он продолжает возрастать по сей день, все возрастает и возрастает, а на мелочи просто не стоит обращать внимания. Первая мировая война, и вторая, и Освенцим были всего лишь эпизодами, Чаплин более известен миру, чем Гитлер, в Сталина до сих пор верят одни албанцы, а в Мао — несколько перуанских террористов, сорок лет мира — это чего-нибудь да стоит, правда, не везде, по сути дела, только для сверхдержав, еще в Европе, ну и на Тихом океане — в общем и целом, и в Японии, добела отмытой от любого греха Хиросимой и Нагасаки, и даже Китай гостеприимно распахивает свои двери перед усилиями всевозможных бюро путешествий. Но как этот мирный период, если у него вообще сыщется время, чтобы так называть себя, как воспринимает свое время он? Останавливается ли оно в его восприятии, и если да, знает ли он, как с ним поступить? Убегают ли оно от него? А то и вовсе пронесится у него над головой, как ураган, как торнадо, швыряя автомобили друг на друга, срывая поезда с рельсов, разбивая гигантские лайнеры о скалы, предавая города огню? Как объективно раскручивается время нашего сорокалетнего, доступного измерению мира, время, когда настоящая война, во имя которой идет непрерывная гонка вооружений, кажется все более немислимой, хотя замыслы ее вынашиваются непрерывно? А наше мирное время, ради сохранения которого миллионы выходят на демонстрацию, носят транспаранты, подпевают рок-группам и молятся, не приняло ли оно уже давным-давно форму того, что мы некогда именовали войной, поскольку мы сами для собственного успокоения исправно уснащаем наш мир разными катастрофами? Всеобщая история сулит человечеству бесконечное время, для земли же, если судить объективно, оно, быть может, представляется лишь скоротечным эпизодом, даже меньше чем эпизодом — некий инцидент в пределах одной земной секунды, с точки зрения космической почти не поддающийся восприятию и оставляющий по себе едва заметный рубец. Едва поднявшись из земли, еще увязая в глине, дорийцы мнили, будто нападают на самих себя. Вот так и мы в действительности, едва уцелев после ледникового периода, нападаем на самих себя, будь то в дни мира, будь то в дни войны, мужчины на женщин, женщины на мужчин, мужчины на мужчин, женщины на женщин, руководимые не разумом, а инстинктом, имеющим за плечами на миллионы лет более длительное развитие, нежели разум, и непостижимым в своих мотивах. Вот так, грозя атомной, водородной, нейтронной бомбами, мы берегаем себя от самого страшного, подобно гориллам, бьем себя кулаками в грудь, дабы устроить стаи других горилл, и в то же время рискуем погибнуть от того самого мира, который

мы силамся уберечь, погибнуть, чтобы ветви мертвых лесов скрыли наше издыхание. Я устало возвращаюсь к своему письменному столу, к своему полю битвы, в сферу притяжения своих творений, но ни к какой иной действительности, кроме той, где их время истекло, их, а не наше. Я не сумел разгадать их, придуманных мною. Мои творения сами создали свою действительность, исторгнув ее из моего воображения и тем самым — из моей действительности, из времени, затраченного мною на то, чтобы их сотворить. Тем самым они тоже сделались частью нашей общей действительности и, соответственно, одной из возможностей, одну из которых мы в свою очередь называем мировой историей, точно так же закутанной в кокон наших фантазий. Но разве история, которая стала действительностью лишь в моем воображении и которая теперь, будучи написанной, покидает меня, содержит меньше смысла, чем мировая история, разве она менее сейсмостойчива, чем почва, на которой мы воздвигаем свои города? А бог? Если вообразить его сущим, разве он действовал по-другому, чем доктор h.c. Исаак Колер? Разве Шпет не был волен отказаться от поручения разыскивать убийцу, которого не было? Разве он не был вынужден найти убийцу, которого не было, подобно тому, как человек, вкусив плод с древа познания добра и зла, был вынужден найти бога, которого не было, найти черта? И не есть ли последний — вымысел, к которому прибегнул бог, чтобы хоть как-то оправдать свое неудачное творение? Кого считать виновным? Того, кто дает поручение, или того, кто его принимает? Того, кто запрещает, или того, кто пренебрегает запретом? Того, кто издает законы, или того, кто их нарушает? Того, кто предоставляет свободу, или того, кто ею пользуется? Нас погубит свобода, которую мы разрешаем другим и разрешаем себе. Я покидаю свой кабинет: освобожденный от моих творений, он опустел. Половина пятого. На небе я первый раз вижу Орион. Кого он преследует?

Фридрих Дюрренматт
22.9.85

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я начал писать "Правосудие" в 1957 году и рассчитывал закончить роман за несколько месяцев. Но тут вмешалась другая работа — "Франк V", а "Правосудие" осталось лежать. Дальнейшие попытки вернуться к роману завершались неудачей, последний раз — в 1980 году; он должен был стать тридцатым томом собрания моих сочинений. Но я потерпел неудачу: пытаясь продолжить действие, я решительно не мог вспомнить, как оно у меня было задумано. Весной 1985 года Даниэль Киль предложил мне издать "Правосудие" в виде фрагмента. Я согласился не без колебаний, решил дописать еще одну основную главу, но потом начал переписывать и дополнять роман, хотя и в другом смысле, чем было задумано сначала. В завершение хочу поблагодарить Шарлотту Керр, свою жену. Ей я обязан ценными советами, равно как и неустанным, критическим вниманием к моей работе.

**ГРЕК
ИЩЕТ
ГРЕЧАНКУ**

КОМЕДИЯ В ПРОЗЕ



GRIECHE SUCHT GRIECHIN

Eine ProsaKomödie
Zürich, 1955

Перевод Л. Черной

Дождь шел и шел час за часом, ночь за ночью, день за днем, неделя за неделей. Улицы, проспекты, скверы влажно поблескивали, вдоль тротуаров неслись потоки воды, текли реки и ручейки; машины плыли, люди пробирались, спрятавшись под зонтики, закутавшись в плащи; башмаки у них не просыхали, чулки — хоть выжми; с кариатид, подпиравших балконы дворцов и гостиниц, с лепных амурчиков и афродит на фасадах домов текло и капало, струи воды перемешивались с размокшим птичьим пометом, голуби прятались на эллинском фронтоном парламента, меж ног и торсов на историко-патриотических барельефах. Кошмарный январь. А потом пошли туманы — и опять день за днем, неделя за неделей; вспыхнула эпидемия гриппа; для людей порядочных, социально обеспеченных она не столь уж опасна, грипп унес, правда, нескольких богатых старичков и старушек, нескольких почтенных государственных мужей, но пачками он косил только бездомных бродяг, ютившихся под мостами у реки. А дождь лил и лил. Лил как из ведра.

Его звали Арнольф Архилохос, и мадам Билер за стойкой говорила: — Бедняжка. Какое немислимое имя. Огюст, принеси ему еще стакан молока.

А по воскресеньям она изрекала:

— Дай ему еще стакан перье.

Но ее муж Огюст, костлявый мужчина, занявший однажды первое место в легендарной велогонке "Тур де Сюис" и второе в еще более легендарном велокроссе "Тур де Франс" — он обслуживал посетителей в костюме гонщика, в желтой майке победителя (ведь приходили все свои, болельщики), — придерживался другого мнения об Архилохосе.

— Не понимаю, чем он тебе люб, Жоржетта, — говорил он утром, вставая с постели или нежась под одеялом, а также вечером, когда публика расходилась и экс-чемпион, забравшись за печку, мог поддержать в тепле свои тощие волосатые ноги, — не понимаю, чем люб этот Архилохос. Никакой он не мужчина, а просто растяпа. Нельзя же всю жизнь ничего не пить, кроме молока и минеральной воды.

— И ты прежде ничего другого не пил, — отвечала Жоржетта своим низким голосом и подбоченивалась, а если она лежала в кровати, то складывала руки на мощной груди.

— Согласен, — говорил Огюст после долгого размышления, во время которого он не переставая массировал себе ноги. — Но у меня была цель: прийти первым в "Тур де Сюис", и я пришел первым, хотя брал такие высокие перевалы; и в "Тур де Франс" я тоже чуть не пришел первым. Ради этого стоило себе во всем отказывать. С Архилохосом ты меня не равняй. Он даже с женщинами не спал, хоть ему уже сорок пять.

Последнее огорчало и мадам Билер. Она приходила в смущение всякий раз, когда Огюст, лежа в кровати или расхаживая по комнате в своем костюме гонщика, касался этой темы. Нельзя отрицать, что у мсье Арнольфа — так мадам называла Архилохоса — были свои твердые принципы. К примеру, он не курил. А уж о крепких словечках и говорить нечего. Наконец, Жоржетта не могла представить себе Арнольфа в ночной рубашке и уж тем более — голым: настолько он был всегда подтянутым и застегнутым на все пуговицы, хотя одет был бедновато.

Мир его стоял неизбежно: все было разложено по полочкам, высококонтрастно, жесткая иерархия. И во главе этой системы, этого нравственного миропорядка возвышался президент государства.

— Поверьте мне, мадам Билер, — говорил иногда Архилохос, почтительно взирая на портрет президента в рамке из эдельвейсов, который висел позади стойки над бутылками из-под водки и ликеров. — Поверьте мне, наш президент — трезвенник, мудрец, почти святой. Не курит, не пьет, уже тридцать лет как овдовел. Можете сами прочесть об этом в газетах.

Мадам Билер не решалась возражать по существу. Она, как и все ее сограждане, испытывала почтение к президенту — ведь он был единственной твердыней в беспокойной политической жизни страны, в этой чехарде, где правительства без конца сменяли одно другое, — испытывала почтение, хотя столь безупречная добродетель пугала ее. Трудно было в это поверить.

— Мало ли что пишут в газетах, — говорила Жоржетта нерешительно, — пусть себе пишут, но как оно там на самом деле — никому не ведомо. Все знают, что газеты врут.

— Нет, — отвечал Архилохос, — неверно. Мир, в сущности, исполнен нравственности. — И при этом он размеренными глотками допивал перье да так торжественно, словно то было шампанское. — Огюст тоже верит газетам.

— Ну что вы, — возражала хозяйка, — уж мне-то лучше знать. Огюст не верит газетам, ни одному их слову.

— Разве он не верит спортивной хронике, которую печатают газеты? С этим мадам Билер не могла спорить.

— Добродетель всем видна, — продолжал Архилохос, протирая свои очки без оправы, с погнутыми дужками. — Она светится на лице президента, и на лице моего епископа она тоже светится. — При этом Архилохос бросал взгляд на портрет, висевший над дверью.

Мадам Билер протестовала: епископ, говорила она, довольно-таки толстый мужчина, уж он-то никак не может быть добродетельным.

Однако и в этом пункте Архилохоса нельзя было поколебать.

— Такая у него комплекция, — возражал он, — если бы он не жил добродетельно, как мудрец, он был бы еще толще. Вот посмотрите на Фаркса: невоздержанный субъект, неумный гордец. Законченный грешник. И к тому же тщеславный. — Большим пальцем он через правое плечо указывал на изображение пресловутого революционера.

Но мадам Билер не сдавалась.

— Какое уж там тщеславие, — заявляла она, — при эдакой физиономии и всклокоченной шевелюре. Да еще при его-то социальных симпатиях.

Арнольф возражал, что у Фаркса, дескать, особый вид тщеславия.

— Не понимаю, почему здесь красуется этот совратитель. Ведь его только что выпустили из тюрьмы.

— Никогда не знаешь, как все обернется, — говорила в таких случаях мадам Билер, залпом выпивая бокал кампари. — Никогда не знаешь. В политике тоже надо быть осторожным.

Возвратимся, однако, к портрету епископа. Портрет Фаркса висел на противоположной стене. Епископ занимал второе место в иерархическом миропорядке господина Архилохоса. То был не католический епископ, хотя мадам Билер была на свой лад доброй католичкой: она ходила в церковь — если ей случалось туда зайти, — чтобы самозабвенно поплакать (точно так же самозабвенно она плакала и в кино). То был также не протестантский епископ, хотя Огюст Билер (Густы, сын Гёду Билера), выходец из немецкой Швейцарии (Гроссафолтерн), этот "корифей велогонок, которого Швейцария дала миру" ("Спорт" от 9 сентября 1929 года) как сторонник Цвингли¹, не признавал вообще никаких епископов, впрочем, сам он и не подозревал, что является цвинглианцем. Тот епископ на стене был главой старо-новопресвитериан предпоследних христиан, довольно-таки редкой и путаной секты, импортированной из Америки; теперь он висел над дверью, потому что Архилохос впервые предстал перед Жоржеттой с его портретом под мышкой.

Это было девять месяцев назад. Майский день, на улицах — яркие солнечные блики, в маленькой закускойной — косые снопы света, золотившие и без того золотистую майку Огюста, а также его унылые волосатые ноги велогонщика, как бы окутывая их мерцающим облаком.

— Мадам, — сказал тогда Архилохос робко, — я пришел к вам потому, что в вашем заведении висит портрет нашего президента. Прямо над стойкой, на самом видном месте. Меня как патриота это радует. Я ишу ресторанчик, где мог бы столоваться. По-домашнему. Я хотел бы иметь постоянное место, лучше всего в углу. Я одинок, работаю бухгалтером, веду размеренный образ жизни, совершенно не употребляю спиртного. Не курю. И, конечно, не произношу бранных слов.

Они столковались насчет цены.

— Мадам, — заговорил Архилохос снова, передавая хозяйке портрет и меланхолично разглядывая ее через свои грязноватые и немодные очки, — мадам, разрешите обратиться к вам с просьбой: повесьте, пожалуйста, на стенку этого старо-новопресвитерианского епископа предпоследних христиан. Желательно рядом с президентом. Я не могу есть в помещении, где нет этого портрета. Именно потому я и ушел из столовой

¹Цвингли, Ульрих (1484 — 1531) — деятель Реформации в Швейцарии, который, так же как и Лютер, вел борьбу с католицизмом. Последователи Цвингли примкнули к кальвинистской церкви.

Армии спасения, в которой питался до сих пор. Я чту епископа. Он пример абсолютного трезвенника, настоящего христианина.

Так получилось, что Жоржетта повесила у себя епископа предпоследних христиан — правда, всего лишь над дверью, — и он висел там, безмолвный и убогатворенный, человек чести; только иногда его предавал Огюст, кратко и ясно отвечая на вопрос немногих любопытных:

— Мой коллега по спорту.

Через три недели Архилохос принес второй портрет. Фотографию с факсимиле. На фотокарточке был изображен Пти-Пейзан — владелец машиностроительного концерна "Пти-Пейзан". Архилохос сказал, что ему было бы приятно, если бы в закуской висел также Пти-Пейзан. Может быть, его стоило бы повесить вместо Фаркса. Оказалось, что в основном на нравственных принципах миропорядке Архилохоса владелец машиностроительного концерна занимал третье место. Но мадам Жоржетта была против.

— Пти-Пейзан производит пулеметы, — сказала она.

— Ну и что?

— Танки.

— Ну и что?

— Атомные пушки.

— Не забывайте электробритву Пти-Пейзана и родовспомогательные щипцы Пти-Пейзана, мадам Билер. Исключительно гуманные изделия.

— Мсье Архилохос, — торжественно возвестила Жоржетта, — я должна вас предостеречь: никогда не имейте дела с Пти-Пейзаном.

— Я служу у него, — ответил Арнольф.

Жоржетта рассмеялась.

— Раз так, — сказала она, — зря вы пьете одно только молоко и минеральную воду, зря не едите мяса. — (Архилохос был вегетарианец.) — И не живете с женщинами. Пти-Пейзан выполняет поставки для армии, а когда армия обеспечена поставками, начинается война. Это уж всегда так.

Архилохос стоял на своем.

— Но не при нашем президенте! — воскликнул он. — Не у нас.

— Как же!

На это Архилохос, ничуть не смутившись, ответил, что мадам, мол, ничего не знает о санатории для беременных работниц и о домах призрения для престарелых рабочих-инвалидов, которые открыл Пти-Пейзан. Вообще Пти-Пейзан человек нравственный, можно сказать, настоящий христианин.

Но мадам Билер была непреклонна, и получилось так, что, кроме первых двух столпов миропорядка господина Архилохоса (он сидел в своем углу, окруженный болельщиками, бледный, застенчивый, немного расплывшийся), третьим в ее заведении висел тот, кто в этом миропорядке был последним звеном, воплощением негативных явлений, а именно Фаркс, коммунист, устроивший путч в Сан-Сальвадоре и революцию на Борнео. Ибо и номер четвертый Арнольфу тоже не удалось протащить.

Передавая Жоржетте еще одну картинку — на сей раз репродукцию, и притом дешевенькую, — Архилохос предложил повесить ее где угодно, ну хотя бы под Фарксом.

Жоржетта спросила, кто это намалевал, и с удивлением воззрилась на

треугольные четырехугольники и на искривленные круги, представившиеся ее взору.

— Пассап.

Оказалось, что мсье Арнольф — поклонник этой мировой знаменитости. Тем не менее Жоржетта никак не могла понять, что изображено на картине.

— Подлинная жизнь, — утверждал Архилохос.

— Но ведь внизу написано "Хаос"! — воскликнула Жоржетта и показала на правый нижний угол репродукции.

Архилохос покачал головой:

— Великие художники творят бессознательно. Я убежден, что это полотно изображает подлинную жизнь.

Однако никакие доводы не помогли, и это так разобидело Архилохоса, что он не приходил в закусочную целых три дня. Потом он опять явился, постепенно мадам Билер вошла в курс жизни мсье Арнольфа, если вообще можно назвать это существование жизнью, таким оно было размеренным, упорядоченным и ни с чем не сообразным. Выяснилось, например, что в миропорядке Архилохоса были еще номера — от пятого до восьмого включительно.

Номером пятым шел Боб Форстер-Монро, посол Соединенных Штатов. Правда, он не являлся старо-новопресвитерианцем предпоследних христиан, а был всего лишь старопресвитерианцем предпоследних христиан — обидное, но не безнадежное различие, о котором Архилохос, человек отнюдь не нетерпимый, мог рассуждать часами. (Не считая всех других религий, он решительно отвергал и новопресвитериан предпоследних христиан.)

Номером шестым шел мэтр Дютур.

Номером седьмым — Эркюль Вагнер, ректор университета.

В свое время адвокат Дютур защищал давным-давно обезглавленно-го убийцу — садиста, который был младшим проповедником у старо-новопресвитериан ("Это плоть изнасиловала его дух, душа осталась неоскверненной"). Что же касается ректора университета, то он посетил как-то раз студенческое общежитие предпоследних христиан и минут пять беседовал со вторым номером миропорядка (епископом).

Под номером восьмым шел Биби Архилохос, брат Арнольфа, большой души человек, как его охарактеризовал Архилохос, но безработный, что немало удивило Жоржетту, ведь благодаря стараниям Пти-Пейзана вся страна была пристроена к делу.

Архилохос жил в каморке под крышей неподалеку от закусочной "У Огюста" — так называлось заведение чемпиона велоспорта, — и ему приходилось тратить больше часа, чтобы добраться до белого двадцатиэтажного административного здания машиностроительного концерна Пти-Пейзана, которое построил Ле Корбюзье. Каморка Арнольфа помещалась в мансарде на шестом этаже. Вонючий коридор, в комнатке негде повернуться, косой потолок, обои неопределенного цвета, стул, стол, койка, Библия, выходной костюм, прикрытый простыней. Зато на стене... Во-первых — президент, во-вторых — епископ, в-третьих — Пти-Пейзан, в-четвертых — репродукция картины Пассапа (четыреугольные треугольники), и так далее вплоть до Биби (семейная фотография: родители и детишки). Вид из окна: грязная стена общественной уборной всего на расстоянии двух метров, подозрительные подтеки — белые, желтые и зе-

ленные; ровные ряды открытых вонючих окошек; только в разгар лета около полудня в каморку откуда-то сверху проникало солнце; вдобавок все время слышался шум спускаемой воды. Что касается рабочего места, то Архилохос сидел вкуче с пятьюдесятью другими бухгалтерами в большом, разделенном стеклянными перегородками зале, напоминающем лабиринт; передвигаться по нему можно было только зигзагами; восьмой этаж, объединение акушерских щипцов: нарукавники, карандаш за ухом, серый рабочий халат, обед в столовке при предприятии, где Архилохос чувствовал себя несчастным, потому что там не было портретов президента и епископа, а только портрет Пти-Пейзана (номер три). Собственно говоря, Архилохос числился не бухгалтером, а всего лишь помощником бухгалтера. А если выразиться точнее — младшим помощником бухгалтера. Словом, он являлся одним из последних помощников бухгалтера, если вообще можно употребить термин "последний", поскольку число бухгалтеров и помощников бухгалтеров в концерне Пти-Пейзана практически приближалось к бесконечности. Но, даже занимая эту незначительную, чуть ли не последнюю должность, наш Архилохос зарабатывал гораздо лучше, чем это можно было предположить, судя по его мансарде. К полутемной, окруженной уборными трущобе его приковывал Биби.

2

С номером восьмым (братом) мадам Билер познакомилась. Это произошло как-то в воскресенье. Арнольф пригласил Биби Архилохоса отобедать "У Огюста".

Биби появился с одной законной и двумя незаконными женами и семью детками; старшие, Теофил и Готлиб, были уже почти взрослые. Тринадцатилетняя Магда-Мария привела поклонника. Сам Биби оказался горьким пьяницей; жену его сопровождал "дядюшка", как его называла вся семья, — отставной моряк, от такого не избавишься. Поднялся адский шум, даже болельщики ахнули. Теофил хвастался тем, что сидел в тюрьме, Готлиб — тем, что участвовал в ограблении банка, Маттиас и Себастьян, двенадцати и девяти лет от роду, не расставались с финками, а оба младших мальчика, близнецы шести лет — Жан-Кристоф и Жан-Даниэль, — подрались из-за бутылки настойки.

— Что за люди! — воскликнула возмущенная Жоржетта, когда вся эта банда удалась.

— Они еще дети, — успокаивал ее Архилохос, уплачивая по счету (половину своего месячного оклада).

— Послушайте, — возмутилась мадам Билер, — ваш брат содержит, по-моему, целую шайку разбойников. И вы еще даете ему деньги? Чуть ли не все, что зарабатываете?

Но и в этом пункте Архилохоса нельзя было переубедить.

— Нужно смотреть в корень, мадам Билер, — сказал он. — Нужно смотреть в корень, а корень у них здоровый. Как у всех людей. Внешность обманчива. Мой брат, его супруга и их детки — благородные создания, пожалуй только плохо приспособленные к жизни в этом мире.

И вот Архилохос опять пришел в маленькую закусочную — было снова воскресенье, половина десятого утра, — пришел на этот раз по другому поводу, с красной розой в петлице. И Жоржетта с нетерпением дождалась

его... Во всем был, в сущности, виноват этот нескончаемый дождь, и туман, и холод, и непросыхающие носки, и эпидемия гриппа, и еще то, что грипп перешел в желудочный и Архилохос — мы ведь знаем его жилищные условия — из-за постоянного шума не мог сомкнуть глаз. Все это заставило Арнольфа изменить свою позицию: чем выше поднималась вода в сточных канавах, тем покладистей он становился, а мадам Билер все настойчивей заводила речь на одну тему, которая ее чрезвычайно задевала.

— Вам надо жениться, мсье Арнольф, — говорила она. — Что за жизнь у вас в этой каморке под крышей? И нельзя вечно быть в обществе болельщиков, вы ведь человек с культурными запросами. Вам необходима жена, которая бы о вас заботилась.

— Обо мне заботитесь вы, мадам Билер.

— Бросьте, если вы женитесь, все будет по-другому. Уютное гнездышко. Сами увидите.

Наконец она вырвала у него согласие поместить брачное объявление в газете "Ле суар". И тут же принесла бумагу, ручку и чернила.

— "Холостой бухгалтер, сорок пять лет, старо-новопресвитерианин, чуткий, ищет старо-новопресвитерианку", — предложила она.

— Это лишнее, — сказал Архилохос, — я сам обращаю свою жену в истинную веру.

Жоржетта согласилась:

— "...ищет милую, веселую жену своего возраста. Можно вдову".

Но Архилохос заявил, что нужна обязательно девушка.

Жоржетта стояла на своем.

— О девушке забудьте, — сказала она твердо. — У вас никогда не было женщины, а хотя бы один из двоих должен знать, как это делается.

Но тут мсье Арнольф осмелился возразить, что он, мол, представлял себе объявление совершенно иначе.

— Как именно?

— *Грек ищет гречанку!*

— Господи! — поразилась мадам Билер. — Разве вы грек? — спросила она и уставилась на господина Архилохоса, слегка обрюзгшего, неуклюжего мужчину, скорее, северного склада.

— Видите ли, мадам Билер, — сказал он застенчиво, — люди действительно представляют себе греков не такими, каким стал я. И впрямь, мой предок давным-давно переселился в эту страну, чтобы погибнуть в битве при Нанси на стороне Карла Смелого. Так что я не очень-то похож на грека. Согласен. Но сейчас, мадам Билер, в этот туман и службу, в этот дождь, меня так же, как почти каждую зиму, тянет на родину, которую я никогда не видел. Я мечтаю о Пелопоннесе, о его красноватых скалах и голубом небе. Я как-то прочел об этом в "Матче". Вот почему я непременно хочу жениться на гречанке, наверно, и она в этой стране чувствует себя такой же одинокой.

— Вы поэт в душе, — ответила Жоржетта, вытирая слезы.

И смотри-ка, уже на третий день Архилохосу пришел ответ. Маленький надушенный конвертик с голубым, как небо Пелопоннеса, листочком бумаги. Хлоя Салоники писала ему, что она одинока, и спрашивала, когда им можно встретиться.

По совету Жоржетты он ответил в письменной форме, предложив

Хлое встретиться ”У Огюста” в январское воскресенье такого-то числа. Они узнают друг друга по красной розе.

Архилохос надел свой темно-синий костюм, справленный еще к конфирмации, но забыл пальто дома. Он волновался. Думал, не повернуть ли ему назад, не забраться ли в свою мансарду, и впервые ощутил недовольство, увидев, что у дверей закуской его поджидает Биби, с трудом различимый в тумане.

– Гони монету, – сказал Биби, протягивая свою братскую раскрытую ладонь. – Магде-Марии необходимо брать уроки английского.

Архилохос удивился.

– У нее новый кавалер, вполне приличный, – разъяснил Биби, – но говорит он только по-английски.

Архилохос с красной розой в петлице дал Биби деньги.

Жоржетта тоже не находила себе места, один Огюст, как всегда, когда в кафе не было народу, спокойно сидел в своем костюме велогонщика у печки, потирая голые ноги.

Мадам Билер прибирала на стойке.

– Интересно, какая она. Можно лопнуть от любопытства, – сказала Жоржетта, – держу пари, что толстая, но милашка. Надеюсь, не слишком старая, ведь про это она ничего не пишет. Да и кто признается в таких вещах?

Чтобы немного согреться, Архилохос заказал стакан горячего молока.

Хлоя Салоники вошла в закускую как раз в ту минуту, когда он протирал очки, запотевшие от пара, который подымался над стаканом.

По близорукости Архилохос увидел сначала только нечто расплывчатое, овал лица и под ним где-то справа большое красное пятно – розу, как он догадывался, но молчание, которое вдруг воцарилось в забегаловке, гробовая тишина, не прерываемая ни звяканьем стаканов, ни человеческим дыханием, так встревожила его, что он не смог сразу нацелить очки. Однако лишь только это удалось ему, как он снова снял их и опять стал в волнении протирать стекла. Произошло нечто невероятное. В этой дыре, в туманный и дождливый день свершилось чудо! К обрюзгшему холостяку, к застенчивому растяпе, загнанному судьбой в вонючую каморку под крышей и не пьющему ничего, кроме молока и минеральной воды, к этому младшему помощнику бухгалтера, изнывающему от своих принципов и страхов, разгуливающему в мокрых рваных носках, в измятой рубашке, в куцем костюмчике и в стоптанных башмаках, – к этому человеку, у которого в голове была сплошная каша, явилось волшебное создание, чудо красоты и грации, настоящая маленькая принцесса; немудрено, что Жоржетта не смела шелохнуться, а Огюст стыдливо спрятал за печку свои ноги велогонщика.

– Господин Архилохос? – раздался тихий, нерешительный голосок.

Архилохос поднялся и зацепил рукавом стакан, молоко пролилось на его очки. Он с трудом надел их опять и, застыв на месте, глядел на Хлою Салоники сквозь молочные струйки.

– Принесите мне еще молока, – проговорил он наконец.

– О, – рассмеялась Хлоя, – мне тоже.

Архилохос сел, не в силах оторвать глаз от красавицы и не смея пригласить ее за свой столик. Ему было страшно, эта нереалистическая ситуация подавляла его, и он не отваживался вспоминать о своем объявлении; розу он смущенно вытащил из петлицы пиджака. Он ждал,

что Хлоя вот-вот разочарованно повернется к дверям и исчезнет навсегда. А может быть, он думал, что все это ему только снится. Он был беззащитен перед красотой девушки, перед чудом, которое было невозможно постичь и которое, по его мнению, не могло продлиться более нескольких секунд. Он чувствовал себя смешным уродом и вдруг с необычайной ясностью представил себе свое жилище, беспросветность рабочего квартала, в котором он прозябал, и все унылое однообразие работы младшего помбуха; но тут девушка присела к нему за столик и взглянула на него своими огромными черными глазами.

— Ах, — сказала она счастливым голосом, — я и не знала, что ты такой славный. И я рада, что мы, греки, нашли друг друга. Подвинься ближе, у тебя на очках молоко. — Она сняла с него очки и вытерла их, очевидно, своим шарфом, так показалось близорукому Архилохосу, а потом принялась дышать на стекла.

— Мадемуазель Салоники, — с трудом выдавил из себя Архилохос. Казалось, он произносит свой смертный приговор. — Я, может быть, уже и не совсем настоящий грек. Моя семья эмигрировала во времена Карла Смелого.

— Грек всегда остается греком, — рассмеялась Хлоя. Потом она надела на него очки, и Огюст принес молоко.

— Мадемуазель Салоники...

— Зови меня просто Хлоя, — сказала она, — и говори мне "ты", мы ведь поженимся, я хочу выйти за тебя замуж, потому что ты грек. Мне хочется, чтобы ты был счастлив.

Архилохос покраснел.

— Хлоя, я в первый раз в жизни беседую с девушкой, — выдавил он из себя наконец. — Из женщин я разговаривал раньше только с мадам Билер.

Хлоя молчала. Она, очевидно, думала о чем-то своем, и они пили горячее молоко, от которого шел пар.

Дар речи вернулся к мадам Билер только после того, как Хлоя и Архилохос вышли из закуской.

— Какой шик, — сказала она, — глазам своим не верю. А за эти браслет и колье она, наверно, отдала сотни тысяч франков, здорово потрудилась. А манто ты видел? Не знаю, что и за мех! О лучшей жене мечтать нельзя.

— Совсем молоденькая, — не мог прийти в себя Огюст.

— Положим, ей уже за тридцать, — ответила Жоржетта и налила себе стакан кампари с содовой. — Но она следит за собой. Небось каждый день у нее массаж.

— И у меня тоже был массаж, когда я занял первое место в "Тур де Сюис", — сказал Огюст и с грустью взглянул на свои костлявые ноги. — А какие у нее духи!

3

Хлоя и Архилохос стояли на улице. Дождь все еще шел. И был густой туман, мрак и пронизывающий холод.

Наконец Архилохос прервал молчание и сказал, что на набережной

напротив Всемирной организации здравоохранения есть безалкогольный ресторан, очень дешевый.

Архилохос мерз — ведь он был в одном потрепанном мокром костюме, справленном еще к конфирмации.

— Возьми меня под руку, — предложила Хлоя.

Помбух смутился. Он толком не знал, как это делается. И только изредка осмеливался взглянуть на девушку, которая легкими шажками пробиралась сквозь туман, накинув на черные волосы серебристо-голубой платочек. Архилохос немного стеснялся. В первый раз он шел вдвоем с девушкой — собственно, он был рад туману. Часы на церкви пробили половину одиннадцатого. Они шли по пустынным улицам предместья, на мокром асфальте отражались ряды домов. Эхо их шагов отбрасывали стены. Казалось, Арнольф и Хлоя идут по сводчатому подземелью. Кругом ни души, но вот навстречу из плотного тумана вынырнул голодный пес, грязный, промокший насквозь спаниель, черный с белым, уши и язык спаниеля уныло висели. Оранжевый свет уличных фонарей казался тусклым. Мимо Арнольфа и Хлои промчался, бессмысленно сигналив, автобус. Наверно, шел к Северному вокзалу. Ошеломленный пустынной улицей, этим воскресеньем и непогодой, Архилохос прижался к мягкому меху, ища укрытия под маленьким красным зонтиком Хлои. Они шагали в ногу, почти как настоящая любовная парочка. Где-то в тумане гнусаво запели — это была Армия спасения, а из окон домов по временам доносилась музыка — по телевидению передавали утренний концерт, какую-то симфонию, не то Бетховена, не то Шуберта, и во все эти звуки врывались гудки машин, плутавших в тумане. Арнольф и Хлоя спустились к реке — так им по крайней мере казалось; одинаковые улицы сменяли друг друга, видны были только куски мостовой, да и то когда светлело; все остальное растворилось в серой пелене. Потом потянулся длинный-предлинный бульвар со скучными однообразными фасадами домов по обеим сторонам, и стало ясно, что они шли теперь мимо особняков давно прогревших банкиров и отцветших кочетков, особняков с дорическими и коринфскими колоннами у подъездов, с чопорными балконами и высокими окнами в бельэтаже, освещенными или заколоченными, мокрыми и призрачными.

Хлоя начала рассказывать. Она рассказывала историю своей юности, столь же необыкновенную, как она сама. Она говорила запинаясь, порой смущенно. Но самые неправдоподобные эпизоды не вызывали сомнения у младшего бухгалтера — ведь и то, что он переживал сейчас, походило на сказку.

Хлоя была сиротой (по ее словам), родилась в греческой семье, эмигрировавшей с Крита, там они замерзали в суровые зимы. В бараке. А потом Хлоя осталась одна-одинешенька. Она росла в трущобах, ходила в лохмотьях, грязная, как тот черный с белым спаниель; воровала фрукты с лотков и монетки из церковных кружек. Ее преследовала полиция, за ней охотились торговцы живым товаром. Она спала в пустых бочках и под мостами вместе с бродягами, пугливая и недоверчивая, как зверек. А потом ее подобрала чета археологов, подобрала в буквальном смысле этого слова во время вечерней прогулки; девочку поместили в школу к монахиням, и вот она подросла и стала прислугой у своих благодетелей; приличная одежда, приличное питание, в общем и целом — ужасно трогательная история.

— Чета археологов? — удивился Арнольф. Такого он еще не слышал.

Хлоя Салоники разъяснила, что это супруги, которые занимаются археологией и производят в Греции раскопки.

— Они обнаружили там храм с ценными статуями, который погрузился во мхи. Храм с золотыми колоннами, — добавила она.

Он спросил, как зовут супругов.

Хлоя немного замялась. Казалось, она подыскивала подходящее имя.

— Джильберт и Элизабет Уимэны.

— Знаменитые Уимэны?

(Только что в "Матче" была напечатана об Уимэнах статья с цветными иллюстрациями.)

— Они самые.

Арнольф сказал, что он включит их в свой миропорядок, основанный на нравственных принципах, под номерами девять и десять, а может быть, и под номерами шесть и семь, мэтр Дютур и ректор университета тогда перейдут, соответственно, на номера девять и десять, что, впрочем, тоже весьма почетно.

— У тебя есть свой миропорядок? — с удивлением спросила Хлоя. — Что это такое?

Архилохос ответил, что каждому человеку необходимо иметь в жизни опору, а также нравственные образцы для подражания. И его, Архилохоса, путь был нелегким, хотя он и не рос среди убийц и бродяг; они с братом Биби воспитывались в сиротском приюте; после этого он начал рассказывать Хлое о своем высокоморальном миропорядке.

4

Погода исправилась, но вначале они этого даже не заметили. Дождь перестал, в тумане появились просветы. Теперь он как бы стал прозрачным; над виллами, банками, правительственными зданиями и дворцами клубились, сплетались, подымались ввысь и постепенно таяли нескончаемые драконы, неповоротливые медведи и люди-гиганты. Сквозь скопления тумана проглядывало голубое небо, вначале, правда, тускло, еле заметно, как предвестник весны, которая придет еще не скоро; голубые пятна были сперва очень блеклыми, но потом они стали яснее, лучезарнее, ярче. На мокром асфальте вдруг обрисовались тени домов, уличных фонарей, памятников, и внезапно каждый предмет обрел необычайную четкость и заблестел в потоках света.

Архилохос и Хлоя очутились на набережной перед дворцом президента. Бурая река чудовищно вздулась. Через нее были перекинuty мосты с ржавыми чугунными решетками, под ними плыли пустые баржи, увешанные детскими пеле ками, на палубах прогуливались промерзшие капитаны с трубками в зубах. Улицы по случаю воскресенья были полны народа. Вдоль тротуаров шпалерами выстроились важные старики со своими разряженными в пух и прах внуками, целые семьи. Повсюду были видны полицейские, фоторепортеры, журналисты — очевидно, они ожидали президента. И вот он выехал из дворца в своей исторической карете, запряженной шестеркой белых лошадей, а вокруг кареты гарде-

вали лейб-гвардейцы в золотых шлемах с белыми плюмажами; президент должен был, наверно, совершить акт государственной важности — освятить памятник, или прикрепить орден к чьей-то груди, или открыть сиротский приют. Цоканье копыт, фанфары, крики "ура", мелькание шляп в воздухе, омытом туманом и дождем.

И тут-то случилось нечто непостижимое.

В ту самую секунду, когда президент поравнялся с Хлоей и Архилохосом и Арнольф, обрядованный неожиданной встречей с номером первым его миропорядка (который он как раз собирался разьяснить Хлое), уставился на своего седого бородатого кумира — лицо президента в позолоченном переплете каретного окошка было точь-в-точь как на фотографии, висевшей у мадам Билер над бутылками перно и кампари, — в ту самую секунду президент поздоровался с младшим бухгалтером, махнув ему рукой, будто Архилохос был его закадычный приятель. Рука его превосходительства в белой перчатке настолько явственно взмахнула и жест этот столь недвусмысленно относился к Архилохосу, что два полицейских с заливчатскими усами вытянулись перед бухгалтером во фронт.

— Президент поздоровался со мной, — пролепетал ошеломленный Архилохос.

— А почему бы ему не здороваться с тобой? — спросила Хлоя Салоники.

— Но ведь я человек маленький.

— Он — президент. Стало быть, всем нам отец, — так откомментировала странное происшествие Хлоя.

Но тут произошло новое событие, которого Архилохос, правда, также не понял, но которое преисполнило его еще большей гордостью.

Собственно, он как раз собрался поговорить о номере втором своего миропорядка, о епископе Мозере, и о той глубокой пропасти, которая разделяет старо-ново и просто старопресвитериан предпоследних христиан, а затем вкратце остановиться на новопресвитерианах (этом скандальном явлении внутри пресвитерианской церкви), как вдруг они увидели Пти-Пейзана (номер третий миропорядка Архилохоса, до которого, в сущности, речь еще не дошла). Пти-Пейзан вышел не то из Международного банка, находившегося в пятистах метрах от президентского дворца, не то из собора святого Луки, расположенного рядом с банком. Одет он был с иголки — пальто, цилиндр, белый галстук; прямо-таки лоснился от элегантности. Его шофер уже распахнул дверцу "роллс-ройса", и в эту секунду Арнольф заметил Пти-Пейзана. Он растерялся. Это было небывалое событие в его жизни, и притом поучительное, если вспомнить, что он как раз разьяснял Хлое свой миропорядок. Миллионер не знал Архилохоса, да и не мог знать, поскольку Архилохос был всего лишь младшим помощником бухгалтера в объединении акушерских щипцов, и именно это обстоятельство дало Архилохосу мужество указать перстом на великого человека, но не дало ему мужества поздороваться с ним (нельзя же здороваться с высшим существом!). Итак, Архилохос, хоть он и испугался, все-таки чувствовал себя защищенным — ведь он мог незамеченным пройти мимо всемогущего промышленника. Но тут во второй раз, как только что с президентом, случилось чудо: Пти-Пейзан ухмыльнулся, снял цилиндр, помахал им и отвесил любезный поклон побледневшему Архилохосу, а потом, опустившись на мягкое сиденье

своего лимузина, еще раз взмахнул рукой, и машина умчалась.

— Это был Пти-Пейзан, — тяжело дыша, пробормотал Архилохос.

— Ну и что?

— Номер третий моего миропорядка.

— Ну и что?

— Он мне поклонился!

— Надо надеяться.

— Но я всего лишь помощник бухгалтера и работаю еще с пятьюдесятью другими помощниками бухгалтеров во второстепенном подотделе отдела акушерских щипцов! — воскликнул Архилохос.

— Стало быть, у него есть социальное чутье, — заявила Хлоя твердо, — и он достоин занять третье место в твоём миропорядке, основанном на нравственности.

По-видимому, она никак не могла уразуметь, насколько поразительно было это происшествие.

Чудесам воскресного дня конца не предвиделось, да и сам этот зимний день становился все лучезарней, все теплей, небо все голубело; это уже было какое-то невероятное небо. С Архилохосом, который шагал со своей гречанкой то по мостам с чугунными решетками, то по старым аллеям парка мимо полуобвалившихся дворцов, теперь здоровался, казалось, весь огромный город. И сердце Арнольфа наполнялось гордостью, он приосанился, его походка стала непринужденной, лицо просветлело. Он уже представлял собой нечто более значительное, нежели простой младший помощник бухгалтера. Он был счастливым человеком! Из кафе и автобусов ему махали рукой вылощенные молодые люди, ему кланялись солидные господа с серебристыми висками, с ним поздоровался даже увешанный орденами бельгийский генерал, который вышел из джипа, — очевидно, он служил в штабе НАТО. Американский посол Боб Форстер-Монро, который прогуливался около посольства с двумя шотландскими овчарками, явственно крикнул Арнольфу "хэлло"; что касается номера второго (это был епископ Мозер, еще более упитанный, чем на портрете у мадам Билер), то он повстречался им между Национальным музеем и крематорием, недалеко от безалкогольного ресторана, что напротив Всемирной организации здравоохранения. И епископ Мозер поклонился Архилохосу — теперь это казалось в порядке вещей. Архилохос знал епископа только по пасхальным проповедям, это отнюдь не было личным знакомством, просто Арнольф внимал Мозеру в толпе старушек, распевавших псалмы; правда, он читал о жизни епископа раз сто в брошюре, посвященной этому важному вопросу и распространяемой в епархии. Однако епископ выглядел еще более смущенным, чем приветствуемый им рядовой прихожанин старо-новопресвитерианской церкви, которую сей муж возглавлял. Поздоровавшись, епископ заторопился и моментально юркнул в какой-то глухой проулок.

А потом Архилохос и Хлоя обедали в безалкогольном ресторане. Они сели у окна и смотрели на другой берег реки — на Всемирную организацию здравоохранения и на памятник знаменитому здравоохранителю из этого ведомства; памятник облюбовали чайки, они сидели на нем, взмывали ввысь и, покругившись в воздухе, снова садились на то же место. Архилохос и Хлоя, утомленные долгой прогулкой, молчали держась за руки, хотя им уже подали суп. Ресторан посещали главным

образом старо-новопресвитериане (и в небольшом количестве старо-пресвитериане), в основном старые девы и холостяки без царя в голове; борясь с алкоголизмом, они приходили сюда по воскресеньям обедать, хотя хозяин, закоснелый католик, ни за что не желал повесить в своем заведении портрет Мозера, более того, рядом с изображением президента красовалось изображение католического архиепископа.

5

А после два грека нашли прибежище под сенью двух других греков. Теперь Архилохос и Хлоя сидели на скамейке в старом городском парке, все теснее прижимаясь друг к другу, рядом с замшелой скульптурой, которая, согласно всем путеводителям и городским справочникам, должна была изображать Дафниса и Хлою. Они наблюдали, как за деревьями опускалось солнце, похожее на альпий воздушный шарик. И здесь с Архилохосом все здоровались. Казалось, этим невзрачным человеком (бледным, слегка обрюзгшим очкариком), которого раньше никто не замечал, кроме болельщиков "У Огюста" и младших бухгалтеров, вдруг заинтересовался весь город — он как бы стал центром всеобщего внимания. Сказка продолжалась. Мимо Архилохоса и Хлои проследовал номер четвертый (Пассап), окруженный толпой ценителей искусства, кое-кто из них был озадачен, кое-кто ликовал, ибо мастер живописи только что покончил с прямоугольным, а также кругло-гиперболоидным периодом своего творчества и перешел к изображению углов в шестьдесят градусов, эллипсов и парабол; одновременно он отказался от красной и зеленой красок в пользу синего кобальта и охры. Классик современной живописи в изумлении остановился, пробурчал что-то невнятное, оглядел Архилохоса с ног до головы, кивнул ему и прошествовал дальше, поучая на ходу свою свиту. В отличие от Пассапа мэтр Дютур и ректор университета — в прошлом номера шесть и семь (а ныне девять и десять) — ограничились легким подмигиванием, почти совершенно незаметным, поскольку оба шли рука об руку со своими супругами необычных размеров.

Архилохос рассказывал о себе, о жизни.

— Жалованье у меня скромное, — сообщил он, — и работа однообразная — сводки об акушерских шипцах. Главное в этом деле — аккуратность. Мой начальник, заместитель бухгалтера, человек строгий, и потом, я должен помогать брату Биби и его деткам. Симпатичные создания, может быть, правда, несколько неотесанные и непосредственные, но зато честные. Мы будем откладывать деньги и через двадцать лет поедем в Грецию. На Пелопоннес и острова. Это моя заветная мечта, а с тех пор, как я знаю, что мы поедем вместе, мечта стала еще прекрасней.

Хлоя обрадовалась.

— Чудесное будет путешествие, — заметила она.

— Мы поедем на пароходе.

— На "Джувелетте".

Он вопросительно взглянул на нее.

— Самый шикарный пароход! Мистер и миссис Уимэны всегда путешествуют на "Джувелетте".

— Конечно, — вспомнил Архилохос, — в "Матче" об этом писали. Но

”Джувьетта” нам не по карману, и через двадцать лет ее сдадут в металлолом. Мы поедем на грузовом, это обойдется дешевле.

После чего сказал, что часто думает о Греции, и взглянул на поднимавшийся туман, который пока что стлался по земле наподобие легкого белого дыма. И тогда, продолжал Архилохос, он явственно видит старые, полуразрушенные храмы и красноватые скалы, которые просвечивают сквозь оливковые рощи. Порою ему кажется, что в этом городе он — изгнанник, как иудеи в древнем Вавилоне, и что весь смысл его жизни — вернуться на давно покинутую предками родину.

Теперь туман, похожий на огромные белые тюки ваты, подстерегал их за деревьями и по берегам реки, обволакивая медленно проплывавшие, призывно ревушие баржи, потом начал ползти кверху, окрасился в лиловые тона, а когда красное огромное солнце зашло, окутал все вокруг. Архилохос проводил Хлою на улицу, где жили супруги Уимэны; он заметил, что это был богатый аристократический район. Они шли мимо оград, мимо обширных садов с густыми деревьями, за которыми едва угадывались виллы. Платаны, вязы, буки, черные ели подымались к серебристому вечернему небу, их верхушки тонули во все сгущавшихся клубках тумана. Хлоя остановилась перед узорчатыми воротами с литыми амурчиками и дельфинами, с гирляндами причудливых листьев, перевитых спиралями; ворота замыкали два огромных каменных цоколя, а над ними висел красный фонарь.

— Завтра вечером?

— Хлоя!

— Ты позвонишь? — спросила она, указывая на старинный звонок. — Завтра в восемь. — Потом она поцеловала младшего бухгалтера, обвила руками его шею и поцеловала еще и еще раз. — Мы поедем в Грецию, — прошептала она, — на нашу старую родину. Скоро. На ”Джувьетте”.

Она открыла чугунные ворота и сразу исчезла за деревьями в тумане, но потом взмахнула рукой и ласково крикнула что-то — казалось, в саду запела таинственная птица; Хлоя шла к какому-то зданию, которое, очевидно, находилось в глубине парка.

Архилохос же пустился в обратный путь, в свой рабочий квартал. Идти ему было далеко, он брел по тем же улицам, по которым недавно шагал вместе с Хлоей. Мысленно он вспомнил все этапы этого сказочного воскресенья, постоял немного у опустевшей скамьи под сенью Дафниса и Хлои, потом перед безалкогольным рестораном, из которого как раз выходили последние посетители — старо-новопресвитерианские старые девы; одна из них поклонилась Арнольфу и, видимо, решила подождать его на ближайшем углу. Потом он миновал крематорий и Национальный музей и вышел на набережную. Туман опять сгустился, но сейчас он был не грязно-серый, как раньше, а нежный, молочно-белый. Так ему по крайней мере казалось, и этот чудесный туман был прошит длинными золотистыми нитями и скреплен тонкими игольчатыми звездочками. Архилохос подошел к ”Рицу”, и в ту секунду, когда он поравнялся с роскошным подъездом, охраняемым швейцаром двухметрового роста в зеленой накидке, в красных шароварах и с длинным серебряным жезлом, из отеля вышли Джильберт и Элизабет Уимэны, знаменитые археологи, которых он знал по фотографиям в газетах. Это были два истых британца, и миссис тоже больше походила на британца, нежели на британку; у них были оди-

наковые прически и золотые пенсне, а у Джилльберта еще рыжие усы и короткая трубка в зубах (в сущности, единственные приметы, которые явно отличали его от жены).

Архилохос собрался с духом.

— Мадам, мсье, — сказал он. — Мое вам почтение.

— Well, — ответил ученый и с изумлением обратил взгляд на младшего бухгалтера, который стоял перед ним в своем потрепанном костюме, исправленном еще к конфирмации, и в стоптанных башмаках и на которого удивленно взирала миссис Элизабет сквозь свое пенсне. — Well, — повторил он снова, а потом добавил: — Yes.

— Я сделал вас номерами шестым и седьмым своего миропорядка, основанного на нравственности.

— Yes.

— Вы приютили гречанку, — продолжал Архилохос.

— Well, — сказал мистер Уимэн.

— Я — тоже грек.

— О, — сказал мистер Уимэн и вытащил кошелек.

Архилохос отрицательно покачал головой.

— Нет, сударь, нет, сударыня, — сказал он, — я знаю, что моя внешность не внушает доверия и что я, пожалуй, не ярко выраженный греческий тип. Но моего жалованья в машиностроительном концерне Пти-Пейзана должно хватить на то, чтобы завести скромный домашний очаг. И детишек мы вправе позволить себе — правда, всего трех или четырех, — ведь при машиностроительном концерне Пти-Пейзана существует такое социально передовое учреждение, как санаторий для беременных жен рабочих и служащих.

— Well, — сказал мистер Уимэн и спрятал кошелек.

— Будьте здоровы, — сказал Архилохос, — да благословит вас господь. Я буду молиться за вас в старо-новопресвитерианской церкви.

6

Однако у входа его ждал Биби с протянутой братской ладонью.

— Теофил задумал обчистить Национальный банк, но фараоны разнюхали, — сказал Биби на своем обычном блатном жаргоне.

— Так что же?

— Ему надо сматываться на юг, а то пахнет жареным. Гони монету. На Рождество отдам.

Архилохос протянул ему деньги.

— Что случилось? — занял разочарованный Биби. — Так мало?

— Больше никак не могу, — извинился Архилохос. Он был смущен и, к собственному удивлению, немного рассержен. — Право, не могу. Я пригласил девушку в безалкогольный ресторан, что напротив Всемирной организации здравоохранения. Стандартный обед и бутылка виноградного сока. Хочу обзавестись семьей.

Брат Биби испугался.

— Зачем тебе семья? — воскликнул он с возмущением. — Ведь у меня уже есть семья! Или, может, девушка богатая?

— Нет.

— Чем занимается?

- Прислуга.
- Где?
- Бульвар Сен-Пер, дом номер двенадцать.
- Биби свистнул сквозь зубы.
- Иди проспись, Арнольф. И дай еще монету.

7

Забравшись в свою каморку на шестой этаж, Архилохос разделся и лег в постель. Собственно говоря, он хотел открыть окно. Воздух был затхлый. Но близость уборных ощущалась как никогда. Арнольф лежал в полутьме. На стене напротив его окна беспрерывно вспыхивал свет то в одном, то в другом узеньком окошечке. И слышался шум воды. Фотографии, висевшие у него в комнате, попеременно возникали из мрака: то епископ, то президент, а вот Биби и его детки, репродукция картины Пассапа – треугольные четырехугольники, а вот кто-то из прочих занумерованных столпов миропорядка.

Архилохос решил, что завтра должен приобрести портреты супругов Уимэнов и окантовать их.

В каморке было так невыносимо душно, воздух был такой спертый, что Архилохос задыхался. О сне и думать нельзя было. Ложась в постель, он чувствовал себя счастливым, а сейчас его одолевали заботы. Немыслимо привести сюда Хлою, невыносимо устраивать здесь свой домашний очаг и обзаводиться тремя или четырьмя детками, о которых он мечтал, возвращаясь домой. Необходимо подыскать другое жилье. Но у него нет ни наличных, ни сбережений. Все, что у него было, он отдал брату Биби. И остался ни с чем. Даже это убогое ложе, даже этот колченогий стол и шаткий стул принадлежали не ему. Он снимал меблированную комнату. Его личной собственностью были только портреты столпов миропорядка. Архилохос ужаснулся своей бедности. Он понимал, что изящество и красота Хлои нуждались в изящном и красивом обрамлении. Нет, она не должна вернуться к старому – к ночевкам под мостами, к бочкам и помойкам. Шум спускаемой воды казался ему все более невыносимым, все более отвратительным. Он поклялся вырваться из этой клоаки. Решил уже завтра подыскать себе новую комнату. Но, размышляя над тем, как претворить в жизнь эти замыслы, он терял мужество. Чувствовал, что у него нет выхода. Он был колесиком безжалостной машины, понимал, что не предвидится ни малейшей надежды реализовать чудо, которое судьба подарила ему в это воскресенье. В отчаянии, обессилен, он ждал утра, и оно возвестило о себе адским шумом: воду в уборных спускали с удвоенной силой.

Незадолго до восьми – в это время года на улицах еще было темно – Архилохос, как всегда по понедельникам, вместе с целой армией бухгалтеров, секретарш и помощников бухгалтеров брел по направлению к административному зданию машиностроительного концерна Пти-Пейзана, он был незаметной частичкой серого потока людей, изливавшегося из метро, автобусов, трамваев и электричек, – потока, который при свете уличных фонарей уныло устремлялся к огромному кубу из стали и стекла; куб заглатывал его, разделял на отдельные ручейки, сортировал,

поднимал и опускал на лифтах и эскалаторах, проталкивал сквозь коридоры; первый этаж — отдел танков; второй этаж — атомные пушки; третий — пулеметы, и так далее. Толпа сдавливала Архилохоса со всех сторон, мяла и тискала, а потом выбросила на восьмой этаж — объединение акушерских щипцов для родильных домов, отдел 122АЩ, — в одно из тысяч скучных помещений с голыми стенами, разделенных стеклянными перегородками; но, прежде чем приступить к работе, он еще должен был пройти через процедурный кабинет, прополоскать горло и принять таблетку (профилактика против желудочного гриппа) — мероприятие по охране здоровья. Потом он натянул на себя серую спецовку, согреться он так и не успел: в эту ночь в первый раз за всю зиму грянул настоящий жестокий мороз, который сковал весь город. Архилохос торопился, было уже без одной минуты восемь, а в концерне не разрешили опаздывать (время — деньги!). Архилохос сел за стол — даже стол был из стали и стекла, за ним, кроме Архилохоса, трудились еще три помбуха: номера МБ122АЩ28, МБ122АЩ29, МБ122АЩ30, — и снял чехол с пишущей машинки. На его спецовке было начертано: МБ122АЩ31. Когда стрелка на больших часах показала ровно восемь, Архилохос стал выстукивать на машинке окоченными пальцами отчет на тему "Резкое повышение спроса на акушерские щипцы Пти-Пейзана в кантоне Аппенцель-Иннерроден". Три помбуха за одним столом с Архилохосом также стучали на машинках, равно как и еще сорок шесть бухгалтеров, сидевших в этой комнате, равно как сотни и тысячи других бухгалтеров, находившихся в здании концерна. Они стучали с восьми до двенадцати, а потом с двух до пяти, в промежутке был перерыв на обед, который надлежало съедать в общей столовке: в образцовом аппарате Пти-Пейзана все было регламентировано, недаром концерн посещали и отечественные министры, и иностранные делегации — из комнаты в комнату проплывали очкастые китайцы и томные индусы со своими супругами в шелках, — словом, все, кто интересовался социальными проблемами.

Однако чудеса, которые случаются по воскресеньям, иногда (хоть и редко) продолжают и в понедельник.

8

Репродуктор вдруг возвестил, что Архилохоса вызывает начальник отдела бухгалтер Б121АЩ. На секунду в комнате 122АЩ воцарилась мертвая тишина. Никто не дышал. Машинки робко замерли. Грек привстал. Он был бледен, слегка пошатывался. Он не ждал ничего хорошего. Предстояло сокращение штатов. Однако бухгалтер Б121АЩ, кабинет которого находился рядом с комнатой 122АЩ, встретил Архилохоса прямо-таки с распростертыми объятиями. Архилохос, едва осмелившийся переступить порог его кабинета, был ошеломлен. Он наслушался страшных историй о бешеном нраве Б121АЩ.

— Мсье Архилохос! — воскликнул Б121АЩ, направляясь навстречу помбуху и пожимая ему руку. — Не скрою, я уже давно заметил ваш редкостный талант.

— Благодарю вас, — сказал ошарашенный похвалой Архилохос. Он все еще опасался подвоха.

– Ваш отчет, – продолжал, улыбаясь и потирая руки, Б121АЩ (маленький подвижный человек лет пятидесяти с хвостиком, лысый и близорукий, в белой бухгалтерской куртке с серыми нарукавниками), – ваш отчет о внедрении акушерских щипцов в кантоне Аппенцель-Иннерроден – пример для всех.

Архилохос ответил, что он, мол, очень рад этому, но про себя опять подумал, что стал жертвой злой шутки бухгалтера: его любезность он принимал за коварство. Бухгалтер предложил своему недоверчивому подчиненному сесть, а сам в волнении заметался по комнате.

– Учитывая вашу отличную работу, дорогой господин Архилохос, я задумал предпринять некоторые шаги.

– Весьма польщен, – запинаясь, промолвил Архилохос.

И тут Б121АЩ шепотом поведal, что он, дескать, метит Архилохоса на пост заместителя бухгалтера.

– Только что я направил это предложение начальнику отдела кадров, который ведает нашим отделом.

Архилохос приподнялся в знак благодарности, но бухгалтер хотел урегулировать с ним еще одно дельце, и когда он о нем заговорил, вид у него стал такой робкий и несчастный, словно он, а не Архилохос, был всего лишь младшим бухгалтером.

– Да, чуть было не забыл, – тихо сказал Б121АЩ, стараясь сохранить достоинство. – Старший бухгалтер СБ9АЩ выразил желание принять господина Архилохоса. Нынче же утром. – И бухгалтер отер красным клетчатым платком пот со лба. – Да, нынче утром, – продолжал он, – старший бухгалтер вас примет. Сядьте, дорогой друг, в нашем распоряжении еще несколько минут. Но прежде всего возьмите себя в руки, не нервничайте, наберитесь мужества, будьте на высоте положения.

– Конечно, – сказал Архилохос. – Постараюсь.

– Боже мой, – воскликнул бухгалтер, садясь за свой письменный стол, – боже мой, господин Архилохос, дорогой друг. Я ведь могу назвать вас другом с глазу на глаз в личной беседе? Кстати, моя фамилия – Руммель. Эмиль Руммель. Боже мой, ничего подобного в моей практике еще не случилось, хотя я служу в концерне Пти-Пейзана тридцать три года. Никогда старший бухгалтер так, за здорово живешь, не вызывал младшего помощника – это совершенно поразительное нарушение субординации. Ей-богу, мне дурно, дорогой друг. Конечно, я всегда верил в ваш гений, но подумайте сами! Ведь я еще ни разу в жизни не говорил со старшим бухгалтером, а если бы это случилось – дрожал бы как осиновый лист. Старшие бухгалтеры общаются только с помощниками старших бухгалтеров. А тут вдруг вы! Вас вызвал непосредственно старший бухгалтер. Разумеется, на это есть свои причины, свои тайные соображения: я понимаю – вам предстоит повышение. Сядете на мое место, вот в чем дело, – при этих словах Б121АЩ вытер слезы, – может, вы даже станете помощником старшего бухгалтера. То же самое стряслось недавно в объединении атомных пушек: тамошний бухгалтер имел честь близко познакомиться с супругой одного из главных начальников отдела кадров... Но не думайте, что я намекаю, друг мой, боже упаси, в данном случае повышение вызвано исключительно вашими деловыми качествами, превосходным отчетом по кантону Аппенцель-Иннерроден, знаю. И еще, дорогой друг, говорю вам это строго между нами: чистая случайность, что мое предложение назначить вас помощником бухгалтера и вызов

старшего бухгалтера, так сказать, совпали во времени. Клянусь честью! Мое ходатайство о вашем повышении было уже составлено, и тут, будто гром среди ясного неба, раздался звонок секретарши нашего высокоуважаемого старшего бухгалтера... Но время не ждет, любезный друг... Между прочим, моя жена страшно обрадуется, если вы к нам пожелаете... А уж дочь как обрадуется... Прелестная девушка... милостивая... берет уроки пения... Заходите в любое время... Для нас это большая честь... Уже пора, пятый коридор, юго-восточное крыло, шестой кабинет... О господи, я ведь сердечник... И почки тоже пошаливают...

9

Старший бухгалтер СБ9АЩ (пятый коридор, юго-восточное крыло, шестой кабинет) был представительный мужчина: черная борода-ка клинышком, сверкающие золотые зубы, запах духов, животик; на письменном столе фотография полуобнаженной танцовщицы в платиновой рамке. Он принял младшего помбуха с большим достоинством: выгнал из кабинета стайку секретарш и королевским жестом указал Архилохосу на удобное кресло.

— Дорогой господин Архилохос, — начал он, — ваши выдающиеся работы, особенно ваши отчеты о внедрении акушерских щипцов на Дальнем Севере, а главное — на Аляске, уже давно привлекли наше внимание и — хочу подчеркнуть — возбудили восхищение всех моих коллег — старших бухгалтеров. В наших кругах только и разговору что о вас, а упомянутый отчет об Аляске поразил и дирекцию.

— По-видимому, здесь какое-то недоразумение, господин старший бухгалтер, — заметил Архилохос, — я занимаюсь исключительно кантоном Аппенцель-Иннерроден и Тиролем.

— Зовите меня просто Пти-Пьер, — сказал старший бухгалтер СБ9АЩ. — Мы ведь говорим с вами с глазу на глаз, а не в кругу глупых обывателей. Какая разница, кто именно составлял отчет об Аляске? Важно то, что он инспирирован вами, что на нем отпечаток вашего таланта, что он сделан в непревзойденных традициях ваших классических отчетов по кантону Аппенцель-Иннерроден и по Тиролю. Еще одно доказательство, что у вас, слава богу, есть последователи. Я всегда твердил коллеге старшему бухгалтеру Шренцле: Архилохос — поэт, большой прозаик! Кстати, Шренцле кланяется вам. А также старший бухгалтер Хеберлин. С болью в сердце взирал я на то подчиненное положение, которое вы занимали в нашем прекрасном концерне, — положение, ни в какой степени не соответствующее вашим выдающимся достоинствам. Позвольте между прочим предложить вам рюмочку вермута.

— Спасибо, господин Пти-Пьер, — сказал Архилохос. — Я не потребляю алкогольных напитков.

— Особенно скандальным я нахожу то, что вы работали под началом бухгалтера Б121АЩ, вот уж действительно пешка, серая личность, под началом этого господина Руммлера, или как его там зовут.

— Он только что предложил мне стать заместителем бухгалтера.

— Очень похоже на него, — сердито сказал СБ9АЩ. — Заместителем бухгалтера! Тоже рассудил! Человек с вашими талантами! Ведь бурный рост производства акушерских щипцов Пти-Пейзана в последнем квартале исключительно ваша заслуга.

– Ну что вы, господин Пти-Пьер...

– Не скромничайте, уважаемый друг, не скромничайте. Скромность тоже имеет свои границы. Много лет я терпеливо ждал и надеялся, что вы доверитесь мне, обратитесь к вашему самому верному другу и почитателю, а вы сидите себе под началом этого ничтожества, числитесь младшим помощником младшего бухгалтера, одним из самых младших помощников, и вращаетесь в среде, которая воистину недостойна вас. Давно пора было стукнуть кулаком по столу! Воображаю, как раздражал вас этот сброд. Пришлось мне наконец самому вмешаться. Правда, я всего лишь старший бухгалтер, песчинка в нашем огромном управленческом аппарате, круглый ноль, винтик. Но я собрался с силами. Кто-то ведь должен иметь мужество вступить за гениального человека, даже если мир провалится в тартарары, даже если это будет стоить ему головы! Гражданское мужество, дорогой мой! Если ни один из нас не найдет в себе гражданского мужества, ставь крест на моральных устоях концерна Пти-Пейзана, мы тогда скатимся к диктатуре бюрократии, о чем я давно кричу на всех перекрестках. И вот я звоню главному начальнику управления кадров нашего отдела – кстати, он вам тоже кланяется, – хочу предложить вашу кандидатуру на пост заместителя директора объединения. Для меня не может быть большей радости, чем работать в концерне под вашим руководством, уважаемый, дорогой господин Архилохос, и, не щадя сил, трудиться над совершенствованием и распространением акушерских щипцов. Но, к сожалению, к великому сожалению, меня опередил сам Пти-Пейзан – так сказать, всемогущий бог или, если хотите, сама судьба. Лично для меня это маленькая неудача, а для вас, разумеется, огромное счастье, хотя и заслуженное.

– Пти-Пейзан? – Архилохосу казалось, что все это ему снится. – Не может быть!

– Он желает вас видеть, господин Архилохос, еще сегодня, еще сегодня утром, сию минуту, – сказал СБ9АЩ.

– Но...

– Никаких ”но”.

– Я думаю...

– Господин Архилохос, – торжественно сказал старший бухгалтер и провел рукой по своей холеной бородке. – Давайте говорить начистоту, как мужчина с мужчиной, как добрые друзья. Положа руку на сердце, сегодня исторический день, день истинных признаний и ясности. И вот я чувствую огромную потребность заверить вас честным словом благородного человека, что мое предложение назначить вас заместителем директора объединения и приглашение, которое передал вам Пти-Пейзан – перед этим именем мы все благогоуем, – ни в малейшей степени не связаны между собой. Совсем наоборот. Как раз в ту секунду, когда я диктовал официальное ходатайство о вашем повышении, меня вызвал к себе директор Зевс.

– Директор Зевс?

– Начальник объединения акушерских щипцов.

Архилохос извинился за свою серость. Фамилию Зевс он ни разу не слышал.

– Знаю, – ответил старший бухгалтер, – имена руководящих кадров неизвестны широкому кругу бухгалтеров и их помощников. Да это и не нужно. Пусть канцелярские крысы корпят над своими бумажками, над

филькиными грамотами о кантоне Аппенцель-Иннерроден и о других медвежьих углах. Их писанина, строго между нами, дорогой господин Архилохос, никого не волнует... Конечно, я не говорю о присутствующих. Вы — наша опора, ваши отчеты мы, старшие бухгалтеры, признаю, буквально рвем друг у друга из рук. Ваши труды по Базельскому округу, например, или по Коста-Рике непревзойденны. Это — классика, как я уже говорил. Что же касается всех остальных младших бухгалтеров и их помощников, то они не стоят тех денег, которые им платят, шуты гороховые, я без конца твержу это господам начальникам. Вся бумажную волокиту я мог бы повернуть один со своими секретаршами. Машиностроительный концерн Пти-Пейзана — не богадельня, и нечего нам нянчиться с умственно отсталыми субъектами. Кстати, директор Зевс сердечно кланяется вам.

— Большое спасибо.

— К сожалению, его увезли в больницу.

— Ай-яй-яй!

— Нервный шок.

— Как жаль.

— Видите ли, дорогой друг, благодаря вам в руководстве объединения акушерских щипцов разыгралась форменная буря. По сравнению с тем, что творится у нас, в Содоме и Гоморре была тишь и гладь. Пти-Пейзан пожелал встретиться с вами! Ладно, это его право, всемогущий бог все может, даже согнуть луну в бараний рог, но, если бы он это сделал, мы все же удивились бы. Пти-Пейзан — и младший бухгалтер! Примерно такое же чудо! Естественно, что в ушах незадачливого директора раздавался погребальный звон. А заместитель директора? И он тоже свалился как подкошенный.

— Но почему?

— Голубчик, драгоценный, да потому что вас назначат директором объединения акушерских щипцов, это ясно каждому младенцу, иначе какой смысл в вызове Пти-Пейзана. Человек, которого вызывает Пти-Пейзан, становится директором — это нам по опыту известно. Вот если решают кого-нибудь выгнать, то это идет через отдел кадров.

— Назначат директором меня?

— Несомненно. Об этом уже сообщено в отдел кадров, кстати, Февс вам тоже кланяется.

— Директором объединения акушерских щипцов?

— А может, и директором объединения атомных пушек. Кто знает? Главный начальник отдела кадров Февс считает, что все возможно.

— Но по какой причине? — воскликнул Архилохос, который ничего не понимал.

— Дорогой мой, драгоценный! Вы забываете о ваших выдающихся отчетах по Северной Италии.

Но младший бухгалтер опять упрямо поправил старшего, сказав, что он, мол, занимается только Восточной Швейцарией и Тиродем.

— Да, да, Восточной Швейцарией и Тиродем, всегда путаю географические названия, но ведь я не учитель географии.

— Все, что вы сказали, еще не основание, чтобы назначить меня директором объединения акушерских щипцов.

— Ну-ну!

— Чтобы стать директором объединения, нужны особые дарования,

а у меня их нет, — запротестовал Архилохос.

СБ9АЩ помотал головой и бросил на Архилохоса загадочный взгляд, потом улыбнулся, оскалив золотые зубы и сложив руки на своем барском животике.

— Дорогой, бесценный друг, — сказал он, — причину, по какой вас назначают директором, должны знать вы, а не я, а если она вам неизвестна — не допытывайтесь. Так будет лучше. Послушайтесь моего совета. Сегодня мы разговариваем с вами в последний раз. Директорам и старшим бухгалтерам не положено общаться между собой — это было бы нарушением неписаного закона нашего опытно-показательного концерна. Сегодня я первый раз в жизни встретился с господином Зевсом — естественно, встретился в час его заката, а в это время беднягу Штюсси, его заместителя и моего прямого начальника, — он единственный, кто непосредственно общался со старшими бухгалтерами, — в это самое время Штюсси тащили на носилках, форменное светопреставление. Но не будем останавливаться на этой душераздирающей картине. Вернемся к вашим опасениям. Вы боитесь, что не справитесь с обязанностями директора объединения. Дорогой, бесценный друг, с обязанностями директора может справиться каждый человек, скажу по секрету — каждый болван. Вам ничего не надо делать, нужно просто быть директором, вжиться в образ, носить свое звание, представлять, водить из комнаты в комнату индийцев, китайцев, зулусов, представителей ЮНЕСКО и всяких там объединений медиков — словом, каждого, кто в этом мире заинтересуется нашими несравненными акушерскими щипцами. Все практические дела, будь то производство, технические вопросы, калькуляция, планирование, — все это прокручивают старшие бухгалтеры, извините, дорогой друг, за это несколько вульгарное выражение. Вам же лично не придется забивать себе голову всякими пустяками. Правда, очень важно, на ком вы остановитесь, когда будете выбирать своего заместителя среди толпы старших бухгалтеров. Штюсси — человек конченный, и слава богу. Он был слишком тесно связан с господином Зевсом, превратился в прихвостня своего высокого шефа... Ну да насчет деловых качеств Зевса я вообще не желаю распространяться. Сейчас не время. У него и так нервный шок. Я не бью лежачих. Но, между нами говоря, это был тяжелый крест для меня, он даже не мог оценить ваши отчеты по Далмации, мой дорогой друг и покровитель. Да и вообще он круглый невежда... Знаю, знаю, отчеты не по Далмации, а по Тогенбургу или Турции, черт с ними. Вы рождены для лучшей доли. Подобно орлу, вы воспарите в поднебесье, оставив на этой грешной земле нас, потрясенных бухгалтеров. Во всяком случае, еще раз говорю вам со всей откровенностью: мы, старшие бухгалтеры, счастливы, что вы станете нашим директором. Разумеется, будучи вашим лучшим другом, я ликую и торжествую больше всех. — Тут СБ9АЩ прослезился. — Но я считаю неуместным это подчеркивать, ведь мои слова можно истолковать как желание выдвинуться в ваши замы, хотя я и без того мог бы претендовать на этот пост как старший по званию. Но, каков бы ни был ваш выбор, кого бы вы ни назначили своим заместителем из старших бухгалтеров, я заранее смиряюсь перед вашей волей и остаюсь вашим самым горячим почитателем... С вами хотел бы встретиться также коллега Шпелле и коллега Шренцле, но боюсь, боюсь, что мне следует спешно проводить вас к Пги-Пейзану, сдать вас целым и невредимым в его приемную. Час настал. Так пойдемте же, выше голову, упивайтесь своим счастьем

ем — ведь вы самый достойный и талантливый среди нас. Все правильно, вы, можно сказать, гениальное детище акушерских щипцов, и благодаря вам наше объединение одним рывком обставит объединение пулеметов, могучим скачком обгонит его. Да, я это чувствую, уважаемый, бесценный господин директор, разрешите мне уже сейчас назвать вас так... Прощу вас... Имею честь... С превеликим удовольствием... Давайте же сразу поднимемся на директорском лифте.

10

Вместе с СБ9АЩ Архилохос вступил в незнакомый мир, в царство стекла и каких-то неизвестных ему строительных материалов, где все сверкало чистотой, великолепные лифты подняли его на верхние, строго секретные этажи административного корпуса. Вокруг с улыбкой на устах порхали благоухающие секретарши: блондинки, брюнетки, шатенки и одна с неописуемо рыжими, как киноварь, волосами; референты уступали ему дорогу, директора объединений отвешивали поклоны, генеральные директора приветствовали кивком головы, а Архилохос и СБ9АЩ шагали себе по тихим коридорам, где над дверями вспыхивали то красные, то зеленые лампочки — единственные признаки того, что и здесь шла своя, невидимая глазу административная деятельность. Бесшумно ступали они по мягким коврам; казалось, ковры поглощали все звуки, вплоть до самого легкого покашливания, вплоть до приглушенного шепота. На стенах висели полотна французских импрессионистов (собрание картин Пти-Пейзана славилось во всем мире), "Танцовщица" Дега, "Купальщица" Ренуара; в высоких вазах благоухали цветы. Чем выше поднимались, вернее, возносились, Архилохос и его спутник, тем пустынее были коридоры и залы. Они теряли свое деловое, холодное ультра-современное обличье, хотя планировка была та же; да, они становились все более изысканными и в то же время теплыми, человеческими. На стенах теперь висели гобелены, позолоченные зеркала в стиле рококо и Людовика XIV, несколько картин Пуссена, несколько — Ватто и одна картина Клода Лорена. А когда они поднялись на самый верхний этаж (СБ9АЩ был так же напуган, как Архилохос, ведь и он еще никогда не проникал в это святилище; здесь он и простился с Арнольфом), помбуха принял на свое попечение сановный седой господин в безукоризненном смокинге, вероятно референт, и он провел грека по нарядным коридорам и светлым залам, где стояли античные вазы, готические мадонны и азиатские боги и висели индейские настенные ковры. Здесь уже ничто не напоминало о производстве атомных пушек и пулеметов, разве только при взгляде на херувимчиков и младенцев, которые улыбались помбухе с полотна Рубенса, возникали отдаленные ассоциации с акушерскими щипцами. Все тут радовало глаз. Солнце, проникавшее в окна, казалось теплым и ласковым, хотя на самом деле оно светило с ледяного небосклона. Повсюду стояли удобные кресла и канале, где-то слышался звонкий смех, этот смех напомнил облаченному в серую спецовку Архилохосу смех Хлои в минувшее счастливое воскресенье, у которого оказалось столь же сказочное продолжение; откуда-то доносилась музыка — не то Гайдн, не то Моцарт, не трещали машинки, не слышались лихорадочные шаги бухгалтеров — словом, ничего, что могло бы напомнить Арнольфу о мире, из которого он только что вырвался и который остался где-то далеко внизу,

похожий на дурной сон. А потом они очутились в светлых покоях, обитых малиновым шелком, на стене висела большая картина, изображавшая обнаженную женщину, вероятно, это было знаменитое полотно Тициана, то самое, о котором все говорили и цену которого называли шепотом. Вокруг стояла изящная мебель: миниатюрный письменный стол, небольшие настенные часы с серебряным звонком, ломберный столик, по бокам несколько креслиц, и повсюду — цветы, цветы в невиданном изобилии: розы, камелии, тюльпаны, орхидеи, гладиолусы, — казалось, на свете не существует ни зимы, ни холода, ни тумана.

Стоило им переступить порог зала, как где-то сбоку распахнулась маленькая дверь и появился Пти-Пейзан в смокинге, как и его референт; в левой руке он держал изящный томик Гельдерлина, заложив указательным пальцем его страницы. Референт удалился. Архилохос и Пти-Пейзан остались с глазу на глаз.

— Ну-с, — сказал Пти-Пейзан, — милейший господин Анаксимандр.

Поклонившись, младший бухгалтер поправил Пти-Пейзана, сообщив, что его зовут Арнольф Архилохос.

— Архилохос. Отлично. Я помнил, что в вашем имени есть что-то греческое, балканское, господин любезный старший бухгалтер.

— Младший, — уточнил Архилохос свое социальное положение.

— Младший, старший, — это ведь почти одно и то же, — улыбнулся промышленник. — Разве не так? Я, по крайней мере, не вижу разницы. Как вам нравится у меня наверху? Должен сказать, что вид отсюда прекрасней. Весь город и река как на ладони, виден даже дворец президента, не говоря уже о соборе, а вдали — Северный вокзал.

— Очень красиво, господин Пти-Пейзан.

— Вы кстати, первый человек из объединения атомных пушек, который поднялся на этот этаж, — сказал промышленник таким тоном, будто поздравил Архилохоса с альпинистским рекордом.

Архилохос возразил, что он, мол, из объединения акушерских щипцов. Занимается Восточной Швейцарией и Тиролем, а в данный момент — кантоном Аппенцель-Иннерроден.

— Смотри-ка, смотри-ка, — удивился Пти-Пейзан, — оказывается, вы работаете в объединении акушерских щипцов, а я даже не подозревал, что мы выпускаем подобные изделия. Что это, собственно, такое?

Архилохос сообщил, что акушерские щипцы, по-латыни *forcers*, — родовспомогательный хирургический инструмент, предназначенный для того, чтобы в процессе родов охватывать головку ребенка; с их помощью роды проходят быстрее. Машиностроительный концерн Пти-Пейзана производит щипцы различных конструкций; но во всех конструкциях надо различать, во-первых, ложечки с зеркалами, изогнутые так, что они могут охватить головку плода, кроме того, в щипцах имеются еще изгибы для таза и для промежности, что делает их пригодными для введения в родовые пути роженицы; во-вторых, различные конструкции, отличающиеся друг от друга ручками: ручки бывают короткие и длинные, деревянные и металлические, они могут быть с особыми приспособлениями, с поперечными перекладинами и без них; наконец, существуют различные замки, то есть зажимы, при помощи которых ложечки при родовспоможении фиксируются. Цены...

— Вы большой специалист, — сказал, улыбаясь, мультимиллионер. — Но не будем касаться цен. Итак, дорогой господин...

— Архилохос.

— ...Архилохос, перейдем к делу, не хочу вас долго томить, сразу скажу, что назначаю вас директором объединения атомных пушек. Правда, вы только что сказали, что работаете в объединении акушерских щипцов, о существовании которого я и впрямь не имел понятия. Это меня немного озадачивает, очевидно, произошла путаница, но на таких гигантских предприятиях, как наше, где-то всегда возникает путаница. Ладно, не так уж важно. Стало быть, сольем два объединения, и вы можете считать себя директором и объединения атомных пушек, и объединения акушерских щипцов, а я отправлю на пенсию бывших директоров этих объединений. Рад сообщить вам лично о вашем повышении и пожелать счастья.

— Господин директор Зевс из объединения акушерских щипцов в данное время в больнице.

— Неужели? Что с ним такое?

— Нервный шок.

— Да ну! Значит, он уже все узнал. — Пти-Пейзан с удивлением покачал головой. — А я ведь собирался уволить директора Йехуди из объединения атомных пушек. Какие-то слухи всегда просачиваются, люди — неисправимые болтуны, ну да ладно, директор Зевс опередил меня, слег в больницу. Все равно мне пришлось бы его уволить. Будем надеяться, что директор Йехуди встретит свою отставку куда более достойно.

Архилохос собрался с духом и в первый раз за весь разговор взглянул прямо в лицо Пти-Пейзану, который стоял с томиком Гёльдерлина в руке.

— Позвольте узнать, — сказал он, — как все это понимать? Вы вызвали меня и назначили директором объединений атомных пушек и акушерских щипцов. Признаться, я в тревоге, потому что не понимаю, что происходит.

Пти-Пейзан спокойно взглянул в глаза младшего бухгалтера, положил Гёльдерлина на зеленое сукно ломберного столика, сел сам и жестом пригласил сесть Архилохоса. Теперь они сидели друг против друга в мягких креслах, освещенные солнцем. Архилохос затаил дыхание — эта сцена казалась ему чрезвычайно торжественной. Наконец-то он узнает причину загадочных происшествий, думал он.

— Господин Пти-Пейзан, — снова начал он, робко запинаясь, — я всегда вас почитал, вы занимаете третье место в здании миропорядка, каковое я воздвиг себе, чтобы иметь в жизни моральные устои. Вы непосредственно следуете за нашим уважаемым президентом и за епископом Мозером — главою старо-новопресвитерианской церкви. Видите, я ничего не утаиваю; и тем более умоляю вас, объясните мне причину вашего поступка; бухгалтер Руммель и старший бухгалтер Пти-Пьер хотят уверить, что меня возвысили из-за отчетов по Восточной Швейцарии и по Тиролю, но ведь их никто не читал.

— Дорогой господин Агезилаос, — торжественно сказал Пти-Пейзан.

— Архилохос.

— Дорогой господин Архилохос, вы были бухгалтером или старшим бухгалтером — в этих тонкостях я, как вы поняли, не разбираюсь, — а теперь стали директором, очевидно, это вас и смущает. Видите ли, друг мой, все эти непонятные для вас превращения надо рассматривать в свете широких мировых взаимосвязей, как часть многообразной деятельности,

которую осуществляет мой прекрасный концерн. Ведь выпускает же он, как я сегодня с радостью узнал, родовспомогательные щипцы. Будем надеяться, что их производство рентабельно.

Архилохос просиял, он заверил Пти-Пейзана, что в одном только кантоне Аппенцель-Иннерроден за последние три года было продано шестьдесят две штуки щипцов.

— Гм, маловато. Но пусть так. Очевидно, это надо рассматривать, скорее, как гуманное начинание. Очень приятно, что наряду с изделиями, которые отправляют людей на тот свет, мы производим также изделия, которые помогают им появиться на этот свет. Известное равновесие необходимо, даже если кое-что и нерентабельно. Не надо гневить бога, мы — люди благодарные.

Пти-Пейзан помолчал немного, и лицо его выразило благодарность.

— В своем поэтическом творении "Архипелаг" Гёльдерлин называет коммерсанта, стало быть, и промышленника, "дальномыслящим", — продолжал он с легким вздохом. — Это слово меня потрясло. Наше предприятие — огромная махина, дорогой мой господин Аристипп, на нем занято бесчисленное число рабочих и служащих, бухгалтеров и секретарш. Обозреть все это хозяйство невозможно, я с трудом помню директоров объединений, даже с генеральными директорами знаком только шапочно. Человек близорукий заблудится в этих джунглях, лишь человек дальнорзоркий, который не видит частных, не обращает внимания на единичные судьбы, зато способен охватить всю картину, который не выпускает из поля зрения конечные цели, то есть человек "дальномыслящий", как говорит поэт — ведь вы читали Гёльдерлина? — человек, у которого беспрепятственно роятся новые идеи и который создает все новые предприятия, то в Индии, то в Турции, то в Андах, то в Канаде, — только такой человек не погрязает в болоте конкуренции и борьбы монополий. Дальномыслящий... Я вот как раз замыслил объединиться с трестом резины и смазочных масел. Это будет *настоящее* дело.

Пти-Пейзан опять замолчал, и лицо его выразило дальноемыслие.

— Вот как я планирую, вот как работаю, — сказал он, помолчав немного, — по мере сил ворочаю тяжелые жернова истории. Хотя и в скромных масштабах. Что такое машиностроительный концерн Пти-Пейзана по сравнению со Стальным трестом или с металлургическим концерном "Вечная радость", с заводами "Песталоцци" и "Хёсслер-Ла-Биш"? Мелкота!.. Ну а что происходит в это время с моими рабочими и служащими? С единичными судьбами, которые я вынужден не замечать, чтобы не выпускать из поля зрения всю картину? Об этом я часто думаю. Счастливы ли они? Мы боремся за свободный мир. Свободны ли мои подчиненные? Я осуществил ряд социальных мероприятий — открыл дома отдыха для работниц и рабочих, стадионы, плавательный бассейн, столовые, раздаю профилактические таблетки, устраиваю коллективные посещения театров и концертов. Но быть может, массы, которыми я руковожу, цепляются за чисто материальные блага, за презренный металл? Этот вопрос не дает мне покоя. С директором приключился нервный шок только из-за того, что на его место назначен другой. Какая мелочность! Разве можно думать об одних деньгах? Важны лишь духовные ценности, дорогой господин Артаксерксес, деньги — это самое низменное, самое несущественное на земле. Право, я очень озабочен...

Пти-Пейзан снова замолк, и лицо его выразило озабоченность.

Архилохос боялся шевельнуться.

Но вот промышленник выпрямился, и в его и без того ледяном голосе зазвучал металл:

— Вы спрашиваете, почему я назначил вас директором? Отвечаю: чтобы перейти от разговоров о свободе к ее осуществлению. Я не знаю своих служащих, незнаком с ними, мне кажется, что они еще не усвоили чисто духовного понимания сути вещей. Мои светочи Диоген, Альберт Швейцер, Франциск Ассизский, по-видимому, еще не стали их светочами. Они хотят променять созерцательность, деятельную благотворительность, идеальную бедность на социальную мишуру. Что ж, дай миру то, что он жаждет. Я всегда придерживался этой заповеди Лао-Цзы. И именно потому я назначил вас директором. Пусть и в этом вопросе восторжествует справедливость. Человек, который вышел из низов, который сам досконально познал заботы и нужды служащих, станет директором. Я занят всем производством в целом, пусть же человек, который имеет дело с бухгалтерами, старшими бухгалтерами, референтами, секретаршами, рассыльными и уборщицами — словом, с аппаратом управления, будет выходящим из его рядов. Директор Зевс и директор Иехуди не вышли из низов: когда-то я просто перекупил их у обанкротившихся конкурентов, перекупил готовыми директорами. Бог с ними. Но теперь уже пора воплотить в жизнь идеалы западного мира. Политики с этим не справились, и, если деловые люди тоже не справятся, дорогой господин Агамемнон, нам грозит катастрофа. Только в процессе творчества человек становится человеком. Ваше назначение — творческий акт, одно из проявлений творческого социализма, который мы *обязаны* противопоставить нетворческому коммунизму. Вот и все, что я хотел сказать. Отныне вы директор, генеральный директор. Но сперва возьмите себе отпуск, — продолжал он, улыбаясь, — чек для вас уже выписан, он лежит в кассе. Займитесь личными делами. На днях я видел вас с прелестной женщиной.

— Моя невеста, господин Пти-Пейзан.

— Собираетесь жениться? Поздравляю. Женитесь. К сожалению, мне не довелось испытать семейного счастья. Я распорядился, чтобы вам выплатили соответствующее жалованье за год, но сумма будет удвоена, поскольку в придачу к атомным пушкам вы еще получаете акушерские щипцы... А теперь у меня срочный разговор с Сантьяго... Будьте здоровы, дорогой господин Анаксагор...

11

Когда генеральный директор Архилохос, в прошлом МБ122АЩ31, покинул святая святых здания концерна — до лифта его провожал референт Пти-Пейзана, — ему устроили царскую встречу: генеральные директора с восторгом заключали его в объятия, директора низко кланялись, секретарши лстыиво щебетали, бухгалтеры маячили в отдалении, а СБ9АЩ, поджидавший Архилохоса на почтительном расстоянии, прямо-таки истекал подобострастием; из объединения атомных пушек вынесли на носилках директора Иехуди, который был, очевидно, в смиренной рубашке — он лежал обессиленный, в обмороке. Говорили, что Иехуди переломал у себя в кабинете всю мебель. Но Архилохоса ничего не интересовало, кроме чека, который ему тут же вручили. Чек —

это по крайней мере что-то реальное, думал он, так и не избавившись от своей подозрительности. Потом он произвел СБ9АЦ в свои замы в объединении акушерских щипцов, а номера МБ122АЦ28, МБ122АЦ29 и МБ122АЦ30 – в бухгалтеров, дал еще несколько руководящих указаний насчет рекламы родовспомогательных щипцов в кантоне Аппенцель-Иннерроден и покинул здание концерна.

Сев в такси первый раз в жизни, он поехал к мадам Билер, измученный, голодный и совершенно растерявшийся от своих головокружительных успехов.

Небо в городе было ясное, холод – отчаянный. В ярком свете дня все вокруг: дворцы, церкви и мосты – выступало с особой четкостью, большой флаг на президентском дворце будто застыл в воздухе, река была как зеркало, краски казались необыкновенно чистыми, без всяких примесей, тени на улицах и бульварах – резкими, словно их провели по линейке.

Архилохос вошел в закусочную – колокольчик над дверью, как всегда, зазвенел – и сбросил потертое зимнее пальто.

– Боже мой! – воскликнула Жоржетта за стойкой, уставленной бутылками и рюмками, которые сверкали в холодных лучах солнца; Жоржетта только что налила себе кампари. – Боже мой, мсье Арнольф! Что с вами? Вы такой усталый, такой бледный, невыспавшийся, явились к нам среди бела дня, когда вам полагается просиживать штаны на вашей живодерне! Стряслось что-нибудь? Может, вы в первый раз спали с женщиной? Или напиль? А может, вас выгнали с работы?

– Наоборот, – сказал Архилохос и сел в свой угол.

Огюст принес молоко.

Удивленная Жоржетта осведомилась, что может означать в данном случае "наоборот", закурила и начала пускать колечки дыма прямо в косые солнечные лучи.

– Сегодня утром меня назначили генеральным директором объединения атомных пушек и акушерских щипцов. Лично Пти-Пейзан, – заявил Архилохос; он все еще не мог отдышаться.

Огюст принес миску с яблочным пюре, макароны и салат.

– Гм, – пробормотала Жоржетта, очевидно не очень-то потрясенная новостью. – А по какой причине?

– По причине творческого социализма.

– Неплохо. Ну а как вы провели время с гречанкой?

– Обручились, – смущенно сказал Архилохос и покраснел.

– Вполне разумно, – похвалила мадам Билер. – Чем она занимается?

– Прислуга.

– У нее прямо-таки поразительное место, – заметил Огюст, – если она могла купить себе такую шубу.

– Не болтай! – прикрикнула на него Жоржетта.

Арнольф рассказал, что они гуляли по городу и что все было очень странно, необычно, почти как во сне. Незнакомые люди вдруг стали с ним здороваться, они махали ему из машин и автобусов, абсолютно все – и президент, и епископ Мозер, и художник Пассап, и американский посол, который крикнул ему "хэлло".

– Ага, – сказала Жоржетта.

– И мэтр Дюгур со мной поздоровался, – продолжал Арнольф, – и Эркюль Вагнер тоже, хотя они всего-навсего мне подмигнули.

— Подмигнули, — повторила Жоржетта.
— Ну и птичка, — пробормотал Огюст.
— Помолчи! — сказала мадам Билер так резко, что Огюст залез за печку и спрятал окутанные мерцающим облаком ноги. — Не вмешивайся! Не мужское это дело! Мой совет: сразу же женитесь на вашей Хлое, — снова обратилась она к Архилохосу и залпом выпила кампари.

— Как можно скорее.
— Очень правильно! С женщинами надо быть решительным, особенно если их зовут Хлоя. А где вы собираетесь жить с вашей гречанкой?

Архилохос, вздохнув, признался, что не знает, одновременно он уплетал яблочное пюре и макароны.

— В своей каморке я, конечно, не останусь — из-за шума воды и из-за запаха. Первое время придется жить в пансионе.

— Что вы, мсье Архилохос, — рассмеялась Жоржетта, — теперь-то вам все по карману. Снимите номер в "Рице", там таким, как вы, сам бог велел жить. И с сегодняшнего дня вы будете платить мне вдвое. С генерального директора надо драть шкуру, больше они ни на что не годны. — С этими словами она налила себе еще рюмку кампари.

Архилохос ушел, и "У Огюста" на некоторое время воцарилось молчание. Мадам Билер мыла рюмки, а ее муженек сидел за печкой не шелохнувшись.

— Ну и птичка, — сказал наконец Огюст, поглаживая свои костлявые ноги. — Когда я занял второе место в велогонке "Тур де Франс", я тоже мог завести себе такую — в такой же меховой шубке, надушенную дорогими духами и с богатым покровителем. Он был промышленник, господин фон Цюфтиг, бельгийские угольные шахты. И я стал бы теперь генеральным директором.

— Чепуха, — сказала Жоржетта, вытирая руки. — Ты другого полета. Такая женщина за тебя не пошла бы. В тебе нет изюминки. Архилохос родился в рубашке, я это всегда чувствовала, и потом, он грек. Увидишь, что из него получится. Он еще себя покажет, да еще как. А она — женщина-люкс. Я не удивляюсь, что она решила бросить свое ремесло. Заниматься им долго — утомительно и, уж что ни говори, мало радости. Все женщины такого сорта стремятся покончить с этим. И я когда-то стремилась. Правда, большинству это не удается, они впрямь подышают под забором, недаром это говорят с амвонов. Ну а некоторые получают своего Огюста и весь век любят его голыми ногами и желтой майкой... Ладно, если уж мы вспомнили старые времена, то я своей жизнью довольна. И потом, лично у меня никогда не было крупного промышленника. Для этого мне не хватало профессионального размаха. Ко мне ходили только мелкие буржуа да чиновники из министерства финансов. Две недели я встречалась с аристократом — графом Додо фон Мальхерном, последним отпрыском этого рода, теперь его давно уже нет в живых. Но Хлоя своего добьется. Она нашла Архилохоса, а уж из него будет толк.

12

Не теряя времени, Архилохос поехал на такси в Международный банк, а оттуда — в туристское агентство на набережной де л'Эгта. Он вошел в большой зал, стены которого были увешаны географическими картами

и пестрыми плакатами: "Посетите Швейцарию", "Твоя мечта — солнечный Юг", "Самолеты "Эр Франс" доставят вас в Рио", "Зеленая Ирландия". Служащие с вежливыми гладкими лицами. Стрекотание пишущих машинок. Лампы дневного света. Иностранцы, говорящие на неведомых языках.

Архилохос сказал, что он хочет поехать в Грецию: Керкира, Пелопоннес, Афины.

Служащий ответил, что агентство, к сожалению, не устраивает экскурсий на грузовых пароходах.

Архилохос возразил, что он, дескать, желает поехать на "Джувелетте". Просит каюту-люкс для себя и жены.

Служащий полистал расписание и сообщил сутенеру-испанцу (по имени дон Руис) время отправления и прибытия какого-то поезда. Затем он сказал, что на "Джувелетте" нет свободных мест, и повернулся к коммерсанту из Каира.

Архилохос вышел из туристского агентства и сел в такси, поджидавшее его у входа. Задумался. Потом спросил шофера, кто лучший портной в городе.

Шофер удивился.

— О'Нейл-Паперер на проспекте Бикини и Фатти на улице Сент-Оноре.

— А самый лучший парикмахер?

— Жозе на набережной Оффенбаха.

— Самый лучший шляпный магазин?

— Гошенбауэр.

— А где покупают самые лучшие перчатки?

— У де Штуца-Кальберматтена.

— Хорошо, — сказал Архилохос, — поедem по всем этим адресам.

И они поехали к О'Нейлу-Папереру на проспект Бикини, к Фатти на улицу Сент-Оноре, к Жозе на набережную Оффенбаха, к де Штуцу-Кальберматтену в магазин перчаток и к Гошенбауэру в магазин головных уборов. Архилохос прошел через множество рук — его мяли, обмеривали, чистили, кромсали, терли, и он менялся буквально на глазах: каждый раз он садился в такси все более элегантный и благоухающий; после посещения Гошенбауэра на голове у него появилась серебристо-серая шляпа, введенная в моду Иденом. К концу дня он опять приехал в туристское агентство на набережной де л'Эта.

Недрогнувшим голосом он обратился к тому же служащему, который его спровадил, сказал, что желает получить двухместную каюту-люкс на "Джувелетте", и положил на стеклянный барьер серебристо-серую иденовскую шляпу.

Служащий начал заполнять бланк.

— "Джувелетта" отплывает в следующую пятницу. Керкира, Пелопоннес, Афины, Родос и Самос, — сказал он. — Будьте любезны назвать вашу фамилию.

Однако после того, как Арнольф, отсчитав деньги за два билета, удалился, служащий заговорил с сутенером-испанцем, который все еще околачивался в агентстве — перелистывал туристские проспекты, а время от времени вступал в беседу с определенными сорта дамами, которые (также не отрывая глаз от проспектов) совали в его благородные узкие ладони денежные купюры.

— Скандальная история, сеньор, — сказал с отвращением служащий по-

испански (испанский он изучал на вечерних курсах), — является к тебе какой-то там дворник или трубочист и требует два места на "Джувьетте". А ведь "Джувьетта" — аристократический пароход для особ из самого высшего общества. — Служащий поклонился дону Руису. — Следующим рейсом на "Джувьетте" едут принц Гессенский, миссис и мистер Уимэны и Софи Лорен... А когда ты ему самым деликатным образом отказываешь, между прочим, из человеколюбия тоже, чтобы он не опозорился у такой публики, этот нахал возвращается разодетый, как лорд, и сорит деньгами, как архимиллионер, и ты вынужден дать ему каюту. Не могу же я бороться с мировым капиталом. За три часа этот подонок вылез из грязи в князи. Уверен, что здесь замешано ограбление банка, изнасилование, убийство с целью грабежа или политика.

— Действительно безобразия, — ответил дон Руис по-испански (испанский он изучал на вечерних курсах).

Тем временем уже стемнело и на улицах зажглись фонари. Архилохос проехал по новому мосту к бульвару Кюнекке, резиденции епископа старо-новопрестивитеранской церкви предпоследних христиан; на обочине тротуара перед небольшой виллой в викторианском стиле, прислонившись к фонарному столбу, сидел Биби в изжеванной шляпе, грязный и оборванный. От него несло сивухой, и он читал газету, которую подобрал в канаве.

— Что это на тебе, брат Арнольф? — спросил Биби, свистнул сквозь зубы, прищелкнул языком и ударил в ладоши, а потом старательно сложил грязную газету. — Знатные шмотки. Шик-блеск!

— Меня назначили генеральным директором, — сказал Арнольф.

— Вот это да!

— Я возьму тебя бухгалтером в объединение акушерских щипцов. Конечно, если ты обещаешь держать себя в руках. Порядок прежде всего.

— Нет, Арнольф, я не создан для канцелярской работы. А двадцать монет у тебя найдется?

— Что опять стряслось?

— Готлиб сверзился со стены. Сломал руку.

— С какой стены?

— Со стены пти-пейзановского концерна.

Первый раз в жизни Архилохос рассердился.

— Готлиб не должен грабить Пти-Пейзана. — К удивлению Биби, он повысил голос. — Он никого не должен грабить, а Пти-Пейзан к тому же мой благодетель. Из соображений творческого социализма он сделал меня генеральным директором. И ты еще требуешь у меня денег! В конечном счете все мои деньги — от Пти-Пейзана.

— Больше это никогда не повторится, брат Арнольф, — с достоинством отвечал Биби. — Вообще мальчик просто упражнялся. И потом, он ошибся адресом. Хотел обчистить чилийского посла, залезть к нему, кстати, сподручней. Но он перепутал номера домов, ведь он еще невинное дитя. Ну так как, дашь монету? — И он протянул Архилохосу свою братскую раскрытую ладонь.

— Нет, — сказал Архилохос, — я не могу поощрять жуликов, и вообще мне пора к епископу.

— Я подожду тебя, брат Арнольф, — сказал стойкий Биби и опять развернул газету, — хочу уточнить международное положение.

Епископ Мозер — толстый розовощекий мужчина в черном одеянии церковного сановника с белым накрахмаленным воротничком — принял Архилохоса в своем кабинете, небольшой высокой прокуренной комнате, освещенной только одной лампочкой. Вдоль стен тянулись полки, заставленные книгами духовного и светского содержания, сквозь высокое окно с тяжелыми портьерами проникал свет уличного фонаря, под которым брат Биби поджидал Арнольфа.

Архилохос назвал себя. Собственно, он младший бухгалтер в концерне Пти-Пейзана, но сегодня его назначили генеральным директором объединенной атомных пушек и акушерских щипцов.

Епископ Мозер благосклонно оглядел гостя.

— Знаю, дружок, — прошепелявил он, — вы посещаете проповеди отца Тюркера в часовне святой Элоизы. Правда? Как видите, я немножко знаком со своими милыми старо-новопресвитерианскими прихожанами. Добро пожаловать! — Епископ приветствовал генерального директора крепким рукопожатием. — Садитесь. — Жестом он указал Архилохосу на удобное кресло, а сам сел за письменный стол.

— Спасибо, — поблагодарил Архилохос.

— Прежде чем вы изольете мне душу, я хотел бы излить душу вам, — прошепелявил епископ. — Не угодно ли сигару?

— Я некурящий.

— Тогда, может, рюмочку вина или водки?

— Я непьющий.

— Надеюсь, вы не возражаете, если я закурую? С сигарой "Даннеман" легче говорить по душам, приятнее исповедоваться друг другу. "Греси смело", — сказал Лютер, мне хотелось бы еще добавить: "Кури смело" и "Пей смело". Вы ведь не возражаете?

Епископ наполнил стопку из запыленной водочной бутылки, которую держал за книгами.

— Что вы... Конечно, нет, — с некоторым смущением сказал Архилохос.

Его огорчало, что епископ все же не совсем соответствовал тому идеалу, который он себе создал.

Епископ Мозер закурил дорогую сигару "Даннеман".

— Видите ли, любезный брат... Разрешите мне так вас называть. Я уже давно мечтаю поболтать с вами. — Он выпустил первое облачко сигарного дыма. — Но, бог мой, вы не знаете, как загружены епископы. Надо посещать дома для престарелых и организовывать молодежные лагеря, устраивать падших женщин в богоугодные заведения, следить за преподаванием в воскресных школах и за подготовкой к конфирмации, экзаменовывать кандидатов на церковные должности, угощать новопресвитериан и мылить шею проповедникам. У епископа тысяча всяких дел и делишек, крутишься как белка в колесе. Старина Тюркер часто рассказывал о вас. Ведь вы не пропустили ни одной проповеди и проявили воистину редкое для нашей паствы рвение.

Архилохос просто, но твердо ответил, что ходить в храм божий для него первейшая потребность души.

Епископ Мозер налил себе еще стопочку водки.

— Знаю. И давно уже отмечаю это с радостью. А теперь случилось

вот что: достопочтенный член всемирного церковного совета старо-новопресвитериан два месяца назад предстал перед престолом господя бога. И я уже некоторое время подумываю: может, вы и есть самый подходящий человек, чтобы занять это почетное место, что вполне согласуется с вашим постом в концерне, не надо, пожалуй, только особенно акцентировать вопрос об атомных пушках... А вообще-то нам нужны люди, которые занимают прочное положение в жизни, ведь борьба за существование стала особенно многотрудной и зачастую жестокой, господин Архилохос.

— Но, господин епископ...

— Согласны?

— Для меня это неожиданная честь.

— Стало быть, я могу предложить вашу кандидатуру всемирному церковному совету.

— Если вы полагаете...

— Не скрою, всемирный церковный совет охотно следует моим пожеланиям, может быть, даже слишком охотно, многие говорят поэтому, будто я своенравный церковный владыка. Члены совета славные люди и добрые христиане, этого нельзя отрицать, но они всегда рады, когда я снимаю с них организационную сторону дела, а зачастую и думаю за них: далеко не каждый на это способен, то же относится и к членам совета. Следующее заседание, на котором вы должны присутствовать как кандидат, состоится в Сиднее. В мае. Каждая такая поездка — дар божий. Видишь новые страны, новых людей, знакомишься с чужими нравами и обычаями, с нуждами и проблемами любезного человечества в разных широтах. Разумеется, все расходы берет на себя старо-новопресвитерианская церковь.

— Мне, право, неловко...

— Я изложил вам свое дело, — прошепелявил епископ, — теперь перейдем к вашему. Не будем играть в прятки, господин Архилохос. Догодываюсь, что вас привело ко мне. Вы собираетесь сочетаться браком, соединить свою жизнь с милой женщиной. Встретив вас вчера на улице между крематорием и Национальным музеем, я приветствовал вас, но вынужден был тут же свернуть в темный переулок... Навещаю там одну умирающую старушку. Тоже святая душа.

— Да, да, господин епископ.

— Ну что, я угадал?

— Да, так и есть.

Епископ Мозер захлопнул лежащую перед ним Библию на греческом языке.

— Недурненькая особа, — сказал он, — что ж, желаю счастья. А когда состоится венчание?

— Завтра, в часовне святой Элоизы, если можно... Я был бы счастлив, если бы вы сами обвенчали нас.

Епископ почему-то пришел в замешательство.

— Собственно, это обязанность священника, который там служит, — сказал он. — Тюркер отлично совершает бракосочетания, и у него, между прочим, на редкость звучный голос.

— Прошу вас сделать для меня исключение, — попросил Архилохос, — тем более если меня выберут членом всемирного церковного совета.

— Гм. А успеете ли вы уладить все гражданские формальности? — спросил епископ. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Я обращаюсь к мэтру Дютуру.

— Тогда согласен, — сдался епископ, — скажем, завтра в три часа полудни в часовне святой Элоизы. Сообщите мне, пожалуйста, фамилию невесты и кое-какие данные о ней.

Епископ все записал.

— Господин епископ, — начал Архилохос, — моя предстоящая женитьба, вероятно, достаточная причина, чтобы оторвать вас от дел, но для меня она не самая главная, если можно так выразиться и если это не прозвучит кощунством, ибо, казалось бы, что может быть важнее, чем связать себя узами брака на всю жизнь. И все же в этот час у меня есть еще более важная забота, которая лежит на мне тяжелым грузом.

— Говорите, дорогой мой, — любезно предложил епископ. — Смелее! Снимите камень со своей души: ведь все, что нас гнетет, дела человеческие, очень даже человеческие.

— Господин епископ, — начал Архилохос в полном унынии, но потом выпрямился в кресле и даже закинул ногу на ногу, — простите, вероятно, я несу бог знает что. Но еще сегодня утром я был одет совсем иначе. Бедно одет, признаюсь честно. Костюм, который вы видели на мне в воскресенье, был куплен в день моей конфирмации, а теперь я вдруг щеголяю во всем новом и дорогом от О'Нейла-Паперера и от Фатти. Мне стыдно, господин епископ, вы можете подумать, что я с головой погряз в мирских соблазнах, как часто говорит нам проповедник Тюркер.

— Совсем наоборот, — улыбнулся церковный сановник, — приятная внешность, красивая одежда достойны похвалы, в особенности в наш век, когда в некоторых кругах, которые исповедуют безбожную философию, вошло в моду одеваться нарочито небрежно, почти нищенски, когда юноши носят пестрые рубахи навыпуск и прочую редкостную мерзость. Приличная модная одежда и христианство вовсе не исключают друг друга.

— Господин епископ, — продолжал осмелевший Архилохос, — думается, что хороший христианин будет встревожен, если на его голову одно за другим обрушатся несчастья. Он, наверно, почувствует себя Иовом, у которого, как известно, погибли все сыновья и дочери и который стал наг и заболел проказою лютою. И все же он сможет утешиться, считая, что несчастья ниспосланы ему за его прегрешения. Но представьте, что с человеком случается обратное, что на его голову сыплетсся одна удача за другой, вот когда можно встревожиться по-настоящему — ведь это совершенно необъяснимо. Разве есть человек, который заслужил бы столько счастья?

— Милый мой господин Архилохос, — улыбнулся епископ Мозер, — мир так устроен, что подобный случай навряд ли возникнет. Человек — тварь стенающая, сказал апостол Павел, и все мы стенаем от различного рода нагромождающихся бед. Правда, мы не должны воспринимать их слишком трагически. Нам следует учиться у Иова, об этом вы сказали очень верно и красноречиво, почти как сам отец Тюркер. То, о чем вы говорите, — длинная цепь всевозможных удач, — почти исключено, вы с этим никогда не встретитесь.

— Я как раз и встретился, — сказал Архилохос.

В кабинете стало тихо, сумерки сгущались, день на улице совсем угас, наступила темная ночь, снаружи не доносилось почти ни звука, только время от времени слышался шум проезжающей машины или шаги прохожего, замирающие вдали.

— Счастье подстерегает меня на каждом шагу, — вполголоса продолжал бывший младший помбух, одетый в безукоризненный костюм с хризантемой в петлице (серебристо-серую шляпу иденовского фасона, ослепительно белые перчатки и элегантную меховую шубу он оставил на вешалке). — Я помещаю брачное объявление в "Ле суар", и ко мне приходит очаровательная девушка, она влюбляется в меня с первого взгляда, и я влюбляюсь в нее, все идет как в плохой кинокартине, мне даже стыдно рассказывать. Я отправляюсь гулять с девушкой, и весь город мне кланяется. Со мной здороваются президент, вы, господин епископ, и прочие важные персоны, а сегодня я вдруг сделал головокружительную карьеру — и светскую, и церковную. Только что я был никем, вел жалкое существование младшего из младших — и вот я уже генеральный директор и меня прочат в члены всемирного церковного совета староновопресвитериан. Все это совершенно необъяснимо и повергает меня в тревогу.

Епископ долго не произносил ни слова, теперь он казался усталым и седым стариком; сидел уставившись в одну точку; сигару он положил в пепельницу, и она лежала там погасшая и ненужная.

— Господин Архилохос, — сказал наконец епископ, голос его изменился, окреп, он уже не шепелявил, — господин Архилохос, признаюсь, все эти происшествия, о которых вы поведали мне в этот тихий вечер с глазу на глаз, в самом деле удивительны и необычны. Что же касается причин, которые их обусловили, мне думается, что не этим неизвестным нам причинам, — (тут голос его дрогнул, и на секунду опять стало заметно, что епископ шепелявит), — следует приписывать столь решающее значение, поскольку они ведь лежат в сфере человеческого, а в этих пределах все мы грешники. Суть в другом: в том, что на вас снизошла благодать и что вам все время являются зримые признаки этой благодати. Сейчас вы уже не младший бухгалтер, а генеральный директор и член всемирного церковного совета, и речь теперь идет о том, сможете ли вы доказать, что достойны сей божьей милости. Несите свой счастливый крест столь же смиренно, как несли бы крест несчастий. Вот все, что я могу вам сказать. Быть может, путь, на который вы вступили, особенно труден, ведь это путь удач; и бог потому не ниспосылает его людям, что они еще меньше способны им идти, нежели путем несчастий, обычным для этой земли. А теперь прощайте. — С этими словами епископ встал. — Мы увидимся завтра в часовне святой Элоизы, когда вы уже многое себе уясните. А я буду молиться, чтобы вы не забыли мои слова, как бы ни сложилась ваша жизнь в дальнейшем.

14

После разговора с епископом Мозером, после прокуренной комнаты с тяжелыми портьерами, письменным столом и полками, забытыми классикой и библиями, и после того, как брат Биби, читавший под окном епископа газету ("Ле суар"), получил требуемую сумму, члену всемирного церковного совета захотелось сразу же поехать на бульвар Сен-Пер, но часы на церкви Иезуитов у площади Гийома пробили всего шесть раз, а они с Хлоей условились встретиться в восемь, и Архилохос решил подождать до восьми, хотя и подумал с болью в сердце, что Хлое еще

два лишних часа придется пробыть в прислугах. Он хотел уже сегодня переехать с ней в "Риц" и все заранее подготовил: заказал два номера — один на втором этаже, другой на шестом, чтобы не смущать девушку и чтобы не ставить себя как церковного деятеля в ложное положение. Потом он попытался разыскать мэтра Дютура, но — увы — тщетно: Архилохосу сказали, что адвокат и нотариус Дютур отправился оформлять передачу какого-то дома новому владельцу. В результате у Арнольфа образовалось свободное время — полтора с лишним часа. Он подготовился к свиданию — купил цветы, узнал, в каком ресторане можно поесть; в безалкогольный ресторан напротив Всемирной организации здравоохранения он не хотел больше идти, а об "Огюсте" тем более не могло быть и речи. С тайной грустью Архилохос подумал, что в этой элегантной одежде ему там не место — костюм от О'Нейла-Паперера не подходил к желтой майке мсье Билера. Поэтому он, хоть втайне и угрызаясь, решил пообедать в "Рице", конечно, без вина; заказал столик и, радостно взволнованный, отправился на выставку Пассапа, которую случайно обнаружил в художественной галерее Пролазьера, прямо напротив "Рица", и которая из-за напльва посетителей была открыта также по вечерам. В светлом выставочном зале были экспонированы и последние работы Пассапа (углы в шестьдесят градусов, эллипсы и параболы); Архилохос с восторгом любовался ими, пробираясь с букетом цветов (белые розы) сквозь толпу американцев, журналистов и художников. Но от одной картины он прямо-таки отпрянул, хотя на ней, собственно, не было ничего особенного — всего лишь два эллипса и одна парабола, написанные синим кобальтом и охрой. Некоторое время Архилохос с изумлением смотрел на эту картину, покраснев до корней волос и судорожно сжимая в руке букет, потом в паническом ужасе, обливаясь потом и одновременно дрожа от озноба, рванулся прочь и вскочил в первое попавшееся такси, не забыв, впрочем, узнать адрес художника у Пролазьера, который в черном смокинге стоял у кассы, улыбаясь и потирая руки. Тут же владелец галереи, как был, без пальто и тоже на такси, пустился в погоню за Архилохосом. Он боялся, что Арнольф тайно приобретет у Пассапа картину, и желал получить причитающиеся ему комиссионные. Пассап жил на улице Фюнебр, в Старом городе, и такси выехало на проспект маршала Фёгели (впритык за ним следовало другое такси, с Пролазьером). Правда, такси выехало с огромным трудом, поскольку сторонники Фаркса как раз в это время устроили многолюдную манифестацию: на длинных шестах они несли портреты анархиста, красные флаги и огромные транспаранты: "Долой президента!", "Срывают Луганский договор!" и другие в том же духе. Где-то поблизости держал речь сам Фаркс. На улицах стоял дикий рев и гам, прерываемый свистками и конским топотом, потом полицейские взялись за резиновые дубинки и шланги, и оба такси — Архилохоса и владельца галереи — были облиты водой, причем владелец галереи, на свою беду, опустил стекло — видимо, из любопытства. Но как раз в эту минуту шоферы, ругаясь на чем свет стоит, свернули у магазина "Френер и Потт" в Старый город. Плохо мощенные улицы круто шли в гору, дома были ветхие, то тут, то там попадались подозрительные заведения. Кучками стояли проститутки, похожие на черных птиц: они призывно махали руками и шипели; было так холодно, что мокрые такси уже давно обледенели. На тускло освещенной улице Фюнебр — у дома 43 (где жил Пассап) — Архилохос с букетом белых роз вышел из своей

сказочно разукрашенной сверкающими и звенящими сосульками машины и велел шоферу ждать; уличные мальчишки сразу же обступили Архилохоса, хватая его за штанины; наконец, миновав злую и пьяную консьержку, он проник внутрь большого старого дома и начал взбираться по нескончаемой лестнице. Лестница была совершенно трухлявая, несколько раз ступеньки проваливались под ногами Арнольфа, и он повисал в воздухе, уцепившись за деревянные перила. Чуть ли не в полной темноте с огромным трудом одолевал он этаж за этажом, больно обдирая ладони об необструганные перила. Напрягая зрение, он пытался различить, нет ли на какой-нибудь из ветхих дверей имени Пассапа; за его спиной пыхтел Пролазьер, на которого он по-прежнему не обращал внимания. В доме был адский холод, за стенкой бренчали на рояле, где-то хлопало окно. В какой-то квартире визжала женщина и орал мужчина, и повсюду пахло грязью и пороком. Архилохос подымался все выше, опять продавил ступеньку и провалился по колено, потом угодил головой в паутину; по лбу у него проползло жирное полузамерзшее насекомое, и он с отвращением смахнул его. Шуба от Фатти и шикарный новый костюм от О'Нейла-Паперера запылились, брюки он порвал — хорошо еще, что розы были невредимы, — но вот в конце узкой и крутой чердачной лестницы он увидел хлипкую дверь и на ней по диагонали огромную надпись мелом "Пассап". Архилохос постучал. Двумя пролетами ниже лязгал зубами Пролазьер. На стук никто не отозвался. Архилохос постучал снова, потом еще раз и еще. Ни ответа, ни приветия. Тогда член всемирного церковного совета нажал ручку, дверь оказалась незапертой. Архилохос вошел.

Он очутился на необъятном чердаке, почти на гумне — над головой сплетение балок на разном уровне. Всюду стояли негритянские идолы, лежали груды холстов, пустые рамы, скульптуры — провололочные каркасы диковинной формы, над раскаленной железной печкой подымалась неимоверно длинная, причудливо изогнутая труба, тут же валялись винные и водочные бутылки, мятые тюбики с красками, пузырьки и кисти. По чердаку бегали кошки, а на полу и на стульях громоздились горы книг. Посредине у мольберта стоял Пассап в халате; когда-то давно халат был, по-видимому, белый, сейчас он был сплошь заляпан красками. Пассап колдовал шпателем на холсте, изображавшем параболы и эллипсы, а против него, у печки, на расшатанном стуле, сцепив руки на затылке, позировала жирная девица с длинными светлыми волосами; она была совершенно голая; член всемирного церковного совета окаменел (ведь он первый раз в жизни видел голую женщину), он боялсядохнуть.

— Кто вы такой? — спросил Пассап.

Архилохос представился, хотя вопрос живописца его несколько удивил, ведь не далее как в воскресенье тот сам с ним поздоровался.

— Что вам надо?

— Вы написали мою невесту Хлою обнаженной, — с трудом произнес грек.

— Вы говорите о картине "Венера, 11 июля"? Вывешена в галерее Пролазьера?

— Да.

— Одевайся, — приказал Пассап натурщице, и та исчезла за ширмой. Потом он с трубкой в зубах долго и внимательно разглядывал Архилохоса, дым таял где-то под крышей в нагромождении балок. — Ну и что?

— Сударь, — с большим достоинством начал Архилохос, — я счита-

тель вашего таланта, с восхищением следил я за вашими успехами, вы даже шли номером четвертым в моем миропорядке.

— Какой миропорядок? Что за чушь! — сказал Пассап, выдавливая на палитру целые горы красок (кобальт и охра).

— Я составил список самых достойных представителей нашей эпохи, список людей, которые служат для меня моральной опорой.

— Ну, а дальше?

— Сударь, несмотря на все то уважение и восторг, которые вы у меня вызываете, я вынужден просить объяснений. Не так уж часто, по-моему, случается, что жених видит на картине свою невесту обнаженной, в облике Венеры. Даже если мы имеем дело с абстрактной живописью, тонко чувствующий человек всегда угадывает натуру.

— Правильно, — сказал Пассап, — жаль, что критики на это неспособны. — Он опять воззрился на Архилохоса, подошел к нему ближе, ощупал его, как ошупывают лошадь, снова отступил на несколько шагов и прищурился. — Раздевайтесь, — сказал он наконец, налил стакан виски, отхлебнул и снова набил трубку.

— Но... — попытался было возразить Арнольф.

— Никаких "но". — Пассап так грозно взглянул на Архилохоса своими злыми черными колючими глазками, что тот прикусил язык. — Я хочу изобразить вас в виде Ареса.

— Какого Ареса?

— Арес — бог войны в Древней Греции, — пояснил Пассап. — Много лет я искал подходящего натурчика — в пару к моей Венере. И вот нашел. Вы — типичный изверг, порождение грохота битв, тиран, проливающий реки крови. Вы грек?

— Конечно, но...

— Вот видите.

— Господин Пассап, — сообразил наконец Архилохос, — вы ошибаетесь, я не изверг и не тиран, проливающий реки крови, и не порождение грохота битв, я человек смирный, член всемирного церковного совета старо-новопресвитерианской церкви, абсолютный трезвенник, некурящий. К тому же вегетарианец.

— Ерунда, — сказал Пассап. — Чем вы занимаетесь?

— Генеральный директор объединения атомных пушек и...

— А я что говорил, — прервал его Пассап, — стало быть, бог войны. И изверг. Вы просто скованы, еще не развернулись. По натуре вы горький пьяница и распутник. О лучшем Аресе я и не мечтал. Раздевайтесь, и поживее! Мое дело писать, а не точить ляды.

— Не буду раздеваться, пока здесь эта барышня, которую вы только что писали, — заупрямился Архилохос.

— Проваливай, Катрин, он стесняется! — закричал художник. — До завтра ты, толстуха, мне больше не понадобится!

Жирная девица со светлыми волосами, уже одетая, попрощалась. Когда она открыла дверь, на пороге появился Пролазьер — он дрожал от холода и сильно обледел.

— Протестую! — ошипшим голосом закричал владелец галереи. — Протестую, господин Пассап, мы ведь договорились...

— Убирайтесь к чертовой матери!

— Я дрожу от холода, — в отчаянии завопил владелец галереи. — Мы ведь договорились...

— Замерзайте на здоровье.

Девушка закрыла дверь, слышно было, что она спускается по лестнице.

— Ну что? Вы еще в штанах? — раздраженно спросил Архилохос художник.

— Сию минуту, — ответил генеральный директор, раздеваясь. — Рубашку тоже снимать?

— Снимать все.

— А цветы? Они для невесты.

— Бросьте на пол.

Член всемирного церковного совета аккуратно сложил свой костюм на один из стульев, предварительно почистив его (ибо костюм сильно запачкался во время трудного восхождения по лестнице), и остался нагишом.

Он мерз.

— Придвиньте стул к печке.

— Но...

— Станьте на стул в позе боксера, руки должны быть под углом в шестьдесят градусов, — распорядился Пассап, — именно таким я и представляю себе бога войны.

Архилохос повиновался, хотя стул ходил под ним ходуном.

— Слишком много жира, — раздраженно бормотал художник, опять наливая себе виски. — У баб это еще куда ни шло, иногда мне даже нравится. Ну ладно, жир уберем. Главное — голова и торс. Густая шерсть на груди — хорошо, верный признак воинственности. Ляжки тоже годятся. Снимите очки, они все портят.

Потом художник начал писать; он писал углы в шестьдесят градусов, эллипсы и параболы.

— Сударь, — снова заговорил член всемирного церковного совета (стоя в позе боксера). — Я жду объяснений насчет...

— Помолчите! — заорал Пассап. — Здесь говорю только я. Вполне естественно, что я писал вашу невесту. Вполне. Грандиозная женщина. Вы ведь знаете, какая у нее грудь.

— Сударь...

— Одни бедра чего стоят! А пупок!

— Я попросил бы...

— Станьте как следует, я же сказал, в позе боксера, черт возьми, — зашипел художник, нанося на холст целые горы охры и синего кобальта. — Никогда не видел свою невесту голой, а еще туда же — обручается!

— Вы топчете цветы. Белые розы.

— Ну и пусть. Ваша невеста — откровение. Когда я увидел ее голой, то чуть было не превратился в пошлого натуралиста или в эдакого беззубо-безобидного бодрячка-импрессиониста. Роскошная плоть, а кожа дышит! Втяните живот, прямо беда с вами! Никогда у меня не было такой божественной природы, как Хлоя! Великолепная спина, точеные плечи, а две нижние выпуклости — упругие и округлые, как два земных полушария. При виде эдакой красоты в голову лезут космические мысли. Уже давно живопись не доставляла мне такого удовольствия. Хотя женщины меньше всего интересуют меня в плане живописи: я пишу их редко, да и то обычно толстух вроде этой. Для искусства женщина не находка; мужчина — совсем другое дело, и самое интересное — это отклонения от классических норм. Но Хлоя — счастливое исключение! У нее все райски

гармонично: и ноги, и руки, и шея, а голова еще не утратила истинной женственности. Я изобразил ее в скульптуре тоже. Вот смотрите! — Пассап показал на какой-то каркас несуразной формы.

— Но...

— Примите позу боксера! — одернул Пассап члена всемирного церковного совета, отошел на несколько шагов, внимательно оглядел картину, поправил один эллипс, снял холст с мольберта и прикрепил новый. — Арес после битвы! Теперь опуститесь на колени, — приказал он. — Наклоните туловище вперед. В конце концов, вы ведь не будете позировать мне каждый день.

Совершенно растерянный и наполовину изжаренный из-за соседства с печкой, Архилохос почти не сопротивлялся.

— И все же я попросил бы вас... — начал Архилохос.

Но при этих словах на чердак, дрожа, ввалился Пролазьер, который уже совершенно обледенел и даже позвякивал на ходу: он заподозрил неладное, решил, что Архилохос все же покупает картину.

Пассап разъярился.

— Убирайтесь! — взвыл он.

И владелец картинной галереи вновь ретировался на лестницу, в арктическую стужу.

— У меня одно объяснение — искусство, — говорил художник, попивая виски, нанося на холст краски и одновременно глядя кошку, сидящую у него на плече, — и мне безразлично, удовлетворяет вас это объяснение или нет. Из вашей голой невесты я сделал шедевр, в котором все совершенно: и пропорции, и плоскостное решение, и ритм, и цвет, и поэзия линий. Целый мир кобальта и охры! Вы же сделаете с Хлоей как раз обратное, как только она окажется голой в вашем распоряжении. Вы превратите ее в мамашу с выводком пискунов. Вы, а не я, разрушаете шедевр, созданный природой, я же облагораживаю его, возвожу в абсолют, придаю законченность и некую сказочность.

— Уже четверть девятого! — воскликнул Архилохос, напуганный тем, что прошло уже так много времени, и вместе с тем с чувством облегчения от слов художника.

— Ну и что?

— Мы условились с Хлоей встретиться в восемь, — робко сообщил Арнольф и попытался было слезть со стула, который со всех сторон осаждали мурлыкающие кошки. — Она ждет меня на бульваре Сен-Пер.

— Пусть подождет. Стойте, как стояли, — проревел Пассап, — искусство важнее ваших любовных шашней. — И он продолжал писать.

Архилохос застонал. Серый кот с белыми лапками вскарабкался к нему на плечо и выпустил когти.

— Тише! — приказал Пассап. — Не шевелитесь.

— Кот...

— Кот молодчага, чего не скажешь про вас, — бушевал художник. — Мыслимо ли отрастить такое брюхо, да еще человеку непьющему.

На чердаке опять появился Пролазьер (окоченевший и покрытый ледяной корой). Хныча, он заявил, что промерз до костей; он так охрип, что речь его стала совсем невнятной.

— Никто не просит вас околачиваться у меня под дверь, а в мастерскую я вас не пушу, — грубо ответил Пассап.

— Вы на мне наживаетесь, — прохрипел владелец картинной галереи,

он хотел высморкаться, но не смог вынуть руку из кармана брюк, рука примерзла.

— Как раз наоборот: это вы на мне наживаетесь! — заорал художник громовым голосом. — Вон!

Владелец галереи удалился в третий раз.

Да и Архилохос не смел пикнуть. А Пассап, прихлебывая виски, малевал свои углы в шестьдесят градусов, параболы и эллипсы, густо накладывая кобальт на охру и охру на кобальт; прошло еще полчаса, прежде чем он разрешил генеральному директору одеться.

— Берите, — сказал Пассап и сунул Арнольфу в руки проволочный каркас. — Поставьте это возле своего супружеского ложа. Мой свадебный подарок... Будете вспоминать красоту своей невесты, когда она ответит. Один из ваших портретов я тоже пришлю, пусть только подсохнет. А теперь убирайтесь подобра-поздорову. Ненавижу членов всемирных церковных советов и генеральных директоров — пожалуй, они еще хуже, чем владельцы галерей. Ваше счастье, что вы вылитый бог войны. Иначе я давно выбросил бы вас голого на мороз. Не сомневайтесь!

15

Архилохос ушел от художника, держа в одной руке белые розы, а в другой — каркас, который должен был изображать его обнаженную невесту; на узкой, крутой чердачной лестнице — скорее, это была стремянка — он столкнулся с владельцем галереи, у которого под носом висела длинная сосулька. Прозазьер прижимался к стене; он отчаянно промерз, стоя на ледяном сквозняке.

— Вот видите, — запричитал он так тихо, что казалось, его голос доносился из расселины глетчера, — я ведь знал: вы у него купили. Протестую!

— Свадебный подарок, — объявил Арнольф, осторожно спускаясь; ему мешали цветы и проволочная скульптура, и он сердился на себя за это бессмысленное приключение — ведь скоро девять. Но идти по этой лестнице быстрее было опасно.

Владелец галереи спускался за ним.

— Как не стыдно, — протестовал Прозазьер; половину его слов вообще нельзя было разобрать. — Как вам не стыдно, я слышал, что вы говорили Пассапу: будто вы член всемирного церковного совета... Безобразие. Разве можно позировать, занимая такой пост? Да еще в чем мать родила?

— Подержите, пожалуйста, скульптуру, — волей-неволей попросил Прозазьера Архилохос (между пятым и четвертым этажами, около квартиры, где все еще визжала женщина и орал мужчина). — Всего минутой, у меня застряла нога — провалилась в трухлявую ступеньку.

— Не могу, — пискнул Прозазьер. — Без комиссионных я не прикасаюсь ни к одному произведению искусства.

— Тогда возьмите букет.

— Не в состоянии, — извинился владелец картинной галереи, — рукава примерзли.

Наконец они выбрались на улицу. Машина вся обросла сосульками и блестела, как серебро. Только радиатор был чистый — мотор все время

работал. Но внутри машины стоял несусветный холод. Продрогший шофер объяснил, что отопление вышло из строя.

— Бульвар Сен-Пер, двенадцать, — сказал Архилохос; он был рад, что скоро увидит свою невесту.

Шофер нажал на газ, но тут в стекло застучал владелец галереи.

— Будьте любезны, захватите меня с собой.

Арнольф опустил стекло и высунул голову, чтобы расслышать невнятное бормотание поблескивающего Пролазьера, похожего на айсберг.

Айсберг заявил, что он не в силах ступить ни шагу, а в Старом городе ни за какие деньги не найдешь такси.

Невозможно, сказал Архилохос и объяснил, что торопится на бульвар Сен-Пер и так он, мол, сильно опаздывает.

— Как христианин и как член всемирного церковного совета, вы не вправе бросить меня на произвол судьбы, — возмутился Пролазьер, — я уже начал примерзать к тротуару.

— Садитесь, — сказал Архилохос, открывая дверцу.

— Здесь, кажется, немного теплее, — заметил владелец галереи, когда он наконец уселся рядом с Архилохосом. — Будем надеяться, что я оттаю.

Однако они уже свернули на бульвар Сен-Пер, а Пролазьер так и не оттаял, но, впрочем, ему тоже пришлось выгрузиться из такси. Шофер не желал возвращаться на набережную, он и сам порядком замерз; машина ушла. Теперь Архилохос и Пролазьер очутились перед узорчатой решеткой с литыми амурчиками и дельфинами, с красным фонарем, который на этот раз не горел, и двумя огромными каменными цоколями. Архилохос позвонил в старинный звонок. Никто не вышел. Улица была безлюдна, только издалека доносился шум и гам — это бушевали сторонники Фаркса.

— Сударь, — сказал Архилохос, обеспокоенный своим опозданием, руки у него были заняты букетом и проволочным каркасом. — Я вынужден вас покинуть.

Он открыл дверцу ворот и решительно шагнул в парк, но Пролазьер следовал за ним.

Заметив, что он не отделался от обледеневшего владельца галереи, рассерженный Архилохос спросил, что тому надо.

Пролазьер заявил, что ему, мол, надо вызвать по телефону такси.

— Я почти незнаком со здешними хозяевами.

— Вы, как член...

— Пожалуйста, — сказал Архилохос, — пожалуйста, идите за мной.

Мороз все крепчал, при каждом шаге владелец галереи звенел, будто целая звонница. Ели и вязы стояли неподвижно, на небе светилась серебристая лента Млечного Пути, сверкали огромные звезды — красные и желтые. Сквозь стволы деревьев было видно мягкое золотистое сияние — освещенные окна. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вилла — миниатюрный замок в стиле рококо, несколько вычурный; изящные колонны и стены обвивали ветки дикого винограда; в светлую ночь все это было нетрудно разглядеть. Архилохос и его спутник поднялись по пологой, красиво изогнутой лестнице. Дверь виллы была ярко освещена, но на ней не было дощечки с фамилией владельца, только массивный звонок. Никто и на сей раз не ответил им.

Пролазьер опять заныл: если он простоит еще минуту на таком морозе, то отдаст богу душу.

Архилохос нажал на ручку. Дверь была не заперта, и Арнольф сказал, что он на минуту заглянет в дом.

Пролазьер последовал за ним.

— Вы что, с ума сошли? — прошипел Архилохос.

— Не могу же я стоять на улице в такой холод.

— Я незнаком с хозяевами.

— Вы, как христианин...

— Тогда ждите меня здесь, — велел Арнольф.

Они оказались в холле. Похожую мебель Архилохос уже видел в покоях Пти-Пейзана, на стенах висели изящные зеркала. Холл утопал в цветах, в доме было очень тепло. Владелец картинной галереи тут же начал таять, с него закапала вода.

— Сойдите с ковра! — прикрикнул на него член всемирного церковного совета: ему стало явно не по себе при виде Пролазьера, с которого текло в три ручья.

— Как угодно, — сказал тот и подошел к стойке с зонтами, — только бы мне поскорей добраться до телефона.

— Я изложу вашу просьбу хозяину.

— Ради бога, не мешкайте.

— Подержите хотя бы скульптуру, — сказал Архилохос.

— Без комиссионных не могу.

Арнольф поставил проволочный шедевр у ног Пролазьера и открыл дверь в маленькую гостиную, где стояли диванчик, столик, миниатюрный клавесин и хрупкие креслица. Он откашлялся. В гостиной никого не оказалось. Но за высокой дверью послышались шаги. Очевидно, это был мистер Уимэн. Архилохос подошел к двери и постучал.

— Войдите!

К своему удивлению, Арнольф увидел мэтра Дютура.

16

Мэтр Дютур, маленький подвижный человек с черными усиками и живописной седой гривой, стоял у большого красивого стола в комнате с высокими зеркалами в позолоченных рамах. Ярко горела люстра со множеством свечей, словно рождественская елка.

— Я вас ждал, господин Архилохос, — сказал мэтр Дютур, поклонившись. — Садитесь, пожалуйста.

Он жестом указал Арнольфу на кресло, а сам сел напротив него. На столе лежала бумага с гербовыми печатями.

Архилохос сказал, что он не понимает, в чем дело.

— Дорогой господин генеральный директор, — с улыбкой начал адвокат, — я рад, что именно меня уполномочили передать вам в дар эту виллу. Дом не заложен, находится в прекрасном состоянии, если не считать крыши на западной стороне: ее, видимо, придется отремонтировать.

Архилохос повторил, что он ничего не понимает, он и впрямь был изумлен, хотя сюрпризы судьбы уже несколько закалили его волю и ко многому подготовили.

— Может, вы мне объясните...

— Прежний хозяин дома не пожелал себя назвать.

Арнольф заявил, что в общих чертах он догадывается — речь идет,

конечно, о мистере Уимэне, знаменитом археологе, который специализировался на раскопках в Греции и обнаружил погрузившийся во мхи древний храм с ценнейшими статуями и золотыми колоннами.

Мэтр Дютур был явно озадачен, некоторое время он с удивлением взирал на Архилохоса, покачивая головой. Наконец заверил, что не имеет права разглашать профессиональную тайну; прежний владелец желает, чтобы дом принадлежал греку, и счастлив, что нашел в лице Архилохоса человека, который отвечает этому условию. Далее Дютур заявил, что в эпоху всеобщей коррупции и безразличности, когда самые противостественные преступления кажутся естественными, когда гибнет всякое правовое начало и человечество повсеместно возвращается к жестокому кулачному праву, то есть к временам варварства, — в эту эпоху юрист мог бы отчаяться, потерять вкус к порядку и справедливости, если бы ему хоть изредка не выпадала честь подготавливать и оформлять юридический акт, который символизирует бескорыстие в чистом виде, вот как, например, сей акт о передаче в дар этого маленького замка. Документы уже подготовлены, господину генеральному директору нужно только бегло просмотреть их и поставить свою подпись. Налоги в связи с передачей виллы (государство — этот ненасытный молох — требует жертв) тоже заплачены.

— Большое спасибо, — сказал Архилохос.

Мэтр зачитал вслух документы, и член церковного совета подмахнул их.

— Отныне вилла ваша, — сказал адвокат и поднялся с кресла.

Архилохос тоже поднялся.

— Сударь, — торжественно произнес Арнольф, — разрешите мне выразить радость по поводу знакомства с вами, человеком, которого я давно почитаю. Вы защищали беднягу проповедника. И тогда вы воскликнули: "Это плоть изнашивала его дух, душа осталась неоскверненной..." Ваши слова на всю жизнь врезались мне в память.

— Что вы, — возразил Дютур. — Я только выполнял свой долг. К сожалению, проповедника обезглавили, до сих пор я безутешен — ведь я настаивал на двенадцати годах каторги. Правда, от самого страшного мы его спасли — как-никак его не повесили.

Архилохос попросил Дютура уделить ему еще минутку.

Дютур поклонился.

— Прошу вас, уважаемый мэтр, подготовьте документы к моему бракосочетанию.

— Они готовы, — ответил адвокат. — Ваша милая невеста уже говорила со мной.

— Неужели? — радостно воскликнул Арнольф. — Вы знакомы с моей милой невестой?

— Имел удовольствие.

— Чудесная девушка. Правда?

— Несомненно.

— Я самый счастливый человек на свете.

— Кого вы предлагаете в свидетели жениха и невесты?

Архилохос признался, что об этом он не подумал.

Дютур сказал, что рекомендовал бы в качестве свидетелей американского посла и ректора университета.

Арнольф заколебался.

Мэтр сообщил, что оба свидетеля уже дали согласие.

— Вам ничего не надо предпринимать. Предстоящая женитьба вызвала в обществе сенсацию, все уже знает о ваших поразительных служебных успехах, дорогой господин Архилохос.

— Но ведь эти господа незнакомы с моей невестой.

Маленький адвокат откинул со лба живописную седую прядь, погладил усы и почти злобно взглянул на Арнольфа.

— Думаю, что все-таки знакомы, — сказал он.

— Понимаю, — догадался вдруг Архилохос, — эти господа были гостями Джильберта и Элизабет Уимэнов.

На этот раз опять изумился мэтр Дютур.

— Назовем это так, — сказал он после долгой паузы.

Имена свидетелей не вызвали у Арнольфа особого восторга.

— Конечно, я всегда восхищался ректором университета...

— Вот и прекрасно.

— Но американский посол...

— У вас опасения политического порядка?

— Да нет, — сказал Архилохос смущенно, — мистер Форстер-Монро занимает, правда, пятое место в моем миропорядке, но он старопресвитерианин, а их догмат всепрощения я не разделяю, я твердо верю в адские муки за гробом.

Дютур покачал головой.

— Не стану посягать на чужую веру. Но в данном случае, по-моему, это не повод для беспокойства: что общего между вашей женитьбой и адскими муками?

Архилохос вздохнул с облегчением.

— Собственно, я тоже так думаю, — сказал он.

— Стало быть, разрешите откланяться, — заметил Дютур, захлопывая портфель. — Гражданское бракосочетание состоится в два ноль-ноль в hôtel de ville¹.

Арнольф собрался проводить мэтра.

Но маленький адвокат сказал, что он предпочитает идти через парк; раздвинув красные портьеры, он открыл стеклянную дверь на веранду.

— Кратчайший путь.

В комнату ворвалась струя ледяного воздуха.

Когда торопливые шаги адвоката замерли в темноте, Архилохос подумал, что Дютур был в этом доме частым гостем; он постоял некоторое время на веранде, куда вела стеклянная дверь, глядя, как мерцают звезды над голыми деревьями. Потом ему стало холодно, он вернулся в комнату и запер дверь.

— Уимэны, как видно, жили на широкую ногу, — пробормотал он.

17

Архилохос бродил по миниатюрному замку в стиле рококо, который отныне был его собственностью. Ему почудилось вдруг, что в соседней комнате слышатся чьи-то легкие шаги, но там никого не оказалось. Вилла была ярко освещена: горели высокие белые свечи и

¹ Ратуша (франц.).

лампочки. Арнольф проходил по анфиладе комнат и маленьких зал, обставленных изящной мебелью, ступал по пушистым коврам. Стены были обиты старинными штофными обоями, в некоторых местах уже немного потертыми, на серебристо-сером фоне — лилии, вытканые матовым золотом; повсюду висели великолепные картины, от которых Арнольф, впрочем, краснея, отводил глаза; с картин на него смотрели все больше голые женщины, зачастую они были в обществе мужчин, изображенных в том же натуральном виде. Хлоя так и не показалась. Вначале Архилохос шел куда глаза глядят, но потом заметил, что кто-то незримый указывает ему путь: на пушистых коврах то тут, то там лежали вырезанные из бумаги звезды — голубые, красные и золотые, — по этому следу, наверно, и надо было идти. Совершенно неожиданно Архилохос увидел узкую винтовую лестницу, которая начиналась у обитой штофом потайной двери (прежде чем обнаружить эту дверь, он долго стоял у стены, где звездная дорожка внезапно обрывалась), на ступеньках лестницы лежали бумажные звезды и кометы, а на одной даже планета Сатурн и его кольца; потом Арнольф увидел бумажную луну, а позже и солнце. Однако чем выше взбирался Архилохос, чем дальше шел по ступенькам, тем больше он терял мужество: на него напала привычная робость. Запыхавшись, он судорожно сжимал букет белых роз, который, впрочем, не выпустил из рук даже во время разговора с мэтром Дютуром. Винтовая лестница привела Архилохоса в круглую комнату с тремя венецианскими окнами, большим письменным столом и глобусом, креслом с высокой спинкой, шандалом и ларем; мебель была средневековая, как на сцене, когда ставят "Фауста"; на кресле лежал пожелтевший клочок пергамента, на котором губной помадой было выведено: "Кабинет Арнольфа". При виде телефона на письменном столе у Архилохоса мелькнула мысль о владельце галереи, он вспомнил, как тот стоял внизу в холле у стойки с зонтами и как с него текло в три ручья; наверно, Пролазьер в конце концов совсем оттаял. Но стоило Арнольфу открыть вторую дверь кабинета, на которую тоже указывали звезды и кометы, и он наизусть позабыл о хозяине галереи — перед Архилохосом была спальня с огромной старинной кроватью под балдахинном; "Спальня Арнольфа" — как сообщал клочок пергамента, лежавший на маленьком столике в стиле ренессанс. Но звездная дорожка вела дальше; следующая комната была снова выдержана в стиле рококо — то была уже не просто жилая комната, а прелестный будуар, освещенный лампами под красными абажурчиками; в нем стояли мебель и безделушки, обычные для будуаров; на одном из креслиц лежал пергамент с надписью, сделанной губной помадой: "Будуар Хлои"; и тут же в ужасающем беспорядке были разбросаны предметы дамского туалета, которые вконец смутили Архилохоса: бюстгальтер, пояс с резинками, корсаж, комбинация, штанишки — все белое, как снег; на полу валялись чулки и туфельки, а через полуоткрытую дверь можно было заглянуть в ванную, облицованную черным кафелем, с бассейном в полу, наполненным зеленоватой душистой водой, над которой подымался пар.

Однако кометы и звезды на ковре указывали путь не только к ванной, но и к другой двери; заслонившись букетом, как щитом, Архилохос открыл ее. Теперь он очутился в покоях с изящной, но необязательно широкой кроватью под балдахинном, стоявшей как раз посередине. Звездная дорожка тут кончалась, хотя несколько звезд и солнц были еще при-

клеены к деревянной раме кровати. Занавеси над кроватью были затянуты, и Архилохос вначале никого не заметил. В камине горело несколько поленьев, и пламя отбрасывало гигантскую колеблющуюся тень Арнольфа на пурпурный балдахин, затканый причудливыми золотыми узорами. Архилохос боязливо приблизился к кровати. Сквозь щель в занавеске он заглянул внутрь, но вначале не заметил в темноте ничего, кроме белого кружевного облака. Однако ему показалось, что он слышит чье-то дыхание; перепуганный до смерти, он шепнул одними губами: "Хлоя". Ни звука. Необходимо было проявить решительность, хотя в глубине души Арнольфу хотелось незаметно выскользнуть из этой комнаты, из этого замка и снова залезть в свою каморку под крышей, почувствовать себя в безопасности, спастись от этих смущавших его душу звезд. И все же, хотя и с тяжелым сердцем, он раздвинул балдахин и увидел, что та, которую он искал, лежит в постели, окутанная волнами своих распущенных черных волос; Хлоя спала.

Архилохос был так смущен, что бессильно опустился на край кровати и стал робко наблюдать за Хлоей; вернее, изредка он бросал на спящую стыдливые взгляды. Да, он устал: счастье наступало его безостановочно, не давало ему спокойно вздохнуть, привести в порядок свои мысли. И вот тень Архилохоса, скользя по пурпурному воздушному балдахину, все ниже и ниже склонялась над Хлоей. Но тут он вдруг заметил, что Хлоя слегка приоткрыла глаза; наверно, она уже давно наблюдала за ним из-под длинных ресниц.

— Ах, Арнольф, — сказала она, делая вид, будто только что проснулась. — Легко ты меня нашел? Не заблудился?

— Хлоя! — воскликнул Архилохос с испугом. — Ты спишь в постели миссис Уимэн!

— Но ведь теперь постель принадлежит тебе, — рассмеялась Хлоя, потягиваясь.

— Ты открылась мистеру и миссис Уимэн? Сказала, что мы любим друг друга?

Некоторое время Хлоя колебалась, потом ответила:

— Конечно.

— И тогда они подарили нам этот дом?

— У них еще много домов в Англии.

— Знаешь, — сказал он, — у меня это еще как-то не укладывается в голове. Я не предполагал, что англичане настолько прогрессивны в социальных вопросах, что дарят прислугам свои замки.

— Видимо, в некоторых английских семьях такой обычай, — разъяснила Хлоя.

Архилохос покачал головой.

— И вдобавок меня назначили генеральным директором объединенной атомных пушек и акушерских щипцов.

— Слыхала.

— И дали сказочное жалованье.

— Тем лучше.

— И сделали членом всемирного церковного совета. В мае я поеду в Сидней.

— Это будет наше свадебное путешествие.

— Нет, — сказал Архилохос. — Вот это. — И протянул Хлое два билета на пароход. — Мы отплываем на "Джульетте". — Но потом Арнольф вдруг

смутился. — Откуда ты знаешь о моих служебных делах? — спросил он с удивлением.

Хлоя села, она была так прекрасна, что Архилохос опустил глаза. Казалось, она хотела что-то сказать, но потом задумалась, долго-долго смотрела на Арнольфа и ничего не сказала, только вздохнула и снова опустила на подушки.

— Весь город только и говорит о твоей карьере, — заметила она каким-то странным голосом.

— И ты хочешь, чтобы мы завтра поженились? — спросил он, запинаясь.

— А ты разве не хочешь?

Архилохос все еще боялся взглянуть, потому что Хлоя сбросила с себя одеяло. Вообще он не знал, куда девать глаза в этой спальне: повсюду висели картины, изображавшие обнаженных богинь и богов. Архилохос никогда не предположил бы, что у сухопарой миссис Уимэн такой вкус.

“Уж эти мне англичанки, — подумал он, — к счастью, они очень порядочно поступают с прислугой, за это им можно простить их неумный темперамент”. Но как он устал! Хорошо бы обнять Хлою и заснуть; проспять много часов подряд без сновидений в этой теплой комнате при свете камина.

— Хлоя! — сказал он вполголоса. — Все, что случилось с нами, так необычно для меня, и для тебя, конечно, тоже, что минутами я теряюсь и думаю: может, я — это вовсе не я, может, на самом деле мое место в каморке под крышей с подтеками на обоях и, может, тебя вообще никогда не существовало? Епископ Мозер сегодня сказал, что счастье труднее перенести, чем несчастье, и порой мне кажется, что он прав. Беда никогда не приходит неожиданно, она predetermined, но счастье — дело чистого случая, поэтому мне страшно. Боюсь, что наше счастье так же быстро исчезнет, как и пришло. Боюсь, что это шутка, что кто-то подшутил над нами, над бедным помбухом и горничной.

— Не надо думать обо всем этом, любимый, — сказала Хлоя, — весь день я ждала тебя, и вот ты со мной. Какой ты красивый. Сними же шубу, уверена, что она от О’Нейла-Паперера.

Когда Архилохос начал снимать шубу, он заметил, что все еще держит в руках цветы.

— Дарю тебе белые розы, — сказал Архилохос.

Он хотел отдать ей букет и низко наклонился над кроватью, и тут Хлоя обняла его своими нежными белыми ручками и потянула к себе.

— Хлоя, — прошептал Арнольф, задыхаясь, — я ведь еще не успел разъяснить тебе основные догматы старо-новопресвитерианской веры.

Но в эту секунду за спиной Архилохоса раздалось легкое покашливание.

18

Член всемирного церковного совета отпрянул, а Хлоя, вскрикнув, нырнула под одеяло. Возле кровати с балдахинном стоял владелец картинной галереи, дрожа мелкой дрожью; зубы у него стучали, он был мокрый, как утопленник, тонкие прядки волос свисали со лба, с усов текло, костюм облепил все тело, в руках Пролазьер держал прово-

лочную скульптуру Пассапа, лужа, которая натекла от его ног, тянулась до самой двери, в ней отражалось пламя свечей и плавало несколько бу-
мажных звезд.

Владелец галереи сообщил, что он уже совсем оттаял.

Архилохос смотрел на него непонимающим взглядом.

Владелец сказал, что он оттаял и принес скульптуру.

— Зачем вы сюда явились? — спросил окончательно смущенный Ар-
нольф.

Пролазьер ответил, что он отнюдь не хотел мешать; при этом он
тряхнул рукавами, и вода потекла на пол, словно из водопроводной тру-
бы. Однако, продолжал Пролазьер, он вынужден просить Архилохоса, как
христианина и члена всемирного церковного совета, немедленно вызвать
врача, у него сильный жар, колет в груди и невыносимо ломит поясницу.

— Хорошо, — сказал Арнольф, приводя себя в порядок и поднимаясь. —
Скульптуру можете поставить, хотя бы сюда.

Как будет угодно, ответил Пролазьер, ставя проволочный каркас у
кровати с балдахином. Нагнувшись, он заохал, сообщив, что ко всему про-
чему у него резь в мочевом пузыре.

— Моя невеста, — представил Архилохос, ткнув пальцем в возвышение
под одеялом.

— Как не стыдно, — сказал владелец галереи, у которого изо всех пор
фонтанчиками била вода. — Вы, как христианин...

— Она в самом деле моя невеста.

— Можете рассчитывать, я буду нем как могила...

— А теперь я попросил бы вас, — сказал Архилохос, выпроваживая
Пролазьера из спальни.

Но в будуаре, около стула, где лежали бюстгальтер, пояс с резинками
и штанишки, владелец салона вдруг заартачился. Лязгая зубами, он пока-
зал на открытую дверь ванной, на бассейн с зеленоватой водой, над кото-
рой подымался пар, и заявил, что горячая ванна очень полезна в его
состоянии.

— И не просите.

— Вы, как член всемирного совета пресвитерианских церквей...

— Ну хорошо, — сказал Архилохос.

Пролазьер разделся и влез в ванну.

— Только не уходите, — попросил он, сидя в ванне нагишом, весь
размякший и потный, умоляюще глядя на Архилохоса широко раскры-
тыми, лихорадочно блестящими глазами. — Я боюсь потерять сознание.

Архилохосу пришлось растереть его полотенцем.

Но тут Пролазьер вдруг всполошился.

— А что, если сюда придет хозяин виллы? — заскулил он.

— Я хозяин этой виллы.

— Но ведь вы сами сказали...

— Вилла только что передана мне в дар.

У владельца галереи, видимо, был сильный жар, его трясло.

— Бог с ним, кто хозяин, — сказал он, — я, во всяком случае, из этого
дома не уйду.

— Верьте мне, — взывал Архилохос, — я всегда говорю правду.

Но, вылезая из ванны, Пролазьер бормотал, что он, мол, еще сохранил
остатки здравого смысла.

— Вы, как христианин... Я глубоко разочарован... Вы не лучше других.

Архилохос закутал его в голубой полосатый купальный халат, который висел в ванной.

– Уложите же меня в постель, – простонал хозяин картинной галереи.

– Но...

– Вы, как член всемирного церковного совета...

– Хорошо.

Архилохос отвел Пролазьера к кровати под балдахином в комнату в стиле ренессанс. Пролазьер улегся, а Арнольф сказал, что он вызовет врача.

– Сперва дайте мне хлебнуть коньяка, – попросил хозяин галереи, хрипя и дрожа от озноба. – Мне это всегда помогает. Вы, как христианин...

Архилохос обещал сходить в винный погреб – поискать коньяк; еле волоча ноги от усталости, он вышел.

19

Однако, проблуждав немного по дому и обнаружив наконец лестницу, ведущую в подвал, Архилохос вдруг услышал дикие вопли, доносившиеся откуда-то издалека; он заметил также, что повсюду горит свет. А когда Арнольф спустился в подвал, его опасения подтвердились: брат Биби и близнецы Жан-Кристоф и Жан-Даниэль валялись на полу в окружении пустых бутылок и горланили народные песни.

– И кто грядет там с высоты? – в восторге проорал Биби, увидев Арнольфа. – Наш дядя Арнольф!

Встревоженный Арнольф спросил, что они тут делают.

– Хлещем водку и разучиваем песню про "Охотника из Курпфальца".

– Биби, – с достоинством возвестил Арнольф, – я попросил бы тебя прекратить пение. Ты находишься в подвале моего дома.

– Ну и ну, – загоготал Биби, – ты неплохо устроился, не стыдно похвастаться. Поздравляю. Садись прямо на трон, брат Арнольф. – И он жестом указал Архилохосу на пустую бочку, стоящую в луже красного вина. – Валяйте, детки, – обратился он к близнецам, которые уже успели забраться на колени и на плечи Арнольфа и кувыркались, как обезьяны. – Гряньте псалом в честь дядюшки.

– Будь верен и честен всегда, – визгливо запели Жан-Кристоф и Жан-Даниэль.

Архилохос попытался стряхнуть с себя усталость.

– Брат Биби, – сказал он, – я хочу раз и навсегда объясниться с тобой.

– Ни звука больше, малыши! Внимание! – забормотал Биби. – Дядя Арнольф хочет толкнуть речугу!

– Не думай, что я стыжусь тебя, – начал Архилохос, – ты мой родной брат, и я знаю, что, в сущности, ты человек добрый и тихий, благородная душа, но у тебя есть одна слабость, и потому я должен проявить к тебе отеческую строгость. Я всегда тебе помогал, но чем больше денег тебе давали, тем больше ты опускался, ты и вся твоя семья. А теперь ты дошел до того, что пьянствуешь в моем винном погребе.

– Досадное недоразумение, брат Арнольф, я думал, что это погреб военного министра. Досадное недоразумение.

– Тем хуже, – печально возразил Арнольф, – разве можно залезать в

чужой погреб? Ты кончишь свои дни на каторге. А теперь отправляйся домой и забирай близнецов, завтра ты начнешь работать у Пти-Пейзана в объединении акушерских шипцов.

— Домой? В такую холодину? — с испугом спросил Биби.

— Я вызову такси.

— Хочешь, чтобы мои крошечки-близнецы замерзли, — возмутился Биби. — У нас в хибаре гуляет ветер. Они сразу окочурятся в таком холоде. Минус двадцать по Цельсию.

За стеной послышался адский грохот, и из соседнего помещения выскочили Маттиас и Себастьян, двенадцати и девяти лет от роду, кинулись на дядю, вскарабкались на колени и на плечи Арнольфа, где уже сидели близнецы.

— Маттиас и Себастьян, бросьте финки, раз вы играете с дядей! — прикрикнул на них брат Биби.

— Боже мой, кого ты еще привел сюда? — спросил Арнольф, на котором висели его четыре племянника.

— Никого, только мамочку и дядюшку-моряка, — ответил Биби, раскупоривая очередную бутылку, — ну и, конечно, Магду-Марию с ее новым кавалером.

— С англичанином?

— Почему именно с англичанином? — недоумевал Биби. — Тот уже давно смылся. У нее теперь китаец.

Когда Архилохос вернулся из подвала, оказалось, что Пролазьер спит, но и во сне его трепала жестокая лихорадка. Однако вызывать врача было уже слишком поздно. Силы покинули Архилохоса. А из подвала все еще доносились вопли и пение. Архилохос не посмел пройти второй раз по звездной дорожке, которая вела в спальню Хлои. Он лег на диванчик в будуаре Хлои, недалеко от креслица, на котором валялись бюстгальтер и пояс с резинками, и тут же заснул. Но предварительно он все же снял шубу от О'Нейла-Паперера и укрылся ею.

20

Утром часов в восемь его разбудила горничная в белом переднике.

— Живей, сударь, — сказала она, — надевайте пальто и уходите, в соседней комнате спит хозяин дома.

Горничная открыла дверь, которую он раньше не заметил, дверь вела в широкий коридор.

— Ничего подобного, — сказал Архилохос, — хозяин дома — это я. На кровати — владелец художественной галереи Пролазьер.

— О, — сказала девушка и сделала книксен.

— Как тебя зовут? — спросил Арнольф.

— Софи.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, сударь.

— Давно ты здесь служишь?

— Полгода.

— Тебя наняла миссис Уимэн?

— Мадемуазель Хлоя, мсье.

Архилохос решил, что произошла какая-то путаница, но постеснялся расспрашивать дальше.

— Не угодно ли, сударь, кофе? — осведомилась девушка.

— Мадемуазель Хлоя уже встала?

— Она спит до девяти.

Тогда и он позавтракает в девять, сказал Архилохос.

— Mon dieu¹, мсье. — Софи покачала головой. — В девять мадемуазель принимает ванну.

— А в половине десятого?

— Ей делают массаж.

— А в десять?

— К ней приходит мсье Шпац.

Архилохос с удивлением спросил, кто такой мсье Шпац.

— Портной.

Когда же он сможет увидеться со своей невестой, воскликнул Архилохос в отчаянии.

— Ah non², — сказала Софи энергично, — готовится свадьба, и мадемуазель страшно занята.

Архилохос сдался, он попросил проводить его в столовую: надо было хотя бы поесть.

Он завтракал в той комнате, где мэтр Дютур оформлял недавно дарственную на виллу, и ему прислуживал седой, исполненный величия дворецкий (вообще выяснилось, что в доме полным-полно слуг — камердинеров и горничных); Арнольфу подали яйцо, ветчину (к которой он не притронулся), кофе по-турецки, апельсиновый сок, виноград и свежие булочки с маслом и конфитуром. Тем временем за высокими окнами в парке с раскидистыми деревьями совсем рассвело, и в дом хлынул поток свадебных подарков: цветы, письма, телеграммы, груды свертков. К дверям, громко сигналив, подъезжали автофургончики; подарки множились, загромождали холл и гостиную, их сваливали прямо на пол в спальне перед ренессансной кроватью и даже на саму кровать, в которой лежал всеми забытый владелец галереи и молча с большим достоинством лязгал зубами.

Архилохос вытер рот салфеткой. Он ел почти час, молча, истово, ведь с того времени, как Жоржетта накормила его макаронами и яблочным пюре, у него не было ни крошки во рту. На буфете стояла батарея бутылок с аперитивами и ликерами и ящики ароматных хрупких сигар: "Партагас", "Даннеман", "Коста-Пенна", рядом с сигарами лежали пестрые пачки сигарет; первый раз в жизни у Арнольфа возникло желание вкусить запретный плод, но он с испугом подавил это желание. Он наслаждался ранним часом и своей ролью хозяина. Правда, дикий шум, который производил семейный клан Биби и который время от времени явственно долетал наверх, вызвал в доме некоторую панику; толстая кухарка, спустившаяся за чем-то в погреб, выскочила оттуда совершенно растерзанная: ее чуть было не изнасиловал дядюшка-моряк.

Дворецкий со страхом сообщил, что в дом ворвалась шайка разбойников; он хотел было позвонить в полицию, но Архилохос удержал его.

— Это мои родственники.

Дворецкий поклонился.

Арнольф спросил, как его зовут.

¹О боже (*франц.*).

²Что вы (*франц.*).

- Том.
- Сколько вам лет?
- Семьдесят пять, сударь.
- Давно вы здесь служите?
- Десять лет.
- Вас нанял мистер Уимэн?
- Мадемуазель Хлоя.

Архилохос решил, что и на этот раз произошло недоразумение, но и сейчас он не хотел ни о чем спрашивать. Он немного стеснялся семидесятипятилетнего слуги.

Дворецкий доложил, что в девять явится О'Нейл-Паперер: он шьет свадебный фрак. Цилиндр от Гошенбауэра уже прибыл.

– Хорошо.

– А на десять назначен чиновник из ратуши. Придется урегулировать еще кое-какие формальности.

– Отлично.

– В половине одиннадцатого надо принять мсье Вагнера, который официально поздравит господина Архилохоса с присвоением ему звания почетного доктора медицинских наук за заслуги в деле внедрения акушерских щипцов.

– Жду его.

– На одиннадцать назначен американский посол. Он вручит поздравительное послание от президента Соединенных Штатов.

– Очень приятно.

– В час подадут легкую закуску для свидетелей бракосочетания, а без двадцати два состоится отъезд в отдел регистрации браков. После венчания в часовне святой Элоизы – обед в "Рице".

– Кто же все это организовал? – с удивлением спросил Архилохос.

– Мадемуазель Хлоя.

– Сколько гостей ожидается?

– Мадемуазель пожелала отпраздновать свадьбу в узком кругу, приглашены только самые близкие друзья.

– Совершенно согласен.

– Поэтому стол будет накрыт всего на двести кувертов.

Архилохосу опять стало не по себе.

– Хорошо, – сказал он, помолчав немного. – В этом я пока не разбираюсь. Вызовите мне такси на половину двенадцатого.

– Разве вы не поедете с Робертом?

Архилохос осведомился, кто такой этот Роберт.

– Ваш шофер, – ответил дворецкий. – У господина Архилохоса самый комфортабельный во всем городе красный "студебекер".

"Как странно", – подумал Архилохос, но именно в эту секунду появился О'Нейл-Паперер.

В половине двенадцатого Арнольф поехал в "Риц", чтобы увидеться с мистером и миссис Уимэнами. Англичане находились в холле отеля – в роскошном зале с диванами, обитыми плюшем, и креслами всех фасонов; на стенах висели потемневшие от времени картины, они были такие темные, что почти невозможно было различить изображенные на них предметы – иногда, видимо, это были фрукты, иногда дичь. Супруги восседали на плюшевом диване и штудировали журналы: он – "Новое археологическое обозрение", она – археологический ежемесячник.

– Миссис и мистер Уимэны, – сказал Арнольф, взволнованный до глубины души, и протянул англичанке, которая смотрела на него с несказанным изумлением, две орхидеи, – вы самые лучшие люди на свете.

– Well, – ответил мистер Уимэн, сосал свою трубку и отложил в сторону "Новое археологическое обозрение".

– Отныне вы будете номерами первым и вторым в моем миропорядке, основанном на нравственности!

– Yes, – сказал мистер Уимэн.

– Вас я уважаю даже больше, чем президента и епископа старо-новопресвитериан.

– Well, – сказал мистер Уимэн.

– Подарки, которые преподносят от чистого сердца, вызывают чисто-сердечную благодарность.

– Yes, – сказал мистер Уимэн и в полном остолбенении перевел взгляд на жену.

– Thank you very much!¹

– Well, – сказал мистер Уимэн, потом еще раз сказал "Yes" и вынул из кармана портмоне, но Архилохоса уже и след простыл.

"Какой милый народ эти англичане, только уж очень сдержанные", – думал Архилохос, сидя в своем красном "студебекере" (самом комфортабельном во всем городе).

На этот раз свадебный кортеж у часовни святой Элоизы ожидала не жалкая кучка старо-новопресвитерианских кумушек, а гигантская толпа народу; вся улица Эмиля Каппелера была запружена полузамерзшими людьми; люди выстроились длинными шпалерами на тротуарах; любопытные осаждали окна грязных домов. Оборванные уличные мальчишки, будто припорошенные известкой, гроздьями висели на фонарях и на нескольких чахлах деревьях. Но вот вереница автомобилей показалась на бульваре Мерклинга со стороны ратуши, и из головной машины – красного "студебекера" – вышли Хлоя и Архилохос. Наэлектризованная толпа бесновалась и орала: "Да здравствует Архилохос!" "Виват Хлоя!!"; болельщики велоспорта сорвали себе голос от крика, а мадам Билер и Огюст (на сей раз не в костюме велогонщика) расплакались. Несколько позднее прибыл президент в разукрашенной карете, запряженной шестеркой белых лошадей; вокруг кареты на вороных конях гарцевали лейб-гвардейцы в золотых шлемах с белыми плюмажами. Толпа хлынула в часовню святой Элоизы.

Однако нельзя сказать, что часовня радовала глаз. Здание часовни – колокольни у нее не было – напоминало, скорее, маленькую фабрику; стены ее, уже довольно ободранные, были когда-то белыми, словом, часовня являла собой в высшей степени неудачный образец современного церковного зодчества; вокруг нее росло несколько унылых кипарисов. Внутренний вид часовни соответствовал ее внешнему облику: когда-то в нее завезли купленную по дешевке рухлядь из старой, пошедшей на слом церкви, на месте которой построили кинотеатр. Часовня была бедная, голая, в ней стояли простые деревянные скамьи и грубо сколоченная кафедра, торчавшая будто шишка на ровном месте. Трухлявый крест был укреплен против входа на узкой стене, которая своими желтыми и

¹Большое спасибо! (англ.)

зеленоватыми подтеками, а также высокими, как бойницы, окошками живо напомнила Архилохосу стену напротив его прежней каморки; в церковные окна падали косые лучи солнца, в которых плясали пылинки. Но когда этот бедный, постный, затхлый храм, где воняло дешевым одеколоном, старухами и немножко чесноком, заполнили свадебные гости, он весь преобразился, расцвел, похорошел; повсюду сверкали бриллианты и жемчужные ожерелья, белели обнаженные плечи и груди, и аромат дорогих духов поднимался ввысь к закопченным балкам (в свое время церковь чуть не сгорела). Епископ Мозер взошел на кафедру, он был очень импозантен в своем черном старо-новопресвитерианском одеянии, епископ положил на рассохшееся дерево кафедры Библию со сверкающим золотым обрезом, молитвенно сложил руки и взглянул на толпу: казалось, он чем-то смущен, по его розовому лицу градом катился пот. Внизу у самых ног епископа сидели жених и невеста; огромные черные доверчивые глаза Хлои сияли от радости, в ее легкой прозрачной фате запутался солнечный зайчик; рядом с ней застыл смущенный Архилохос во фраке (от О'Нейла-Паперера); он был почти неузнаваем — о старом напоминали только очки без оправы с непротертыми стеклами, которые несколько криво торчали у него на носу. Но на коленях у Арнольфа лежали цилиндр (от Гошенбауэра) и белые перчатки (от де Штуц-Кальберматтена). Прямо за Хлоей и Архилохосом, отделенный от всей остальной публики, восседал президент — бородка клинышком, сетка морщин на лице, седой, в мундире кавалерийского генерала с золотым шитьем; худыми ногами в начищенных до блеска сапогах президент придерживал длинную саблю. Позади него сидели свидетели: американский посол, на белом фрачном жилете которого сверкали ордена, и ректор университета при всех своих регалиях. Чуть поодаль на неудобных жестких скамьях разместились гости: Пти-Пейзан, мэтр Дютур и возле него могучая дама — его супруга, похожая на высокую гору с шапкой ледников; тут же сидел Пассап, он тоже облачился во фрак, но руки у него были перепачканы кобальтом. Вообще в часовне собрался весь цвет столицы, все знатные мужи (главным образом это были именно мужи), так сказать, самые сливки сливок общества, и лица у всех были торжественные, а когда епископ уже собрался было приступить к своей праздничной проповеди, в церковь, хотя и с опозданием, вошел Фаркс, революционер, занимавший самую последнюю ступеньку в миропорядке Арнольфа. Все увидели его огромную массивную голову, взъерошенные усы, огненно-рыжие кудри, спускавшиеся до могучих плеч, двойной подбородок и накрахмаленную манишку в вырезе фрака, на которой болтался золотой орден "Кремля" с рубинами.

21

— Слова, которые я хотел бы взять за основу своей проповеди, — тихо начал епископ Мозер, заметно шепелявя и явно чувствуя себя неудобно на кафедре, а посему переминаясь с ноги на ногу, — слова, с которыми я хотел бы сегодня обратиться к нашей любезной пастве, почтившей своим присутствием это торжество, взяты из семьдесят первого псалма, псалма о Соломоне, где сказано: "Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса!" Сейчас, — продолжал епископ, — мне предстоит соединить узами брака двух людей, которые стали дороги и близки

не только мне, но и всем собравшимся сегодня в часовне святой Элоизы. Поначалу несколько слов о невесте. — Тут епископ Мозер слегка заплулся. — С большой нежностью возлюбили ее все здесь присутствующие, ибо она дарила всем нам, собравшимся здесь, столько ласки и любви... — На этом месте епископ ударился в поэзию. — Столько прекрасных блаженных ощущений... Словом, столько незабываемых минут, что мы никогда не устанем ее благодарить. — Епископ вытер пот со лба.

Потом он со вздохом облегчения перешел к жениху, сказав, что жених человек достойный и благородный и вся та любовь, которую его невеста так щедро расточала, по праву достанется ему одному, доброму патриоту, ведь всего за несколько дней он сумел привлечь к себе внимание страны. Выходяц из низов, он стал генеральным директором, членом всемирного совета пресвитерианских церквей, почетным доктором медицинских наук и почетным дипломатом США. И хотя неоспоримо, что все, что предпринимает смертный, все, чего он добивается, все его чины и звания переходящи, все это суть тлен и прах, ничто пред лицом Всевышнего, карьера жениха доказывает, что здесь налицо великая благодать. (При этих словах Фаркс демонстративно откашлялся.) Но это отнюдь не благодать, каковая исходит от человека. (Теперь откашлялся Пги-Пейзан.) Это благодать, исходящая от Господа Бога, как учит нас Священное писание. Не человеческие милости возвысили Архилохоса, а милость Творца. Правда, Бог выражает свою волю посредством людей, используя для высших целей даже человеческие слабости и человеческие несовершенства, но един Бог всему причине.

Так глаголил епископ Мозер, и, по мере того как он переходил от частного к общему, по мере того как удалялся от исходной точки своих рассуждений, то есть от невесты и жениха, и устремлялся к высшим материям, к божественному, его голос становился все звучнее, все громогласнее; епископ набрасывал картину миропорядка, который по сути своей является совершенным и мудрым, ибо в конечном счете веление Всевышнего оборачивает все во благо.

Но вот епископ кончил проповедь, сошел с кафедры и совершил обряд бракосочетания. Жених и невеста шепнули "да". И вот уже Архилохос стоит под руку с прелестной новобрачной, огромные черные глаза которой сияют от счастья.

Но тут вдруг у грека словно пелена с глаз упала, и он начал медленно оглядывать торжественное сборище, толпу, через которую ему надо было прошествовать: он увидел важного президента, господ и дам, осыпанных орденами и брильянтами, самых богатых, влиятельных и знаменитых людей в стране, увидел взерошенную рыжую шевелюру Фаркса, его скривившееся в злобной гримасе лицо и иронические взгляды, которые Фаркс на него бросал, услышал первые такты свадебного марша Мендельсона, ибо как раз в эту минуту заиграл небольшой визгливый орган над хорами. Да, достигнув апогея счастья, Архилохос все увидел и все понял, хотя народ на улице еще не расходился и завидовал ему. Но Арнольф побледнел и зашатался, лицо его взмокло от пота.

— Я женился на кургизанке! — в отчаянии крикнул он, точно смертельно раненный зверь, вырвал руку из руки своей перепуганной жены, которая с развевающейся фатой бежала за ним до самых врат часовни, и выскочил на улицу, где толпа встретила его смехом и улюлюканьем; увидев, что жених появился один, люди тут же смекнули, в чем дело.

У чахлых кипарисов Архилохос на секунду приостановил свой бег, ибо с ужасом осознал, какая несметная толпа собралась у церкви. Но потом он стремглав промчался мимо кареты президента, мимо вереницы "роллс-ройсов" и "бьюиков" и, петляя, побежал по улице Эмиля Капелера. Время от времени то один, то другой пытался преградить ему путь, и Арнольф чувствовал себя загнанным зверем, по следу которого идут собаки.

— Да здравствует заслуженный роконосец нашего города!

— Долой!

— Сорвите с него фрак!

Вслед ему неслись пронзительные свистки, брань, в него бросали камни, уличные сорванцы припустились за ним, норовя подставить ножку, он падал и снова бежал, а потом заскочил в подъезд какого-то дома, где ютилась беднота, и спрятался под лестницей, заполз в самый темный угол и закрыл голову руками, ибо ему казалось, что над ним, грохоча сапожищами, несется людская лавина. Но время шло, и преследователи рассеялись, потеряв надежду обнаружить свою жертву.

Много часов подряд просидел Арнольф, съжившись, под лестницей, ему было холодно, он тихонько всхлипывал, а в нетопленном парадном становилось все темнее и темнее.

Со всеми она спала, со всеми, с президентом, с Пассапом, с мэром Дютуром, решительно со всеми, причитал он.

Гигантское здание миропорядка всей своей тяжестью обрушилось на него и погребло под своими обломками. Но потом он взял себя в руки, пошатываясь, прошел по чужому подъезду, упал, споткнувшись о велосипед, и выбрался на улицу. Была уже ночь. Крадучись, спустился он к реке по плохо освещенным, грязным переулкам, под мост, где ночевали оборванцы, обмотавшись газетами и охая во сне; почти невидимая в кромешном мраке, бродячая собака кинулась на него, с громким пискон проносились крысы, вода, журча, накатила на берег, и Арнольф промочил себе ноги. Завыла пароходная сирена.

— Уже третий за эту неделю, — просипел кто-то из оборванцев. — Давай прыгай!

— Как бы не так, — хрипло ответил ему другой. — Вода слишком холодная.

Смех.

— Лезь в петлю! Лезь в петлю! — хором таякали оборванцы. — Самое милое дело, самое милое дело!

Архилохос ушел от реки; бесцельно бродил он по Старому городу. Где-то вдаль гнусавила Армия спасения; Арнольф очутился на улице Фюнебра, недалеко от жилища Пассапа, и ускорил шаги; много часов блуждал он по незнакомым улицам, проходил по кварталам особняков и по рабочим предместьям, где в домах орало радио и приверженцы Фаркса пели песни протеста в подозрительных кабаках; потом потянулись фабричные корпуса и домы, похожие в темноте на привидения; только в полночь Арнольф добрался до своего старого дома. Он не стал зажигать свет. Запер дверь каморки и прислонился к ней спиной. Он дрожал, фрак от О'Нейла-Паперера превратился в грязные лохмотья, цилиндр от Гошенбауэра он уже давно потерял. По-прежнему слышался шум спускаемой воды, а когда зажигались пыльные окошки на проти-

воположной стене, из мрака комнаты выступали то простыня (которой был прикрыт старый выходной костюм Арнольфа), то железная койка, то стул, то колченогий стол с Библией, то портреты бывших столпов миропорядка, прикрепленные к обоям неопределенного цвета. Арнольф открыл окно, в нос ему ударила вонь, и шум воды в уборных стал слышнее. Тогда Архилохос начал один за другим срывать со стены портреты; он выбросил за окно в глубокий, темный колодезь двора президента, епископа и американского посла, а за ними следом полетела и Библия. На стене осталась лишь фотография брата Биби и его деток. А потом Арнольф пробрался на чердак, где на длинных веревках смутно белело вывешенное для просушки белье; он отвязал одну из веревок, не обращая внимания на то, что простыни, принадлежавшие кому-то из жильцов, упали на пол. Потом ощупью нашел дорогу в свою каморку, поставил стол посредине комнаты, забрался на него и прикрепил веревку к крюку, на котором висела лампа. Крюк был прочный, и грек завязал петлю. Створка окна хлопнула, и ледяная струя воздуха обожгла лоб Арнольфа. Вот он уже просунул голову в петлю и хотел было спрыгнуть со стола, как вдруг дверь распахнулась. Щелкнул выключатель.

На пороге стоял Фаркс, он еще не снял фрака, в котором был на свадьбе, только набросил на плечи подбитое мехом пальто; широкое лицо его было бесстрастным и казалось огромным над рубиново-золотым орденом "Кремля", взъерошенные волосы зловеще пламенели. Фаркса сопровождали двое. Один из них — референт Пти-Пейзана — запер дверь на крючок, другой — детина исполинского роста в форменной куртке шофера такси — захлопнул окно и передвинул стул к двери, при этом не переставая жевать резинку. Архилохос все еще стоял на колченогом столе, просунув голову в петлю, призрачно освещенный светом лампы. Фаркс опустился на стул и скрестил руки. Референт сел на кровать. Все трое молчали. Теперь шум воды в уборных стал глуше. Анархист внимательно разглядывал грека.

— Ну что ж, господин Архилохос, — начал он после длинной паузы, — вы, собственно, должны были ожидать моего прихода.

— Вы тоже спали с Хлоей, — прошипел Архилохос, стоя на столе.

— А как же иначе, — подтвердил Фаркс, — ведь в этом, в сущности, и состояла профессия пре красной дамы.

— Уходите!

Революционер не шевельнулся.

— От каждого ее любовника вы получили свадебный подарок, — продолжал он, — теперь очередь за мной. Лугинбюль, дай ему *мой* подарок.

Детина в шоферской куртке, не переставая жевать, подошел к столу и положил к самым ногам Арнольфа металлический предмет яйцеобразной формы.

— Что это за штука?

— Справедливость.

— Бомба?

Фаркс расхохотался.

— Угадали.

Архилохос вынул голову из петли, осторожно слез с колченогого стола и, поколебавшись немного, взял бомбу в руки. Она была холодная и блестящая.

— Что я должен с ней делать?

Старый бунтовщик медлил с ответом. Насупившись, он сидел неподвижно, положив огромные ручки на раздвинутые колени.

— Вы хотели покончить с собой, — сказал он. — Почему?

Архилохос молчал.

— Существует две возможности справиться с этим миром, — отчеканил Фаркс медленно и сухо, — либо сдаться ему, либо изменить его.

— Молчите! — крикнул Архилохос.

— Как угодно, в таком случае вешайтесь.

— Говорите!

Фаркс опять захохотал.

— Дай мне сигарету, Шуберт, — обратился он к референту Пти-Пейзана.

Лугинбюль дал ему прикурить от массивной зажигалки грубой работы. Фаркс закурил, не спеша выпуская большие синеватые кольца дыма.

— Что же мне делать? — закричал Архилохос.

— Принять мое предложение.

— Зачем?

— Необходимо свергнуть строй, который сделал из вас дурака.

— Но это невозможно.

— Наоборот, легче легкого, — ответил Фаркс. — Убейте президента. Об остальном позабочусь я. — И он постучал пальцем по своему ордену "Кремля".

Архилохос пошатнулся.

— Осторожно, а то уроните бомбу, — предостерег его старый террорист, — она может разорваться.

— Я должен стать убийцей?

— А что в этом страшного? Шуберт покажет вам план здания.

Референт Пти-Пейзана подошел к столу и развернул лист бумаги.

— Вы заодно с Пти-Пейзаном! — закричал Архилохос в ужасе.

— Брунда! — сказал Фаркс. — Референта я подкупил. Таких мальчиков можно купить задешево.

Деловито вода пальцем по бумаге, референт приступил к объяснениям. Вот план президентского дворца. Здесь стена, окружающая дворец с трех сторон. Фасад отделен от улицы железной оградой высотой в четыре метра. Высота стены два метра тридцать пять сантиметров. Слева от дворца — министерство экономики, справа — дворец папского нунция. В углу, который образует двор министерства экономики со стеной дворца, стоит лестница.

Архилохос поинтересовался, всегда ли она там стоит.

— Сегодня ночью она там будет, остальное вас не касается, — ответил референт. — Мы доведем вас на машине до набережной. Вы влезете на стену, подымете лестницу, спуститесь по ней в сад. И окажетесь в тени, отбрасываемой высокой елью. Вы спрячетесь за дерево и подождете, пока не пройдет стража. Потом вы обогнете дом и увидите маленькую дверь, к которой ведут несколько ступенек. Дверь будет заперта, вот ключ от этой двери.

— А что потом?

— Спальня президента — в бельэтаже. Вам придется пересечь главную лестницу и пройти по коридору в глубь здания. Бомбу бросьте на постель старика.

Референт замолчал.

— А что будет после того, как я брошу бомбу?

— Уйдете той же дорогой, — ответил референт. — Охрана кинется во дворец через главный вход, у вас останется достаточно времени, чтобы убежать через двор министерства экономики. Возле министерства вас будет ждать машина.

В каморке стало тихо и холодно. Не слышен был даже шум спускаемой воды. Брат Биби и его детки одиноко висели на грязных обоях.

— Ну-с, я слушаю вас, — нарушил молчание Фаркс. — Как вы относитесь к моему предложению?

— Не хочу! — закричал Архилохос, бледный, содрогаясь от ужаса. — Не хочу!

Старый бунтовщик уронил сигарету на пол, пол был весьма примитивный (плохо оструганные доски с темными кружочками на месте сучков); сигарета все еще дымилась.

— Так все говорят поначалу, — сказал Фаркс. — Будто мир можно переделать без убийств.

От крика Архилохоса в соседней комнате проснулась обитавшая там служанка и забарабанила в стену. Архилохос мысленно представил себе, как он проходит под руку с Хлоей сквозь замерзший город. На реке туман, видны только огни и большие темные силуэты судов. Он вспомнил, как с ним здоровались люди, проезжавшие на трамваях и в машинах: красивые, ложенные молодые люди; потом он представил себе свадебных гостей, раззолоченных, в россыпях брильянтов, в черных фраках и вечерних платьях; алые ордена, белые лица, освещенные золотистыми снопами света, в которых плясали пылинки. Вспомнил, как все они любезно улыбались ему и как это было подло, вспомнил и еще раз пережил жестокий миг своего внезапного прозрения и свой стыд; вспомнил, как он выбежал из часовни святой Элоизы под кипарисы, помедлил немного, а потом, петляя, помчался по улице Эмиля Каппелера сквозь орущую, гогочущую и улюлюкающую толпу; мысленно увидел на асфальте тени своих преследователей, которые с каждой секундой становились все огромней; вспомнил, как он упал на жесткую землю, окрасив ее своей кровью, опять почувствовал, как кулаки и камни, словно молоты, ударили по нему, представил себе, как он лежит, дрожа, под лестницей в чулом подъезде, и услышал грохот сапожищ у себя над головой.

— Я согласен, — сказал он.

22

Фаркс и его спутники подвезли Архилохоса, решившего отомстить миру, в американской машине к набережной Тассиньи; оттуда было минут десять ходу до набережной де л'Эта (где находился президентский дворец). Четверть третьего ночи. Пустынная набережная, над собором святого Луки взошел лунный серп, при свете луны заблестели льдины на реке и обледневший фонтан святой Цецилии со множеством причудливых завитушек и бород святых. Архилохос шел в тени, отбрасываемой дворцами и гостиницами, он миновал "Риц", у входа в который разгуливал окоченевший швейцар; больше он не встретил ни души, только машина Фаркса как бы невзначай несколько раз проехала по улице:

это Фаркс следил за тем, чтобы Арнольф выполнил задание.

Потом машина остановилась около полицейского у здания министерства экономики, очевидно, шофер задал полицейскому какой-то пустяковый вопрос, чтобы Архилохос мог незаметно проскользнуть во двор. У стены стояла лестница. Арнольф нащупал в кармане своего старого, чинового-перечиненного пальто, в которое успел облачиться из дома, бомбу, влез по лестнице, подтянул ее наверх и, сидя верхом на узкой стене, спустил лестницу через ограду, а потом полез в парк. Он стоял на промерзшей траве в тени большой ели; все было так, как сказал референт.

Со стороны набережной ярко светили огни, где-то засигналила машина, может быть, это была машина Фаркса; лунный серп стоял теперь за дворцом президента — нелепым, слишком вычурным зданием в стиле барокко (изображенным во всех альбомах по искусству и воспетым всеми специалистами-искусствоведами). Рядом с лунным серпом сверкала большая звезда, а высоко над дворцом проплывали бортовые огни самолета. На замощенной дороге, огибавшей здание, раздались гулкие шаги. Архилохос прижался к стволу ели, спрятавшись под ее ветвями, которые спускались до самой земли. Арнольфа обдал запах хвои, иголки оцарапали его лицо. Печата шаг, прошли два лейб-гвардейца; вначале были видны только их темные силуэты, потом при свете луны Архилохос различил ружья наперевес с примкнутыми штыками и белые развевающиеся плюмажи. Солдаты остановились у ели. Один из них раздвинул ружьем ветви; Арнольф затаил дыхание, ему казалось, что все кончено, и он уже приготовился бросить бомбу, но гвардейцы двинулись дальше, так и не заметив грека. Теперь стражники были с ног до головы облиты лунным светом; их золотые шлемы и латы на исторических мундирах сверкали. Потом стража завернула за угол дворца. Архилохос отошел от дерева и торопливо побежал к задней стене здания.

Здесь все также было ярко освещено луною. Арнольф увидел голые плакучие ивы и высокие ели, замерзший пруд и дворец папского нунция. Дверь он нашел сразу. Ключ подходил. Архилохос повернул его в замочной скважине, но дверь не открылась. Очевидно, она была заперта изнутри на засов. Архилохос растерялся, каждую минуту стража могла появиться вновь. Арнольф вбежал на задний двор и поднял глаза. По обеим сторонам бокового входа возвышались обнаженные мраморные гиганты, очевидно, это были Кастор и Поллукс, на плечах которых покоился пузатый балкон (по расчетам Архилохоса, как раз за ним находилась спальня президента).

Арнольф тут же решительно начал взбираться на балкон. Он почувствовал прилив отчаянной храбрости, так ему хотелось бросить бомбу. Он вскарабкался по бедру гиганта, по его животу и груди, вцепился в мраморную бороду, обхватил рукой мраморное ухо, наконец выпрямился на голове колосса и влез на балкон. Увы. Все было напрасно. Дверь оказалась запертой, а бить стекла он не решался, так как вдали уже снова слышались шаги стражников. Арнольф бросился на холодные плиты балкона. Печата шаг, как и в первый раз, лейб-гвардейцы прошли прямо под ним.

Двери балкона были окружены фигурами голых мужчин и женщин выше человеческого роста вперемежку с лошадиными головами, хорошо видимыми при свете луны; все эти персонажи, изображенные в самых при-

чудливых позах, ожесточенно сражались, буквально рвали друг друга на части; еще лежа на балконе, Архилохос сообразил, что перед ним, по-видимому, битва амазонок; в самом пекле ее, где тела были налеплены особенно густо, зияло круглое отверстие — открытое окошко, и Архилохос очертя голову ринулся в мраморный мир богов; вокруг него теперь громоздились мощные груди и чресла. Дрожа от страха при мысли о том, что бомба в кармане его пальто вот-вот взорвется, он полз по героическим животам и неестественно изогнутым спинам; один раз он чуть было не сорвался, но в последнюю минуту ему удалось ухватиться за обнаженный меч какого-то воина, а потом он в страхе припал к рукам умирающей амазонки, на освещенном луной миловидном лице которой блуждала довольно-таки нежная улыбка; а в это время дворцовая стража в третий раз закончила обход и остановилась.

Архилохос увидел, как гвардейцы, стоя на ярко освещенном дворе, оглядывают стену дворца.

— Кто-то залез наверх, — сказал один из двух солдат после долгого высматривания.

— Где он? — спросил другой.

— Вон там.

— Глупости, это просто темная впадина между богами.

— Это вовсе не боги, а амазонки.

— Кто такие эти амазонки?

— Бабы с одной грудью.

— Но у этих же две.

— Скульптор просто позабыл, — решил первый гвардеец. — И все же там кто-то притаился. Сейчас я его сниму.

Он прицелился. Архилохос не шелохнулся.

— Хочешь всполошить весь дом своей дурацкой стрельбой? — запротестовал его товарищ.

— Но ведь там человек.

— Да нет же. Туда невозможно забраться.

— Пожалуй, ты прав.

— Вот видишь. Пошли.

Стражники, чеканя шаг, двинулись дальше; ружья они вскинули на плечо. Арнольф снова полез вверх, наконец он добрался до открытого окошка и с трудом протиснулся в него. Третий этаж, высокая голая комната — уборная, залитая лунным светом, который проникал через открытое окно. Архилохос устал как собака; карабкаясь по стене, он вывалился в пыли и птичьем помете; но резкий переход из мраморного мира богов в тот мир, где он очутился теперь, несколько отрезвил его. Отдышавшись, Арнольф открыл дверь и вышел в просторную переднюю, по обе стороны которой тянулись залы, также освещенные луной; между колоннами в залах белели статуи; Архилохос с трудом различил пологую лестницу. Осторожно спустился по ней в бельэтаж и нашел коридор, о котором ему говорил референт Пти-Пейзана. Из высоких окон коридора была видна набережная, огни города ослепили Арнольфа, он испугался. Внизу в парке проходила смена караула — высокотожественная церемония с отдаванием чести, щелканьем каблуков, стоянием во фронт и прусским шагом.

Архилохос отошел от окна в темноту, прокрался на цыпочках в конец коридора к спальне президента и, держа в правой руке бомбу, тихонько

приоткрыл дверь. Через высокую балконную дверь на противоположной стене пробивался неверный лунный свет — это была та самая дверь, перед которой он прежде стоял. Архилохос вошел в комнату, стараясь разглядеть очертания кровати, ведь он должен был бросить бомбу в спящего президента. Но в комнате не оказалось ни кровати, ни спящего президента. Вообще Архилохос не обнаружил здесь ничего, кроме корзины с посудой. Совершенная пустота. Все было не так, как ему описывали. Стало быть, и бунтовщики не всегда хорошо информированы. Сбитый с толку Архилохос снова вышел в коридор и начал упрямо разыскивать свою жертву. Все еще держа бомбу наготове, он поднялся сперва на третий этаж, потом на четвертый. Он шагал по роскошным гостиным и залам для приемов, по коридорам и конференц-залам, по маленьким салонам и служебным помещениям, где стояли зачехленные пишущие машинки; прошел по картинным галереям и по оружейной палате, где были выставлены старинные ружья, пушки, висели боевые знамена; наткнувшись на алебарду, он разорвал себе рукав.

Наконец, когда он поднялся на пятый этаж и начал ошупью пробираться вдоль мраморной стены, вдалеке показался свет. Очевидно, кто-то включил лампу. Собравшись с духом, Архилохос продолжил свой путь. Бомба придавала ему уверенности в своих силах. Вот он вошел в коридор. Усталость как рукой сняло. Он внимательно смотрел вперед — коридор упирался в какую-то дверь. Дверь была полуоткрыта. В комнате горел свет. Быстрым шагом по мягкому ковру направился Арнольф к этой двери и, подняв руку с бомбой, распахнул ее настежь... Перед ним стоял президент в шлафроке. Это было так неожиданно, что Арнольф быстро сунул бомбу в карман пальто.

23

— Извините, — пролепетал наш террорист.

— Вот вы где, оказывается, милый, любезный господин Архилохос! — радостно воскликнул президент и потряс руку ошеломленному греку. — Ждал вас весь вечер, а недавно выглянул случайно в окно и увидел, что вы перелезаете через стену. Прекрасная идея. Моя стража слишком дотошна. Эти молодцы ни за что не впустили бы вас. Но теперь вы, слава богу, здесь, чему я несказанно рад. Каким образом вы попали в дом? Я как раз собирался послать вниз камердинера. Всего неделя, как я переселился на пятый этаж, здесь гораздо уютнее, чем внизу; правда, лифт не всегда работает.

— Боковой вход не был заперт, — забормотал Архилохос. Он явно пропустил подходящий момент, к тому же объект покушения находился слишком близко от него.

— Все получилось на редкость удачно, — радовался президент, — мой камердинер Людвиг, древний старикашка... Я его зову Людовик... Кстати, у него гораздо более президентская внешность, чем у меня... Экспромтом соорудил легкий ужин.

— Что вы, — сказал Архилохос, покраснев до ушей. — Не буду вам мешать.

В ответ бородатый старый президент любезно уверил Арнольфа, что тот не может ему помешать.

— Люди моего возраста спят немного. Ноги никак не согреешь, ревма-

тизм, заботы — личные и служебные... по линии президентства. Особенно при нынешней ситуации, когда государства то и дело разваливаются. Ночь тянется без конца в моем одиноком дворце, вот я и норовлю перекусить в неурочное время. Счастье еще, что в прошлом году здесь провели центральное отопление.

— В доме и впрямь очень тепло, — поддакнул Архилохос.

— Боже, что с вами? — удивился президент. — Вы ужасно испачкались. Людовик, почисти его как следует.

— Разрешите, — сказал камердинер, щеткой очищая Архилохоса от грязи и птичьего помета.

Архилохос не смел сопротивляться, хотя боялся, что от этой процедуры бомба у него в кармане взорвется; он был рад, когда камердинер помог ему снять пальто.

— Вы похожи на моего дворецкого на бульваре Сен-Пер, — невольно сказал он.

— Мой единокровный брат, — сообщил камердинер. — Моложе меня на двадцать лет.

— Я считаю, нам есть о чем всласть потолковать, — говорил президент, проводя своего убийцу по коридору, который был теперь ярко освещен.

Они вошли в маленькую комнату с окнами на набережную. На столике в эркере, покрытом скатертью белейшего и тончайшего полотна, горели свечи, стоял дорогой фарфор и хрустальные искрящиеся бокалы.

— Я задумал его, — упрямо подумал Архилохос, — это будет самое лучшее”.

— Сядемте, дружочек, золотко мое, — сказал гостеприимный старый президент, нежно коснувшись руки Арнольфа. — Отсюда мы можем взглянуть на парк, если нам захочется; увидим лейб-гвардейцев с белыми плюмажами. Вот бы они удивились, если бы узнали, что ко мне кто-то забрался. Насчет лестницы вы прекрасно придумали. Я особенно радуюсь потому, что и мне иногда приходится перелезть через стену таким способом. И тоже среди ночи, как вам только что. Но это я говорю по секрету. И старый президент нет-нет да и прибегает к таким уловкам. И тут уж без лестницы не обойдешься. В жизни всякое случается. Вам, человеку чести, в этом можно признаться, но газетчикам такие вещи знать ни к чему. Людовик, налей нам шампанского.

— Большое спасибо, — сказал Архилохос, подумав про себя: ”И все-таки я его убью”.

— На ужин сегодня цыпленок, — радовался старикан. — Цыплята у нас с Людвигом не выходят из меню. В три ночи — цыпленок и шампанское. Правильное питание. Думаю, что, поработав верхолазом, вы нагуляли себе хороший аппетит.

— Неплохой, — чистосердечно признался Архилохос и вспомнил, как он карабкался по стене.

Камердинер прислуживал очень церемонно, хотя руки у него сильно дрожали, и это вызывало некоторые опасения.

— Не обращайтесь внимания на то, что у Людовика трясутся руки, — сказал хозяин. — Я у него уже шестой президент, он им всем прислуживал.

Арнольф протер очки салфеткой. Бомба намного удобнее, размышлял он. Он все еще не знал, как приступить к делу. Нельзя же сказать ”извините” и схватить старика за горло. Кроме того, придется убить камердинера, иначе он вызовет стражу, а это сильно усложнит все предприятие.

Арнольф ел и пил: вначале — чтобы выиграть время и примениться к обстоятельствам, потом — просто потому, что ему это понравилось.

Добродушный старый господин был ему определенно симпатичен. Арнольф казалось, что он беседует с родным дядюшкой, которому можно во всем признаться.

— Цыпленок удивительно нежный, — восхищался президент.

— Вы правы, — согласился Архилохос.

— Шампанское тоже неплохое.

— Никогда не думал, что это так вкусно, — признался Архилохос.

— Но давайте поболтаем, не надо скрытничать: поговорим о вашей чудесной Хлое. Ведь это из-за нее вы так разнервничались, — предположил старикан.

— Сегодня в часовне святой Элоизы я правда сильно понервничал, — сказал Архилохос. — Внезапно мне открылась истина.

— Мне тоже так показалось, — подтвердил президент.

— Когда я вас увидел в церкви при всех орденах, — продолжал Архилохос, — меня вдруг пронзила мысль, что вы явились на свадьбу только потому, что вы с Хлоей...

— Я внушал вам такое уважение? — спросил старик.

— Вы были моим кумиром. Я считал, что вы абсолютный трезвенник, — сказал Архилохос нерешительно.

— Выдумки газет, — проворчал президент, — правительство ведет борьбу с алкоголизмом, и меня по этому случаю всегда фотографируют со стаканом молока.

— Считают также, что вы придерживаетесь очень строгих моральных правил.

— Эти басни распространяют женские организации. Вы непьющий?

— Да, и вегетарианец тоже.

— Но ведь вы пьете шампанское и едите цыпленка?

— Я утратил свои идеалы.

— Как жаль.

— Люди — лицемеры.

— И Хлоя тоже?

— Вы ведь прекрасно знаете, кто такая Хлоя.

— Истина, — начал президент, положив на тарелку обглоданную куриную косточку и отодвинув подсвечник, который заслонял Архилохоса, — истина всегда несколько щекотлива, когда она выходит наружу, и это касается не только женщин, но и всех людей, а особенно государств. Мне иногда тоже хочется выбежать из президентского дворца, который я считаю уже с чисто архитектурной точки зрения безобразным, выбежать, как вы выбежали из часовни святой Элоизы. Но у меня, увы, не хватает смелости, единственное, на что я способен, — это тайком перелезть через стену. Не хочу никого защищать, — продолжал он, — меньше всего себя самого. Вообще это та область, о которой не принято говорить вслух, а если люди говорят о ней, то только ночью и с глазу на глаз. При всяком разговоре на эту тему не обойдешься без банальностей и нравоучений, а они здесь совершенно излишни. Людские добродетели, страсти и пороки так тесно связаны друг с другом, что там, где уместнее всего были бы уважение и любовь, рождаются презрение и ненависть. Поэтому, дружок, золотко мое, хочу вам сказать только одно: вы, пожалуй, единственный человек, кому я завидую, и, пожалуй, также единственный, за кого я

боюсь. Мне приходилось делить Хлою со многими, — сказал он, помолчав минуту и откинувшись на спинку своего бидермайеровского кресла. Голос у него был ласковый. — Она была владычицей в царстве темных и примитивных инстинктов. Самая знаменитая в городе куртизанка. Не хочу ничего приукрашивать, да и годы не позволяют. Я благодарен ей за то, что она дарила мне свою любовь, ни об одном человеке я не вспоминаю с такой благодарностью. Но вот она отвернулась от всех и ушла к вам. Для вас это был большой праздник, для нас — торжественное прощание.

Старик президент умолк и мечтательно провел правой рукой по своей холеной бородке; камердинер наполнил бокалы шампанским, из парка доносились отрывистые слова команды и топот сапог лейб-гвардейцев. Архилохос тоже откинулся на спинку кресла, заглянул в окно сквозь раздвинутые портьеры и, увидев ожидающую его у министерства экономики машину Фаркса, с неприязнью вспомнил о бомбе в кармане своего пальто, о бомбе, совершенно бесполезной сейчас.

— Что же касается вас, дружок, золотко мое, — сказал президент после недолгого молчания, закуривая маленькую светлую сигару, которую ему подал камердинер (Архилохос тоже закурил), — то ваши бурные переживания мне совершенно понятны. Какой мужчина не счел бы себя оскорбленным, окажись он на вашем месте. Но ведь как раз эти естественные чувства надо, говорят, подавлять, так как из-за них и происходят самые большие безобразия. Помочь я не могу, да и никто вам не поможет. Будем надеяться, что вы примиритесь с фактами, которые не стоит отрицать, но которые покажутся вам мелкими и несущественными, если вы найдете в себе силы поверить в любовь Хлои. Чудо, которое свершилось с вами и с ней, возможно только благодаря любви; без любви это чистый фарс. Представьте себе, что вы идете глубокой ночью по узкому мостику над пропастью, точно так же, как магометане идут в свой магометанский рай, балансируя на острие меча. Сдается мне, что я где-то читал об этом... Однако возьмите еще кусочек цыпленка, — обратился он к своему несостоявшемуся убийце, — цыпленок восхитительный, а вкусная еда — утешение во всех случаях жизни.

Приятное тепло комнаты, мягкий свет свечей как бы убаюкивали Архилохоса. На стенах в тяжелых позолоченных рамах висели портреты важных, давным-давно усопших государственных деятелей и полководцев. Они задумчиво взирали на Арнольда — далекие, канувшие в вечность. Архилохос ощутил неизведанный покой, непонятное умиротворение. И все это совершили не слова президента — слова звук пустой, — а его отеческий тон, его доброта и учтивость.

— Судьба осыпала вас милостями, — сказал старик. — А как трактовать причину этих милостей — ваше дело. Причина может быть двоякой: во-первых, любовь, если вы в нее верите, во-вторых, зло, если вы не верите в любовь. Любовь — чудо, единственное чудо, которое время от времени встречается на земле. Зло — вечный спутник человека. Праведник проклинает зло, мечтатель хочет его исправить, любящий его просто — на просто не замечает. Только любовь способна воспринимать милость судьбы такой, какая она есть. Знаю, что это самое трудное. Жизнь ужасна и бессмысленна. И только любящие вопреки всему могут верить в то, что и в ужасе, и в бессмыслице кроется какой-то смысл.

Президент умолк, и Архилохос впервые опять подумал о Хлое без отращения и злобы.

Свечи догорели, президент подал Архилохосу пальто с бесполезной теперь бомбой и пошел провожать его к главному входу – лифт как раз не работал. По словам президента, ему не хотелось беспокоить Людовика: камердинер заснул, стоя позади президентского кресла, в исключительно строгой и корректной позе; престарелый президент утверждал, что это искусство, достойное всяческого уважения. И вот Архилохос и старикан зашагали по безлюдному дворцу, начали спускаться по широкой пологой лестнице; Архилохос успокоился, примирился с жизнью и опять всей душой рвался к Хлое; что касается президента, то он чувствовал себя теперь кем-то вроде экскурсовода: он зажигал свет то в одном, то в другом зале и давал соответствующие пояснения. Здесь он представляет, говорил он, например, указывая на огромный помпезный зал, а здесь принимает отставку премьер-министров не реже двух раз в месяц; здесь, в этом интимном салоне, где висит почти совсем подлинный Рафаэль, он пил чай с английской королевой и ее августейшим супругом и чуть было не заснул, когда августейший супруг заговорил о флоте; ничто не наводит на него такую тоску, как военноморские истории, только благодаря находчивости начальника протокольного отдела удалось предотвратить беду: в решающую минуту тот разбудил его и шепотом подсказал правильный флотский ответ. В остальном же эти англичане оказались довольно-таки милыми людьми.

А потом президент и Архилохос попросились как два друга, которые поговорили по душам и пришли к доброму согласию. У главного входа старик еще раз с добродушной улыбкой помахал Архилохосу. Архилохос оглянулся. Дворец стоял на фоне холодного неба мрачный, как огромный вычурный комод. Луна скрылась. Стража отдала Арнольфу честь. Он вышел из сада и спустился на набережную де л'Эта, но потом сразу свернул в переулок Эттер, между дворцом папского нунция и швейцарской миссией, так как увидел, что навстречу ему от министерства экономики движется машина Фаркса. На улице Штеби перед баром Пффифера он взял такси: с Фарксом он больше не хотел встречаться. Через парк к маленькому замку Арнольф пробежал бегом – ему не терпелось заключить в объятия Хлою. Вилла в стиле рококо была ярко освещена. Оттуда доносилось нестройное пьяное пение. Двери были распахнуты настежь. Дым сигар и трубочного табака желтым облаком повис в воздухе. Брат Биби и его детки завладели всем домом. Повсюду на диванах и под столами сидели, лежали и лопотали что-то пьяные друзья Биби – бандиты со всего города, закутавшиеся в сорванные портьеры; здесь собрались ворюги, педерасты и сутенеры, на кроватях визжали полураздетые девицы, в кухне, чавкая и рыгая, жрали и пили громилы – они сожрали и выплакали все, что было в чуланах и в винном погребе. В столовой Маттиас и Себастьян играли в хоккей деревянными протезами; в коридоре дядюшка-моряк и мамочка бросали в стенку ножи, а Жан-Кристоф и Жан-Даниэль перебрасывались его стеклянным глазом; Теофил и Готлиб, прижимая к груди шлях, катались по перилам.

Охваченный мрачным предчувствием, Арнольф бросился на второй этаж, он пробежал мимо ренессансной кровати, где все еще метался в жару владелец картинной галереи Пролазьер, миновал будуар – из ванной доносилось мужское пение, плеск воды и пронзительный голос Магды-

Марии, — ворвался в спальню Хлои: в кровати лежал брат Биби с любовницей (раздетой). Хлои нигде не было. Тщетно искал ее Арнольф, тщетно перерыл, пересмотрел, перевернул всю комнату.

— Где Хлоя?

— В чем дело, братец? — с упреком спросил Биби, посасывая сигару. — Не имей привычки входить в спальню без стука.

Больше Биби ничего не успел сказать. С его братом произошло чудесное превращение. Он вбежал на свою виллу с самыми возвышенными чувствами, преисполненный любви и нежности к Хлое, теперь эти чувства обратились в бешенство. Он вдруг понял, как глупо было содержать эту семью долгие годы; подумал, с какой наглостью она захватила его виллу; к тому же его мучил страх, что он по собственной вине потерял Хлою, — все это превратило Архилохоса в грозного мстителя. Он стал Аресом, древнегреческим богом войны, как это предсказал Пассап. Схватив проволочную скульптуру, он накинута на брата Биби, расположившегося вместе с любовницей на его супружеском ложе. Биби, мирно посасывавший сигару, вскочил с диким криком, но, нокаутированный, заковылял к двери и тут же опять был сражен ударом в подбородок, а потом Арнольф схватил за волосы его любовницу, потащил ее в коридор и швырнул прямо на дядюшку-моряка, который как раз подоспел, привлеченный и предупрежденный криком Биби, — и дядюшка, и любовница с грохотом покатались по лестнице. Из всех дверей повыскакивали теперь домущники, сутенеры и прочая шваль; своих племянников — Теофила и Готлиба — Арнольф сбросил с винтовой лестницы; та же участь постигла Прозазера, который полетел вниз вместе с кроватью под балдахином; Себастьяна и Маттиаса Арнольф избил, голую Магду-Марию и ее очередного поклонника (китайца) выкинул в окошко с разбитым стеклом; так же он расправился и с остальной шпаной. В воздухе со свистом пролетали протезы и ножки стульев, текла кровь; шлюхи разбегались кто куда, мамочка грохнулась в обморок, педерасты и фальшивомонетчики удирали, вобрав голову в плечи и визжа как крысы. Архилохос молотил кулаками, душил, царапал, раздавал зуботычины, валил с ног, разбивал черепа, походя изнасиловал какую-то девку, и все это под градом ударов — его дубасили протезами, кастетами, резиновыми дубинками; он падал и снова подымался, стяхивая с себя врагов; изо рта у него шла пена, весь он был в битом стекле; круглый стол он использовал как щит; вазы, стулья, картины, Жана-Кристофа и Жана-Даниэля — как метательные снаряды. С яростью он гнал бандитов из своего дома, неуклонно пробиваясь вперед, круша и уничтожая все на своем пути, осыпая подонков отборной руганью. И вот он остался один на вилле, где ключья штофных обоев развевались, будто флаги, где гулял ледяной ветер, рассеивая клубы табачного дыма; а потом он бросил в сад вслед этой хищной своре бомбу Фаркса, и взрыв осветил небо, на котором уже занялась утренняя заря.

Долго стоял Арнольф у входа в свой маленький разгромленный замок и глядел, как рассвет серебрил вязы и ели в парке. Порывы теплого ветра налетали на деревья, тормозили их, трясли. Началась оттепель. Лед на крыше растаял, вода потекла по водосточным трубам. Повсюду слышался стук капли. Сплошные облака проползали над крышами и садами — тяжелые, разбухшие от влаги. Заморосил дождь. Мимо Архилохо-

са, хромая, проследовал избитый, полуодетый Пролазьер, стуча зубами от озноба, и исчез в утренней мороси.

— Вы, как христианин... — крикнул он Архилохосу и скрылся за пеленой дождя.

Архилохос не обратил на Пролазьера внимания. Он пристально глядел вперед заплывшими глазами. Он весь был в кровоподтеках, его свадебный фрак давно уже превратился в лохмотья, подкладка вылезла наружу, очки он потерял.

Конец I

(За ним следует конец для публичных библиотек.)

25

Архилохос начал разыскивать Хлою.

— Боже мой, мсье Арнольф! — воскликнула Жоржетта, когда он вдруг появился перед стойкой и потребовал рюмку перно. — Боже мой, что с вами случилось?

— Не могу найти Хлою.

В закуской было полно народу. Подавал Огюст. Архилохос выпил рюмку перно и заказал еще одну.

— А вы повсюду ее искали? — спросила мадам Билер.

— Повсюду: и у Пассапа, и у епископа.

— Не пропадет ваша Хлоя, — утешала его Жоржетта. — Женщины вообще никогда не пропадают, и часто они оказываются там, где их меньше всего ожидаешь.

Она налила ему третью рюмку перно.

— Наконец-то, — со вздохом облегчения сказал Огюст болейщикам. — Наконец-то он начал закладывать за воротник.

Архилохос не прекращал поисков. Он врывался в монастыри, частные пансионаты, меблированные комнаты. Хлоя исчезла. Он бродил по опустевшей вилле, по голому парку, стоял под мокрыми деревьями. Только ветки шелестели, только тучи проносились над крышами. И внезапно его обуяла тоска по родине, жажда увидеть Грецию, ее красноватые скалы и темные рощи, увидеть Пелопоннес.

Не прошло и двух часов, как он оказался на борту парохода, а когда "Джульетта", оглашая воздух ревом сирены, поплыла в тумане, окутанная клубами дыма, который тянулся за ее трубой, в гавань примчалась машина с головорезами Фаркса, и несколько пуль просвистело в воздухе. Эти пули, предназначавшиеся террористу-рenegату Архилохосу, продырявили зелено-золотой государственный флаг, уныло полоскавшийся на ветру.

На "Джульетте" плыли мистер и миссис Уимэны; когда Арнольф как-то предстал перед ними, их лица выразили тревогу.

Средиземное море. Палуба, залитая солнцем. Шезлонги. Архилохос сказал:

— Я уже несколько раз имел честь беседовать с вами.

— Well, — пробурчал сквозь зубы мистер Уимэн.

Арнольф извинился и сказал, что произошло недоразумение.

— Yes, — заметил мистер Уимэн.

А потом Архилохос попросил разрешения участвовать в раскопках на его старой родине.

— Well, — ответил мистер Уимэн и захлопнул специальный журнал по археологии, а потом, набивая свою короткую трубку, еще раз добавил: — Yes.

Итак, он в Греции, разыскивает древности в окрестностях Пелопоннеса, в краю, ни в малейшей степени не соответствующем представлениям о родине, которые он себе создал. Он копает землю под лучами безжалостного солнца. Вокруг камни, змеи, скорпионы, а у самого горизонта несколько искривленных оливковых деревцев. Невысокие голые горы, высохшие источники, ни единого кустика. Над головой Арнольфа упрямо кружит коршун, его не отгонишь никакими силами.

Много недель подряд, обливаясь потом, Арнольф ковырял какой-то холмик, и в конце концов, когда он почти срыл его, показались полуобвалившиеся стены, засыпанные песком; песок раскалялся на солнце, залезал под ногти, от песка гноились глаза. Мистер Уимэн выразил надежду, что они откопали храм Зевса, миссис уверяла, что это капище Афродиты. Супруги спорили так громко, что их голоса были слышны за несколько миль. Рабочие-греки давно разбежались. В ушах Арнольфа стоял комариный писк, мошकारа облепила его лицо, заползала ему в глаза. Наступили сумерки, где-то далеко раздался крик мула, протяжный и жалобный. Ночь была холодная. Архилохос лег в своей палатке около самого места раскопок, миссис и мистер Уимэны устроились на ночлег в десяти километрах, в главном городе этого захолустья — убогой дыре. Вокруг палатки летали ночные птицы и летучие мыши. Совсем недалеко завыл какой-то хищник, может быть, волк. А потом все опять стихло. Архилохос заснул. Под утро ему показалось, что он услышал чьи-то легкие шаги. Но он не стал открывать глаза. А когда красное раскаленное солнце, поднявшееся из-за никому не нужных голых отрогов, осветило его палатку, он встал. Еле волоча ноги, побрел к безлюдному месту раскопок, к развалинам. Было по-прежнему холодно. Высоко в небе опять кружил коршун. В развалинах тьма еще не рассеялась. У Архилохоса ныли все кости, но он принялся за работу, воткнул в землю лопату. Перед ним тянулся длинный песчаный бугорок, неясно вырисовывавшийся в полумраке. Арнольф осторожно орудовал археологической лопаткой и очень скоро наткнулся на какой-то предмет. В нем проснулось любопытство: кто это — богиня любви или Зевс? Интересно, кто из археологов прав — мистер Уимэн или миссис Уимэн? Общими руками Архилохос начал сбрасывать песок и... откопал Хлою.

Почти не дыша смотрел он на свою возлюбленную.

— Хлоя, — крикнул он, — Хлоя, как ты сюда попала?

Она открыла глаза, но продолжала лежать на песке.

— Очень просто, — сказала она, — я поехала за тобой. Ведь у нас было два билета.

А потом Хлоя и Арнольф сидели на только что откопанных развалинах и разглядывали греческий ландшафт: невысокие голые горы, над которыми стояло пронзительное солнце, искривленные деревца на горизонте и какую-то белую полоску вдаль — ближайший городок, окружной центр.

- Это — наша родина, — сказала она, — твоя и моя.
- Где же ты была? — спросил он. — Я искал тебя повсюду.
- Я была у Жоржетты. В ее комнатах над закуской.

Вдалеке появились две точки, они быстро росли, это были мистер и миссис Уимэны.

А потом Хлоя произнесла речь о любви, почти совсем как некогда Диотима перед Сократом (речь эта оказалась не столь глубокомысленной, ибо Хлоя Салоники, дочь богатого греческого купца — теперь мы знаем и ее социальное происхождение, — была женщиной попроще и попрактичней).

— Вот видишь, — говорила она, а в это время ветер играл ее волосами, солнце подымалось все выше и англичане, восседавшие на своих мулах, подвезжали все ближе, — теперь ты знаешь, кем я была. Стало быть, между нами полная ясность. Мне надоело мое ремесло, это тяжелый хлеб, как и каждый честно заработанный хлеб. Печаль не оставляла меня. Я мечтала о любви, мне хотелось заботиться о ком-то, делить с другим не только радости, но и горе. И вот однажды, когда мою виллу окутал густой туман, беспросветно пасмурным зимним утром, я прочла в "Ле суар" объявление: грек ищет гречанку. И я тут же решила, что полюблю *этого* грека, только его, и никого больше. Я пришла к тебе в то воскресное утро ровно в десять с розой. Я не собиралась ничего скрывать и надела самое лучшее, что у меня было. Я хотела принять тебя таким, какой ты есть, но и ты должен был принять меня такой, какая я есть. Ты сидел за столиком робкий, беспомощный, от чашки с молоком шел пар, и ты протирал очки. Тут все и случилось: я тебя полюбила. Но ты думал, что я честная девушка, ты совершенно не знал жизни, и ты никак не мог догадаться, чем я занимаюсь, хотя Жоржетта и ее муж поняли все с первого взгляда. Но я не посмела разрушить твои иллюзии. Я боялась тебя потерять и этим только все испортила. Твоя любовь превратилась в фарс, а когда в часовне святой Элоизы ты узнал правду, рухнул весь твой миропорядок, и под его обломками погибла любовь. Хорошо, что так получилось. Ты не мог любить меня, не зная правды. И только любовь сильнее этой правды, которая грозила нас уничтожить. Твою слепую любовь надо было разрушить во имя любви зрячей, любви истинной.

26

Однако, прежде чем Хлоя и Архилохос смогли вернуться к себе домой, прошло довольно много времени. В стране началась великая смута. К кормилу правления пришел Фаркс с орденом "Кремля" под двойным подбородком. Ночное небо окрасилось в красный цвет. На улицах пестрели флаги, толпы людей скандировали: "Ami go home!"¹ Повсюду висели плакаты, гигантские портреты Ленина и еще не свергнутого русского премьера. Но Кремль был далеко, а доллары нужны позарез, да и Фаркса привлекала лишь идея личной власти. Он перекинулся в западный лагерь, вздернул на виселицу шефа тайной полиции (бывшего референта Пти-Пейзана) и начал достойно представлять в президентском дворце на набережной де л'Эта под неусыпным присмотром тех же лейб-

¹ Американцы, убирайтесь домой! (англ.)

гвардейцев в золотых шлемах с белыми плюмажами, которые охраняли его предшественников. Теперь он тщательно приглаживал свои рыжие волосы и подстригал усы. Режим смягчился, мировоззрение Фаркса стало умеренным, и в один прекрасный день на Пасху Фаркс посетил собор святого Луки. В стране опять установился буржуазный порядок. Но Хлоя и Архилохос никак не могли приспособиться к новой жизни. Довольно долго это им не удавалось. Наконец они открыли у себя на вилле домашний пансион. У них поселился Пассап, который был в опале (в области искусства Фаркс твердо стоял на позициях социалистического реализма); мэтр Дютур, карьера которого также оборвалась; смещенный с поста Эркуль Вагнер и его могучая супруга; низложенный президент, по-прежнему учтивый, взиравший на мир с философским спокойствием; и еще Пти-Пейзан (объединение с концерном резины и смазочных масел оказалось для него роковым); все они зажили личной жизнью. Словом, на вилле оказалось сборище банкротов. Не хватало только епископа — он вовремя переметнулся к новопресвитерианам предпоследних христиан. Постояльцы пили молоко, а по воскресеньям — перье, жили тихо, летом гуляли в парке — смиренные, поглощенные житейскими заботами. Архилохосу было не по себе. Как-то раз он отправился в предместье, где брат Биби, мамочка, дядюшка-моряк и детки открыли маленькое садоводство; выволочка на вилле Хлои совершила чудо (Маттиас сдал экзамен на учителя, Магда-Мария — на воспитательницу в детском саду, младшие дети пошли работать на фабрику, а часть из них примкнула к Армии спасения). Но и у Биби Архилохос не смог долго пробыть. Мещанская обстановка, моряк, посасывающий трубочку, и мамочка с вязаньем на коленях навевали на него тоску, равно как и сам брат Биби, который теперь ходил вместо Архилохоса в часовню святой Элоизы. Четыре раза в неделю.

— Вы какой-то бледный, мсье Арнольф, — сказала Жоржетта, когда однажды он, как и встарь, появился у стойки в ее закусочной. (Над стойкой, уставленной бутылками с водкой и ликерами, висел теперь портрет Фаркса в рамке из эдельвейсов.) — У вас неприятности?

Она налила ему рюмку перно.

— Все теперь перешли на молоко, — пробормотал он, — и болейшики, и даже ваш муж.

— Что поделаешь, — сказал Огюст, потирая голые ноги, окутанные рыжеватым облачком; по-прежнему на нем была желтая майка. — Правительство проводит очередную кампанию по борьбе с алкоголизмом. И потом, я как-никак спортсмен.

Тут Архилохос увидел, что Жоржетта открывает бутылку перье. "И она тоже", — подумал он с горечью.

Но вот однажды, когда они с Хлоей лежали в кровати под балдахином с пурпурными занавесками, а в камине потрескивали поленья, Арнольф сказал:

— Нам живется совсем неплохо в нашем маленьком замке, и наши старенькие постояльцы всем довольны. Грех жаловаться, и все же от этой добродетели, которая нас окружает, просто нет сил. Иногда мне кажется, что я обратил весь мир в свою веру, а он обратил меня в свою. И в итоге получилось так на так, и, стало быть, все оказалось напрасно.

Хлоя приподнялась.

— Знаешь, я все время вспоминаю те развалины у нас на родине, —

сказала она, — когда я закопалась в песок, чтобы сделать тебе сюрприз, и тихо лежала в полутьме, и смотрела на коршуна, который кружил над местом раскопок, тогда я вдруг почувствовала, что подо мною лежит какой-то твердый предмет, что-то каменное, наподобие двух больших выпуклостей.

— Богиня любви! — закричал Архилохос и вскочил с кровати. И Хлоя тоже встала.

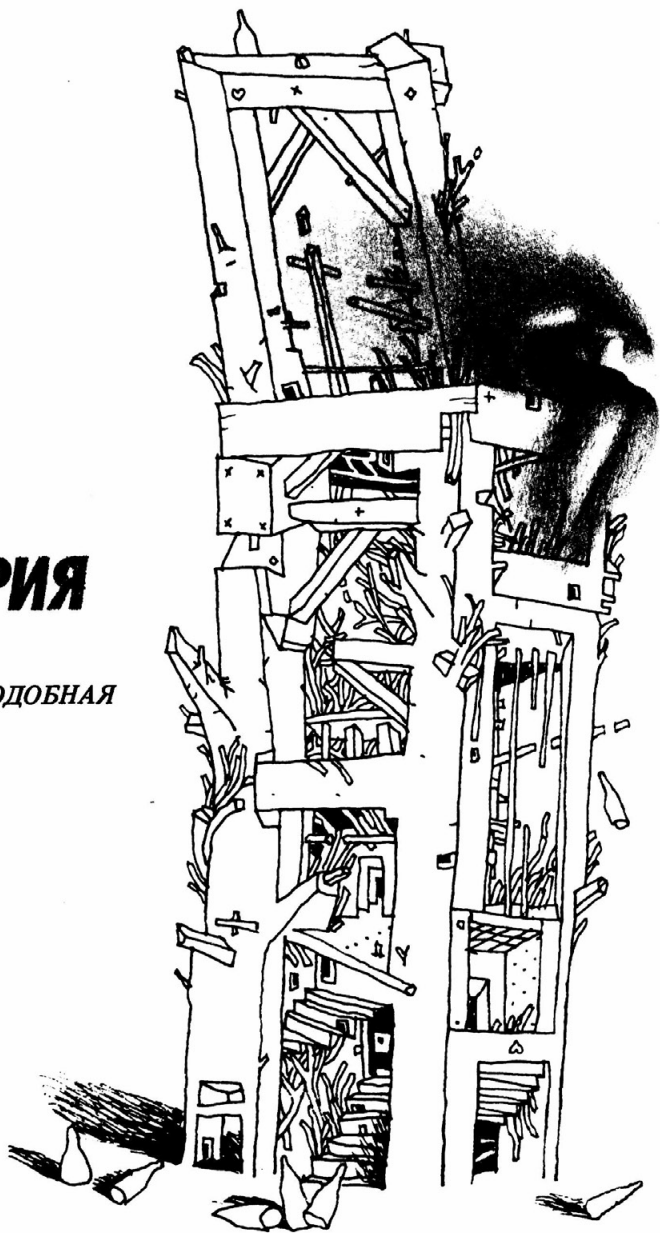
— Надо всегда искать богиню любви. Нельзя прекращать поиски, — прошептала она, — иначе богиня нас оставит.

Они тихонько оделись и уложили чемодан. На следующий день часов в одиннадцать Софи долго и тщетно стучала в дверь спальни, а когда она вошла в комнату вместе с обеспокоенными постояльцами, то увидела, что комната пуста.

Конец II

АВАРИЯ

ПОЧТИ
ПРАВДОПОДОБНАЯ
ИСТОРИЯ



DIE PANNE

Eine noch mögliche Geschichte
Zürich, 1956

Перевод Н. Бунина

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Существуют ли еще правдоподобные истории, истории для писателей? Если писатель не желает рассказать о себе, возвышенно, поэтически обобщить свое "я", если не испытывает потребности вполне откровенно поделиться своими надеждами и разочарованиями, рассказать, например, как он ласкает женщин, причем рассказать так, чтобы откровенность привела к обобщениям, а не увела в область физиологии или — в лучшем случае — психологии; если он этого не желает, а, напротив, сохраняя личное для себя, предпочитает творить, подобно скульптору, и в процессе созидания саморазвиваться, причем, подражая классикам, не впадает сразу в отчаяние, когда уже невозможно отрицать явную нелепицу, бьющую в глаза, то в этом случае писателя охватывает чувство одиночества, писать становится труднее да и бессмысленнее, ведь дело не в хорошей оценке, выставленной историей литературы (кому только не выставляли хорошие оценки, какие только поделки не превозносились), — дело в требованиях дня. Но здесь опять-таки встречаешься с какой-нибудь дилеммой и с неблагоприятным положением на рынке. Ибо жизнь предлагает одни только развлечения: вечером — кино, на последней полосе ежедневной газеты — стихи; за большую плату (для социальной справедливости, начиная с одного франка) требуется уже душа, признания, откровенность, надо поставлять более высокие ценности — мораль, полезные сентенции, что-то надо преодолевать либо утверждать, скажем христианство или модное отчаяние, — одним словом, литература. Ну а если писатель все настойчивее и упорнее отказывается производить подобный товар, ясно понимая, что источник его творчества заключается в нем самом, в его сознании и подсознании (соотнесенных в зависимости от того или иного случая), в его вере и сомнениях, и если он притом полагает, что именно это совершенно не предназначено для публики, ибо с нее довольно того, что он описывает, изображает, очерчивает, эффектно скользит по поверхности, и только ее, не болтая об остальном и не давая излишних комментариев? Придя к такому выводу, писатель становится в тупик, начинает колебаться, его охватывает растерянность, и это почти неизбежно. Возникает ощущение, что рассказывать больше не о чем,

всерьез задумываешься — не бросить ли все и не уйти ли на покой; может быть, попытку-другую еще и сделаешь, но затем неминуемо свернешь в биологию, чтобы хоть мыслью охватить извержение человечества, эти грядущие миллиарды людей и непрерывно поставляющие их чрева, или же в физику и астрономию, чтобы дать себе отчет, порядка ради, о той клетке, в которой мы спуем, как молекулы. Остальное — для иллюстрированных журналов типа "Лайф", "Матч", "Квик", "Она и он": президент в кислородной палатке, принцесса со своим личным пилотом (отчаянным парнем), кинозвезды и разбогатевшие выскочки — взаимозаменяемые, выходящие из моды, едва о них заговорили. А рядом с этим будничная жизнь, в моем случае — западноевропейская, точнее, швейцарская, скверная погода и неважная конъюнктура, заботы и тревоги, потрясения личного плана, не связанные с мировыми событиями, с ходом вещей более существенных и менее существенных, с разматыванием клубка необходимостей. Судьба покинула авансцену, где происходит действие, чтобы подкарауливать за кулисами, вне общепринятой драматургии; на передний план выдвигаются несчастные случаи, болезни, кризисы. Даже война зависит от того, предскажут ли ее рентабельность электронные мозги, хотя, как известно, такого никогда не случится, пока счетные машины будут действовать исправно; математически можно предсказать только поражения; но горе, если произойдет фальсификация вследствие запрещенного вмешательства в искусственные мозги, хотя и это менее страшно, чем другая вероятность: расшатается какой-нибудь винтик, испортится какая-либо катушка, неверно сработает какая-то клавиша — и конец света из-за ошибочного контакта, короткого замыкания. Итак, больше не угрожают ни бог, ни праведный суд, ни фатум, как в Пятой симфонии, а только лишь дорожно-транспортные происшествия, прорывы плотин из-за ошибки в конструкции, взрыв фабрики атомных бомб по вине рассеянного лаборанта, неотрегулированные ядерные реакторы. В этот мир аварий ведет наш путь, на пыльной обочине которого, кроме щитов, рекламирующих обувь "Балли", "студебекеры", мороженое, и мемориальных досок жертвам автомобильных катастроф, встречаются еще почти правдоподобные истории, когда в зауядном человеке неожиданно проглядывает человечество, личная беда невольно становится всеобщей, обнаруживаются правосудие и справедливость, порой даже милосердие, мимолетное, отраженное в монокле пьяного.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Несчастный случай, безобидный правда, но все-таки авария, произошел на сей раз. Альфредо Трапс, так зовут нашего современника, — текстильный коммивояжер, сорок пять лет, далеко еще не располневший, приятная наружность, приличные манеры, за которыми угадывалась известная выучка, что-то этакое примитивное, как у лотошника, — ехал в "студебекере" по шоссе, надеясь через час добраться до места своего жительства (одного крупного города), когда мотор вдруг отказал. Дальше машина просто-напросто не шла. Блестя красным лаком, она беспомощно стояла у подножия небольшого холма, через который пролегало шоссе. На севере повисло кучевое облако, на западе солнце стояло еще высоко, почти как пополудни. Трапс выкурил сигарету и попытался сделать все возможное. Автомеханик, который в конце концов отбуксировал "студе-

бекер” к себе в гараж, заявил, что раньше утра повреждение исправить не удастся: засорился бензопровод. Проверять, так ли это, было бесполезно, да и не стоило пытаться. Автомеханикам, как некогда рыцарям-разбойникам, а еще раньше — древним божествам и духам, приходится безоговорочно повиноваться. Трапс мог бы при желании идти за полчаса до ближайшей железнодорожной станции и несколько сложным, но довольно кратким путем вернуться домой, к жене и четверым детям (все четверо мальчишки), однако сделать это поленился и решил заночевать. Было шесть часов вечера, жарко, день почти самый длинный в году; деревня, на краю которой стоял гараж, живописно раскинулась вдоль лесистых холмов, на пригорке церковь, пасторский дом и древний могучий дуб, укрепленный подпорками и огромными железными обручами, — все прочно, надежно; опрятно выглядит даже навоз перед крестьянскими домами, старательно сложенный в аккуратные кучи. Чуть в стороне был небольшой заводик, было здесь несколько тракторов и постоянных дворов; Трапс вспомнил, что один из них многие хвалили, но оказалось, что все номера в нем заняты участниками съезда скотоводов, и нового приезжего направили на виллу, где иногда принимали постояльцев. Трапс колебался. Еще не поздно было возвратиться домой поездом, однако он прельстился надеждой на какое-нибудь приключение, бывают же в селах девушки, умеющие (как, например, недавно в Гросбиштрингене) ценить текстильных вояжеров. Приободрившись, он отправился на виллу. В церкви звонили. Навстречу шло мычащее стадо коров.

Двухэтажная вилла была расположена в большом саду; ослепительно белые стены, плоская крыша, зеленые жалюзи, дом наполовину скрыт кустами, буками и елями, перед фасадом цветы, главным образом розы, среди них пожилой человечек в кожаном фартуке (по-видимому, хозяин дома), занимающийся несложной садовой работой.

Трапс представился и попросил приюта.

— Ваша профессия? — спросил старичок, подойдя к ограде. Он курил сигару и ростом едва превyšшал калитку.

— Я по текстильной части.

Старичок внимательно оглядел Трапса поверх маленьких очков без оправы, как это делают дальновзоркие.

— Конечно, господин может здесь переночевать.

Трапс спросил о цене.

Хозяин сказал, что обычно он за это не берет ничего; живет он один (сын в Америке), за хозяйством смотрит экономка, мадемуазель Симона, поэтому он даже бывает рад приютить гостя.

Трапс поблагодарил, тронутый гостеприимством, и отметил, что в деревне добрые нравы и обычаи предков еще не перевелись.

Калитка отворилась. Войдя, Трапс огляделся. Поспанные гравием дорожки, газоны, обширные тенистые уголки и солнечные полянки.

Вечером у него будут гости, сказал старик, когда они подошли к цветнику, и принялся тщательно подрезать розовый куст. Придут несколько друзей, таких же пенсионеров, как и он, все живут поблизости (кто в деревне, кто на окраине, у холмов); когда-то они переехали сюда ради мягкого климата и еще потому, что здесь не чувствуешь фёна, все одинокие, вдовцы, любят поговорить, услышать что-нибудь новенькое, свежее, поэтому он с удовольствием приглашает господина Трапса поужинать и провести вечерок в мужской компании.

Текстильный вояжер смутился. Он, собственно, намеревался поехать в деревне, в знаменитом на всю округу трактире, но отклонить приглашение, чувствуя себя должником, было неловко. Ведь он принял предложение бесплатно переночевать. Ему не хотелось показаться невежей горожанином. Трапс сделал вид, что польщен. Хозяин проводил его наверх. Приятная комната: умывальник, широкая кровать, стол, удобное кресло, на стене Ходлер, на этажерке книги в старинных кожаных переплетках. Трапс открыл саквояж, умылся, побрился, опрыскал себя одеколоном, подошел к окну, закурил. Солнечный диск, скользя за холмами, озарял буковую рощу. Трапс припомнил события минувшего дня: заказ акционерного общества (недурно), загвоздка с Вильдхольцем — нахал, подумать только, потребовал пять процентов, ну и ну... ничего, он еще его проучит. Потом всплыло беспорядочное, каждодневное: адюльтер в отеле "Туринг", вопрос, покупать ли младшему сыну (самому любимому) электрическую железную дорогу; да, надо еще позвонить жене, это не просто вежливость, а долг — предупредить ее о непредвиденной задержке. Но он пренебрег своим долгом. Как уже не раз. Жена привыкла, да и все равно не поверит. Трапс зевнул и позволил себе одну сигарету. Тут он увидел, как по дорожке к дому прошли три старых господина, впереди двое бок о бок, а позади лысый толстяк. Приветствия, рукопожатия, объятия, разговор о розах. Трапс отошел от окна и приблизился к этажерке. Судя по заглавиям книг, предстоял скучный вечер: "Преступное убийство и смертная казнь" Готцендорфа, "Современное римское право" Савиньи, "Практика допроса" Эрнста Давида Хёлле. Его хозяин, по-видимому, юрист, скорее всего бывший адвокат. Трапс приготовился к длинным рассуждениям — что еще можно ждать от такого сухаря, в настоящей жизни он ничего не смыслит, потому и увяз в законах. Следует также опасаться, что зайдет разговор об искусстве или о чем-нибудь в этом роде, тогда недолго и осрамиться. Что ж, если бы не заедала работа, он тоже был бы в курсе всяких высоких материй. Без особой охоты он спустился вниз, на открытую, освещенную солнцем веранду, где собрались гости; в столовой экономка, дюжая особа, накрывала на стол. Трапс все же смутился, увидев ожидавшее его общество, и был рад, когда хозяин поднялся ему навстречу. Сейчас он выглядел почти франтом в своем слишком просторном сюртуке с тщательно зализанными редкими волосами. В адрес Трапса прозвучало короткое приветствие. Преодолев смущение, он пробормотал, что счастлив оказанной честью и прочее, поклонился холодно, сдержанно, разыгрывая роль светского дельца, и с грустью подумал, что ведь он остался в этой деревне, чтобы раздобыть какую-нибудь девочку. Увы, не получилось. Он оглядел трех старцев, которые, казалось, ни в чем не уступали чудаковатому хозяину. На этой светлой веранде с плетеной мебелью и прозрачными гардинами они напоминали чудовищных воронов: дряхлые, грязные, беспризорные, однако сюртуки у всех (это он установил сразу же) были из первосортной материи, исключая, пожалуй, лысого (Пиле, семьдесят семь лет, как сообщил хозяин дома, представляя Трапсу своих друзей), который с достоинством восседал на неудобном табурете, хотя вокруг были удобные стулья, в сверхкорректной позе — при белой гвоздике в петлице — и непрерывно поглаживал свои густые черные крашенные усы; несомненно, пенсионер, возможно, бывший дьячок, разбогатевший благодаря счастливому случаю, или трубочист, а может быть, и машинист. Еще более опустившимися казались

двое других. Один (господин Куммер, восемьдесят два года), необъятных размеров, толще Пиле, будто сложенный весь из окороков, сидел в качалке — багровое лицо, внушительный нос пьяницы, за стеклами золотого пенсне веселые глазки навывкате, под черным сюртуком ночная рубашка, надетая, очевидно, по рассеянности, в карманах напиханы газеты и бумаги. Другой (господин Цорн, восемьдесят шесть лет) худой и длинный, в левом глазу монокль, на лице шрамы, горбатый нос, белоснежная львиная грива, запавший рот, а в довершение криво застегнутый жилет и разные носки — в общем и целом позавчерашний день.

— Кампари? — предложил хозяин.

— С удовольствием, спасибо, — ответил Трапс и опустился на стул, меж тем как Длинный разглядывал его в монокль.

— Господин Трапс, вероятно, примет участие в нашей забаве?

— Конечно. Позабавиться я не прочь.

Старые господа заулыбались и закивали.

— Наша забава может показаться вам несколько странной, — чуть помедлив, осторожно пояснил хозяин. — Она заключается в том, что мы вечерами играем в свои бывшие профессии.

Старцы улыбнулись опять, вежливо, тактично.

Трапс удивился. Как это понимать.

— Дело в том, что я был когда-то судьей, — сказал хозяин. — Господин Цорн — прокурором, а господин Куммер — адвокатом. Вот мы и разыгрываем судебные процессы.

— Ах, так! — Трапсу эта идея понравилась. Может быть, вечер все же не будет потерян.

Хозяин торжественно взирал на текстильного вояжера.

Собственно говоря, они заново пересматривают знаменитые процессы, мягко начал он объяснение, процесс Сократа, суд над Иисусом Христом, Жанной д'Арк, Дрейфусом, недавно разбирали дело о поджоге рейхстага, а однажды признали невменяемым Фридриха Великого.

Трапс удивился.

— И так вы играете каждый вечер?

Судья кивнул. Но, разумеется, лучше всего, продолжал он, когда имеешь дело с живым материалом, это часто приводит к весьма любопытным ситуациям. Кажется, позавчера один член парламента, который выступал здесь в деревне с предвыборной речью и опоздал на последний поезд, был приговорен к четырнадцати годам тюремного заключения за шантаж и взяточничество.

— Строго судите, — весело заметил Трапс.

— Дело чести, — просияли старцы.

Какую же роль он сможет получить?

Снова улыбки, чуть ли не смех.

Судья, прокурор и защитник уже есть, заметил хозяин, ведь это должности, которые требуют знания сути и правил игры, вакантно лишь место подсудимого, однако — он хотел бы это еще раз подчеркнуть — господина Трапса никоим образом не принуждают участвовать в игре.

Затем стариков развеселила текстильного вояжера. Вечер спасен. Поучений и скуки не предвидится, пожалуй, будет даже весело. Трапс был простым человеком, не наделенным силой ума и не склонным к глубоким размышлениям, он был дельцом, проявлял, когда нужно, хитрость, умел идти на риск, любил хорошо поесть и выпить и не чуждался острых

шуток. Он примет участие в забаве, сказал Трапс, и сочтет для себя честью занять осиротевшее место подсудимого.

— Браво, — прокаркал прокурор и захопал в ладоши, — браво, это по-мужски, это называется смелостью.

Текстильный вояжер с любопытством осведомился, какое же преступление будет ему вменено.

— Несущественный пункт, — ответил прокурор, протирая монокль, — преступление всегда найдется.

Все засмеялись.

Господин Куммер поднялся.

— Идемте, господин Трапс, — сказал он почти отеческим тоном, — выпьем портвейна, которым здесь угощают. Это выдержанное вино, вы должны его отведать.

Он повел Трапса в столовую. Большой круглый стол был накрыт как нельзя более празднично. Старинные стулья с высокими спинками, потемневшие картины на стенах, все старомодное, солидное; с веранды доносилась болтовня старцев, смеркалось, через открытые окна было слышно щебетание птиц, на отдельном столике и на камине стояли бутылки с вином, бордо было в плетенках.

Защитник чуть дрожащей рукой бережно налил в две маленькие рюмки до краев старого портвейна и, пожелав здоровья текстильному вояжеру, чокнулся, еле коснувшись его рюмки, наполненной драгоценной влагой.

Трапс пригубил.

— Бесподобно, — похвалил он.

— Я ваш защитник, господин Трапс, — сказал ему господин Куммер, — так пусть же нас отныне связывают дружеские узы!

— За дружеские узы!

— Лучше всего, — заметил адвокат, приблизив к Трапсу свое багровое лицо с носом пьяницы и пенсне так, что его гигантское брюхо коснулось подзащитного (неприятная мягкая масса), — лучше всего, если вы, господин Трапс, сразу же сознаетесь мне в своем преступлении. Тогда я мог бы гарантировать, что на суде все обойдется. Хотя положение не угрожающее, недооценивать его не стоит. Длинного худого прокурора, который до сих пор еще полон энергии, следует опасаться, да и хозяин дома — увы! — склонен к строгости и, пожалуй, к педантизму, что в старости — а ему восемьдесят семь — еще более усилилось. Тем не менее мне, защитнику, удалось выиграть большинство дел или по крайней мере смягчить не один приговор. Только однажды, в случае убийства с ограблением, действительно ничего нельзя было спасти. Правда, судя по моему впечатлению о господине Трапсе, убийство с ограблением, пожалуй, исключается, или?..

— Увы, я не совершал никакого преступления, — засмеялся текстильный вояжер. — Ваше здоровье!

— Доверьтесь мне, — внушал ему защитник. — Вам нечего меня стесняться. Я знаю жизнь и ничему больше не удивляюсь. Предо мной прошли судьбы, господин Трапс, разверзались бездны, можете мне поверить.

— Сожалею, — усмехнулся текстильный вояжер, — в самом деле получается, что я обвиняемый без преступления. Впрочем, это задача прокурора — найти таковое, он сам это сказал. Придется поймать его на слове. Игра есть игра. Интересно, что из этого получится. Будет настоящий допрос?

— Надо полагать!

— Это меня радует.

На лице защитника отразилось сомнение.

— Вы чувствуете себя невиновным, господин Трапс?

Текстильный вояжер рассмеялся.

— Абсолютно.

Разговор показался ему необычайно забавным.

Защитник протер пенсне.

— Запомните, молодой человек: невиновность невиновностью, главное же в нашем деле — тактика! Надеяться доказать нашему суду свою невиновность — это, мягко выражаясь, головомная затея. Разумнее всего сразу оговорить себя в каком-нибудь правонарушении, например, для коммерсантов наиболее подходящее — подлог, мошенничество. А при допросе всегда есть шанс выяснить, что обвиняемый преувеличивает, что, собственно, имеет место не подлог, а, скажем, безобидное приукрашивание фактов ради рекламы, как это часто практикуется в торговле. Путь от вины к невиновности хотя и труден, однако не невозможен, а вот стремление сохранить невиновность сплошь и рядом оказывается безнадежным и результат — весьма плачевным. Вы проиграете, когда могли бы выиграть, и, кроме того, вы уже не выбираете вину сами, а вам ее навязывают.

Текстильный вояжер, смеясь, пожал плечами: он сожалеет, что ничем не может услужить, он, право же, не знает за собой ни одного проступка, который привел бы его к конфликту с законом, в этом он совершенно уверен.

Защитник снова нацепил пенсне. С Трапсом, видимо, придется поговорить, подумал он, орешек твердый.

— Главное, — завершил он беседу, — обдумывайте каждое слово, не болтайте просто так, иначе вы и глазом моргнуть не успеете, как вас приговорят к длительному заключению, а там уж ничем не поможешь.

В столовую вошли остальные. Расселись за круглым столом. Приятная компания, шутки. Сначала подали различные закуски, холодное мясо, крутые яйца, устрицы, черепаховый суп. Настроение было отменным, все с удовольствием орудовали вилками и ложками и без стеснения хлебали и чавкали.

— Ну-с, обвиняемый, чем вы можете нас порадовать, надеюсь, хорошеньким убийством? — проскрипел прокурор.

Защитник выразил протест.

— Мой клиент — обвиняемый без преступления, редчайший случай в судопроизводстве, так сказать. Утверждает, что невиновен.

— Невиновен? — удивился прокурор.

Шрамы на его лице побагровели, монокль, чуть не попав в тарелку, повис, болтаясь на черном шнурке. Коротышка судья, кропивший в суп ломтик хлеба, замер, укоризненно посмотрел на Трапса и покачал головой, а лысый, молчаливый Пиле с белой гвоздикой в петлице удивленно уставился на него. Наступила зловещая тишина. Прекратился стук вилок и ложек, смолкло сопение и чавканье. Только Симона в углу комнаты чуть слышно хихикала.

— Придется расследовать, — опомнился наконец прокурор. — Чего быть не может, того не бывает.

— Валяйте, — рассмеялся Трапс. — Я в вашем распоряжении!

К рыбе подали вино, легкий игривый "невшатель".

— Ну что ж, — сказал прокурор, занявшись форелью, — посмотрим. Женаты?

— Одиннадцать лет.

— Детишки?

— Четверо.

— Профессия?

— По текстильной части.

— Иными словами, коммивояжер, дорогой господин Трапс?

— Генеральный представитель.

— Хорошо. Попали в аварию?

— Случайно. В этом году впервые.

— Так. А в прошлом году?

— Ну, тогда я ездил еще на старой машине, "ситроен" образца 1939-го, — пояснил Трапс, — а теперь у меня "студебекер", красный лак, спецмодель.

— "Студебекер", и совсем недавно? Так-так, интересно. До этого, наверно, не были генеральным представителем?

— Был обыкновенным, простым вояжером.

— Конъюнктура, — понимающе кивнул прокурор.

Рядом с Трапсом сидел защитник.

— Будьте внимательны, — шепнул он.

Текстильный вояжер, точнее, генеральный представитель, как мы теперь по праву можем называть его, беспечно приступил к бифштексу: выжал на него ломтик лимона, добавил чуть коньяку, перцу (собственный рецепт), послонил. Так отменно он еще никогда не едал, сияя, признался Трапс, до сих пор он полагал, что самое приятное из развлечений, существующих для людей его круга, — это вечера в клубе "Шларэффия", но сегодняшнее общество доставляет ему неизмеримо большее удовольствие.

— Ага, — констатировал прокурор, — значит, вы член "Шларэффии". Какое же там у вас прозвище?

— Маркиз де Казанова.

— Отлично, — каркнул, обрадовавшись, прокурор, словно добился важного показания, и вставил монокль. — Нам всем приятно это слышать. Можно ли, судя по этому прозвищу, сделать вывод о вашей личной жизни, милейший?

— Берегитесь, — прошипел защитник.

— Только условно, дорогой господин прокурор, — ответил Трапс. — Если у меня что-нибудь и приключается с женщинами на стороне, то лишь случайно и без честолюбивых претензий.

— Не будет ли господин Трапс столь любезен вкратце рассказать собравшимся о своей жизни? — спросил судья, доливая "невшатель". — Поскольку решено устроить суд над дорогим гостем и грешником и, разумеется, упечь его на долгие годы, надлежало бы узнать о нем по-подробнее, что-нибудь личное, интимное, ну, скажем, любовные похождения, только по возможности с перцем и солью.

— Рассказывайте, рассказывайте! — хихикая, требовали старцы у генерального представителя. Однажды они судили сутенера, он рассказал увлекательнейшие и пикантнейшие истории, связанные с его ремеслом, и, между прочим, отделался всего-навсего четырьмя годами тюрьмы.

— Что вы, — засмеялся Трапс, — мне, право, нечего рассказывать. Я веду обычную жизнь, господа, признаюсь откровенно, самую что ни есть заурядную... Выпьем!

— Выпьем!

Генеральный представитель поднял бокал, растроганно посмотрел на четырех стариков, впившихся в него неподвижными совиными глазами, словно он был особенно лакомым куском. Все чокнулись.

Солнце наконец зашло, и птичий гвалт стих; ландшафт был все еще виден как днем — сады и красные крыши среди деревьев, лесистые холмы, а вдаль — предгорья и глетчеры; кругом царила умиротворенность, деревенская тишь, праздничное ощущение счастья, божьей благодати и всемирной гармонии.

Трудное детство было у него, рассказывал Трапс, меж тем как Симона меняла тарелки и водружала на стол огромное дымящееся блюдо — шампиньоны в сметане с вином. Его отец был фабричный рабочий, пролетарий, поддавшийся идеям Маркса и Энгельса, озлобленный, мрачный человек, который никогда не заботился о своем единственном ребенке; мать-прачка рано состарилась.

— Учиться мне пришлось только в восьмилетке, только в ней, — горестно поведал он со слезами на глазах, жалея себя за невезучее прошлое, и поднял бокал, в который было уже налито "резерв де марешо".

— Оригинально, — молвил прокурор, — оригинально. Только восьмилетка. Значит, пробилесь собственными силами, уважаемый?

— Вот именно, — воодушевился Трапс, подогретый "марешо", окрыленный дружеским вниманием и очарованный зрелищем мира божьего за окнами. — Вот именно. Еще десять лет назад я торговал вразнос и таскался с чемоданом из дома в дом. Тяжкая работа, ходишь как бродяга, ночью где-нибудь в копне сена или в сомнительной ночлежке. С самых низов пришлось начинать, с самых низов. А теперь... если б вы видели мой текущий счет в банке, господи! Не хочу хвалиться, но есть ли у кого-нибудь из вас "студебекер"?

— Будьте осторожнее, — шепнул обеспокоенно защитник.

— Как же это вам удалось? — поинтересовался прокурор.

— Будьте внимательнее и меньше болтайте, — напомнил защитник.

— Я сейчас единственный полномочный представитель фирмы "Гефестон" в Европе, — заявил Трапс и обвел всех торжествующим взглядом. — Только Испания и Балканы в других руках.

— Гефест — греческий бог, — хихикнул коротышка судья, накладывая себе на тарелку шампиньонов, — великий мастер кузнечного дела, который поймал богиню любви и ее любовника, бога войны Ареса, в столь искусно сплетенную невидимую сеть, что остальные боги не могли нардоваться этому улову, но "Гефестон", чьим единственным и полномочным представителем является уважаемый господин Трапс, звучит для меня завуалированно.

— И все же вы близки к разгадке, уважаемый хозяин и судья, — засмеялся Трапс. — Вы сами сказали "завуалированно", а неизвестный мне греческий бог, имя которого почти одинаково с названием моего товара, сплел тонкую, как вуаль, прозрачную сеть. Если уже существуют нейлон, перлон и мирлон — искусственные ткани, о которых высокий суд, несомненно, слышал, — почему бы не существовать и гефестону? Эта ткань — королева синтетики, нервущаяся, прозрачная (между прочим, для ревматиков сушая благодать) — применяется как в технике, так и в модной одежде, как для военных целей, так и в мирной жизни. Идеальный материал для парашютов — и в то же время пикантнейшая ткань для

ночных сорочек прекрасных дам, знаю по собственному опыту.

— Слушайте, слушайте, — заквакали старцы. — Собственный опыт — это интересно!

Симона опять сменила тарелки и принесла жаркое из телячьей вырезки.

— Праздничный пир! — восхитился генеральный представитель.

— Рад, что вы способны оценить это, и по достоинству! — сказал прокурор. — Нам подается лучший товар и в достаточном количестве, меню как в прошлом веке, когда люди знали толк в еде. Хвала Симоне! Хвала хозяину дома! Ведь он сам все закупает, старый гном и gourmet¹, а что касается вин, то о них заботится Пиле, трактирщик из соседней деревушки. Хвала ему! Но вернемся, однако, к вашему делу, мой усердный вояжер! Продолжим расследование. Вашу биографию мы теперь знаем, было приятно получить о вас некоторое представление, в целом совершенно ясна и ваша деятельность. Остается выяснить лишь один незначительный пунктик: как вы сумели добиться такого доходного места? Одним прилежанием и железной энергией?

— Будьте начеку! — прошипел защитник. — Здесь подвох.

— Это было не так легко, — ответил Трапс, глядя с жадностью, как хозяин разрезает жаркое, — сначала пришлось одолеть Гигакса, а это была трудная задача.

— Ага, еще и господин Гигакс! Кто же он такой?

— Мой бывший начальник.

— Вы хотите сказать, что его нужно было вытеснить?

— Его нужно было убрать, как принято выражаться среди моих коллег, — ответил Трапс и подлил себе соуса. — Господа, вы простите меня за откровенность. Деловая жизнь жестока: каков привет, таков и ответ, а хочешь быть джентльменом — пожалуйста, только тебе несдобровать. Я загребая уйму денег, но я и работаю как лошадь, каждый день мотаю на спидометр по шестьсот километров. Конечно, я вел себя не совсем поджентльменски, когда пришлось взять за горло старого Гигакса, мне же надо было продвигаться. Что делать — бизнес есть бизнес.

Прокурор оторвался от жаркого и с любопытством поглядел на генерального представителя.

— "Убрать", "взять за горло" — все это весьма свирепые выражения, дорогой Трапс.

Генеральный представитель засмеялся.

— Их, разумеется, следует понимать в переносном смысле.

— Надеюсь, господин Гигакс в добром здравии, почтеннейший?

— Умер в прошлом году.

— Вы с ума сошли! — прошипел защитник. — Что вы делаете?

— В прошлом году, — сочувственно произнес прокурор. — Жаль, очень жаль. Сколько же ему было лет?

— Пятьдесят два.

— Совсем молодой. И отчего он скончался?

— От какой-то болезни.

— После того как вы получили его место?

— Незадолго до этого.

— Отлично, у меня пока вопросов больше нет, — сказал прокурор. —

¹Человек, разбирающийся в тонкостях изысканной пищи (франц.).

Повезло. Нам повезло. Нашелся покойник, а это в конце концов главное.

Все засмеялись. Даже лысый Пиле, который, сосредоточенно склонившись над тарелкой, педантично и невозмутимо поглощал огромные порции, поднял голову.

— Вот это да, — сказал он, погладил черные усы и снова принялся за еду.

Прокурор торжественно поднял бокал.

— Господа, — сказал он, — за эту находку предлагаю распить "пишон-лонгвиль" 1933 года. Хорошая игра стоит доброго бордо!

Все чокнулись и выпили.

— Черт возьми, господа! — поразился генеральный представитель, осушив одним глотком "пишон" и протягивая пустой бокал судьбе. — Какой букет! Грандиозно!

Стемнело, лица собравшихся были едва различимы. На небе появились первые звезды. Экономка зажгла свечи в трех массивных канделябрах; на стене появилась тень от сидящей группы, похожая на чашечку какого-то фантастического цветка. Дружеская, интимная обстановка, взаимная симпатия, непринужденность.

— Как в сказке, — дивился Трапс.

Защитник вытер салфеткой лоб.

— Сказка — это вы, дорогой Трапс, — сказал он. — Ни разу в жизни мне еще не встречался обвиняемый, который с таким благодушием допускал бы столь неосторожные высказывания.

Трапс засмеялся.

— Не беспокойтесь, дорогой сосед! Вот когда начнется допрос, тогда уж я буду начеку.

Снова, как уже однажды, воцарилась мертвая тишина. Ни чмокания, ни чавканья.

— Несчастный! — простонал защитник. — Что значит "когда начнется допрос"?

— А разве он уже начался? — беспечно спросил генеральный представитель, накладывая себе на тарелку салат.

Старцы ухмыльнулись, глаза их лукаво заблестели, и они заблели от удовольствия.

Молчавший до сих пор Лысый хихикнул:

— А он и не заметил, а он и не заметил!

Трапс опешил, сбитый с толку озорной веселостью стариков, ему стало не по себе, но это ощущение быстро исчезло, и он рассмеялся.

— Прошу прощения, господа, — сказал он. — Я представлял себе эту игру более торжественной, солидной, официальной, как в зале суда.

— Милейший господин Трапс, — обратился к нему судья, — ваше смущение нам дороже любой награды. Я вижу, наш метод судопроизводства кажется вам странным и слишком веселым. Но, дорогой мой, все мы четверо давно вышли в отставку и избавили себя от ненужной писанины, бесконечных протоколов, статей, юридических формул и тому подобного хлама, которым завалены судебные залы. Мы судим без оглядки на ветхие своды законов и жалкие параграфы.

— Смело, — промолвил Трапс, ворочая языком уже с некоторым усилием, — смело. Господа, мне это импонирует. Без параграфов — это дерзкая идея.

Защитник церемонно поднялся. Ему хочется подышать воздухом,

объявил он, прежде чем подадут цыплят и прочее, небольшая прогулочка для здоровья и сигарета сейчас весьма кстати, он приглашает господина Трапса разделить с ним компанию.

Спустившись с веранды, они окунулись в наступившую наконец ночь, теплую и величественную. Золотые полосы света из окон столовой протянулись через газоны до розовых кустов. Небо было звездное, безлунное, темной массой стояли деревья, дорожки между ними едва угадывались. Трапс и защитник пошли рука об руку по одной из них. Отяжелев от вина, оба то и дело спотыкались и пошатывались, но старались держаться прямо и курили сигареты "Паризьен", светившиеся в темноте красными точками.

— Боже мой, — вздохнул Трапс, — ну и потеха была там. — Он показал на освещенные окна, в которых только что мелькнул широкий силуэт экономки. — До чего ж занятно.

— Дорогой друг, — сказал защитник и, покачнувшись, оперся на Трапса, — прежде чем мы приступим к цыплятам, я хотел бы, с вашего позволения, поговорить с вами, и надеюсь, вы отнесетесь к моим словам с должным вниманием. Вы мне симпатичны, молодой человек, я питаю к вам нежность и хочу по-отечески предупредить вас: если так пойдет и дальше, мы начисто проиграем процесс.

— Это плохо, — согласился генеральный представитель и осторожно повел защитника по дорожке вокруг массивного черного полушария кустарника.

Они вышли к пруду и, нащупав скамейку, уселись. В воде отражались звезды, тянуло прохладой. Из деревни доносились звуки гармоник и пение, затем слышался альпийский рожок — союз скотоводов отмечал свой праздник.

— Вы должны взять себя в руки, — внушал защитник, — противник захватил важные укрепления; мертвый Гигакс, который выплыл — и совершенно напрасно — благодаря вашей безудержной болтовне, является серьезной угрозой, все это крайне неприятно, неопытный адвокат уже сложил бы оружие, но при настойчивости, при использовании всех шансов и прежде всего при величайшей осторожности и дисциплине с вашей стороны я смогу еще спасти главное.

Трапс засмеялся. Это очень забавная игра, сказал он, на ближайшем заседании "Шларэффии" он непременно предложит ввести ее.

— Не правда ли? — обрадовался защитник. — Просто оживаешь. Знаете, милый Трапс, после того как я вышел в отставку и оказался вдруг без привычного дела, без всяких занятий и в этой деревушке, где мне предстояло наслаждаться старостью, я совсем зачах. Да и что тут привлекательного? Разве что не чувствуешь фёна, вот и все. Здоровый климат? Без духовной-то пищи? Смешно. Прокурор был при смерти, у нашего хозяина подозревали рак желудка, Пиле страдал диабетом, меня мучила гипертония. Таков был итог. Собачья жизнь. Иногда соберемся вместе и с тоской вспоминаем свои профессии и былые успехи — это была единственная отрада. И вот однажды прокурор придумал эту игру. Судья предоставил дом, я свою чековую книжку... что ж, я холостяк, а когда работаешь десятки лет адвокатом высших слоев общества, то отложишь про черный день приличную сумму. Да, мой милый, вы не поверите, каким щедрым бывает оправданный разбойник из финансовых тузов, щедрость на грани расточительства... И эта игра стала нашим целебным источником. Гормоны, желудки, давление снова пришли в норму, скука исчезла, по-

явилась энергия, молодость, гибкость, аппетит. Вот полюбуйтеесь-ка. — И он, несмотря на свой живот, проделал несколько гимнастических упражнений, что Трапс смутно разглядел в темноте. — Обычно мы играем с гостями судьи, которые и бывают нашими обвиняемыми, — продолжал защитник, усевшись. — Тут и коммивояжеры, и туристы, а месяца два назад мы посмели приговорить к двадцати годам тюрьмы даже одного немецкого генерала, он был здесь проездом с супругой. Только мое искусство спасло его от виселицы.

— Потрясающе, — дивился Трапс, — у вас налаженное производство! Только вот с виселицей неладно, здесь вы малость перехватили, уважаемый господин адвокат. Смертная казнь отменена.

— В государственном правосудии, — уточнил защитник. — Но у нас частное судопроизводство, и мы ввели ее снова: как раз возможность смертной казни и придает нашей игре увлекательность и оригинальность.

— Палач у вас наверняка тоже есть, а? — засмеялся Трапс.

— Конечно, есть, — с гордостью подтвердил защитник. — Пиле.

— Пиле?

— Что, удивлены?

Трапс несколько раз глотнул.

— Но ведь он... поставщик вин, которыми нас здесь угощают...

— Трактирщиком он был всю жизнь, — добродушно усмехнулся защитник. — А государственная деятельность — это лишь его побочное занятие. Чуть ли не почетная должность. Считался одним из опытнейших мастеров своего дела в соседней стране, вот уже двадцать лет как на пенсии, но не забыл старого ремесла.

По улице проехала машина, и фары осветили собеседников. Трапс на мгновение увидел табачный дым, плывущий в воздухе, необъятную фигуру защитника в замызганном сюртуке, его жирное, довольное, добродушное лицо. Трапса охватила дрожь, лоб покрылся холодным потом.

— Пиле...

— Что с вами, дорогой Трапс? — удивился защитник. — Я чувствую, вы дрожите. Вам нездоровится?

Мысленно Трапс видел перед собой Лысого, тупо пережевывающего пищу (отталкивающее зрелище). Сидеть с такой личностью за одним столом — нет уж, увольте! Но, с другой стороны, чем он виноват — профессия! Нежная летняя ночь и еще более нежное вино пробуждали в душе Трапса гуманность, терпимость и непредубежденность; в конце концов, он был человек, много повидавший и знающий жизнь, не ханжа и не мошенник, нет, он крупный текстильный специалист. Трапсу даже показалось, что игра без палача была бы менее веселой и забавной, и он уже предвкушал, как распишет в "Шлараффии" здешнее приключение, а палача можно будет наверняка пригласить туда за небольшой гонорар плюс накладные расходы. Трапс развеселился:

— Ваша взяла, согласен! Сначала я трусил, а теперь вошел в азарт!

— Доверие за доверие, — сказал защитник, когда они рука об руку двинулись к дому, жмурясь от света, бившего в глаза из окон. — Как вы прикончили Гигакса?

— Прикончил? Я?

— Ну да, он же мертв.

— Я его не убивал.

Защитник остановился.

— Мой дорогой юный друг, — сказал он участливо, — я понимаю ваши опасения. Из всех преступлений неприятнее всего сознаваться в убийстве. Обвиняемый сгорает со стыда, отрицает содеянное, хочет забыть его, вытеснить из памяти, с предубеждением копаются в своем прошлом, отягощает себя преувеличенным комплексом вины и не доверяет никому, даже человеку, который относится к нему как отец, — своему защитнику. Это в корне неправильно, ибо настоящий защитник любит убийство, ликует, когда ему поручают такое дело. Ну, смелее, дорогой Трапс, говорите! Я лишь тогда чувствую себя превосходно, когда вижу перед собой настоящую задачу, словно альпинист — трудный "четырёхтысячник". (Смею утверждать это как старый скалолаз.) Вот тут-то мозг начинает соображать и придумывать, крутятся колесики, нажимаются пружинки, мысли скачут с такой быстротой, что душа радуется. Не доверяясь мне, вы совершаете огромную, я бы даже сказал — решающую ошибку. Ну-ка, сознавайтесь, старина!

Но ему не в чем сознаваться, заверял генеральный представитель.

Защитник удивился. Ярко освещенный светом из окна, за которым все задорнее звучал смех и звон бокалов, он вытаращил глаза на Трапса.

— Ай-яй-яй, — пробурчал он неодобрительно, — ну что это опять? Вы упорно придерживаетесь своей ошибочной тактики и все еще притворяетесь невиновным? Неужели до вас так ничего и не дошло? Надо сознаваться, хотите вы или нет. А сознаваться всегда есть в чем, давно бы пора вам это смекнуть! Давайте-ка, мой милый, без церемоний и оттяжек, выкладывайте все начистоту. Как вы прикончили Гигакса? В состоянии аффекта, да? Тогда нам надо подготовиться к обвинению в убийстве. Держу пари, что прокурор целит именно на это. Предчувствую. Уж я-то знаю этого молодчика.

Трапс покачал головой.

— Мой дорогой господин защитник, — сказал он, — особая привлекательность вашей игры заключается в том — если позволите высказать скромное мнение новичка, — что одному из ее участников становится страшно и жутко. Игра грозит превратиться в действительность. Невольно спрашиваешь себя, преступник ты или нет, может быть, ты все-таки убил старика Гигакса? Когда я вас слушал, мне чуть не стало дурно. И потому доверие за доверие: я не виновен в смерти старого гангстера. В самом деле.

Они вошли в столовую, где уже подали цыплят и в бокалах искрилось "шато пави" 1921 года. Трапс подошел к серьезному, молчаливому Лысому и с чувством пожал ему руку.

Со слов защитника, сказал Трапс, он знает о его бывшей профессии и хочет подчеркнуть, что нет ничего приятнее, чем сидеть за одним столом с таким славным малым. У него, Трапса, нет в этом отношении никаких предрассудков, напротив.

Пиле, поглаживая крашенные усы, пробормотал, покраснев и чуть смутившись, на ужасном диалекте:

— Рад, очень рад, постараюсь.

После этого трогательного братания цыплята показались еще вкуснее. Они были приготовлены по секретному рецепту Симоны, как объявил судья. Все чавкали, ели руками, хвалили Симонин шедевр, пили за здоровье всех и каждого, обсасывали перемазанные соусом пальцы, и среди всеобщего благодушия процесс двинулся своим чередом.

Прокурор, повязав салфетку, с чавканьем поедал нежное мясо. Он

надеялся, что к этому блюду ему подадут признание обвиняемого.

— Милейший и почтеннейший обвиняемый, — пустил он пробный шар, — Гигакса вы, конечно, отравили.

— Нет, — засмеялся Трапс, — ничего подобного.

— Ну, допустим, застрелили.

— Тоже нет.

— Подстроили автомобильную катастрофу?

Все расхохотались, а защитник прошипел:

— Внимание, ловушка!

— Мимо, господин прокурор, — задорно воскликнул Трапс, — все пули мимо! Гигакс умер от инфаркта, причем не первого. Первый случился несколько лет назад, ему пришлось соблюдать режим, и, хотя он внешне пытался казаться здоровым, при любом волнении все могло повториться, я это точно знаю.

— Гм! И от кого же?

— От его супруги, господин прокурор.

— От его супруги?

— Ради бога, осторожнее, — шепнул защитник.

”Шато пави” превзошло все ожидания. Трапс осушал уже четвертый бокал, и Симона поставила перед ним отдельную бутылку.

Это удивит прокурора, сказал генеральный представитель и чокнулся со старым господином, но пусть высокий суд не думает, что он что-то скрывает, нет, он скажет правду, и только правду, даже если защитник прошипит ему все уши своим ”осторожнее”. С госпожой Гигакс у него кое-что было, что ж, старый гангстер часто бывал в отъезде и варварски пренебрегал своей стройной и аппетитной женошкой, и вот ему, Трапсу, приходилось подчас выступать в роли утешителя, на канале в гостиной, а после и в супружеской постели Гигаксов, в общем, все как полагается и как это бывает в жизни.

Старики, выслушав Трапса, оцепенели, но потом все разом вдруг завизжали от удовольствия, а молчавший Лысый воскликнул, подбросив вверх свою белую гвоздику:

— Сознался, сознался!

Только защитник в отчаянии барабанил себя кулаками по голове.

— Какое безрассудство! — воскликнул он. Его клиент сошел с ума, и вся эта история не заслуживает доверия, в ответ на что Трапс под одобрительные возгласы остальных собеседников с возмущением запротестовал. Это положило начало прениям сторон, долгой дискуссии между защитником и прокурором, словесной перепалке, полушутливой, полусерьезной, смысла которой Трапс не понял. Разговор вертелся вокруг слова *dolus*¹, однако Трапс не знал, что оно означает. Дискуссия становилась все более бурной, громкой и непонятной, вмешался судья, но вскоре сам разгорячился, и если поначалу Трапс старался вслушиваться, пытаясь уловить суть спора, то потом махнул рукой (*dolus* так *dolus*) и с облегчением вздохнул, когда экономка подала сыры: камамбер, бри, эмментальский, грюйерский, тет-де-муан, вашрэн, лимбургский, горгонцола, — чокнулся с Лысым, единственным, который молчал и, казалось, тоже ничего не понимал, и принялся за еду, как вдруг прокурор обратился к нему.

— Господин Трапс, — спросил он (всклоченная львиная грива, по-

¹Злой умысел (лат.).

багровевшее лицо, монокль в левой руке), — вы все еще близки с госпожой Гигакс?

Все уставились на Трапса, безмятежно жевавшего кусок белого хлеба с камамбером. Дожевав, он отпил глоток "шато пави".

Где-то тикали часы, из деревни опять донеслись звуки гармоники, мужское голоса пели песенку о кабачке "Швейцарская шпага".

После смерти Гигакса, заявил Трапс, у этой бабенки он больше не бывал. В конце концов, ему не хочется портить репутацию доброй вдове.

Его слова опять вызвали какую-то непонятную жутковатую веселость. Старики еще больше расшалились, прокурор воскликнул: "Dolo malo, dolo malo!", начал выкрикивать греческие и латинские стихи, цитировать Шиллера и Гёте. Коротышка судья задул все свечи, кроме одной, и с ее помощью стал, громко бляя и фыркая, показывать на стене самые причудливые теневые силуэты — коз, летучих мышей, чертей и леших, а Пиле в это время барабанил по столу так, что подпрыгивали бокалы, тарелки, блюда:

— Будет смертный приговор, будет смертный приговор!

Только защитник не участвовал в общем веселье. Он пододвинул Трапсу блюдо и сказал:

— Давайте полакомимся сыром, больше пока делать нечего.

Подали "шато марго", и снова воцарилось спокойствие. Все взоры обратились на судью, который начал осторожно откупоривать запыленную бутылку (год 1914-й) каким-то чудным, старомодным штопором; судья ухитрился вытащить пробку, не вынимая бутылки из плетенки. Все затаили дыхание: пробку надо было по возможности не повредить, ведь она была единственным доказательством того, что вино действительно урожая 1914 года, ибо четырех десятилетий этикетка не пережила. Пробка вышла не целиком, остаток ее пришлось осторожно извлечь, но цифры на ней все же удалось прочитать; ее передавали из рук в руки, нюхали, изумлялись и в конце концов торжественно вручили генеральному представителю "на память о замечательном вечере", как сказал судья. Он первым дегустировал вино, почмокал, затем наполнил бокалы, после чего все стали нюхать, причмокивать и громко восторгаться, восхваляя щедрого хозяина. Блюда с сыром совершили круг по столу, и судья предложил прокурору начать обвинительную "речугу". Тот потребовал, чтобы сначала зажгли новые свечи: обстановка должна быть торжественной, необходимы сосредоточенность, внутренняя собранность. Симона принесла свечи. Все сидели в напряженном ожидании, генеральному представителю стало жутковато, его познабливало, но в то же время он воспринимал случившееся с ним как чудо и ни за что на свете не отказался бы от него. Правда, защитник, кажется, был не очень доволен.

— Что ж, Трапс, — сказал он, — послушаем обвинительную речь. Сами увидите, что вы натворили своими опрометчивыми ответами и ошибочной тактикой. Положение было аховое, а сейчас — просто катастрофическое... Ничего, смелее, я вам помогу выпутаться, только не теряйте голову. Выберетесь целым и невредимым, но нервы вам потреплют.

Пора. Все прокашлялись, чокнулись еще раз, и прокурор под ухмылки и похихикивание начал свою речь.

— Наш сегодняшний вечер, — сказал он, поднимая бокал и продолжая сидеть, — принес нам удачу. Мы напали на след убийства, задуманного со столь изощренной тонкостью, что оно, естественно, блестящим образом ускользнуло от ока государственного правосудия.

Измученный Трапс вдруг возмутился.

— Я совершил убийство? — запротестовал он. — Ну, знаете, это заходит слишком далеко, защитник уже приставал ко мне с этим глупым наговором! — Но тут он опомнился и начал хохотать, да так, что еле успокоился. Как они здорово подшутили, теперь-то он понимает, что ему хотят "пришить" преступление, умора, ну просто умора.

Прокурор с важностью взглянул в сторону Трапса, вынул монокль, протер его и снова вставил.

— Обвиняемый, — сказал он, — сомневается в своей виновности. По-человечески понятно. Да и кто из нас знает самого себя, кто признаётся себе в содеянных преступлениях и злодейских умыслах? Но уже теперь, прежде чем разгорятся страсти, можно с уверенностью сказать одно: в случае, если Трапс убийца, как я утверждаю и как искренне надеюсь, нам предстоит пережить необычайно торжественные минуты. И по праву. Раскрытие убийства — всегда радостное событие, оно заставляет сильнее биться наши сердца, ставит нас перед новыми задачами, обязанностями и решениями, поэтому позвольте мне прежде всего поздравить нашего дорогого предполагаемого виновника, ибо без виновного, как известно, нельзя ни раскрыть убийства, ни свершить правосудия. Да здравствует наш друг, наш скромный Альфредо Трапс, которого прозорливый благоприятный случай привел в наш круг!

Разразилась буря восторга, все вскакивали с мест и пили за здоровье генерального представителя, который со слезами на глазах благодарил, заверяя, что это лучший вечер в его жизни.

Прокурор тоже прослезился:

— Это лучший вечер в его жизни, сказал наш уважаемый гость. Потрясающее слово, потрясающее! Вспомним то время, когда мы, на службе у государства, занимались унылым ремеслом. Обвиняемый стоял тогда перед нами не как друг, а как враг. И мы, которые прежде отталкивали его от себя, теперь можем прижать к сердцу. Приди же в мои объятия!

С этими словами он вскочил и стиснул Трапса в объятиях.

— Прокурор, мой дорогой, — лепетал генеральный представитель.

— Обвиняемый, мой милый Трапс, — всхлипывал прокурор. — Давай перейдем на "ты". Меня зовут Курт. Будь здоров, Альфредо!

— Будь здоров, Курт!

Они лобызали, прижимали, гладили друг друга, чокались бокалами, умилялись, растроганные чувством расцветающей дружбы.

— Как сразу все переменялось, — ликовал прокурор. — Если мы когда-то, слушая дело, расследуя преступление, вынося приговор, трювили обвиняемого, то теперь мы мотивируем, аргументируем, дискутируем, обсуждаем и возражаем, не торопясь, доброжелательно, приветливо, учимся ценить и любить обвиняемого. Это порождает в нем ответную симпатию, возникает братское взаимопонимание. А как только оно установилось, все дальнейшее уже легко, преступление более не тяготит, приговор воспринимается с радостью. Так позвольте ж мне выразить слова признательности по случаю совершенного убийства...

Трапс (по-прежнему в великолепнейшем настроении):

— Доказательства, Куртхен, доказательства!

— ...и с полным на то основанием, ибо речь идет о красивом, об искусном убийстве. Наш любезнейший обвиняемый может, конечно, усмотреть в этом циничную развязность — нет ничего мне более чуждого. "Красивым"

его преступление я бы назвал в двойном смысле: как в философском, так и в техническом. Дело в том, что наша тесная компания, уважаемый друг Альфредо, отказалась от предрассудка усматривать в преступлении исключительно лишь некрасивое, ужасное и, напротив того, в правосудии — только прекрасное, хотя в этом прекрасном, возможно, больше ужасного. Нет, мы и в преступлении признаем красоту как необходимую предпосылку, без которой правосудие не может вершиться. Такова философская сторона. Теперь оценим техническую красоту содеянного. Оценим. Я думаю, что нашел подходящее слово, ведь цель моей обвинительной речи отнюдь не устрашение, что могло бы обеспокоить нашего друга, сбить его с толку, а всего лишь оценка, которая покажет, раскроет перед ним во всей красоте его преступление, поможет ему понять, что только на pedestале познания, и только на нем, можно воздвигнуть прочный монумент Справедливости.

Восьмидесятишестилетний прокурор в изнеможении умолк. Несмотря на свои годы, он вещал громким скрипучим голосом, энергично жестикулировал, не забывая при этом поглощать вина и закуски. Испачканной салфеткой он вытер мокрый лоб и морщинистую шею. Трапс был растроган. Он лениво развалился на стуле, разморенный обильным ужином. Он был сыт, но тем не менее не желал отставать от старцев, хотя и признался себе, что за их колоссальным аппетитом и неутолимой жадью угнаться было трудно. Трапс был неплохим едоком, однако такой прожорливости ему еще не случалось встречать. Он обалдело глазел через стол на прокурора, польщенный сердечностью его обхождения. Он слышал, как часы на церкви торжественно пробили двенадцать, а потом в ночной тишине раскатисто загредел хор скотоводов: "Наша жизнь что путь далекий..."

— Как в сказке, — изумленно повторял генеральный представитель, — как в сказке... Я совершил убийство? В самом деле? Меня удивляет только, каким образом.

Судья тем временем откупорил вторую бутылку "шато марго" 1914 года, и прокурор, снова свежий и бодрый, продолжил свою речь.

— Что же произошло? — сказал он. — Как я пришел к выводу, что наш милый друг прославил себя убийством, и не каким-нибудь обычным убийством, нет, виртуозным, совершенным без кровопролития, без таких средств, как яд, пистолет и тому подобное?..

Он откашлялся. Трапс, застыв с куском ваشرэна во рту, не сводил с него глаз.

— ...Как специалист, я должен безусловно исходить из положения, — развивал свою мысль прокурор, — что преступление может скрываться в каждом происшествии, а преступник — в каждой личности. Догадка о том, что в лице господина Трапса мы встретили человека, протезированного судьбой и экипированного преступлением, впервые возникла у нас, когда мы услышали, что текстильный вояжер еще год назад ездил в стареньком "ситроене", а теперь щеголяет в "студебекере". Я, разумеется, понимаю, что мы живем в период высокой конъюнктуры, и потому смутная поначалу догадка была скорее предчувствием, ожиданием какого-то радостного события, а именно раскрытия убийства. То, что наш любезный приятель занял место своего шефа, что он вытеснил его и, наконец, что шеф умер, — все эти факты еще не являлись доказательствами, они лишь оправдывали, фундировали наше предчувствие. Логически обоснованное подозрение начало складываться, когда мы узнали, отчего умер пресловутый шеф: от инфаркта миокарда. И вот тут-то настал

момент сопоставить факты и, проявляя интуицию и проницательность, тактично, шаг за шагом, подкрасться к истине, в обычном распознать необычайное, в неопределенном разглядеть определенное, в тумане различить контуры. Надо было поверить в убийство именно потому, что оно казалось абсурдным, и допустить факт убийства. Рассмотрим имеющиеся данные. Набросаем портрет умершего. Мы знаем о нем мало, знаем лишь со слов нашего симпатичного гостя. Господин Гигакс был генеральным представителем фирмы, выпускающей синтетическую ткань "Гефестон", во все приятные качества каковой, упомянутые нашим милейшим Альфредо, мы охотно верим. Это был человек, смеем заключить, который шел напролом, беспощадно эксплуатировал своих подчиненных, умел обделывать свои дела, хотя часто пользовался при этом средствами более чем сомнительными.

— Точно, — воскликнул восхищенный Трапс, — вылитый портрет этого мошенника!

— Далее мы можем предположить, — продолжал прокурор, — что он любил изображать из себя этакого здоровяка, преуспевающего дельца, всегда стоящего на высоте положения, прошедшего огонь и воду. Вот почему Гигакс — здесь мы опять цитируем Альфредо — скрывал тщательнейшим образом свою тяжелую сердечную болезнь. Ведь эта болезнь, как нам представляется, приводила его чуть ли не в бешенство, она, так сказать, подрывала его личный авторитет.

— Поразительно, — изумился генеральный представитель, — прямо колдовство какое-то, готов держать пари, что Курт был знаком с покойным.

— Замолчите, — прошипел защитник.

— Следует добавить, если мы хотим завершить портрет господина Гигакса, — продолжал прокурор, — что покойный пренебрегал своей женой, которая нам представляется стройной и аппетитной дамочкой, по крайней мере приблизительно так изволил выразиться наш друг. Для Гигакса имел значение лишь успех дела, была важна видимость, фасад, и мы можем с известной вероятностью допустить, что он был убежден в верности своей жены, полагая, будто представляет собой настолько незаурядную личность и экстраординарного мужчину, что у его жены не может возникнуть и мысли о прелюбодеянии. Поэтому для него было бы жестоким ударом узнать, что жена изменила ему с нашим Казановой из "Шларэффии".

Все засмеялись, а Трапс хлопнул себя по ляжкам.

— Так оно и было! — сияя, подтвердил он догадку прокурора. — Это его доконало, когда он узнал.

— Вы спятили, — простонал защитник.

Прокурор поднялся и ошарашивленно посмотрел на Трапса, который ковырял ножом кусок тет-де-муана.

— Интересно, как же узнал об этом старый греховодник? — спросил он. — Созналась аппетитная жenuшка?

— Для этого она была слишком труслива, господин прокурор, — ответил Трапс. — Она жутко боялась старого гангстера.

— Гигакс сам догадался?

— Для этого он был слишком высокого мнения о себе.

— Может, ты сам признался, мой дорогой донжуан?

Трапс покраснел.

— Что ты, Курт, — сказал он, — как ты мог подумать! Это один из его добропорядочных корреспондентов взял да и раскрыл старому мошеннику глаза.

— С какой стати?
— По злобе. Он всегда враждебно относился ко мне.
— Ну и люди! — удивился прокурор. — А как же этот джентльмен узнал о твоей связи?

— Я сам рассказал.

— Сам?

— Ну да, за рюмкой вина. Чего только не расскажешь по пьянке.
— Допустим, — кивнул прокурор. — Но ты ведь только что сказал, что этот корреспондент Гигакса относился к тебе враждебно. Не было ли у тебя с самого начала уверенности, что старый мошенник должен обо всем узнать?

Тут энергично вмешался защитник и даже встал. Он обливался потом, воротник его сюртука намок.

— Я хотел бы обратить внимание Трапса, — заявил он, — что на этот вопрос ему отвечать не следует.

Трапс был иного мнения.

— Почему же? — сказал он. — Вопрос абсолютно невинный. Мне ведь было безразлично, узнает Гигакс или нет. Старый гангстер поступал по отношению ко мне столь бесцеремонно, что мне вовсе незачем было церемониться с ним.

И снова в комнате на мгновение воцарилась тишина, мертвая тишина, сменившаяся озорным гвалтом, гомерическим хохотом, бурей восторга. Лысый молчун обнял Трапса и облобызал его, защитник от смеха потерял пенсне (ну как можно сердиться на такого обвиняемого!), судья и прокурор кружились в танце по комнате, гулко натыкаясь на стены, пожимали друг другу руки, залезали с ногами на стулья, били бутылки, выделывали самые нелепые фортели.

— Обвиняемый снова сознался! — гаркнул прокурор, восседая на спинке стула. — Милейший гость выше всякой похвалы, он играет свою роль превосходнейше. Дело ясно, последнее доказательство получено. — Его фигура на шатающемся стуле напоминала причудливый обветшалый памятник. — Обратимся к нашему дорогому, обожаемому Альфредо! Итак, закабаленный этим гангстером-шефом, он разъезжал на своем "ситроене". Еще год назад! Он мог бы вполне гордиться этим, наш друг, отец четырех ребятишек, сын фабричного рабочего. Во время войны он был торговцем вразнос, даже без патента, бродягой, незаконно торгующим текстильными товарами, мелким спекулянтom, кочующим из деревни в деревню то поездом, то пешком, вышагивая километр за километром проселками, через дремучие леса к отдаленным хуторам, с грязным кожаным мешком за плечами, а то и с корзинкой или полуразвалившимся чемоданом в руке. Но вот дела его пошли лучше, он пристроился к фирме, стал членом либеральной партии в отличие от своего отца-марксиста. Ну кому охота, взобравшись наконец на сук, почивать на нем, если повыше, выражаясь поэтически, виднеются плоды сочнее и краше? Правда, он неплохо зарабатывал, носился в своем "ситроене" от одной текстильной фабрики к другой, машина приличная, но наш милый Альфредо видел на дорогах и здесь и там новые роскошные модели, они мчались ему навстречу, обгоняли его. Благосостояние в стране росло, кому же хотелось отставать?

— Именно так и было, Курт, — просиял Трапс. — В точности.

Прокурор почувствовал себя в родной стихии, он был счастлив, как ребенок, заваленный подарками.

— Но задумать было легче, чем исполнить, — продолжал он, все еще сидя на спинке стула. — Шеф не давал ему продвигаться, он цепко держал его, использовал не щадя и, обнадеживая новыми перспективами, все крепче и безжалостнее опутывал его!

— Совершенно верно! — возмущенно воскликнул генеральный представитель. — Вы не представляете себе, господа, как меня зажимал старый гангстер!

— Оставалось только идти ва-банк, — сказал прокурор.

— Еще бы! — подтвердил Трапс.

Реплики обвиняемого подхлестнули прокурора, теперь он стоял на стуле во весь рост, размахивая, словно флагом, салфеткой, забрызганной вином, на жилете — салат, томатный соус, кусочки мяса.

— Наш любезный друг стал действовать сначала по деловой линии, и тоже не совсем честно, как он сам признает. Вероятно, это происходило следующим образом. Он тайно связался с поставщиками своего шефа, прозондировал их, обещал им лучшие условия, сеял смуту, вел переговоры с другими вояжерами, заключал союзы и одновременно контрсоюзы. А потом ему пришла мысль попробовать еще один путь.

— Еще один? — удивился Трапс.

Прокурор кивнул.

— Этот путь, господа, вел через канале в гостиной Гигакса прямо в его супружескую постель.

Все засмеялись, и особенно весело Трапс.

— Да, — подтвердил он, — я действительно сыграл со старым гангстером злую шутку. Забавная была ситуация, как помню. По правде говоря, мне до сих пор стыдно в этом признаться — кому охота заглядывать самому себе в душу, идеально чистого белья ведь ни у кого не бывает, но среди таких чутких, понятливых друзей стыдиться как-то смешно, да и не нужно. Странное дело. Я чувствую, что меня понимают, и начинаю сам себя тоже понимать, словно знакоплюсь сам с собой, то есть с человеком, которого я прежде знал только случайно, как генерального представителя, имеющего "студебекер" и еще где-то там жену и детей.

— Мы с удовольствием констатируем, — молвил на это прокурор с теплотой и сердечностью в голосе, — что наш друг начинает прозревать. Да засияет пред ним ясный день откровения. Проследим за мотивами его поступков с усердием веселых археологов, и мы раскопаем сокровищницу погребенных преступлений. Он вступил в любовную связь с госпожой Гигакс. Как это началось? Увидел аппетитную бабенку, нетрудно вообразить. Вероятно, это случилось вечером, может быть, зимой, часов в шесть.

(Трапс: — В семь, Куртхен, в семь!)

— Вечерний город, золотистые фонари, залитые светом витрины, кинотеатры, повсюду сверкающие рекламы — зеленые, желтые, все так привлекательно, заманчиво, сладострастно. Он скользил на своем "ситроене" по глянцевым улицам, направляясь в район вилл, где жил его шеф.

(Трапс вдохновенно: — Да, да, в район вилл!)

— Под мышкой папка, заказы, образцы тканей, надо было решить неотложный вопрос. Однако лимузина Гигакса не оказалось на обычном месте, у тротуара. Тем не менее наш приятель прошел по темной аллее к подъезду, позвонил, дверь открыла госпожа Гигакс, ее супруга сегодня не будет дома, а служанка ушла. На госпоже Гигакс вечернее платье, нет, скорее купальный халат. Она сожалеет, но, может быть, господин Трапс вы-

пьет аперитив. Приглашение от всей души, и вот они наедине в гостиной.
(Трапс изумился: — Откуда ты все знаешь, Куртхен? Ну просто колдовство какое-то!)

— Практика, — коротко пояснил прокурор. — Судьбы развертываются все одинаково... Это даже не было обольщением ни со стороны Трапса, ни со стороны дамы, просто удобный случай, которым он воспользовался. Она была одна, скучала, ни о чем таком особенно не думала, была рада с кем-нибудь поболтать, в гостиной тепло, уютно, а под купальным халатом с пестрыми цветами только ночная сорочка. И вот, сидя рядом с женщиной, видя ее белую шейку, глубокий вырез на груди, слушая, как она болтает, сердится на своего мужа, разочарованная (что наш друг, наверно, почувствовал), Трапс вдруг сообразил: вот где надо действовать, хотя действие, собственно, уже началось. Вскоре он узнал о Гигаксе все: его возраст, и как скверно обстоит у него со здоровьем, и что любое сильное волнение для него смертельно, узнал, как он грубо и дурно обращается со своей женой и как непоколебимо убежден в ее верности, — от женщины, которая хочет отомстить своему мужу, можно узнать все. Так он начал эту связь и продолжал ее уже с умыслом: во что бы то ни было, любыми средствами разорить шефа. И вот настал день, когда у него в руках оказалось всё: компаньоны, поставщики, нежная белотелая женщина по ночам. Тогда он затянул петлю и вызвал скандал. Умышленно. Обстановка представляется нам вполне конкретно: был, наверно, предвечерний час, опять те же располагающие к задушевной беседе сумерки. Нашего друга мы находим в одном из погребков Старого города, там немного душновато, но зато все добротно, патриотично, солидно, включая цены, маленькие круглые окошки, представительный хозяин...

(Трапс: — В погребке ратуши, Куртхен!)

— ...То есть дородная хозяйка, прошу прощения, на стенах портреты покойных завсегдаев погребка. Заглянул продавец газет, прошелся между столиками, вышел. Затем вторглась Армия спасения и спела "Впустите солнышко сюда" — несколько студентов, профессор. На столе два бокала и добрая бутылка — пришлось немного потратиться, — наконец, в углу бледный, жирный, вспотевший, с расстегнутым воротничком, парализованный, как жертва, над которой занесен меч, тот самый добропорядочный корреспондент, недоумевающий, что все это значит, с чего это вдруг Трапс пригласил его, он внимательно слушает, узнает из уст Трапса о прелюбодеянии, чтобы потом, несколькими часами позже (как иначе и быть не могло и как это предусмотрел наш Альфредо), поспешить к шефу из чувства долга, дружбы, приличия и с прискорбием поведать об измене.

— Каков подлец! — воскликнул Трапс, не спускавший сияющих округленных глаз с прокурора, замороженно слушавший его, счастливый, что узнал правду, свою гордую, смелую, единственную правду.

— Так наступил роковой, точно рассчитанный миг, — продолжал прокурор, — Гигакс все узнал. Старый гангстер еще нашел в себе силы сесть за руль и поехать домой. Можно вообразить, как он взбешен, уже в машине ему делается плохо, обильный пот, боли в области сердца, дрожащие руки, конечно, свистки раздраженных полицейских (ему не до соблюдения правил уличного движения), из последних сил бредет он от гаража к дверям дома и падает без сознания, вероятно, в прихожей, на глазах у выбежавшей ему навстречу супруги, хорошенькой аппетитной бабенки. Долго это не продолжалось, врач сделал укол морфия, но уже поздно, все, конец, еще один

незначительный хрип, два-три всхлипывания супруги. Трапс дома, в кругу родных снимает телефонную трубку: замешательство, внутреннее ликование (наконец-то!), подъем настроения, три месяца спустя — ”студебекер”.

Снова раздался смех. Добрый Трапс, которого то и дело сбивали с толку, тоже засмеялся, смущенно почесал затылок и одобрительно кивнул прокурору, отнюдь не чувствуя себя несчастным. У него было даже хорошее настроение, и он находил, что вечер удался на славу; правда, он был несколько озадачен тем, что его считали способным на убийство, и впал в задумчивость, но это состояние, однако, нравилось ему, ведь перед ним открылся мир таких высоких понятий, как Справедливость, вина, покаяние, и поверг его в изумление. Он, правда, не забыл чувства страха, которое охватило его в саду и возникало вновь при вспышках веселья за столом, однако сейчас этот страх казался ему неосновательным и смешным. Все было так мило, по-человечески. Он с нетерпением ждал развития событий.

Общество в полном составе, включая спотыкающегося защитника, шатаясь, побрело в гостиную, перегруженную фарфоровыми безделушками и вазами. Подали черный кофе. На стенах огромные гравюры: виды городов, исторические события — клятва на Рютли, битва при Лаупене, гибель швейцарской гвардии, отряд Семи стойких; оштукатуренный потолок, в углу рояль, удобные кресла, низкие, просторные, на спинках вышивки с благочестивыми сентенциями: ”Счастлив тот, кто праведным путем идет”, ”Совесть чиста — спокойна душа”. Через открытые окна виднелось, вернее, угадывалось шоссе, казавшееся в темноте сказочным, словно погруженным в пучину, с мерцающими огоньками стоп-сигналов и лучами фар изредка (было уже около двух часов ночи) проезжавших автомашин.

Ничего более завлекательного, чем речь дорогуши Куртхена, он еще в жизни не слышал, сказал Трапс. По существу, добавить почти нечего, кое-какие мелкие поправки, конечно, можно было бы внести. Например, добропорядочный корреспондент, друг шефа, был низеньким, худощавым, ничуть не вспотевающим и с туго накрахмаленным воротничком; госпожа Гигакс принимала его не в купальном халате, а в кимоно с большим декольте, так что ее приглашение от *всей души* имело и фигуральный смысл — это была одна из острот генерального представителя, образчик его скромного юмора; заслуженный инфаркт у обер-гангстера случился не дома, а на одном складе, во время сильного фёна, его еще успели отправить в больницу, а там — разрыв сердца и конец; но это, как он повторяет, не существенно, верно главное, то, что справедливо отметил его загадочный друг прокурор: он действительно связался с госпожой Гигакс только для того, чтобы погубить старого мошенника, да, теперь он ясно вспоминает, как, лежа в его кровати, с его женой, он, Трапс, смотрел мимо нее на его фотографию, на это несимпатичное толстое лицо с вытаращенными глазами в роговых очках, и как его, Трапса, охватила радость при мысли, что тем, чем он сейчас с таким усердием и наслаждением занимается, он, собственно, доконает своего шефа, окончательно разделается с ним.

Пока Трапс разглагольствовал, все, усевшись в мягких креслах, расшитых нравоучительными изречениями, держали горячие чашечки с кофе, помешивая в них ложечками, и смаковали из больших пузатых рюмок коньяк 1893 года, марки ”Роффиньяк”.

Итак, осталось определить меру наказания, объявил прокурор, сидя поперек громадного вольтеровского кресла и задрав на подлокотник ноги в разных носках (серо-черный в клетку и зеленый). Дорогой Альфредо

действовал не *dolo indirecto*, как если бы смерть последовала случайно, а *dolo malo*, то есть со злостным умыслом, на что указывают факты: с одной стороны, он сам спровоцировал скандал, а с другой, после смерти обер-гангстера больше не посещал его аппетитную женошку, из чего неизбежно вытекает, что супруга служила лишь орудием в осуществлении его кровавых планов, в некотором роде любовным смертоносным оружием и что, стало быть, налицо факт убийства, совершенного психологическим способом, причем так, что, кроме супружеской измены, ничего противозаконного не случилось, но это, разумеется, только видимость, иллюзия, а поскольку она развеялась после того, как дорогой обвиняемый любезнейшим образом сам сознался, то он, прокурор, завершая на этом свою речь, имеет удовольствие потребовать у высокочтимого судьи смертной казни для Альфредо Трапса в качестве награды за преступление, которое заслуживает удивления, восхищения, уважения и может по праву считаться одним из самых выдающихся преступлений века.

Раздался смех, аплодисменты, и все набросились на торт, который в эту минуту внесла Симона. Для увенчания ужина, как она сказала. За окном взошла, словно для декорации, поздняя луна, узкий серп. Мерно шелестела листва на деревьях, изредка проезжала по шоссе машина да слышались неуверенные шаги какого-нибудь позапоздлого гуляки. Генеральный представитель чувствовал себя в безопасности, он сидел рядом с Пиле на мягком, располагающем к беседе канapé, украшенном изречением: "Будь чаще в кругу родных", обняв Молчуна (который лишь время от времени с присвистом выдыхал изумленное "Зз-дорово!") и прижимаясь к флегматично-элегантному палачу. С нежностью. Душевно. Щека к щеке. Отяжелев от вина и миролюбиво настроившись, Трапс наслаждался обществом, где его понимали, где он мог быть искренним, самим собой, ничего не скрывать, ибо в этом уже не было нужды, где его уважали, ценили, относились с сочувствием и любовью; он все больше и больше уверялся в том, что совершил убийство, чувствовал, что оно изменило, преобразило его жизнь, сделало ее сложнее, героичнее, драгоценнее. Он был просто в восторге от самого себя. Как ему теперь представилось, он задумал и совершил убийство, чтобы добиться успеха, но не какого-нибудь там финансового или в служебной карьере и уж отнюдь не из желания приобрести "студебекер", нет, а чтобы стать более значительным и (вот-вот, именно это!) более глубоким человеком, как ему мнилось сейчас, на пределе его мыслительных способностей, достойным уважения и любви образованных, ученых людей, казавшихся ему сейчас (даже Пиле) древними волшебниками, о которых он когда-то вычитал в "Ридерз дайджест", познавшими не только тайны звезд, но и более того — тайны юстиции (он упивался этим словом), о коей он в своей текстильно-вожжерской жизни был насышан лишь как о каком-то абстрактном крючкотворстве и которая теперь взошла над его ограниченным горизонтом, словно гигантское непостижимое светило, словно не до конца разгаданная идея, и это приводило его в еще больший трепет и содрогание; и вот, прихлебывая темно-золотистый коньяк, он — сначала с глубоким удивлением, а потом все более и более возмущаясь — слушал рассуждения толстого защитника, усердно пытавшегося реконструировать его проступок в нечто заурядное, обывательское, будничное.

Он с удовольствием слушал изобретательную речь господина прокурора, сказал господин Куммер, сняв пенсне с красных, набухших мясис-

тых бугров под глазами и включив изящную, геометрически четкую лекторскую жестикуляцию. Верно, старый гангстер мертв, подзащитный немало от него пострадал, буквально ожесточился против него, пытался его свалить — кто это оспаривает, где это не случается, — однако отождествлять смерть сердечнобольного коммерсанта с убийством — это фантазия...

(— Но ведь я убил! — запротестовал огорошенный Трапс.)

...В противоположность прокурору он, защитник, считает обвиняемого невинным, даже не способным на преступление...

(Трапс, уже с раздражением: — Но ведь я виновен!)

...Генеральный представитель фирмы синтетического волокна "Гестон", продолжал защитник, весьма типичная фигура. Если он считает своего клиента не способным на преступление, то вовсе не утверждает этим, что подзащитный невинный человек, напротив, Трапс запутался во всевозможных провинностях — он пошаливает с чужими женами, жульничает, порой не без дурного умысла, но нельзя же утверждать, что его жизнь сплошь состоит из прелюбодеяний и надувательств, нет, нет, у него есть и положительные стороны и безусловные добродетели. Дорогой Альфредо старателен, настойчив, верный, надежный друг, делает все возможное, чтобы создать лучшее будущее своим детям, политически благонадежен — таков его облик, если рассматривать в общем и в целом, он лишь чуть подпорчен, тронут грибком неблагопристойности, как это бывает и должно быть у заурядных людей, но вот именно поэтому он-то и не способен на большой, цельный, вдохновенный деликт, на решительное, на явное преступление...

(Трапс: — Клевета, сука клевета!)

...Он не преступник, а жертва эпохи, Запада, цивилизации, которая, увы, все больше и больше утрачивает веру (теряющую свою чистоту), христианский дух, общий смысл и переходит в хаос, где человек остается без путеводной звезды; в итоге — смятение, одичание, кулачное право и отсутствие истинной нравственности. Что же произошло здесь? Этот заурядный человек попал в руки искушенного прокурора, совершенно к тому не подготовленный. Его инстинктивное хозяйничание в текстильном деле, его частную жизнь, все перипетии его бытия, слагавшегося из деловых поездок, борьбы за хлеб насущный и из более или менее безобидных развлечений, — все это подвергли просвечиванию, тщательному исследованию и селекции; не связанные между собой факты связали вместе, контрабандно нанизав на логический стержень, случайные происшествия изобразили как причины действий, которые с таким же успехом могли развернуться в ином направлении, казус перелицевали в умысел, необдуманность — в преднамерение, так что в результате допроса перед нами неизбежно возник убийца, как кролик из цилиндра фокусника...

(Трапс: — Неправда!)

...Если рассмотреть случай с Гигаксом трезво, объективно, не поддаваясь мистификации прокурора, то приходишь к заключению, что старый гангстер обязан своей смертью в основном самому себе, своему беспорядочному образу жизни, своей природной конституции. Что такое "менеджерская болезнь", всем хорошо известно: беспокойство, шум, суматоха, расстроенный брак и расшатанные нервы, однако собственно виновником инфаркта был сильный фён, о котором упоминал Трапс, а роль фёна при сердечных заболеваниях немаловажна...

(Трапс: — Смешно!)

...Так что мы явно имеем дело не с чем иным, как с несчастным слу-

чаем. Конечно, подзащитный поступил бесцеремонно, но ведь он всего лишь подчинялся законам деловой жизни, как он сам неоднократно подчеркивал. Конечно, ему не раз хотелось убить своего шефа — чего только не подумаешь, чего только не сотворишь в мыслях, но именно в мыслях, а не на деле, фактического же правонарушения нет и не может быть установлено. Предполагать это — абсурд, но еще абсурднее то, что мой клиент внулшил себе, будто совершил убийство. Вдобавок к автомобильной аварии он потерпел еще вторую аварию, душевную, и поэтому он предлагает вынести Альфредо Трапсу оправдательный приговор.

Генерального представителя все более и более раздражал этот благожелательный туман, которым окутывали его изящное преступление и в котором оно искажалось, растворялось, становилось нереальным, призрачным, функцией барометрического давления. Он почувствовал себя униженным и, как только адвокат умолк, начал вновь горячо протестовать. Поднявшись (в правой руке тарелка с куском торта, в левой — рюмка "Роффиньяка"), он с возмущением заявил, что хотел бы, прежде чем дело дойдет до приговора, еще раз категорически заявить, что согласен с речью прокурора — тут на глазах у него выступили слезы, — это было убийство, сознательное убийство, теперь ему ясно, но вот речь защитника, напротив, глубоко разочаровала его, даже привела в ужас, ведь именно у защитника он ожидал, смел надеяться встретить понимание, и потому он просит приговора, более того — наказания, не из раболепства, а из вдохновения, ибо этой ночью он впервые понял, что значит жить настоящей жизнью (здесь наш добрый и славный Трапс заговорился), ведь для этого нужны высокие идеи Справедливости, вины и искупления, как нужны химические элементы и соединения, из которых состоит его синтетическая ткань, если взять пример из текстильного дела; поняв это, он как бы вновь родился, во всяком случае (запас слов, не связанных с его профессией, у него скудный) — пусть его извинят, он не умеет выразить то, что думает, — во всяком случае, "родился вновь" кажется ему наиболее подходящим выражением того счастья, которое как ураган подхватило, подняло и закружило его.

Наконец дошло и до приговора! Под смех, крики, радостные вопли, улюлюканье и попытки петь на тирольский манер (господин Пиле) порядком захмелевший коротышка судья огласил его с невероятными затруднениями, во-первых, потому что влез на роаль, вернее, в роаль, так как крышку он поднял еще раньше, а во-вторых, потому что судье никак не давалась сама речь. Он запинаясь, коверкал и обрубал слова, начинал фразы, с которыми не мог совладать до конца, приплетал к ним другие, забывая смысл уже произнесенных, но нить рассуждений его в общем и целом все же улавливалась. Судья исходил из вопроса: кто прав — прокурор или защитник, совершил Трапс одно из самых выдающихся преступлений века или же он невиновен. Ни с одним из этих мнений он не мог согласиться целиком и полностью. Допрос прокурора действительно, как справедливо считает защитник, оказался не по силам Трапсу, и поэтому подсудимый признался во многом, дело фактически протекало не в такой форме, но убить-то он все-таки убил, разумеется, не с дьявольским умыслом, нет, а только лишь по бездумности, присущей тому миру, в котором ему довелось жить как генеральному представителю фирмы синтетической ткани "Гефестон". Трапс убил потому, что в этом мире он считает вполне естественным прижать кого-нибудь к стенке, действовать,

не считаясь ни с чем, а там будь что будет. В мире, в котором он носится на своем "студебекере", с милейшим Альфредо ничего бы не случилось и не могло бы случиться, но вот он любезно заглянул к ним, в их тихую белую виллу (тут судья наконец растрогался и дальше уже не мог говорить без умиленных всхлипов, перемежающихся мощным прочувствованным чиханием, причем его маленькая голова погружалась в широченный носовой платок, что всякий раз вызывало у присутствующих взрыв хохота), заглянул к четверем старичкам, и они посветили в глубь его мира ярким лучом правосудия; правда, у Фемиды странная внешность – он знает, знает, знает это, – Фемида ухмыляется четырьмя сморщенными физиономиями, подмигивает моноклем престарелого прокурора, отражается в пенсне толстяка защитника, хихикает и лепечет беззубым ртом пьяного судьи, вспыхивает алым румянцем на лысине отставного палача...

(Остальные, нетерпеливо прерывая его лирическое отступление: – Приговор, приговор!)

...это правосудие – гротеск, старая карга, пенсионерка, но даже и в таком виде оно есть как раз то...

(Остальные, скандируя: – При-го-вор, при-го-вор!)

...именем которого он приговаривает их милейшего, дражайшего Альфредо к смерти...

(Прокурор, защитник, палач и Симона:

– Йю-хо! Йю-хо! Ур-ра!

Трапс, всхлипывая от умиления:

– Спасибо, дорогой судья, спасибо!)

...хотя юридически приговор основан всего-навсего лишь на том, что осужденный сам признал себя виновным. Это, в конце концов, главное. И он рад, что вынес приговор, который беспрекословно принят осужденным (человеческому достоинству не требуется жалости), так пусть их уважаемый, дорогой гость с той же радостью встретит увенчание своего поступка, которое, как он, судья, надеется, последует при не менее приятных обстоятельствах, чем само убийство. То, что у обывателя, у заурядного человека проявляется случайно, при каком-нибудь несчастье или в силу природной неизбежности, как болезнь, закупорка кровеносного сосуда эмболом, злокачественная опухоль, здесь выступает как неизбежный нравственный итог, только здесь логически, подобно произведению искусства, завершается жизнь, только здесь человеческая трагедия становится зримой, озаряется яркой вспышкой, принимает безупречные формы, завершается...

(Возгласы: – Хватит! Кончайте!)

...да, можно сказать со спокойной душой: только в акте объявления приговора, который превращает обвиняемого в осужденного, воплощен рыцарский обряд правосудия. Нет ничего более возвышенного, чем когда человека приговаривают к смерти! И вот это случилось. Трапс, пожалуй, не совсем законный счастливчик – ведь, в сущности, допускается лишь условная смертная казнь, однако он, судья, отказывается от условности, дабы не разочаровать их милейшего приятеля, короче, Альфредо своей мастерской игрой заслужил, чтобы его как равного и достойного партнера приняли в их коллегии и т.д.

(Остальные: – Шампанского!)

Пирушка достигла зенита! Пенилось шампанское, ничто не омрачало веселого, безоблачного настроения и взаимной братской симпатии, кото-

рой проникся даже защитник. Свечи догорали, некоторые уже погасли. На улице чуть забрезжило, где-то далеко всходило еще невидимое солнце, поблекли звезды, повеяло свежестью и росой. Разомлевший, умиленный Трапс почувствовал усталость и попросил, чтобы его проводили в его комнату; шатаясь, он валился в объятия то к одному, то к другому, все были пьяны, языки заплетались, в гостиной стоял гвалт, произносились бессвязные монологи, так как никто никого не слушал. От всех пахло красным вином и сыром. Генеральный представитель стоял, как ребенок в кругу дедушек и дядюшек, и его, счастливого, полусонного, гладили по головке, обнимали и целовали. Лысый молчун повел его наверх. С огромным трудом, на четвереньках они начали подъем по лестнице, но на середине марша застряли, запутавшись друг в друге, и повалились, будучи не в силах двигаться дальше. Сверху, из окна, падал серокаменный свет, сумерки смешивались с белизной стен, в дом проникали первые звуки наступающего дня, с далекого вокзальчика донеслись свистки и прочий станционный шум, смутно напомнивший Трапсу о доме, куда он мог вернуться еще вчера. Он был счастлив, он ничего больше не желал, что еще ни разу не бывало с ним в его заурядной жизни. В сознании всплывали неясные картины: лицо мальчика (наверно, его младшего, самого любимого), потом окраина деревни, куда он попал из-за аварии, светлая лента шоссе, перекинутая через небольшой холм, церковь на пригорке, могучий дуб с подпорками и железными обручами, лесистые холмы, а над ними, вокруг, везде, без конца — необъятное сияющее небо. Тут Пиле обессиленно пробормотал: "Хочу спать, спать, устал" — и, уже засыпая, расслышал только, как Трапс пополз дальше наверх.

Через некоторое время, когда раздался грохот упавшего стула, Лысый очнулся — на секунду, не более, — весь во власти снов и воспоминаний о чем-то страшном, кошмарном, и тут же опять забылся, не заметив путаницы ног над собой — остальные коллеги перелезали через него, поднимаясь по лестнице. Перед этим они, кряхтя и повизгивая, нацарапали на листе пергамента смертный приговор, составленный в необычайном хвалебном тоне, с остроумными оборотами, учеными фразами (латынь и древненемецкий), а затем решили отправиться к спящему генеральному представителю и положить свое творение ему на кровать в качестве сувенира о грандиозной попойке, чтобы гость, проснувшись, отдался приятным воспоминаниям. Наступало раннее утро, звонко и нетерпеливо зашебетали птицы.

Итак, все трое перебрались через спящего Пиле. Держась друг за друга, они преодолевали ступеньку за ступенькой; лестничный поворот, где неизбежно образовался затор, им удалось преодолеть с нескольких попыток: разбег, бросок, отход и снова бросок. Наконец они очутились перед комнатой гостя. Судья открыл дверь, и вся торжественная делегация — прокурор так и не снял еще салфетки — застыла на пороге: в оконной нише темным неподвижным силуэтом на тусклом серебре неба, в густом запахе роз, висел Трапс, так окончательно и бесспорно, что прокурор, в монокле которого отражался стремительно наступающий день, судорожно глотнул воздух, прежде чем в смятении и скорби о потерянном друге с болью вскричал:

— Альфредо, мой добрый Альфредо! Да что же ты натворил, господи! Ведь ты испортил нам лучший вечер!



**ЛУННОЕ
ЗАТМЕНИЕ**

ПОВЕСТЬ

MONDFINSTERNIS

Erzählung

Перевод Г. Косарик

© 1981 by Diogenes Verlag AG, Zürich

В середине зимы, перед самым Новым годом, через деревню Флётиген, лежащую у подножия горы, откуда начинался подъем в горную долину Флётенбах, проехал огромный "кадиллак", с шумом пропахав широким брюхом заснеженную улицу, и остановился у гаража, возле ремонтных мастерских.

Из машины с трудом вылез Уолт Лачер, двухметровый колосс с мощным квадратным торсом, прибывший вместе со своим "кадиллаком" чартерным¹ рейсом из Канады в Швейцарию, в Клотен, — шестидесяти пяти лет от роду, с кудрявыми седыми волосами, всклокоченной седой бородой с пучками черных волос, в меховой шубе и унтах.

— Цепи, — бросил он хозяину гаража и спросил, не глядя, не сын ли он Виллу Граберу.

Младший, ответил тот, пораженный, что заморский великан говорит на бернском диалекте, да еще с флётенбахским выговором. Грабера уже больше тридцати лет нет в живых. Он что, знал его отца?

— Да, он продавал велосипеды, — ответил Лачер.

Хозяин гаража посмотрел на него недоверчиво.

— Куда вам? — спросил он наконец.

— Наверх, в долину, — сказал Лачер.

Наверх он, да еще с цепями, не проедет, проворчал хозяин, эти чудики с горы отказались оплатить снегомет, к ним даже почтовый автобус не ходит.

— Все равно давай цепи, — приказал Лачер, топчась в меховых унтах по рыхлому снегу, пока Грабер возился с цепями. Расплатившись, он втиснулся в "кадиллак" и тронулся наверх, в долину, мимо ребятишек, катавшихся на салазках с горы, мимо последних дворов, уже чувствуя, как заносит машину. Чуть только дорога стала выравниваться, он нажал на газ и тут же сшиб крылом телеграфный столб, тот, хрустнув, переломился пополам, а "кадиллак" опять вырвался на дорогу — та круто поднималась в гору и уходила в лес; на одном из поворотов машина, несмотря

¹Фрахтование самолета или судна на один рейс.

на цепи, сползла с крутого склона и прочно застряла в мягком снегу.

Лачер пробует выбраться из машины — метровой глубины снег мешает ему открыть дверцу — и тут же проваливается по пояс. Он карабкается по склону к дороге, срывается вниз, опять лезет вверх и, почувствовав ногами дорогу, отряхивается, снег сыплется с шубы.

Он упрямо месит рыхлый снег, дорогу местами совершенно не видно. Белые ели с прогнувшимися от тяжести лапами срослись по обеим сторонам в сплошную бесформенную снежную массу. Лачер шагает как в разломе глетчера. Небо над ним искрится и сверкает холодным серебром. Он обо что-то спотыкается, падает, встает, выуживая из-под снега то, обо что споткнулся, — в руках у него труп, он встряхивает его, сбрасывая снег; остекленевшими глазами глядит на него старик с заиндевевшим лицом и белой обледеневшей щетиной. Лачер бросает труп и шагает дальше, доходит до прогалины — на макушках елей кровавые блики уходящего за черную гору солнца, но небо еще в светлых отблесках, только под ели легли густые сине-черные тени. Дорогу перебежала косуля, ей тоже трудно в глубоком снегу, за ней вторая — смотрит на него застывшими в смертельном страхе круглыми блестящими глазами. Лачер почти доходит до нее, и тогда она бесшумно исчезает в лесу. Придавленный снегом кустарник преграждает ему дорогу, Лачер продирается сквозь него, превращаясь в огромного снеговика, выйдя, отряхивается, пытается сбросить с себя обрушившиеся на него горы снега. Все вокруг плывет в сумеречном свете — снеговые шапки на елях, только что сверкавшее льдинками и теперь быстро погрузившееся в темноту небо. В одном месте Лачер, поскользнувшись, сползает по склону вниз, налетает с размаху на здоровенную ель, обрушивая на себя лавину снега, и теряет не меньше получаса, прежде чем вновь выбирается на дорогу. Он напрягается из последних сил, дыхание его вырывается клубами горячего пара, крошечная тьма заливает все вокруг, он пробивается как сквозь снежную стену, ничего не видя и не различая вокруг, и вдруг ощущает свободу.

Ели отступают назад, на небе горят звезды, почти в зените над ним Капелла, Орион закрыт наполовину зубчатым горным хребтом — Лачер хорошо разбирается в звездах. Перед ним вырастают расплывчатые очертания скалы, огромной, как небоскреб, он ощупью пробирается, осторожно огибая ее, и выходит опять на дорогу — вспыхивают огни, светит уличный фонарь, в домах три-четыре освещенных окна. Дорога расчищена и даже посыпана солью.

Лачер входит в деревенский трактир "Медведь", идет по узкому коридору, открывает дверь с табличкой "Зала", останавливается на пороге, оглядывается — за длинным столом вдоль ряда крохотных оконцев сидят крестьяне горной деревушки, толстый полицейский, сам хозяин трактира, а в дальнем углу, на конце стола, под фотографией генерала Гисана¹ на стене, четверо парней играют в ас.

Лачер садится за столик около напольных часов, не снимая меховой шубы, и говорит, что в снегу на дороге, во флётенбахском лесу, лежит труп.

— Это старик Эбигер, — произносит хозяин трактира, раскуривая короткую сигару.

¹Гисан, Анри (1874 — 1960) — генерал, главнокомандующий швейцарской армии во время второй мировой войны.

Лачер заказывает литр беци¹. Девушка за стойкой вопросительно смотрит на длинный стол. Хозяин трактира, толстый, приземистый мужчина, в рубашке без воротничка и в распахнутой жилетке поднимается из-за стола и подходит к Лачеру.

Литр беци? Не может быть и речи, говорит, двести граммов, пожалуйста. Лачер пристально разглядывает его.

— Шлагинхауфена сын Зеппу стал, значит, новым трактирщиком. Может, заодно и председателем общины?

— Подумать только, — удивляется трактирщик, — да вы никак знаете меня?

— А ты пошевели мозгами, — говорит Лачер.

— Бог ты мой, — прозревает вдруг трактирщик, — да ты уж не Лохер ли Ваути?

— Ты всегда туго соображал, — говорит Лачер. — Так где литр твоей беци?

По знаку хозяина девушка выносит бутылку, наливает Лачеру. Тот, все еще не сняв мокрую, в ледяных сосульках шубу, опрокидывает стопку водки и тут же наливает себе опять.

— Откуда ты, черт побери, взялся? — спрашивает трактирщик.

— Из Канады, — отвечает Лачер, наливая себе еще и потом еще раз.

Хозяин вновь раскуривает сигару.

— Вот Клери удивится, — говорит он.

— Какая еще Клери? — не понимает Лачер.

— Ха! Цурбрюггенова Клери, — недоумевает трактирщик. — Та, которую у тебя тогда Мани Дёуфу увел.

— Ах вот что, — говорит Лачер и наливает себе еще. — Цурбрюггенова Клери теперь жена Дёуфу Мани. Я как-то совершенно забыл об этом.

— И хоть Клери была тогда беременна от тебя, — продолжает трактирщик, — она все равно стала женой Мани.

Оторопев на мгновение, Лачер опрокидывает стопку.

— Ну и что там получилось? — спрашивает он наконец.

— Малец. Ему теперь уже под сорок. Вон он там под генералом Гисаном режется в ясс.

Лачер даже не глядит в ту сторону.

— А кем же ты стал в Канаде? — спрашивает его трактирщик, попыхивая сигарой.

— Уолтом Лачером, — отвечает тот.

— Воутом Ла-ачером, — тянет удивленно трактирщик. — Чудное какое-то имя.

— Да так по-ихнему читается Лохер, — объясняет Лачер.

— А зачем назад приехал? — спрашивает трактирщик, чувствуя вдруг закипающее в нем недоверие, сам не ведая почему.

— А вы все по-прежнему тут копошитесь? — хмыкает Лачер, даже не взмокнув в своей дохе, хотя пьет домашнюю водку, как воду.

Э-э, да чего уж, в этой дыре то дождь льет, то снег сыплет, вздыхает трактирщик. Долина прозевала момент, не подключилась к прогрессу, вот многие и спустились вниз, а тут застряли только те, кто поглупее, кому все равно, бедны они, как церковные крысы, или нет. Ему самому тоже не ахти как повезло. Не говоря уже о том, что не велика честь быть

¹ Яблочная водка домашнего приготовления.

председателем одной из самых заброшенных общин в горах под Берном, его и в личном плане постигла неудача — его первая жена, Оксенблутова Эмми, не беременела, и все тут, наконец один доктор, кудесник из Аппенцелля, помог ей, и она родила Сему, но, по всему, была уже стара для этого и померла от родов. Тогда он через год женился на молоденькой, из Флётигена, от нее у него дочь Энни, вот только что конфирмация была, но матери-то всего лишь тридцать два, он уже стар для этой чертовки, тут глаз да глаз нужен.

А Лачер пил тем временем водку, и нельзя было понять, интересуется его болтовня трактирщика или нет.

— В Канаде, — заметил он сухо, — у меня земли больше, чем все ваши горные общины тут, вместе взятые. Уран, нефть, железо. — Потом спросил: — Сколько вас тут осталось еще наверху?

— Шестнадцать, — ответил трактирщик, — остальные ушли.

— А учитель и полицейский откуда? — спрашивает Лачер.

— Учительницу прислали из столицы, а полицейский из Конигена, — говорит трактирщик. — Он же и инспектор лесных угодий.

— Учительница и полицейский не в счет, — бросает Лачер. — Значит, вас четырнадцать семей. И я даю вам четырнадцать миллионов.

— Четырнадцать миллионов? — ахает трактирщик и раздражается смехом. — Эка размахнулся, поди, не по карману!

— Мне по карману сумма и побольше, — говорит жестко Лачер.

Трактирщику становится не по себе.

— Четырнадцать миллионов? За так? — спрашивает он тихо.

— Нет, — говорит Лачер. — За это вы мне прикончите Дёуфу Мани.

— Дёуфу Мани? — трактирщик не верит своим ушам.

— Дёуфу Мани, — повторяет Лачер.

— Убить до смерти? — переспрашивает трактирщик. — Его? — И не знает, что даже думать по этому поводу.

— Ну что ты вылупил, как идиот, — говорит Лачер. — Я когда-то поклялся отомстить, теперь вот вспомнил, и клятву свою сдержу.

Трактирщик не мигая смотрит на Лачера.

— Ты спятил.

— С чего ты взял? — ухмыляется Лачер.

— Ты просто слишком много выпил, — решает трактирщик, его вдруг начинает бить озноб.

— Слишком много для меня никогда не бывает, — говорит Лачер и наливает себе еще стопку беци.

— Клери у Мани уже совсем старушка, — произносит задумчиво трактирщик.

— Клятва есть клятва, — говорит Лачер.

— Ты просто рехнулся, Воут Лаачер, — убежденно заявляет трактирщик, встает, тоже приносит себе водки и опять садится. — Просто окончательно рехнулся.

— Мне и это по карману, — смеется Лачер.

— А кому ты, собственно, собираешься мстить? — спрашивает трактирщик, постепенно до него доходит, что тот вовсе не шутит. — Клери или Дёуфу?

Лачер задумывается.

— Забыл, — говорит он наконец. — Помню только, что должен отомстить, помню, что поклялся.

— Бред какой-то, — не может прийти в себя трактирщик и качает головой.

— Возможно, — соглашается Лачер.

Трактирщик молча пьет.

— Тридцать миллионов, — произносит он наконец нерешительно.

— Четырнадцать, — твердо говорит Лачер, опрокидывая стопку. — Вы и с этими-то ничего путного не сделаете.

— Когда? — спрашивает трактирщик.

— Через десять дней, — отвечает Лачер.

— Завтра созову общину, — соображает трактирщик, — только без полицейского.

— Давай действуй, — говорит Лачер.

— Община не согласится, — заявляет трактирщик.

Лачер смеется.

— Согласится. И Дёуфу Мани тоже, я этого сморчка знаю.

Лачер встает.

— Отнеси мне бутылку в комнату.

— Фрида, приготовь четырнадцатый номер, — приказывает трактирщик.

Девушка стрелой взлетает по лестнице, Лачер смотрит ей вслед.

— Хорошая служанка, старшая у Бингу Коблера, — говорит трактирщик.

— Главное, телом хороша, — говорит Лачер и тоже поднимается по лестнице.

Трактирщик за ним.

— У тебя что, нет никакого багажа? — спрашивает он.

— В машине, — говорит Лачер. — Она застряла в снегу недалеко от Флётигена, на краю леса, сползла с дороги по склону вниз. Вместе с четырнадцатью миллионами. В тысячных купюрах.

Они входят в комнату. Фрида стелет постель. Лачер бросает в угол шубу, открывает одно из двух маленьких оконцев, в комнату врывается вихрь снега, он стоит в одном тренировочном спортивном костюме — темно-синем с двойными желтыми полосами. Лачер стаскивает унты. В дверях появляется молодой человек высокого роста, однако несколько толстоватый для своих лет.

— Это мой сын Сему, ему восемнадцать, — представляет его трактирщик.

Лачер снимает синий тренировочный костюм, под ним у него красный, с двойными полосами, он снимает и красный, голым подходит к ночному столику, где уже стоит бутылка с водкой, отвинчивает крышку, пьет, в комнату опять метет снегом. Лачер могуч, без лишнего жира, загорелый, только волосы, густо покрывающие его тело, седые. Трактирщик стоит в дверях, Сему не отрываясь смотрит вытаращенными глазами, Фрида, опустив голову, откидывает на свежезаправленной постели одеяло.

— Раздевайся, — приказывает Лачер, — я без женщин не сплю.

— Да, но... — подает голос Сему.

— Пошел вон! — кричит на него трактирщик и прикрывает дверь. — Идем!

Он с грохотом спускается по лестнице.

— Болван! — орет он на сына. — Запрягай коней и скажи Оксенблу-

тову Мексу, пусть приведет своих двоих тоже. Надо вытащить машину Ваути Лохера. Ты даже не представляешь себе, какой шанс мы можем упустить. Потом будешь вечно волосы на себе рвать, что не дал ему переспать со своей Фридой.

Четырех лошадей хватило, правда, одна из них, Оксенблутова, оступилась, сорвалась и с шумом унеслась во Флётенбахское ущелье, но "кадиллак" утром стоял во дворе "Медведя". Голубое небо, яркое, до рези в глазах, солнце. В трактире за столом на кухне сидит хозяйка с дочерью Энни, и Фрида тоже тут, бледная и измученная после бессонной ночи. Они пьют кофе с молоком, трактирщик наливает себе полную чашку. Он опять требует кого-нибудь к себе наверх, говорит Фрида и намазывает хлеб маслом. Она может быть сегодня свободна, решает трактирщик. Вместо нее за стойкой стоит его жена. Но он хочет теперь другую, говорит Фрида, вонзая зубы в кусок хлеба с маслом. Трактирщик пьет кофе с молоком. Между прочим, Лохер называет себя теперь Лаачером, Воутом Лаачером, поясняет он. Женщины молчат. А в чем, собственно, дело? — спрашивает жена. Шанс появился, колоссальный шанс, кричит трактирщик, встает и, с шумом и грохотом поднявшись по лестнице, толкает дверь.

Окно закрыто, Лачер ест в кровати яичницу с ветчиной, пьет из огромной чашки кофе с молоком, бутылка рядом пуста. Машину они притащили, докладывает трактирщик. А мертвец где? — спрашивает Лачер. Тоже привезли, это старик Эбигер, отвечает трактирщик, а почему его так интересует мертвый? А кто его знает, пожимает плечами Лачер. Ключ зажигания все еще торчит в замке? Целая связка ключей, говорит трактирщик. Так вот, тем ключом можно открыть багажник, поясняет Лачер, пусть принесут сюда чемодан, и, кроме того, трактирщику хорошо известно, что ему еще надо сюда доставить.

Трактирщик, крутанувшись на месте, кидается по лестнице вниз, бросается к машине и появляется через некоторое время с большим старым чемоданом в руках, он стремительно поднимается с ним наверх, кладет чемодан на столик у маленького окна, что в ногах у Лачера, открывает его и остолбеневает при виде пачек из одних только тысячных купюр. Сколько же тут? — хрипит он. Тютелька в тютельку четырнадцать миллионов, говорит Лачер. Значит, ему все про них тут в деревне было известно, медленно доходит до трактирщика. Он всегда получает нужную информацию, бросает лениво Лачер.

Трактирщик открывает дверь. "Энни! Энни!" — кричит он чуть ли не десять раз подряд, пока внизу в дверях не появляется с широко раскрытыми глазами Энни, что ему от нее нужно. Подымайся сюда. И когда она поднимается, он вталкивает ее в комнату к Лачеру.

— Вот, вот и вот, — кричит он и показывает ей пачки денег, — вот он, шанс, раздевайся и ложись к Лаачеру.

Она же только что от конфирмации, сопротивляется Энни. "Э-э, брось", — обрывает ее трактирщик, ведь с Хинтеркрахеновым Хригу она успела уже переспать, да и мать ее проделывала то же самое еще до конфирмации. Энни раздевается, а трактирщик, повернувшись спиной к кровати, начинает пересчитывать деньги. За спиной у него вскрикивает Энни.

Трактирщик считает и считает, в каждой пачке по десять тысячных купюр, солнце слепит ему сквозь оконное стекло глаза, а он считает и

считает, за его спиной слышится прерывистое дыхание Энни. В окне, нижняя часть которого закрыта крышей соседнего дома, отражается все как в зеркале — видна танцующая спина голой Энни, — пятьсот тысяч он уже отложил, думает трактирщик, но ему надо точно знать, сколько тут всего, сзади него дыбится огромное тело Лачера, двигается размеренно, как маневровый паровоз из костей и мяса. Трактирщик считает и считает, Энни опять вскрикивает, а он все считает, уф, миллион наконец, осталось еще тринадцать, ему надо пощупать руками каждую бумажку. Теперь давай сюда Фриду, командует Лачер. Еще, еле переводя дыхание, с трудом выговаривает Энни. Ну держись, я тебе сейчас покажу, смеется Лачер. Кровать ходит ходуном, стоит уже поперек комнаты, а трактирщик все считает и считает, солнце ушло в сторону, потускневшие стекла отсвечивают все четче и четче, два миллиона. Не могу больше, кричит Энни. Фриду сюда, приказывает трактирщик, а Энни пусть позовет еще и Оксенблутову Ойзи. И водки пусть принесут, вставляет Лачер. Трактирщик считает, не отрываясь, дальше, а позади него опять все начинается сначала, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, и не одна только Фрида тут, но и Энни тоже. А Оксенблутова Ойзи придет? — спрашивает трактирщик, считая одну тысячу за другой. За ней мама пошла, задыхаясь, произносит Энни, она еще и Хаккерову Сюзи приведет, а трактирщик считает и считает, пальцы его дрожат все сильнее и сильнее, и когда ему кажется, он сбился со счета, он пересчитывает пачку заново. Прошло много часов, небо потемнело, трактирщик зажег свет, чтоб лучше было видно, позади него давно уже тишина — ни хрипов, ни скрипа, ни гольх шляпущих спин, ни огромного тела Лачера, а он все считает и считает. Вдруг в черном окне опять заплескала голая спина, то ли Оксенблутовой Ойзи, то ли Хаккеровой Сюзи, а он все считает и считает, за окном уже ночь, все громче и громче за его спиной и стоны, и сопение, и рев, и вскрики.

Трактирщик вдруг вскочил, точно четырнадцать миллионов, закричал он, тютельница в тютельку, и бросился из комнаты по лестнице вниз — в зале уже собралась вся община, с трактирщика пот льет ручьем, тютельница в тютельку четырнадцать миллионов, он их сам пересчитал, говорит он сдавленным от возбуждения голосом; споткнувшись и чуть не перелетев через головы трех примостившихся на предпоследней ступеньке мужиков, он двинулся к длинному столу, где сидит Хегу Хинтеркрахен, писарь общины, зала полна, за каждым столиком крестьяне.

— Протокол вести? — спрашивает Хегу.

С ума спятил, подскочил трактирщик, нечего тут писать, и спросил своего сына, резавшегося, как и вчера вечером, в конце стола с Мани Йоггу, Оксенблутовым Мексу и Хаккеровым Миггу в ясс, уладил ли он дело с полицейским.

Отнес ему корзину красного, сказал Сему, тот уже налился и дрыхнет.

Может, приступить уже к делу? — спрашивает Херменли Цурбрюген, речь, собственно, идет об этом "чучеле", муже его сестры, о Деуфу Мани, лично он всегда был против этого брака, было бы лучше всего сразу прихлопнуть его прямо за "Медведем" и закопать во флётенбахской земельке, четырнадцать миллионов есть четырнадцать миллионов, а пока пусть кто-нибудь сбегает к учительке, чтобы она ненароком не заявилась проведать трактирщицу, ну вот хоть Мани Йоггу, она его страсть как лю-

бит, а Йоггу пусть еще попросит почитать ему стишки, она же их все время сочиняет.

А где учительница-то? — спрашивает трактирщик.

Она в церкви, играет на органе, просидит там еще часа два, говорит Оксенблутув Рёуфу, брат Оксенблутова Мексу.

Ну и прекрасно, тогда, пожалуй, можно и начать, рассудил трактирщик, его мнение таково: первым будет говорить Дёуфу Мани, у них как-никак в стране демократия.

А о чем ему говорить, выдыхает Мани, худой, слегка сгорбленный крестьянин, весь какой-то косою и кривой, когда встает; ему, как и всем в деревне, тоже нужны деньги, не настолько он глуп, чтоб не понять этого, пусть даже они будут стоить ему жизни, ведь жизнь так и так давно уж не радует его, так что пусть они собираются и пристукнут его, лучше всего, как предложил Херменли Цурбрюгген, прямо сейчас. Мани садится на свое место. Мужики потягивают красное вино и молчат.

Свои слова про "чучело" он берет назад, подает голос Цурбрюгген, Мани вел себя порядочно, прямо даже очень порядочно, остается только решить, кто его ударит за "Медведем" топором.

Но тут вдруг с лестницы раздается девичий голосок, Воулт Лаачер просил сказать, что все должно свершиться ночью, в следующее полнолуние. На лестнице нагишом стоит Хинтеркрахенова Марианли, те, кто сидит близко к лестнице, в смущении отвернулись, но она уже исчезла наверху за дверью.

А девка-то его ничего, ухмыляется Миггу Хаккер, тасуя карты и кивая на писаря.

Заткнулся бы, огрызается писарь, закуривая "Бриссаго", как будто евоная не побывала там наверху. А Сему говорит, разбирая свои карты, его невесту теперь силком не вытащишь от Ваути Лохера, так его, собственно, зовут, никакой он не Лаачер. В деревне вдруг такое стало твориться, какое разве только в немецких книжках с картинками увидишь, тех, что продаются в табачном киоске; и, посмотрев на свои карты, объявил: вини.

Значит, до полнолуния ничего не выйдет, рассуждает вслух трактирщик, не то они его ухлопают, а Лохер не даст им ни шиша.

А на какой день падает полнолуние, спрашивает хилый допотопный старикашка с космами белых волос, без бороды и с таким морщинистым лицом, будто ему давно уже перевалило за сотню.

Он не знает, говорит трактирщик, сначала Лохер сказал — через десять дней, а теперь говорит — в полнолуние. Чудно.

А потому что полнолуние будет в воскресенье, то есть через воскресенье, вот и пройдет десять дней, говорит старикашка, попивая красное вино, и всем будет крышка. Ваути Лохер точно рассчитал, когда будет полнолуние, да еще первое в новом году, но и он не лыком шит, тоже знает, так что Ваути Лохеру его не провести.

Херменли Цурбрюгген вскакивает, как ошпаренный. И они тоже знают, что Ноби Гайсгразер всегда знает все лучше других и что ему везде мерещится черт да его теща, но ему, Херменли, на это наплевать.

Он не притронется к деньгам, упорствует старик, не возьмет ни десятки.

— Тем лучше, отец, — выкрикивает ему в лицо Луди Гайсгразер, его сын, ему тоже уже под семьдесят; в таком случае все достанется ему

одному, а старик пусть подойдет, как он того давно желает им — своему сыну и своим внукам, и весь стол с восемью Гайсгразерами хором кричит: сами все возьмем, одни!

Гробовое молчание в зале.

Тогда у него есть, пожалуй, что сказать, говорит своему сыну старик.

Но тот только смеется в ответ, нечего ему сказать, пусть лучше попридержит язык за зубами, а не то он пойдет к префекту в Оберлоттикофене и расскажет, от кого у его сестры двое внебрачных идиотов и кто обрюхатил его младшую дочь; если уж есть кто на свете старый греховодник, так это Ноби, старый козел, а они если даже и убьют Мани, так только потому, что им позарез нужен миллион.

Может, еще кто хочет что сказать? — спрашивает трактирщик и вытирает пот со лба.

— Кончим на этом, — говорит Мани и идет к двери, протискиваясь промеж тесно сидящих крестьян, — прощайте пока. — И выходит.

Гробовое молчание.

Надо приставить кого-нибудь к Мани, чтобы он не смылся, лучше даже двоих, а еще лучше, если караульные будут сменять друг друга, говорит Оксенблутов.

Надо бы организовать, соглашается общинный писарь.

Опять гробовое молчание.

Наверху на лестнице показалась сияющая Фрида, голая, как и Марианли, и потребовала, тяжело дыша, как загнанная лошадь, бутылку беци.

Трактирщик распорядился, чтобы Сему принес еще одну литровую бутылку, и уселся, довольный, под застекленный навесной шкафчик с серебряным кубком от ферейна борцов, которого уже давным-давно не было и в помине, так что последнему борцу их общины, Оксенблутову Рёуфу, приходилось бороться со спортсменами из Флётигена.

Бингу Коблер, глядя остолбенело на Фриду, шепчет заплетающимся языком: это же его дочь.

А Сему, галантно изогнувшись, подал своей нареченной, стоящей перед ним в чем мать родила, бутылку, за что община дружно награждает его аплодисментами — он внес свою лепту в общее дело. Фрида кидается назад к Лохеру.

И только Рес Штирер, неподвижно сидящий, уставившись в одну точку, толстый крестьянин с красным носом и руками мясника, нарушает вдруг повисшую над всеми тишину, тяжело обронив: надо сделать так, чтоб все выглядело как несчастный случай, — посадить Мани под ельню, а потом повалить ее.

— Под буком, — деловито предлагает общинный писарь, подхватывая мысль на лету. — Лучше всего под буком, что в Блюттлиевом лесу. Мы давно уже обещали церкви новую балку, а буковая лучше всего.

Тогда нужно заранее подпилить бук, обдумывает трактирщик, иначе они слишком долго провозятся.

Ну это они сделают вдвоем с Мексу, вызвался Оксенблутов Рёуфу.

— А кто же ударит топором? — спрашивает Коблер.

Все, решает трактирщик и только потом спрашивает: кто — за; все, кроме старика Гайсгразера, поднимают руку.

А если Ноби пойдет в полицию... но трактирщику не удалось даже закончить свою мысль. Он не собирается никому препятствовать прямононько отправиться в ад, обрезал его старик.

Да, вот что еще, говорит трактирщик, он чуть не забыл, старика Эбигера они похоронят потом, после того, как будет сделано дело, на похороны люди слетаются, как мухи на навозную кучу, а у Эбигера много родственников во Флётигене и других деревнях.

Тут нет проблемы, труп замерз в камень, да и гроб они уже заколотили, чтоб лисы не полакомились, говорит Эбигеров Фриду.

Трактирщик совсем уже собрался всех распустить, как вдруг в дверях, вызвав общее оцепенение, появилась жертва, он еще раз все обдумал, говорит Мани и сморкается в большой носовой платок в красную клетку.

Застывшие в шоке лица повернуты к нему. Вот теперь бы его и пристукнуть тут на месте, мелькает в голове у трактирщика, он тоже застыл, как парализованный.

Мани аккуратно складывает огромный клетчатый платок и по-прежнему стоит в дверях, худой, слегка сгорбленный и кособокий. Полнолуние будет через воскресенье, сказал Ноби, а в субботу, накануне перед этим, в Оберлоттикофене откроется сельскохозяйственная выставка, ему бы хотелось сходить и, может, посоветовать своим парням Йоггу и Алексу, что купить на те большие деньги, которые они получат, он давно уже про себя думает: вот если бы у него был новый хлев и трактор, его жизнь была бы совсем другой. Мани смущенно замолкает.

Молодой Гайсгразер нервно хихикает, а Херменли Цурбрюгген одним залпом осушает свой бокал; не знаю, не знаю, бормочет он, но тут уже и трактирщик и писарь тоже схватились за вино, и председатель общины принимает решение:

— В субботу, накануне полнолуния, всем скопом отправляемся в Оберлоттикофен.

И они отправились. Затапали в предрассветных сумерках по пушистому снегу, спускаясь с горы вниз, во Флётиген. Дёуфу Мани шел между трактирщиком Зеппу Шлагинхауфеном и Реуфу Оксенблутом, занявшим на последнем состязании борцов в Бриенце третье от конца место. Во Флётигене они сели в поезд на Оберлоттикофен — Мани был все время зажат локтями, не сбежать ему, ведь завтра — полнолуние.

По сельскохозяйственной выставке их водит маленький человечек с усиками и розовой лысиной, в клетчатом костюме из красно-зеленой "шотландки".

— Бенно фон Лафриген, — представился человечек на чисто немецкий лад, прищелкнув каблуками, — швейцарец, проживающий за границей.

Фон Лафриген ведет их сначала на лужайку, предназначенную для торжественных моментов, где на "мраморном" постаменте из пластика стоит пластиковая корова, а перед ней играет капелла сельских музыкантов, потом они направляются к экспонатам — в ультрасовременном хлеву стоят уже настоящие коровы.

Фон Лафриген гребет руками, собирая флётенбахцев вокруг себя. Он подробно разъясняет им, что в современном хозяйстве крупный рогатый скот содержат по-разному. Известны способы привязного и беспривязного содержания скота, поэтому коровники бывают со стойлами, с секциями, а также с площадками на открытом воздухе. При строительстве нового коровника следует, кроме того, предусматривать, чтобы его можно было использовать и для содержания других домашних животных, не производя при этом дорогостоящих перестроек.

— Тот еще лапоть этот Лафриген, — бубнит Херменли Цурбрюгген.

Таким образом, фермер, совершенствуя свое хозяйство, получает возможность большей приспособляемости к изменчивой конъюнктуре рынка, продолжает фон Лафриген, поправляя свой галстук. Коровники с привязным содержанием скота — самые распространенные в Европе. В этом случае животные стоят в стойлах в один или несколько рядов вдоль коровника, ширину которого целесообразно рассчитывать так, чтобы мог пройти корморазгрузчик, доставляющий фураж и сочные зеленые корма и опрокидывающий их в кормушку.

— Опрокидывающий, — вторит как замороженный Мани, — такую тележку тоже надо бы купить.

— Помалкивай уж, — шипит у него за спиной его сын Йоггу.

Уборка навоза осуществляется здесь вручную или автоматически, поясняет им фон Лафриген. Секционные коровники — наименее дорогостоящий вид строительства, поскольку скот содержится в них в одном или нескольких больших боксах без привязи.

— Если корова поднимет хвост, этому "фону" из лепешки не выбраться, — говорит Миггу Хаккер.

Перегнивший, то есть готовый к употреблению, навоз выбирают только весной или осенью фронтальным погрузчиком, или грейфером, вещает невозмутимо фон Лафриген и сморкается в белоснежный шелковый платок; ежедневные затраты труда минимальные — подсыпать только свежей соломки да подоить в специально отведенном для этого боксе, где дойные коровы, кроме всего прочего, получают одновременно в соответствии с их потребностями концентрированные корма.

— Концентрированные корма, Алекс, — говорит Мани, — это вам потом надо будет обязательно приобрести, — и семенит, по-прежнему зажатый между тракторщиком и Оксенблутовым Рёуфу, вслед за "заграничным" швейцарцем.

Секции же используются главным образом для содержания мясного скота, говорит фон Лафриген и вводит их в новый хлев. Мычит корова. Слышится глухой шлепок. Манежи на открытом воздухе — самый простой способ содержания скота; открытый с наиболее благоприятной в метеорологическом отношении стороны, такой коровник способствует постоянному выходу животных на выгульно-кормовой двор. Вновь мычит корова и вновь слышен шлепок. Коровники же привязного способа содержания скота, подобно вот этому, различаются по длине стойла, предназначенного для животного, на длинно-, средне- и короткостойловые.

— Пожалуйста, пройдемте сюда.

Мычит корова, потом шлепок.

— Боже праведный, опять его понесло, — вздыхает Оксенблутов Мексу.

А лекция в новом хлеву идет тем временем своим чередом. Из-за механизированного способа уборки навоза в коровниках нового типа предпочтительно используются короткие стойла, длина которых на 10 — 20 см короче туловища животного, с задней стороны стойла, чуть ниже уровня пола, проходит выгребной желоб, очищаемый скребковым транспортером, его или тянет канатная лебедка, или толкает вперед малогабаритный одноосный трактор.

— Потрясающе, — ахает Мани.

При штатном способе уборки навоза, дает пояснения фон Лафриген,

экскременты животных, перемешиваемые с материалом, используемым для подстилки, то есть с соломой, и остатками кормов, толчкообразно продвигаются вперед и доходят до цепного конвейера, подающего отходы стойлового содержания в яму-накопитель. Однако в последние годы все большее применение находит смывной способ уборки навоза, требующий еще меньших затрат труда. В этом случае полностью отпадает необходимость приготовления подстилки для животного. Непосредственно к стойлу примыкает решетка — “пожалуйста, подойдите поближе”, — под которой помещается расположенный под небольшим наклоном желоб, ведущий к резервуару, отстойнику для навозной жижи, находящемуся за пределами коровника.

Уже давно пора смыть этого болтуна самого вместе с навозной жижей, предлагает Херменли Цурбрюгген, да только фон Лафриген ни слова не понимает на горном швейцарском диалекте.

Экскременты и моча, перемешиваясь, текут в отстойник, поясняет он им дальше, а животные лежат уже не на соломе, а на изолированном от грязи полу из пластика, дерева или даже керамики. Поддержание чистоты в коровнике тем самым чрезвычайно упрощается, и значительно облегчается борьба с возбудителями болезней. Животные содержатся в большей чистоте, так что и производство молока осуществляется в более гигиеничных условиях.

Смотри-ка, все время болтает про коров, а сам небось козу от теленка отличить не может, говорит Хегу Хинтеркрахен и закуривает.

Наряду с механизацией коровника, поучает их фон Лафриген, вывоз навоза и его обработка представляют собой не менее важную сельскохозяйственную проблему, поскольку уборка стоил вручную — трудоемкая работа, относящаяся к тому же не к самым приятным трудовым операциям. Произвольно стекающая в яму навозная жижа, оседая в резервуаре, сильно расслаивается — более тяжелые частицы опускаются на дно, а более легкие составные части образуют так называемые плавучие слои, поэтому содержимое отстойника подлежит тщательной перемешке, существуют механический способ перемешивания, пневматический и гидравлический.

— Все это прекрасно, — говорит Мани, зажатый между трактирщиком и Оксенблуттом, но теперь ему хотелось бы посмотреть трактор, ведь это самое главное, его мечта, потому что решать вопрос о новом коровнике можно лишь тогда, когда есть трактор.

— Тогда прошу вас, — говорит фон Лафриген и ведет их мимо пластиковой коровы с капеллой музыкантов в павильон сельскохозяйственных машин. Где-то поет мужской хор.

Трактор — важнейшая сельскохозяйственная машина в современном фермерском производстве, начал фон Лафриген новый доклад и вытер пот со лба, так как наряду со своей задачей тягового механизма он служит еще, что чрезвычайно важно, источником механической энергии для работы навесных машин.

Если бы еще чуть лучше понимать этот чертов немецкий, злитесь Рес Штирер. И зачем они только присылают сюда всяких чужеземных болтунов. В жизни еще не слышал, чтобы швейцарца звали “фон Лафриген”¹, громко, без всякого стеснения, выражает свое недовольство Гайс-

¹Частица “фон” употребляется только в Германии.

гразеров Луди, а старик Гайсгразер, тоже приехавший со всеми, пробрюзжал, что Швейцария давно уже катится под гору.

Энергия отбирается с помощью так называемых приводов от валов отбора мощности, выступающих из коробки передач, продолжает фон Лафриген, современный трактор снабжен гремя валами с приводами — два на конце коробки передач под муфтой сцепления, откуда с помощью карданного вала энергия передается на навесную машину, а третий выступает из передней части коробки скоростей и служит специально для приведения в движение навесной жатки.

Вот именно ее ему бы и хотелось увидеть, но только такую, чтобы сгодилась для флётенбахской долины, требует Мани, а Рёуфу и трактирщик, обеспокоенные, зажимают его покрепче и только потом начинают осмотр навесных сельскохозяйственных машин, способных тащить за собой по кручам лебедки и плуги и всякие другие приспособления для горных склонов.

Вот что надо покупать, говорит Мани своим сыновьям Йоггу и Алексу, на что флётенбахцы дружно поворачиваются к фон Лафригену спиной и покидают выставку.

По дороге на вокзал в Оберлоттикофене у них на пути трактир "Монах", но местный Союз национальных альпийских костюмов празднует там свой вековой юбилей, тогда они направляются к "Гражданину Швейцарской Конфедерации", от него ко "Льву", а потом поочередно к каждой "горе" — "Айгер", "Юнгфрау", "Блюмлизальп", "Вильдштубель" и, наконец, "Вильдер Манн". Мест нет нигде, везде полно, и им, в общем-то, пора на вокзал, но ноги сами несут их опять к "Монаху". Жена председателя Союза, Христина Эллиг, стоит как раз на террасе, вышла подышать свежим воздухом, увидев их, она кричит на всю Вокзальную улицу, Рес Штирер, конечно, подошел к ней, и через минуту они уже отплясывали в большом зале на юбилейном празднике Союза. Сему, Миггу Хаккер и Херменли Пурбрюнген скакали как бешеные, да и Рес Штирер тоже. А Мани, прижатый столом к дощатой стене, сидя между трактирщиком и Рёуфу с литровой бутылкой красного вина перед носом и не смея шевельнуться, искренне удивлялся, что толстый Штирер еще может так плясать. А когда Христина, проходя мимо, спросила, чего это они сидят как истуканы и подпирают стены, трактирщик ответил, да так, ничего, просто Мани что-то не по себе, а они ведь как-никак друзья.

— Твое здоровье, Дёуфу, — говорит трактирщик и поднимает бокал вина.

Как Клеры поживает? — спрашивает на ходу Христина.

Хорошо, отвечает ей Мани.

А потом к ним из "Айгера" перешло несколько унтерфлётигенских парней, и Хинтеркрахеновой Эмми внебрачный сын из Миттельлоттикофена с ними тоже, — все здорово подвыпивши, и тут началась заварушка, грандиозная драка с оберлоттикофенцами — членами Союза национальных альпийских костюмов, из "Блюмлизальпа" прибежали на подмогу унтерлоттикофенцы и поддали жару. Кто-то запустил Оксенблуту Рёуфу деревянной пивной кружкой в голову, тот даже не шелохнулся, даже не вытер кровь со лба. Только бы не было полиции, думал он, только бы не полиция.

Но вышло еще хуже. Из маленького зальца наверху появились вдруг сидевшие там член Совета кантонов Этти, собственно, для всех тут просто

Херду Этти, он вырос в Оберлоттикофене, член правительства Шафрот и председатель местной общины Эмиль Мюэттерли. Жители Унтер-, Миттель- и Оберлоттикофена окаменели — они еще никогда не устаивались подобной чести. Что встали, валяйте деритесь дальше, махнул рукой депутат парламента Этти, вызвав всеобщий хохот.

— Этти просто супер! — раздался выкрики из зала внизу, и все расселись по своим местам.

Юбилей потек своим чередом дальше, а депутат парламента, член правительства и председатель общины уселись, как нарочно, напротив трактирщика и Рёуфу с Мани между ними. Хозяин "Монаха" обслуживал лично, трое почетных гостей взяли бутылку "дезалея", член правительства — на вид еще не достигший сорокалетнего возраста здоровенный дедина крестьянского телосложения, а на поверку один из самых преуспевающих адвокатов и прожженных политиков в кантоне — спросил троицу, сидевшую напротив него у стены, откуда они родом, не из Оберлоттикофена во всяком случае.

Этот вот — хозяин трактира "Медведь" во флётенбахской долине, говорит Мюэттерли и показывает на Шлагинхауфена, первый раз в своей жизни видя, как тот сидит, словно воды в рот набрал, хотя обычно за столом в карман не лезет.

Так, так, почтенные гости, значит, из флётенбахской долины, ай-ай, нашьпан, нашьпан, у него в департаменте поговаривали, что флётенбахцы отказались расчищать дорогу от снега, черт возьми, с такого рода глупым упрямством ему давно уже не приходилось иметь дело.

Он за это не в ответе, открыл наконец рот трактирщик, охваченный смертельным страхом — вдруг Мани заговорит. Они не настолько дураки, почтовый автобус находится в ведении дирекции почты, а поэтому снегоочиститель пусть оплачивает правительство.

Но дорога необходима не только для нужд департамента, прежде всего ведь самой общине, возразил член правительства Шафрот.

А мы и так обойдемся, отрезал трактирщик, вызвав смех господина Шафрота; ну, тогда им еще долго придется сидеть по уши в снегу, сказал он, ради них он не собирается чистить дорогу за счет кантона, но тут же вдруг рассвирепел и пригрозил, что прикажет расчистить дорогу и вышлет им счет вместе со штрафом.

Депутат парламента Этти рассмеялся и наполнил бокалы флётенбахцев, заказав еще бутылку "дезалея". Если бы он был на месте Шафрота, то как важное государственное лицо, представляющее государственную систему социальных услуг, он не стал бы связываться с крестьянами горной общины, но хотя оплачивать снегомет — значит, не хотят, да и зачем он, собственно, флётенбахцам. Они же настоящие жители гор, и их долина все еще такая же, как была прежде, и слава богу, не то что здесь в Оберлоттикофене, где на каждый бугор поднимается кресельный канатный подъемник, а Эмиль Мюэттерли, вот он сидит тут рядом с ним, хочет еще протолкнуть свою идею пробить внутри Эдхорна шахту для лифта до самой вершины, поистине сногшибательная идея, и ничего удивительного, ведь альпийские проводники волокут туда тысячи туристов, и среди них не один уже десяток сверзился оттуда, пытаясь одолеть вершину в одиночку, это же так модно — побывать на Эдхорне.

А что это Херду Этти вдруг возымел против прогресса? — забеспокоился председатель общины Мюэттерли.

Да нет, ничего, говорит депутат парламента, но то, что у всех в голове одни только деньги, начинает постепенно отравлять ему жизнь, швейцарцы ни о чем другом, кроме денег, комфорта, туризма и прочего свинства, вообще уже не думают; сколько зарабатывает в Швейцарии на туризме простигута, просто уму непостижимо — больше учителя гимназии; а вот если вдруг простые крестьяне гор, как эти трое, не хотят принимать участия в поголовной пляске вокруг золотого тельца, сохраняют простые обычаи и нравы гор в чистоте и оберегают красоту своей долины — а что может быть еще прекраснее и возвышеннее занесенной снегом горной деревушки, — так правительство тут как тут со своими репрессиями. Однако им пора уже к унтерлоттикофенцам, иначе не миновать раздора.

Трое почетных гостей встают и прощаются, а хозяин "Медведя" испытывает такое облегчение, что тут же заказывает бутылку дорогого "дезалея", потом еще две, а после этого еще кофе и шнапс и за все платит сам.

Уже наступает утро, когда они наконец ранним поездом приезжают из Оберлоттикофена во Флётиген, к подножию своей горы. Когда они проходят мимо церкви и дома пастора, топя по хорошо расчищенной дороге, перед ними вдруг вырастает фигура пастора.

Ну вот, говорит он, из-за них, деревенских упрямец, не пожелавших сделать взнос на снегоочистительные работы, ему теперь тоже придется подниматься наверх пешком, должен же он раз в месяц прочитать воскресную проповедь.

Зато сегодня ночью они повалят бук на Блюттлиевой поляне и заменят балку в церковной кровле, поспешил сообщить трактирщик.

Наконец-то хоть одно божеское дело, за которое Бог воздаст им сторицей, расплылся в умилениях пастор. Он намеревается сегодня с особой тщательностью выполнить свою миссию духовного пастыря и посетить каждую семью, чтобы выяснить, у кого какие трудности и чем занимаются его бывшие конфирмантки — Шлагинхауфенова Эннели, Оксенблутова Эльзели, Хаккерова Сюзели и Хинтеркрахенова Марианли, все такие на редкость чистые и набожные девочки, а еще ему хочется хорошенько поесть в трактире, полакомиться в "Медведе" мясом в горшочке побернски, а вечером глазуньей с рёшти, времени у него предостаточно, сегодня ведь полнолуние, и он заранее радуется, воображая, как будет спускаться по дороге вниз, залитой мягким лунным светом.

Крестьяне, сбившись кучкой вокруг пастора, вышли за деревню, откуда начиналась по-прежнему засыпанная снегом дорога во флётенбахскую долину. Пастор месил снег рядом с хозяином "Медведя", а между трактирщиком и Оксенблутом, погруженный в свои думы, брел, как арестант, Мани.

Собственно, он никак не может взять в толк, почему они все так недоверчивы, ведь он же на все согласился; пастор тоже был занят своими мыслями: собственно, сегодня утром ему повезло, обычно истинное наказание с этими общинами в горах, чистая Голгофа, люди там сверхпримитивны, а сейчас вроде представилась возможность завоевать у них хоть какую-то популярность, дело, к сожалению, обстояло так, что этот догматик Вундерборн очень гордился тем, что прослыл однажды в Эмисвиле любимым деревенским пастором. Не где-нибудь, а именно в этой глухомани, в этой до фанатизма религиозной дыре Эмисвиле, а теперь он проповедует теологию без Бога, и тот, кто хочет стать его преемником, должен

быть, как и он, популярным в народе пастором, по возможности в одной из горных общин, это его главное условие.

Они вошли уже в лес, а трактирщик все думал, что же делать с пастором, будь она неладна, эта проповедь, а потом еще его хождения по домам, стоит только кому-нибудь открыть рот, как миллионы навсегда утекут от них по дорожке вниз, пиши-прощай тогда все, а Миггу Хаккер прикидывал, если спихнуть сейчас пастора во Флётенбахское ущелье, остальные, пожалуй, не выдадут, будут помалкивать.

Сквозь заснеженные ели пробиваются солнечные лучи. Пастора захлестывает ощущение счастья. Его "Фундамент Радость", только что вышедший в четырех томах, поистине чудо открытия в теологии, вот теперь это стало ясно и ему самому, колокольным звоном возвещает оно о начале третьего тысячелетия, как написал в обозрении Нидерхауэр. Конечно, шапку долой перед Нидерхауэром, однако последнюю теологическую задачу двадцатого века — как интегрировать Барта с Блохом¹, а их обоих, охватив еще теологов Доротею Зёлле, Зэльтермана и Глойбериха, вернуть назад, в лоно Гегеля, воссоединив в одно целое, — решил он, пастор маленького прихода в горной общине Флётиген, быть того не может, чтобы Вундерборн игнорировал его сейчас.

А вообще-то существует ли Господь Бог? — спрашивает вдруг Мани и останавливается.

Рёфу Оксенблут останавливается тоже, останавливается и пастор, только трактирщик шагает дальше, обдумывает как раз, словно подслушав мысли Хаккерова Миггу, не сбросить ли пастора во Флётенбахское ущелье, потом можно ведь сказать, что тот оступился, но, почувствовав вдруг, что месит снег в одиночестве, трактирщик оборачивается и видит, к своему ужасу, что перед Мани стоит пастор, потрясенный безмерной глупостью заданного ему вопроса.

Двадцатый век клонится к закату, а крестьяне, оказывается, все еще совершенно не разбираются в теологии, констатирует он с горечью и его еще обязывают завоевать популярность у этих неандертальцев.

Крестьяне сгрудились кучкой, тесно обступив пастора. Мани сейчас заговорит, подсказывает им их инстинкт, и хотя до Флётенбаха почти еще час пути, надо бы уже сейчас покончить с происками пастора. В глазах их лихорадочный блеск.

Но пастор уже приступил к делу, с несколько, правда, большим гневом, чем бы ему хотелось. Крестьянин, изрек он, как кого звали — Лохер, Оксенблут или еще как, — он был не в состоянии запомнить, да и кто же может упомнить эти мудреные имена, все равно что в русских романах, — он действительно серьезно задал ему столь глупый вопрос? "Бог" — он как пастор просто не может больше слышать этого слова. Может, ему еще и сказку рассказать, как на Айгере в Альпах, а может, на Веттерхорне, Блюмлизальпе, Финстераархорне или Эдхорне сидит старичок с белой бородой и правит миром? Все дело в радости, крестьянин, если она в тебе, тогда и нужды нет задавать детские вопросы. Вот они только что пришли с вокзала, веселые, счастливые, поплясав в Оберлотикофене от души, насколько он себе представляет, а до этого они, радостные, восхищались сельскохозяйственной выставкой, но стоило им уви-

¹Барт, Карл (1886 – 1968) – швейцарский теолог-протестант; Блох, Эрнст (1885 – 1977) – немецкий философ.

деть своего пастора, как радость ускользнула от них — он напомнил им о наличии пресловутых вопросов, например существует ли Господь Бог, был ли Иисус Христос действительно Сыном Божиим, воскрес ли он из мертвых и не воскреснут ли они сами когда-нибудь тоже, и человек мрачнеет от подобных мыслей; а вот когда удастся лицезреть нечто прекрасное, самое обычное и простое — новорожденного теленка, или хорошенькую женщину, или этот великолепный лес и полную луну, тогда их вдруг опять охватывает чувство радости, и вот так надо понимать и христианство, оно — сама Радость, и поскольку оно — сама воплощенная Радость, все те вопросы, которые обычно задают себе, отпадут сами собой, перед лицом Радости они теряют смысл и оказываются мертвыми.

И пока пастор продолжает в том же духе разглагольствовать и дальше, именуя Радость первоосновой фундамента, трактирщика самого охватывает радостное чувство — у него родилась вдруг идея, он останавливается, пропуская мимо себя крестьян, и подходит к Миггу, все еще полному решимости столкнуть пастора в пропасть.

— Миггу, — говорит трактирщик, — пастор болтает и болтает, к счастью, не давая Мани вставить хоть слово и выдать нас. Надо рвануть в деревню и сделать так, чтоб церковь была пуста, чтоб ни одной живой души там не было.

Миггу подхватывается, пронесится наверх пулей мимо крестьян, а пастор, целиком погруженный в теорию Радости, даже не замечает этого.

Когда они входят в деревню, Мани благодарит пастора за разъяснения и идет к своему двору, граничащему с хозяйством Оксенблутов, и другие крестьяне тоже расходятся, один только пастор стоит с трактирщиком перед входом в "Медведь".

А теперь пора, говорит пастор, отправляться в церковку, бабонки и девицы уже заждались его, что мужчины сегодня не придут, ему понятно, он тоже человек, но тут он на полуслове обрывает себя — мимо них в "Медведь" прошмыгнула девушка, даже не поприветствовав их.

Не Хаккерова ли это Сюзели? — спрашивает ошеломленный пастор.

Да он не приглядывался, уклоняется от ответа трактирщик.

Да-да, говорит пастор, Хаккерова Сюзели — самая любимая его конфирмантка, и его крайне удивляет, что она пришла в трактир, а не в церковь, однако проповедь не ждет, а впрочем, он так радуется, предвкушая, как после обхода первых дворов вернется сюда и съест горшочек мяса по-бернски.

С этими словами пастор направился в церковь, одиноко притулившуюся на склоне горы между "Медведем" и двором Шгирера. Придя туда, он застывает от удивления на месте — церковь пуста, только перед органом, над хорами, сидит фройляйн Клаудина Цепфель, учительница, тоже в полном недоумении.

В чем дело, почему, собственно, никого нет, заикается пастор, и почему никто не звонит к воскресной службе (на это он только теперь обратил внимание)?

Ну ладно, раз уж ему так обязательно все хочется знать, говорит трактирщик у него за спиной, он, собственно, для этого и пришел сюда за пастором, церковь пуста, потому что община не находит с ним общего языка. Только что, когда они поднимались в деревню, Мани спросил у него, есть ли Бог, на что он, господин пастор, ответил, это не важно и вообще его, Мани, дело только радоваться и ни о чем больше не думать, а их

это здесь, в горах, не устраивает. То, что господин пастор тут проповедует, с тех пор как появился в их деревне, для них пустой звук, они хотят слышать, как прежде, про своего старого привычного Господа Бога, про Спасителя Иисуса Христа и его воскресение из мертвых, а иначе на что же ему уповать, ему, трактирщику, когда придет его последний час, или тому же Мани, если вдруг, не ровен час, при рубке леса он угодит под сосну или тем паче под бук? Короче, они требуют других проповедей, набожных, а не то они лучше перейдут в католичество, а так как господин пастор не может такое им дать, раз сам не верит в Бога, они тут наверху все как один отказываются признавать его своим пастором, потому церковь и пуста, и он сам, председатель общины, собственноручно напишет об этом в консисторию. Хозяин "Медведя" разворачивается, показывая пастору спину, выходит в церковную дверь и растворяется в белом мареве.

На какое-то мгновение пастору кажется, он лишится сейчас чувств, из-за Вундерборна, конечно, чью кафедру ему так хочется получить и ради которой он стремился стать здесь популярным, как Вундерборн в Эмисвиле. Но он колеблется лишь мгновение, потом спрашивает Клаудину Цепфель, не поможет ли она ему в ризнице надеть ризу, так как дьячка, по-видимому, тоже нет, и после того, как Клаудина Цепфель помогла ему надеть ризу и повязала поверх брыжи, он отослал учительницу прочь, взшел на кафедру, открыл Библию, полистал ее и начал охрипшим вдруг голосом проповедь:

— Я прочитаю из Деяний святых Апостолов, глава 23, стих 26: "Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу — радоваться!"

Любезные скамьи, купель, орган и хоры, любезные окна, стены, балки и своды, любезная моя пустая церковь! Слова из Библии, услышанные вами, являются началом письма. Клавдий Лисий — его отправитель, правитель Феликс — получатель, а "радоваться" — приветствие. Но если я начну сейчас объяснять вам, кто такие Клавдий Лисий и правитель Феликс, то вам до них — до этого Клавдия Лисия и правителя Феликса, или даже человека, ради которого написано письмо, а им был Апостол Павел, — совершенно по справедливости нет никакого дела, потому что где же вам, деревянным балкам и каменным стенам, понять, кто были эти люди, а вот если бы сегодня, как каждое четвертое воскресенье, на вас, мои любезные скамьи, восседали бы члены здешней общины, как возгорелось бы в них любопытство, ибо спокон веков, сидя тут безвылазно на своей горе, они интересуются только второстепенными вещами, тогда как самое важное, гораздо важнее того, что случилось в древние библейские времена, то, что живет присно, ныне и во веки веков и что не доступно этим мужикам и мужичкам, самое суть всех сутей, и это хорошо сейчас чувствуешь ты, моя пустая церковь, есть приветствие "радоваться!", его ты ощущаешь сейчас, можно сказать, почти физически, испытывая радость оттого, что зловоние, исходящее от них, не отравляет твой воздух, а вас, мои любезные скамьи, не попирают их толстые зады, а вы, мои стены, не дрожите от их храпа, и тебе, мой орган, нет надобности вторить их жалкому пению.

Ты обрела свободу, пустая церковь, и, обретя ее и будучи со всем своим деревом, камнем, металлом и стеклом земным прахом, способна теперь понять отправителя, тысяченачальника Клавдия Лисия, и причину, побудившую его написать письмо, и Апостола Павла, и получателя, пра-

вителя Феликса, — ведь все они давно уже возвратились в прах, да и я тоже однажды обращусь в него, как обратятся в прах все эти крестьяне и крестьянки, собственно, давно уже обратились, да только не ведают этого.

И поскольку прах понимает прах, все мы узнаём себя друг в друге, отражаемся, как зеркало в зеркале, и принимаем единую веру — радоваться правителю, при сем не суть важно, как его нарекли — Феликсом ли, как в Деяниях святых Апостолов, Богом или Вселенной, — главное, чтоб каждая песчинка, будь то дерево, камень, ползучий гад, зверье или человек, Земля, Солнце, Млечный Путь или системы звездных галактик, ликуя, оглашала пустоту — радоваться!

Именно поэтому, пустая церковь, что мы — прах и рождены из праха и ведем существование ничтожных песчинок, порожденных другими такими же песчинками, жизнь которых отмерена коротким отрезком времени — несколькими годами или месяцами, несколькими часами, секундами или даже, как для некоторых частичек, являющихся миллионной долей одной песчинки, лишь несколькими миллионными долями одной секунды, — прожить эти мгновения надо с радостью! Потому что для всех и вся нет иного фундамента кроме как — радоваться, ибо одна только радость не задает вопросов, не копается в сомнениях и не пытается утешить, потому что она одна не нуждается в утешениях, она выше их, выше всего — радоваться! Аминь.

С этими словами пастор из Флётигена с шумом захлопывает большую тяжелую Библию, с достоинством спускается с кафедры, направляется в ризницу, развязывает брыжи, снимает ризу, складывает ее и, собираясь выйти на волю, оказывается лицом к лицу с Клаудиной Цепфель.

Огромные глаза учительницы горят от восторга, пастор был неотразим, лепечет она, заикаясь, она прослушала всю проповедь от начала до конца. Он смотрит, оцепенев, на Клаудину Цепфель, его охватывает бешеный гнев, ярость на весь белый свет, на Вундерборна, на собственную жену, уроженку здешних мест, палец о палец не ударившую, чтобы сделать его популярным, — кому нужны ее курсы о браке и семье?

Рывком он притягивает к себе Клаудину Цепфель — ”радоваться!” — и, сжимая ее в объятиях, страстно целует ее: послезавтра его жена уедет со своим курсом о супружеской верности в Кониген; и, взревев на всю округу, так что эхо раскатилось по долине, — ”Задал же я им, однако, перцу!” — пастор, оставив зацелованную и безмерно счастливую Клаудину Цепфель одну, бросается мимо ”Медведя” по дороге вниз, оборачивается еще только один-единственный раз, когда доходит до флётенбахского леса, и потрясает угрожающе кулаком — ”радоваться!”.

А трактирщик, выйдя на порог, ехидно ухмыляется, ловко же они отделились от пастора, и, вернувшись в залу, спрашивает Сему, кто там сейчас у Лохера.

Опять Фрида, отвечает тот недовольно.

Ну и что, как дочка Коблера она получит теперь ого-го какое наследство. Не надо быть дураком, и Энни, и все другие в долине тоже переспали с Ваути.

С этими словами он протягивает Сему бутылку беци, ”на, отнеси ему наверх”, да и полицейскому тоже не мешает дать еще бутылки четыре ”алжирского”, чтоб он этой ночью не мешал им, слава богу, что полнотуние уже сегодня, значит, скоро конец, он хочет сказать, другие, наверно,

тоже так думают, иначе чего они торчат все по домам, а не сидят у него в трактире и не режутся в ясс, каждый, поди, тоже волнуется немного.

Наконец пробил полдень, пошла вторая половина дня, и тянется, и тянется, конца ей нет, небо цвета густой синьки, ни ветерка, ни малейшего движения воздуха, только космический холод, да один раз прогремыхало со стороны гор — в ущелье сошла лавина, а около пяти с воскресной прогулки вернулся Мани, одетый как обычно, даже без галстука и без шляпы, на некотором расстоянии от него шли Рес Штирер и его сын Штёффу. Дойдя до своего дома, Мани прислонил к дверной притолоке палку, прошел через кухню в большую комнату, где за столом сидели Йоггу и Алекс, а у окна стояла жена Мани и смотрела на дальний лес, старый Штирер уселся на улице на скамейку перед домом, а молодой обошел его кругом.

Он еще раз поднялся к водопаду, говорит Мани, но тот совсем замерз, а солнце только что опустилось за Цолленградом. Красное и огромное.

Значит, через день-два опять повалит снег, говорит Алекс, а Йоггу так язвительно замечает, господину Мани следовало бы надеть в такой холод пальто, а не то вдруг он простудится.

Что это он говорит ему "господин Мани"? — спрашивает крестьянин.

Потому что его отец — Ваути Лохер, отвечает Йоггу.

Так, значит, Ваути обо всем рассказал Йоггу, обращается Мани к своей жене. Та ничего не отвечает, Йоггу поднимается из-за стола — огромный, обычно добродушный деревенский мальч.

И о том, что, когда она забеременела от него и Лохер хотел взять ее с собой в Канаду, она, его мать, телка такая, рычит в бешенстве Йоггу, вышла замуж не за него, а за Мани, с его домишком, а не то он бы, Йоггу, был бы сейчас в Канаде и имел миллионы и не киснул бы тут и не батрачил бесплатно на отчима, не имея даже денег на жену для себя.

Но один миллион они ведь сейчас получат, говорит Мани. То, что здесь было нелегко, он согласен, их дом, собственно, скорее лачуга, но теперь все будет по-другому, гораздо лучше, и в отношении хозяйства тоже — у них будет современный хлев и трактор, и не только его жене, но и Йоггу и Алексу жить будет легче, да и всей деревне тоже.

Да, но он не собирается делить миллион с Алексом, заявляет Йоггу, деньги его, и ни о каком современном коровнике или тракторе не может даже быть речи, с этим миллионом он уедет в Канаду, и уж с Лохером он как-нибудь договорится и вытряхнет из него еще пару миллиончиков. В конце концов, Лохер его отец, все говорят, он похож на него.

Что правда, то правда, раскрыл наконец рот Алекс, все эти сельскохозяйственные новинки — чепуха, но своего полмиллиона он не уступит, ему уже тридцать восемь, и, имея полмиллиона в кармане, он проживет в городе куда лучше, чем здесь.

А при чем тут миллион или полмиллиона, говорит Мани, миллион получит вся семья: треть — его жене, а Йоггу и Алексу — каждому тоже по одной трети.

Она не возьмет из этих денег ни гроша, говорит вдруг его жена, обходя стол кругом и глядя своему мужу прямо в глаза. Работа износила ее, однако она выглядит намного моложе, чем есть на самом деле, и хотя волосы ее белы, как снег, она стройна и здорова телом.

— Я вышла тогда за тебя замуж, Мани, — начала она, — потому что ты был порядочным парнем и хотел взять меня в жены, несмотря на то, что

я была беременна. Я уже тогда знала, на Лохера нельзя полагаться. И теперь ты сам убедился, я была права. Может, ты думаешь, он пришел затем, чтобы отомстить тебе? Нет, он просто решил поразвлечься, посмеяться над нами, бедными, несчастными людишками, которых он всегда презирал, как сегодня, так и тогда. Его забавляет, какая нас ждет судьба — все, кто живет в деревне, перессорятся друг с другом. Ты же это видишь по Йоггу и Алексу, ведь в одной семье детей столько, что от них в глазах рябит, как, например, у Гайсгразеров, а в другой всего только два человека, как у Штиреров. Вот что я скажу тебе, Мани, в этой деревне скоро будет, как в аду. Убив тебя, они начнут грызться как волки, и только страх, а вдруг кто заговорит, не даст им перерезать друг другу глотки. Да что я тут болтаю. Тебе умирать, не мне, но, раз уж настала пора прощаться, и навсегда, я хочу сказать тебе, Мани, ты как был порядочным человеком, за которого я когда-то вышла замуж, так до конца им и остался, и я не плачу, что скоро они повалят на тебя бук в Блюттлиевом лесу, я только рада, что мне не придется смеяться со всеми над твоей глупостью — настолько она бессмысленна. Бог мой, как ты гнул спину все эти долгие годы, да и мы тоже, и Йоггу, и Алексу, и я, пожалуй, больше всех, а стоило этому хвосту из Канады заявиться со своими миллионами, и что делаешь ты? Приносишь себя в жертву! Зачем? Что тебе дадут эти деньги? Или, может, твоя жертва принесет пользу остальной деревне? Они еще не получили ни гроша, а уже все продались и развратились, не только их дочери.

А ведь ты, зная в долине все ходы и выходы, как никто другой, мог бы спастись в любой из этих десяти дней. Раскрыл ты их планы полицейскому? Нет, ты этого не сделал, а ведь трактирщик прекрасно знал, отчего тому лучше ничего не знать, иначе он прижал бы их как следует и своего не упустил. А в "Монахе", в Оберлоттикофене, открыл ты рот, когда сидел напротив депутата парламента, члена правительства и председателя общины? Нет, ты промолчал. А потом, когда гурьбой брели по Флётигену, завопил ты во все горло: "Люди добрые, меня убивают за четырнадцать миллионов!"? И все были такие пьяные, что уйти от них ничего не стоило, и пастору ты тоже ни слова не сказал. Хотя в лесу было уже поздно, скорее всего, они скинули бы его в пропасть. А знаешь, почему ты не защищался? Я тебе скажу, всю свою жизнь ты мечтал только об одном — иметь современный хлев и трактор, и вбил себе в голову, что Йоггу и Алексу тоже о них мечтают. Поэтому ты и не защищался, и вот теперь сам видишь, никому твой хлев с трактором не нужен, ни Алексу, ни Йоггу, и никому другому в деревне. Все жаждут только денег. И тебя, Дёуфу Мани, уже ничто не спасет.

— Оставь, жена, — говорит Мани, — что ж делать, раз уж так вышло.

В дверях вырастает фигура трактирщика, пора, говорит он и, обращаясь к Рёуфу Оксенблуту, стоящему сзади него, роняет:

— Останься на всякий случай тут.

— Прощай, — говорит Мани жене.

Она не отвечает.

Все, кроме Рёуфу, направляются вместе с Мани мимо "Медведя" напрямиком в долину и, перейдя через замерзший Флётен, входят в Маннеренский лес. Над Бальценхубелем плывет луна, продвигаясь к Эдхорну, видимому только из Маннеренского леса, кругом светло как днем, и когда лес начинает взбираться в гору, идти становится труднее, они ка-

рабкаются по рыхлому снегу вверх, на Блюттли, где посреди поляны стоит огромный бук — блюттлиев бук. Флётенбахцы окружают его, в руках у них длинные мощные топоры, изо рта вырываются горячие клубы пара.

— А подпилен ли блюттлиев бук? — спрашивает трактирщик.

— Сделали сегодня после обеда, — буркнул Оксенблут Мексу.

— Мани, садись сюда, — распоряжается хозяин "Медведя".

Мани утрамбовывает под буком с залитой лунным светом стороны поплотнее снег и садится спиной к буку в том месте, где он подпилен.

— Начнем, — командует трактирщик, и топоры Хаккерова Хригу и Гайсгразера Луди тут же обрушиваются на блюттлиев бук, но при первых ударах отскакивают от твердой, как железо, древесины, эхо разнесится по всей долине, мощное бухание ударов слышно и в деревне, но постепенно острые топоры вонзаются в ствол все глубже и глубже, теперь рубят Рес Штирер и Бингу Коблер, а хозяин "Медведя" вдруг замечает, что Мани, прислоненный к дереву, шевелит губами.

Трактирщик подает знак, Коблер и Штирер замирают, а он наклоняется к Мани и спрашивает, может, тому что нужно?

— Луна, — говорит Мани с широко раскрытыми глазами.

— Луна? — переспрашивает трактирщик и смотрит недоуменно на небо. — А что с ней?

Потом поворачивается опять к мужикам с топорами.

— Все в порядке, рубите дальше.

— Не знаю, — тянет Бингу, а Рес говорит:

— Посмотри-ка еще разок на луну, хозяин.

Тот поднимает голову.

— Какая-то она не такая круглая, — говорит он задумчиво.

— Одного кусочка вроде не хватает, — шепчет позади него боязливо Сему.

Трактирщика вдруг осеняет.

— Лунное затмение, — объясняет он. — Каждый месяц бывает.

— Никогда в жизни не видал, — мямлит Херменли Цурбрюгген.

А разве они когда-нибудь разглядывают луну или звезды, ухмыляясь трактирщик. Каждый вечер сидят у него до полуночи в трактире, а когда расходятся по домам, тут уж им не до луны, такие они пьяные, а лунное затмение случается чуть ли не каждую неделю, и ему уже приходилось видеть луну точь-в-точь как четверть сырного круга, и длилось это каждый раз всего несколько минут.

— Что-то непохоже, — вздыхает Бингу, — луна все уменьшается.

Они молча смотрят, и тут от опушки леса на флётенбахцев двинулся старик Гайсгразер, поплыл, как привидение, в лунном свете, неумолимо гаснущем с каждым мгновением.

— Вот теперь вам, баранам, ясно, почему Ваути Лохер сманил вас своими миллионами убить Мани именно сегодня, в полнолуние, — захихикал старикашка злорадно. — Да потому что сегодня ночью луна лопнет, смотрите, как она светится пламенем изнутри, кипит вся, сейчас сами убедитесь. Я уже видел такое несколько раз, но еще ни разу это не попало на воскресенье. Сегодня луна обломками будет валиться на землю, и каждый кусок больше целой Европы, и Земле, и всему белому свету придет конец. Поэтому Лохер и раздаст свои миллионы, они ему все равно больше не понадобятся.

Старик хохочет, бснуется от радости на снегу, и сын его, Луди, кричит на него:

— Заткнулся бы!

А Бингу лупит, как сумасшедший, топором по буку, тогда и Рес начинает вторить ему, так же безумно, с сатанинским упорством, в дьявольски монотонном темпе.

— Прекратите! — кричит в ужасе трактирщик. — Луна исчезает!

Оба с топорами в руках смотрят, оцепенев, со всеми вместе на луну.

— Она не исчезает, — подает голос Рес Штирер, — что-то ржаво-коричневое наползает на нее.

— Это солнце, — размышляет вслух Бингу Коблер.

— Я думаю, Австралия, — поправляет его Цурбрюгенов Семи, — мне кажется, нас так учили в школе.

— Чепуха, — заявляет Рес. — Земля круглая, не могут же они одновременно находиться и тут, и там, а не то те из Австралии уже давно разгуливали бы по луне, чушь какая-то.

Флётенбахцы смотрят и смотрят неотрывно.

Луна все больше и больше заволакивается тьмой, из земли-коричневой становится ржаво-охристой, вокруг ярко пылают звезды, их до того вовсе не было, и наконец диск луны превращается в раскаленное зияющее око, изъеденное чудовищными язвами, оно зло уставилось на побагровевший снег и кучку крестьян на нем, чьи топоры сверкают, словно вымазанные кровью.

— Проваливай, Мани, — ревет трактирщик, — проваливай отсюда. — И бухается на колени. — Отче наш, суший на небесах! — начинает он молиться, флётенбахцы тут же подхватывают молитву:

— Да святится имя Твое.

Только старый Гайсгразер катается по снегу, луна лопнет от натуги, гной ее зальет, затопит все вокруг, и настанет конец света; он воет, хохочет, ликует в безумии.

— Да придет Царствие Твое, — молятся крестьяне.

А Мани словно не понял, что он свободен, он все так же неподвижно сидит на прежнем месте.

— Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Наконец Мани поднимается, и тут за огненно-красным язвенным нарывом проблескивает светлая искорка.

— Она опять появляется, — кричит Херменли Цурбрюгген. — Луна опять тут, луна!

Крестьяне вскакивают на ноги, единый крик радости исторгается из их груди, страх утихает, и тем быстрее, чем скорее растет яркая блестящая искра, превращаясь постепенно в старую добрую круглую луну.

— Рубите, — рычит трактирщик, и Рес и Бингу мощными ударами сотрясают дерево, вонзая топоры в ствол, а Мани, растопырив ноги, опять сидит, прислонившись к буку, на снегу, с которого медленно сходит зловещий кроваво-красный отблеск; вот топорами вновь замахали Луди и Хригу, а луна все щедрее сияет из-под кровавого нарыва, тающего в небе на глазах, и звезды исчезают, теперь подошел черед Хинтеркрахена и старого Цурбрюггена, а за ним Эбигера, Фезера, Эллена и Бёдельмана, а под конец все крестьяне, включая и трактирщика, подсакивают по очереди к буку и каждый по разу вскидывает топор — удар, следующий, опять удар; и когда бяоттливев бук падает, рухнув на снег, полный диск луны — ог-

ромный, круглый, ласковый, весь молочный, как до затмения, — льет на землю с небес свой мягкий серебристый свет.

Надо еще вытащить его из-под дерева, блюттлив бук жуть какой здоровый, хлопочет трактирщик, Мани здорово размолотило всего, насколько тут что можно разобрать, каша сплошная. И потому в восемь утра, когда уже рассвело, трактирщик испытывает разочарование — Лачер не проявляет ни малейшего интереса к труп, говорит только, он ему и так охотно верит, что Мани угодил под бук. Зачем же ему еще и на труп смотреть?

Впервые с той ночи, когда из крошечной зимней тьмы он шагнул в залу, Лачер вышел из своей комнаты и спустился вниз. На нем меховая шуба и унты, он сидит за длинным столом и пьет из огромной чашки кофе с молоком, напротив него — Фрида и Энни. Трактирщику кажется, что у Лачера дрожат руки, да и вид у него какой-то постаревший, вроде бы он и поседел, и бледный с лица.

Деньги наверху, кивает Лачер.

Трактирщик с грохотом кидается наверх, рывком открывает дверь, на столике под окном все так же лежит незапертый чемодан, хозяин "Медведя" откидывает крышку, деньги на месте. В кровати Лачера нежится его жена.

Мани угодил под бук на Блюттли, говорит он, не отрывая глаз от пачек денег, нужны были новые балки для часовни.

Они слышали здесь удары топоров, зевает Лизетта.

Трактирщик не мигая смотрит на деньги, потом начинает пересчитывать купюры — десять тысяч, десять тысяч, десять тысяч, нет, он чувствует, здесь что-то не так, десять тысяч, девять тысяч, еще раз девять тысяч, десять тысяч, восемь тысяч.

— Вы, бабы, взяли тут себе по тысяче, все до одной, каждая стянула по купюре!

Лизетта смеется:

— Мы тоже чего-то да стоим, а если вас это не устраивает, то и у нас могут развязаться языки.

Трактирщик захлопывает чемодан, уносит его в спальню, собираясь запереть его там, но тут ему приходит на ум, что у жены есть второй ключ от спальни, и тогда он спускается с чемоданом вниз.

Лачера в зале уже нет.

А где Ваути, спрашивает трактирщик у Энни, еще стоя на лестнице.

Она не знает, отвечает та, а когда он приказывает ей, марш на кухню мыть посуду, не может быть и речи, возражает она, что она там потеряла, тогда он рычит, набрасываясь на Фриду, хватит бездельничать, пора браться за работу, а та говорит, что уходит от него — она дочь миллионера и в ближайшем будущем станет к тому же невесткой другого миллионера, самого хозяина "Медведя", ведь она выходит замуж за Сему, так что работать она больше не собирается.

Пот льет с трактирщика ручьем, а сквозь маленькие оконца ему видно, как мимо проплывает "кадиллак".

Машина плавно покидает деревню и катит из долины вниз. У скалы, там, где дорога входит в лес, Лачер нагоняет жену мертвого Мани. Почти через сорок лет он вновь встречает Цурбрюгенову Клеви. В руках у нее чемодан. "Кадиллак" останавливается. Она идет себе дальше. Он опускает стекло, высовывается из машины и говорит:

— Эй, Клери, садись.

Она останавливается, разглядывает его, потом произносит:

— Ну если уж ты меня приглашаешь, Ваути Лохер.

Он открывает правую дверцу, она кладет чемодан на заднее сиденье, садится рядом с Лохером и говорит:

— У тебя вид, как будто тебе сто лет.

— Мы оба состарились, — говорит Лачер. — Куда ты собралась? — спрашивает он, когда они уже въехали в лес.

— В Оберлоттикофен, искать работу, — отвечает она.

Машина осторожно спускается вниз.

Перед самым флётенбахским ущельем Лачер резко крутит руль, так что машина встает поперек дороги. Он выключает мотор. Молча смотрит перед собой.

— Клери, — говорит он потом. — Ты скрыла от меня, что ждала ребенка.

— Мы с Мани хотели пожениться, это были наши заботы, не твои, — отвечает она.

— И Мани это не остановило? — спрашивает он.

— Ребенок есть ребенок, — говорит она.

В полной задумчивости он молчит, наконец произносит:

— Так было лучше, что ты вышла замуж за Мани. Мы с тобой сделаны из одного теста, мы не подходим друг другу. — Он расстегивает шубу, потом молнии на синем и красном спортивных костюмах, высвобождает грудь. — Опять схватило, — говорит он. — Боль такая же, как полгода назад. — Он откидывается на спинку сиденья, руки повисают как плети. — Я только что из больницы. У меня был инфаркт.

Оба молчат.

Небо над белыми елями молочно-серое, местами сгустилось и светится от пробивающихся лучей, солнца, однако, нигде не видно.

Лачер медленно и плавно растирает себе правой рукой грудь.

— Признáюсь, что тогда, когда я ушел из деревни, я был в бешенстве, но злоба прошла уже здесь, прямо в лесу, и так мне вдруг захотелось покинуть все это, и эту страну, и всю безмозглую Европу. И вот там, за океаном, я стал богатым, честным или нечестным путем, лучше не спрашивай. Я никогда об этом не задумывался, и о женщинах меня не спрашивай по ту сторону вонючего Атлантического океана, и о сыне тоже не надо, тот все унаследует после меня, хотя в десять раз больший негодай, чем я. А вас в вашем медвежьем углу я давным-давно позабыл, да, по правде говоря, с тех пор, как я тогда отчалил из Флётигена, я никогда вас больше и не вспоминал, вы как исчезли из моей памяти.

Он молчит, с трудом шарит правой рукой, словно левая парализована, по двери с левой стороны, бесшумно опускает ветровое стекло, холодный и сырой воздух окутывает их, женщина рядом с ним — глубоким и дряхлым стариком — кажется вдруг совсем молодой.

— Прямо в самой середине колет, — говорит он равнодушным голосом, — боль от груди до самого подбородка. А в левой руке от плеча до кончиков пальцев.

Он умолкает, женщина рядом с ним сидит неподвижно, он даже не уверен, слышала ли она его.

— А потом меня хватил инфаркт, — продолжает Лачер, — не так сильно, как сейчас, но тоже достаточно крепко. И пока я неделями ва-

лялся в постели, у меня вдруг всплыла перед глазами деревня, не то чтобы кто-то один, а вообще деревня. Собственно, даже вот этот лес. Тогда я навел справки, впервые с тех пор повидал швейцарского консула. Потом прилетел в Цюрих и снял с одного из своих счетов в банке четырнадцать миллионов.

Он задумывается.

— От доброты, пожалуй. Хотел вам как-то помочь встать на ноги, ну что такое четырнадцать миллионов? Но стоило трактирщику сказать, что ты была тогда от меня беременна, как меня вновь охватила бешеная злоба, и я поставил условие — тебе оно известно — убить Мани. Собственно, им следовало бы убить тебя, но настолько моей злости опять же не хватало, вот и пришлось отдуваться за всё Мани, а сейчас, когда вспоминаю тот вечер в "Медведе", я даже и не уверен, а была ли злость-то? Может, меня просто вновь обуяла нечеловеческая жажда жизни, тогда понятно и мое условие, потому что, пока хочется жить, хочется и убивать, не одними же юбками исчерпывается интерес к жизни — кто там только не перебивал у меня наверху за эти десять дней в моей постели, чтоб урвать одну или несколько тысчонок, а мне было совершенно наплевать, как наплевать и на то, кого они там убили. Могли убить кого угодно вместо Мани, я все равно на труп не смотрел, и если бы они даже никого не убили, я бы и так отдал им эти деньги.

Он умолкает. Большая черная птица опускается на переднюю дверцу рядом с Лачером.

— Ко мне всегда прилетают вóроны, они и раньше ко мне прилетали, — говорит Лачер, а черная птица прыгает вовнутрь машины и садится на его правую руку, что лежит на руле.

— Когда они поехали на сельскохозяйственную выставку, мне надо было пойти во Флётиген и заявить на тебя, — говорит она.

— Но ты же этого не сделала, — хмыкает он.

Она молчит.

— Я бы стала презирать Мани, — говорит она после паузы, а он равнодушно заявляет:

— Что теперь проку толковать про это, он же мертв.

Она опять молчит, а через некоторое время говорит так же равнодушно, как и он:

— А теперь я презираю себя.

— Подумаешь, — фыркает Лачер, — я всегда себя презирал.

Птица перескакивает на дверцу.

— Мне пора, — говорит она, — иначе я пропущу поезд на Оберлоттикофен.

Он не отвечает.

Ворон вспархивает и улетает в монотонно-молочное утро. С неба падает легкий снежок.

Она открывает дверцу машины, берет с заднего сиденья чемодан, утопает, барахтаясь вокруг широкого радиатора, в снегу и, выбравшись на дорогу, идет по рыхлому снегу вниз, растворяясь в снежном тумане. Она доходит до поляны, потом до густого леса с огромными елями, снежные хлопья плавают и кружат в воздухе, как бы не желая опускаться на землю, большие, воздушные, легкие и невесомые, как лепестки цветов. Время от времени она перекладывает чемодан из одной руки в другую; когда она добирается до Флётигена, снегопад прекратился. Она идет мимо

церкви, вот и вокзал, пассажирский поезд только что отошел.

Она берет билет, садится на зеленую скамейку около железнодорожного поста. Раздается мелодичный звук сигнального колокольчика, из своего помещения выходит начальник станции Берчи.

— Госпожа Мани, — говорит он, — следующий пассажирский поезд на Оберлоттикофен пойдет только через час десять минут. Вы здесь замерзнете и оконечете.

Она никогда не мерзнет, говорит она. Становится холоднее и холоднее, она сидит неподвижно. С одной из мачт высоковольтной линии передачи на нее глядит ворон, его почти нельзя различить на черном фоне вышейся громады Эдхорна.

Подходит пастор со своей женой, опять слышен сигнал колокольчика, пассажирский поезд из Оберлоттикофена огибает лесистый горный склон, останавливается, кондуктор соскакивает с подножки, кричит "Флётиген!", пастор целует свою жену, та садится в вагон, начальник станции поднимает жезл, пассажирский поезд трогается, кондуктор вскакивает на подножку, пастор машет рукой, поворачивается, видит Клери Мани, хочет поздороваться, но потом раздумывает и уходит.

Часы на церкви бьют десять раз. Из школы доносится крик детей, большая перемена, черная птица вспархивает и улетает, направляясь во флётенбахский лес.

Там, наверху, во флётенбахском лесу, несколькими часами позже Лачер приходит в себя, стекла по-прежнему опущены, в машине полно снега, и у него на пальто, и на синем, и на красном тренировочном костюме тоже снег. На какой-то момент он осознает, ему жутко холодно, и что-то теплое, сладковатое и черное течет у него изо рта, но боли он не чувствует, великий покой разлился по всему телу. Руки его машинально нащупывают зажигание, мотор взревел, он берется за ручку автоматического управления, не отдавая себе отчета в своих действиях, машину кидает назад, потом вперед, чуть вбок по дороге, затем она пробивает снежный боковой барьер, сползает со склона в кювет, бесшумно погружаясь в глубокий мягкий снег, и остается там лежать среди белых елей. Необычайное свечение исходит от нее, пробиваясь сквозь сумеречный снег и разливаясь вокруг.

С дороги до него доносится пение: "Взошла луна, на небе сияют звезды ярко, блестя, как огоньки". С удивлением он отмечает про себя, что кто-то идет там наверху по дороге и что уже ночь, а он точно помнит, что было утро и с ним в машине кто-то был, вот он только не может вспомнить кто.

"Какая святость в мире, и под покровом ночи так благостно в тиши!"¹ — поет женский голос, а ему еще чудится, будто песня отлетела далеко-далеко, а потом опять приблизилась и, наконец, захлебнувшись в бесконечных рифмах, отзвучала навечно.

Остается только добавить: Клаудине Цепфель, спускавшейся, распевая, по нерасчищенной дороге заснеженным лесом во Флётиген, нет нужды возвращаться на следующее утро назад в горы пешком, чтобы провести в деревне несколько уроков с горсткой учеников. Когда она на рассвете,

¹Строки из стихотворения немецкого поэта Маттиаса Клаудиуса (1740 – 1815) "Вечерняя песнь".

где-то около восьми утра, выскользнула незаметно из пасторского дома через заднюю дверь, оставив обессиленного пастора глубоко спящим, и выбиралась краешком леса на дорогу, обеспокоенная только одним — как бы остаться незамеченной, то это обстоятельство чуть не оказалось для нее роковым: по дороге наверх медленно двигался огромный снегомет, а за ним ползли снегоуборочный плуг, заправочная машина и соле-разбрасыватель, окруженные, как муравьями, дорожными рабочими в ярко-оранжевых халатах, орудующими лопатами. Застигнутая враспloch обрушившимися на нее снежными массами, извергаемыми снегометом, Клаудина Цепфель вмиг оказалась погребенной под снегом, засыпавшим ее по самую маковку, и нет сомнения, она непременно бы задохнулась, если бы не депутат парламента доктор Этти, ехавший в одном лендровере с членом правительства Шафротом, следуя по пятам за караваном из техники и людей, и, как патриот родного края, осуществлявший руководство всей операцией и подбадривавший ее участников; он-то и заметил своевременно беду и распорядился откопать несчастную учительницу. Еще лепеча что-то про ранний утренний поезд, которым она вроде бы как приехала во Флётиген, укутанная в шерстяной плед и зажатая между депутатом парламента и членом правительства, Клаудина Цепфель пока-тила, как во сне, наверх в долину. Продвигались они, правда, довольно медленно, невероятные снежные заносы поставили перед мощным снего-метом почти неразрешимые задачи, хотя он работал как зверь и с таким шумовым эффектом, словно в горах шли снежные обвалы, а "кадиллак", сползший где-то на его пути с дороги, полностью скрылся под выбросами снежных лавин, хотя его, правда, и без того было почти не видно среди занесенных снегом дебрей. Но каким бы трудным ни был бой с массами снега и льда, да еще в условиях начавшегося обильного снегопада, угро-жавшего всей экспедиции аналогичной битвой на обратном пути, они все-таки добрались до деревни, где все жители были уже в сборе, включая даже протрезвевшего наконец полицейского, не видевшего белого света вот уже более десяти дней. Все с удивлением разглядывали дико-винные машины, так что Клаудина Цепфель смогла незаметно под общий шумок проскользнуть в класс, довольная, что никого из ее учеников не оказалось на месте. Ее отсутствие тем более прошло незамеченным; поскольку депутат парламента д-р Этти — тут же, рядышком, стоял с сияющим лицом и член правительства Шафрот — подошел к насторожив-шемуся хозяину "Медведя", вокруг которого сгрудились мрачные крестья-не, потряс ему руку и объявил, что он, находясь под впечатлением не-преклонной воли флётенбахцев сохранить свою долину в девственном, нетронутom виде, чему он лично был свидетелем в Оберлоттикофене в "Монахе", предпринял как депутат парламента конкретные шаги: он искренне считает долгом общественности и ее общественных фондов прийти им по-дружески на помощь силами Швейцарской Конфедерации, облегчить их суровую долю здесь, наверху, для чего он, не откладывая дела в долгий ящик, прямо в воскресенье утром вытащил из постели члена федерального совета Швейцарской Конфедерации, в чьей компетенции находятся решения подобных вопросов, срочно собрал директоров круп-ных страховых компаний, сделал им заявление, что земли Флётенбаха — единственная горная долина в стране, не оскверненная пока еще канат-ными подъемниками и прочими типовыми застройками индустрии ту-ризма, и что экология окружающих гор еще сохранила свою естествен-

ность, а на альпийские луга и очередную гору здесь нужно еще самому карабкаться с лыжами, чтоб потом с ветерком промчатся вниз или плавно спуститься, демонстрируя искусство владения горными лыжами, а посему невольно напрашивается вывод, что именно здесь надлежит создать давно запланированный зимний оздоровительный курортный центр для блага швейцарского народа – с просторными помещениями для групп здоровья, с оборудованными гимнастическими залами, с катками, закрытыми плавательными бассейнами, гостиничным комплексом, больницей и, возможно, все же несколькими небольшими канатными подъемниками для тех, кто еще слишком слаб выдерживать режим нагрузок, предусмотренных полным курсом лечения в оздоровительном центре. Обстоятельства требуют, конечно, немедленно начать строительство шоссейной дороги на Флётенбах с подключением ее к автобану, короче – он развернул перед ними проект, убедивший их всех и, можно даже сказать, воодушевивший, тем более что необходимые суммы – десять миллионов от Конфедерации, пять от кантона и двадцать пять от страховых компаний – уже давным-давно были одобрены различными инстанциями и парламентом, еще до того, как было достигнуто согласие относительно выбора места, оставалось лишь назвать его, и вот отныне для них в их заброшенном медвежьем углу открывается перспектива счастливого будущего; этими словами депутат парламента закончил свою речь, вызвавшую среди флётенбахцев, ожидавших совсем иного к себе обращения и мысленно сидевших уже на скамье подсудимых перед судом присяжных в Оберлоттикофене, все нараставшее волнение, вылившееся в гробовое молчание, бездонную тишину которого еще больше усилил крик ворона, кружившего над людским безмолвием. Но вот лицо Шлагинхауфена, хозяина "Медведя" и председателя общины, просветлело, и он со слезами на глазах, нисколько не стыдясь их, принялся сердечно благодарить в самых простых выражениях депутата парламента, невольно перейдя с ним на "ты":

– Этти, мы от души благодарим тебя, Бог ниспослал нам свое благословение.

ЗИМНЯЯ ВОЙНА В ТИБЕТЕ

ПОВЕСТЬ



DER WINTERKRIEG IN TIBET

Erzählung

Перевод И. Кивель

© 1981 by Diogenes Verlag AG, Zürich

Я наемник и тем горжусь. Я воюю не только от имени Администрации, но и как исполнитель, пусть скромный, ее миссии — той части этой миссии, которая заключается в борьбе с врагами. Ведь Администрация существует не только для того, чтобы помогать гражданам, но и чтобы защищать их.

Я воюю в Тибете, где идет Зимняя война. Зимняя она потому, что на склонах Джомолунгмы, Чоой, Макалу и Манаслу всегда зима. Мы сражаемся на фантастической высоте, на глетчерах и крутых склонах, на осыпях и у берешрундов, под нависающими скалами, то в лабиринте окопов и бункеров, то на совершенно ослепляющем, ярчайшем солнце. И борьба усложняется еще и потому, что и мы, и противник одеты в одинаковую белую форму. Эта война — жестокая, неуправляемая рукопашная. Холод на вершинах и скалистых склонах дикий, носы и уши у нас обморожены.

Войско Администрации состоит из наемников всех рас и народностей Земли: рядом с огромным негром из Конго сражается малаец, белокурый скандинав — рядом с австралийским бушменом. Здесь не только бывшие солдаты, но и члены бывших подпольных организаций, террористы всевозможных идейных убеждений, профессиональные убийцы, мафиози и обыкновенные уголовники. У неприятеля состав такой же.

Когда мы не участвуем в боях, то забиваемся в ледяные норы, в пробитые в скалах ходы и шахты, они связаны между собой и образуют в огромных горных массивах необозримую разветвленную сеть, так что и здесь враждующие стороны неожиданно сталкиваются и друг друга истребляют.

Опасность преследует нас везде. Даже в борделе под Канченджангой, в "Пяти сокровищницах великого снега", с проститутками со всего света. Это примитивное заведение посещалось и неприятелем. Команданты борделей враждующих сторон договорились между собой. Это я не в упрек Администрации: половые сношения — такая человеческая потребность, которую трудно взять под контроль. И все же некоторых из моих товарищей прикончили, когда они лежали с проституткой, в том числе и моего

любимого командира, он был у нас командующим еще в последнюю мировую войну. Он уже тогда предпочитал солдатские бордели офицерским. Хорошо помню, как снова встретил его...

Двадцать-тридцать лет тому назад – да кто теперь считает годы! – явился я с удостоверением Администрации в один маленький непальский городок. Встретила меня тут баба-офицерша и сразу взяла в оборот. Я уже чувствовал себя дряхлым паралитиком, когда она распахнула передо мной ржавую железную дверь и снова рухнула на пол. Все произошло в пустом помещении: у стены матрац, на полу – ее офицерская форма и мое гражданское барахло, изодранное в клочья... Дверь была настежь, в комнату набилось полно девчонок. Исцарапанный и раздраженный орущей толпой подростков, я поднялся, переступил через голую насильницу и, пошатываясь, проскользнул в дверь, не заметив, что за дверью крутая лестница. Свалившись вниз, я приземлился на бетонном полу, весь в крови, но не потеряв сознания, довольный, что лежу. Потом тихонько осмотрелся.

Я находился в прямоугольной комнате. На стене висели автоматы, белая военная форма и обтянутые белой материей стальные шлемы. За письменным столом сидел наемник неопределенного возраста, лицо будто вылеплено из глины, беззубый рот. На нем такая же белая форма и белый шлем, как на стене. Перед ним, на столе, лежал автомат, а рядом – стопка порнографических журналов, которые он перелистывал.

Наконец он обратил на меня внимание:

– Вот, стало быть, новичок. Без сил, как и следовало ожидать.

Он выдвинул ящик, достал формуляр, задвинул ящик; все это медленно, степенно, складным ножом с трудом отточил огрызок карандаша, порезавшись при этом; чертыхнулся и наконец принялся записывать, испачкав, однако, кровью весь формуляр.

– Встань, – приказал он мне.

Я встал. Мне было холодно. Только сейчас до меня дошло, что я совершенно голый. Лицо и руки у меня были в ссадинах, лоб кровоточил.

– Твой номер ФД 256323, – сказал он, даже не поинтересовавшись, как меня зовут. – В бога веришь?

– Нет, – ответил я.

– А в бессмертную душу?

– Нет.

– Это и не положено, – согласился он, – просто верить как-то спокойнее. А в неприятеля веришь?

– Да, – ответил я.

– Вот видишь, – сказал он, – это как раз положено! Надевай форму, бери шлем и автомат. Они все заряжены.

Я повиновался.

Все так же обстоятельно он запер формуляр в ящик стола и встал.

– Ты с таким оружием обращаться умеешь? – спросил он.

– Что за вопрос!

– Но ведь не все же такие старые фронтовые волки, как ты, Двадцать третий!

– Почему Двадцать третий?

– Потому что твой номер оканчивается на двадцать три, – объяснил он, взял со стола автомат и открыл низкую полуразвалившуюся деревянную решетку.

Я, прихрамывая, последовал за ним.

Мы вошли в какую-то узкую сырую галерею. Она была вырублена в скалах и лишь скудно освещена маленькими красными лампочками, провода свободно свисали вдоль стен. Где-то шумел водопад. Раздались выстрелы, потом глухой взрыв. Наемник остановился.

— Если нам кто-нибудь попадет на навстречу, стреляй, и все, — сказал он. — Может, это враг, а коли нет — тоже не жалко.

Галерея, похоже, шла под уклон, но полной уверенности не было, потому что нам приходилось то карабкаться вверх, натываясь на крутизну, то сигать вниз, в неведомые глубины. Кое-где галереи и шахты были расположены в строгом порядке и снабжены сложной системой лифтов, а кое-где все было до крайности примитивно, словно строилось в незапамятные времена и вот-вот обвалится. Нечего было и думать изучать "географию" этого лабиринта, в котором обитали мы, наемники, — составить себе хоть приблизительный план. Руки мои сильно кровоточили. Несколько часов мы проспали в какой-то пещере, забравшись туда, как звери в нору.

Казалось, лабиринт распутывается. Галерея шла прямо, как стрела, только непонятно куда. Иногда мы преодолевали километры, шагая по колено в ледяной воде. От галереи, по которой мы шли, ответвлялись другие. Отовсюду капало, но иногда наступала мертвая тишина и лишь гулко отдавались наши шаги.

Вдруг наемник стал двигаться осторожнее, держа автомат на изготовку: на углу нашей и другой галерей что-то просвистело мимо моей головы — я был опять на Третьей мировой войне. Пригнувшись, мы побежали вниз по какому-то подобию винтовой лестницы, деревянной, полусгнившей, с которой наемник открыл совершенно бессмысленную стрельбу по галерее — никого ведь не было видно, — пока не кончились патроны.

Спустившись еще ниже, мы очутились в пещере, где было чуть светлее, куда вели и другие винтовые лестницы — одни шли сверху, как та, по которой мы попали сюда, другие снизу. Из пещеры широкая галерея вела к двери лифта. Наемник нажал кнопку. Мы прождали примерно четверть часа.

— Как только мы выйдем из подъемника, — сказал он, — тут же бросай автомат и поднимай руки вверх.

Дверь открылась, мы вошли в подъемник — маленький, тесный, непонятно зачем обитый потертой бордовой парчой. Не помню, вниз или вверх шел лифт. В нем оказалось две двери. Я заметил это, только когда спустя четверть часа у меня за спиной раскрылась дверь.

Наемник выбросил свой автомат наружу, я последовал его примеру. Я вышел с поднятыми вверх руками, наемник тоже поднял руки.

В ужасе я остановился: передо мной в инвалидной коляске сидел безногий солдат. Вместо рук у него были протезы, левая представляла собою конструкцию из стальных стержней, переходившую в автомат. Кисть правой искусственной руки состояла из шипцов, отверток, ножей и стального грифеля. Нижняя часть лица — тоже стальная, на месте рта — шланг. Существо откатило назад, делая нам знаки автоматом, чтобы мы приблизились. Руки мы опустили.

В центре пещеры был подвешен за руки голый бородатый человек, к ногам его привязали тяжелый камень. Человек этот висел неподвижно, время от времени издавая хрип. У стены — это была просто скала — на

кое-как сколоченных нарах, посреди груды оружия и ящиков с патронами, в окружении коньячных бутылок, сидел огромного роста пожилой офицер в расстегнутом мундире, из-под которого выглядывала белая грудь, заросшая слипшимися от пота волосами. Мундир был мне хорошо знаком еще со времен войны. В офицере я узнал старого командира. Он поднес ко рту бутылку и отхлебнул.

— Джонатан, кати в угол, — проговорил он, с трудом ворочая языком. Существо поехало к стене пещеры и принялось что-то выцарапывать на скале. — Джонатан у нас философ, — объяснил командир и глянул на меня. Тут его осенило. — Ганс, дурачок, — захохотал он хрипло, — неужто ты меня не помнишь? Это я, твой бывший командир. — Он засветился счастьем. — Я ведь тогда пробился в Брегенц. Поди-ка сюда.

— Ваше превосходительство... — пробормотал я.

Я подошел, он прижал мою голову к потной груди.

— Вот и ты здесь, — продолжал он сипеть мне в ухо. — И ты здесь, сукин ты сын.

Он ухватил меня за волосы и принялся мотать мою голову из стороны в сторону.

— Было бы удивительно, если б Администрация приручила моего паренька. Солдат всегда останется солдатом. — И он наградил меня таким пинком, одновременно выпустив из объятий, что я налетел на подвешенного, который громко застонал и закачался туда-сюда, будто язык огромного колокола.

Я поднялся. Мой бывший командующий хохотал.

— Сигару мне, скотина! — зорал он на наемника, который меня привел. — Я уже выкурил свою порцию.

Наемник молча подал ему сигару, затем вытащил записную книжку и, заглянув в нее, заявил:

— Вы должны мне уже семь, командир.

— Ладно, ладно, — пробурчал тот и щелкнул золотой зажигалкой, резко выделявшейся на фоне его грязного мундира и чудовищного убожества пещеры.

Мне припомнилось, что я видел у него эту зажигалку еще в курортной гостинице в Нижнем Энгадине, что наполнило меня удовлетворением. Старые добрые времена не совсем миновали.

— Пошел вон, — приказал командующий моему попутчику, тот отдал честь и повернулся на сто восемьдесят градусов. В ту же секунду командующий прошил его очередь из автомата.

Потом с удовлетворением положил автомат рядом с собой на нары. Джонатан подкатил к телу и обыскал его своим правым протезом.

— Сигар у него больше нет? — поинтересовался командующий.

Джонатан покачал головой.

— И порнографического журнала тоже?

Джонатан снова покачал головой, подцепил тело крюком своей коляски и поволок его прочь.

— Теперь никто больше не знает дороги сюда, — заключил командующий, — часовые снаружи ненадежны. Они с удовольствием сбегут к неприятелю. Эта свинья тоже перебежчик. А раньше всегда приносил мне порнографию.

Тут он уставился на висящего голого мужчину.

— Ганс, — проговорил он, выпуская удушливый сигарный дым, — ду-

рачок, ты, кажется, удивлен, видя здесь вот этого. Армия — надеюсь, ты это еще не забыл — не жалуется живоде́ров, и ты, конечно, еще не забыл, что твой старый командир тоже не живоде́р. Я любил солдат как своих детей, и наемников я тоже люблю как своих детей.

— Так точно, ваше превосходительство! — отчеканил я.

Он кивнул мне, шатаясь подошел к стене и помочился рядом с Джонатаном, который уже вернулся и снова цапал что-то на стенке.

— Когда человек голым болтается на веревке, — приговаривал он, справляя нужду, — это задевает мои чувства, так ведь, Ганс, ты же порядочный парень и знаешь, как я сочувствую этому типу. Я сентиментальный. А сентиментальность — человеческое свойство. Животные не сентиментальны. Стоять по стойке "смирно", когда я с тобой разговариваю. Я вытянулся.

— Так точно, ваше превосходительство.

Старик обернулся, застегнул брюки и, прищурившись, глянул на меня.

— Ну, Ганс, — спросил он, — что ты думаешь об этой вонючей собаке? Почему он здесь висит?

Я задумался.

— Он пленный, ваше превосходительство, — предположил я, все еще стоя навывтяжку. — Враг.

Командующий топнул ногой.

— Он из моей роты — наемник. Ты ведь тоже готов стать наемником, полковник?

Он смотрел на меня молча, почти враждебно, и я ответил, не шевельнувшись:

— Я на это решился.

Командующий кивнул.

— Вижу, ты все тот же brave парень, шалопа́й, готовый на все, как тогда, в курортной гостинице. Теперь смотри хорошенько, малыш, что я буду делать.

Покачиваясь, он медленно направился на середину пещеры и потушил горящую сигару о живот висящего.

— Ну вот, теперь ты тоже можешь помочиться, — проговорил командующий.

Наемник только застонал в ответ.

— Бедный парень больше не может мочиться, — сказал командующий, — а жаль.

И он качнул его.

— Ганс, — обратился ко мне командующий.

— Да, ваше превосходительство?

— Эта собака болтается здесь уже двенадцать часов, — сказал он и снова толкнул висящего. — Но он храбрый пес, отличный вояка, сынок, которого я люблю.

Он подошел ко мне почти вплотную. Старый великан был выше меня на целую голову.

— Знаешь ли ты, кто сотворил это свинство, сынок? — угрожающе спросил он.

— Нет, ваше превосходительство, — ответил я и щелкнул каблуками. Командующий молчал.

— Я, дорогой, — сказал он грустно. — А знаешь почему? Потому что

мой сыночек вообразил себе, будто врагов больше нет. Возьми автомат, парень. Это лучший выход для моего сыночка.

Я разрядил автомат.

Теперь перед нами качалась окровавленная туша.

— Ганс, — проговорил командующий нежно, — пошли к лифту. Я задыхаю тут, внизу. Мне надо опять на фронт.

Одним лифтом дело не обошлось. Первый был просто шикарный. Мы разлеглись в нем на канапе. Напротив висела картина: лежащая на животе голая девушка на канапе.

— Этот Буше у меня из старой Пинакотеки, — объяснил командующий. — Весь Мюнхен превратился в груды развалин. Рай для мародеров!

Дальше подъемники становились все проще: оклеенные картинками из порнографических журналов и с нацарапанными повсюду непристойностями. Потом лифты кончились. Мы карабкались в масках, с тяжелыми кислородными аппаратами на спине вверх, по крутым шахтам, однако командир не ведал усталости. Этот великан делался все веселее — он знал бесчисленное количество тайников, где был припрятан коньяк. Он совсем разозорничался и на самых трудных участках пути горланил с переливами на тирольский манер. Мы ползли все выше по низким галереям, взлетали в подъемных клетях и наконец оказались в командном бункере в нескольких метрах под Госаинтаном.

Спал я долго и без сновидений. Продырявив наемника из своего автомата, я сам стал наемником, впервые выполнив свой долг на службе у Администрации.

Наемник не имеет права задаваться вопросом, существует ли неприятель, по одной простой причине: это его убьет. Стоит лишь усомниться в существовании врага — даже подсознательно, — и ты больше не способен воевать. А коли подобные сомнения завели наемника так далеко, что он отваживается задать этот вопрос вслух, ему уже нет спасения; тогда командующему и остальным наемникам приходится уже спасать все. Поэтому я и горжусь, что выстрелил. Я стрелял от имени всех.

С тех пор такие вопросы больше не задавались. Зимняя война учит наемника задавать лишь те вопросы, на которые, правда, тоже нет ответа, но в которых хотя бы есть смысл. Его не интересует, кто враг, его интересует, за что он воюет и кто отдает приказы. Эти вопросы имеют смысл, а вопрос о наличии врага таит в себе искушение отрицать его существование, хотя мы с ним ежедневно деремся, хотя он существует, ибо мы его убиваем. Война без неприятеля была бы бессмысленной, была бы сплошной бессмысленностью, поэтому наемник вопросов не задает — или же он сам подставляет себя под следующую автоматную очередь: единственная возможность убедиться, которая ему остается. Другой просто нет. Передаются сообщения о фантастических победах, окончательная победа не за горами, в сущности, она уже одержана, тем не менее Зимняя война продолжается.

Наемники не знают, за что воюют, за что умирают, за что им ампутируют руки-ноги в походных лазаретах, а потом снова шлют на фронт под адский огонь: кого с грубыми протезами, крюками и гайками вместо рук, кого ослепшими, вместо лица — кровавая маска. Фронт теперь всюду. Они знают одно: идет война с врагом.

Совершаются бесчеловечные и бессмысленные подвиги, неизвестно во имя чего, наемники давно позабыли, что пошли на войну добровольно;

они пытаются вникнуть в цели Зимней войны, создают фантастические идейные построения, чтобы понять, зачем нужна эта бойня и почему от нее, возможно, зависит судьба человечества. Лишь такого рода вопросы еще имеют для них значение.

Надежда обрести хоть какую-то цель придает им силы, в которых они так нуждаются, поиск цели помогает им вынести всю эту мясорубку. Вот почему наемник бьет не только неприятеля, но и наемника из своих собственных рядов. Так наемник познает не только врага, но и противника: наемника, который понимает смысл войны иначе, чем он сам, этого противника он ненавидит, а враг ему безразличен; с противником он по-настоящему жесток, истребляет его, а врага он просто убивает.

Так среди наемников возникают секты, и они перебегают в те, которые хоть и состоят из противников, но кажутся им более притягательными, чем прежние, где они, возможно, были едины в главном, но разошлись по второстепенным вопросам или по вариантам второстепенных вопросов: нюансы внезапно становятся для них важнее главного.

Иные секты развивают удивительные теории насчет того, кто командует сражениями, в каких горных массивах скрывается вражеский генеральный штаб, под Чанцзее или под Лодзе, в то время как их собственный, как им кажется, находится под Аннапурной или под Дхаулагири. Какая-то — совершенно исключительная — секта, преследуемая всеми, в том числе и неприятелем, верит в *один-единственный* штаб, обретающийся внутри трех отдаленных вершин Брод-Пик. Существовала якобы даже секта — теперь совершенно искорененная, — утверждавшая, будто есть только один-единственный Главнокомандующий, дряхлый, слепой генерал-фельдмаршал, ведущий как бы войну против самого себя под огромным К2, и будто бы обе стороны подкупили его. Кроме того, вроде бы есть секта, которая верит, что этот генерал-фельдмаршал еще и помещанный. Эти разнобразные секты образуют новые фронты, сражающиеся друг против друга. Те в свою очередь распадаются на новые — и так далее.

Дисциплина, таким образом, отнюдь не на высшем уровне, во время кровопролитных боев наемники очень часто перегруппировываются и косят своих вместо врагов, подрываются на собственных гранатах, падают, прошитые очередями из собственных автоматов, сожженные пламенем собственных огнеметов, они замерзают в ледяных расселинах, гибнут от кислородной недостаточности на фантастических высотах, где они окопались в отчаянии, не решаясь вернуться в свой лагерь из страха, что там могли возникнуть новые группировки, а между тем прибывают все новые части из разных стран, разных национальностей. Но и у врага происходит то же самое — если враг вообще существует, себе я могу позволить этот вопрос. Командующий давно уже — я.

Когда его, голого и огромного, стащили с потаскухи, а потом труп убрали, я надел его форму, и наемники стали относиться ко мне с почтением.

Мне известно: наемники в курсе, что я заколол его; что это сделано по его просьбе, им знать необязательно.

— Ганс, сынок, — смеясь сказал он перед тем, как мы отправились в бордель, и встал в своей старой пещере на том месте, где два года назад подвесил наемника. — Продырявь меня из автомата. Ведь то, что враг существует, — полный идиотизм. Давай, сынок.

Я молчал, делая вид, что не понимаю его, а Джонатан в своем кресле-каталке тем временем выцарапывал какие-то каракули на стене главной галереи. Потом мы по бесконечным переплетениям ходов добрались до борделя.

Когда он застал от наслаждения, я нанес удар. Мой командир заслужил хорошую смерть. Потаскуха заорала; остальные девки стянули его на пол и встали кругом — голые и неуклюжие. Я вытер клинок о простыню и заметил, что командующий смотрит на меня.

— Сынок, — прошептал он, и мне пришлось стать на колени, чтобы лучше слышать, — сынок, ты учился в университете?

— На философском, — ответил я.

— И диплом защитил?

— По Платону, — ответил я, — а перед устным экзаменом как раз началась Третья мировая война.

Командующий захрипел. Не сразу до меня дошло, что он смеется.

— А я изучал литературу, сынок. Гофмансталя.

Я поднялся.

— Он умер, — сообщила потаскуха.

Командующий был великим командиром. Теперь он был бы мне вдвойне благодарен за то, что я его убил: борделей давно уже нет, а они были его единственной страстью, коньяк — лишь привычкой.

Теперь вместо борделей женщин берут на войну как наемниц. Должен признать, что отчаянной храбростью они превосходят мужчин, а из-за секса фронт стал еще более адским: убивают и совокупаются без разбору. Кровь, сперма, кишки, околоплодная жидкость, потроха, зародыши, блевотина, орудия новорожденные, мозги, глаза и последы потоками катятся с гигантских глетчеров в бездонные пропасти.

Я уже привык ко всему. Безногий, сижу я в кресле-каталке в старой пещере. Рук у меня тоже нет, левое предплечье плавно переходит в автомат. Я стреляю во всякого, кто показывается здесь, галереи завалены трупами; к счастью, еще существуют крысы. Правая рука — это целый инструментарий: щипцы, молоток, отвертка, ножницы, грифель и тому подобное — все из стали. В одной из соседних пещер — огромный склад консервов и коньяка высшего сорта: мой предшественник позаботился.

Конечно, стало тихо, автоматная левая рука мне совсем без надобности, а несколько лет назад все кругом тряслось — возможно, Администрация сбросила бомбу.

Мне все равно. У меня есть время подумать и время нацарапать свои мысли на каменных стенах с помощью стального грифеля, прикрепленного к правому протезу. Идею мне подал Джонатан, он же подсказал и метод. Каменных стен достаточно, сотни километров, местами они освещены, хотя перегоревшие лампочки больше не заменяются. Но я в состоянии — если нужно — и в потемках выцарапывать письма на скалах: про Зимнюю войну и как я в нее вступил; встречу с командующим и его смерть я уже описал; стены пещеры испещрены моими надписями; теперь я начал исписывать стены большой, главной галереи, которая вела к борделю; одна строка в двести метров длиной, потом вернусь обратно и опять напишу двухсотметровую строчку; я сделаю семь таких строчек по двести метров, одна под другой. Когда закончу здесь, то продолжу

писать на противоположной стене, одолею и там двести метров, тогда примусь писать на первой стене, где закончил раньше, и дотяну опять до двухсот метров — и так далее; на каждой стенке по семь двухсотметровых строк. Можно стать настоящим писателем.

(Длинные строки, которые невозможно прочесть. Так получилось потому, что пишущий не увидел или не мог увидеть, что выводит надписи на уже исписанной стене, и теперь ни ту, ни другую надпись нельзя разобрать. После нескольких метров неисписанной стены запись продолжается.)

...это не что-то вроде мистической притчи — то, что я здесь записываю, — и не описание бредовых сновидений какого-то с трудом слепого из запасных частей, небоеспособного наемника — даже моя черепная коробка и та из хромированной стали. Я пытаюсь всего лишь изобразить Администрацию.

Конечно, мне могут возразить, что для изображения этой реальности мне недостает дистанции, которая позволяет судить о действительности, однако в пещерах и галереях этого чудовищного горного массива у меня уже не может быть нужной дистанции. Это неоспоримый довод. Смешно даже пытаться его опровергнуть, однако, если принять во внимание тот факт, что мне, пригвожденному к креслу, остались только собственные мысли, собственные стальные протезы и бесконечные каменные стены, станет ясно: это вынуждает меня к априорному мышлению.

То, что Администрация возникла в ходе Третьей мировой войны, было неизбежно. Законы, которым подчинено человеческое общество, я могу представить себе только как законы природы. Законы, которые будто бы открыл диалектический материализм, кажутся мне полной нелепостью. Разве законы природы можно поверить гегелевской логикой?

Идея причинности также малообоснованна. Процесс в целом делится на пары, находящиеся друг с другом в соотношении причины и следствия; тезис о причине, которая и сама имеет причину, — это пошлость, ни один процесс не обходится *одной* причиной, их бесконечно много; разве всякий процесс не указывает на *некий* другой процесс как на причину своего возникновения, скорее, он связан "каузально" со всеми возможными причинами, в итоге — со всей мировой историей.

Однако и тезис, который я вычитал у одного давно забытого писателя, насчет того, что закон больших чисел обуславливает примат справедливости, неверен: исходя из математических категорий нельзя делать выводы, относящиеся к этической сфере, при этом я считаю справедливость и несправедливость чисто эстетическими понятиями. Справедливым или несправедливым образом — безногий, при помощи двух протезов вместо рук, я выцарапываю надписи на стенах своего лабиринта, — безразлично, ибо ни справедливость, ни несправедливость не изменят моего положения; разве что меня развеселит самая постановка вопроса: из математических понятий следуют только выводы, относящиеся к физике или, касательно человека, к институтам. Лишь в этом случае закон больших чисел играет роль.

Подобно тому как законы термодинамики выявляются, только когда участвует "очень много" молекул, так и природный закон институций — будь то в экономике или в государстве — действует лишь при "очень большом" количестве людей; независимо от тех ценностей и идеологии,

какие исповедуют эти люди, он соответствует термодинамическому закону природы. Жестокий вывод. Я выпарарываю его на скале на глубине тысяч метров под Госаинтаном.

Со времени учебы – прерванной Третьей мировой войной – в памяти у меня осталось лишь число Лошмидта¹, хотя я никогда не занимался этим вопросом и даже не помню, как оно когда-то засело в голове: при 0° Цельсия и давления в одну атмосферу в 22 415 см³ идеального газа содержится $6,023 \cdot 10^{23}$ молекул. Другими словами, число Лошмидта выражает точное соотношение объема, массы, давления и температуры какого-то газа: увеличивается масса при прежнем объеме – повышаются давление и температура; если же растет объем, а масса остается прежней, давление и температура падают. $6,023 \cdot 10^{23}$ – ”большое число”. Однако оно все-таки малое по сравнению с количеством атомов, входящих в состав какой-либо звезды; я предполагаю, что это количество составляет 10^{53} .

Движение отдельного атома непредсказуемо и неисчислимо; звезды же можно исчислить, они как бы институты атомов. Эти институты подчиняются законам, в силу необходимости деформирующим атомы. Точно так же в силу необходимости человеческие институты деформируют человека. Государство – человеческая институция. Когда здесь, во чреве Гималаев, я раздумываю о звездах, я раздумываю о государствах. Только таким образом можно в моем положении еще размышлять о человеке. У меня нет никаких отправных точек для размышлений, кроме тех, что я прихватил с собой в эту пещеру из времен, предшествовавших Третьей мировой войне, хотя мои познания складываются из неясных воспоминаний о каких-то неясных гипотезах. Я хотел бы опровергнуть мнение, будто Третья мировая война разразилась из-за того, что не существовало Администрации, способной ее предотвратить. В действительности война разразилась, потому что Администрации еще не могло быть.

Первичное солнце, первозвезда, постепенно образующаяся из разреженного газового облака – примерно как та в созвездии Ориона, – сначала огромно, диаметр соответствует световому году, плотность смешотворная (но все же для позднейшей его судьбы решающая), близкая к вакууму; состав газа: 80% водорода, 2% тяжелых элементов от взрыва Сверхновой (если нет тяжелых элементов, планеты не возникают), 1% углерода, азот, кислород, неон, остальное – гелий; момент количества движения едва 10 см в секунду, температура низкая; газ – смесь космической пыли, попадают даже ”органические” молекулы из соединений углерода. Гравитация заставляет огромное солнце сжиматься, оно превращается сначала в красного сверхгиганта, его диаметр достигает светового часа, момент количества движения у него все возрастает.

Сжавшись до размеров орбиты Меркурия, до диаметра в три световые минуты, солнце в результате экваториальной угловой скорости 100 км в секунду превращается в диск и выбрасывает материю в мировое пространство. Большая часть этой выброшенной материи, прежде всего водород, остается вне силы притяжения солнца; углерод, азот, кислород и неон образуют внешние большие планеты, а железо, окись магния,

¹ Дюрренмат допускает неточность. Число Лошмидта – число молекул в 1 см³ идеального газа при нормальных условиях: $N_L = 2,68 \cdot 10^{19}$ см⁻³. Число Авогадро (N_A) – число молекул или атомов в 1 моле вещества: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹.

кремний — внутренние маленькие планеты; солнце уменьшилось до десятибillionной части своего прежнего размера, превратилось в желтый карлик, его диаметр составляет теперь всего миллион километров, его экваториальная угловая скорость, затормозившаяся из-за выброса материи, снизилась до 2 км в час, состав стабилизировался.

При этом давление внутри солнца возросло примерно до 100 миллиардов килограммов на кубический сантиметр, эта тяжесть могла бы его разрушить, но температура внутри солнца достигла 13 миллионов градусов, что обеспечивает равновесие. При такой огромной внутренней температуре происходит ядерный процесс, водород превращается в гелий; полученная энергия излучается в световых квантах, но внутренность солнца абсолютно темна. При чрезвычайно высокой температуре солнечных недр свет поглощается в долях сантиметра, так кванты света в постоянных процессах излучения и захвата переносят энергию в холодные конвективные зоны, которые, словно мантия, окружают солнечное ядро; этот процесс длится около 10 миллионов лет.

В конвективной зоне горячие и холодные массы газов перемешиваются, но основной части световых квантов не удается пробить конвективную зону, часть энергии опять излучается в центр, а энергия, достигшая зоны конвекции, вызывает в ней бурление. Внешние конвективные зоны теряют стабильность, образуются солнечные пятна, протуберанцы вздымаются вверх, в атмосферу солнца, и падают обратно на поверхность, кванты света освобождаются и, пройдя сквозь фотосферу в хромосферу, улетают через солнечную корону в мировое пространство. К уравновешенному давлению внутри солнца присоединяются равновесие внешней поверхности и равновесие энергии, фотосфера выделяет столько энергии вовне, сколько получает ее из зоны конвекции; количество энергии солнца устоялось, хотя оно теряет ежедневно 360 миллиардов тонн материи, но это пустяк при его размерах.

Однако такое идеальное состояние не может быть вечным; ядерный процесс внутри солнца проникает и в конвективную зону, поверхность солнца раскаляется, вряд ли на Земле будет возможна жизнь. Солнце увеличивается в размерах, пока опять не достигнет орбиты Меркурия; жизнь на Земле угаснет, атмосфера, моря испарятся. Поверхность солнца начнет остывать, солнце уменьшится, температура его поверхности опять повысится. Солнце снова станет таким же огромным, как сейчас, только гораздо более светлым и горячим; оно превратится в голубую звезду.

Равновесие внешнего и внутреннего давлений восстановится опять, только солнце станет теперь сжигать гелий своих недр и раскалять водород, окружающий его ядро. Нагретый водород расширяется, но недостаточно быстро, чтобы совсем покинуть солнце, лишь сотая часть процента общей массы солнца уйдет в космос. Во время этого расширения солнце несколько недель светит в сотни тысяч раз сильнее, чем сегодняшнее солнце, оно превращается в Новую звезду. После тысячи подобных расширений солнце избавится от водорода, станет белым карликом не больше Земли, газ дегенерируется, лишь некоторые электроны останутся свободными, солнце исчерпает запас ядерной энергии и превратится в "молекулу". Гравитация преодолет расширение, солнце остынет, превратится в кристалл величиной с Землю, наконец — в невидимый черный карлик, только времени, которое потребуется на все это, надо больше, чем насчитывает возраст нашего Млечного Пути.

Но не все солнца ожидает подобный конец. Звезды, масса которых меньше, чем масса нашего солнца, красные карлики, наверно, никогда не могли образовать достойную упоминания конвективную зону, они преждевременно превращаются в маленькую Новую звезду, однако остаточное ядро обладает слишком малой массой, чтобы преобразоваться в белый карлик.

Звезды, масса которых превышает массу солнца в 1,44 раза, тем скорее делаются нестабильными, чем они тяжелее, долгое время не может быть достигнуто равновесие давления и поверхностное равновесие, а также энергобаланс, они слишком расточительны со своим запасом энергии, подобно голубым гигантам: огромное внутреннее давление создает в ядре температуру около трех миллиардов градусов; в этой преисподней все элементы превращаются в гелий. Чем больше масса солнца, тем скорее растет опасность, что возникнет Сверхновая. Чудовищный взрыв сметает конвективную зону солнца в мировое пространство, и при этом испускается света больше, чем галактической системой с ее сотней миллиардов солнц, в то время как ядро (если оно превышает 1,44 солнечной массы сверх пресловутой границы Чандрасекара¹) не достигнет состояния равновесия белой звезды: оно под влиянием собственной тяжести сожмется, превратится в крошечное солнце невероятной плотности, диаметр которого около десяти километров и которое вращается вокруг собственной оси тридцать раз в секунду. Эта нейтронная звезда уже не может взорваться, ее атомы разрушились, атомные ядра вследствие столкновения электронов и протонов распались на нейтроны, которые образуют дегенерирующий нейтронный газ. Если ядро еще тяжелее, происходит полный гравитационный коллапс, эти особо богатые массой солнечные ядра выпадают из пространства и времени, превращаясь в черные дыры, всасывающие благодаря силе тяжести свое окружение. Есть доля иронии в том, что я в полной темноте, окружающей меня со всех сторон, записываю на стенах галереи звездный исход.

(Запись прерывается, продолжение на стене другой галереи.)

Не смог вернуться в главную пещеру — не нашел. Я понятия не имел, по какой галерее катил в своем кресле, на которой стене выцарапывал свои надписи. Продукты, банки дешевого бульона, я раздобыл в одной из пещер — намного меньше, чем та, командирская. Нашел лифт, который уже не работает, стены голые, никакого тебе Буше.

Я несколько дней трудился, чтобы прикрепить ящик с консервами правым протезом к своему креслу, ведь очень трудно что-нибудь отыскать в потемках с помощью протеза, а левая "автоматная" рука стала совершенно ненужной. Все пытаюсь разобрать ее, однако пока тщетно. Тащу ящик с концентратами за собой и порой не имею представления, в какую сторону двигаюсь, иногда я останавливаюсь, чтобы делать записи на стенах, записи, которые я не мог прочесть, однако записывать было необходимо; я не астроном и не физик, и мои познания о звездах весьма приблизительны. Перед Третьей мировой войной я прочел на эту тему несколько книг, теперь наверняка устаревших. Пытаюсь припомнить их содержание и воссоздать в памяти эволюцию звезд. Поэтому представляю три варианта своих записок.

¹Чандрасекар, Субрахманьян — американский астрофизик-теоретик.

(До сих пор, правда, найден лишь один вариант, который состоит из надписей на стенах многих галерей, но возможно, надпись составляют все три варианта.)

Во время записи последнего варианта я, видимо, окончательно заблудился. Уже и вторую пещеру я найти не смог. Ничего: найдутся другие. Так что я отправляюсь дальше. Предполагаю, что все еще нахожусь под Джомолунгмой. Камень здесь гладкий, я по возможности аккуратно выписываю на нем свои мысли.

И не только мысль о черной дыре развлекает меня: Джомолунгма раньше называлась Гауризанкар, так что под Гауризанкаром я раздумываю о законе Чандрасекара. Может, именно по этой причине я угодил на Зимнюю войну: меня соблазнило это имя. Судьбы, если обдумать все задним числом, вполне закономерны, логичны. Железо для протезов моего залатанного тулова и гора-великан Гауризанкар происходят от одного и того же солнца, которое пренебрегло границей Чандрасекара и превратилось в Сверхновую, шесть миллиардов лет тому назад загрязнившую протосолнце и способствовавшую тому, чтобы родилась на свет наша Земля: большая часть того, из чего я состою, старше Земли.

С глубоким почтением выписываю я на камнях имя "Чандрасекар". Некоторые наблюдения указывают на то, что в недрах солнца произошли изменения, которые в течение последующих десяти миллионов лет сделают Землю необитаемой на все времена, но остается какой-то шанс, что на луноподобной Земле пребудут в неприкосновенности Гималайские горы, ведь на Луне тоже существуют горы. И еще есть совсем уж смехотворно крохотный шанс, что через многие миллиарды лет, когда выгоревшая дотла Земля будет вращаться вокруг белого карлика, каковым станет наше солнце, и через неисчислимые миллиарды лет, когда она будет вращаться вокруг солнца, превратившегося в черный карлик, астронавты того, другого, будущего мира посетят Землю. И еще есть один, совсем уж невероятный шанс, шанс, собственно говоря, ничтожный, что эти неведомые существа откроют систему пещер в Гималаях и изучат ее. Мои записи — единственное, что они узнают о человечестве.

В надежде на такой невероятный случай я и пишу все это. В моем положении не может быть иной цели. Я задумал создать письмена, по которым можно прочесть судьбу человечества; эти письмена не частное дело, не что-то касающееся только меня, раз я принадлежу к человечеству, да, но здесь не должно быть ничего, что касается человечества. Существа, которые прочтут надписи через неисчислимые миллиарды лет, ничего тогда не поймут, потому что наверняка будут, если все-таки случится невероятное и они прочтут эти записи, не людьми: природа (как она ни тупа) вряд ли повторит глупость, снова создав приматов; случайность, которая в конце концов привела к формированию нашей породы, вряд ли произойдет во второй раз. С этими существами говорить о нас нельзя, можно говорить только о том, что касается одинаково их и нас: о звездах.

Из моих писаний они, конечно, ничего не почерпнут о наших религиях, идеологиях, культурах, искусствах, чувствах, столь же мало о том, как мы питаемся и размножаемся, и все-таки по всем моим трем записям они смогут судить о наших мыслях — независимо от того, какую чушь я здесь напишу. Они смогут догадаться о состоянии наших познаний, а также о том, что мы обладали атомной и водородной бомбами и что это

привело к Третьей мировой войне. Они разгадают код моих записок, потому что человек описывает в конечном счете всегда одно и то же: самого себя. Пришельцы заключат из всего этого, что на голой, обожженной каменной планете, на которую они ступили, когда-то существовали наделенные разумом существа, которые в своей совокупности переступили границу Чандрасекара.

Как солнце — средоточие водорода, так государство — средоточие людей. И то и другое подчиняется сходным законам. И то и другое стабильно, когда устанавливается равновесие давления, энергии и поверхности. И в том и в другом случае действуют силы гравитации. Они постепенно образуют ядро, а вокруг него — зону конвекции. Сначала процесс идет незаметно: ядро и зона конвекции протосолнца лишь едва развиты, они только предпосылка к дальнейшему.

Применительно к государству: зона конвекции представляет собой органы власти, ядро — народ. Как-то раз отправился император со своим канцлером на телеге, запряженной волами, от обители к обители, от города к городу, чтобы собрать себе на прокорм. Император и его канцлер — это власть; эта их Священная римская империя германской нации схожа с протосолнцем. Примерно через пятьсот лет это протосолнце стало нестабильным, превратилось в Третий рейх. Однако ни к чему далее приводить подобные исторические, а значит — непонятные, примеры.

Функция государства изначально состояла в том, чтобы обеспечивать внешнюю оборону, внутреннюю оборону, а также защиту от самих защитников, ради которых отдельный человек уступал свою власть государству. Если сравнить эту функцию с равновесием давления, энергии и поверхности стабильного солнца, можно уяснить себе отношение государства к каждому отдельному человеку, а также отношения отдельных людей между собой.

Равновесие давления в стабильном государстве состоит в том, чтобы каждый отдельный человек существовал как можно свободней, а именно так же свободно, как это возможно по отношению к отдельным людям; чем больше их масса, тем ограниченнее свобода каждого; давление на каждого растет, и при этом растет температура внутри массы, она начинает все более ощущать воздействие государства, эмоции против власти высвобождаются и т.д.

Энергобаланс солнца достигается тогда, когда оно перерабатывает в энергию материи не больше, чем в состоянии излучать; в государствах — когда те производят не больше, чем расходуют. Энергобаланс нарушается, если давление падает или если оно возрастает. Например, на голубом гиганте, подобном S-Doradus, что в восемьдесят тысяч раз ярче солнца, конвекционная зона слишком слаба, поэтому давление внутри недостаточно, звезда беспрепятственно перерабатывает материю своего ядра в энергию, она рассеивается. Существовали и подобные государства.

В большинстве из них, конечно, одержал полную победу аппарат власти перед Третьей мировой войной. Мощь государства возрастала. Особенно сверхтяжелые государства стали меньше отдавать, чем потребляли. Они сделались пленниками собственного аппарата. Энергобаланс устанавливается лишь в том случае, когда предложение соответствует спросу.

На голубом гиганте — солнце со слабой конвекционной зоной, хотя она по сравнению с конвекционной зоной нашего солнца намного силь-

нее, — предложение превышает спрос, и потому в недрах подобной звезды происходит невероятная конкурентная борьба. То же самое долгое время наблюдалось перед Третьей мировой войной в индустриально развитых странах.

На сверхтяжелом солнце, напротив того, спрос начинает опережать предложение, и хотя оно перерабатывает свою материю в энергию, однако та поглощается конвекционной зоной. Подобное государство разрушается при помощи своего собственного аппарата. Органы власти нуждаются в оружии, чтобы охранять себя от внешних и внутренних врагов. Они нуждаются не только в оружии, но и в идеологии, которая воздвигает могучее духовное силовое поле. Конвекционная зона не допускает какой-либо иной идеологии, кроме собственной. Те, кто думает иначе, объявляются антиобщественными элементами или сумасшедшими, даже преследуются как изменники родины. Тем самым подобное государство увеличивает свою плотность и давление вовнутрь. Ядерный процесс, происходящий среди большей части населения, только на руку государству, то есть его аппарату управления, который постоянно увеличивает свой потенциал, и не из злого умысла, а из-за собственной беспомощности. Сверхтяжелые государства насквозь плановые. Энергобаланс становится невозможным, так как внутреннее давление может лишь повышаться, а не понижаться, что ведет к гравитационному коллапсу.

Такова была политическая ситуация перед Третьей мировой войной. Сверхтяжелые звезды (сверхдержавы) не собирались завоевывать мир, однако они выжимали его благодаря своей тяжести. Их гравитация как бы всасывала излучающуюся энергию голубых гигантов, те уменьшались в размерах, и их давление увеличивалось; выведенные из экономического равновесия, голубые гиганты "социализировались", превращаясь в свою очередь в сверхтяжелые солнца — независимо от хозяйственной, общественной и идеологической структуры, ведь и "свободные" государства начали увеличивать внутреннее давление, издавая указы против инакомыслящих.

Процесс стал необратимым. Гонка вооружений шла вовсю. Каждое государство производило больше, чем расходовало. Внутреннее давление в каждом государстве дошло до предела. Излишнее давление в ядре солнца привело к вырождению общества. Большие семьи разрушились, на смену им пришли маленькие семьи, и те становились нестабильными, склеиваясь в коммуны или общежития, которые тоже разваливались. Началась всеобщая лихорадка, безумная кутерьма, происходила безжалостная борьба за существование, порождаемая неумемной жадной жизни.

Общество все больше распалось на два класса: на тех, кто осел в конвекционной зоне и обеспечил себя надежной защитой, и на тех, кто невозбранно подвергался давлению и действию громадной температуры солнечных недр. Однако огромная энергия недр, что возникла в результате всей этой лихорадки, снова и снова впитывалась конвекционной зоной, государственным аппаратом, который нуждался во все больших налогах, чтобы силой удерживать солнечные недра. Политика разыгрывалась лишь на поверхности, не затрагивая ядерных процессов внутри, она превратилась во фразу, таким образом, и то, что происходило в недрах, вышло из-под контроля, давление стало слишком высоким, конвекционная зона подвергалась толчкам изнутри, возникали мощные экономические империи, потом они рушились, свирепствовали кризисы, инфля-

ция, неслыханная спекуляция, с взрывной силой взметнулись безумные акты террора, уголовные преступления, росла угроза катастроф. Государства дестабилизировались.

Беспомощная перед такими чудовищными выбросами протуберанцев, политика стала циничной, а следовательно, как всякая омертвевшая религия, превратилась в культ, наконец — в оккультизм. Проповедовали то классовую борьбу, то либерализм, не подозревая, что все зависит от того, как масса преобразуется в энергию, не задумываясь о том, как ведет себя народ, когда он превращается в массу: непредсказуемо. Провозглашалось социальное государство, либеральное государство, а также государство всеобщего благоденствия, христианское, иудейское, мусульманское, буддийское, коммунистическое, маоистское — без малейшего понимания, что перенасыщенное государство так же опасно, как и сверхтяжелая звезда.

Вот оно и случилось — грянула Третья мировая. Непредвиденное воздействие водородной бомбы на нефтяные промыслы было еще как бы символическим предупреждением, что дело идет к превращению в Сверхновую, не говоря уже о воздействии других бомб.

Внутреннее давление, а следом и внутренняя температура сделались огромными, поверхностное равновесие ослабло, огромные конвекционные зоны — зоны, которые давно были под контролем чрезмерно вооруженной армии, как и части государственного аппарата, — летели в мировое пространство, и катастрофа была тем неудержимей, что солнце здесь граничит с другим солнцем, в то время как в космосе средняя дистанция между звездами достигает трех с половиной световых лет.

После превращения в Сверхновую состояние следующее: человечество вроде нейтронной звезды. В немногочисленных пригодных и приспособленных для жилья местах ютятся остатки людей, сколько народу погибло в одном лишь "Сахарском эксперименте"... В конце концов Земля превратилась в единую конвекционную зону, астрономически сравнимую с "дегенерированным нейтронным газом", в какую-то единую тотально управляемую массу, в такую Администрацию, где управители и управляемые неотделимы друг от друга.

Правда, человечество, как и нейтронная звезда, сохраняет свое количество движения, свою агрессивность. Чтобы разрушиться, звезде требуется время, а человечеству понадобилась Зимняя война в Гауризанкаре: в ней бились друг против друга те, чьей агрессивности требовался образ врага. Предлог для войны в таком случае всегда найдется. (Перед Третьей мировой войной призывы террористов принимали дикие формы, стали разновидностью самогипноза. Они действительно вообразили, будто борются за мировое братство. Если бы они его достигли, то померли бы со скуки.) Осуществился расчет Чандрасекара.

Но, прежде чем продолжать, должен сделать одну оговорку, так как пришельцы тоже могут привести этот довод, если когда-нибудь прочтут мои записи: материя подвержена энтропии и стремится к своему наиболее вероятному состоянию. Вначале сгусток всей материи занимал пространство, равное траектории Нептуна: столько места требовалось элементарным частицам Вселенной, пока они были притиснуты друг к другу. Это состояние материи было для нее самым невероятным. А вероятнейшее состояние материи — ее конец: на 95 процентов материя излучилась, остатки звезд существуют в виде черных Красных, черных Белых карли-

ков, черных дыр, массы мертвых планет, астероидов, метеоров и т.д.

С жизнью все наоборот: условия, в которых она возникла, хотя и были тоже невероятными, но эта невероятность породила самое вероятное — вирус, потом одноклеточных. Начиная с них, жизнь становится все невероятнее, мыслимые существа — самое невероятное, ибо это самое сложное существо во Вселенной.

Это существо, казалось бы, противостоит всемирной закономерности — энтропии, тем более что в течение трех миллионов лет оно превратилось из редкого вида в массу, равную шести миллиардам. Но видимость обманчива: чем невероятнее сама жизнь, тем вероятнее ее конечное состояние — смерть. Вирус, да и одноклеточные могут жить вечно; животные, правда, должны умереть, но они этого не знают. А человек знает, что умрет, поэтому его смерть — это нечто большее, чем наиболее вероятный конец, это осознанный конец. Смерть и энтропия — это одна и та же всемирная закономерность, они идентичны, ведь мы, люди (это слово ничего вам не говорит), и вы, те, что все это будете читать, идентичны, вы тоже умрете.

(Следующие записи в другой галерее.)

Администрация исходит из закона *homo homini lupus est*: человек человеку волк. Как ни странно, я подумал о глухонемом; когда я высекал эту фразу на камне, мне вдруг пришло в голову, что, возможно, глухонемой — это Джонатан. Бессмысленное подозрение, которое, может быть, возникло лишь потому, что я уже второй раз вспоминаю Джонатана в связи с глухонемым. Ведь Джонатан пропал, когда я отправился в пещеру командующего. Не исключено, что он, подобно мне, царапает где-нибудь на стенах галерей.

Глухонемого я встретил после Третьей мировой войны в своем старинном родном городе; еще перед тем, как разразилась война, правительство, государственные чиновники и обе палаты парламента удалились в большой бункер под Блюмлизальпом, возможно, защищенность против всякого нападения органов власти (законодательной и исполнительной) — необходимая предпосылка для обороны страны. Здание парламента в бункере было копией столичного, включая секретные устройства и радиостанцию. Даже окружающий пейзаж скопировали и сконструировали декораторы из городского театра при помощи увеличенных фотографий и проекторов. Вокруг этого сооружения были возведены жилые дома, кинотеатры, часовня, бары, кегельбаны, больница и Фитнис-центр. Далее шли как бы три "кольца": кольцо снабжения с продовольственными магазинами и винными погребками (особенно в кантоне Во), затем внутреннее и внешнее оборонительное кольцо. Под всем этим гигантским комплексом — сокровищница, полная золотых слитков почти со всего света, а под нею — атомная электростанция.

Правительство и парламента заседали беспрерывно. Учреждения работали на полную мощность.

Когда я получил тайное задание и явился доложить о своем отъезде, официально приняв на себя функции офицера связи при командующем, они как раз только что выработали новую концепцию обороны страны, и было решено в течение последующего десятилетия создать сто танков "Тепард-9" и пятьдесят бомб "Вампир-3". Я отдал честь, правительство и обе палаты парламента встали и запели "Навстречу заре!". Настроение было подавленное.

Ведь никто не думал, что Третья мировая война разразится, несмотря на мобилизацию, была надежда, что наличие бомб этому помешает, а бомбами обладали уже все, и мы тоже. Вопреки упорной борьбе прогрессивных сил, противников атомного оружия, несмотря на уклонение от военной службы, протесты церковников и тому подобных кругов, мы создали бомбу — но только после королевства Лихтенштейн, — а у всех африканских стран она давным-давно уже была!

Итак, нас убеждали, что если и будет война, то лишь обычная, но в такую войну мы не верили, потому что, во-первых, создание бомбы стоило так дорого и мы оказались плохо вооруженными для ведения обычной войны, а во-вторых, потому что бомба была создана именно с целью воспрепятствовать обычной войне. Но особенно нас тяготила внешнеполитическая зависимость. Мы продолжали подтверждать свою позицию вооруженного нейтралитета, однако нас не оставляло все растущее чувство угрозы, что ни та, ни другая сторона не верят в наше священное политическое кредо. Для одних мы примыкали к милитаристскому лагерю, а для других являлись потенциальным военным врагом.

Свою армию, достигшую восьмисот тысяч, мы были вынуждены передислоцировать на восточную границу, иначе действия западных держав стали бы непредсказуемыми, они могли бы счесть этот участок фронта ослабленным. К тому же нельзя забывать, что население не доверяло правительству и солдаты участвовали во всем этом, лишь исполняя воинский долг: с некоторых пор уклоняющихся от службы в армии мы были вынуждены приговаривать к пожизненному тюремному заключению; от расстрела, которого требовало военное министерство, их спасало лишь помилование. Отношение населения к правительству стало прямо-таки враждебным. Народ знал: правительство, государственная власть, парламент — всего пять тысяч человек — находятся в безопасности под Блюмлизальпом, однако безопасность остальных не обеспечена. К счастью, мобилизацию провели до всеобщих выборов.

Третья мировая война началась и в первые два дня шла как обычная, а для нашей армии — впервые с 1512 года, со времени завоевания Милана, — и как вполне победоносная. Когда огромная бомба упала на Блюмлизальп, а другие крупные бомбы — на правительственные убежища других стран — цепная реакция от удара к удару, — мы задержали русских при Ландеке, при их вступлении в северную Италию.

Сообщение о капитуляции союзнических и вражеских войск дошло до командующего, когда он находился в курортной гостинице в Нижнем Энгадине. Мы расположились в удобных креслах посреди большого холла, а вокруг нас — штаб. Выбор напитков был еще богатый. Настроение — боевое. Командующий предавался музыкальным пристрастиям. Струнный квартет играл Шуберта, "Смерть и девушка". И тут офицер для поручений вручил телеграмму.

— Ну-ка, Ганс, сынок, прочти эту бумажонку вслух, — улыбнулся командующий, пробежав телеграмму глазами.

Торжествующие вопли неслись с улицы: содержание телеграммы стало известно через радиста. Командующий схватил автомат. Я встал. Квартет замолк. Я прочитал телеграмму вслух. Реакция была бурной. Квартет заиграл Венгерскую рапсодию Листа. Офицеры ликовали и обнимались.

Автомат командующего скосил их начисто. Он разрядил три мага-

зина. Зал представлял собой неопишемую мешанину из трупов, искромсанных кресел, осколков стекла, разбитых бутылок из-под шампанского, виски, коньяка, джина и красного вина; квартет играл изо всех сил "andante con moto" из квартета Шуберта, вариации на тему: "Не бойся. Я не дикарь, спокойно спи в моих объятиях".

Уже в джипе командующий сказал:

— Все они свиньи вонючие и изменники родины. — Тут он еще раз обернулся и расстрелял музыкантов.

В Скуоле мы попрощались. Командующий направился в Инсбрук, а я — в Верхний Энгадин.

Недалеко от Цернеца на обочине дороги я насчитал более трехсот офицеров, аккуратно уложенных в ряд, от командира корпуса до лейтенанта, все они были расстреляны своими солдатами. Проезжая мимо, я им отсалютовал.

Санкт-Мориц был опустошен и разграблен, полыхали отели, шале знаменитого дирижера испускало клубы дыма. Я оделся в штатское, в одном шикарном магазине мужской одежды выбрал джинсовый костюм, на котором еще болтался ярлычок с ценой — 3000, в обычном магазине он не стоил бы и 300; из персонала никто не показывался. Горючего достать было негде.

Я оставил свой джип, а в нем и оба автомата, зарядил револьвер, нашел какой-то велосипед и покатил через перевал Малоя. После горного перевала — первая ясная ночь, темная часть луны отсвечивает зловеще-красным; на земле бушуют многочисленные пожары.

В маленькой деревеньке неподалеку от бывшей границы я стал искать себе пристанище. Деревенька была погружена в полумрак, а противоположная сторона долины алела киноварью.

Я прокрался к какому-то дому, который сперва принял за нежилой сарай. Позади него находилась лестница. Я поднялся наверх. Двери легко открылись. Внутри было темно, и я осветил себе карманным фонариком. Я оказался в мастерской художника. У стены стояла картина: разные фигуры, как бы разбросанные, пустое пространство картины было таинственным, слабо натянутый, чуть загрунтованный холст походил на сеть, в которой запутались люди. Картина у другой стены изображала кладбище: белые надгробия и среди них втиснут портрет человека больше натуральной величины. Странно — будто в силу подспудного протеста художник намеренно разрушал свое творение: казалось, в этом ателье уже свершилась гибель мира.

Посреди ателье стояла жуткая железная кровать, на ней — полосатый матрас с торчащим из него конским волосом. Рядом с кроватью — древнее, изодранное, заклеенное разноцветными заплатками кожаное кресло. У задней стены под окном стояла картина, изображавшая дохлую собаку, теряющуюся в бесконечности охры. Потом я обнаружил портрет человека, похожего на командующего. Он лежал на постели, голый и толстый, спутанная борода спускалась на грудь, подпираемую вспученным животом, правый бок, где печень, вспух, ноги раскинуты в стороны, а взгляд гордый и безумный.

Я замерз. Вырезал картину из рамы, улегся на кровать, а воняющий краской холст приспособил вместо одеяла.

Проснулся я в грязном сумраке утра. Схватился за револьвер. Перед пустой деревянной рамой, из которой я вырезал холст, стояла одетая в

черное старая женщина в грубых башмаках. Нос у нее был острый, седые волосы забраны в пучок. В руках она держала большую пузатую чашку. Она смотрела на меня немигающими глазами.

— Ты кто? — спросил я.

Она не ответила.

— Chi sei?¹ — спросил я по-итальянски.

— Антония, — ответила старуха.

Она подошла ко мне и церемонно протянула чашку с молоком. Я выпил его и вылез из-под холста.

Глядя на меня, она рассмеялась: "L'attore"², а когда я прошел мимо нее, торжественно заявила:

— Non andare nelle montagne. Tu sei il nemico³.

Она помешалась, как и многие другие.

Я вышел на улицу. Мой велосипед украли, жители покинули деревню, граница не охранялась. Городок Кьявенна был разграблен турецкими офицерами, которые пытались спастись от своих рядовых. В каком-то гараже я взял мотоцикл. Владелец глядел на меня равнодушно, у него изнасиловали и убили жену и двух дочерей.

На перевале Шплюген я сбросил русского офицера в водохранилище, мотоцикл утопил тоже. Офицер неожиданно напал на меня, когда я приостановился, любуясь атомным грибом, поднимавшимся на западном небосклоне. Я впервые видел его.

Через некоторое время я наткнулся на разбитый вертолет, обыскал его и нашел бумаги, принадлежавшие русскому. Забыл, как его звали, помню только, что родом он был из Иркутска.

Тузис был опустошен. До меня начинало доходить, что произошло в нашей стране.

Два года понадобилось мне на то, чтобы добраться до пункта назначения. Это уже о многом говорит. Поэтому достаточно лишь упомянуть о моих скитаниях в аду того времени. Люди, выжившие после взрыва бомбы, если кто-то вообще выжил, всю ответственность за Третью мировую войну взвалили на науку и технику. Не только атомные электростанции, но и плотины, и обычные электростанции оказались разрушенными, сотни тысяч погибли при наводнениях, в потоках ядовитых газов, выпускаемых горящими химическими заводами — ярость населения против этих заводов не знала удержу. Повсюду — взорванные бензоколонки, горящие легковые машины; ставшие ненужными радиоприемники, телевизоры и проигрыватели, стиральные машины, пишущие машинки, компьютеры — все было изломано, музеи, библиотеки, больницы — уничтожены. Это выглядело самоубийством целой страны. Кур, к примеру, превратился в настоящий сумасшедший дом. В Гларусе сжигали "ведьм", машинисток и лаборанток. Жители города Аппенцель разорили монастырь Св.Галлена под тем предлогом, что христианство породило науку. При пожаре погибла ценнейшая библиотека вместе с "Песнью о Нибелунгах". В огромной мусорной куче, оставшейся на месте Цюриха, власть захватили рокеры. Они утопили в реке Лиммат прогрессистов и социалистов вместе с профессурой и ассистентами обоих цюрихских высших учебных

¹ Кто ты? (итал.)

² Артист, художник (итал.).

³ В горы не ходи. Ты враг (итал.).

заведений. В развалинах театра собиралась секта верующих в теорию полого Земного шара. Жрицы этой секты были беременны. Они произвели на свет чудовищных уродов, которые были рождены прямо на сцене и тут же убиты. Богослужение превратилось в оргию. Верующие накидывались друг на друга в надежде произвести на свет еще более ужасных потомков. В Ольтене на огромном помосте повесили тысячи учителей младших и старших классов народной школы. Их согнали со всей страны.

В Граубюндене тем временем начался уже "великий мор". Если сначала люди предавались неопишуемому разгулу, грабили, разрушали, истребляли все, что попадалось под руку, разжигали страшные пожары, останавливали всякое движение, то потом они впали в апатию. Их охватила свинцовая усталость. Они сидели у развалин своих домов, которые разрушили своими руками, неподвижно уставившись прямо перед собой, пожились где попало и умирали. Мало-помалу разрушения прекратились. Уже не оставалось автомобилей, дорог — одни руины, чудовищные скопления продуктов, заготовленных для восьмимиллионного населения, насчитывающего теперь не больше ста тысяч. Рядом с людьми гибли животные. На полях грудями лежали трупы. Зато птицы страшно расплодились.

Люди торжественно предавали мертвых земле. Сколачивались гробы, но их все время не хватало, тогда грабили старые кладбища, выкапывая то, что осталось от старых гробов, или закапывали умерших в шкафах. Похоронные процессии без конца; в страшной жаре, не спадавшей и осенью, люди шагали, одетые в черное, вслед за гробами или тянули на длинных канатах тачки, на которые рядами были уложены гробы. Справлялись роскошные поминки. Для большинства они становились последним пиршеством. Потом хоронили и этих, и похоронные шествия, все редея, тянулись к новым кладбищам. Казалось, народ хоронил сам себя.

Потом наш склад бомб в Шраттенфлу загорелся сам собой. По пути через Эмменталь мне встретилась деревня с большой молочной фермой. Она была чистенькая, ухоженная, на окнах стояла герань огненного цвета, а улицы — совершенно пустые. Я вошел в трактир под названием "У креста". В зале для гостей никого не оказалось. В кухне на полу лежал мертвый хозяин, настоящий гигант, с лицом, выпачканным мороженым. Я вошел в столовую. Примерно сотня человек сидела за празднично накрытыми столами: мужчины, женщины всех возрастов, девочки и мальчики. За длинным столом посреди зала — жених и невеста. Невеста в белом подвенечном наряде, бок о бок с женихом — крупная женщина в бернском национальном костюме. Все они были мертвы и выглядели чрезвычайно умиротворенно в своей воскресной одежде. Тарелки почти пустые, надо бы подложить еще еды. В проходах между столами лежали мертвые девушки-официантки. На столах возвышались огромные "бернские блюда": деревенские окорока, свиные ребрышки, копченое мясо, шпиг, языковая колбаса, фасоль, кислая капуста, соленый картофель. Около невесты было отодвинуто кресло, а на полу лежал пожилой мужчина, роскошная борода накрыла его грудь словно покрывало. В правой руке он держал лист бумаги, я заглянул в него — это оказалось стихотворение. Взяв кресло, я уселся рядом с невестой и положил себе на тарелку еду с "бернского блюда" — она была еще теплая.

И вот я нерешительно высекаю эти свои воспоминания на стенах галереи: они во многом стали мне казаться невероятными. Так, в памяти у меня осталась прежде всего жара, не спадавшая всю зиму напролет;

а когда я мысленно возвращаюсь в те времена, то мне всегда видится мощное наводнение. До своего родного города я добрался пешком по пустынной автостраде. Чем ближе подходил я к городу, тем безлюднее становилась страна. Автострада километр за километром заросла травой, пробитый бетон; я шел мимо скопления автомобилей, покрытого пыльным плутом. Однажды мне почудилось, что в небе летит самолет, он летел так высоко, что его не было слышно.

Добравшись наконец до города, я увидел, что предместье в руинах: никому теперь не нужные торговые центры, выгоревшие коробки многоэтажных зданий. Я сошел с автострады. В лучах заходящего солнца передо мной предстал старый город. Расположенный на скалистом хребте, возвышающемся над рекой, он казался невредимым. Стены пронизывал теплый золотистый свет. Город был так чудесно прекрасен, что при воспоминании о нем тускнеет даже вид на Макалу и Джомолунгму. Однако мосты, ведущие к нему, оказались разрушенными. Я вернулся на автостраду, по ее обломкам мне удалось пересечь реку. Теперь атомный гриб стоял на юге. Он постепенно превращался в светящийся колпак, накрывший Альпы и освещавший ночное небо, в то время как я углублялся в лес.

Бункера были в целости и сохранности, кровати аккуратно застелены. Я стал ждать. Бюрки не пришел. Я заснул.

Наутро я отправился во Внутренний город. Университет представлял из себя сплошные руины, аудитория, в которой занимался прежде философский семинар, обуглилась, фасад обрушился, книги превратились в черную слипшуюся массу. Стол, за которым мы сидели, развалился. Сохранилась только доска. Перед ней стоял какой-то мужчина. Он стоял ко мне спиной, засунув руки в карманы поношенной шинели.

— Хэлло, — обратился я к нему.

Мужчина не пошевелился.

— Эй! — крикнул я.

Казалось, он не слышит. Я подошел и коснулся его плеча. Он повернулся ко мне лицом. Оно было сожжено облучением, лишено всякого выражения.

Взяв кусок мела, лежавший у доски, он написал: "Огнестрельная рана в голову. Глухонемой. Читаю по губам. Говорите медленно". И обернулся ко мне.

— Кто ты? — спросил я медленно.

Он пожал плечами.

— Где находится служба обеспечения солдат? — спросил я.

Он взял мел и написал на доске: "Тибет. Война". И глянул на меня.

— Служба обеспечения солдат, — повторил я медленно, по слогам, — где она?

Он написал "60 23 10 23", непонятное число, которое запомнилось только потому, что, будучи офицером, я привык запоминать номера: шестьдесят, двадцать три, десять, двадцать три. Он смотрел на меня. Его обгоревшие губы дрожали. Непонятно, издевался он или улыбался. Я постучал себя по лбу.

Глухонемой написал: "Соображай, достаточно ясно" — и опять уставился на меня.

Я взял у него мел, стер все, что он написал, сам написал: "Ерунда", кинул мел на пол, растоптал его и бросился прочь из университетских развалин.

Неподалеку от сторевшей столовой мне попался навстречу какой-то маленький человечек. На правой щеке у него была большая черная язва. Он толкал тележку с книгами.

— С семинара по немецкой литературе, — сказал он, показывая в сторону сплошных развалин за университетом. Книги ему еще удалось найти. Я взял одну с тележки — "Эмилия Галотти". — Я переплетчик, — объяснил человечек, — со мной работает еще печатник. Мы выпускаем книгу — сто штук, потом еще сто штук. Люди снова читают, становятся настоящими книжными червями. Выгодное дельце! — Он засветился от удовольствия. — Я не умру. Ведь выжил. А на щеке у меня обыкновенная меланнома.

Я сказал, что Лессинг сложноват для чтения. Он спросил, кто такой Лессинг. Я указал ему на книгу.

— Вот эта? — удивился он. — Это не для чтения, а для сожжения. Выпускаю я "Хайди" Джоанны Спайри. Запомните имя: Джоанна Спайри. Классика. — Тут он подозрительно взглянул на меня. — Ты солдат?

Я кивнул.

— Офицер? — спросил он с угрозой в голосе.

Я помотал головой.

— А раньше что делал?

— Учился в университете.

Посмотрев на свою тележку, он мрачно уточнил:

— Читал такие вот книги?

— Да, и такие тоже, — ответил я.

— Черт-те что вы натворили с вашим образованием! — проворчал человечек. — Вы, с вашими дурацкими книжонками...

Я спросил, где находится служба обеспечения солдат.

— Рядом с ратушей, — ответил он, — может, ты все-таки был офицером?

И он засеменил дальше, толкая перед собой тележку.

Я пошел обратно через развалины. В разрушенной аудитории нашего семинара я сумел отыскать лишь куски из "Трагической истории литературы" и несколько страниц из предисловия, в которых шла речь об основных понятиях поэтики.

Вокзал за университетом был сплошной кучей мусора. Дома, больницы, торговые улицы находились в полном запустении, окна магазинов выбиты. Кафедральный собор стоял на месте. Я подошел к главному portalу и увидел, что "Страшный суд" уничтожен. Я шел по среднему нефу собора, а за спиной у меня, барабана по полу, падали капли воды.

У входа на галерею, прислонившись к стене, стоял какой-то оборванец.

— Когда жизнь в опасности, ведь это бодрит, верно? — обратился он ко мне.

Я поинтересовался, кто разбил "Страшный суд".

— Я, — ответил мужчина. — "Страшный суд" нам больше не нужен.

Служба обеспечения солдат находилась неподалеку от ратуши, в бывшей часовне, как мне смутно помнилось. Вокруг стен лежали несколько матрацев и стопка шерстяных одеял. Вокруг каменной купели стояли три стула, а на камне лежал кусок торта. На стенах виднелись бледные следы фресок, но разобрать, что они изображали прежде, было трудно. В часовне никого не было видно.

Я несколько раз прошелся туда-сюда. Никто не появился. Тогда я приоткрыл какую-то дверь рядом с купелью. Вошел в ризницу. За столом сидела толстая старуха в металлических очках и ела торт.

На мой вопрос, не здесь ли находится солдатская служба, она ответила, уплетая за обе щеки:

— Я солдатская служба, — и, проглотив кусок, в свою очередь спросила: — А ты кто такой?

Я назвал свой псевдоним:

— Рюкхард.

Толстуха задумалась.

— У моего отца была книга какого-то Рюкхарда, — сказала она, — ”Брамсовы мудрости”.

— ”Мудрости брахманов” Фридриха Рюккерт, — поправил ее я.

— Возможно, — сказала женщина и отрезала себе еще кусок торта. — Ореховый, — объяснила она.

— А где комендант города? — спросил я.

Она продолжала есть.

— Армия капитулировала, — проговорила она, — коменданта больше нет. Теперь есть только Администрация.

Я тогда впервые услышал про эту Администрацию.

— Что вы под этим подразумеваете? — поинтересовался я.

Женщина облизывала пальцы.

— Под чем? — спросила она.

— Под Администрацией.

— Администрация есть Администрация, — объяснила она.

Я смотрел, как она поглощает торт. На мой вопрос, сколько солдат она обслуживает, толстуха ответила:

— Одного слепого.

— Бюрки? — спросил я осторожно.

Она все ела и ела.

— Штауффер, — наконец сказала она. — Слепого зовут Штауффер. Раньше у меня было больше солдат. Они все умерли. Они все были слепые. Ты тоже можешь здесь жить, ты, конечно, солдат, иначе бы сюда не пришел.

— Я живу в другом месте, — сказал я.

— Дело твое, — ответила она и затолкнула остаток торта в рот, — ровно в полдень и ровно в восемь вечера мы едим торт.

Я вышел из ризницы. В часовне у купели сидел какой-то старик. Я уселся против него.

— Я слепой, — сказал тот.

— Как это случилось?

— Увидел молнию, — рассказал он, — другие тоже ее видели. Все они умерли. — Он оттолкнул тарелку. — Ненавижу торт. Одна старуха в состоянии есть его с удовольствием.

— Вы Штауффер? — обратился я к нему.

— Нет, Хадорн. Меня зовут Хадорн. Штауффер умер. А тебя зовут Рюэгер?

— Меня зовут Рюкхард.

— Жаль, — посетовал Хадорн, — у меня кое-что есть для Рюэгера.

— Что же?

- Кое-что от Штауффера.
- Но он же умер.
- У него это тоже от одного умершего.
- От какого еще умершего?
- От Цауга.
- Не знаю такого.
- А он это получил от другого, который тоже умер.
- От Бюрки? — предположил я.

Он задумался.

— Нет, — вспомнил он, — от Бургера.

Я не сдавался:

— Может, все-таки от Бюрки?

Он опять задумался.

— У меня плохая память на имена, — сказал он наконец.

— А меня все-таки зовут Рюэгер, — решил я.

— Значит, у тебя тоже плохая память на имена, — упрекнул он меня, — ведь сначала ты сказал, что ты не Рюэгер. Однако мне все равно, кто ты.

И он мне протянул что-то. Это оказался ключ Бюрки.

— Кто теперь Администрация?

— Эдингер, — ответил слепой.

— А кто такой Эдингер?

— Не знаю.

Я поднялся, сунув ключ в карман пальто.

— Ну, я пошел, — сообщил я.

— А я остаюсь, — проговорил он, — все равно скоро умру.

Мецгергассе представляла собой кучу щебня, Цитглоггерская башня обрушилась.

Когда я добрался до здания правительства, уже наступила ночь, но такая ясная, как будто светила полная луна. У обеих статуй, стоящих перед главным входом, отсутствовали головы. Купол был разбит, по лестнице можно было идти только с большой осторожностью, но зал Большой палаты чудом уцелел, даже чудовишная огромная фреска оказалась невредимой, однако скамьи для депутатов исчезли. А в зале поставили старые, потертые диваны, на которых сидели женщины в несколько потрепанных пеньюарах, некоторые — с голой грудью. Все это скупо освещалось керосиновой лампой. Ложи для зрителей прикрывал занавес. Трибуна для ораторов была на месте. В кресле председателя парламента сидела женщина с круглым энергичным лицом в форме офицера Армии спасения. Пахло луком.

Я в нерешительности остановился у входа в зал.

— Иди сюда, — приказала командирша, — выбирай какую хочешь.

— У меня нет денег, — сказал я.

Женщина удивленно уставилась на меня.

— Сын мой, откуда ты свалился?

— С фронта.

Она удивилась:

— Долго же тебе пришлось добираться сюда. У тебя есть ластик?

— Зачем он?

— Для девочки, конечно. Мы берем то, что нам нужно, конечно, лучше бы точилку для карандашей.

— У меня есть только револьвер, — сказал я.

— Сын мой, давай его сюда, не то мне придется доложить о тебе Администрации.

— Эдингеру?

— Кому ж еще?

— А где Администрация?

— На Айгерплац.

— Это Эдингер приказал устроить здесь бордель?

— Заведение, мой милый!

— Это — заведение?!

— Естественно, — ответила она, — мы ведь облучены, сынок. Мы умрем. Любая радость, доставленная одним из нас другому, — акт божественного милосердия. Я — майор. И я горжусь тем, что моя бригада все это поняла. Она указала на женщин, расположившихся на потертых диванах: — Обреченные на гибель готовы любить!

— Я ишу Нору, — сообщил я.

Майорша взяла колокольчик, позвонила.

— Нора! — позвала она.

Наверху в дипломатической ложе приоткрылся занавес. Оттуда выглянула Нора.

— Что такое? — спросила она.

— Клиент, — сообщила майорша.

— Я еще занята, — ответила Нора и исчезла за занавесом.

— Она еще на службе, — объяснила майорша.

— Я подожду.

Майорша назвала цену:

— За револьвер.

Я отдал свой револьвер.

— Присаживайся, сын мой, и подожди.

Я уселся на диван между двух женщин. Майорша взяла гитару, прилоненную к ее председательскому креслу, заиграла, и все запели:

В чистоте мы непреложны,
Коль душа любовь хранит.
Все страдания ничтожны,
Если смерть с косой летит.

Божий Сын страдал от жажды,
Мукой крестною сражен.
Бомбой распяты однажды,
Мы несчастнее, чем Он.

Появилась Нора. Сначала мне показалось, что на руках у нее мальчик, но это был безногий шестидесятилетний инвалид со сморщенным детским личиком.

— Ну вот, попрыгунчик, — сказала Нора, усаживая его на диван, — теперь у тебя будет легче на душе.

— Нора, — сказала майорша, — вот твой следующий клиент.

Нора посмотрела на меня и сделала вид, что не узнала. Под халатом у нее ничего не было.

— Тогда пошли наверх, мой хороший, — сказала Нора и направилась к двери, ведущей на галерею. Я — за ней.

Майорша снова заиграла, и бригада запела:

Божьи девы, дружно – к бою!
Проявим веселый пыл!
Кто пожертвовал собою,
Сладкой вечности вкусил¹.

– У тебя есть ключ? – спросила Нора.

Я кивнул.

– Пошли.

Мы медленно продвигались по разрушенному залу под куполом и по крытой галерее к восточному крылу здания. Попали в темный коридор и невольно остановились.

– Ничего не вижу, – сказал я.

– Надо привыкнуть к темноте, что-нибудь всегда можно разглядеть. Мы стояли не двигаясь.

– Как ты могла! – воскликнул я.

– Что именно?

– Ты знаешь, что я имею в виду.

Она молчала. Темень была непроницаемая.

– Приходится держаться за это место, – пояснила она.

– Тебя что, Эдинггер заставил?

Она засмеялась.

– Да нет! Иначе мне было бы незачем здесь жить. Ты что-нибудь видишь?

Я соврал:

– Видно кое-что.

– Ну, пошли.

Мы осторожно вошли в коридор. Я передвигался как слепой.

– Чего ты давеча так взбесился? – спросила Нора. – Я и раньше с вами со всеми спала!

Я ошупью продвигался в темноте.

– Так это с нами, – проговорил я с досадой.

– Милый мой, мне кажется, ваше времечко прошло.

Мы спустились в подвал.

– Сюда, – предупредила Нора, – осторожно, здесь лестница, двадцать две ступеньки.

Я принялся считать.

Она остановилась. Я слышал ее дыхание.

– Теперь направо, – скомандовала она, – в этой стене.

Нащупав деревянную панель, я нашел место, где она поддавалась. Нащупал замочную скважину, ключ подошел.

– Закрой глаза, – сказал я.

Дверь бункера отворилась. Мы почувствовали, что стало светло. Дверь за нами захлопнулась. Мы открыли глаза. Это был компьютерный зал.

Нора проверила аппаратуру.

– Генераторы в порядке, – сказала она.

Мы подошли к радиоустановке. Нора включила ее, и, к нашему удивлению, зазвучала мелодия "Навстречу заре!", да так громко, что мы вздрогнули от неожиданности.

¹Перевод А. Солянова.

— Блюмлизальп! — воскликнула Нора.

— Автоматическая установка, — успокоил я ее, — не может быть, чтоб там кто-то остался в живых.

Но тут зазвучал голос. Голос Брюкмана, популярного ведущего ночной программы легкой музыки, анекдотов и интервью — "Из брюк явился Брюкман".

— Дорогие слушательницы и слушатели, — проговорил он, — сейчас двадцать два часа. — И Брюкман назвал дату и объявил о повторении какой-то патриотической передачи.

— Они еще живы! — кричала Нора. — Они еще живы! Он объявил сегодняшнее число.

Тут раздался голос начальника военного ведомства.

— Мой шеф! — Нора была вне себя.

Шеф своим звучным голосом произносил речь, обращенную к народу. Он объяснил, что все они: правительство, парламент, различные ведомства — всего четыре тысячи лиц обоего пола, главным образом мужчины и тысяча машинисток, — уцелели здесь, под Блюмлизальпом, избежав облучения, запаса продуктов хватит еще на два-три поколения, атомная электростанция работает, обеспечивая их светом и воздухом, это сводит на нет все протесты противников атомных электростанций; правительство, парламент и чиновники в состоянии и дальше осуществлять руководство страной и служить народу, хотя у них и нет возможности выйти из-под Блюмлизальпа, ведь враг вероломен и уже пытался сбросить бомбу на Блюмлизальп. Однако они не жалуются: исполнительная, законодательная власть и государственный аппарат должны принести в жертву себя, а не народ, и вот они жертвуют собой.

Пока начальник военного ведомства продолжал свою речь, я внимательно рассматривал Нору. Она стояла рядом, халат распахнулся, и не дыша слушала своего шефа. Я накинулся на нее: у меня целую вечность не было женщины.

А шеф говорил, что с большой радостью встретил известие о победе над коварным врагом в Ландеке, и он убежден: армия с ее храбрыми союзниками уже близка к окончательной победе в глубине азиатских степей и, возможно, уже ее одержала; он говорил, что, к сожалению, к нему, а также к остальным членам правительства еще не поступало известий из внешнего мира, так как крайне высокий уровень радиации в Блюмлизальпе, по-видимому, препятствует любой радиосвязи.

Он говорил и говорил. Нора продолжала слушать. Я запыхтел, застал, тогда она зажала мне рот рукой, чтобы я не мешал ей слушать шефа, не пропуская ни слова. Я был ненасытен, а она, вслушиваясь в слова шефа, позволяла делать с собой все что угодно.

— Конечно, может быть, — объяснял шеф, и в его голосе явственно звучала тревога, — конечно, не исключено, хотя и невероятно, что война приняла не тот оборот, какого ожидали: при гигантском численном превосходстве и лучшем качестве классических систем вооружения враг одержит верх, захватит страну, но лишь страну, а не народ, который непобедим, как в дни Моргартена, Земпах и Муртена¹.

¹В борьбе с Габсбургами свободное крестьянство лесных кантонов (Швиц, Ури, Унтервальден), заключивших союз (1291 г.), отстояло независимость, одержав победы при Моргартене, Земпахе, Муртене.

Я все яростнее набрасывался на Нору, потому что она продолжала слушать и потому что я был ей безразличен.

— Именно этот факт мало-помалу уяснит себе враг, и не только благодаря героическому сопротивлению, которое все еще оказывает ему народ — кто в этом сомневается, — но еще и потому, что законное, избранное народом правительство, парламент и государственные органы власти, денно и нощно исполняющие свой долг под Блюмлизальпом, — они управляют, дают указания, принимают законы, они, собственно, и есть народ, и никто другой, и поэтому именно они уполномочены вести переговоры с противником, и не как побежденные, а как победители, ведь даже если страна подвергнется опустошению — допустим на минуту такой невероятный случай, — даже если она уже не в состоянии оказывать сопротивление или — и это, к сожалению, тоже возможно — если ее уже нет, то есть ее невредимое правительство и ее великолепные органы власти. Они никогда не сдадутся. Наоборот, они готовы в интересах всеобщего мира снова подтвердить свою независимость, опирающуюся на постоянный вооруженный нейтралитет.

Конечно, это были только обрывки речи, которые я теперь вспоминаю, увязывая друг с другом, такого со мной еще никогда не было, я ведь совсем не слушал, а когда наконец оторвался от Норы, из приемника опять неслось "Навстречу заре!".

Мы встали. Я обливался потом. Пошли в лабораторию, оба совершенно голые. Она взяла у меня кровь на анализ.

— Будешь жить.

— А ты? — спросил я.

— Меня обследовала Администрация. Мне повезло, как и тебе.

Я снова набросился на нее, прямо здесь, у лабораторного стола, но опять разлился, потому что она, пока я пытался овладеть ею, сообщила холодным, деловым тоном:

— Невредимое правительство без народа — для правительства это, конечно, идеально. — И она захохотала и не переставала хохотать, пока я не отпустил ее.

— А сколько народу в Администрации? — спросил я, когда она наконец успокоилась.

— Двадцать-тридцать человек, не больше, — ответила она, поднялась и встала передо мной.

— А где живет Эдингер? — поинтересовался я, все еще сидя на полу, голый, совершенно без сил.

Она посмотрела на меня задумчиво.

— А зачем тебе знать?

— Да так.

— В Вифлееме. В пентхаузе¹, — ответила она наконец.

— А ты знаешь его имя?

— Иеремия.

Я подошел к компьютеру. В банке памяти Эдингеров было много, и среди них отыскался Иеремия. Я пробежал глазами данные: занимался философией (незаконченное философское образование), выступал в защиту окружающей среды, уклонялся от службы в армии,

¹Роскошная квартира на верхнем этаже, выходящая на плоскую крышу.

приговорен к смертной казни, которую парламент заменил пожизненным заключением.

Я опять пошел в радиоузел, закрыл дверь, ключ лежал в тайнике.

Затем вернулся к Норе, оделся. Она уже надела халат. Потом я отправился на склад, выбрал пистолет с глушителем, сказал ей, чтобы она заперла дверь и хранила ключ, а у меня кое-какие планы, возможно, и не совсем безопасные, сказал я. Нора молчала. Я покинул правительственное здание, воспользовавшись дверью в восточном крыле.

В Вифлееме остался лишь один многоэтажный дом, казавшийся каким-то призрачным эшафотом. Войдя в здание, я убедился, что внизу все выгорело дотла, а шахты лифтов пусты. Наконец обнаружил лестницу. Этажи состояли теперь лишь из стальных балок, державших бетонные перекрытия. На верхнем, освещаемом светлым ночным светом этаже никого не было видно. Я уже решил, что ошибся и что дом необитаем, но неожиданно натолкнулся на приставную лестницу. Вскрабкавшись по ней, я вылез в центре плоской крыши перед темным пентхаузом. Через щели в двери проникал свет. Я постучал. Послышались шаги, дверь распахнулась, и на светлом голубоватом фоне возник силуэт.

— Как мне найти Иеремию Эдингера? — спросил я.

— Папа еще в конторе, — ответил девчачий голос.

— Я подожду его внизу.

— Подожди у меня, — сказала девочка, — входи. Мама тоже еще не вернулась.

Девочка пошла в пентхауз, я — следом за ней, сунув руки в карманы куртки.

Прямо напротив двери я увидел громадную стеклянную стену и понял, почему внутренность дома казалась освещенной. За стеклянной стеной стояла светлая ночь, но она была такой прозрачной и серебристой не из-за луны, а из-за словно фосфоресцирующих гор, а Блюмлизалып светился так сильно, что отбрасывал тень.

Я посмотрел на девочку. Она выглядела таинственно в этом освещении, очень худенькая, с большими глазами, волосы такой же белизны, что и Блюмлизалып, освещавший комнату.

У стены стояли две кровати, посредине — стол и три стула. На столе лежали две книги: "Хайди" и "История философии в очерках. Руководство для самообразования" Швеглера. У стены напротив стояла плита, а рядом со стеклянной стеной — кресло-качалка.

Девочка зажгла светильник с тремя свечами. Теплый свет преобразил помещение. На стенах стали видны разноцветные детские рисунки. Девочка была одета в красный тренировочный костюм, глаза у нее были больше и веселые, волосы — светло-русые, на вид ей было лет десять.

— Ты испугался, — сказала она, — потому что Блюмлизалып так здорово сияет.

— Пожалуй, да, — подтвердил я, — испугался немножко.

— В последнее время свечение усилилось. Папа опасается. Он считает, что нам с мамой нужно уехать.

Я рассматривал рисунок.

— Хайди, — объяснила девочка, — я нарисовала все про Хайди, вот это домовой, а это — Петер-козопас. Может, ты сядешь, — предложила она, — в кресло-качалку, оно как раз для гостей.

Я подошел к стеклянной стене, посмотрел на Блюмлизалып и устро-

ился в кресле-качалке. Девочка села за стол и принялась за чтение "Хайди".

Было около трех часов утра, когда наконец послышались чьи-то шаги. В дверях показался большой толстый мужчина. Глянув в мою сторону, он обратился к девочке:

— Ты уже давно должна быть в постели, Глория. Марш спать!

Девочка закрыла книгу.

— Я не могу спать, пока ты не придешь, папа, — пожаловалась она. — И мама еще не возвращалась.

— Сейчас она придет, твоя мама, — сказал этот высокий, грузный, огромный человек и подошел ко мне. — Моя контора находится на Айгерплац, — заявил он.

— Мне хотелось бы поговорить с вами лично, Эдингер, — пояснил я.

— Вы не хотите назвать себя? — спросил он.

Я колебался в нерешительности.

— Мое имя не имеет значения, — ответил я.

— Ладно, — сказал он, — выпьем-ка коньяку.

Он направился к импровизированной кухне, нагнул, вытащил бутылку и две рюмки. Вернувшись в комнату, погладил по голове девочку, которая уже улеглась, погасил свечи, открыл дверь, кивнул мне, и мы вместе вышли на плоскую широкую крышу, расстилавшуюся перед нами в таинственном свете фосфоресцирующих гор, будто равнина с нагроможденными на ней развалинами, кустами и небольшими деревьями.

Мы уселись на обломки дымовой трубы, под нами был разрушенный Вифлеем. За осевшей вниз бывшей многоэтажкой виднелось какое-то подобие города с возвышающимся над ним узким силуэтом кафедрального собора.

— Бывший солдат?

— Я и сейчас солдат, — ответил я.

Он протянул мне рюмку, налил мне, потом — себе.

— Из французского посольства, — сообщил он, — и рюмки оттуда.

Хрусталь.

— А посольство еще существует?

— Один подвал остался, — сказал он. (У Администрации тоже свои секреты.)

Мы выпили.

— А чем ты раньше занимался? — спросил он.

— Был студентом, занимался у старого Кацбаха, — ответил я, — писал диссертацию.

— Вот что.

— О Платоне.

— А что именно о Платоне?

— О "Государстве", седьмой его книге.

— Я тоже учился у Кацбаха.

— Знаю, — сказал я.

— Я в курсе, что с ним произошло, — сказал он без удивления и выпил.

— Что же случилось с Кацбахом? — спросил я.

— Когда упала бомба, его квартира загорелась, — сообщил он, поболтав коньяком в рюмке, — у него было слишком много рукописей.

— Беда всех философов, — сказал я. — От философского семинара вообще ничего не осталось.

— Один Швеглер, — подтвердил он, — единственная книга, которую мне удалось найти.

— Я заметил ее на вашем столе.

Мы помолчали, глядя на Блюмлизальп.

— Приходите завтра на обследование, — предложил Эдингер, — на Айгершплиц.

— Я буду жить, — ответил я, — меня уже обследовали.

Он не спросил, кто меня обследовал, подлил мне коньяку, потом и себе тоже.

— Где армия, Эдингер? — спросил я. — Мы ведь мобилизовали тысячу восьмьсот мужчин.

— Армия, — сказал он, — армия. — Он глотнул коньяку. — На Инсбрук сбросили бомбу. — Он еще глотнул. — Вечерний салют. Вы из армии. Значит, вам повезло.

Мы опять помолчали, вглядываясь в очертания города. Пили.

— На нашей стране, видимо, надо поставить крест, — сказал Эдингер, — на Европе вообще. А что творится в Центральной и Южной Африке, просто невозможно передать. Не говоря о других континентах. Соединенные Штаты не подают никаких признаков жизни. На Земле вряд ли наберется хотя бы сто миллионов человек. А ведь до всего этого было десять миллиардов.

Я всматривался в Блюмлизальп. Он сиял ярче, чем полная луна.

— Мы создали всемирную Администрацию.

Я поболтал коньяком в рюмке.

— Мы? — спросил я.

Он ответил не сразу.

— Ты же уклонялся от службы, Эдингер, — сказал я, глядя сквозь рюмку на светящиеся горы. Рюмка таинственно засияла. — Ты жив, потому что тебя уберегли стены каторжной тюрьмы. Парадокс. Если бы в свое время парламент оказался более решительным, тебя давно бы расстреляли.

— У тебя-то уж хватило бы решительности.

Я кивнул утвердительно.

— Можешь взять это на заметку, Эдингер.

Я сделал глоток, посмаковал.

Со стороны города послышался глухой взрыв. Силуэт кафедрального собора покачнулся, потом раздался отдаленный громовой раскат, все окутала голубоватая пыль; когда она осела, от собора ничего не осталось.

— Рухнула терраса, на которой стоял собор, и потянула его за собой, — сообщил Эдингер равнодушным тоном. — Мы давно ждали этого. Впрочем, ты прав, полковник, — продолжал он, — мы, уклонявшиеся от службы, создали здесь всемирную Администрацию, в других местах это делают диссиденты или жертвы указа против радикалов.

Эдингер выдал себя. Он знал, кто я. Но пока это было неважно. Гораздо важнее было выведать что-нибудь об Администрации.

— Другими словами, существуют отделения вашей всемирной Администрации, — заметил я, — и ты об этом проинформирован, Эдингер.

— По радио, — сказал он.

— Электричества больше нет, — бросил я.

— Среди нас нашлись радиолюбители, — ответил он. Его лицо казалось в ночном свете лицом призрака, что-то необъяснимое исходило от него, какая-то странная неподвижность.

— Однажды мне почудилось, что я видел самолет, — сообщил я.

Он отхлебнул из рюмки.

— От центральной Администрации в Непале, — сказал он.

Я усиленно соображал. А ведь у них есть кое-что для проверки на радиоактивность. Что-то не вязалось во всей этой истории.

— Ты знаешь, кто я, Эдингер, — констатировал я.

— Я был уверен, что ты объявишься, полковник, — подтвердил он. — Бюрки меня предупредил.

Мы помолчали.

— Ключ он тебе тоже дал? — спросил я.

— Да.

— А Нора?

— Она ничего не знает, — сказал он, — бункер под восточным крылом найти совсем нетрудно. Я только послушал несколько речей правительства и вернул ключ Бюрки. Потом Бюрки умер, и по цепочке через Цауга, Штауффера, Рюэгера и Хадорна ключ попал ко мне.

— Ты в курсе, — сказал я.

Он допил свой коньяк.

— Администрация в курсе, — ответил Эдингер.

Я указал на светящуюся гору:

— Администрация там, Эдингер. Это полномочное, невредимое правительство, дееспособный парламент, действующие органы власти. Если мы его освободим, у нас будет Администрация намного лучше вашей всемирной из уклонившихся от службы в армии и диссидентов. Вы, конечно, это здорово придумали. Подлей-ка мне, Эдингер.

Он налил мне еще коньяку.

— Прежде всего ты, наверно, уже уяснил себе, Эдингер, — продолжал я, — что из нас двоих я сильнееший.

— Ты так считаешь, потому что у тебя есть оружие? — спросил он и глотнул из рюмки.

— Свой револьвер я отдал в правительственном здании бандерше, назначенной твоей Администрацией.

Он рассмеялся.

— Полковник, в бункере под восточным крылом находится склад оружия, он был в твоём распоряжении. И шифр.

Я опешил.

— Тебе известен шифр?

Он ответил не сразу. Уставился на гору, и его широкое, тяжелое лицо опять сжала странная неподвижность.

— Бюрки показал мне шифр к тайнику, расположенному под восточным крылом здания, — рассказал он, — и мы вместе расшифровали несколько секретных посланий, отправленных правительством из Блюмлизальпа. Это удалось лишь потому, что подземный кабель остался неповрежденным, радиостанция в Блюмлизальпе вышла из строя по причине радиоактивности. С правительством можно связаться лишь из восточного крыла правительственного здания. Правительство в отчаянии. Оно безрезультатно пыталось вступить со мной в контакт и наконец прекратило эти попытки. Они надеялись, что я их освобожу, а теперь обращаются с этой просьбой к тем, кто, как они убеждены, победил, то есть к врагам, не подозревая, что нет победителей, есть только побежденные; что солдаты всех армий отказались продолжать борьбу и расстреляли

своих офицеров; что власть в руках всемирной Администрации и что те солдаты, которые выжили после катастрофы, пытаются теперь сделать плодородной Сахару: возможно, это единственный шанс для выживания человечества.

Он замолчал.

Я слушал его и думал.

— Что ты мне предлагаешь? — спросил я.

Он допил свою рюмку.

— Люди работают в Сахаре, чтобы выжить, — сказал он. — Не исключено, что и туда проникнет радиация. Люди пытались невероятно примитивными средствами оросить пустыню. Они работали подобно первобытному человеку. Ненавидели технику. Ненавидели все, что напоминает о прошлом. Они находились в шоковом состоянии. Этот шок нужно было преодолеть. Я, как и ты, изучал философию. У меня есть теория Швеглера. Когда-то все мы смеялись над этими "Очерками философии", а теперь, может быть, именно тебе придется убеждать людей в Сахаре, что мыслить — это не самое опасное.

Эдингер замолчал. Его предложение было диким.

— Учить мыслить с помощью Швеглера, — рассмеялся я.

— У нас нет другого выхода, — возразил он.

— Другой возможности ты мне предложить не можешь?

Он помедлил.

— Могу, — ответил он наконец, — предлагаю, но без особой охоты.

— И что же это? — спросил я.

— Власть, — сказал он.

Я испытующе смотрел на Эдингера, чего-то он недоговаривал.

— Ты хочешь включить меня в Администрацию? — спросил я его.

— Нет, в Администрацию ты не можешь быть принят, полковник.

Он повернулся ко мне. Я опять увидел его тяжелое лицо.

— Администрация — это третейский суд, ничего больше. Он предоставляет право каждому решать, чего он хочет — бессилия или силы, хочет он быть гражданином или наемником. У тебя тоже есть право выбора. Твой выбор Администрация должна будет принять.

Я задумался.

— В чем состоит сила наемника? — спросил я с недоверием.

— В том же, в чем состоит любая сила, — во власти над людьми.

— Над какими людьми? — продолжал я допытываться.

— Над людьми, которые выданы на расправу наемникам, — непроницаемо сказал Эдингер.

— Не ходи вокруг да около, Эдингер.

— Ты совершенно не понимаешь, что творится, — ответил он, — Третья мировая война еще не кончилась.

— Скажи пожалуйста! И где же это она продолжается?

Он снова помешкал, разглядывая свою рюмку.

— В Тибете, — произнес он в конце концов, — там продолжают сражаться.

— Кто воюет?

— Наемники.

Это показалось мне невероятным.

— А кто нападает на этих наемников?

— Неприятель.

— А что это за неприятель? — допытывался я.

— Это дело наемников, — ответил он уклончиво. — Администрация не вмешивается в их дела.

Наш разговор зашел в тупик. Или враг был сильнее, чем хотел признать Эдингер, или же война в Тибете — какая-то ловушка. Я не мог рисковать.

— Эдингер, — обратился я к нему, — я был офицером связи нашей армии при командующем. Когда союзники капитулировали и штаб праздновал эту капитуляцию, командующий собственноручно расстрелял свой штаб. — Ну и?..

Я внимательно смотрел на Эдингера.

— Эдингер, — продолжал я, — на обочине дороги у Цернеца лежало более трехсот офицеров, расстрелянных нашими солдатами.

Эдингер выпил до дна.

— Наши солдаты больше не хотели воевать, — заявил он.

Я достал пистолет с глушителем.

— Налей себе еще, Эдингер, — сказал я. — Наемники в Тибете меня не касаются, и твоя Администрация тоже. Для меня что-то значит только правительство под Блюмлизальпом. В стране полно умирающих. С ними, которые все равно погибнут, я спасу правительство.

Эдингер наполнил свою рюмку, повертел ее в руках.

— И все-таки ты отправишься в Тибет, полковник, — произнес он спокойно и, пригубив коньяк, поставил бутылку рядом с собой.

— Встать! — приказал я. — Подойти к краю крыши! Ты — уклоняющийся от службы и предатель родины.

Эдингер повиновался и, стоя на краю крыши, еще раз обернулся ко мне — силуэт на фоне светящейся горы.

— Блюмлизальп, — сказал он, улыбнулся и спросил меня: — Ты знаешь, о чем я невольно думаю, полковник, когда вижу, что гора светится вот так?

Я покачал головой.

— О том, — произнес он, — что на том суде, приговорившем меня к смертной казни, я предложил ликвидировать армию и на деньги, сэкономленные на ее содержании, совершить нечто безумное: построить на этой горе самую большую обсерваторию в мире.

Он засмеялся. Потом махнул мне. Допил коньяк, бросил рюмку вниз на развалины позади себя и повернулся ко мне спиной.

— От имени моего правительства, — крикнул я и трижды выстрелил в силуэт. Он растворился в воздухе. Светлое ночное небо впереди опустело. Я услышал звук падения далеко внизу. Мне чего-то недоставало. Взяв бутылку, я запустил ее вслед за ним.

Тут я почувствовал: кто-то стоит за моей спиной. Я развернулся кругом с пистолетом на изготовку. Это была Нора. На ней был комбинезон, какие носят рабочие. Волосы спадали на плечи. В ночном свете они казались такими же белыми, как у девочки в пентхаузе.

— Нора, — сказал я, — я убил изменника родины Эдингера. Следить за мной совершенно ни к чему.

Она ничего не ответила.

Я подошел к краю крыши, потом обернулся к ней.

— Нора, — сказал я в замешательстве, — мне чего-то не хватает, я сам не знаю — чего.

— Я уже давно здесь, — наконец ответила она, — я все слышала. Глория — моя дочка, а Эдингер был моим мужем.

Я уставился на нее.

— Этого не было в компьютерных данных, — сказал я.

— Если бы там это было, я не смогла бы найти работу в правительственном заведении, — проговорила она, прошла мимо меня к краю крыши и посмотрела вниз. — Я рада, что ты его убил. Когда взорвалась бомба, он работал вместе с другими заключенными на Большом болоте. Он был безнадёжен. Страдал от ужасных болей. Терпел адские муки. — Она обернулась и подошла ко мне. — Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, ведь ты способен мыслить только определенными категориями.

Она остановилась передо мной: темная фигура на светлеющем небе.

— Но я не предательница. Эдингер был моим мужем, только и всего. Муж. Но мне кажется, он был чудак. Я верила в эту чушь — в защиту родины. Я была беременна, когда его за восемь лет до начала войны приговорили к смертной казни, а затем к пожизненной каторге как уклоняющегося от службы в армии. Я дала ему возможность заниматься философией. В шутку он называл меня своей Ксантиппой, сделавшей для философии больше, чем любая другая женщина. Он стал уклоняться от службы в армии, потому что это предписывала ему честность: как человек мыслит, так он и должен поступать. Не существует веления совести, есть веление мысли. Совесть и мысль едины. Он любил нашу страну, но ставил ей в упрек, что она уклоняется от Мысли. Ненависти он ни к кому не испытывал. А я чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Мне было страшно. Инстинкт подсказывал мне, что мы должны защищать свою страну. Он же говорил мне, что спасутся только правительство, парламент и государственный аппарат. Он все предвидел, все, что случилось. А я не верила ему. Когда он отправился на каторгу, я стала мстить ему: спала с каждым из вас.

Стало так светло, что я уже различал черты ее лица. Оно как бы окаменело и казалось абсолютно спокойным.

— А раз я мстила мужу, которого любила, и раз я спала с каждым из вас, принадлежавших к высшему военному руководству, значит, я стала патриоткой, и я осталась ею даже тогда, когда произошло все то, что предсказывал Эдингер.

Она улыбнулась, и вдруг в чертах ее лица проступила нежность, которой я никогда не замечал в ней.

— Я до такой степени осталась патриоткой, что пошла в бордель, который он устроил в правительственном здании, и тоже из чистой логики: потому что умирающие нуждаются в борделе. И создать Армию спасения удалось тоже ему. — Она рассмеялась. — Итак, я стала публичной девкой, чтобы дожидаться тебя и твоего поручения. Я думала, что Эдингер не подозревает об этом, а теперь знаю, что он был в курсе дела.

— Ты была ему безразлична, — сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Каждую ночь в это время я приходила сюда. Эдингер не спал из-за болей, и никогда ни с одним человеком мне не было так хорошо, как в эти часы перед рассветом. Мы говорили друг с другом, и когда он брал книгу, которую нашел в развалинах университета, я уже знала, что он хочет еще подумать, и я шла спать. Он восстановил по памяти всю философию, сказал он мне однажды, на основе одного лишь смехотворного

учебника. Иногда по ночам к нему приходил какой-то глухонемой. Они вспоминали математику, физику, астрономию. Все можно восстановить, объяснял он, потому что ни одна мысль не исчезает окончательно.

Я подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Далеко внизу виднелась распростертая фигура Эдингера, он лежал — на спине или нет, было не разобрать, — широко раскинув руки и ноги.

— Был Эдinger гением или нет, — сказал я, возвращаясь к Норе, — для нас это теперь не имеет значения.

— Ты ведь хочешь организовать умирающих, — сказала она.

— Мне надо выполнить поручение, — ответил я, — а потому как можно скорее проинформировать правительство в Блюмлизальпе, не дожидаясь, пока мне помешает в этом деле Администрация.

— Теперь ты этого уже не сделаешь, — произнесла она спокойно, — после того как ты вышел из бункера в восточном крыле, я установила там автоматическое взрывное устройство, а затем уж догнала тебя. Я видела, как ты поднялся в пентхауз. Ждала снаружи. Эдinger тоже не заметил меня. Я стояла позади вас, когда произошел взрыв. Остатки купола еще стоят. Но сам собор полностью разрушен. И больше никакой связи с правительством нет.

Я с ужасом смотрел на нее. Я ничего не понимал. Нора сошла с ума. Она глядела на Блюмлизальп.

— Когда мы находились в помещении радиостанции и вдруг услышали голос диктора, а потом речь шефа, я неожиданно поняла, что Эдinger прав, — пояснила Нора.

— А я взял тебя! — закричал я.

Она подошла ко мне и встала рядом.

— Полковник, — сказала она спокойно, — разве ты не понял, о чем говорил шеф?

— Я взял тебя! — опять крикнул я.

— Возможно, — ответила она, — мне безразлично, что ты со мной вытворил. Но я прислушивалась к речи шефа, и меня вдруг осенило. Я поняла, что вытворили с нами: правительство, парламент, государственные учреждения, называющие себя народом, для которых народ всего лишь отговорка, чтобы обеспечить себе безопасность, — ведь это дико смешно. Полковник! Пусть они до скончания века сидят в своем Блюмлизальпе! И тут являешься ты со своей идиотской затеей: вытащить это правительство из могилы с помощью умирающих, из могилы, которую они сами себе вырыли. Неужели до тебя не доходит, что патриотизм — это глупость? Для чего это правительство вообще существует? Может, ты думаешь, что это единственное правительство, засевшее в подобном убежище? Правительство всего мира забралось в такие же норы, и именно это предсказывал Эдinger, такие же правительства, как наше, — без народа и без врагов.

Вдруг я понял, чего мне не доставало после того, как я убил Эдингера.

— Враг, — выговорил я медленно, — у меня нет больше врага.

Я почувствовал себя невероятно усталым и потерявшим всякую надежду.

Стало светло как днем, контуры горы расплывались перед глазами. Наступило утро. Девочка прошмыгнула мимо меня, прижалась к матери, стоявшей передо мной, — гордой и красивой.

— Отправляйся в Тибет, — сказала Нора, — на Зимнюю войну.

(Здесь запись прерывается. Часть продолжения была обнаружена в одной из дальних галерей.)

...Какое-то время назад (месяцы, годы) я сбился, запутался. И не потому, что живу в полной темноте, ориентируюсь я прекрасно и всегда нахожу дорогу к складу боеприпасов и консервов. Конечно, враг мог проникнуть в систему галерей, которую я держал под контролем, пока освещение было в порядке, возможно, враг и проник сюда, но зато теперь труднее найти меня самого.

Писать для меня – мучение. Проверить, исписал ли я уже стену, я могу с помощью крошечной части правой руки, не захваченной протезом, или касаясь щеками скалы. Пишу строки в два километра длиной, что удалось установить при помощи кресла на колесах – по количеству поворотов, и теперь всего две строки, одну под другой.

Меня не беспокоит ни возможность вражеского нападения, ни собственные трудности, я смирился со своим положением. Оно наполняет меня гордостью: ведь я стал на позицию Эдингера. В этом лабиринте под Джомолунгмой я являюсь единственным защитником Администрации. И я искупаю здесь убийство Эдингера, даже в том случае, если мой выстрел был для него избавлением. Его предложение донести философские знания до тех, кто занят оросительными работами в Сахаре, теперь мне понятно. Он хотел восстановить философию. Нора оказалась права: благодаря моей функции и сложившейся судьбе я нужнее Администрации на Зимней войне. Как ни ужасно, это имеет смысл.

Я вспоминаю ту ночь у вершины Госаинтан на командном пункте, когда мы поймали на коротких волнах знакомый мотив: "Навстречу заре!" Может, случайно радиостанция Блюмпизальпа пробилась сквозь радиоактивность. Мы услышали также речь президента: он готов достойным образом вступить в переговоры с врагом. Мне было неприятно думать, что я служил такому правительству.

Иногда мы слышали и другие государственные гимны и представителей других правительств, сообщавших о своей готовности к мирным переговорам, как-то раз какой-то отчаявшийся беспрерывно говорил по-русски, однако мы не знали русского языка. В конце он объявил о капитуляции на всех языках. Администрация, которой я служу теперь, неспособна на подобные заявления. Она не капитулирует никогда. Что меня все-таки сбивает с толку, так это одно событие, которого я не в состоянии осознать. Совершенно исключено, что война приняла катастрофический оборот для Администрации. Я верю в конечную победу. Это само собой разумеется.

Но когда я недавно, делая записи, добрался до места, которое, видимо, находилось недалеко от давно бездействующего борделя, я заметил какой-то огонек. Возможно, это был неприятель, не появлявшийся уже несколько лет. А вдруг враг предпринял генеральное наступление? Осторожно продвигаясь вперед, я оказался в большом зале, где было светло как днем и полно людей: мужчины, женщины, целые семейства, много фотографирующих; были и другие: в форме, объяснявшие здешнее устройство. Я был настолько поражен, что, ослепленный светом, въехал в гущу этой толпы и чуть было не выстрелил, но вовремя спохватился, сообразив, что нахожусь не среди вражеских наемников, а среди туристов.

Я дал предупредительный залп из автомата: туристы в опасности, ведь

на них могли напасть враги. Какое легкомыслие разрешить и организовать подобное посещение бывшего борделя. Люди в ужасе закричали и побежали в одну из больших галерей. Я последовал за ними — может быть, это все-таки замаскированные враги. Галерея, как и бордель, оказалась освещенной, пол — заасфальтированным. Вдруг я очутился под открытым небом. Из ледяной пещеры на меня уставились наемники в кислородных масках и с автоматами. Я выстрелил. Стекло разлетелось вдребезги: наемники оказались выставленными в застекленной витрине и искусно освещенными восковыми фигурами. Я находился в большом выставочном зале, в витринах которого передо мной представляли все новые и новые сцены из Зимней войны. Я пришел в ужас, когда в одной из витрин узнал самого себя и командующего; наш командный пункт на вершине Госаинтана был воспроизведен с поразительной точностью. Так что я попал в музей.

В ярости я расстреливал витрины, перед глазами у меня расплывались силуэты одетых в форму людей, спасавшихся бегством, — служители музея. Я покатил за ними и неожиданно оказался у выхода. Снаружи виднелся парк с растущими в нем рододендронами, голубое безоблачное небо, мужчина в белом халате, как врач, лысый, в очках, он махал белым платком. Я застрелил его и отправился обратно через музей в галерею, затем — в заброшенный бордель. Зажимом правого протеза поднял с пола какой-то проспект. На нем было написано: «Путеводитель по борделю в Гашербрум III: "Светящаяся стена"». Кругом валялись и другие проспекты, снабженные подобными заголовками. Лишь через несколько дней я добрался до старой пещеры.

В непроницаемой темноте я выцарапываю эти записи на стенах новой галереи. Меня обескуражило не проникновение сюда врагов. Я сбит с толку, так как всегда считал, что бордель находится под Канченджангой, в "Пяти сокровищницах великого снега", в восточных Гималаях, а Гашербрум, о котором в проспектах сообщается, что именно под ним находится бордель, расположен в горах Каракорума на расстоянии более тысячи километров в северо-западном направлении. Конечно, не исключено, что эти проспекты намеренно подделаны врагами.

Так и получилось, что мое прежнее местопребывание теперь небезопасно. Мне припомнилась одна пещера, в которой я, будучи еще лейтенантом, собирал свою первую ударную группу. Жестоким отбор: вряд ли выживет хотя бы треть группы. Я решил попробовать отыскать этот учебный лагерь в надежде, что снова найду эту группу, если только лагерь не занял неприятель. С такой опасностью тоже нельзя не считаться. Правда, обстоятельство, что туристы посетили бордель, как раньше посещали раскопки, указывает на то, что бои идут значительно западнее, однако возможно, враг завоевал большую часть территории, подчиняющейся Администрации, во что я, однако, не верю. И все же: я убил человека в белом халате, а он, может быть, принадлежал к Администрации. Но возможно, он все-таки был враг. На этом кончаю записи в этой галерее.

(Конец записи.)

Итак, я осторожно двинулся в сторону системы галерей, ведущих к учебному лагерю, запасшись провиантом на много дней вперед. Дорогу я помнил хорошо: не обладая абсолютной памятью, выжить в этой войне было бы невозможно.

На перекрестке двух галерей, о существовании которого можно было догадаться лишь по чуть осязательному сквозняку, обязательно возникающему на любом перекрестке, мне почудился в соседней галерее какой-то скрежет. Звук был такой, как будто кто-то царапал по стене. Медленно въехав в галерею, я продвигался вперед осторожно, сантиметр за сантиметром, остановился, прислушался: царапанья больше не было слышно, мне показалось, что кто-то едет навстречу, потом опять стало тихо. Продвинувшись вперед еще немного, я опять остановился, прислушался. Снова кто-то катил еще навстречу. Снова стало тихо. Я двинулся дальше, остановился, прислушался. Это сближение длилось несколько часов. Вдруг кто-то вздохнул совсем близко, я застыл, задержав дыхание. Снова рядом кто-то вздохнул. Поскольку поблизости могло оказаться еще много врагов, автомат лучше было не применять. Размахнувшись правым хватательным протезом, я ударил и угодил в пустоту; продвинувшись, ударил снова; раздался такой звук, как будто сталь стукнулась о сталь. Продолжая колотить своим протезом, я выпал из кресла и начал кататься с кем-то или с чем-то другим по полу, нанося удары, иногда попадал по чему-то металлическому, иногда — по чему-то мягкому. Потом тот другой перестал двигаться. Я попробовал найти свое кресло-каталку. Теперь это был сплошной металлический лом. Я пополз на своих культиях и остатках протезов, свалился в какую-то шахту, ударился обо что-то лицом, перекувырнулся и провалился в следующую шахту.

Видимо, я был без сознания. Когда наконец пришел в себя, то оказалось, что я лежу в чем-то клейком, покрывавшем мне лицо. Подумал: надо открыть огонь — ведь кругом враги, однако мой левый протез с автоматом пропал. Я остался безоружным.

Я еще существую. По всей вероятности, нахожусь в пещере. Чувствую, что лицо мое превратилось в кровавую массу. Подо мной — мелкие камушки. Я с трудом волокусь вдоль стены; наверно, пещера бесконечная. То подует ледяной ветер, то наступит невыносимая жара: возможно, где-то поблизости работают огромные мастерские по производству оружия; только неизвестно — для кого: для нас или для неприятеля.

Положение у меня безнадежное. Теперь, когда я предоставлен самому себе и ползу вдоль стены этой ужасной пещеры, часто делающей немислимые повороты, я задаю себе вопрос, на который никогда не отважился бы во время боев: кто же враг? Теперь этот вопрос уже не расслабит меня, так же как и ответ на него. Мне нечего терять. В этом моя сила. Я стал непобедим. Разгадав загадку Зимней войны.

У меня больше нет кресла-каталки, протез с автоматом валяется где-то далеко в одной из галерей, однако при помощи стального грифеля я выцарапываю крошечными буквами на скале свои раздумья — не для того, чтобы их прочли, а чтобы лучше сформулировать мысль. Выцарапываемая мысль на камне, одновременно я выцарапываю ее в своем мозгу: путь, ведущий к познанию, пройти трудно, еще труднее — те пути, которые я оставил позади с тех пор, как в маленьком непальском городке скатился с грязной лестницы. Без дерзкого вымысла путь познания не пройти. И вот я представляю себе свет в той абсолютной темноте, в которой пребываю, не абсолютный свет, а лишь такой, что соответствует моему положению.

Я представляю себе людей в какой-то пещере, людей, у которых смо-

лоду бедра и шея скованы цепью — так, что они сидят совершенно неподвижно и могут смотреть только вперед, на стену пещеры. В руках у них автоматы. Вверху светит огонь. Между людьми и этим огнем есть переход. Вдоль него мне видится невысокая стена. А по этой стене здоровенные тюремщики проводят людей, тоже закованных в кандалы и с оружием в руках.

И тогда, продвигаясь ползком по камням на полу пещеры и выщарпывая на стене свои каракули, я задаюсь вопросом: увижу ли я себя и других иначе, чем в виде теней, отбрасываемых огнем на стену, расположенную против моего лица, и не приму ли тени этих фигур за них самих? Ну вот, и если голос, идущий непонятно откуда, крикнет мне, что эти тени, вооруженные тенями от автоматов, мои враги, то не случится ли, что я, выстрелив в эти тени на стене пещеры, я вроде бы убью тех, кто, как и я, закован в кандалы, потому что пули, отскочив от стены, рикошетом попадут в них и, возможно, что и они, верящие в то, во что верю я, и действующие подобно мне, убьют меня? Однако, если меня освободят и заставят вдруг встать, повернуть голову, ходить вокруг, смотреть на свет и если при этом я почувствую боль и из-за непривычно яркого света не смогу смотреть на людей, тени которых все время видел до этого, людей, находящихся в том же положении, что и я, разве не сложится у меня тогда мнение, что тени, которые я видел раньше, реальнее людей, представших передо мной воочию? И если я вынужден буду долго смотреть на свет, то, спасаясь от боли, снова повернусь к людям-теням, на которых я в силах глядеть; и я останусь в убеждении, что эти тени гораздо отчетливее, чем люди, которых мне показали, потому что именно тени — мои враги; и разве не начну я опять стрелять, чтобы убить их и чтобы они снова и снова убивали меня самого?

Дальше рассуждать незачем! Когда-то я уже боролся с подобным представлением, может, я где-то все это вычитал, может, сам придумал, не знаю. Скорее всего, я выдумал это, выписывая на скале свои размышления.

Огонь, отбрасывающий тени, возник в первобытные времена, не случайно звери боятся огня, огонь — что-то враждебное, а враг человека — его собственная тень.

Потому я и застрелил Эдингера и висевшего в пещере мужчину, убил командующего: они ведь больше не верили, что тени — враги, они знали, что, так же как и я, закованы в кандалы.

И теперь, думая обо всем этом, я вдруг понял Администрацию: победив в трех мировых войнах, она управляет человечеством, которое из-за того, что им управляют, потеряло смысл; животное-человек лишено смысла, его существование на земле совершенно бессмысленно. Для чего он вообще существует, человек? Вопрос, на который ответа нет. У человека и у Земли нет предназначения. Человек страдает, по сути он болезненное животное, но его проблема не только страдание само по себе, а то, что отсутствует ответ на кричащий вопрос: "Ради чего страдать?" Человек — самое храброе и привычное к мучениям животное, он не отвергает страдание как таковое, он жаждет его, ищет его при условии, что ему укажут смысл, смысл страдания. Бессмысленность страдания, а не само страдание, — вот проклятие, какого не могла снять с человека Администрация, не возвратив человеку прежний смысл существования, — врага, от которого она его чудовищным способом избавила.

Человек может существовать только как хищное животное. Нельзя придумать жребия страшнее, чем судьба хищного зверя, гонимого жестокой мукой лабиринтами под Джомолунгмой, Макалу, Манаслу или Гогсаинтаном, редко находящего успокоение, да и успокоение превращается в пытку в жестокой борьбе с другими хищными животными или в тошнотворной алчности и пресыщении подземных борделей. Так слепо и дико цепляться за жизнь, без иного вознаграждения, нисколько не понимая, за что так наказан, желая этого наказания как счастья, — это и значит быть хищным животным; и если вся природа устремилась к разбою, то так она дает понять, что это необходимо для освобождения от проклятия жизни и что таким образом само бытие смотрится в зеркало, в котором жизнь видится уже не бессмысленной, а предстает в своем метафизическом значении. Подумайте хорошенько: где кончается хищное животное, свирепая, кровавая обезьяна, называемая человеком, и где начинается сверхчеловек? В существе, обозревающем преисподнюю пещерной жизни, куда он загнан; в том, кто сорвал этот искуснейший покров с истины, под которым она была запрятана: цель человека — быть врагом самого себя, человек и его тень едины. Кто дошел до этой истины, тому достанется мир и он постигнет смысл Администрации.

Господин мира — я. В ослепительно ярком свете вижу я себя в своем кресле-каталке выбирающимся из галереи в пещеру; и из галереи напротив себе навстречу качу я сам, у нас у обоих по два автомата, приделанных к протезам, выцарапывать на стенах больше нечего, мы направляем все четыре автомата друг в друга и одновременно стреляем.

(Труп наемника был найден альпинистами у подножия Гашербрума III, 7952 м, у Каракорума, на откосе осыпи. Наемник примерно сто пятьдесят метров протачился вдоль скал, выписывая правым протезом записи на стене и на больших камнях, которые он, по-видимому, принял за отвесную стену Гашербрума III или какую-нибудь другую гору. Его лицо представляло собой кровавую массу. Вероятно, он ослеп. Вообще на труп, видимо, напали стервятники, но потом оставили его в покое.

В записях разобраться очень трудно, так как они часто, и в галереях Гашербрума III тоже, почти все время написаны справа налево, а не слева направо, то же самое наблюдается и на противоположной стене, возможно, так получилось из-за кресла-каталки: наверно, в темноте наемнику было удобнее писать именно таким образом. Снаружи, на осыпи, у подножия горы, он продолжал писать длиннющей цепочкой в сто пятьдесят метров справа налево, малюсенькими буквами, их трудно разобрать, отсутствуют интервалы между словами и знаки препинания.

Окончательный текст заключает в себе его ранние философские исследования, по всей вероятности, это реминисценции, некий коллаж из Платона ("Государство", Пещерная притча) и Ницше ("Генеалогия морали", "Шопенгауэр как воспитатель"). Почти не способный уже думать самостоятельно, он вынужден был пользоваться цитатами. Сам того не желая, он выстроил не философию вообще, а собственную философию. Во всяком случае, мы должны это предположить, с тех пор как нашли в Джеймстауне (Австралия) библиотеку, принадлежавшую, наверно, какому-то философу; главное наше дополнение к Швеглеру. (Кроме "Государства" Платона и Собрания сочинений Ницше в библиотеке оказался еще "Миф XX века" Розенберга. Поскольку ни Ницше, ни Розенберг не

встречаются у Швеглера, современная наука рассматривает их как философские фикции.)

Однако эти записи полны противоречий. Тяжелое положение, в котором все еще находится человечество после Третьей мировой войны, позволяет Администрации финансировать только одну исследовательскую группу для работы на массиве Гашербрум. Незадолго до окончания ее работ горный массив обвалился из-за того, что наемники чересчур изрыли его изнутри. Почему они думали, что находятся в Гималаях, непонятно.

Существует единственная копия этих записей. Ученые считают, что они сделаны двумя "я". Номер 60 231 023, который немой поставил на стене, может быть прочитан и как число Лошмидта: $6.023.10^{23}$. Впрочем, именно записям мы обязаны новым открытием этого числа.

Второе "я" – это, по всей видимости, глухонемой. Кнюрбэль, Хопплер и Артур Полл считают, что этот глухонемой – Джонатан. Ведь он тоже писал на скалах. Странно, что позже он не появляется. Нора рассказывала "полковнику", что Эдингер вместе с глухонемым пытались вспоминать математику, физику и астрономию; "полковник" же поглощен был проблемой врага, а часть записей посвящена судьбе человечества и связывает этот вопрос с небесными светилами; совершенно невозможно предположить, чтобы эта часть записей принадлежала "полковнику".

Другие, такие, как Штирнкналь, Де ла Пудр и Тайльхард фон Цель, указывают, что в архиве Администрации не упоминается ни о каком Эдингере и что записи представляют собой фантазию, захватившую полковника, который, оказавшись в безнадежном положении, словно бы разделился на действующего и мыслящего наемника.

Ко всему надо еще добавить, что мы ничего конкретного не знаем о погибшей Европе. Сохранилась лишь музыка, достижение этого континента. К примеру, мелодия "Навстречу заре!". То, что некий радиолобитель на днях якобы поймал этот мотив на коротких волнах, вызывает сомнения, потому что он известный пропойца.)



ПОРУЧЕНИЕ,

**ИЛИ
О НАБЛЮДЕНИИ
НАБЛЮДАТЕЛЯ
ЗА НАБЛЮДАТЕЛЯМИ**

**НОВЕЛЛА
В 24 ПРЕДЛОЖЕНИЯХ**

DER AUFTRAG
oder
vom Beobachten
des Beobachters
der Beobachter
Novelle in vierundzwanzig Sätzen

Перевод Н. Федоровой

© 1986 by Diogenes Verlag AG, Zürich

Что будет? Что принесет грядущее? Я этого не знаю и ни о чем не догадываюсь. Когда паук, потеряв точку опоры, срывается в неизвестность последствий, он неизменно видит перед собой пустое пространство, где не за что зацепиться, сколько ни барахтайся. Вот так и со мною: впереди неизменно пустое пространство, а то, что гонит меня вперед, есть последствие, оставленное позади. Эта жизнь лишена смысла и ужасна, невыносима.

Кьеркегор

1

Когда полиция сообщила Отто фон Ламберту, что его жена Тина, изнасилованная и убитая, найдена у подножия Аль-Хакимовых Развалин и что раскрыть преступление не удалось, психиатр, снискавший популярность книгой о терроризме, распорядился переправить тело вертолетом через Средиземное море, причем гроб, в котором оно лежало, был подвешен на тросе под брюхом машины и летел следом за нею то над необозримыми солнечными равнинами, то сквозь космы туч, над Альпами он вдобавок угодил в метель, а затем в ливневые дожди, но в конце концов плавно опустился в окруженную скорбящими открытую могилу, которую немедленно засыпали, после чего фон Ламберт, заметивший, что Ф. тоже снимала похороны, сложил, невзирая на дождь, свой зонтик, секунду пристально смотрел на нее и пригласил сегодня же вечером навестить его, вместе со съемочной группой: у него есть для Ф. поручение, которое не терпит отлагательства.

2

Ф., снискавшая популярность кинопортретами — в свое время она решила идти неизведанными путями и теперь вынашивала туманную пока идею создать обобщенный портрет, а именно портрет всей нашей планеты, надеясь достигнуть этого сведением разрозненных, случайных эпизодов в единое целое, почему снимала и эти странные похороны, — озадаченно проводила взглядом грузную фигуру фон Ламберта, мокрого от дождя, небритого, в черном пальто нараспашку, заговорившего с нею и тотчас отошедшего без слова прощания, и решила принять его приглашение далеко не сразу, ибо недоброе предчувствие подсказывало ей, что здесь что-то не так и есть опасность влипнуть в историю, которая расстроит собственные ее планы, а потому она со своей съемочной группой явилась в квартиру психиатра, по сути, без всякой охоты, только из любопытства — дескать, что он от меня хочет? — твердо решив ни на что не соглашаться.

3

Фон Ламберт принял их в своем кабинете; первым делом он попросил снять его на пленку, безропотно вытерпел все приготовления, а после этого, сидя за письменным столом, заявил перед камерой, что виновен в смерти своей жены, поскольку относился к ней, нередкко страдавшей тяжелыми депрессиями, скорее как к пациентке, чем как к жене, а в результате она, случайно прочитав его записки, ушла из дома: накинула на джинсовый брючный костюм рыжую шубу, схватила сумочку да так, по словам экономки, и ушла; с тех пор он ничего о ней не слышал, мало того, пальцем не шевельнул, чтобы о ней разузнать, — хотел, с одной стороны, дать ей полную свободу, а с другой — развеять у нее впечатление (вдруг бы она узнала о его розысках!), что он по-прежнему за нею наблюдает; однако теперь, когда ее постиг такой ужасный конец, а он уразумел, что вина его не только в том, что он применял к ней предписанные психиатрией методы хладнокровного наблюдения, но и в том, что он вообще отказался от розысков, — теперь он считает своим долгом узнать правду, больше того, сделать ее достоянием науки, выяснить, что же все-таки произошло; конечно, судьба жены обнажила ограниченность его науки, но здоровье у него подорвано, и он не в состоянии поехать туда сам, поэтому и поручает ей, Ф., вместе с ее съемочной группой восстановить картину преступления, виновник которого он сам как врач, а убийца представляет собой чисто случайный фактор, — восстановить прямо на том месте, где оно, очевидно, произошло, зафиксировать все по максимуму, чтобы созданный таким образом фильм можно было показывать на конгрессах специалистов и в прокуратуре, ибо он, виновный, как всякий преступник, лишился права хранить свой проступок в тайне; засим он передал ей чек на солидную сумму, несколько фотографий покойной, а также ее дневник и свои записки, после чего Ф., к удивлению съемочной группы, согласилась выполнить его поручение.

4

Ф. распрощалась, оставив без ответа вопрос оператора о том, что означает весь этот вздор, и ночь напролет, почти до рассвета, читала дневник и записки, а после недолгого сна, не вставая с постели, позвонила в бюро путешествий и организовала авиабилеты до М., потом она поехала в город, купила бульварную газету, где на первой полосе были опубликованы фотографии странных похорон и усопшей, и, прежде чем отправиться по небрежно нацарапанному адресу, найденному в дневнике, зашла позавтракать в итальянский ресторан и подсела там к логику Д., чьи лекции в университете посещали двое-трое студентов, чудаковатому, но весьма проникательному человеку, о котором никто не знал, совершенно ли он беспомощен в житейских делах или просто разыгрывает беспомощность, и который всякому, кто подсаживался к нему в этом вечно переполненном ресторане, объяснял свои логические проблемы, да так сумбурно и подробно, что никто не мог их постичь, в том числе и Ф., которая, однако же, находила его забавным, симпатизировала ему и частенько делилась своими планами; вот и теперь она заговорила о странном пору-

чении психиатра и о дневнике его жены, не отдавая себе отчета, что рассказывает об этом, настолько занимала ее эта густо исписанная тетрадка, она так и сказала: никогда, мол, в жизни не читала подобных описаний, Тина фон Ламберт изображала своего мужа чудовищем, изображала постепенно, как бы снимая срез за срезом и после, словно под микроскопом, рассматривая их при все большем увеличении и во все более ярком свете, на многих страницах она описывала, как он ест, на многих — как ковыряет в зубах, на многих — как и где почесывается, на многих — как причмокивает или прочищает горло, кашляет, чихает, и прочие произвольные действия, жесты, порывы и странности, которые, откровенно говоря, можно найти у любого человека, но делалось это все в такой манере, что у нее, у Ф., теперь просто кусок в горле застревает, и если она еще не притронулась к завтраку, то потому лишь, что ей представляется, будто она ест столь же омерзительно, да и нельзя есть эстетично; когда читаешь этот дневник, все время чувствуешь, как огромная туча наблюдений сгущается в комок омерзения и ненависти, ей кажется, словно она прочла документальный сценарий о человеке вообще, словно любой человек, если заснять его таким образом, станет тем фон Ламбертом, каким его описала собственная жена, ведь в силу беспощадного наблюдения он теряет всякую индивидуальность; на самом-то деле психиатр произвел на нее совсем другое впечатление, он фанатик своего дела, начавший в этом деле сомневаться, в нем есть что-то до крайности ребячливое, как и во многих ученых, и беспомощное, он верил, что любит жену, и верит до сих пор, но люди слишком уж легко воображают, что любят кого-то, а, по сути, любят только самих себя; сенсационные похороны заронили в нее недоверие, они лишь маскируют его уязвленную гордость — а что, очень может быть, — и, поручив ей, Ф., выяснить обстоятельства, приведшие к гибели жены, он пытается, хотя и неосознанно, стяжать лавры прежде всего себе самому; и если рассуждения Тины о муже тяготеют к утрированности, к излишней наглядности, то записки фон Ламберта — к излишней абстрактности: в них сквозит не наблюдение за человеком, а абстрагирование от него; к примеру, депрессия определяется как психосоматический феномен, порожденный осознанием бессмысленности, которая присуща бытию как таковому, смысл бытия есть само бытие, и, таким образом, бытие принципиально невыносимо, сознание этого дошло до сознания Тины, а такое осознание как раз и есть депрессия — и так далее, целые страницы подобной белиберды, вот почему она совершенно не может поверить, что Тина сбежала, найдя эти записки, как, по всей видимости, полагает фон Ламберт; пусть даже ее дневник и кончается дважды подчеркнутой фразой "за мной наблюдают", Ф. толкует эти слова по-другому: Тина обнаружила, что фон Ламберт читал ее дневник, это вот чудовищно, а не записки фон Ламберта, для человека же, который в глубине души ненавидит и вдруг узнаёт, что ненавидимый знает об этом, нет иного выхода, кроме бегства; тут Ф. поставила точку в своих рассуждениях, добавив, что во всей этой истории что-то не так, остается загадкой, что погнало Тину в пустыню, и она, Ф., кажется себе чем-то вроде тех зондов, которые запускают в космос: вдруг они передадут на Землю информацию совершенно неизвестного характера.

Д. выслушал сообщение Ф., рассеянно заказал себе бокал вина, хотя было только одиннадцать часов, и, столь же рассеянно осушив его, сразу заказал еще один и заметил, что он вообще-то до сих пор занят ничемной проблемой, справедливо ли тождество $A=A$, ведь оно предполагает два тождественных A , тогда как существовать может лишь одно тождественное себе самому A , относительно же реальности это все равно бессмысленно, ни один человек себе не тождествен, ибо он подвластен времени и, если быть точным, в каждое мгновение иной, чем прежде, иногда ему кажется, он каждое утро другой, словно иное "я", вытесняя предыдущее, пользуется его мозгом, а значит, и его памятью, поэтому он с радостью занимается логикой, которая бытует по ту сторону любой реальности и отвержена от любой экзистенциальной неудачи, вот почему он способен воспринять историю, которой она его попотчевала, лишь в самых общих чертах; старина фон Ламберг потрясен не как супруг, а как психиатр; от врача сбежала пациентка, и свою человеческую неудачу он сразу же превращает в неудачу психиатрии, этот психиатр точно страж без узника, ему не хватает объекта, и виной он называет всего-навсего эту нехватку, а от Ф. хочет всего-навсего недостающего документа для своего досье; стараясь узнать то, чего никогда не поймет, он хочет, так сказать, вернуть умершую в свою тюрьму — материальчик для комедиографа, от начала и до конца, если б не крылась тут проблема, которая его, Д., тревожит уже давно, ведь у себя дома, в горах, он держит зеркальный телескоп, так вот, этот неуклюжий прибор он наводит иной раз на скалу, откуда за ним наблюдают люди с биноклями, после чего эти наблюдатели с биноклями, едва обнаружив, что он наблюдает за ними в телескоп, спешно ретируются, а это только подтверждает логический тезис, что на любое наблюдаемое есть наблюдающее, каковое, если наблюдается тем наблюдаемым, само становится наблюдаемым, — банальное логическое взаимодействие, однако же, транспонированное в реальность, оно оказывается весьма опасным; оттого, что он наблюдает за ними в телескоп, наблюдающие за ним чувствуют себя пойманными с поличным, а это чувство пробуждает стыд, стыд зачастую рождает агрессию, иные из ретировавшихся возвращались, когда он, Д., убирал свой прибор, и бросали камни в его дом, и вообще все, что происходит между теми, кто наблюдает за ним, и им, наблюдающим за своими соглядатаями, весьма показательно для нашего времени, каждый, чувствуя, что все за ним наблюдают, тоже наблюдает за всеми, нынешний человек постоянно находится под наблюдением, государство наблюдает за ним все более уточненными способами, человек все отчаяннее пытается уйти от наблюдения, государству становится все более подозрителен человек, и наоборот, человеку — государство, точно так же всякое государство наблюдает за другими государствами и чувствует, что другие наблюдают за ним, а человек, как никогда прежде, наблюдает за природой, изобретая для этого все более изощренные приборы, как-то: фото- и кинокамеры, телескопы, стереоскопы, радиотелескопы, рентгеновские телескопы, микроскопы, электронные микроскопы, синхротроны, спутники, космические зонды, компьютеры; у природы выманивают всё новые наблюдения — от квазаров, удаленных на миллиарды световых лет, до мельчайших, размером в миллиардные доли миллиметра частиц, до открытия, что электромагнитное

излучение есть излученная масса, а масса есть застывшее электромагнитное излучение; никогда прежде человек не наблюдал природу так усиленно, она стоит перед ним как бы нагая, лишенная всех тайн, из нее извлекают выгоду, над ее ресурсами измываются, оттого ему, Д., иногда кажется, будто природа в свою очередь наблюдает за наблюдающим ее человеком и становится агрессивной; загрязненный воздух, отравленная почва, зараженные грунтовые воды, умирающие леса, — это забастовка, сознательный отказ обезвреживать вредные вещества, тогда как новые вирусы, землетрясения, засухи, наводнения, ураганы, вулканические извержения и так далее суть защитные меры наблюдаемой природы, направленные против того, кто за нею наблюдает, точно так же как его телескоп и камни, брошенные в дом, суть контрмеры против наблюдения, нечто похожее — если вернуться к теме — произошло и между фон Ламбертом и его женой, там наблюдение тоже является объективизацией, и вот каждый объективировал другого до невыносимости, он сделал ее объектом психиатрии, она его — объектом ненависти, после чего, внезапно обнаружив, что за нею, за наблюдающей, наблюдает наблюдаемый, она не долго думая накинула на джинсовый брючный костюм рыжую шубу и убежала из дьявольского круга наблюдения и наблюдаемости, убежала в смерть, добавил Д., неожиданно рассмеявшись и вновь посерьезнев; идеи, которые он тут развивал, — это, конечно же, только одна возможность, вторая представляет собой полную противоположность вышесказанному, ведь логический вывод зависит от исходной посылки; если б за ним в его доме в горах наблюдали реже, так редко, что, направь он свой телескоп на тех, кто якобы наблюдал за ним со скалы, а они наблюдали бы в свои бинокли вовсе не за ним, а за чем-то другим, скажем за прыжками козочек или карабканьем альпинистов, такое отсутствие наблюдения со временем стало бы для него большей мукой, нежели прежде — наблюдение, он бы просто мечтал, чтобы в его дом полетели камни; оставшись без наблюдения, он счел бы себя незначительным, а раз незначительным, то и неуважаемым, а раз неуважаемым, то и ничтожным, а раз ничтожным, то и бессмысленным, он бы наверняка впал в безнадежную депрессию, даже от своей и так уж бесплодной университетской карьеры отказался бы ввиду ее бессмысленности, и поневоле сделал бы тогда вывод, что другие люди, как и он, страдают от отсутствия наблюдения; не чувствуя наблюдения, они тоже кажутся себе бессмысленными, потому-то все друг за другом наблюдают и снимают друг друга на пленку — от страха к бессмысленности своего бытия перед разбигающей вселенной с ее миллиардами галактик вроде нашей, кишачих миллиардами обитаемых планет вроде нашей, безнадежно разъединенных гигантскими расстояниями, вселенной, где непрерывно взрываются и гаснут солнца, — да кому же тут еще наблюдать за человеком, наделяя его смыслом, кроме самого человека, ведь при этом чудовищевселенной личный бог долее невозможен, бог-вседержитель, бог-отец, наблюдающий за каждым, подсчитывающий у каждого волосы на голове, этот бог умер, ибо стал немислим, стал совершенно безосновательной аксиомой веры, мыслим один только безличный бог как абстрактный принцип, как философско-литературная концепция, способная наворожить хоть какой-то смысл чудовищному целому, смысл неясный и возвышенный, чувство — это все, имя — звук пустой, дым, омрачающий небесный огонь, заключенный в кафельной печи человеческого сердца, однако

же и разум не в силах исхитриться и присочинить себе еще какой-то смысл помимо человека, вне его, ибо все, что можно помыслить и сделать: логика, метафизика, математика, законы природы, произведения искусства, музыка, поэзия — обретает смысл лишь благодаря человеку, без человека все снова тонет в недуманном, а значит, в бессмысленном; если продолжить этот логический ход, станет понятным многое из происходящего сегодня: человечество, спотыкаясь, бредет наугад в безумной надежде, что за ним все ж таки хоть кто-то наблюдает, ну, например, когда оно ведет гонку вооружений, это, ясное дело, заставляет участников гонки наблюдать друг за другом, потому-то в глубине души они надеются, что смогут вечно наращивать эту гонку, а значит, должны будут вечно наблюдать друг за другом, без гонки вооружений участники ее погрязнут в ничтожестве, но если вдруг по недосмотру гонка вооружений разожжет атомный пожар, на что она вполне способна, и уже давно, так пожар этот окажется просто-напросто бессмысленной демонстрацией того, что некогда Земля была обитаема, фейерверком, наблюдать который не будет никто, разве только человечество или вообще какая-нибудь цивилизация, возможно существующая вблизи Сириуса либо еще где-нибудь, однако ей не удастся уведомить жаждущего наблюдения о том, что за ним наблюдали, ведь тогда его уже не будет; религиозный и политический фундаментализм, всюду возникающий или по-прежнему царящий, опять-таки говорит о том, что многие, а скорей даже — большинство, не выдерживают отсутствия наблюдения, они обращаются к понятию личного бога либо столь же метафизической инстанции, наблюдающего или наблюдающей за ними, а отсюда выводят для себя право наблюдать, уважает ли мир заповеди наблюдающего за ним бога или наблюдающей за ним инстанции; с террористами дело похитрее, у них все наоборот, предел их мечтаний — инфантильная страна, где отсутствует наблюдение, но, воспринимаемая окружающий мир как тюрьму, в которую их швырнули не только противозаконно, но в подземельях которой они еще и лишены всякого наблюдения и внимания, они отчаянно стремятся принудить стражей наблюдать за ними, а тем самым хотят шагнуть из безвестности ненаблюдения на яркий свет всезамеченности, что, правда, станет возможным, только если они, как это ни парадоксально, будут снова и снова скрываться от наблюдения, переходя из подземелья в подземелье, и никогда им не выйти на волю, — короче говоря, человечество норовит вернуться в пленки, фундаменталисты, идеалисты, моралисты, политхристиане опять усердно навязывают ненаблюдаемому человечеству наблюдение, а значит, и смысл, ведь человек в конечном итоге педант и не может без смысла, потому-то он терпит все, кроме свободы чихать на смысл; вот и Тина фон Ламберт мечтала бегством привлечь к себе внимание мировой общественности, о чем, вероятно, и говорит дважды подчеркнутая фраза "за мной наблюдают", если считать ее уверенным подтверждением задуманного, однако стоит только принять эту возможность, как именно здесь и начинается собственно трагедия: муж Тины толкует ее бегство не как попытку попасть под наблюдение, а как бегство от наблюдения и в результате отказывается от всяких поисков; стало быть, своей цели Тина фон Ламберт на первых порах не достигла, ее бегство осталось без наблюдения, а значит, без внимания, вероятно, поэтому она и пускалась во все более дерзкие авантюры, пока смертью своей не добилась

желаемого, теперь ее фотография во всех газетах, теперь она стала объектом наблюдения и таким образом обрела искомую значимость и смысл.

6

Ф., которая, внимательно слушая логика, велела подать себе кампари, сказала, что Д., наверно, удивляет, почему она согласилась на предложение фон Ламберта; конечно, разница между "наблюдать" и "не быть под наблюдением" — забавная логическая шутка, но ее интересует то, что говорилось о человеке, которому, по его мнению, не дано тождества с самим собой, ибо он, брошенный в поток времени, всечасно другой — если она правильно поняла Д., — а это означает, что "я" не существует, есть только неисчислимая вереница плывущих из будущего, всплывающих в настоящем и тонущих в прошлом "я", и, стало быть, то, что человек именует своим "я", есть просто собирательное название для всех накопленных в прошлом "я", количество которых непрерывно растет, сверху наслаиваются новые и новые "я", падая из будущего сквозь настоящее; это скопление обрывков пережитого, обрывков воспоминаний сравнимо с кучей листвы, где самые нижние листья давно перегнили, а сверху ложатся новые, упавшие с деревьев, принесенные ветром, и куча делается все выше; и ведет такой процесс к подтасовке "я", поскольку каждый начинает подделывать свое "я", выдумывать себе роль, стараясь сыграть ее более или менее хорошо, а значит, все дело в актерском мастерстве: сумеет человек предстать характерным персонажем или нет; чем интуитивнее, непреднамереннее играет роль, тем естественней впечатление, теперь-то она понимает, отчего так трудно создавать портреты актеров, они слишком уж явно играют своих персонажей, сознательное актерство выглядит неестественно, и вообще, оглядываясь назад, на свое творчество, на людей, портреты которых создала, она не может отделаться от ощущения, будто в первую очередь снимала скверных комедиантов, особенно это касается политиков, лишь немногие среди них были актерами с масштабным "я"; она решила больше кинопортретов не делать, но сегодня ночью, читая и перечитывая дневник Тины фон Ламберт, представляя себе, как эта молодая женщина в рыжей шубе шагнула в пустыню, в это море песка и камня, она, Ф., уразумела, что вместе со своей съемочной группой непременно должна отправиться по следам этой женщины, должна — во что бы то ни стало — пойти в пустыню к Аль-Хакимовым Развалинам, ведь чуть подсказывает, что там, в пустыне, существует реальность, с которой она, как и Тина, должна встретиться лицом к лицу, для Тины встреча оказалась гибелью, чем она будет для нее самой, пока неизвестно; а затем, допив кампари, она спросила у Д., не безумно ли с ее стороны согласиться на такое вот предложение, и Д. ответил, что она-де хочет отправиться в пустыню, так как подыскивает новую роль, старая роль была — наблюдать за ролями, теперь же она задумала испытать себя в деле прямо противоположном: не создавать портрет, что предполагает наличие объекта, а реконструировать, воссоздать объект портретирования, то есть собрать разбросанные листья в кучу, причем не имея возможности узнать, с одного ли дерева эти листья, которые она укладывает друг на друга, и не создает ли она в итоге свой собственный портрет, — затея хоть и безумная, но опять-таки безумная ровно настолько, чтобы безумной не быть, а посему он желает ей всех благ.

С самого утра было по-летнему душно, а когда Ф. подошла к машине, и вовсе загремел гром, она едва успела поднять верх своего кабриолета, как хлынул проливной дождь, под которым она, минуя Старый город, проехала к Старому Рынку и, несмотря на запрет, припарковалась у бровки тротуара; да, она не ошиблась: по этому адресу, бегло накарябанному в дневнике, в свое время действительно находилась мастерская одного недавно умершего художника, правда, он много лет назад уехал из города, так что мастерскую наверняка занимал кто-то другой, если она вообще сохранилась, там ведь и раньше все от старости на ладан дышало, а потому Ф. не сомневалась, что никакой мастерской сейчас и в помине нет, однако, поскольку этот адрес был явно каким-то образом связан с Тиной — иначе откуда бы ему взяться в дневнике? — она, не обращая внимания на плещущие с неба потоки воды, проделала недолгий путь от машины до парадного и, промокая до нитки, хотя дверь была не заперта и сразу открылась, вошла в коридор, где с той давней поры ничего не изменилось, двор, по брусчатке которого плясали капли дождя, тоже остался прежним, равно как и сарай, где некогда располагалась мастерская художника; дверь на лестницу, к ее удивлению, оказалась опять-таки открыта, верхние ступеньки тонули в крошечной тьме, включить свет не удалось, и Ф. пошла наверх, как слепая, вытянув вперед руки, там она нащупала дверь и вот уж очутилась в мастерской — просто не верится, но в блеклом серебристом отсвете сбегавшего по окнам дождя все здесь тоже выглядело совершенно как раньше; длинное узкое помещение и теперь еще было заполнено картинами давнего хозяина мастерской, а ведь он покинул город много лет назад; огромные портреты, колоритнейшие обитатели Старого города, окружали Ф.: виртуозы-заемщики, горькие пьяницы, бродяги, уличные проповедники, сутенеры, профессиональные бездельники, спекулянты и прочие любители легкой жизни, большинство из них уже на том свете, как и сам художник, только отправились они туда не столь торжественно, как он, на чьих похоронах она присутствовала, этих провожали в последний путь разве что заплаканные проститутки да собутельники, лившие в могилу пиво, если их вообще хоронили на кладбище, а не кремировали, — она-то думала, что эти портреты давным-давно в музеях, и даже видела их на выставках; у ног всех этих людей, существовавших теперь только на холсте, громоздились другие картины, форматом поменьше, а изображали они трамваи, уборные, сковородки, разбитые автомобили, велосипеды, зонтики, полицейских-регулирующих, бутылки чинзано — художник, кажется, изобразил буквально все на свете; беспорядок в мастерской царил чудовищный, возле громадного, в дырах, кожаного кресла, на ящике, стоял поднос с копченой говядиной, на полу — бутылки кьянти и стакан, до половины наполненный вином, газеты, яичная скорлупа, повсюду разбросаны тюбики с краской, словно художник еще жив, кисти, палитры, склянки со скипидаром и керосином, только мольберта не было, дождь хлестал по окнам на длинной стене; чтобы стало посветлее, Ф. отодвинула от третьего окна председателя городского общинного совета и директора банка, вот уж два года ведшего в тюрьме чуть менее разгульную жизнь, и очутилась перед портретом женщины в рыжей меховой шубе, которую сперва приняла за Тину фон Ламберт, но потом засомневалась, нет, это не Тина, с таким

же успехом это могла быть другая женщина, похожая на Тину, а в следующую секунду Ф. вздрогнула, ей показалось, что женщина перед нею, своенравная, с широко раскрытыми глазами, — это она сама; пронзенная этой мыслью, она услышала за спиной шаги, обернулась, но слишком поздно — дверь уже захлопнулась, а когда она под вечер вернулась в мастерскую со своей съемочной группой, портрет исчез, зато какие-то другие киношники вели съемки помещения; их режиссер до странности нервозно и даже грубо объявил, что накануне большой выставки в Доме искусств они восстановили здесь все, как было при жизни художника, а до того мастерская пустовала; они перелистали каталог, но портрета не нашли, и режиссер добавил: мол, совершенно исключено, что мастерская была не заперта.

8

Это происшествие, в котором она увидела знак, что ищет совсем не там, где нужно, выбило ее из колеи, и лететь ей совершенно расхотелось, но она медлила, подготовка шла своим чередом, и вот они над Испанией, внизу — Гвадалквивир, потом Атлантика, а когда самолет садился в К., она уже радовалась поездке в глубь страны, там наверняка еще зелено, и ей вспомнилась такая же поездка, состоявшаяся много лет назад, и аллея финиковых пальм, по которой ей навстречу с заснеженных Атласских гор тянулся поток машин с лыжами на крышах; лайнер между тем приземлился в К., прямо на посадочной полосе киногруппу ждал полицейский автомобиль, в обход таможи их вместе с аппаратурой погрузили в военный самолет и переправили в глубь страны, в М.; с тамошнего аэродрома в сопровождении четырех полицейских на мотоциклах их помчали в город, мимо колонн автотуристов, которые с любопытством наблюдали за ними, в городе к их свите присоединились еще две машины — впереди и сзади, — телерепортеры, которые непрерывно вели съемку и, вместе с эскортом подкатив к министерству полиции, снимали Ф. и ее киношников, когда те в свою очередь снимали начальника полиции, а тем временем он — невероятно толстый, в белом мундире, похожий на Геринга, — прислонясь к письменному столу, твердил, как он счастлив, что вопреки опасениям правительства, правда на собственную свою ответственность, может разрешить Ф. и ее группе осмотреть и заснять место ужасного преступления, но больше всего его радует вот что: пытаясь реконструировать злодеяние, Ф. наверняка не упустит возможности отразить на пленке безупречную работу его полиции, ведь, вооруженная новейшей техникой, она не только соответствует мировому стандарту, но и превосходит его; это беззастенчиво-наглое требование еще усилило закравшиеся у Ф. после происшествия в мастерской подозрения, что она идет по ложному следу, ведь ее предприятие, едва начавшись, потеряло смысл, так как этот жирнюга, поминутно утиравший шелковым платком потный лоб, видел в ней всего лишь удобное средство сделать рекламу себе и своей полиции, но, угодив в западню, она пока не находила способа выбраться на волю, ибо ее и съемочную группу прямо-таки под конвоем отвели к джипу, водитель которого — в тюрбане, а не в белом шлеме, как остальные полицейские, — жестом велел Ф. сесть с ним рядом, оператор, звукооператор, тонмейстер разместились на заднем

сиденье, а ассистент с аппаратурой — во втором джипе, где за рулем был негр; Ф. обнаружила, что едут они в пустыню — телевизионщики тоже следовали за ними, — и была очень раздосадована, так как предпочла бы первым делом навести кой-какие справки, но не сумела ничего добиться, поскольку — то ли умышленно, то ли по недосмотру — переводчика не было, а полицейские, скорее распорядившиеся ими, чем сопровождавшие их, по-французски не понимали, хотя в этой стране естественной было бы предположить обратное, а до телевизионщиков не докричишься, не услышат, вон их машина мчится по камням пустыни, поодаль и сбоку от джипа Ф., кстати говоря, автоколонна, как таковая, распалась, порядка уже и в помине не было: остальные машины, включая джип с ассистентом и аппаратурой, распозлись-разъехали в опаленных солнцем просторах, словно по хотению водителей, по их капризу, даже четверо мотоциклистов-охранников "отлипли" от джипа, в котором сидели Ф. и ее коллеги, внезапно, наперегонки друг с другом, они рванули прочь, с грохотом поворачивая, закладывая широкие виражи, а телевизионщики между тем на полной скорости ринулись к горизонту и вдруг пропали из виду, ну а водитель их джипа, что-то нечленораздельно вопя, погнался за шакалом, машина выписывала немислимые вентзеля, шакал мчался что есть духу, петлял, менял направление — джип за ним, несколько раз он едва не перевернулся, потом снова притарахтели мотоциклисты, закричали, замахали руками, делая какие-то знаки, которых они, судорожно вцепившиеся в сиденье, не понимали, пока не очутились вдруг в песчаной пустыне, судя по всему — в одиночестве, других автомобилей не видно, даже четверка мотоциклистов отстала — так летели они в своем джипе по асфальтированному шоссе, теряясь в догадках, каким образом их шофер, не сумевший догнать шакала, изловчился отыскать эту дорогу, ведь местами она была занесена песком и по обе стороны громоздились песчаные барханы, отчего Ф. казалось, будто они бороздят бурное песчаное море, на котором солнце рисовало все более длинные тени, и вот прямо впереди возникли Аль-Хакимовы Развалины; джип внезапно устремился в низину, к монументу, который, омрачая солнце, вырос перед нею из толчеи полицейских и телевизионщиков, уже копошившихся вокруг него — вокруг загадочного свидетеля непостижимой древности, найденного на рубеже веков, — огромный, до зеркального блеска отполированный песком каменный квадрат, оказавшийся верхней гранью куба, который с продолжением раскопок приобретал все более гигантские размеры, но, когда решено было отрыть его полностью, явились святые мужи какой-то шиитской секты, оборванные, изможденные фигуры в черных плащах, уселись на корточки у одной из сторон куба и стали ждать безумного халифа Аль-Хакима (по их поверьям, он прятался внутри куба и каждый месяц, каждый день, каждую минуту, каждую секунду мог выйти оттуда и взять власть над миром), словно исполинские черные птицы, сидели они, и никто не решался их прогнать, археологи расчищали остальные три боковые грани, закапывались все глубже, а черные суфи — так их называли — сидели, неподвижные, высоко над ними, даже когда налетал ветер, забрасывая их песком, они не шевелились; раз в неделю их навещал огромный негр, он приезжал верхом на ишаке, совал каждому ложку каши и брызгал водой, а говорили про него, что он самый настоящий раб; Ф. подошла к ним поближе, так как молодой полицейский офицер, внезапно овладев французским, сообщил ей, что труп Тины был найден среди

этих, как он почтительно выразился, "святых", кто-то, видимо, бросил его среди них, правда, что-нибудь узнать у них невозможно, ибо они дали обет молчать до возвращения своего "махди"; Ф. долго смотрела на длинные ряды скорченных неподвижных фигур, как бы вросших в черные блоки куба, этакий полип с одного его боку, ни дать ни взять мумии — длинные, седые, клочковатые, заскорузлые от песка бороды, глаза утонули в провалах глазниц, тела с ног до головы сплошь облеплены копошащимися мухами, руки сцеплены, длинные ногти впились в ладони, потом она осторожно тронула одного: вдруг все-таки что-нибудь да скажет? — и он упал, это был мертвец, и сосед его тоже, за спиной у Ф. жужжали камеры, только третий старик показался ей вроде как живым, но тронуть его она не решилась и дальше не пошла, лишь ее оператор прошагал вдоль всего ряда, прижимая к глазам кинокамеру; когда же Ф. сообщила об этом инциденте полицейскому офицеру, который не отходил от машины, тот сказал, что об остальном позаботятся шакалы, ведь и труп Тины нашли растерзанным в клочья, и в этот миг спустились сумерки, солнце, верно, зашло за край низины, и Ф. почудилось, будто ночь бросится сейчас на нее, как милосердная врагиня, несущая быструю смерть.

9

На другой день уехать тоже не удалось: Ф. хотела уже забронировать места в самолете, но оператор спутал ее планы известием о пропаже отснятых материалов, кассеты подменили, хотя телевизионщики упорно твердят, что ничего подобного, материал его; разъяренный оператор потребовал проявить пленки и тем решить спор, ему обещали сделать это вечером, а значит, отъезд становится невозможным, и вот уж полиция снова куда-то их потащила, причем самое разумное в этих условиях было притвориться заинтересованными, так как в подземельях министерства полиции им показали кой-каких людей — Ф. разрешили говорить с ними и вести съемку; у дверей этим людям снимали наручники, но стоило им сесть, и в спину тотчас упирался ствол полицейского автомата; плохо выбритые, почти беззубые, эти люди дрожащими руками хватала предложенную Ф. сигарету и, бегло глянув на фотографию Тины, в ответ на вопрос, видели ли они эту женщину, согласно кивали, а на вопрос, где именно, тихо роняли: в трущобах Старого города; все они, точно в униформе, были в грязных белых штанах и куртках, без рубах, и все как один повторяли: в Старом городе, в Старом городе, в Старом городе, а потом каждый сообщал, что ему показывали фотографию этой женщины и предлагали за деньги убить ее, она-де супруга человека, который, взяв под защиту арабское Соппротивление, отказался называть его террористической организацией или что-то в таком роде, он не очень понял, почему женщина должна из-за этого умереть, и вообще, сам он на сделку не пошел, вознаграждение-то курам на смех, у них расценки давно определены, дело чести как-никак, а нанимал его низенький толстяк, кажись, американец, больше он ничего не знает, женщину видел единственный раз, с тем толстяком, в Старом городе, да он уже говорил; приблизительно то же самое механически повторяли и остальные, жадно затягиваясь сигаретой, только один при виде фотографии ухмыльнулся, выпустив дым

в лицо Ф., это был почти карлик, с большим морщинистым лицом, и по-английски говорил примерно так, как говорят скандинавы, он сказал, что никогда этой женщины не видел и никто ее не видел, после чего полицейский рывком поставил его на ноги и двинул автоматом в спину, но тут вмешался офицер, прикрикнул на охранника, подвал вдруг наполнился множеством полицейских, коротышку с морщинистой физиономией увели, в дверь впахнули нового арестанта, он уселся в слепящем свете юпитеров, опять хлопнула, жужжание кинокамеры, он взял дрожащими руками сигарету, посмотрел на фотографию, рассказал ту же историю, что и другие, с незначительными отклонениями, говорил порой неразборчиво, как и другие, ибо, как и другие, был почти беззубый, потом привели следующего, потом последнего, а потом из голого бетонного бункера, где допрашивали всех этих людей и где был только колченогий стол, юпитер да несколько стульев, они, пройдя по тюремным подземельям мимо железных решеток, за которыми в камерах сидели и лежали скрюченные белесые тени, поднялись на лифте к следователю, в уютный, обставленный современной мебелью кабинет, где их встретил обаятельный красавчик юрист в очках без оправы, которые совсем ему не шли, он усадил Ф. и ее группу в мягкие кресла возле круглого стола со стеклянной крышкой и стал потчевать их всевозможными деликатесами, даже икра и водка нашлись; исправно отдавая должное белому эльзасскому вину, присланному коллегой из Франции, и жестом показав оператору, который держал камеру наготове, что снимать не надо, следователь много речиво уверял, что он правверный мусульманин, во многом прямо-таки фундаменталист, бесспорно, у Хомейни есть свои положительные и даже сильные стороны, но процесс, ведущий к сплаву правосознания Корана и европейских юридических воззрений в этой стране, уже не остановить, здесь как в средневековье, когда произошла интеграция Аристотеля в исламскую теологию, разглагольствовал он, однако в конце концов после утомительного экскурса в историю испанских Омейядов как бы невзначай завел речь о деле Тины фон Ламберт, выразил сожаление по поводу случившегося, ему, дескать, вполне понятны эмоции, которые эта история вызвала в Европе, Европа привержена к трагическому, а вот культура ислама — к фатализму, затем он показал фотографии трупа, сказал: н-да, шакалы, потом заметил, что жертва была уже мертва, когда ее перенесли к черным суфи у Аль-Хакимовых Развалин, а это, простите, говорит о том, что преступление совершил христианин или... гм, н-да... мусульманин никак бы не посмел бросить труп среди святых мужей, все просто возмущены, он предъявил заключение судебных медиков: изнасилование, смерть от удушения, явных следов борьбы нет — и продолжал: люди, которых видела Ф., — это иностранные агенты, ну а кто конкретно был заинтересован в убийстве, уточнять незачем, отказ Ламберта на международном конгрессе против терроризма назвать арабских борцов за свободу террористами — и некая секретная служба не замедлила дать наглядный урок; подозревается в преступлении один из агентов, страна кишит шпионами, в том числе, разумеется, советскими, чешскими и прежде всего восточногерманскими, но главным образом американскими, французскими, английскими, западногерманскими, итальянцами — всех не перечислишь, словом, авантюристами со всего света; та секретная служба — Ф. ведь знает, какую конкретно он имеет в виду, — работает чрезвычайно ловко, перевербовывает чужих агентов, — вот в чем

гнусность-то! — перевербовывает; убийством Тины фон Ламберт они хотели, с одной стороны, осуществить акт мести, с другой же — испортить добрые торговые отношения его страны с Европейским сообществом, а в особенности затруднить вывоз таких товаров, таких продуктов, экспорт которых в Европу в первую очередь... гм, н-да... затем, ответив на телефонный звонок, следователь молча пристально поглядел на Ф. и ее группу, открыл дверь, жестом пригласил их следовать за собой и зашагал впереди всех по коридорам, потом вниз по лестнице и снова по коридорам, отпер железную дверь, снова коридор, поуже других, и вот они очутились у стены, в которой было проделано несколько потайных окошек, за ними лежал совершенно голый двор, заключенный внутри здания министерства полиции, и сперва они увидели только гладкие, без окон, стены, а потом в этот похожий на колодец двор, мимо строя полицейских с автоматами, в белых шлемах и белых перчатках, ввели коротышку-скандинава в наручниках, за ним шагал капитан полиции с саблей наголо, скандинав стал у бетонной стены напротив полицейских, офицер — обок шеренги, вертикально поднял саблю к лицу, все это выглядело как фарс, а когда во двор ввалился толстенный начальник полиции, ощущение фарсовости еще усилилось, натужно пыхтя, он подвалил к ухмыляющемуся коротышке, сунул ему в рот сигарету, поднес огонь, снова отвалил из поля зрения наблюдателей, стоявших наверху у потайных окошек, камера жужжала, оператор каким-то образом ухитрился снимать происходящее на пленку, коротышка внизу курил, полицейские ждали, вскинув автоматы, к дулам которых было что-то приделано, очевидно глушители, и опять ждали, офицер опустил саблю, коротышка курил и курил, казалось, этому конца не будет, полицейские забеспокоились, офицер опять рывком поднял саблю вверх, полицейские снова прицелились, глухой раскат, коротышка скованными руками выдернул изо рта сигарету, бросил под ноги, затоптал — и рухнул наземь, а полицейские опустили автоматы, он лежал не шевелясь, а кровь текла, текла к середине двора, к сливной решетке, а следователь, отойдя от окошка, сказал, что скандинав во всем сознался, увы, начальник полиции слишком торопится, очень жаль, конечно, но возмущение в стране... гм, н-да... и они двинулись в обратный путь, по узкому коридору, через железную дверь, опять по коридорам, но на этот раз по другим, вверх-вниз по лестницам, и вот просмотровый зал, где уже сидел начальник полиции, растекаясь в кресле, блаженный, возбужденный казнью, распространяющий густой запах пота и духов, дымящий сигаретами, такими же, как та, какой он угощал коротышку, в чье признание не верили ни сама Ф., ни ее группа, ни даже следователь, который после очередного "гм, н-да" тактично удалился; на экране — Аль-Хакимовы Развалины, машины, телевизионщики, полиция, четверо мотоциклистов, Ф. со съемочной группой, оператор инструктирует идиотски ухмыляющегося ассистента, тонмейстер колдует над своей аппаратурой, вперемешку с этим пустыня, полицейский на верблюде, джип, водитель в тюрбане за рулем, сама Ф., куда-то пристально глядящая, куда именно — не показано, а смотрела она на вереницу скрюченных фигур у подножия Развалин, на эти облепленные мухами, полуутопавшие в песок человекоподобные существа, по черным плащам которых сыпался песок, но о них ни единого кадра, опять лишь полицейские: на учебных занятиях, в классах, на спортивных тренировках, в казарменных спальнях, с зубными щетками, под коллективным душем, и по поводу всего

этого бурные восторги беломундирного Геринга, дескать, фильм превосходный, поздравляю, потом изумленное "да что вы?" на возражение Ф., что фильм не их, и тотчас же ответ, что материал, видно, был испорчен, неудивительно при пустынном-то солнце, но ведь преступление уже раскрыто, убийца казнен, и он желает ей счастливого возвращения домой, после чего он поднялся, благосклонно обронил "прощай, дитя мое" (что особенно разозлило Ф.) и вышел из зала.

10

На улице их встретил насмешливый взгляд шофера в тюрбане, он сидел за рулем своего джипа, а за спиной у него на просторной площадке между министерством полиции и большой мечетью кишели туристы, местные ребятишки сразу взяли их в осаду, хватая за руки, разжимая ладони в надежде разжиться деньгами, из мечети, усиленные динамиками, неслись тявкающие звуки проповеди, ревели клаксоны такси и туристских автобусов, прокладываящих себе дорогу в этом муравейнике, в толчее снимающих друг друга на фото- и кинопленку отпускников, толчее, которая составляла какой-то нереальный контраст с событиями, разыгравшимися в белом здании министерства полиции, словно две реальности вдвинулись одна в другую — зловеще-жестокая и туристски-банальная, а когда полицейский в тюрбане еще и обратился к Ф. по-французски, хотя до сих пор французским не владел, она, решив, что это уже слишком, отстала от своей группы, ей хотелось побыть одной, она чувствовала себя чем-то виноватой в смерти коротышки-скандинава, ведь казнь устроили только для того, чтобы помешать ее дальнейшим розысканиям, вновь и вновь вставало перед нею морщинистое лицо с сигаретой в тонких губах, потом облепленные мухами головы черных фигур у Аль-Хакимовых Развалин, ей казалось, что, едва ступив на землю этой страны, она угодила в кошмарный сон, которому не было конца, и вообще, впервые в жизни она потерпела поражение; продолжая розыски, она поставит под удар не только собственную жизнь, но и жизнь своих сотрудников, начальник полиции — человек опасный, он ни перед чем не остановится, в смерти Тины фон Ламберт есть какая-то загадка, да и следовательно болтать-то болтал, а намеки отпускал чересчур уж прозрачные — неуклюжая попытка что-то утаить, скрыть от общественности, но что это было — она не знала, а потом опять корила себя за то, что некто сумел удрать из мастерской, пока она разглядывала портрет женщины в рыжей шубе, и в воспоминании эта женщина все больше походила на нее самое; кто ж там прятался, в мастерской, мужчина или женщина, неужели режиссер о чем-то умолчал, кто спал на кровати за занавеской — это она тоже не выяснила, упустила, и вот, пока она негодовала на собственную небрежность, толпа потных туристов принесла ее в Старый город; внезапно дышать стало трудно — от запаха, в который она окунулась, причем это был не какой-то определенный запах, а запах всех принастей сразу, направленный запахом крови и экскрементов, кофе, меда и пота; она шла темными, похожими на глубокие щели переулками, то и дело озарявшимися светом ламп-вспышек, поскольку в толпе все время кто-нибудь да фотографировал, шла мимо стопок медных котлов и чаш, горшков, ковров, декоративных вещиц, радиоприемников, телевизоров, чемоданов, мимо мяс-

ных и рыбных рядов, мимо гор овощей и фруктов, окутанная пронзительно-едким облаком ароматов и вони, шла, пока не коснулась вдруг чего-то мохнатого; Ф. остановилась, люди протискивались мимо, двигались навстречу, только были это, как она в замешательстве обнаружила, уже не туристы; над нею на проволочных плечиках висели дешевые кричаще-яркие женские юбки всех цветов радуги — гротеск, тем более что никто таких юбок не носил, а коснулась она рыжей шубы и сию же минуту поняла, что это шуба Тины фон Ламберт, которая, наверно, и притянула ее к себе, как магический талисман, — во всяком случае, ей так показалось, поэтому она чуть ли не против воли вошла в лавку, у дверей которой висела одежда, собственно, помещение больше походило на нору, и лишь долгое время спустя она угадала в темноте древнего старика и заговорила с ним, но он остался безучастен, тогда она схватила его за руку и силком вывела наружу, под развешенные юбки; не обращая внимания на сбежавшихся тем временем детей, глазевших на нее, Ф. сдернула шубу с плечиков и, твердо решив купить ее, за любую цену, только теперь заметила, что перед нею слепой, одетый всего-навсего в какую-то долгополую, грязную, некогда белую хламиду с большим пятном засохшей крови на груди, полуприкрытым жиденькой бороденкой, лицо его с желтоватыми бельмами на месте глаз было неподвижно, вдобавок он вроде и не слышал, она взяла его руку, провела ею по меху, он не отозвался, дети всё стояли рядом, толпа росла, подходили местные жители, любопытствуя, что тут за пробка, старик по-прежнему молчал, Ф. слезила в сумку, которая, как всегда, висела у нее на плече и в которой она с присущей ей беспечностью держала паспорт, побрякушки, авторучку, блокноты и деньги, сунула старику в ладонь несколько купюр, надела шубу и пошла прочь сквозь толпу, в сопровождении двух-трех ребятишек, которые что-то ей говорили, но она не понимала ни слова; выбравшись из Старого города — неведомо как и неведомо где, — она поймала такси и вернулась в гостиницу, где ее встретили недоуменные взгляды праздно сидевшей в холле съемочной группы, а она, в рыжей шубе, потребовала у тонмейстера сигарету и сказала, что в этой самой рыжей шубе, которую она отыскала в Старом городе, Тина фон Ламберт ушла тогда в пустыню, и пускай это глупо, но домой она поедет, только узнав всю правду о смерти Тины.

11

Разумно ли это? — спросил тонмейстер, ассистент сконфуженно усмехнулся, а оператор встал, сказав, что он в этом идиотизме больше не участвует, ведь, как только Ф. ушла от них, опять явились полицейские и конфисковали отснятый в министерстве материал, а когда они приехали сюда, выяснилось, что администратор уже забронировал места в самолете и завтра утром чуть свет за ними придет такси, он, конечно, рад уехать из этой проклятой страны, люди, которых допрашивали, прошли через пытки, потому у них и не было зубов, а расстрел коротышки... в номере его целый час наизнанку выворачивало, нет, дурость это, вот что, — вмешиваться в политику страны, он был прав в своих опасениях, розыски, настоящие, заслуживающие такого наименования, здесь не только невозможны, но и опасны для жизни, впрочем, он бы спокойно наглевал

на опасность, если б видел для ее затей хоть малейший шанс на успех, тут он снова бросился в кресло и добавил: откровенно говоря, весь план настолько неясен, даже сумбурен, что он искренне советует Ф. поставить на нем крест, ну хорошо, она добыла рыжую шубу, но есть ли у нее уверенность, что шуба принадлежала этой самой Ламберт, на что Ф. сердито ответила, что еще никогда и ни на чем крест не ставила, а когда тонмейстер, более всего любивший мир и покой, подлил масла в огонь, заметив, что, наверно, ей все-таки лучше уехать с ними, ведь иным фактам суждено остаться загадкой навеки, она, не прощаясь, ушла к себе, но, едва открыв дверь номера, замерла на пороге: в кресле под торшером сидел обаятельный красавчик в очках без оправы, следовательно, и безмолвно наблюдал за нею, столь же безмолвно наблюдавшей за ним, потом он жестом указал на второе кресло, и Ф. машинально села, ей показалось, будто под вкрадчивой мягкостью этого красавчика проглядывает что-то суровое, решительное, до той поры скрытое, и речь его, прежде туманная и уклончивая, теперь, когда он заговорил, поздравляя ее с покупкой шубы Тины фон Ламберт, была сурова, деловита и порою насмешлива — речь мужчины, который обвел кого-то вокруг пальца и очень этому рад, вот почему Ф. только молча кивнула, когда он сообщил, что пришел поблагодарить ее за снятый материал, это великолепно, черные святыне и казна датчанина ему как нельзя более кстати, а когда она спросила, что же он намерен делать, он спокойно ответил, что, между прочим, позволил себе поставить в холодильник рядом с обычными здесь фруктовыми соками, лимонадами и минеральной водой бутылку шабли, а возле холодильника найдется бутылка виски, и когда она сказала, что предпочитает виски, он удовлетворенно произнес, что так и думал, а еще есть орехи; он встал, отошел к холодильнику и, немного погодя вернувшись с двумя стаканами виски, льдом и орехами, представился, он-де шеф тайной полиции и потому знаком с ее, Ф., привычками, за свою болтовню в министерстве он приносит извинения: ничего не попишешь, у начальника полиции всюду "блешки" понатыканы, да и у него самого, впрочем, тоже, в любую минуту он может подслушать все, что подслушивает начальник полиции; потом он коротко сообщил о намерении начальника полиции захватить власть в стране, изменить внешнеполитический курс, свалить убийство Тины на чужую секретную службу, потому скандинава и расстреляли, но начальнику полиции неизвестно, что расстрел снят на пленку, как неизвестно и то, что он, шеф секретной службы, держит его под наблюдением, и вообще, начальник полиции понятия не имеет, кто стоит во главе секретной службы, ему бы только корчить из себя этакого вождя, который распоряжается полицией как своей личной армией, чтобы заручиться ее поддержкой на случай захвата власти, а вот у него, шефа секретной службы, цель другая — разоблачить начальника полиции, показать, как он коррумпировал свое ведомство и как ненадежна и шатка его готовая того гляди рухнуть власть, но прежде всего очень важно на примере убийства Тины фон Ламберт выявить бездарность начальника полиции, потому-то он, шеф секретной службы, сделал буквально все, чтобы Ф. могла продолжить свои розыски, правда с новой съемочной группой, которую подобрал он лично, у начальника полиции не должно возникнуть даже тени подозрения, прежняя ее группа уедет, он, шеф секретной службы, принял все меры предосторожности, проинструктировал нужных людей, гостиничный персонал действует по его заданию, одна из его

добрых знакомых подменит ее, прошу вас! — с этими словами он распахнул дверь, и в комнату вошла молодая женщина, одетая, как и Ф., в джинсовый костюм, рыжая шуба — точь-в-точь как у Тины фон Ламберт — наброшена на плечо; это обстоятельство тотчас насторожило Ф., и она спросила, не является ли просьба до конца выяснить судьбу несчастной Тины фон Ламберт, скорее, приказом, а в ответ услышала, что она ведь сама согласилась выполнить поручение фон Ламберта, а он, шеф секретной службы, считает своим долгом помочь ей, немного погодя он добавил, что жить Ф. будет в другом месте, опасаться ей нечего, отныне она под его защитой, но было бы неплохо, если б она поставила в известность свою группу — в ее собственных интересах сообщить им лишь самое необходимое, — и он, попросившись, увел с собой молодую женщину, которая походила на Ф. лишь постольку, поскольку издали их все-таки можно было спутать.

12

Оператор был уже в постели, когда позвонила Ф., в пижаме он пришел к ней в номер, где она собирала чемодан, и молча выслушал ее рассказ, а рассказала она без утайки обо всем, даже о совете шефа секретной службы сообщить коллегам лишь самое необходимое, правда, как только она умолкла, он налил себе виски, но выпить забыл, задумался и наконец сказал, что Ф. угодила в ловушку, ведь рыжая шуба Тины фон Ламберт не случайно оказалась в Старом городе у слепого лавочника, рыжая шуба — это приманка, таких шуб очень мало, может, вообще одна, и давешнее появление женщины во второй такой шубе говорит о наличии продуманного плана, они явно рассчитывали, что Ф. пойдет в Старый город и что рыжая шуба, висящая среди дешевых юбок, бросится ей в глаза, а на то, чтобы сделать вторую шубу для двойника, нужно время; шеф секретной службы хочет обезвредить начальника полиции — это понятно, а вот зачем ему тут Ф., он совершенно не понимает, зачем столько хлопот, нет, в игру входит что-то еще, Тина фон Ламберт приехала в эту страну не из каприза, а по некой причине, имеющей отношение и к ее смерти, книгу фон Ламберта о терроризме он прочитал, арабскому Сопротивлению там отведено две страницы, фон Ламберт категорически не согласен называть их террористами, подчеркивая, правда, что на преступления способны и нетеррористы — Освенцим, например, детище отнюдь не террористов, а чиновников, — нет, все-таки не может быть, чтоб жену фон Ламберта убили именно из-за этого, шеф секретной службы тоже умалчивает о главном, Ф. попала в его западню, и отступать ей некуда, но с ее стороны весьма опрометчиво посвящать его, оператора, во всю эту историю, и вообще, удивительно, что шеф секретной службы отпускает съемочную группу, ну а теперь им надо пожелать друг другу удачи, с этими словами оператор обнял ее и ушел, даже не пригубив виски, чего она прежде за ним не замечала, и Ф. вдруг показалось, что она никогда больше не увидит его, и снова вспомнилась мастерская, теперь она была уверена, что шаги за спиной были женские; в сердцах она залпом осушила стакан и опять занялась сборами, потом захлопнула чемодан, набросила поверх джинсового костюма рыжую шубу, а гостиничный бой, вовсе на боя не похожий, взял чемодан и по черной лестнице проводил

Ф. к лендроверу, где ждали двое мужчин в бурнусах; они повезли ее за город, сначала по шоссе, затем, насколько она смогла разглядеть в безлунной ночи, по грунтовой пыльной дороге через какой-то головокружильный перевал, мимо снежников и осьпей, вверх-вниз по ущельям, все дальше в горы, наконец машина затормозила возле смутно белеющих в рассветном сумраке стен, которые при ближайшем рассмотрении — когда они вышли из кабины — оказались ветхой трехэтажной постройкой с вывеской GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY¹ над входной дверью, то и дело хлопавшей на ледяном ветру; на втором этаже этого дома — внизу, на первом, скудно освещенном единственной лампочкой, сколько ни звали, так никто и не появился — один из мужчин определил Ф. на жительство: молча открыл какую-то дверь, втокнул Ф. в комнату и поставил чемодан на дощатый пол, после чего она, ошеломленная грубым обхождением, услышала, как он протопал вниз по лестнице, а немного спустя лендровер укатил, очевидно назад в М.; она угрюмо осмотрелась: с потолка тоже свисала одинокая лампочка, душ в ванной не работал, обои рваные, а вся обстановка состояла из колченогого стула и походной койки, правда застланной свежим бельем, входная дверь внизу все хлопала, и даже во сне она еще долго слышала эти хлопки.

13

Был уже полдень, когда она проснулась — проснулась, наверно, потому, что дверь больше не хлопала; за окном, до того грязным, что оно едва пропускало дневной свет, она увидела скалистый, поросший густым кустарником, изрезанный ущельями ландшафт, на заднем плане круто горбатился горный кряж, в ледяных складках которого замешкалось облако, окутавшее вершину и, казалось, бурлившее в солнечных лучах, — безотраднее место, глядя на него, Ф. невольно спросила себя, для чего служила когда-то и служит теперь эта гостиница, куда ее привезли, ведь как гостиницу это здание явно уже не используют; закутавшись в рыжую шубу, так как было очень холодно, она спустилась вниз, но никого там не обнаружила, сколько ни звала, — в холле (его и холлом-то грех назвать — так, убогая комнатенка) никого не было, в кухне тоже, как вдруг откуда-то из боковушки пришаркала старуха и остановилась в дверях холла, уныло глядя на Ф., а потом забормотала по-французски "ее пальто, ее пальто", дрожа и показывая пальцем на рыжую шубу, она повторяла это "ее пальто" снова и снова, явно в полнейшем смятении, потому что, шагнув было к Ф., метнулась назад в боковушку, очевидно служившую некогда столовой, прижалась к стене, отгородясь обеденным столом и ветхими стульями, и замерла в испуге, но Ф., чтобы успокоить старуху, отказалась от попыток приблизиться к ней, осталась в этой убогой комнате, единственным украшением которой был большой, пожелтевший от времени портрет французского военного, очевидно маршала Лиоте, и спросила по-французски, нельзя ли здесь позавтракать, старуха в ответ энергично кивнула, подошла к Ф., взяла ее за руку и отвела на террасу, где у стены под некогда оранжевой, в прорехах, маркизой был накрыт простой деревянный стол, да и завтрак был уже готов —

¹Гранд-отель "Маршал Лиоте" (франц.).

старуха внесла его сразу же, как только Ф. села к столу; если из ее комнаты видна была лишь неразбериха ущелий, кустарников и скал с кипящим горным кражем на заднем плане, то теперь взгляд Ф. скользил по отлогому, еще зеленому холму, возле которого, точно волны, гасящие одна другую, расплескались холмы пониже, а далеко внизу золотилась тусклой железной великая песчаная пустыня и на самой грани видимого даже угадывалось черное пятнышко, Аль-Хакимовы Развалины; дул свежий ветер, Ф. с удовольствием куталась в рыжую шубу, которую старуха то и дело разглядывала, а иногда робко, почти с нежностью гладила рукой; она не уходила от завтракающей Ф., словно приставленная к ней стороже, но испуганно вздрогнула, когда Ф. напрямик спросила, знала ли она Тину фон Ламберт, вопрос этот, похоже, вновь поверг старуху в смятение, она забормотала "Тина, Тина, Тина", показывая на шубу, потом спросила, не подруга ли ей Ф., а получив утвердительный ответ, возбужденно, взახлеб сообщила, насколько поняла Ф., вот что: Тина, взяв напрокат автомобиль, приехала сюда одна — это "одна" старуха повторила раз пять, и насчет машины тоже что-то невразумительное пробормотала, — сняла комнату на три месяца и все ходила да ездила по окрестностям, добралась до самой великой пустыни, даже до черного камня — видимо, она имела в виду Развалины, — а потом вдруг не вернулась, но она, старуха, знает, однако, что именно знала старуха, осталось непонятно, как ни старалась Ф. дойти до смысла начатых, повторяющихся и оборванных фраз; старуха вдруг умолкла, настороженно уставилась на рыжую шубу, и Ф., уже покончившая с завтраком, почувствовала, что у старухи вертится на языке какой-то вопрос, но задать его она не решается, и, не раздумывая, довольно-таки безжалостно сказала, что Тина больше не вернется, она умерла; поначалу старуха восприняла эту весть равнодушно, будто и не поняла ничего, а потом вдруг принялась гримасничать, хихикать себе под нос — от отчаяния, как в конце концов догадалась Ф.; схватив старуху за плечо и встряхнув, она потребовала, чтоб ее отвели в комнату, где жила Тина, в ответ старуха, продолжая хихикать, буркнула, кажется, "на самом верху", а когда Ф. пошла вверх по лестнице, она горько расплакалась, впрочем, Ф. уже не обратила на это внимания, потому что отыскала на третьем этаже комнату, которую, видимо, занимала Тина фон Ламберт; комната была получше той, где ночевала Ф., и обставлена с претензией на некоторый комфорт, совершенно не вязавшийся с этой гостиницей и удививший Ф., когда она огляделась по сторонам: широкая кровать под старым стеганым одеялом неопределенного цвета, камин, явно ни разу еще не топленный, на нем несколько томиков Жюль Верна, над ним опять пожелтевший портрет маршала Лиоте, старинный секретер, ванная комната с облупленным кафелем и ржавыми пятнами в ванне, обтрепанные плюшевые шторы, балкон, выходящий на далекую песчаную пустыню; едва ступив на него, она увидела, как за низенькой стенкой в сотне метров от дома что-то исчезло, она подождала, и "что-то" появилось вновь, это была голова мужчины, наблюдавшего за нею в бинокль, так что ей невольно вспомнилась дважды подчеркнутая Тиной фраза "за мной наблюдают", а когда она вернулась в комнату, там уже поджидала старуха с чемоданом, купальным халатом и сумкой, словно иначе и быть не могло, захватила она и постельное белье, на сердитый вопрос Ф., можно ли отсюда позвонить, старуха ответила утвердительно, и внизу, в темном коридоре возле кухни, Ф. нашла телефон; из упрям-

ства ей приспичило позвонить логику Д., уверенная, что связи не будет, она все-таки решила попытать счастья и подняла трубку старенького аппарата: гробовое молчание — может быть, шеф секретной службы предпочел действовать наверняка, без всякого риска, ведь это он распорядился привезти ее сюда, где побывала и Тина фон Ламберт, внезапно у нее закралось недоверие к его мотивировкам, в первую очередь потому, что она не могла представить себе, что именно побудило Тину, как рассказывала старуха, ездить по пустыне; сидя на полу у открытой балконной двери, потом лежа на кровати и неотрывно глядя в потолок, она пыталась реконструировать судьбу Тины фон Ламберт, за отправную точку она вновь взяла единственно надежный источник, Тинины дневники, и пыталась проиграть все возможные варианты, ведущие к фактической данности, к разодранному шакалами трупу Тины возле Аль-Хакимовых Развалин, но убедительной версии как-то не получалось — уход из дома, ”скоропалительный”, по словам фон Ламберта, был бегством, однако в эту страну она явилась не как беглянка, а с вполне определенной целью, она действовала как журналистка, идущая по следу тайны, но ведь Тина не была журналисткой, тогда, может быть, любовная история? — но любовной историей тут даже и не пахнет; так ничего и не придумав, Ф. в конце концов вышла на улицу, облако, прилепившееся к горному кряжу, разбухло, начало тихонько подползать ближе, дорога, та самая, по которой они сюда приехали, вывела Ф. на каменистое плато и разветвилась, Ф. выбрала наугад одно из ответвлений и пошла дальше, а спустя полчаса очутилась у новой развилки, тогда она вернулась назад и долго стояла возле одинокого, такого бессмысленного здесь дома, входная дверь опять хлопала от ветра, и по-прежнему над нею красовалась вывеска GRAND-HÔTEL MARECHAL LYAUTEY, а над вывеской черным прямоугольным зияло окно, единственное на когда-то белой стене, которая ныне являла глазу всевозможные оттенки серого цвета, отливающего всеми красками спектра, будто во время оно тут изрядно наблевали великаны; и пока она так стояла, глядя на дом и на окно, за которым сама же и провела ночь, да нет, не только пока стояла, уже гораздо раньше, едва лишь вышла на улицу, она знала, все время знала, что за нею наблюдают, хотя и не видела наблюдателя; и вот когда солнечный шар исчез за далекой песчаной пустыней, исчез неожиданно быстро, точно рухнул в бездну, настали сумерки и только верхушка исполинской облачной стены казалась пламенными песками, Ф. вошла в дом; в столовой под маршалским портретом ее ждал ужин — миска баранины под красным соусом и белый хлеб, а к ним красное вино; старухи не было видно, Ф. немного поела, выпила вина, потом поднялась к себе в комнату, где до нее жила Тина фон Ламберт, и вышла на балкон, ведь, пока она ужинала, ей послышался отдаленный раскат грома, облачная стена, судя по всему, опять отступила, впереди и прямо над головой еще мерцали зимние звезды, но далекий горизонт высвечивали сполохи, потом блеснула яркая вспышка — вроде гроза, а вроде и нет, и надо всем этим висел далекий невнятный гул, и опять ей показалось, будто из темноты, наплывающей от земли, за нею наблюдают, а вернувшись в комнату, накинув уже купальный халат, который заодно служил ночной рубашкой, и с омерзением разглядывая ржавую ванну, она услышала рокот автомобильного мотора, но машина проехала мимо, немного погодя подкатила вторая машина, остановилась у входа, послышался возглас, кто-то, видимо, вошел в дом, громко

спросил, есть ли тут кто-нибудь, поднялся на второй этаж, крикнул "алло! алло!", и когда Ф. вышла на лестницу, набросив поверх халата рыжую шубу, она увидела молодого светловолосого парня в синих вельветовых брюках, кроссовках и теплой куртке, который уже стоял на ступеньках, намереваясь подняться наверх, он смотрел на нее широко раскрытыми голубыми глазами и твердил "слава богу, слава богу!", а когда она поинтересовалась, за что он славит господу, блондин вихрем взбежал по лестнице, стиснул ее в объятиях и воскликнул: за то, что она жива, он так и сказал шефу и поспорил с ним, что она жива, и вот она действительно жива! — тут он опять помчался вниз, сначала на второй этаж, потом на первый, когда же Ф. следом за ним добралась до холла, блондин затаскивал в дом чемоданы, и ей пришлось на ум, уж не обещанный ли это оператор, на ее вопрос он сказал "угадали" и достал из машины кинокамеру — в открытую дверь Ф. разглядела, что приехал он на микроавтобусе марки "фольксваген", — потом, проделывая какие-то манипуляции с камерой, добавил, что эту штуковину можно использовать и для ночных съемок, специальная оптика, а, кстати, репортажи у нее вышли потрясающие, Ф., услышав это, вмиг насторожилась и спросила, не хочет ли он предстать парень густо покраснел и промямлил, что зовут его Бьёрн Ольсен и что она может спокойно говорить с ним по-датски, а ей невольно вспомнился ухмыляющийся коротышка, который у стенки курил сигарету, потом затоптал ее и рухнул как подкошенный, и она ответила, что по-датски не говорит, он, верно, с кем-то ее путает, услышав это, он чуть не уронил камеру и, топя ногами и крича: нет, нет, не может быть, ведь на ней рыжая шуба! — отнес кинокамеру и чемоданы назад в "фольксваген", сел за руль и поехал прочь, только не обратно в М., а в сторону гор, когда же Ф. поднималась к себе в комнату, дом внезапно дрогнул от взрыва, но, когда она вышла на балкон, все было уже спокойно, сполохи и слепящие вспышки в далекой песчаной пустыне тоже погасли, одни лишь звезды горели так зловеще, что Ф. вернулась в комнату и задержала обтрепанные плюшевые шторы, при этом взгляд ее упал на секретер, незапертый и пустой, а уж потом она заметила рядом с секретером мусорную корзину и в ней — скомканную бумажку, которую она расправила; незнакомым почерком на бумажке было что-то записано, видимо цитата, потому что стояла она в кавычках, но, поскольку язык был скандинавский, Ф. ничегошеньки не поняла, впрочем, упорства ей было не занимать, и, откинув крышку секретера, она взялась за перевод, над словами вроде "edderkop", "tomt rum" или "fodfaeste" пришлось-таки здорово поломать голову, только к полуночи она решила, что сумела расшифровать цитату: "Что будет, что принесут неведомые времена (fremtiden)? Я этого не знаю и ни о чем не догадываюсь. Когда паук-крестовик (edderkop?), потеряв точку опоры, срывается в неизвестность последствий, он видит перед собою одно только пустое пространство (tomt rum?), где опоры (fodfaeste?) ему не найти, как он ни барахтается. Точно так же и со мной: впереди одно только пустое пространство (tomt rum?), а подгоняет меня какое-то последствие, лежащее позади (bag). Жизнь эта обратна (bagvendt?) и загадочна (raedsomt?), невыносима".

Когда ранним утром, закутанная в рыжую шубу, она спустилась вниз, решив после завтрака пройтись к горам, потому что ей не давал покоя взрыв, случившийся после отъезда датчанина, а цитата, которая, вероятно, представляла собой шифровку, еще усиливала тревогу, на террасе за деревянным столом завтракал шеф секретной службы, весь в белом, только платок на шее черный, вместо давешних очков без оправы — темные, в массивной оправе; он встал, пригласил Ф. составить ему компанию, налил ей кофе, предложил рогалики, купленные специально для нее в европейском квартале М., посетовал на скудость ее жилья, а когда она поела, положил перед нею бульварную газетенку, где чуть не всю первую полосу занимала фотография Тины фон Ламберт, сияющей, в объятиях сияющего мужа, а внизу было написано: сенсационное возвращение сенсационно погребенной, супруга известного психиатра, страдая от депрессии, скрывалась в мастерской умершего художника, паспорт и рыжую шубу у нее украли, очевидно, потому ее и спутали с женщиной, убитой возле Аль-Хакимовых Развалин, таким образом, загадок теперь стало две: кто убийца и кто убитая; побелев от негодования, Ф. швырнула газету на стол: что-то здесь не так, слишком уж все банально, при этом она готова была провалиться сквозь землю от стыда — надо же было влипнуть в такую нелепую авантюру! — и едва не разрыдалась, но железное спокойствие шефа секретной службы обязывало к хладнокровию, тем более что он как раз объяснял, что же именно в этой истории не так — кража, вот что, Тина дружила с датской журналисткой Юттой Сёренсен и отдала ей свой паспорт и рыжую шубу, благодаря этому датчанке и удалось въехать в страну; выслушав его рассказ, Ф. призадумалась и, пока он наливал ей кофе, спросила, откуда ему это известно, и он ответил: отсюда, что он допрашивал датскую журналистку и она во всем созналась, а на вопрос, почему ее убили, сказал, сняв очки и протирая стекла, что вот это ему неизвестно, характер у Ютты Сёренсен был весьма энергичный, и во многом она напоминает ему Ф., он не сумел выяснить, какую цель она преследовала своим обманым маневром, а поскольку начальник полиции клюнул на этот обман, не видел причин вмешиваться — ну в самом деле, с какой стати? — и отпустил ее вместе с фальшивым паспортом и рыжей шубой, жаль, что ее постиг столь ужасный конец, открылся она ему, этого бы не случилось, кстати, измятую бумажку с цитатой Ф. наверняка нашла и прочитала, цитата из Кьеркегора, из "Или — или", он навел справки у специалиста, сперва-то подумал, что это шифровка, но теперь совершенно уверен, это крик о помощи, здесь он еще держал безрассудную датчанку под надзором, а потом потерял ее след, хорошо бы молодому человеку, похожему на германского витязя, повезло больше, чем его землячке, в страну оба приехали, видимо, по заданию одной из частных датских телекомпаний, известной сенсационными репортажами, и если она, Ф., в рыжей шубе и в роли совсем другой женщины, не той, что предполагалась изначально, отправится сейчас в горы, а тем более в пустыню, он ничем не сумеет ей помочь, съемочная группа, которую он рассчитывал нанять, наотрез отказалась с нею работать, вывезти из страны ее людей, увы, тоже не удалось, ведь она, Ф., пропустила его предупреждения мимо ушей и проболталась, эта общарпанная гостиница — последнее мало-мальски контролируемое место, дальше — ничейная земля, где нет пока границ,

размеченных по нормам международного права, но он с большим удво-вольствием ответит ей обратно в город, на что Ф., попросив у него сига-рету и закулив, сказала, что все равно пойдет.

15

Когда она в рыжей шубе вышла из дома, ничто уже не говорило о том, что здесь у нее побывал шеф секретной службы, о старухе тоже ни слуху ни духу, дом, казалось, был пуст, дверь под вывеской GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY все так же хлопала, и Ф. почудилось, будто ее занесло в какой-то старый неправдоподобный фильм, когда она с сумкой на плече и с чемоданом в руках зашагала в этом унылом безлюдье по дороге, по которой, не ведая, куда она ведет, уехал молодой датчанин, а теперь бессмысленно, упрямо, наперекор рассудку она сама шла к вершине, по-прежнему окутанной облаком, и думала о своем разговоре с логиком Д., как она составила себе тогда представление о Тине фон Ламберт, просто чтоб не сидеть сложа руки, действовать, принять какие-то меры, однако же теперь, когда это представление оказалось химерой, когда за ним обнаружилась банальная семейная история и проступила судьба совсем другой женщины, которой она знать не знала, хоть и надела ее рыжую шубу, опять-таки ту же самую, в какой ходила Тина, — теперь она как бы перевоплотилась в эту другую, в датскую журналистку Ютту Сёренсен, быть может главным образом благодаря цитате из Кьеркегора, она тоже чувствовала себя беспомощной, как падающий в пустоту паук, эта дорога под ногами, пыльная, каменная, палимая беспощадным солнцем, давно прорвавшим кипящую под ним облачную стену, змеящаяся вдоль склонов, протискивающаяся между причудливыми утесами, — эта дорога была следствием, итогом ее жизни, она всегда действовала импульсивно, впервые она заколебалась, когда Отто фон Ламберт пригласил ее к себе, вместе со съемочной группой, и все-таки пошла к нему, и взялась выполнить его поручение, и вот теперь против воли шагала по этой доро-ге — и все же иначе не могла, шагала с чемоданом в руках, будто ловила попутку на шоссе, где машины не ездят, пока вдруг не очутилась перед обнаженным трупом Бьёрна Ольсена, от неожиданности даже споткнулась о него, он лежал перед нею, словно по-прежнему смеясь, как в первый раз, когда она увидела его у лестницы, лежал заперошенный белой пылью, такой с виду нетронутый, невредимый, что больше походил на статую, чем на труп, вельветовые брюки, кроссовки, теплая куртка валялись среди материала, который он вез с собой в круглых жестяных коробках, большей частью полопавшихся, искореженных, пленка черными кишками лезла из них наружу, а за всем этим сумбуром — ”фольксваген”, разо-рванный изнутри, гротесковая мешанина железа и стали, куча исковер-канных, разбросанных взрывом обломков мотора, колес, осколков стекла; целенящее душу зрелище: труп, катушки с пленкой, раскиданные лопнувшие чемоданы, предметы одежды, трусы, флагом развевающиеся на сломанной антенне, — мало-помалу она стала замечать подробности, — разбитый автобус, обломок руля, который так и сжимала оторванная рука датчанина; все это она видела, стоя возле мертвеца, и, однако же, увиденное казалось ей нереальным, что-то мешало, делало реальность нереальной, какой-то шум, который она услышала вот только что, но

который уже был, когда она наткнулась на покойника; посмотрев в том направлении, откуда доносился шум, а точнее — тихое жужжание, она увидела тощего нескладного верзилу в грязном костюме из белого полотна, с камерой в руках, он кивнул, продолжая съемку, потом заковылял к ней, с трудом перешагнув через покойника, заодно сняв и его тоже, таким, каким он виделся ей, сказал, что пора наконец поставить этот дурацкий чемодан, уковылял вбок, опять направил на нее объектив и поковылял следом, когда она, отпрянув, — ее не оставляло впечатление, что этот человек пьян, — резко спросила, что ему надо и кто он такой, тогда он опустил камеру и сказал, что его зовут Полифемом, а как по-настоящему, он давным-давно забыл, да это и неважно, ну а почему он не предложил свои услуги, когда секретная служба искала для нее оператора, вполне понятно, если учесть политическое положение страны, работать для нее, для Ф., слишком рискованно, ведь все, что известно полиции, известно и секретной службе, а что известно секретной службе — известно армии, сохранить тайну невозможно, вот он и предпочел украдкой последовать за нею, он же знает, что она ищет, шеф секретной службы рассказал об этом всем операторам, а в этой стране операторы кишки кишат, она, Ф., решила найти и, если удастся, изобличить убийцу датчанки, для того и надела рыжую шубу, это просто замечательно, он так считает, позднее он покажет ей пленки, там она увидит себя, причем не только в GRAND-HÔTEL MARECHAL LYAUTEY, как именуется эта каменная развалюха, нет, еще раньше, когда нашла и купила в Старом городе у слепого рыжую шубу, эту сцену он заснял, да и не он один, ведь в ее предприятии, кроме него, заинтересованы и другие, за нею теперь отовсюду наблюдают в телеобъективы, которые даже сквозь туман видят, — эти сведения потоком хлестали изо рта верзилы, из этой окаймленной седой щетиной ямы со скверными зубами на худом, изборожденном морщинами лице с маленькими жгучими глазами, на лице хромого человека в грязной, измызанной полотняной одежде, который, широко расставив ноги, стоял над мертвецом и все снимал Ф. видеокамерой; тогда она спросила, чего он, собственно, хочет, и он ответил: обмена; она опять спросила, что он под этим понимает, и он ответил, что всегда восхищался ее кинопортретами и просто жаждет создать ее портрет, он и датчанку эту, Сёренсен, тоже снимал, а поскольку Ф. интересуется ее судьбой, он предлагает в обмен на будущий портрет Ф. пленки, на которых запечатлел датчанку, видеокассеты можно переснять на обычную киноплёнку, Сёренсен шла по следу тайны, и ей, Ф., представляется случай пойти по этому следу дальше, он даже сам готов отправиться с нею в одно место в пустыне, где побывала Сёренсен, из всех, кто за нею наблюдает, пока ни один сунуться туда не рискнул, но ему она вполне может довериться, в определенных кругах он считается самым что ни на есть бесстрашным оператором, хотя круги, в которых он пользуется известностью, назвать нельзя, а фильмы его не подлежат показу по экономическим и политическим резонам, но он не хотел бы говорить о них здесь, возле трупы молодого датчанина, из pieteta, ведь и он пал жертвою этих резонов.

16

Не дожидаясь ответа, он заковылял обратно к автобусу, при этом впечатление, что он пьян, еще усилилось, а когда он исчез за авто-

бусом, Ф. поняла, что сейчас совершит новую ошибку, и все же, коль скоро она твердо решила разобратся в судьбе датчанки, нужно довериться этому человеку, назвавшемуся Полифемом, довериться, даже если доверять ему нельзя, между прочим, за ним явно наблюдают так же, как и за нею, больше того, не исключено, что за нею наблюдают лишь постольку, поскольку наблюдают за ним; чувствуя себя этакой пешкой, которую двигают туда-сюда, она, в общем-то, безо всякой охоты перешагнула через мертвеца, обогнула разбитый "фольксваген" и подошла к вездеходу, пихнула там на сиденье чемодан и устроилась рядом с хромоногим, от которого отчетливо разлило виски; он посоветовал ей пристегнуться ремнем, и не зря, потому что секундой позже начался крошечный ад: взметая тучи пыли, они ринулись вниз по горному склону, прямо в кипящую облачную стену, зачастую по самому краю дороги, так что камни из-под колес градом сыпались в бездну, потом дорога стала еще круче и резко запетляла, а пьяный за рулем то и дело проскакивал еще роты и вел тязелую машину напролом, Ф., прижатая ремнем к спинке сиденья, изо всех сил упираясь ногами в пол, толком не видела ни горного склона, по которому они промчались, ни лугов, на которые буквально рухнули и по которым гнали теперь в пустыню, распугивая шакалов, кроликов, змей, стрелой кидавшихся наутек, и прочее зверье, гнали в глубь каменистой пустыни, сперва — долгие часы, как показалось Ф., — в галдящей черной туче, а потом, когда птицы отстали, в лучах ослепительного солнца, и вот наконец вездеход, подняв облако пыли, резко затормозил возле плоской кучи щебня среди равнины, сильно похожей на марсианскую — такое впечатление создавал, вероятно, шедший от нее свет, ведь она была покрыта странной металлически-ржавой и вместе с тем камневидной субстанцией, из которой торчали гигантские скрученные металлические структуры, бесформенные обломки стали, шипы, иглы, словно вбитые в землю чьей-то могучей рукой, — когда улеглась поднятая вездеходом пыль, Ф. только и успела охватить все это взглядом, потому что машина начала быстро погружаться, над нею задвинулась крышка люка, а затем они очутились в подземном гараже, и на вопрос, куда он ее притащил, Полифем пробормотал что-то невразумительное, скользнула вбок железная дверь, и он первым заковылял внутрь, сквозь множество скользящих в сторону железных дверей, не то через погреб, не то через студийные помещения, стены там были сплошь увешаны маленькими фотографиями, словно кто-то по дурости изрезал проявленные пленки на отдельные кадры, в невысказанном беспорядке вперемешку со стопками фотоальбомов валялись на столах и стульях крупноформатные снимки изрешеченных снарядами бронемашин, вдобавок килы густо исписанных бумаг, горы катушек с пленкой, стойки с подвешенными на них фрагментами пленки, корзины, доверху полные обрезков целлюлоида, потом фотолаборатория, ящики слайдов, демонстрационный зал, коридор, и вот наконец он, все сильнее припадая на хромоногую ногу и пошатываясь — так он был пьян, — привел ее в комнату без окон, с множеством фотографий на стенах, с кроватью в стиле модерн и таким же столиком — странноватое помещение, к которому примыкали уборная и душ; жилье для гостей, с трудом ворочая языком, сообщил он, выпятившись из комнаты, причем его швырнуло об коридорную стену, и оставил Ф., которая угрюмо шагнула внутрь этой "камеры", в одиночестве, когда же она обернулась, дверной замок, с негромким щелчком захлопнулся.

Лишь мало-помалу она осознала панический страх, владевший ею с той минуты, как она очутилась в подземелье, и сознание это побудило ее вместо самого неразумного поступка совершить самый что ни на есть разумный — оставить в покое не желавшую открываться дверь, махнув рукой на собственный ужас, лечь на кровать модерн и поразмыслить над тем, кто же такой Полифем, ведь об операторе с таким прозвищем она до сих пор не слышала, загадкой была и функция этих сооружений, на строительство которых наверняка затрачены гигантские суммы, но кем они затрачены, и что означает исполинское поле руин вокруг, и что здесь происходило, и как понимать странное предложение выменять ее портрет на портрет Ютты Сёренсен, она так и уснула с этими вопросами, а проснулась внезапно, как бы рывком, с таким ощущением, будто стены вот только что дрожали и кровать плясала, да нет, приснилось, должно быть; невольно она стала разглядывать фотографии, с нарастающим ужасом, ведь на них было запечатлено, как взлетел на воздух Бьёрн Ольсен, притом съемка велась на необычайно высоком техническом уровне, она даже и не представляла себе, что такое возможно; если на первой фотографии был виден лишь контур ольсеновского "фольксвагена", то на второй, там, где предположительно находилось сцепление, возник маленький белый шар, который на последующих снимках все больше разбухал, а сам микроавтобус одновременно как бы становился прозрачным, и деформировался, и распадался на куски, видно было и как взрывом Ольсена выбило с сиденья, все эти фазы казались тем более жуткими, что поднятый над сиденьем Ольсен, правая рука которого, сжимающая руль, уже отделялась от запястья, словно бы весело насвистывал, и, ужасаясь чудовищным фотографиям, она вскочила с кровати, инстинктивно бросилась к выходу и обомлела: дверь открылась; так или иначе, она рада была вырваться из комнаты, напоминавшей тюремную камеру, и вышла в коридор — пусто, ни души; чуя ловушку, Ф. замерла на месте; где-то изо всех сил молотили в железную дверь, она пошла на этот звук, при ее приближении двери бесшумно отворялись, она шла по комнатам, которые уже видела, шла неуверенно, нерешительно, все новые и новые коридоры, помещения для ночлега, технические лаборатории с непонятной аппаратурой — подземелье явно строили для многих людей, но где же они, с каждым шагом она чувствовала, как опасность нарастает, видимо, ее умышленно оставили одну, это всего-навсего хитрость, Полифем наверняка за нею наблюдает; между тем грохот мало-помалу приближался, то он был совсем рядом, то снова чуть подальше, и внезапно она очутилась в конце какого-то коридора перед железной дверью с обычным замком, в котором торчал ключ, вот по ней-то и молотили, порой казалось, словно кто-то всем телом бросается на дверь, Ф. уже хотела повернуть ключ, но вдруг подумала, что там, за дверью, Полифем, он ведь был совершенно пьян и попросался очень странно, бог его знает, что ему в голову взбрело, он то откровенно пил на нее глаза, а то вроде бы вовсе не замечал, смотрел как на пустое место, так что вполне мог и нечаянно запереться, захлопнув дверь, или его запер кто-то третий, постройка огромная, может, она не столь необитаемая, как кажется, и почему это вдруг все двери автоматически открывались, стук и грохот не умолкали, она окликнула: Полифем! Полифем! — в ответ все тот же грохот и стук,

но может, за железной дверью ничего не слышно, может, все это никакая не хитрость, может, за нею вовсе не наблюдают, может, она совершенно свободна, Ф. побежала в свою "камеру", не нашла ее, заблудилась, сунулась в какую-то комнату, сочтя ее поначалу своей, но потом поняла ошибку, в конце концов нужная комната все-таки отыскалась, она повесила на плечо сумку и опять бегом по коридорам подземелья, а стук и грохот все продолжались, но вот и гараж, дверь скользнула в сторону, вездеход стоял наготове, она села на водительское место, обвела взглядом приборную панель, где, кроме обычных приборов, обнаружились две кнопки с выдавленными на них стрелками — одна указывала вверх, другая вниз, — нажала кнопку со стрелкой вверх, потолок раздвинулся, платформа с вездеходом выползла на поверхность; она была на воле, над головой небо, а на его фоне — остроконечные обломки, будто лес копий, отбрасывающие длинные тени в ослепительной вспышке, которая тотчас погасла, в один миг земля опрокинулась назад, алая полоска света у горизонта начала смыкаться — она была в глотке мирового чудища, а чудище захлопывало пасть, и, пока она переживала наступление ночи, превращение света в тень и тени во мрак, среди которого вдруг загорелись звезды, ею овладела уверенность, что свобода и есть поджаруливающая ее ловушка; нажатием кнопки она снова отправила вездеход под землю, потолок над головой снова закрылся, ни стука, ни грохота уже не было, она со всех ног помчалась назад в свой застенок и, бросившись на кровать, услышала, скорее даже почувствовала, как что-то приближается с яростным ревом, удар, разрыв, далеко и все же где-то рядом, сильнейший толчок, кровать и стол так и заплясали, она закрыла глаза и сама не знала, долго ли так продолжалось, впала ли она в беспамятство или нет, ей было безразлично, а когда она открыла глаза, перед нею стоял Полифем.

18

Он поставил ее чемодан возле кровати, и был он трезв, свежесвыбрит, одет в чистый белый костюм и черную рубашку; пол-одинадцатого уже, сказал он, ох и долго же пришлось ее искать, она ведь не в своей комнате, похоже, спутала минувшей ночью, наверняка землетрясения испугалась, ну а сейчас он ждет ее завтракать, с этими словами Полифем уковылял из комнаты, и дверь за ним закрылась, Ф. встала, лежала она, оказывается, на диване, а фотографии на стенах изображали взрыв танка, поэтапно, кадр за кадром, застрявший в башне человек горел, обугливался, неловко вывернувшись, безжизненно смотрел в небо, она открыла чемодан, разделась, приняла душ, надела свежее джинсовое платье, отворила дверь — опять стук и грохот, потом тишина, Ф. было заплутала, но дальше начались как будто бы знакомые помещения, в одном из них — стол, освобожденный от фотоснимков и бумаг, хлеб, на дощечке ломтики тушенки, чай, кувшин с водой, консервная банка, стаканы; откуда-то из коридора приковылял Полифем с пустой жестяной миской в руке, словно кормил какое-то животное, он убрал фотоальбомы с одного стула, с другого, она села, он нарезал перочинным ножиком хлеб — прошу, угощайтесь! — Ф. налила себе чаю, взяла кусок хлеба, ломтик мяса, она вдруг поняла, что проголодалась, а он высыпал в стакан какой-то белый порошок, залил водой, пояснив, что по утрам пьет только разведенное

сухое молоко, кстати, он должен извиниться, вчера он был пьян, у него вообще в последнее время запой, фу, до чего же противное молоко; это ведь было не землетрясение, сказала она, верно, кивнул он, подливая воды в стакан, землетрясение тут ни при чем, что ж, пора ей узнать, в какую историю она ввязалась, хоть и не по своей воле, она же явно понятия не имеет, что, собственно, происходит в стране, продолжал он слегка насмешливо, снисходительно, да и вообще казался совсем другим, не как тогда, возле взорванного "фольксвагена", когда они познакомились; конечно, насчет борьбы за власть между начальником полиции и шефом секретной службы она в курсе дела, первый, само собой, готовит государственный переворот, а второй пытается его предотвратить, но в игру входят и другие интересы, страна, куда она, как ему думается, приехала более чем легкомысленно, живет не только туризмом да вывозом растительных волокон для набивки мягкой мебели, главный источник доходов — война, которую эта страна ведет с соседним государством из-за земель в великой песчаной пустыне, где, кроме горстки вшивых бедуинов да пустынных блох, никто не живет, туризм и тот не отважился туда проникнуть, эта война, глеющая вот уже лет десять, давным-давно нужна лишь затем, чтобы испытывать продукцию буквально всех стран — экспортеров оружия, не только французские, немецкие, английские, итальянские, шведские, израильские, швейцарские танки вели там бои с русскими и чешскими танками, но и русские с русскими, американские с американскими, немецкие с немецкими, швейцарские со швейцарскими, всюду в пустыне можно набрести на заброшенные поля танковых сражений, война выискивает для себя все новые театры, и это вполне логично, ведь лишь благодаря экспорту оружия конъюнктура остается мало-мальски стабильной, конечно, при условии, что оружие конкурентоспособно; беспрестанно вспыхивают и настоящие войны, вроде той, что ведут Иран и Ирак, другие перечислять незачем, тут уж опробовать оружие поздно, потому-то военная промышленность так ретиво печется о здешней пустынной войне, которая давно утратила политический смысл, стала фиктивной, инструкторы из стран, поставляющих военную технику, по сути, ведут обучение местных жителей, просвещают здешних берберов, мавров, арабов, евреев, негров — горемык, которым эта война, если они художественно останутся в живых, дает некие преимущества; но теперь страна охвачена брожениями, фундаменталисты считают эту войну западной пакостью, что вполне справедливо, только надо прибавить сюда и Варшавский пакт, шеф секретной службы стремится превратить эту войну в международный скандал, вот почему дело Сёренсен весьма ему на руку, правительству тоже хочется прекратить войну, хочется-то хочется, но ведь тогда экономика пойдет вразнос, начальник генерального штаба покуда колеблется, саудовцы тоже в нерешительности, начальник полиции намерен продолжать войну, он подкуплен государствами — производителями оружия, а вдобавок, как поговаривают, израильянами и Ираном, вот и пытаются свергнуть правительство при поддержке сбежавшихся со всего света кинооператоров и фотографов, которые иначе останутся без работы, эта война дает им хлеб насущный, ведь смысл ее лишь в том, что за нею можно наблюдать, только наблюдения за испытанием оружия позволяют выявить и устранить слабости и дефекты конструкции, а что касается его самого — он засмеялся, опять насыпал в стакан сухого молока и залил водой, тогда как Ф. давно уже покончила с завтраком, — тут ему при-

дется, пожалуй, начать издалека, у каждого своя история, у нее — своя, у него — своя, он не знает, как началась ее история, да и не хочет знать, а вот его собственная история началась однажды в понедельник вечером в Нью-Йорке, в Бронксе, где его отец держал небольшой фотосалон — снимал свадьбы и всех желающих — и как-то раз выставил в витрине фотографию некоего джентльмена, не подозревая, что делать этого нельзя, вот это ему и втолковал потом один из гангстеров, с помощью автомата: изрешеченный пулями отец рухнул прямо на него, ведь именно в тот понедельник вечером он сидел на полу за прилавком и готовил уроки, надо сказать, отец вбил себе в голову, что сын должен получить среднее образование, у отцов вечно слишком далеко идущие планы насчет сыновей, он же сам немного погоды, когда пальба утихла, выбрался из-под отца, оглядел разгромленный салон и пришел к выводу, что истинная образованность предполагает совсем другое: необходимо разобратся, как прожить на свете среди людей, с выгодой для себя используя этих же самых людей, среди которых собираешься жить; с единственной непродырявленной фотокамерой он спустился в ад преступного мира, этаким мальчик с пальчик, от горшка два вершка, первое время специализировался на карманниках, полиция оплачивала его моментальные снимки весьма скромно и арестовывала мало кого, так что им никто не интересовался, тогда он осмелел и принялся за взломщиков, аппаратуру он частью наворовал, частью смастерил своими руками, а жил с крысиной смекалкой, ведь, чтобы фотографировать взломщиков, надо по-взломщицки думать, они ребята ушлые и света не любят, несколько громил-верхолозов, ослепленные фотовспышкой, разбились насмерть, ему до сих пор жаль их, но полиция платила по-прежнему гроши, а бегать с этими снимками в газеты значило переполошить преступный мир, так-то ему покуда везло, никто даже и не думал искать фотографа в тощем уличном мальчишке, а потому его обуяла мания величия, и он принялся за гангстеров и убийц, толком не выкнув, во что, собственно, ввязывается, полиция, правда, расшедрилась, гангстеры один за другим отправлялись в Синг-Синг и на электрический стул, либо хозяева сами "убирали" их, из предосторожности, но потом он случайно "поймал" в Центральном парке кадр, который испортил карьеру некоему сенатору и вызвал целую лавину скандалов, в результате полиция вынуждена была доложить следственной комиссии конгресса о его существовании, о котором никто больше не знал; ФБР сцапало его, а комиссия взяла в оборот и с пристрастием допросила, его портрет попал в газеты, и, вернувшись в свою студию, он нашел ее в том же состоянии, в каком был когда-то салончик отца, некоторое время он еще держался на плаву, продавая полиции фотографии гангстеров, а гангстерам — фотографии сыщиков, но скоро на него ополчились все — и полиция, и гангстеры, выход был один — искать безопасности в армии, там тоже нужны фотографы, официальные и неофициальные, но хоть он и говорит, что обеспечил себе безопасность, продолжал Полифем, откинувшись на спинку стула и водрузив ноги на стол, это все же изрядное преувеличение, войны, даже те, что именуются чисто административными мерами, непопулярны, депутатов и сенаторов, дипломатов и журналистов надо убедить, ну а если убеждение не действует, обратиться к подкупу или, когда подкуп бессилен, к шантажу, вот для этого-то к его услугам были шикарные бордели, сделанные там снимки — самый настоящий политический динамит, но он не смел отказываться,

армия в любую минуту могла выпихнуть его домой, и, отлично зная, что его там ждет, он безропотно шел на все, в итоге же, когда над ним опять нависла угроза следственной комиссии, сбежал из сухопутных войск в ВВС, а из ВВС — ибо ничего нет упорнее мстительных политиканов — в военную индустрию, где сходятся все интересы, так что он не без оснований считал себя наконец-то в безопасности, вот и очутился здесь, в синяках да шишках, вечная жертва и вечный охотник, живая легенда для коллег-профессионалов, которые, кстати говоря, избрали его своим боссом, а он, приняв этот пост, совершил один из наиболее опрочечивых поступков в жизни, ибо тем самым возглавил подпольную группировку, которая поставляла любые сведения обо всех видах применяемого оружия, ее задачу можно сформулировать и так: она упраздняет шпионаж, ведь, если кто-нибудь хотел навести справки насчет вражеского танка или насчет эффективности противотанковой пушки, достаточно было обратиться к нему, к Полифему, благодаря ему война продолжала идти на убыль, однако чрезмерное усиление его позиций опять-таки привлекло внимание администрации; чтобы разгромить их группировку, администрация установила контакт не с кем-нибудь, а с ним самим: он, мол, в своей области, бесспорно, крупнейший знаток и вынуждать его никто не собирается, но кое-кто из сенаторов... в общем, он принял их условия, и группировка уже начинает разваливаться, продолжается войны сомнительно, а то, что его теперь выслеживают давние коллеги и, если он появляется, сразу берут под наблюдение, вполне естественно, и даже более того, ведь он признаёт, что кой-какую слишком уж щекотливую информацию утаил.

19

Он умолк, а говорил очень долго, и она чувствовала, что он не мог не говорить, что он рассказал ей то, чего, быть может, никому еще не рассказывал, но чувствовала и другое: кое о чем он умолчал, и умолчал по причинам, которые каким-то образом связаны с тем, отчего он рассказал ей свою жизнь; он сидел, откинувшись на стуле, водрузив ноги на стол, смотрел прямо перед собой, будто ждал чего-то, а потом опять послышался нарастающий вой, опять удар, взрыв, на голову посыпались крошки и пыль — и тишина; она спросила, что это было, он ответил: то, из-за чего никто сюда сунуться не смеет, и заковывал в лабораторию, откуда они по лесенке поднялись наверх, в небольшую комнату с приплюснутым куполообразным потолком, круглившимся над сплошным поясом маленьких окошек, и, только усевшись рядом с Полифемом, Ф. поняла, что это не окна, а экраны мониторов, на одном из них она увидела заходящее солнце и пустыню, увидела поднявшийся на поверхность вездеход и себя в нем, потом увидела, как сомкнулась золотистая полоса, как настала ночь, снова ушел под землю вездеход, небо взвездило, затем что-то такое подлетело на огромной скорости, яркая вспышка, монитор погас; а теперь то же самое, но снятое через "лупу времени", сказал он, медленно-медленно наступила ночь, медленно-медленно исчез под землей вездеход, медленно-медленно загорелись звезды, одна стала медленно увеличиваться, медленно выросла, точно комета, медленно в пустыню возвилось какое-то стройное, добела раскаленное тело, медленно взорвалось, медленно, словно из жерла вулкана, всплес-

нулись в воздух обломки камня, а потом — только свет и тьма; это была первая, вторая взорвалась ближе, сказал Полифем, точность возрастает, а на вопрос Ф., что же она такое видела, ответил: межконтинентальную ракету; на экране монитора возникла тем временем панорама пустыни, горы, город, пустыня приблизилась, на кадр наложилось перекрестие линий — здесь расположено сооружение, в котором они находятся, он и Ф., снято со спутника, причем период его обращения и период обращения Земли скоординированы так, что он постоянно висит у них над головой, с этими словами Полифем задействовал еще один монитор, автоматически, как он и говорил, опять пустыня, у левой кромки кадра черный квадрат Аль-Хакимовых Развалин, справа вверху город, у правой кромки горы, все то же облако, слепяще белый комок ваты, в центре кадра шарик с антеннами, первый спутник, заснятый вторым, чтобы наблюдать, за чем он наблюдает, пояснил Полифем, отключил мониторы, заковылял к лестнице и спустился вниз; совершенно не обращая на нее внимания, он вернулся к столу, прямо так, руками, взял кусок мяса, сел, откинулся назад, водрузил ноги на стол, сказал, что скоро надо ждать следующей ракеты, сунул лопот в рот и добавил, что если в "пустынной" войне испытывается современное оружие обычных типов, то с точки зрения стратегической концепции двух лагерей необходимо отрабатывать точность попадания межконтинентальных ракет, ракет "земля — земля" и тех, что запускаются с атомных подлодок, то есть испытывать боевые средства, служащие носителями атомных и водородных зарядов, в результате, с одной стороны, на Земле сохраняется мир, хоть и под угрозой того, что и он, и Земля довооружаются до смерти, слишком уж все уповают на устрашение другого, либо на компьютер, либо на идеологию, либо и вовсе на бога, а ведь другой может потерять голову и пуститься во все тяжкие, компьютер может ошибиться, идеология — оказаться несостоятельной, а бог — равнодушным, с другой же стороны, как раз те государства, которые располагают лишь обычным оружием и, собственно, должны бы сидеть тихо и не вылезать, соблазняются под прикрытием всеобщего мира всемирного устрашения вести обычные войны: ввиду возможности атомной войны они стали, так сказать, чистенькими и пристойными, что в свою очередь подхлестывает производство обычных вооружений и оправдывает войну в пустыне, гениальный круговорот, не позволяющий заглухнуть военной промышленности, а с нею и мировой экономике; станция, в которой они находятся, служит для ускорения этого процесса, сооружена по секретному соглашению и обошлась в фантастическую сумму, только для обеспечения подземных электрокоммуникаций в горах специально выстроены плотина и электростанция; не случайно этот район пустыни избран мишенным полем, не случайно за него ежегодно выплачивают полмиллиарда, ведь он соседствует со странами, которые, обладая огромными запасами нефти, вновь и вновь поддаются искушению и шантажируют промышленно развитые нации, раньше на этом наблюдательном пункте работало свыше пятидесяти специалистов, сплошь технари, он был среди них единственным фотографом, а пользовался главным образом все тем же стареньким "кодаком" из отцовского салончика, только в последнее время перешел на видео, вообще-то он по станции никогда не гулял, хотя сенсаций там хватало, конечно, удавалось отснять гвоздевой материал, что да, то да, осколком ему раздробило левую ногу, но когда он, кое-как залатанный, вернулся назад, станция

наполовину обезлюдела, ее полностью автоматизировали, технари — те, что пока остались, — работали с компьютерами, да и он, собственно говоря, стал не нужен, его заменили автоматические видеокамеры, потом над станцией "подвесили" спутник — кстати, об этом их даже не известили, станция слежения за спутником находится на Канарских островах, лишь по случайности кто-то из специалистов-телевизионщиков обнаружил зависший над ними спутник, а немногим позже еще один, чужой, — а вскоре пришел приказ эвакуировать персонал, ибо теперь станция может работать в автоматическом режиме, но это самое настоящее вранье, зачем бы тогда спутник, в общем, тут остался он один, Полифем, все это оборудование для него темный лес, он может лишь проверить, действуют ли видеоустановки, да, пока действуют, но надолго ли их хватит — неизвестно, ведь ток поступает уже только от батарей, от электростанции их нынче утром отключили, когда батареи сядут, все это сооружение станет бесполезным, вдобавок теперь начали оснащать межконтинентальные ракеты хоть и не атомными, но высокомошными обычными зарядами; он, разумеется, считает, что нелепо полагать, будто обе стороны метят не столько по станции, сколько непосредственно по нему, потому что он располагает фильмами и фотонегативами, которые для иных дипломатов более чем шекотливы, но все ж таки стал пить, а раньше, между прочим, в рот не брал, и тут Ф. спросила, уж не эти ли документы заставили его убить Бьёрна Ольсена.

20

Он убрал ноги со стола, встал, пошарил среди катушек пленки, вытащил бутылку, плеснул виски в стакан, из которого пил порошковое молоко, взболтнул, выпил все до капли, спросил, верует ли она в бога, опять налил себе виски и снова уселся напротив нее, а она, смущенная вопросом, хотела сперва ответить резкостью, но потом, догадываясь, что узнает больше, если отнесется к его вопросу серьезно, сказала, что не может веровать в бога, ибо, с одной стороны, не знает, как представить себе бога, а в непредставимое верить не способна, с другой же стороны, ей неизвестно, каким ему, спросившему о вере, видится бог, в которого она должна или не должна веровать, на что Полифем отозвался так: если бог существует, то как абсолютный, чистый дух он являет собою чистое наблюдение и лишен возможности вмешиваться в процесс эволюции материи, который завершается в абсолютном небытии — ведь даже протоны подвержены распаду — и в ходе которого возникли и погибнут Земля, растения, животные и люди; лишь являя собою чистое наблюдение, бог остается не осквернен своим творением, что справедливо и для него, для оператора, ему тоже полагается лишь наблюдать, в противном случае он бы давно вогнал себе пулю в лоб, всякое чувство, будь то страх, любовь, сострадание, гнев, презрение, вина, жажда мести, не просто замутняет чистое наблюдение, но делает его невозможным, окрашивает чувством, так что он, Полифем, смешивается с мерзостным миром, вместо того чтобы отъединиться от него, лишь посредством кино- или фотокамеры реальность можно запечатлеть объективно, в чистом виде, одна лишь камера способна зафиксировать то время и то пространство, где разыгрывается вот этот самый эпизод, тогда как при отсутствии

камеры эпизодическое переживание ускользает, не успеешь его пережить, а оно уже в прошлом, уже воспоминание и, как всякое воспоминание, уже подделка, фикция, оттого-то ему кажется, будто он не человек больше, ведь человек от природы пленник иллюзии, воображающий, что можно пережить что-то, непосредственно вобрать в себя, пожалуй, он больше смахивает на циклопа Полифема, который воспринимал, вбирал в себя окружающий мир через единственный круглый глаз посреди лба, словно через объектив камеры, и "фольксваген" он взорвал не просто затем, чтобы Ольсен прекратил выяснять судьбу датской журналистки и не попал в ситуацию, в какой сейчас оказалась она, Ф., нет, он хотел, продолжил Полифем после очередного нарастающего воя, удара, разрыва, толчка, однако на сей раз подальше, помягче, недолет, спокойно заметил он, — так вот, он хотел прежде всего снять взрыв на пленку — только не поймите меня превратно! — беда, конечно, страшная, но благодаря видеокамере увековеченное событие, аллегория мировой катастрофы, ведь камера нужна для того, чтобы поймать и удержать десятую, сотую, тысячную долю секунды, задержат, остановить время, уничтожив его, фильм-то, когда идет, лишь якобы воспроизводит действительность, на самом деле он имитирует непрерывный ход событий и состоит из последовательности отдельных кадров, поэтому отсняв фильм, он режет его, и вот тогда каждый отдельный кадр предстает кристаллом реальности, непреходящей ценностью, но теперь над ним "висят" эти два спутника, раньше он со своей камерой чувствовал себя как бог, а теперь за тем, что наблюдает он, ведется наблюдение, мало того, наблюдают и за ним самим, за тем, как он ведет наблюдение, ему известна разрешающая способность спутниковой аппаратуры, бог, за которым наблюдают, уже не бог, за богом не наблюдают, свобода бога в том, что он бог спрятанный, затаенный, а несвобода людей — в том, что за ними наблюдают, но еще ужаснее другое: кто за ним наблюдает, кто выставляет его на посмешище — система компьютеров, да-да, за ним наблюдают две подключенные к двум компьютерам камеры, за которыми надзирают два других компьютера, тоже состоящие под надзором компьютеров, информация от них опять-таки вводится в компьютеры, воспроизводится, преобразуется, снова собирается воедино и, обработанная компьютерами, поступает в лаборатории, а там снимки проявляют, увеличивают, сортируют и интерпретируют, кто этим занимается, где именно, да и вообще, участвуют ли в этом люди, он не знает, компьютеры тоже умеют читать и ретранслировать снимки, сделанные со спутников, если их программа составлена с учетом подробностей и отклонений, он, Полифем, поверженный бог, его место занял теперь компьютер, за которым тоже наблюдает компьютер, один бог наблюдает за другим, мир идет вспять, к своим истокам.

21

Он пил виски, стакан за стаканом, почти не разбавляя водой, и снова превратился в того человека, с которым она познакомилась возле изуродованного мертвого датчанина, в пьяницу с изрытым морщинами лицом, с маленькими жгучими глазами, которые все же казались окаменевшими, словно целую вечность смотрели в ледяной ужас, и когда она

спросила – так, наудачу, – с чьей легкой руки его прозвали Полифемом, то буквально остолбенела: услышав ее вопрос, он как следует хлебнул прямо из бутылки, а потом сказал, еле ворочая языком, что она дважды была на волосок от смерти: один раз – когда вышла на поверхность, из-за ракет, и второй раз – еще раньше, у железной двери, если б она ее открыла, то была бы уже мертва, ну а имя Полифем ему дали на авианосце "Киттихок", как раз когда решено было вывести войска из Южного Вьетнама, в каюте, которую он делил с рыжим верзилой, преподавателем греческого языка из какого-то захолустного университета, чудной был парень, в свободное от службы время читал Гомера, "Илиаду" вслух декламировал, а при том летал на бомбардировщике и был замечательным пилотом, ребята прозвали его Ахиллом, отчасти в насмешку над его чудачествами, отчасти из огромного уважения к его отчаянной храбрости; сам он много раз фотографировал этого нелюдима и снимал на киноплёнку, это лучшие его работы, поскольку Ахилл никогда внимания не обращал на съёмку, да и не разговаривал с ним, в общем-то, бросит равнодушно пару слов, и все, только часа за два, за три перед тем, как на бомбардировщике нового образца вылететь ночью бомбить Ханой – они оба предчувствовали, что это может кончиться плохо, – он оторвался от своего Гомера, увидел направленный на него объектив и, воскликнув: Полифем – вот ты кто, настоящий Полифем! – расхохотался, в первый и последний раз, а потом заговорил, тоже в первый раз, и сказал, что греки отличали Ареса, бога необузданной, дикой схватки, от Афины Паллады, богини порядка в сражении; в ближнем бою раздумывать некогда и опасно, зато не обойтись без мгновенной реакции, иначе не увернешься от дротика, не отразишь щитом меча, не ударишь сам ни дротиком, ни мечом, противник рядом, бок о бок, его ярость, его хриплое дыхание, его пот, его кровь мешаются с собственной твоей яростью, хриплым дыханием, потом, кровью, завязываются в накрепко спутанный клубок страха и злобы, человек вцепляется в человека когтями, вгрызается зубами, терзает, рубит, колет, ставши зверем, раздирает зверей, так под Троей бился Ахилл, это было пылающее злобой истребление, вдобавок он рычал от ярости и ликовал, повергнув очередного врага, не то что он, тоже прозванный Ахиллом, ведь какой стыд: по мере технизации войны противник становился все абстрактнее, для снайпера, глядящего в оптический прицел, он не более чем видимый вдалеке предмет, для артиллериста – тоже предмет, но уже не более чем предполагаемый, а вот он, пилот бомбардировщика, еще худо-бедно укажет, сколько городов и деревень он бомбил, но не назовет ни сколько уничтожил людей, ни как он их уничтожил: разорвал в клочья, раздавил, сжег, ему это неизвестно, он просто наблюдает за своими приборами и, руководствуясь указаниями радиста, с учетом собственной скорости и направления ветра, выводит самолет на цель, в ту абстрактную точку в системе пространственных координат – долготы, широты, высоты, – где будут автоматически сброшены бомбы, и после налета он чувствует себя не героем, а трусом, закрадывается мрачное подозрение, что эзсовский палач в Освенциме поступал нравственнее его, эзсовец сталкивался со своими жертвами лицом к лицу, хотя и считал их недочеловеками, сбродом, он же, Ахилл, и его жертвы никак не сталкиваются, да и не считает он их недочеловеками, а так, чем-то вроде насекомых, которых приказано истребить, вроде комаров, которых летчик, распыляющий ядохимикаты, тоже не видит; раз-

бомбить, стереть в порошок, уничтожить, ликвидировать — какое слово ни употреби, это все равно остается абстракцией, чисто техническим делом и осмысливается лишь суммарно, лучше всего в деньгах, мертвый вьетнамец стоит свыше ста тысяч долларов, мораль удаляют как злокачественную опухоль, ненависть вливают как допинг, ненависть к призрачному врагу; увидев перед собой живого пленного врага, он не в состоянии его ненавидеть, он воюет против системы, противоречащей его политическим взглядам, но любая система, даже самая преступная, складывается из виновных и невиновных, и к любой системе, в том числе и к военной машине, в которую он включен, примешивается преступление, подавляющее и стирающее ее резоны, он кажется себе таким анонимом, наблюдателем за стрелками и шкалами, и только-то, особенно это касается задания, которое предстоит им нынешней ночью, ведь их самолет просто-напросто летающий компьютер, он стартует, заходит на цель, сбрасывает бомбы, всё автоматически, они оба выполняют исключительно функции наблюдателей, порой ему так и хочется стать настоящим преступником, совершить какое-нибудь чудовищное злодеяние, стать зверем, изнасиловать женщину и задушить, человек — это иллюзия, он становится или бездушной машиной, кинокамерой, компьютером, или зверем; после такой речи, самой длинной, какую когда-либо произносил, Ахилл умолк, а час-другой спустя они на малой высоте, на скорости 2М уже летели к Ханюю, навстречу огненной пасти зенитных орудий — ЦРУ предупредило Ханюю (какие же испытания без обороны!), однако же он, Полифем, успел сделать несколько превосходных снимков, потом они сбросили бомбы, но самолет был подбит, автоматика отказала; весь в крови — его ранило в голову, — Ахилл лег на обратный курс, и вел он самолет уже не как человек, а прямо как компьютер, потому что, когда они сели на палубу "Киттихока", на него, Полифема, таранилась окровавленная пустая маска идиота, он так и не смог забыть Ахилла и с тех пор считает себя его должником, он прочел "Илиаду", чтобы понять этого захолустного преподавателя, который спас ему жизнь и по его милости стал идиотом, он искал Ахилла, но нашел его только спустя много лет, в психиатрическом отделении военного госпиталя, где ему, Полифему, латали ногу, нашел слабоумного бога, запертого в изоляторе, потому что он, сумев несколько раз ударить из больницы, насилывал и убивал женщин; Полифем умолк и опять устал в пространстве, а на ее вопрос, уж не Ахилл ли то существо за дверью, ответил: она должна понять, что он обязан при случае исполнять то единственное желание, какое осталось у Ахилла, ну а кроме того, он ведь обещал ей портрет Ютты Сёренсен.

22

С трудом он задействовал проектор, а еще раньше долго искал нужную пленку, но вот наконец все было готово; откинувшись в кресле, положив ногу на ногу, она впервые увидела Ютту Сёренсен, стройную женщину в рыжей шубе, идущую в глубь великой пустыни, причем сперва ей показалось, что это она сама; судя по походке, женщину понуждали идти, когда она останавливалась, что-то ее тотчас вспугивало, лица журналистки Ф. не видела, но по тени, которая мелькала время от времени, догадалась, что в пустыню ее гнал вездеход Полифема, Ютта Сёренсен все

шла и шла, каменистая пустыня, песчаная пустыня, однако шла она, похоже, не наобум, хотя ее и преследовали, Ф. не оставляло чувство, что датчанка стремилась к какой-то цели и хотела ее достигнуть, но внезапно она побежала вниз по крутому склону, оступилась, упала, в поле зрения возникли Аль-Хакимовы Развалины, черные птицы силуэты скрюченных святых, она встала, бросилась к ним, обняла колени первого, умоляя о помощи, тот упал, так же как от прикосновения Ф., датчанка переползла через труп, обхватила колени второго — и этот был трупом, появилась тень вездехода, угольно-черная, потом — какое-то громадное существо, оно налетело на женщину, а она, вдруг безвольно обмякнув, даже не сопротивлялась, была изнасилована и убита, кадры сплошь предельно четкие, крупным планом ее лицо, в первый раз, потом лицо существа, плаксивое, алчное, мясистое, пустое; то, что последовало дальше, было, видимо, снято ночью, специальной камерой, труп лежал среди святых мужей, двое покойников опять сидели, сбежались шакалы, понюхали, принялись рвать тело Ютты Сёренсен, и только теперь Ф. заметила, что она одна в просмотровом зале, она вышла из зала, остановилась у двери, достала из сумки сигарету, закурила, у стола сидел Полифем, кромсал пленку, рядом — стойка с обрезками, на столе револьвер и нарезанные квадратики целлулоида, в конце стола — лысая глыба, скандирующая стихи, греческие гексаметры, Гомера, с закрытыми глазами раскачивающаяся в такт; Полифем сказал, что накачал его валиумом, а затем, вырезая очередной кадр, спросил, как ей понравился его материал, видеофильм, переснятый на 16-миллиметровую пленку, ответа на этот вопрос она не нашла, он смотрел на нее, безучастно, холодно; то, что он зовет реальностью, подстроено, инсценировано, сказала она, на что он, разглядывая вырезанный кадр, ответил: инсценируется игра, реальность инсценировать нельзя, ее можно только выявить, вот он и выявил Сёренсен, как космический зонд выявил действующие вулканы на одном из спутников Юпитера, на что она бросила: софистика! — а он: в реальности нет софистики, но тут все опять задрожало, и с потолка посыпались крошки и пыль, и она спросила, почему он назвал Ахилла слабоумным богом, и Полифем объяснил: он называет его так потому, что Ахилл действует как обезумевший бог-творец, уничтожающий свои творения; датчанка не творение слабоумного, со злостью воскликнула она; тем хуже для бога, спокойно возразил он и на ее вопрос, произойдет ли это здесь, сказал: нет, не здесь, и не у Аль-Хакимовых Развалин, их видно со спутников, портрет датчанки страдает изъятиями, зато ее портрет будет шедвром, он уже выбрал место, а теперь она должна оставить его и Ахилла одних, Ахилл может проснуться, а ему надо собрать вещи, ночью они уедут отсюда и ее с собой возьмут, а заодно пленки и фотографии, ради которых за ним охотятся, он покинет станцию навсегда, и Полифем опять занялся пленкой, Ф. же не сразу сообразила, что покорно шагает в свою тюрьму, там она улеглась не то на кровать модерн, не то на диван — настолько ей было безразлично, что она делает, бежать все равно невозможно, он опять протрезвел и вдобавок вооружен, Ахилл мог проснуться, а станция поминутно содрогалась, и если бы даже ей вздумалось убежать, она не знала, хочет ли этого, она видела перед собою лицо Ютты Сёренсен, перекошенное желанием, а потом, когда огромные ручищи обхватили ее горло, за секунду перед тем, как исказиться, гордое, торжествующее, смиренное, датчанка желала всего, что с нею случилось, желала насилия

и смерти, остальное было только предлогом, а она сама, Ф., она не могла не пройти до конца тот путь, который выбрала, в угоду своему выбору, гордости, в угоду себе, замкнуть смехотворный и все же неизбежный порочный круг долга, но искала ли она правду, правду о себе самой, ей вспомнилась встреча с фон Ламбертом, она согласилась выполнить его поручение вопреки голосу инстинкта, бросив один туманный план, она схватилась за еще более туманный, лишь бы что-то предпринять, ведь она переживала кризис, ей вспомнился разговор с Д., логик был слишком учтив, чтобы отговаривать ее, да и слишком хотел посмотреть, чем все кончится, фон Ламберт-то, может, еще раз вышет вертолет, он же опять виноват, подумала она и невольно рассмеялась, потом она увидела себя в мастерской, перед портретом, который действительно изображал Ютту Сёренсен, но обернулась она слишком поздно, наверняка это Тина выскользнула тогда из мастерской, и наверняка режиссер был ее любовником, она была близка к правде, но не выяснила ее до конца, соблазн отправиться самолетом в М. был чересчур велик, хотя и этот полет, пожалуй, был всего лишь бегством, только вот от кого, спросила она себя, возможно, от себя самой, видимо, она сама себе стала невыносима, а бегство свелось к тому, что она просто покорились обстоятельствам, поплыла по течению, она увидела себя девочкой, возле горного ручья, на том месте, где он обрывается со скалы в пропасть, она улизнула из лагеря, пустила в ручей бумажный кораблик и пошла за ним, то один камень, то другой задерживали кораблик, но он каждый раз высвобождался и теперь неудержимо плыл к водопаду, а она, маленькая девочка, следила за ним вне себя от радости, потому что посадила на него всех своих подружек, и сестру, и мать с отцом, и веснушчатого мальчишку-одноклассника, который умер потом от детского паралича, — словом, всех, кого любила сама и кто любил ее, и когда кораблик помчался стрелой, ринулся со скалы вниз, в бездну, она громко закричала от восторга, а кораблик вдруг стал большим кораблем, ручей — порожистой рекой, и сама она была на этом корабле, все быстрее плывшем к водопаду, над которым на двух утесах сидели Полифем и Ахилл, Полифем фотографировал ее камерой, похожей на исполинский глаз, а Ахилл хохотал, раскачиваясь взад-вперед голым торсом.

23

В путь они отправились сразу после мощнейшего взрыва, ей даже почудилось, будто станция рухнет, ничто уже толком не работало, вездеход пришлось поднимать из гаража ручной лебедкой; выбравшись в конце концов на поверхность, Полифем наручником приковал ее к стойке нар, где она лежала среди нагромождений роликов с пленкой, а потом сел за руль и рванул с места, но ракет больше не было, всю ночь они без происшествий ехали дальше и дальше на юг, над головою мерцали звезды, названия которых она забыла, кроме одного — Канопус, Д. говорил, что она увидит эту звезду, но откуда теперь знать, видит она Канопус или нет, и странным образом это мучило ее, ведь ей казалось, что отыщи она Канопус, и он непременно поможет ей, потом звезды побледнели, последней — та, что, возможно, была Канопусом, ночь истаявала ледяным серебром, превращаясь в день, Ф. совсем озябла, медленно вставало солнце; Полифем высадил ее из машины, погнался — все в той же рыжей шубе — в вели-

кую пустыню, в иссеченный трещинами дикий край, чуть ли не лунный ландшафт, царство песков и камня, мимо уэдов, среди песчаных барханов и фантастических скальных образований, в ад света и тени, пыли и суши, как раньше гнал Ютту Сёренсен, то почти наезжая на нее, то следуя поодаль, то вообще исчезая из пределов слышимости, то с ревом наступая, — чудовище, затеявшее игру со своей жертвой, вездеход, у руля Полифем, рядом Ахилл, еще полуодурманенный, раскачивающийся взад-вперед, декламирующий "Илиаду", стихи, единственное, что не смог уничтожить поразивший его обломок стали; кстати, Полифему незачем было руководить ею, она шла и шла, закутанная в шубу, спешила навстречу солнцу, которое поднималось все выше, потом за спиной раздался смех, вездеход гнался за ней, как полицейский в белом тюрбане гнался за шакалом, а может, она и была этим самым шакалом, она остановилась, вездеход тоже, вся в поту, она разделась — пусть смотрят, ей безразлично, — накинула одну только шубу, пошла дальше, вездеход за ней, она все шла и шла, солнце выжгло небо, когда вездеход не двигался и отставал, она слышала жужжание камеры, это предпринималась попытка создать портрет убитой, только на сей раз убитой будет она сама и портрет делает не она, с нее делают портрет, и ей подумалось, что же станет с ее портретом, будет ли Полифем показывать его другим жертвам, как показал ей портрет датчанки, а после она уже не думала ни о чем, потому что думать было бессмысленно, в мерцающей дали завиднелись причудливые низкие скалы, неужто мираж, подумала она, ей давно хотелось увидеть мираж, но, когда она, уже еле волоча ноги, подошла ближе, скалы оказались кладбищем разбитых танков, они обступали ее словно исполненные черепахи, в слепящую пустоту вонзались мощные, опаленные огнем мачты с прожекторами, освещавшими давнее танковое сражение, но едва она сообразила, куда ее пригнали, тень вездехода плащом накрыла ее, а когда впереди, совсем рядом, возник Ахилл — полуголый, весь в пыли, будто явившийся из гуши дикой схватки, в драных армейских брюках, босые ноги заскорузли от песка, бессмысленные глаза широко открыты, — на нее с размаху обрушилось Настоящее, дотоле неведомая жажда жить вспыхнула в душе, жить вечно, броситься на этого гиганта, на этого слабоумного бога, вгрызться зубами ему в горло, ставши вдруг хищным зверем, лишенным всего человеческого, слившись с тем, кто хотел изнасиловать ее и убить, слившись с чудовищной тупостью мира, но он словно бы отступал перед нею, выписывал круги, а она не понимала, почему он отступает, выписывает круги, падает, опять встает, тарашится на стальные трупы — американские, немецкие, французские, русские, чешские, израильские, швейцарские, итальянские, — от которых вдруг потянуло жизнью, люди чуть не толпами полезли из ржавых танков и разбитых бронемашин: операторы выныривали неожиданно, точно фантастические животные, всплывали из кипящего серебра вселенной, шеф секретной службы выкарабкался из помятых остатков русского СУ-100, а из башни обгоревшего "Центуриона", точно убегающее молоко, выпучился начальник полиции в своем белом мундире, все наблюдали за Полифемом и друг за другом, съемка велась отовсюду — с танковых башен, с броневой обшивки, с траков, тонмейстеры орудовали своими "удочками", а меж тем Ахилл, раненый вторично, в бессильной ярости начал кидаться на танки, его отшвыривали пинками, он падал навзничь, копошился в песке, вставал на ноги, потом, хрипя, заковывал к вездеходу, прижимая к

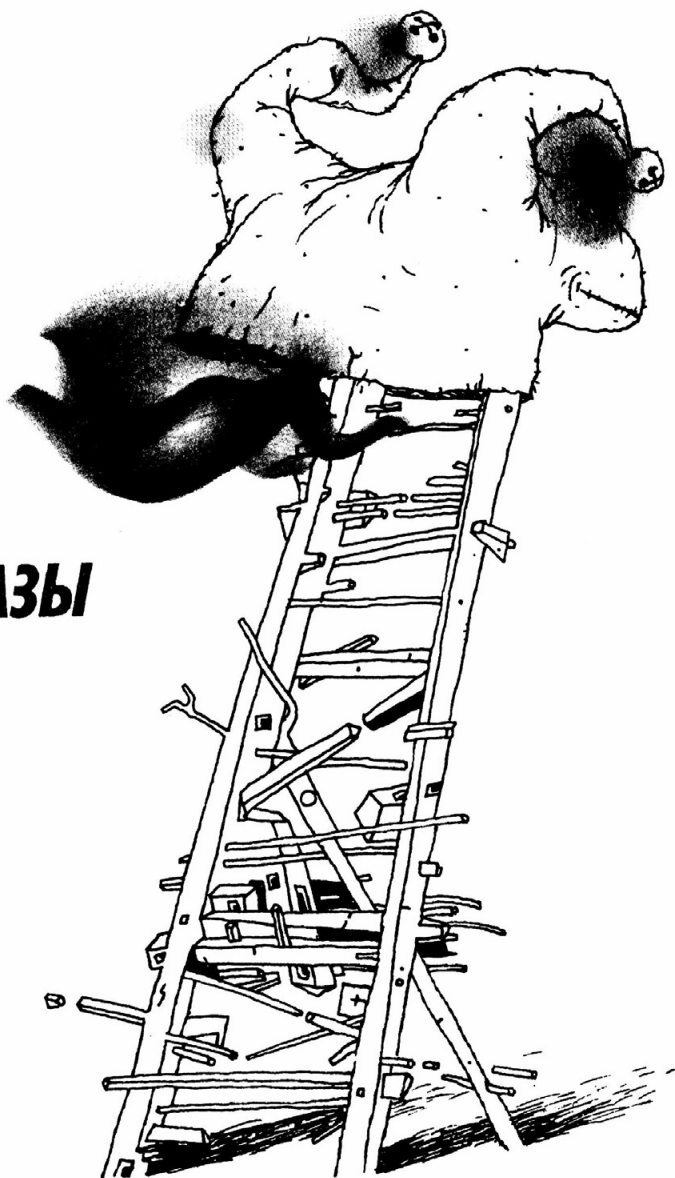
груди руки, из-под пальцев текла кровь, тут его настигла третья пуля, он снова упал навзничь, выкрикивая в лицо снимающему Полифему стихи из "Илиады", еще раз кое-как поднялся и рухнул замертво, прошитый автоматной очередью, после чего Полифем, пока все снимали его и друг друга, рванул на вездеходе прочь, виляя между искореженными танками, удирая от тех, кто его преследовал, кому достаточно было только пойти по следу, впрочем, и это не имело смысла, потому что, когда около полуночи они оказались в нескольких километрах от станции наблюдения, пустыня содрогнулась от взрыва, похожего на землетрясение, и в воздухе вспыхнул гигантский огненный шар.

24

Через несколько недель, когда Ф. со своей съемочной группой вернулась домой и телекомпании успели без всякой мотивировки отвергнуть ее фильм, логик Д. за завтраком в итальянском ресторане прочитал ей вслух выдержку из газеты, где сообщалось, что в М. по приказу начальника генерального штаба расстреляны начальник полиции и шеф секретной службы, первый за то, что предал свою страну, второй за то, что хотел свергнуть правительство, теперь, сам возглавив правительство, начальник генерального штаба вылетел на юг страны, в войска, чтобы продолжить пограничную войну, далее, он опроверг слухи о том, что часть пустыни является мишенным полем для чужих ракет, и подтвердил нейтралитет своей страны; это сообщение очень позабавило Д., тем более что на следующей полосе он прочитал заметку, в которой говорилось, что Отто и Тина фон Ламберт осуществили свою давнюю мечту: та, кого уже считали мертвой и схоронили, подарила жизнь здоровенькому мальчугану; складывая газету, Д. сказал Ф.: А тебе, черт побери, здорово повезло.

4. 06. 1986

РАССКАЗЫ



ПИЛАТ

Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.

Евангелие от Луки, 8; 10

Лишь только распахнулись железные двери в противоположной стене зала, прямо напротив его судейского кресла, и лишь только эти отверстые гигантские пасти изрыгнули потоки людей — их с трудом сдерживали легионеры, ставшие цепью, взявшись за руки, спиной к беснующейся толпе, — он осознал, что человек, которого чернь точно щит несла перед собой ему навстречу, — не кто иной, как бог; а между тем он не решился даже второй раз взглянуть на него, так ему стало страшно. Избегая смотреть на лик бога, он рассчитывал также выиграть время, за которое как-то сумеет разобраться, приспособиться к своему ужасному положению. Ему было ясно, что этим явлением бога он отмечен среди всех людей, не закрывал он глаз и на опасность, которая неминуемо содержалась в таком отличии. И потому он заставил себя скользнуть взглядом по оружию легионеров, проверил, как всегда, плотно ли пригнаны подбородные ремни шлемов, начищены ли мечи и копья, точны ли и уверенны движения, крепки ли мускулы, и лишь потом искоса посмотрел на толпу, которая застыла, ступившись в недвижную массу, и теперь беззвучно заполняла зал, выставив вперед бога — жадно облепленный множеством рук, он спокойно ждал, а Пилат еще и сейчас избегал глядеть на него. Более того, он опустил глаза на свиток с императорским указом, развернутый у него на коленях. А сам размышлял о том, что же мешает ему принародно воздать почести этому богу. Ему отчетливо представился тот миг, когда бог поразил его своим взглядом. Пилат вспомнил, что встретился с богом глазами, когда двери, через которые толпа втолкнула бога, едва отворились, и что он увидел лишь эти глаза, и больше ничего. То были всего-навсего человеческие глаза, без всякой сверхчеловеческой силы или того особого света, который восхищал Пилата на греческих изображениях богов. И не было в них презрения, какое питают к людям боги, когда они спускаются на землю, чтобы истребить целые поколения, но не было и непокорства, какое тлело в глазах преступников, приводимых к нему на суд, — бунтовщиков, восставших против империи, и дураков, умиравших смеясь. В этих глазах выражалось безусловное подчинение, что, однако же, наверняка было коварным лицедейством, ибо бла-

годаря этому стиралась грань между богом и человеком и бог становился человеком, а человек — богом. Посему Пилат не верил в смирение бога и полагал, что тот, приняв человеческий облик, лишь прибегнул к уловке, чтобы испытать человечество. Для Пилата важнее всего казалось узнать, как воспринял бог его собственное поведение; ибо он ясно осознавал, что перед лицом бога от него требуются какие-то поступки. Его охватил страх, что, переведя глаза на свиток, он упустил решающий миг, ведь в этом движении его глаз бог мог увидеть пренебрежение. Поэтому Пилат счел за лучшее поискать на лицах своих солдат признаки, подтверждающие его подозрение. Он поднял как бы невидящие глаза, медленно, не торопясь и не выдавая своего страха, обвел ими легионеров, словно удивляясь, зачем они находятся в этом зале.

Однако, не обнаружил на их лицах никаких поводов для беспокойства, но также и ничего такого, что могло бы устранить его опасения, ибо он тут же сказал себе, что легионеры умеют скрывать свои мысли; с другой стороны, возможно, что им совершенно безразлично, как он вел себя по отношению к богу, они ведь не распознали в этом человеке бога. Итак, он решился второй раз взглянуть на толпу, и от его взгляда она дрогнула. Передние отпрянули, а в середине возникла давка, поскольку задние, жаждающая во что бы то ни стало истолковать его взгляд, в это время стали напирать. Перед ним были неприкрытые в своей откровенности лица; обезображенные ненавистью, они показались ему безобразными до отвращения. У него мелькнула мысль, не отдать ли приказ легионерам запереть двери, а затем, обнажив оружие, со всех сторон врезаться в толпу; однако он не решался поступить так перед лицом бога. При этом, видя неистовство толпы и ярость, с которой она вцепилась в свою жертву, Пилат ясно понял, что эти люди потребуют от него казни бога, и он невольно повернулся к связанному веревками, хотя ему по-прежнему было неизменно страшно второй раз встретиться с ним глазами. Но вид его был таков, что Пилат долго не мог отвести от него взгляда. Бог был невысокого роста, его можно было принять за тщедушного человека. Руки связаны впереди, на них вздулись синие жилы. Одежда грязная и изодранная, в прорехах сквозило голое тело в кровоподтеках и ссадинах. Пилат понял, какой жестокостью со стороны бога было избрать обличье, которое не могло не обмануть людей, понял и то, что только невообразимая ненависть могла внушить богу мысль явиться в маске такого оборванца. Но самое ужасное — что бог не счел нужным взглянуть на него; ибо, хотя Пилат и боялся его взгляда, думать, что бог пренебрегает им, было ему невыносимо. Бог стоял опустив голову, щеки у него были бледные, ввалившиеся, и великая скорбь, казалось, разлилась по его лицу. Взгляд был как бы обращен внутрь, словно все окружающее было бесконечно далеко от него: толпа, облепившая его, легионеры с их оружием, но также и тот, кто сидел перед ним в судейском кресле и кто единственный понял истину. Пилат хотел, чтобы время повернуло вспять и бог посмотрел бы на него, как тогда, когда распахнулись двери, и он знал, что теперь бы он преклонил перед ним колена, и стал плакать в голос и вслух читать молитвы, и перед легионерами и всем народом назвал бы его богом. Но, увидев, что богу нет больше до него дела, Пилат судорожно сжал руки, будто хотел разорвать свиток, лежавший у него на коленях. Теперь он знал: бог явился для того, чтобы убить его. И поняв это, он откинулся на

спинку трона, на лице его выступил холодный пот, а свиток выскользнул из рук и упал к ногам бога. Но когда к нему наклонилось сучающее и усталое лицо легата, Пилат, словно речь шла о чем-то незначительном, вполголоса отдал приказ, а после повернулся к одному из префектов, только что возвратившемуся из Галилеи, поманил его к себе; легат между тем громко и безразлично повторил его приказ, и, слушая доклад префекта, Пилат смотрел вслед толпе, которая с ропотом удалялась через раскрытые двери. Но бога он больше не видел — так тесно обступили его люди, скрывая, словно свою тайну.

Теперь двери снова были заперты и зал перед ним пустынен. Пилат знаком приказал оставить его одного. Он откинулся в кресле и смотрел на свиток на полу, который легонько касался его ноги. Руки спокойно охватывали подлокотники. Слегка склонив голову, Пилат прислушивался к удаляющимся шагам своих центурионов; с ним остался только один раб. Потом Пилат внимательным взглядом обвел зал, словно бы для того, чтобы обнаружить в нем следы бога. Он видел мощные стены, воздвигнутые без всякого архитектурного замысла и лишенные красоты, железные створки дверей, тех самых, через которые толпа вынесла бога, они были расписаны причудливым орнаментом кричаще-красного цвета. Пилата охватило безразличие, дотоле ему неизвестное. Страх лишил его силы. Этот страх был везде. Стены давили его. Пилат встал и прошел мимо раба. Узким коридором он вышел из башни и ступил на двор. Фигуры легионеров на угловых башнях и высоких стенах выделялись на фоне глубокой синевы неба. Камни, которыми был вымощен двор, сверкали на солнце. Пересекая двор, Пилат словно бы проходил сквозь огонь, так много света было вокруг. Он направился к главному зданию дворца, который высился перед ним, похожий на топорной работы блестящую игральную кость, и шагнул в главный зал. Потом поднялся по лестнице, прямо напротив входа, она вела на верхний этаж, в путаницу маленьких покоев с проломами в стенах и узкими зарешеченными окнами под самым потолком, сквозь которые слабо сочился послеполуденный свет. Стены были голые, потому что Пилат редко жил в столице этой ненавистой страны; однако пол был устлан коврами и подушками. В самом большом покое его ждал легат, он уже возлег на пиршественное ложе. Пилат подсел к легату, но к еде не прикоснулся и выпил совсем немного вина. Он спокойно вел беседу, слушал и отвечал. В глубине души Пилату очень хотелось перевести разговор на бога; но он не решился, потому что не доверял легату, очень уж выжидающим был его взгляд. Пилат стал задавать конкретные вопросы, касающиеся войска, и это сбило с толку легата, потому что разговор вдруг стал сугубо деловым. Теперь Пилат мог в глубине своего существа, как бы наблюдая из потаенного места, с удивительной отчетливостью воспроизвести каждое мгновение своей встречи с богом. Он считал маловероятным, чтобы Ирод оставил бога у себя, ибо догадывался, что лишь ему одному, Пилату, дано было прозреть истину. Он и боялся, что бог вернется к нему — ведь пришел же он к нему, и ни к кому другому, — и, как это ни странно, страстно желал этого. Пропась между человеком и богом бесконечна, и теперь, когда бог перекинул мост через эту пропасть и стал человеком, он, Пилат, должен погибнуть по милости бога, разбиться об него, как пловец, которого волна швыряет на риф.

Но вот явился гонец: оказалось, что бог, отосланный Иродом, снова стоит, связанный, у ворот дворца, а вокруг беснуется толпа; Пилат отдал приказ ввести бога во дворец, желая вырвать его из рук толпы, и выждал время, потребное для того, чтобы легионеры привели бога в зал дворца. Потом встал и прошествовал мимо императорского бюста у двери, по привычке остановив взор на мраморном изваянии: венценосная голова, недвижно парившая над ним во мраке, казалась удивительно чуждой. Он миновал длинный коридор, ведущий к лестнице, по сторонам которого стояли легионеры. Их фигуры выступали из сумрака, резко очерченные в свете факелов, которые здесь были уже зажжены, и на легионеров желтыми и красными волнами, одна за другой ударяющимися в обитые железом щиты, падал мерцающий свет. Пилат спускался к выходу, и он уже виделся ему как светлый прямоугольник, через который можно было заглянуть в зал, и снова в его воспоминании возник взор бога. Мгновение Пилат словно бы помедлил; зато оставшиеся несколько шагов сделал столь решительно, что ему пришлось энергично раздвинуть копья легионеров, и вышел из полумрака в светлое помещение зала. Чуть наклонив голову, глянул. С ужасом увидел легионеров, в глазах которых едва успела погаснуть насмешка. Бог недвижно стоял между ними. Руки его по-прежнему были связаны, только теперь на плечи ему накинули белый плащ, перепачканный человеческим дерьмом. Пилат понял, что над богом надругались, понял и то, что это его вина, ведь именно он, Пилат, послал бога к Ироду. Да, так и было, как он предполагал: все, что он предпринимал для своего спасения, на самом деле вело к его проклятью; и, поняв это, Пилат вернулся той же дорогой, какой пришел, мимо легионеров, отложив покамест всякие мысли о боге.

Бичевать бога он приказал во время третьей ночной стражи, но еще до этого срока явился на обычное место экзекуций между дворцом и ближайшей к нему башней. Прошедший день был жарким, и солнце, катившееся над двором по безоблачному небу, жгло немилосердно; теперь же ночь опустилась на город, луна еще не взошла, лишь колючие огоньки звезд пробивали тьму, так что казалось — весь мир ограничен неосвещенными плоскостями этих стен и этих башен, на которых, как на сваях, покоилось небо; пространство, неизмеримое по глубине, хотя в длину и ширину оно измерялось определенным числом шагов. Пилат подошел к столбу, предназначенному им для бога; столб отвесно торчал из земли, вонзаясь в ночь, едва освещенный факелом в руке раба. Обхватив деревянный столб ладонями, Пилат ощутил гвозди и сучки, которые до крови расцарапали ему кожу. Потом он повернулся к стене дворца, где в проеме небольших боковых ворот стояло кресло, и, опустившись в это кресло, велел рабу погасить факел, ибо ему показалось, что он уже слышит шаги легионеров; однако прошло еще некоторое время, пока до него донеслись голоса. На противоположной стене, наискосок от него, появился едва заметный отблеск приближающихся факелов, на глазах он становился все ярче, и наконец стена осветилась так ярко, что стал ясно виден каждый камень кладки. И с особенной отчетливостью выделялся на фоне стены позорный столб, его тень, прямая как стрела, лежала на мощеной поверхности двора, круто переламывалась у подножия стены и вертикально

бежала дальше вверх по стене, растворяясь в бесконечности ночи; но по мере того, как приближались факелы, она начала раскачиваться из стороны в сторону, как взбесившийся маятник гигантских часов. По освещенному двору к столбу темной массой лилась толпа, она постепенно растеклась во все стороны и вот уже заполнила пространство густой мешаниной бесформенных голов, неистово развевающихся перьев на шлемах и судорожно сжатых кулаков, и наконец глазам Пилата предстали легионеры: буйное переплетение тел и оружия, а некоторые высоко во тьму вздымали факелы; раздавались смех и возгласы, ведь никто не знал, что Пилат упрямо ждет их, застыв в своем кресле, едва замечая тяжелое дыхание раба за своей спиной. Он знал, что среди легионеров, там, где всего гуще толпа и неистовей людской водоворот, шагает бог, невидимый ему; его острый глаз различал, однако, как именно в том месте резко поднимались и опускались рукоятки мечей и кулаки, иногда даже останавливалось все шествие, потому что каждый стремился протолкаться, нанести удар, потом пронзительным смехом разрядить свое напряжение, а после снова поспешить к столбу, который постепенно окружала прибывавшая толпа. Но людей было так много, что Пилат не мог разглядеть среди них бога.

Один из легионеров взобрался на столб и прикрепил факелы вокруг его верхушки, после чего бросил вниз веревку и спрыгнул в самую гущу толпы, которая теперь, громко крича, сгрудилась вокруг столба, создав неимоверную давку. Факелы сверху освещали ее ярким нереальным светом, от которого во все стороны разбежались тени, подобные лепесткам внезапно раскрывшегося огромного редкостного цветка. Однако потом толпа распалась, разделилась на одиночек, спешивших прочь за круг света огненной короны и садившихся на землю в темноте, подчас так близко к Пилату, что они едва не касались его ног. Он же не замечал этого и сидел не шелохнувшись, ибо теперь бог явился его глазам, и вид его был ужасен. Бог был наг, и приподнятые его руки были обвиты веревкой, которая, косо натянувшись под его тяжестью, свисала с верхушки столба. Бог стоял на некотором расстоянии от столба, он был один у этого древа позора, один под бесконечно темным и вместе огненным небом, отчетливо видный в свете факелов, окружавшем его как колесо, он был загнан в этот круг и был живым свидетельством власти того, кто недвижно сидел во мраке в проеме боковых ворот лицом к лицу с богом. Однако тень бога выходила за пределы светового круга и падала прямо в сердце Пилату, и все, что сейчас свершалось, разыгрывалось между ними двоими, Пилатом и богом. Ведь все это — легионеры, и пламя факелов, столб, вонзающийся в небо, суровая каменная кладка стен, жесткая мощеная поверхность двора, тихое дыхание раба и огненные массы звезд, — все это существовало лишь потому, что существовал бог и существовал он, Пилат, — только поэтому; а они оба существовали потому, что в споре между богом и человеком не может быть иного решения, кроме смерти, и иного милосердия, кроме проклятия, и иной любви, кроме ненависти. И не успел Пилат додумать эту мысль до конца, как выступили из скрывавшей их ночи легионеры — немногие из них — и, обнаженные до пояса, со всех сторон окружили бога, одни — ярко освещенные, другие — видные лишь как силуэты. Бичи в их руках извивались словно змеи, играя, обвиняли могучие руки, далее скользили, подрагивая, по земле, точно жесткие твари с уродливыми головками из свинца. Легионеры будто водили

вокруг бога хоровод, как бы играя касались его тонкими бичами, а затем вдруг набрасывались на него с бешеной яростью, и свинцовые головки глубоко вгрызались в его тело, так что выступала кровь, и это переполняло Пилата в его кресле невыразимой мукой, ибо он втайне ожидал, что бичевание не причинит вреда богу, как если бы он был мраморный. Но теперь Пилат видел, как бог упал под страшными ударами легионеров, как его подняли, сильно дернув за веревку, к которой были привязаны его руки, как ноги его протащились по земле, как его швыряло из стороны в сторону под градом ударов, как снова и снова опускались на него свистящие бичи полуголых легионеров, водивших вокруг него хоровод, чтобы настичь его со всех сторон. В колеблющемся свете факелов тени призрачно повторяли этот хоровод на каменных плитах двора, подобного зеркалу, подобного тонкому льду на поверхности бездонного моря. Но вот тело бога безжизненно поникло: легионеры отступились, их лица уже одеревенели, а бичи в руках устало повисли; мало-помалу легионеры исчезли в ночи, их нестройные шаги отзвучали, и Пилат остался наедине с богом. Факелы горели теперь ровнее; но они готовы были вот-вот погаснуть, и смола капала на окровавленное тело, обвившее подножие столба. Пилат поднялся со своего кресла и медленно подошел к богу. Он подошел к нему так близко, что мог бы коснуться его; и видел он теперь обнаженное тело бога совершенно отчетливо. Тело это не было красиво: кожа дряблая, в ссадинах и глубоких ранах, некоторые из них гноились, и все было залито кровью. Но лица бога Пилат не видел, потому что голова его была опущена и скрыта между руками. Да, тело это было обезображено и некрасиво, каким бывает тело всякого человека после пытки, и все равно в каждой ране и в каждой ссадине Пилат узнавал бога; и он застонал и удалился в ночь, а за его спиной над богом погасли факелы.

Скрючившись, как зверь, от ужаса, Пилат лежал без сна где-то в своих покоях среди голых стен, отражавших пламя масляного светильника. Всей своей душой погрузился он в страх, он был совсем одинок среди людей, и никто из них не понял бы его страха — никто из тех, кто проходил перед его взором, не вызывая никаких чувств; так видишь в морозную ночь смутные тени людей в мертвенном свете луны. Здесь, вдали от глаз людских, руки Пилата блуждали по узору ковра, судорожно зарывались в подушки или, дрожа, хватали кубок с вином. Порой он искоса полубезумным взглядом скользил по лицу императора, белевшему в темноте, казалось, на губах императора мелькала улыбка, нереальная, как улыбка мертвецов среди могил, — улыбка, терявшаяся во мраке. Потом Пилат безмолвно переводил глаза на раба, и тот отворачивался, смущенный непонятной завистью, которая брезжила во взгляде господина. Утром же, едва взошло солнце, Пилат приказал позвать музыкантов, и однообразная мелодия коснулась его слуха; но ничто не могло ни развлечь, ни взволновать его, потому что образ бога отныне и навсегда поселился в его душе.

Раз уж ему не удалось вынудить к действию самого бога, он попытался снять с себя часть вины, переложив ее на толпу. Местом для осуществления своего замысла Пилат выбрал лестницу, ведущую к главному portalу дворца, а временем — раннее утро следующего дня после

своей первой встречи с богом; ведь все события разыгрались всего за несколько дней. Лестница и главный портал находились в тени, которая узкой полоской тянулась вдоль дворца и покрывала часть площади и собравшейся на ней толпы. Люди, которые всю ночь распевали песенки, хулящие бога, еще спозаранок появились у ворот крепости и, неистово галдя, стали вливаться во двор; теперь они целиком заполняли огромный двор, не беспокоясь о том, что находятся во власти легионеров, которые, обнажив оружие, окружали народ. Когда Пилат из своих покоев дошел до зала, он увидел через открытую дверь, что бог и Варавва уже стоят на лестнице перед толпой, ненамного возвышаясь над нею, как он и приказывал; несмотря ни на что, он спокойно выступил из полутемного зала и неожиданно встал между богом и разбойником, столь величественный в своем белом плаще, что чернь окаменела под его взглядом. Он равнодушно взглянул на море голов, без конца и края простиравшееся перед ним, море лиц, на которых налитые кровью глаза напоминали ржавые гвозди, а меж желтых зубов тяжело покоился бесформенный черный язык. Казалось, у толпы одно-единственное лицо, общее для всех людей, огромный устрашающий лик; от него исходило грозное безмолвие, которое заволокло все окружающее. Толпе предстояло сделать выбор: бог или разбойник, истина или насилие... и единодушным пронзительным воплем толпа потребовала, чтобы бог был предан смерти. И поскольку бог допустил все это, Пилат приказал рабу принести чашу с водой и умыл руки в знак своей невиновности, не обращая больше внимания на неистовствующую толпу. Однако же, когда Пилат повернулся и увидел немой лик бога, он понял, что не может переложить на толпу даже малую часть своей вины, потому что только он один знал истину. Он невольно причинял богу одну боль за другой, потому что знал истину, но не разумел ее, — и поняв это, он закрыл лицо руками, с которых еще капала вода.

И с этой минуты Пилат, как казалось ему, стал мертвецом среди мертвых. Он проверял, как идет подготовка к распятию бога, и наблюдал, как над богом измываются легионеры. Он стоял лицом к лицу с богом, смотрел на него спокойно, равнодушным взглядом; не воспрепятствовал он также и тому, чтобы на бога надели терновый венец. Потом Пилат велел, чтобы ему показали крест и поставили перед ним это сооружение из неструганого дерева вертикально, а сам придиричиво провел руками по коре. Он выбрал легионеров для участия в казни и потом смотрел вслед процессии, пока вся толпа не вывалилась за ворота, увлекая с собой бога, который, шатаясь под тяжестью огромного креста, брел посреди отряда легионеров. Пилат повернулся, чуть не налетев на ребенка кого-то из рабов, хныча бежавшего через двор туда, где под аркой ворот исчез бог. Он возвратился в свои покои и приказал приготовить ему поесть. Недвижно возлежал он у стола и словно издали слышал игру лидийских музыкантов, которые, надувая щеки, дудели в свои флейты, а по ту сторону толстых стен, ограждавших его покои, опустилась ночь. Солнце померкло. Небо превратилось в камень, и все, кто был здесь, вздрогнули. Музыканты отняли флейты от побелевших губ и, вытаращив глаза, уставились на зарешеченные окна. Посреди неба недвижно стояло мертвое солнце, диск, лишенный блеска и света, подобный огромному шару, испещренному глубокими дырами. И тут сотряслась земля, так что все по-

падало, и люди с криками вжались в землю. Пилат понял, что в эту самую минуту бог, творя устрашающие чудеса, сошел с креста, дабы наконец свершить возмездие. Он встал и вышел во двор. Велел подать ему коня и ускакал в сопровождении немногочисленной свиты. Лошади понесли, как будто были сильно напуганы. Улицы города опустели, провалившись в разрушенную землю, придавленную небом, и нельзя было больше отличать день от ночи. Лица спутников Пилата были бледны, а шлемы — как панцирь улитки на голом черепе с потухшими глазами. Пилат испугался, увидев свои руки: будто пауки обвилились они вокруг поводов.

Всадники выехали из города, направляясь к холму, где были воздвигнуты кресты. Они проезжали мимо людей, которые, обхватив руками колени, сидели на корточках вдоль дороги и громко и быстро произносили непонятные слова. Некоторые молча бросались на дорогу перед всадниками и так и оставались лежать, растоптанные копытами. Пальмы были сломаны посередине, оливы расщеплены. Гробы, высеченные в скалах, стояли разверстые, и мертвецы выступали, чуть не вываливаясь из гробов, и их бесплотные руки как стяги поднимались в густом тумане. Толпы прокаженных ковыляли навстречу в развевающихся плащах, похожие на черных птиц, и их гнусавые голоса напоминали неблагозвучный птичий свист. Тропа поднималась вверх среди скал. На ней валялись изуродованные останки самоубийц, которые бросались с вершин. Лошади становились все беспокойнее по мере того, как они приближались к месту, где были воздвигнуты кресты, посередине — крест бога, сейчас, вероятно, покинутый, а сам бог, быть может, прислонился к нему, обнаженный и прекрасный, громко смеясь, и поджидает Пилата, чтобы разорвать его в клочки. Солнце, перегоревшее и недвижимое, по-прежнему стояло в зените, как будто время перестало существовать. Сделалось еще темнее, и Пилат чуть не налетел на крест, вздымавшийся прямо перед ним; с большим трудом удалось ему определить, что это и есть крест бога. Он уже было отвернулся, чтобы продолжать поиски; но в это время на востоке взлетела в небо огромная зеленая комета, и Пилат увидел, что этот крест вовсе не пуст, как он ожидал. Прежде всего он увидел ступни. Они были пробиты гвоздем, а когда взгляд Пилата скользнул выше, он увидел тело, выгнувшееся и тяжело свисавшее вниз, и вытянутые руки, нечеловеческим отчаянным жестом воздетые к небесам; а прямо над его лицом склонился мертвый лик бога.

Через три дня рано утром к нему явился гонец и возвестил, что ночью бог покинул свой гроб, он оказался пуст; Пилат тотчас поскакал туда и долго глядел в глубь пещеры. Да, она была пуста, и рядом лежали обломки тяжелого камня, которым завалили вход. Пилат медленно повернулся. А за спиной у него стоял раб, и теперь он увидел лицо господина. Как будто бескрайний ландшафт царства мертвых разостлался перед рабом — таково было это лицо, бледное в свете занимающегося дня, со смеженными веками, а когда глаза господина открылись, взгляд их был холоден и безучастен.

ГОРОД¹

Из записок охранника, опубликованных младшим библиотекарем городской библиотеки, которые явились началом пятнадцатитомного труда под общим названием "Наброски очерка", уничтоженного во время большого пожара.

Во время долгих ночей под завывание ветра передо мной снова и снова возникает облик города таким, каким я впервые увидел его в то утро в лучах зимнего солнца, облик города, раскинувшегося на берегу реки, вытекавшей из ледников близлежащих гор и охватывавшей их внизу среди домов странной петлей, оставлявшей открытой только западную сторону и таким образом определявшей форму города; горы, покрытые дымкой, находились словно где-то далеко и были похожи на легкие облака, видневшиеся за холмами, откуда они ничем не угрожали людям. Теплые брызги света золотили стены домов, в предрасветных сумерках город был удивительно красив, но я вспоминаю о нем с ужасом, потому что, как только я приблизился к нему, очарование рассыпалось в прах, и, едва очутившись на его улицах, я погрузился в море страха. Над ним стоял ядовитый туман, убивавший всякий зародыш жизни и вынуждавший меня с трудом переводить дух; при этом у меня возникало мучительное ощущение, что я проник в места, запретные для посторонних, что я на каждом шагу нарушал какой-то тайный, неизвестный мне закон. Я долго блуждал, преследуемый мрачными галлюцинациями, гонимый городом, который доставлял муки всякому прибывшему издалека и желающему найти здесь пристанище. Я понимал, что у него было все, ибо он был совершенен и беспощаден. Он не менялся на протяжении долгой истории человечества, ни один дом в нем за это время не исчез и ни одного здания построено не было. Здания оставались неизменными, они не были подвержены влиянию времени, улицы не были кривыми, как в других городах, а четко спланированы: они были прямыми и шли параллельно друг другу. Казалось, что они ведут в бесконечность, но при этом не возникало ощущения свободы, ибо низкие аркады вынуждали людей идти согнувшись, делая их незаметными и потому лишь терпимыми для города. Бросалось в глаза и то, как осторожно двигались по улицам люди, медленными крадущимися шагами. Они были замкнуты и существовали только в себе, как и город, в котором они жили, и лишь редко удавалось завязать с ними короткий разговор, но даже и тогда они избегали откровенности, как бы испытывая тайное недоверие к постороннему. Невозможно было проникнуть к ним в жилища, в которых они неподвижно и молча сидели друг против друга с широко открытыми глазами. Где-то там в глубине жизни орудовали отвратительные секты, совершенно скрытно и в таком мраке, куда никто из нас не решился бы заглянуть. Никто не голодал, в городе не

¹ В рассказах "Город" и "Из записок охранника", а также в рассказе "Из записок охранника" и повести "Зимняя война в Тибете" встречаются ряд текстуальных совпадений, что соответствовало замыслу автора, поэтому издательство дает эти места в одной редакции. — *Прим. ред.*

было ни богатых, ни бедных, у всех была работа, но мне ни разу не довелось услышать, как смеются дети. Город принял меня в свои молчаливые объятия, на его каменном лице темнели пустые глазницы. Ни разу не удалось мне прорваться сквозь завесу нависшей над городом тьмы, напоминавшей о сумеречном будущем человечества. Жизнь моя была лишена смысла, ибо город отвергал все, в чем не имел насущной нужды, потому что презирал излишества. Он неподвижно застыл на клочке земли, омываемой зеленоватыми водами реки, которая неутомимо пробивалась сквозь его пустынные кварталы и только иногда, по весне, грозно вздувалась, чтобы затопить стоявшие вдоль берегов дома.

Мы можем заглянуть в зеркало мучений, лишь когда действуем в соответствии со своей натурой. Нам постоянно нужны надежные убежища, куда можно было бы спрятаться, хотя бы для сна; но и их могут отобрать у нас в самых глубоких подземельях действительности. Таким прибежищем стала для меня моя комната, ей я многим обязан, в ней я всегда прятался от жизни города. Находилась она по ту сторону реки, в восточном предместье, которое не входило в черту города. Там селились приезжие, которые не общались друг с другом, чтобы не привлекать внимания властей. Многие из них вдруг исчезали, и мы не знали, что с ними произошло. Некоторые утверждали, что эти люди были отправлены властями в большую тюрьму, но я ни разу не получил подтверждения этим слухам, да никто и не знал, где эта тюрьма находится. Моя комната была расположена под самой крышей многоквартирного дома, как две капли воды похожего на все другие дома предместья.

Высокие стены были наполовину скошены, две ниши, выходявшие на север и на восток, служили окнами. У западной стены, широкой и наклонной, стояла кровать, рядом с печкой примостилась кухонная плита, из мебели в комнате были два стула и стол. На стенах я рисовал картины, не очень большие, но со временем ими покрылись и стены, и потолок. Даже дымоход, проходивший через комнату, со всех сторон был изрисован фигурками. Я изображал сцены из смутных времен, особенно великие события истории человечества. Когда для новых картин уже не осталось места, я принялся переделывать и улучшать то, что было написано раньше. Случалось, в припадке слепой ярости я соскабливал со стены картину, чтобы тут же написать ее заново — унылое занятие в тоскливые часы одиночества. На столе лежала стопка бумаги, и я исписывал лист за листом, сочиняя по большей части бессмысленные памфлеты против города. Тут же стоял и бронзовый подсвечник, найденный на свалке, в котором всегда горела свеча, так как в комнате даже средь бела дня царил полумрак. Мне никогда не приходило в голову исследовать дом, в котором я жил. Снаружи он казался совсем новым, но внутри был старый, вконец обветшалый, с лестницами, которые вели куда-то в темные провалы. Я ни разу не видел в нем людей, хотя на дверях были написаны имена жильцов, среди них и фамилия чиновника городской администрации. Лишь однажды я осмелился нажать на дверную ручку, дверь оказалась незапертой, я заглянул в коридор, по обеим сторонам которого тоже были двери. Мне почудилось, что откуда-то доносятся приглушенные голоса, поэтому я осторожно прикрыл входную дверь и вернулся в свою комнату. Дом, видимо, принадлежал городу, потому что у меня часто появлялись служащие администрации. Они никогда не требовали

квартилаты, будто не сомневались, что у меня за душой ни гроша. Это были люди с вкрадчивыми манерами, в странных меховых шапках и высоких сапогах, но никто из них не появился дважды. Они заводили речь о ветхости дома и о том, что город давно бы его снес, если бы не крайняя нужда в жилье, ощущаемая в предместьях. Время от времени ко мне являлись какие-то личности в белых плащах, со свернутыми в трубочку бумагами под мышкой и часами, ни слова не говоря, измержали мою комнату и что-то записывали, рисовали острыми перьями в своих чертежах. Я, однако, не могу упрекнуть их в навязчивости, да они ни разу и не спросили меня, откуда я взялся. Они приходили только ко мне и никогда не заглядывали к другим жильцам, я видел из окна, как они поднимались ко мне в комнату и сразу же выходили из дома, закончив у меня свою работу. Но большую часть дня я проводил у окна на восточной стороне, из которого смотрел на большой город, смотрел, как утром крестьяне направлялись из деревень на рынок. Погруженные в свои мысли, они неподвижно сидели в повозках, огромные колеса которых возвышались над ними, и тени от спиц скользили по их сгорбленным фигурам. Иногда они скудными окриками подгоняли коров, запряженных в повозки. Проходили мимо дома и закованные в цепи арестанты, сопровождаемые коренастыми, с маленькими желтыми лицами охранниками, которые размахивали огромными плетками; после такого зрелища я по целым дням не мог заставить себя подойти к окну. Но самое страшное впечатление произвел на меня вид осужденного, которого везли на казнь. Он был спиной привязан к столбу, укрепленному на узкой и длинной деревянной повозке, колеса которой были не совсем круглой формы, и потому повозка катилась по дороге, как-то странно подпрыгивая. Перед повозкой шагал палач в красном плаще и белой маске. Он нес меч подобно кресту, и длинными черными рядами молча шли судьи. Бедняга был худ и громким монотонным голосом пел песню на каком-то чужом языке, которая еще долго звучала у меня в ушах и наполняла меня глубокой печалью.

Построенный для того, чтобы мы могли до конца испытать чашу страданий, он учил меня видеть грани, открывая при этом свое величие. Я познал свое бессилие через его силу и его совершенство через свое поражение. Мы не боги, а всего лишь люди. Мы познаем все вначале путем опыта, а лишь затем через разум. Нам нужно помучить, чтобы мы поняли, и только на крик наших мучений мы можем получить ответ. И, пожалуй, благодаря такой позиции администрации я смог безнаказанно принять участие в восстании угленош, если это восстание вообще было кем-то замечено. Я должен был сначала узнать город во всех его ужасах, прежде чем поступить к нему на службу, прежде чем начать борьбу, прежде чем отказаться от нее: то, что любая борьба против города является бессмысленной, я понял лишь тогда, когда мятеж провалился из-за какого-то сумасшедшего, из-за юродивого, которого раньше я часто видел шагавшим по городу со смешным негнувшимся знаменем какого-то оборонительного союза былых времен, глупая улыбка блуждала на его жирном лице под мятой круглой шляпой. Как-то раз я вышел из своей комнаты в предместье, как это часто делал в белые лунные ночи, и направился в местечко, куда захаживал редко. Здесь стояли ряды таких же однотипных многоквартирных домов, мимо которых я шествовал, но выглядели

они гораздо запущеннее, чем в других предместьях. В грязных дворах и на прогнивших скамейках, у реки я видел влюбленные парочки — они сжимали друг друга в объятиях, искали утешения в любви. Я видел блудниц, продававших себя за гроши, они передвигались вокруг как звери, и воздух был наполнен их гортанными звуками. Проходил мимо зеленых щитов, рекламировавших дешевые фильмы, и по мере моего продвижения местечко становилось все более пустынным. Я очутился в районе больших площадок, стиснутых бетонными квадратами домов, пустырей, на которых возвышались горы мусора и немалые участки земли были покрыты густой растительностью. На одной из таких площадок, посередине которой между огромными кучами мусора и ржавыми кузовами старых автомобилей, стоявших вокруг как мирно пасущиеся звери, пролегли трамвайные пути, я уже издали увидел человека, медленно начинавшего какой-то танец. Его тяжеловесная фигура энергично поднималась над поверхностью земли, как бы заваленной доисторическими руинами. Первыми начали двигаться короткие толстые ноги, описывая беспомощные и заостренные фигуры, но затем танец становился все яростнее, и, когда человек распростер свои непомерно длинные руки, которые придавали его облику нечто гориллообразное, и его длинная белая борода стала раскачиваться у него под подбородком, как колокол, я увидел, что это вдребезги пьяный старый угленоша, живший неподалеку от меня. Я смотрел на танец старика и наблюдал за его тенью, которая повторяла каждое движение его туловища, коротких ног и длинных рук и таким образом дополняла пространственное движение движением на поверхности. Я непроизвольно направился в сторону пьяного и заметил, что к нему со всех сторон стали стекаться люди. Это были мужчины и женщины, плохо одетые, совершенно истощенные, пахнущие сивухой и как бы вырванные из тяжелого сна. Некоторые старались копировать танец старика, но не было слышно ни одного звука, хотя мужчин собралось так много, что они постепенно заполнили площадку, поднялись на мусорные кучи и, как огромные призрачные птицы, уселись на крышах старых автомобилей. Теперь я даже смог рассмотреть лицо огромного старика, который, закончив свой танец, с трудом держался на ногах: лицо его окаменело, а налитые кровью глаза тускло блестели. Я уже было собирался отвернуться от него, чтобы продолжать путь. Но тут люди пришли в движение, вся эта оборванная толпа тесно сгрудилась и стала двигаться вперед. Я находился немного позади угленоши, который, казалось, возглавлял толпу, но я не мог понять, куда мы направлялись. Я был плотно окружен призрачными лицами этих мужчин и женщин, погружен в аромат их сивушного духа, но мне все-таки, хотя и с трудом, удалось высвободиться из толчеи, после чего я оказался рядом со стариком во главе процессии, вопреки своей воле и не имея возможности повернуть обратно. Я все еще не узнавал улиц, по которым мы шли, но видел, что мы движемся по направлению к городу. Дома придвинулись вплотную друг к другу, они стали ниже, и их крыши простирались над бесконечными рядами идущих людей, которые двигались как в ущелье. Толпа беззвучно тянулась по площадям и улицам, вслед за стариком, который раскачивался из стороны в сторону, то цепляясь за меня, то падая на того, кто шел за его спиной, в тесных рядах, и люди отталкивали от себя пьяного, а он принялся хохотать все громче и злораднее. Это был какой-то дрожащий и своенравный смех, которому мы стали втрое, как бы от чего-то

освободившись, как будто этот смех помогал нам преодолеть страх, какой мы испытывали перед городом. Движение толпы ускорилось. С громкими криками и всевозможными ругательствами мы рванулись вперед, и в этот момент в спокойном и молчаливом величии перед нами предстал город, его вид был настолько страшен, что мы замолкли. Город лежал по ту сторону реки, через которую был переброшен длинный и узкий висячий мост. Освещенный луною, он отсвечивал белизной, как огромный горбатый, разрезанный синими тенями ледник, покоящийся на двузубой скале; но самой реки мы не видели, так как она была окутана молочным туманом, и казалось, что город парит в облаках. Мы остолбенели и вцепились руками друг в друга, но старик вступил на мост, и мы последовали за ним, охваченные дикой страстью идти напролом. Мост был настолько узким, что многие хватались за перила, чтобы с их помощью удержаться, некоторые даже пробовали переходить по тросам, поддерживающим мост; люди гроздьями висели на мосту, но никто не боялся упасть, хотя мост очень сильно раскачивался. Просев под тяжестью толпы, устремившейся на противоположный берег, он опустился навстречу волнам ночной реки; мы на мгновение погрузились в туман, и казалось, мы парим в пустоте, потому что теперь города совершенно не было видно. Когда мы настолько низко оказались над рекой, что наши ноги стала заливать вода, а многих, жалобно кричащих, смыли волны, мост, получив облегчение, как пружина, круто поднялся вверх, и прямо над собой мы вновь увидели город; теперь он был уже близко и грозил нам своими стенами и башнями, как будто хотел сбросить их на нас, и мы непроизвольно пригнулись от страха. Но теперь, когда мы уже карабкались вверх по скале, на которой он был построен, мост начал успокаиваться, его колебания стихли, и те, кто остался на мосту, спокойно покинули его. Мы устремились к городу и проникли в него через полуразрушенные ворота, вначале осторожно, затем более решительно, хотя нам, собственно, еще не было ясно, чего мы хотим, ведь ночное шествие убогой, грязной толпы оборванных и пьяных людей началось совершенно стихийно и вначале не походило на бунт, а скорее являло собой беспомощное выражение тупого отчаяния. Теперь же, когда мы уже шли по улице, которая вела нас в центр города, мы осознавали нашу акцию, и в нас все сильнее зрела воля к бунту. Дома искривились, как старые деревья, они окружали нас пустыми глазами окон. Площадь, на которой мы оказались, была изрыта, а в глубоких траншеях лежали трубы и кабель, на нас падала огромная тень башни, за которую спряталась луна. Плотным клином мы вышли на одну из улиц. С момента, как мы достигли города, не раздалось ни единого звука. Мы неслышно передвигались по камням мостовой и вскоре при полном свете луны увидели возвышавшийся вдальке над крышами домов шпиль кафедрального собора, мы проследовали в его сторону. Пройдя через низкую арку, мы неожиданно вышли на главную улицу, которая наполовину была освещена луной, выступавшей из-за крыш и светившей так ярко, что мы испугались, однако затем вновь успокоились. Плотно прижавшись друг к другу, мы направились вверх по улице, и в наших взглядах горел дикий восторг мятежников. Людской поток неудержимо катился по улице, он то скрывался в тени домов с островерхими крышами и галереями, то вновь возникал в серебре ночи, которое, как снег, лежало вокруг. Мы достигли площади, расположенной в самой высокой точке центра города, где гора раздваивалась и круто

обрывалась вниз, образуя вертикальное ущелье, на дне которого пенился едва различимый поток реки. Мы были полны решимости взять штурмом администрацию, а в случае необходимости были готовы пролить кровь. Мужчины вытащили ножи, у некоторых в руках заблестели ружья и топоры. Сгрудившейся толпой мы направились через площадь к каменному мосту, переброшенному через пропасть, на середине которого, как мы увидели все сразу, стоял юродивый в круглой шляпе, в руках он держал свое знамя. Мы остановились, застыв в неподвижности, толпа людей в холодном свете луны. Нас парализовал не вид сумасшедшего. Нас наполнило ужасом осознание того, насколько город нас презирал: он был так уверен в своей победе, что направил навстречу нам одного лишь беспомощного идиота. Пригнувшись, мы неподвижно смотрели на это смешное создание. Его развернутое знамя неподвижно возвышалось в ночи, и изображенные на нем символы были хорошо видны при ярком свете луны. Мы понимали, что должны действовать, и в то же время осознавали, что были бессильны. Тогда вперед выступил старый угленоша, еще до конца не протрезвевший, и направился навстречу сумасшедшему. Старик медленно двигался по каменному мосту, его тело мелкими точками просвечивало сквозь дыры разорванного платя, а длинная белая всклокоченная борода касалась блестящих камней, по которым он шагал; его толстые руки раскачивались, как огромные поленья; мощные плечи были наклонены вперед: он выжидающе двигался навстречу идиоту, который, глупо улыбаясь, стоял со своим знаменем на середине моста. Когда угленоша приблизился к идиоту, мы все замерли. Дурачок остался неподвижен. Подойдя к нему, старик схватил знамя, которое бедняга беспомощно и добродушно выпустил из рук, он, как мы это отчетливо увидели, также был ошарашен неожиданным поведением старика, а тот швырнул знамя в пропасть через каменные перила моста, и оно, беззвучно падая, opisало дугу, казалось, что оно несется куда-то само по себе. Это сняло с нас оцепенение, наши глаза вновь загорелись, в нас поднялось чувство бешеной радости: юродивый побежден. Угленоша уже намерен был начать триумфальный танец (он уже поднял кверху свои обезьяньи руки), мы собрались ринуться через мост в дикой решимости растоптать идиота, наши руки уже обхватили рукоятки ножей, рты открылись для громких проклятий, когда дурачок, осознав, что лишился своего знамени, вдруг закричал. Это был страшный крик, который не прерывался и не затихал, вырываясь из его широко открытой глотки. Крик заполнил все пространство вокруг, казалось, это город кричит вместе с юродивым, что они слились и этот крик — выражение того, что нас безмолвно окружает и молча уничтожает. Мы с ужасом отпрянули назад, тем более что крик не ослабевал, а вырывался из этого открытого рта равномерной пронзительной струей, как кровь из раны, он был настолько ужасным, что мы каждую минуту ожидали появления охранников. Но город оставался мертвым и пустынным, как будто он был необитаем, и слышен был только крик, перед которым все дальше отступала оборванная толпа, будничная и бесцветная, чтобы затем под несмолкаемый крик, охваченная паникой, обернуться в бегство, крича в непомерном страхе, растаптывая женщин и стариков. Я остался один на площади, усеянной мертвыми телами. На мосту перед несмолкающим идиотом все еще стоял огромный угленоша и лихорадочно пытался заставить юродивого замолчать. Он руками зажимал ему рот, но крик с той же си-

лой вырывался сквозь пальцы, а когда в отчаянии старик засунул в орущую плотку кулак, крик не прекратился, но теперь он отделился от него, теперь крик звучал везде — в перилах моста, в крышах домов, в химерах собора, в серебристом шаре луны, и все-таки это был крик юродивого, и никакой другой. Тогда угленоша схватил несчастного, оба тела чудовищно вздыбились, но крик все еще не смолк; опутанные белой бородой старика, они покатались по мосту в мою сторону, но меня они не достигли, а упали в таинственную бездну ущелья, из которой еще какое-то время доносился крик.

Дом, куда мне следовало обратиться для поступления на службу в городе, находился недалеко от моего жилища, в районе, где я почти не бывал и потому плохо ориентировался, несмотря на строгую планировку улиц. Я долго не мог отыскать его, потому что все вокруг было застроено небольшими домами. В них жили мелкие служащие городского управления, которым не разрешалось селиться непосредственно в городе. Это были низкие строения из красного кирпича, похожие друг на друга, с одинаковыми маленькими палисадниками. Дом стоял на прямой, как стрела, улице, рядом с автобусной остановкой, это я помню абсолютно точно. Обычный дом для служащих с двумя березками у калитки, что подчеркивало мелкобуржуазный характер жилья. Необычным мне показалось только то, что дверь на мой звонок открыла девчонка лет пятнадцати. От нее веяло свежестью, которая чуть смягчала мрачное впечатление от убогой прихожей, по которой она меня вела. Прихожая от пола до середины стены была выкрашена бурой краской в белесую полоску. Перед одной из дверей она вдруг прижалась ко мне всем телом и прошептала на ухо слова страшной угрозы. Затем отпустила меня и открыла дверь (такого же бурого цвета). Ударивший мне в глаза свет был так ярок, что я отшатнулся. Постепенно осмотревшись, я заметил, что меня ввели в комнату средней величины, обставленную безвкусной мебелью, какая обычно встречается в домах нуворишей. В помещении стоял резкий сладковатый запах, пропитавший буквально все; мой взгляд был обращен на середину комнаты, где вплотную друг к другу, образуя бесформенную массу, стояли предметы мебели, эти безвкусные комоды и перегруженные буфеты. Сидя в легких складных креслах, три старухи играли за столом в карты и пили чай из китайских чашечек, и до сих пор меня охватывает неприятное чувство, когда я вспоминаю эти существа, которые напоминали таинственные экскременты огромных доисторических млекопитающих. Их губы были накрашены синей краской, но омерзение вызвали не они, а их отвислые, лоснящиеся от жира щеки. Они сдвинули головы, отчего впечатление бесформенности еще более усилилось. На них висела легкая летняя одежда ярко-красного цвета, которая еще больше подчеркивала всю нелепость их облика. Они приветствовали меня потоком бессмысленных восклицаний, не отрываясь от карт и не прекращая закидывать в рот огромные куски тортов и пирожных своими липкими пальцами. Я внимательно и недоверчиво вслушивался в их грязные слова и наконец уразумел, какая работа меня ждет. Я услышал, что нахожусь в городской тюрьме, которой в качестве представителей администрации приданы эти старухи, и что именно здесь я должен начать свою службу охранника. Они напомнили мне, что охрана действует тайно, поэтому мы ничем не должны отличаться от узников. "Служба тяжелая, — сказали мне они, — но добро-

вольная, и ты в любое время сможешь возвратиться в город в свою комнату". Предложение было заманчиво, и я его принял. Они приказали девчонке подать мне одежду охранника, но не разрешили мне переодеться в другом месте, мне пришлось подчиниться и раздеться в их присутствии. Одежда, переданная мне девчонкой, была необычной, на ней разноцветными нитками были вышиты таинственные знаки и фигурки, и она совершенно не сковывала движений. Когда девчонка уведила меня из комнаты, старухи неожиданно отвернулись. Они, казалось, больше меня не замечали и снова полностью предалися игре, пирожным и чаю.

Мы вышли через другую дверь, ибо теперь я уже находился не в коридоре, из которого мы попали в комнату к старухам, а перед лестницей, круто спускавшейся вниз. Хотя я еще находился под впечатлением от случившегося, я все же спросил девчонку, где будет моя комната, но она ничего не ответила, и я молча последовал за ней. После короткого спуска мы оказались в маленькой четырехугольной комнате, одной из стен которой была двустворчатая стеклянная дверь, здесь же стоял высокий, узкий стол с полузавядшей геранью. Но мы не стали задерживаться в этой странной комнате, девчонка открыла дверь, оказавшуюся незапертой, и мы пошли дальше. Передо мной был длинный и, как мне показалось, узкий коридор, но это впечатление было обманчивым: когда мы с девчонкой окунулись в наполнявшие его синие сумерки, я увидел, что он очень широк. Она привела меня к узкой нише; в ней стояли нары, я определил это на ощупь и опустился на них. Посмотрев вслед девчонке, которая, весело напевая, исчезла за дверью, я заметил, что дверь она оставила незапертой, так как створки ее еще некоторое время колебались. С моего места был хорошо виден весь коридор, поскольку в моей нише стояла непроглядная тьма. Слева от себя я видел лишь половину двери, так как не отважился высунуться из ниши. Стеклянная створка двери отсвечивала зеленоватым цветом, вероятно, такое впечатление создавали царившие вокруг синие сумерки. Мое внимание привлекли ужасные фигуры на стенах и потолке, которые трудно было рассмотреть, а также ниша, расположенная напротив меня в другой стене коридора. Она была такой же высоты, как и моя, и также переходила в узкую арку, также наполнена была мраком и казалась окном, открытым в пустоту. Это создавало ощущение тяжести и мрачности, что обычно бывает присуще подземным сооружениям. Приглядевшись, я обнаружил между этой нишей и стеклянной дверью другую нишу такой же формы, и справа от нее я ясно различил еще пять ниш. Дальше мой глаз проникнуть не смог, так как все очертания размывались, а синие сумерки переходили там в плотный туман. Наблюдая внимательно за коридором, я был встревожен тем, что никто не появлялся, чтобы дать мне конкретные инструкции по работе (которая была не из самых легких), но постепенно я принялся обдумывать свое положение. В результате раздумий появилась спасительная мысль о том, что ниша служит укрытием охранника и меня совершенно не нужно вводить в курс дела, которое и без того абсолютно ясно. Мне стало понятно, что коридор ведет к камерам узников и что лишь необычность обстановки не сразу привела меня к этой мысли. С чувством большой гордости я понял, что администрация дала мне главный пост у выхода, что эту ключевую позицию могли доверить только настоящему мужчине, ведь дверь оставлена незапертой, и это был знак

безграничного доверия, которое оказано мне благодаря моим способностям. Но тут же я сделал еще открытие. Я почувствовал, что за мной наблюдают. И вовсе не потому, что услышал какие-то шорохи или увидел кого-то, то была абсолютная уверенность, не требовавшая ни средств, ни доказательств. Я понял, что в нише напротив меня сидит человек, который неподвижно смотрит на меня широко открытыми глазами. Я не мог прорезать тьму, меня окружавшую, но мне было абсолютно ясно, что он смотрел именно туда, где чувствовал мое присутствие, ибо знал о моем существовании, ведь он видел, как я появился здесь. Я бросил взгляд на пустую и темную щель перед собой, где наверняка он сидел на своих нарах, как и я, в таком же напряжении, так же затаив дыхание. Я ощущал его глазами и мысленно ощупывал его бледный невидимый лик с плотными сжатыми губами, с морщинками на коже и глубоко посаженными глазами, в которых гнездился страх (ведь он не знал, что у меня не было оружия). Не видя, я догадался, что во всех нишах сидели люди, окутанные молчанием ночной синевы этого грота, узники, преступники, мятежники (может быть, одним из них был и угленоса); не двигаясь, пристально смотрели они в сторону моей ниши, о которой знали; они знали, что там находится их охранник, и боялись его, и этим страхом, как парализующим ядом, было наполнено все. Меня охватила дикая радость, причиной которой было неожиданное чувство неизмеримой власти, сделавшей меня богом этих бедолаг, дрожащих передо мной в своих нишах. Меня охватило желание пройти по этому коридору, чтобы все меня видели, и ходить так вечно, взад и вперед, без перерыва, равномерными шагами, ходить мимо тех, кто затаился, как пойманный зверь, запертый в клетке, в своих нишах, вцепившись руками в соломенные тюфяки убогих нар, на которых они сидели. О! Как я хотел их усмирить. И тому, что я этого не сделал, что не вскочил со своего места и не начал ходить взад и вперед, а остался сидеть в своей нише, помешала мысль, вдруг возникшая у меня и становившаяся все более навязчивой по мере того, как я переставал в нее верить, ибо с первых минут пребывания здесь меня мучила и нелепая, и беспочвенная идея: я вспомнил, что мне нельзя выделяться среди остальных узников, так как мы были одинаково одеты (по словам трех старух); но все-таки остановило меня не это, а подозрение, которое вдруг родилось во мне: я сам такой же узник, как и все остальные, — мысль, которая при всей ее нелепости появлялась у меня постоянно и, по всей вероятности, исходила из того недоверия, какое естественно вселила в меня эти три старухи своим ужасным видом; подозрение тем более непростительное, что оно содержало примитивную логическую ошибку, заключавшуюся в том, что по недостатку отдельных звеньев я сделал вывод о несостоятельности всей цепочки, как будто бы идея городской администрации заключалась в том, чтобы держать у себя на службе полноценных служащих. Хотя вполне возможно, что я был одет так же, как и те, которые находились вместе со мной в этом коридоре (конечно же, старухи могли и пошутить из озорства, будучи в хорошем настроении от чая и пирожных), лишь для того, чтобы использовать данную мне власть незаметно и полно, как это объяснили мне мои пожилые наставницы. Узники знали, что среди них находится охранник, но не знали, кто он, ибо все, кого к ним приводили, были одеты так же, как и они. И я ошибся, предположив, будто узники знали, что именно я их охранник, которого они боялись, во мне они могли видеть лишь возможного охранника, а не того, кто еще больше усугубил

бы их положение. Я был рад, что не встал, не сделал обход и не раскрыл себя — единственного охранника многочисленных узников — и что не лишил себя шанса, в случае попытки к бегству какого-нибудь преступника или бунтовщика (например, угленоши), внезапно, у самого выхода преградить ему путь. Правда, возможно, существовали и другие охранники, и для такого предположения имелись основания. Но то были предположения, гипотезы, которые нечем было доказать, и глупо было бы даже думать об этом, ибо факт, что я был охранником, оставался истиной, не подвергавшейся никакому сомнению. Наверно, мое положение среди других охранников было не таким уж выдающимся, как я это предположил вначале, оно могло быть и подчиненным — ведь я лишь недавно приступил к работе; но все-таки оно было чрезвычайно важным, поскольку в конечном итоге было важно все, и я без страха вглядывался в синий сумрак, который терялся в бесконечности. Иногда мне казалось, что я слышу чье-то тяжелое дыхание, но, когда я прислушивался, не слышал ничего. Однако я сильно испугался, когда вдруг уловил тихий шорох, донесшийся от внутренней стены моей ниши, откуда я вообще не ждал никакой опасности. Когда я осторожно повернулся, то обнаружил тарелку с мясом, которая невесть как попала в мою нишу. Я ел осторожно и тихо, потом забылся от усталости в полусне, но тут же проснулся, охваченный внезапным непонятным страхом, причиной которого могла быть только неясность моего положения и той роли, которая на меня возложена в этой тюрьме, страх обрушивался на меня всякий раз, когда мне не удавалось осознать свое положение. Так как власти не шли ко мне — где уж им до меня, когда они заняты организацией дел в городе, — то я был вынужден помочь себе сам. Я надеялся, что смогу внести ясность в свое положение только путем собственных рассуждений. Когда я вспомнил, что сумел осмотреть лишь одну сторону коридора, то подумал, а нет ли другой ниши и в моей стене. Кроме того, я хотел знать, в каких еще нишах сидели охранники — если их было действительно несколько; но вначале было необходимо выяснить общий порядок расположения ниш. Стена напротив меня дала важную информацию. Ниши в ней были расположены на одинаковых расстояниях друг от друга, и то обстоятельство, что моя была напротив точно такой же ниши, свидетельствовало о том, что все ниши на моей стене шли в том же порядке. Поэтому я подумал, что все ниши расположены симметрично и что подземный коридор служит для них своеобразной осью. Такой вывод казался смелым, но меня еще не интересовал план всей системы — создать его за такой короткий срок было бы самой настоящей авантюрой, — а только лишь структура той части, которая находилась у меня перед глазами; мне нельзя было прерывать свои наблюдения. Я должен был признаться себе, что вынужден строить умозаключения на таких посылках, которые невозможно было доказать. Таким образом, мне ничто не мешало считать ниши необитаемыми, так как я ни разу не видел никого напротив себя, да и вообще кого-нибудь постороннего. Но то, что я не стал так считать, объяснялось той самой истиной, которую я чувствовал: я просто знал, что во всех нишах находились люди. И когда я представлял себе их расположение симметричным (с коридором в качестве оси), то эта истина еще не была определена, хотя многие моменты указывали на то, что мое заключение было вероятным. Прежде всего я уже заметил, что между нишей, расположенной напротив меня, и стеклянной дверью была еще одна ниша. Ей предназначалась основная роль как при расположении ниш, так и при

распределении охранников. Было совершенно очевидно, что из нее можно быстрее добраться до выхода, чем из моей. Некто в ней занимал более удобное положение, чем обитатели других ниш, которым, чтобы добраться до выхода, нужно было обязательно миновать меня. Вот здесь-то и проступала известная ущемленность моей позиции, что породило у меня недоверчивость, ведь расположение ниш было настолько точно продумано, что я предположил в нем определенное намерение. Эта мысль навела меня на подозрение, что в этой нише может находиться охранник, что создавало трудности, ибо этот охранник по общему замыслу мог оказаться лишним, если бы моя ниша находилась ближе всех к двери. Если там действительно сидел охранник, то мое положение вызывало сомнение и в определенном смысле оказывалось ненужным. Но я не хотел предполагать это, так как это не только противоречило словам трех старух (которые, правда, не очень-то заслуживали доверия), но и вновь подняло бы вопрос о том, не являюсь ли я сам узником и не является ли мое положение охранника лишь фикцией, с помощью которой городские власти меня просто надули. Сложность положения помогла мне понять назначение четырех ниш возле двери: в нише, расположенной ближе к двери, находился охранник, а напротив него, на моей стороне коридора и потому для меня невидимой, должна быть ниша, в которой содержался узник. На моей стороне институт охранника был представлен моей персоной, а напротив меня был узник (который неподвижно следил за мной), и, таким образом, в этих четырех нишах находились охранники и узники, но сидели они таким образом, что на каждой стороне стены было по одному охраннику и по одному узнику, которые располагались каждый в своей нише. Разумеется, можно было также предположить, что в невидимой для меня нише возле двери находился охранник, а не узник, а узник, наоборот, в видимой, как это явствовало из всех комбинаций, которые я выстраивал. Я постоянно, хотя и против воли, возвращался к мысли, которая эти смелые выводы, с помощью каковых я пытался познать истину, ставила в зависимость от решения вопроса, являюсь я охранником или узником. Правда, я свободно мог бы через дверь (ведь она казалась незапертой) подняться наверх к трем старухам с их картами и пирожными, но такое поведение сразу после того, как я получил место охранника — а это, что ни говори, была весьма значительная должность, получить которую мог далеко не каждый, — было бы действительно неприличным. Однако интересовавший меня вопрос возник больше на основе логических рассуждений и ими же был обострен, он больше затрагивал теоретическую возможность, чем реальную действительность. Поэтому лучше было рискнуть незаметно прошмыгнуть к двери. (Ведь возможно, она сейчас была и заперта.) Если она окажется незапертой — а не было никакой причины предполагать обратное, — я бы еще сумел подняться к этим страшным старухам, единственной административной инстанции, которая для меня существовала; других служащих я просто не знал — ни раньше, ни теперь. Мое одеяние внушало мне надежду на возможность осуществления моего замысла. Я вспомнил, что на моем платье были изображены фигурки, такие же, как на стенах коридора. Итак, я смог бы незаметно продвинуться к выходу, держась вплотную к стене. Правда, я понимал, что непреодолимым препятствием на моем пути может стать та самая ниша, наличие которой я предположил между собой и дверью, но некоторое сомнение в правильности моих расчетов позволило мне отважиться на этот риск. Я начал осторожно выдвигаться из

ниши, мое продвижение было бесконечно долгим и заняло несколько часов. Наконец я очутился в коридоре; плотно прижавшись к стене, я стоял, вытянув руки и растопырив пальцы. И тут меня поразила одна особенность стены, о которой я и не догадывался. Стена оказалась не прямой, как я думал, а изогнутой, на ней были впадины и выпуклости, это удлиняло мой путь. Кроме того, поначалу я не разобрал, из какого она материала, это было зернистое стекло. Фигуры на стене изображали страшных демонов и абстрактные орнаменты, соединенные в произвольном порядке, таким образом, я продвигался как в чаще и был уверен, что меня не видно, ибо я сам с трудом различал свое тело, настолько полно моя одежда сливалась со стеной. Неразличимы должны были быть мое лицо и руки, ибо по стенам разбросаны были большие белые пятна, а благодаря освещению здесь любое объемное тело превращалось в плоское, так как совершенно отсутствовали тени. Я медленно двигался к двери и, по всей вероятности, находился уже на полпути между исходной точкой своего движения и местом, где по моим предположениям должна была находиться соседняя ниша, когда левой рукой, которую я протер далеко от себя и прижал ладонью к стене, я ощутил какой-то предмет. Это прикосновение было почти незаметным, однако мне показалось, что я почувствовал легкую вибрацию предмета, который спокойно реагировал на мое прикосновение. Но мне еще показалось, что он слегка надавил на кончики моих пальцев. Я посмотрел в сторону двери, которую не мог видеть, так как находился возле углубления в стене. В этом углублении также были изображены идолы со звериными головами, смотревшие на меня зелеными глазами. В хаосе форм я не мог различить собственную руку, она показалась мне чужой, словно не моей, у меня возникло ощущение, что я потерял над ней всякую власть. Я с напряжением посмотрел на нее, прижав лицо к стене, чтобы выяснить, к чему она прикоснулась. На участке стены, где лежала моя рука, были плотно нанесены линии, а рядом — многорукое чудовище, и невозможно было ничего разглядеть на стене. Поэтому меня мгновенно охватил ужас, когда рядом со своей я увидел постороннюю руку. Она могла принадлежать только человеку, который должен был стоять у стены недалеко от меня. Это была маленькая и мясистая мужская рука с тонкими, чрезвычайно белыми пальцами с узкими и длинными ногтями, выступавшими над моими настолько, что кончики пальцев этой руки касались моей, казалось, что обе руки срослись друг с другом. Я стоял неподвижно и осторожно, терпеливо пытался проследить за этой чужой рукой, которая, будто отделенная от туловища, была приклеена к стене. Я обратил внимание, что рука эта повернута ладонью к стене. Обстоятельство это навело меня на мысль, что незнакомец находился в таком же положении, что и я. Я поднял взгляд выше и после длительного поиска в том месте, где был выступ в стене, увидел лицо мужчины, который смотрел на меня. Я увидел узкое лицо такой формы, какую до этого никогда не видел, на лице была четко обозначена каждая линия и каждая складка кожи. Губы были искривлены, и я разглядел даже мелкие, острые частые зубы. Я помню свое бессмысленное, но упорное стремление их сосчитать, отчего малопомалу пришел в новое замешательство. Но сильнее всего меня привлекли его глаза, казалось, они горели от ужаса. Затем я потерял его из виду, но не могу сказать, кто из нас двинулся вперед, может, незаметно изменилось направление моего взгляда и человек потерялся в линиях стены, а может, он удалился. Я начал отступать назад, движения мои были

настолько медленны и осторожны, что на возвращение в мою нишу, где я смог бы обдумать свое новое положение, ушло несколько часов.

Обстоятельство, что человек, которого я увидел, был обитателем той самой оставшейся для меня невидимой ниши, казалось мне очевидным и наполняло меня определенной гордостью: ведь я все-таки нашел подтверждение истины, каковая была вычислена исключительно теоретическим путем (хотя во мне вдруг в какой-то момент возникло чертовское, хоть и необоснованное, подозрение, что я увидел лишь свое собственное изображение, ведь стены грота были сделаны из стекла). Поэтому, если допустить, что человек с широко открытыми от ужаса глазами и острыми частыми зубами действительно существовал (о своем новом подозрении я скажу позже), то это так же совершенно очевидно должен был быть охранник, так как он двигался мне навстречу, узник же, чтобы попытаться бежать, должен был бы направляться в другую сторону. Факт, который снова ставил под сомнение мое положение как охранника. Конечно, было проще — я все время возвращался к этой возможности — подняться вверх к трем старухам и выяснить у них всю правду. Я мог бы несколькими прыжками преодолеть этот путь — всего какие-то считанные метры — до незапертой двери, я бы рывком открыл ее и выскочил из тюрьмы, конечно, я бы споконно смог сделать это, и похоже, ничто не мешало мне сделать это; однако вновь возникла мысль, что если бы эти жирные, обрюзгшие пугала с синими губами, липкими пальцами и отвислыми щеками меня б не отпустили (правда, я даже отдаленно не допускал такого коварства), то реальность оказаться узником, а не охранником стала бы для меня настоящим адом. Ибо кто мог бы тогда жить в этом коридоре, который незаметно теряется во чреве земли, наполненный синим светом, освещающим дикие лики на стенах, где мы должны таиться каждый в своей нише, быть рядом друг с другом, не видя друг друга, даже не чувствуя дыхания соседа, каждый в надежде, что он — охранник, а остальные — узники и что ему дана власть быть здесь первым, где сидят бездушные тени, образующие замкнутый круг? Эта мысль была невыносима для меня. Единственным утешением служила надежда, что я лишь тогда, к удовлетворению моего начальства, смогу выполнять свои трудные обязанности охранника, когда поверю в его заверение, что я свободен (иногда основой для такого доверия — что создает величие города — будет не вера, а страх). Но в этом месте моих рассуждений мне пришла в голову решающая идея (аналогичная утверждению Коперника): нужно иначе представить себе расстановку охранников. Нужно...

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПЕЧАТИ В КАМЕННОМ ВЕКЕ

Современное человечество высказывает порой столь же ошибочные, сколь и нелепые суждения о веке, в котором я жил. Люди почему-то привыкли считать каменный век сугубо примитивной эпохой, упуская при этом из виду, что основополагающие изобретения и открытия, которые нынче считаются чем-то само собой разумеющимся, были сделаны именно тогда. Правда, рисунком на стенах наших пещер удалось привлечь известный интерес, но наше величайшее культурное за-

воевание — наша печать — до сих пор остается непризнанной.

Как многовековой редактор "Лиасского наблюдателя", органа, который зачастую ошибочно смешивают с "Новой третичной газетой", боевым листком консерваторов, я хотел бы в общих чертах устранить грубейшие предрассудки и рассеять тьму неведения применительно к нашей эпохе.

Газета есть одно из первых изобретений человечества, можно по справедливости утверждать, что газета вообще есть второе по счету изобретение человечества. Необходимость в ней возникла, когда человек осознал, что наделен даром изобретательства, осознание, к которому, разумеется, можно было прийти лишь после первого изобретения — способа вертикально перемещаться по ровной земле при помощи обеих ног вместо того, чтобы лазать по деревьям. Изобретатель тотчас смекнул, что изобретения, которые неизбежно последуют благодаря этому способу, станут неотъемлемым завоеванием всего человечества лишь в том случае, когда с помощью газет их сделают достоянием гласности.

Первые газеты еще вышарапывались на коре деревьев, но уже в пермский период их начали высекать на камне. Появление гигантских звероящеров потребовало более солидного материала, ведь и мы сами начали в тот же период и по тем же причинам слезать с деревьев и переселяться в пещеры. Камень стал для нас излюбленным материалом; сперва, еще в юрский период, это был, разумеется, известняк, позднее, когда воздвигались Альпы, мы преимущественно использовали гранит, мне самому еще довелось поработать с этим идеальным материалом в последней четверти моей журналистской карьеры.

"Лиасский наблюдатель" был единственной газетой мезозойской эры, которая выходила ежегодно, правда, "Меловой период", орган прогрессивной партии, попытался достичь той же периодичности, но, потерпев неудачу уже под названием "Будущее", ограничился выходом раз в десятилетие, как и все остальные газеты. А "Каменноугольная газета", старейшая у нас, выходила каждые сто лет.

Выпуск газеты был титаническим, трудоемким занятием, которое в свою очередь предполагало наличие исполинских сил, готовность стойко переносить нечеловеческие тяготы, неподкупность суждений и литературный стиль. К тому же это было весьма опасное занятие, лицом к лицу со смертью, и не один мой коллега навсегда остался лежать под рухнувшим на него газетным листом, на котором только и оставалось, что проставить цену.

Но дух человеческий способен превозмогать любые трудности. Особенно упростилось газетное дело в мезозойскую эру благодаря великим открытиям и изобретениям. На мое время приходится прежде всего открытие силы тяжести. Как сейчас помню свои первые шаги в "Юрском вестнике", окончившем свое существование вместе с юрским морем. В те времена мы еще делали много лишнего, а деревья валили следующим образом: отрезали кусок за куском, начиная сверху, а потом с великой ташилой тащили вниз.

В лиасский период сила тяжести проявила свое благотворное воздействие в самых различных областях. Что до газетного дела, то мы выучились добывать камень на крутых склонах, чтобы он падал сам по себе. Экстренные выпуски — ну например, по поводу возникновения Альп — мы писали на круглых камнях и катили их на ровное место, что, конечно же, весьма упрощало доставку газеты, которую тоже брало на себя изда-

тельство. (Почту придумали лишь в третичный период, другими словами, в начале кайнозойской эры.)

Если первые наши газеты, что вполне естественно, содержали лишь информацию о наших великих открытиях и достижениях, из которых я хотел бы здесь упомянуть лишь использование огня и эпохальные военные изобретения палицы и пращи (которые, кстати сказать, сделали способ ведения войны настолько бесчеловечным, что война сама по себе стала невозможной), то с ходом времени характер газет резко изменился. До сих пор они занимались исключительно мирным и гармоническим развитием рода человеческого, теперь же, с началом юрского периода, и для них наступила новая, решающая эра.

Правда, мирное обитание на деревьях, тот золотой век, который воспевали наши поэты, уже давно миновал, но люди еще не утратили надежды когда-нибудь вновь туда вернуться. Пещеры пермского периода воспринимались людьми как некая хоть и необходимая, но недолговечная ссылка, ибо они не могли предвидеть, что выступающие сначала лишь поодиночке звероящеры, от которых они и спаслись бегством в пещеры, когда-нибудь поставят под сомнение само существование рода человеческого. В звероящерах люди видели не более как причудливую, хотя и небезопасную игру природы. Увы, юрский период доказал людям их неправоту. Нам пришлось раз и навсегда распрощаться с мечтой когда-нибудь снова вернуться на деревья, и теперь лишь утописты, как, например, староконсерваторы, еще поминали ее для необузданной агитации в пользу своей партии. Ящеры стократно превосходили нас, людей, размерами, тысячekратно — численностью. Они неустанно развивали новые, все более страшные и фантастические формы. Они отравляли воздух, вытаптывали землю, оскверняли воду. Их все более удлинняющиеся шеи создавали потребность во все более глубоких и сложных пещерах. Но не одни лишь ящеры угрожали нам в юрский период. К ужасам животного мира прибавились ужасы природы. Земля и сама менялась. Не зря же она породила этих чудовищных животных. Альпы пробились на поверхность под грохот землетрясения. Человечество, сидя в пещерах, почувствовало, как сотрясаются над ним горы, и однако же не осмелилось покинуть их спасительную тьму.

Вот в это время газеты целиком и полностью поставили себя на службу роду человеческому. Речь шла уже не о том, чтобы осуществлять прогресс, а о том, чтобы спасти жизнь как таковую.

Юрский период есть великая, есть героическая эпоха газеты каменного века. Все чаще по склонам гор скатывались в долины экстренные и специальные выпуски, либо сами редакторы собственноручно закатывали их долгими зимними ночами по шаткой земле мимо спящих ящеров в пещеры своих собратьев. Газеты сообщали о месте обитания ящеров, рисовали и описывали их новые формы, строили прогнозы относительно ближайших землетрясений. Прибавьте к этому репортажи о схватках между отдельными ящерами и отдельными племенами и подробный критический разбор этих схваток. Словом, в те ужасные времена газета зачастую была единственным светочем свободы.

Лишь меловой период, бурно встреченный неумеренными восторгами, принес с собой решающий поворот. Ящеры покинули пределы все более усыхающего юрского моря. Альпы же воздвиглись окончательно, хотя и с опозданием на несколько тысячелетий. И поэтому "Юрский

наблюдатель” приступил к осуществлению своей последней и — увы — бесполезной миссии.

Нельзя отрицать, что меловой период был одной из самых счастливых эпох в истории человечества, хотя, на мой взгляд, ни величием, ни значением он не идет ни в какое сравнение с юрским. Люди снова начали свободно и без опасений передвигаться по земле, хотя, храня традицию, так и не вышли из пещер. Расцвели искусства. Была открыта варка продуктов. Строгие формы юрской живописи уступили место импрессионизму меловой культуры. Смягчились строгие и умеренные нравы периода ящеров, которые ставили себе единственной целью во что бы то ни стало сохранить человечество, игры и танцы завоевывали все большую популярность, особенно после того, как было изобретено хлопанье в ладоши.

Как ни хотелось нам поприветствовать эти новшества на страницах ”Юрского наблюдателя”, от нас не укрылось, что наступил век более слабый, который с ходом времени разовьется в опасность куда большую, нежели звероящеры. Нас переполняла растущая тревога. Характер испытанной газеты изменился, она стала глубоко консервативной.

Всего сильнее встревожило нас открытие мела и последующее его применение для письма. Множилось число газет, написанных мелом и посвященных мимолетной злобе дня. Человечеством овладел зуд письменного многословия. Канул в забвение чистый, лаконичный стиль юрского периода. Стало ясно, что вслед за исчезновением опасности уменьшится и сила человека.

”Юрский наблюдатель” проиграл битву. К концу мезозойской эры он прекратил свое существование. Это одно из самых горьких воспоминаний моего поколения. Как сейчас помню темную новогоднюю ночь в году миллионном до Рождества Христова, с которой началась кайнозойская эра. Моим предчувствиям суждено было сбыться. Я уже видел мысленным взором дефилирующих гигантских мамонтов, этих жалких карликов по сравнению с ящерами, неспособных представлять сколько-нибудь серьезную угрозу для человека и тем самым сделать его сильным. Изобретение почты меня не обмануло. Изобретение каменного щита подтвердило мои опасения; надежды, которые мы возлагали на палицу и пращу, рухнули, война вновь стала возможной теоретически и потому вскорости началась практически. А причиной войны послужило изобретение государства, сделанное в середине третичного периода.

Не одна лишь война явилась следствием этого рокового и злосчастного изобретения, нет, ему мы были обязаны также отмиранием газет. Газеты могли существовать лишь как международные институции, адресованные всему человечеству, государство же низвело их до уровня муниципальных листков, и они оказались недостаточно гибкими для выполнения новых, мелких задач. Закрывалась одна газета за другой, и уже в плиоцене приказала долго жить последняя газета каменного века — ”Орган мергеля и гипса”.

СОБАКА

Уже в первые дни своего пребывания в этом городе я обратил внимание на группу людей, стоявших вокруг расхристанного мужчины, громко читавшего из Библии. Собаку, которая была при нем и лежала у его ног, я заметил не сразу и удивился тому, что не обратил раньше вни-

мания на этого огромного и безобразного зверя, черного как смоль, покрытого гладкой и влажной от пота шерстью. У пса были желтые, как сера, глаза, и когда он открыл свою чудовищную пасть, я с содроганием увидел клыки такого же цвета, и весь его облик был таков, что я не мог сравнить его ни с одним живым существом на свете. Я не выдержал, не смог долго смотреть на это огромное чудовище и вновь обратил свой взор к его хозяину. Это был коренастый мужчина в рваной одежде. Однако кожа его, проглядывавшая сквозь дыры в ней, была чистой, его нищенское одеяние также отличалось необычайной опрятностью, а Библия, которую он держал в руках, была настоящим сокровищем: ее переплет сверкал золотом и брильянтами. Голос проповедника был тверд и спокоен. Его слова отличались необычайной ясностью, речь была простой и уверенной. Мне бросилось в глаза также и то, что он никогда не прибегал к иносказательности. Это было спокойное изложение Библии, лишённое всякого фанатизма, и если его слова не всегда звучали убедительно, то это объяснялось исключительно присутствием собаки, неподвижно лежавшей у его ног и взиравшей на слушателей своими желтыми глазами. И вот это странное сочетание хозяина и собаки меня сразу пленило и направило все мое внимание на выяснение личности этого человека. Он каждый день читал свои проповеди в городе. Однако обнаружить его всякий раз было сложно, хотя он и занимался своим делом до поздней ночи. В городе было легко заплутать, несмотря на то что он был спланирован четко и просто. Ко всему прочему проповедник покидал свое жилище в разное время и вообще в его действиях нельзя было усмотреть какой-либо разумной последовательности. Иногда он непрерывно говорил весь день на одной и той же площади, иногда же менял место каждые четверть часа. И всегда его сопровождала черная и огромная собака, которая шествовала рядом с ним, когда он шел по улице, и тяжело ложилась на мостовую, когда он начинал свою проповедь. У него никогда не было много слушателей, чаще всего он стоял один. Но, насколько я смог заметить, его это не смущало. Он не уходил со своего места и продолжал свою проповедь. Часто я видел, как он вдруг останавливался посреди небольшой улочки и начинал громко молиться. А совсем неподалеку, по другой, более широкой улице, шли люди и не обращали на него никакого внимания. Мне никак не удавалось незаметно проследить за ним, я постоянно был вынужден полагаться на случай — и потому попытался отыскать его жилище, но никто не мог мне указать его. Поэтому однажды я весь день ходил за ним по пятам. Мне пришлось потратить на это несколько дней, так как к вечеру он бесследно исчезал, ведь я старался следить за ним незаметно, чтобы он не обнаружил моих намерений. Но вот наконец однажды поздно вечером я увидел, как он вошел в дом на одной из улиц, где, как мне было известно, жили только богатейшие граждане города, это меня привело в немалое удивление. С того момента я изменил свое поведение, перестал прятаться, держась в непосредственной близости от него, чтобы он видел меня; я ему несколько не мешал, но собака при моем приближении начинала рычать. Так прошло несколько недель. И вот как-то, в конце лета, окончив толкование Евангелия от Иоанна, он подошел ко мне и попросил проводить его домой. По дороге он не произнес ни слова. Когда мы вошли в дом, было уже так темно, что в большой комнате, куда он меня ввел, горела лампа. Комната находилась ниже уровня улицы, войдя в дверь, мы спустились на несколько сту-

пней вниз. Стен не было видно из-за огромного количества книг. Под лампой стоял большой простой стол из еловых досок, возле которого стояла девушка в темно-синем платье и читала книгу. Она не отреагировала на наше появление. В комнате было два окна, завешанных плотными занавесками, под одним из окон лежал обычный тюфяк, у противоположной стены стояла кровать, а возле стола — два стула. У двери печь. Когда мы приблизились, девушка повернулась к нам, и я увидел ее лицо. Она подала мне руку и указала на один из стульев, тут я обнаружил, что хозяин уже расположился на тюфяке, собака легла у него в ногах.

— Это мой отец, — произнесла девушка, — он уже заснул и не слышит нас. У собаки нет имени. Она просто появилась у нас однажды вечером, когда отец читал проповедь. Дверь не была заперта. Она открыла ее сама, надавив лапой на ручку, и вошла в комнату.

Как оглушенный стоял я перед девушкой, а затем тихо спросил, кем был ее отец.

— Он был очень богат, у него было много фабрик, — ответила она, опустив глаза, — но он оставил мать и братьев, оставил, чтобы нести людям правду.

— Ты думаешь, все то, что проповедует твой отец, действительно правда? — спросил я ее.

— Да, правда, — ответила девушка, — я всегда знала, что это правда, и потому пришла с ним в этот подвал и живу тут. Но я не знала, что, когда начинают провозглашать правду, появляется собака.

Девушка замолчала и посмотрела на меня так, будто хотела меня о чем-то попросить, о чем не осмеливалась сказать вслух.

— А ты прогони этого пса, — сказал я, но девушка лишь покачала головой.

— У него нет имени, и потому он никуда не уйдет, — тихо произнесла она. Она заметила мою растерянность и присела на один из стульев. Я последовал ее примеру.

— Ты что, боишься ее? — спросил я.

— Я боялась ее всегда, — ответила она. — Когда год назад сюда пришла мать с адвокатом и братьями, чтобы вернуть нас с отцом домой, они тоже страшно испугались этой безымянной собаки, а собака стала перед отцом и принялась рычать на них. Я боюсь ее, даже лежа в постели, но сейчас все стало по-другому. Сейчас пришел ты, и я теперь ничего не боюсь. Я всегда знала, что ты придешь. Конечно, я не представляла, как ты выглядишь, но была уверена, что ты однажды появишься вместе с отцом и это случится вечером, когда уже будет гореть лампа и когда на улице стихнет шум. Я знала, что ты придешь, чтобы подарить мне брачную ночь в этой комнате, наполовину ушедшей в землю, в моей кровати, рядом с книгами. Вот так мы будем лежать рядом, мужчина и женщина, а там, на тюфяке, — отец. Он будет лежать в темноте как ребенок, и огромная черная собака будет охранять нашу несчастную любовь.

Как мне было забыть нашу любовь! Окна, как узкие четырехугольники, парили где-то в пространстве над нашей наготой. Мы лежали, тесно прижавшись, со все большей страстью сливаясь друг с другом, и уличные шумы смешивались с замирающим криком нашей страсти. Иногда до нас доносилась неуверенная поступь пьяного, возвращающегося домой, иногда это были семенящие шаги проститутки, иногда — долгий моно-

тонный стук солдатских сапог проходящей колонны, сменяемый затем звонким перестуком конских копыт, глухим перекатом колес. Мы лежали под землей, окутанные теплой темнотой, более не страшись ничего, а из угла, где беззвучно, как мертвец, спал на своем тюфяке хозяин, на нас смотрели желтые глаза собаки, круглые диски двух желтых лун, они подстергали нашу любовь.

Пришла осень, пылающая золотом и багрянцем, за ней последовала поздняя в этом году зима, мягкая, без фантастических морозов предыдущих лет. Мне так ни разу и не удалось выманить девушку из подвала, чтобы познакомить ее с друзьями, сходить с ней в театр (где зрели великие дела) или погулять вместе по сумеречному лесу, раскинувшееся по холмам, которые волнами подступали к городу, — она постоянно оставалась дома, сидя за столом из еловых досок, пока не возвращался отец с огромной собакой, тогда она увлекала меня в постель под желтый свет окон над нами. Но вот как-то в самом начале весны, когда в городе еще лежал снег, грязный и мокрый, метровой высоты в затененных местах, девушка неожиданно появилась у меня в комнате. В окно проникли косые лучи солнца. Время близилось к вечеру, и я подбросил в печь несколько поленьев. Вот тут в дверях и появилась она, бледная и дрожащая, наверняка замерзшая, так как была без пальто, в своем темно-синем платье. Только на ногах у нее были красные меховые туфельки, которые я видел на ней впервые.

— Убей собаку, — произнесла девушка, едва появившись на пороге, еле переводя дух. Ее волосы были распущены, а глаза широко раскрыты. Весь ее облик был настолько призрачным, что я не осмелился до нее дотронуться. Я подошел к шкафу и вынул револьвер.

— Я знал, что ты когда-нибудь попросишь меня об этом, — сказал я, — и потому купил оружие. Когда я должен сделать это?

— Сейчас, немедленно, — тихо ответила она. — Отец тоже боится собаки, он боялся ее всегда, теперь я поняла это.

Я проверил револьвер и надел пальто.

— Они в подвале, — сообщила девушка, опуская глаза. — Отец лежит на своем матрасе, целый день, не решаясь пошевелиться, так он боится ее. Даже молиться не может, а собака улеглась перед дверью.

Мы спустились к реке, перешли через каменный мост. Небо было багряно-красного цвета, как при пожаре. Солнце только что село. В городе было оживленнее, чем обычно. По улицам сновали люди и машины. Казалось, что они двигались в толще какого-то кровавого моря, поскольку окна и стены еще отражали лучи багряного вечернего солнца. Мы ринулись в толпу. Движение все усиливалось. Мы пробивались сквозь ряды тормозящих автомобилей и раскачивающихся омнибусов, похожих на огромные чудовища со злыми матовыми глазами, спешили мимо возбужденно жестикулирующих полицейских в серых шлемах. Я с такой решительностью устремился вперед, что девушка заметно отстала; наконец я выбрался наверх, на нужную улицу, задыхаясь, в расстегнутом пальто, навстречу фиолетовым сгущающимся сумеркам. Но пришел я слишком поздно. В тот самый момент, когда я стремительно прыгнул в подвал и, держа в руке револьвер, ударом ноги распахнул дверь, я увидел огромную тень страшного животного, ко-

торое, разбив стекло, выскочило через окно на улицу. А на полу белой массой в черной луже лежал хозяин, растерзанный собакой до неузнаваемости.

Когда я, весь дрожа, прислонился к стене, утонув в книгах, на улице раздались сигналы машин. Вошли люди с носилками. Я увидел неясные очертания врача, стоявшего перед покойником, и вооруженных до зубов полицейских с бледными лицами. Повсюду стояли люди. Я громко позвал девушку. Я бросился в город, вновь пересек мост и добрался домой. Но там ее не было. Я искал ее всюду, в отчаянии, без сна и отдыха, забыв про еду и питье. На ноги была поднята полиция. И поскольку все испытывали огромный страх перед этой чудовищной собакой, то на помощь искавшим были также направлены солдаты местного гарнизона, которые цепью прочесывали окрестные леса. По грязной желтой реке поплыли лодки, и люди длинными шестами тщательно обследовали дно. Уже наступила весна, обрушивая на город и окрестности непрерывные теплые ливни, и поиски перенесли в пещеры каменоломен. Девушку звали громкими голосами, освещая пространство высоко поднятыми факелами. Ее искали в канализационных туннелях и даже под крышей местного кафедрального собора. Но она как в воду канула. Никто не видел больше и собаку.

Спустя три дня поздно ночью я возвратился домой. Опустошенный усталостью и потерявший всякую надежду, прямо в чем был я бросился на кровать и тут же услышал внизу на улице шаги. Я подбежал к окну, распахнул его и высунулся в ночь. Внизу черной лентой лежала улица, еще мокрая от дождя, который шел до полуночи. На влажном асфальте неровными золотистыми пятнами отражались уличные фонари, а по улице вдоль деревьев шла девушка в темном платье и красных туфельках, длинные пряди ее волос отливали в ночи синевой, а рядом с ней, как темная ночь, мягко и беззвучно, подобно агнцу, шла собака с желтыми круглыми сверкающими глазами.

ИЗ ЗАПИСОК ОХРАННИКА

Эти записки остались после смерти охранника и были опубликованы младшим библиотекарем городской библиотеки.

1

Считаю необходимым сразу же предупредить: мои записки — не мистическая притча и не изложение исполненных символического значения снов чудаковатого нелюдима; я не описываю ничего, кроме действительно существующего города, его доподлинной реальности и повседневного облика. На это можно было бы возразить, что моему изображению реальности недостает дистанции, а значит, и веры, ибо прежде всего вера позволяет увидеть действительность в истинном свете и вынести о

ней свое суждение, я же всего лишь охранник и в этом качестве вряд ли смогу соблудности достаточную дистанцию и веру. Оспорить это возражение я не в состоянии. Я человек неверующий, и я охранник: следовательно, отношусь к самым мелким городским служащим. Но все же я городской служащий, и как таковой — пишу об этом не без гордости, ибо в этом особенность моего положения, — я значу куда больше, чем значил в то время, когда впервые появился в городе. Тогда я был чужаком и в качестве такового значил в глазах города бесконечно меньше, чем когда стал охранником. Я просто рассказываю о том, как я очутился в городе и как стал охранником. Это целая история. Каждый, у кого есть собственная история, крепко связан с реальной жизнью, ибо всякая история случается только в той или иной действительности. Я не ставлю перед собой задачу дать исторический очерк города, мне, охраннику, это не по плечу, ибо я представляю себе город не как что-то исторически сложившееся, а только как фон, на котором, будто огненными буквами, вырисовывается моя судьба. Тем самым я ни в коей мере не хочу поставить под сомнение огромной важности исторические события, которые вызвали город к жизни и мало-помалу сформировали его законы; так в алмазе можно увидеть всю историю земли, немислимое движение грандиозных процессов. Но можно ли получить представление о развитии города, если неизвестно, как организована его жизнь? Хотя все мы выросли под влиянием города и занимаем место в его иерархии в соответствии со своими способностями и даже пороками, никто не может утверждать, что он проник в тайны городского управления. Город похож на ущелье, в глубины которого никогда не проникало солнце. Те же, кому положение предоставляет больше сведений, для нас недостижимы, так как мы стоим на самой низшей ступени административной лестницы. Но и им ведомо лишь то, что лежит на поверхности, их взгляд не пробивается к средоточию ужасов, где мы исполняем свой долг. Никому не дано видеть одновременно то, что делается наверху и внизу. Но об этом лучше не говорить. Я обретаюсь в сферах, не поддающихся описанию. И если я все же с огромным трудом и сомнениями продолжаю писать эти строки, то только потому, что город — это нечто реально существующее, а не вымысел. Поэтому моя история происходит не в символической сфере духа и не в бесконечных сферах веры, любви, надежды и милосердия, а в реальности. В самом деле, что может быть реальнее ада и где можно найти больше справедливости и меньше милосердия, чем в аду?

Во время долгих ночей — там, наверху, — под завывание холодного ветра передо мной снова и снова возникает город, каким я увидел его в то утро, в лучах зимнего солнца, — город, раскинувшийся на берегу реки.

Теплые брызги света золотили стены домов, в предрассветных сумерках город был удивительно красив, но я вспоминаю о нем с ужасом, потому что, как только я приблизился к нему, очарование рассыпалось в прах, и, едва очутившись на его улицах, я погрузился в море страха. Казалось, над городом висели тучи ядовитых газов, которые в зародыше разрушали ядро жизни и вынуждали меня с трудом переводить дух. Только значительно позже мне пришлось на ум, что город жил своей собственной жизнью, в которой не оставалось места человеку. Проложенные по твердому плану прямые улицы шли параллельно друг другу или же, вытекая из площадей, радиальными лучами прорезали серые пустыни домов. Там и сям на площадях старые ветхие здания заменили скучными

домами новейшей конструкции, но именно эти гигантские строения выглядели старомоднее других. Дворцы разваливались, правительственные здания стояли в запустении, в них жили люди, темными провалами зияли разбитые витрины пустых магазинов. Кое-где еще высились соборы, но и они неотвратно разрушались. Над городом вздымались гигантские клубы дыма из фабричных труб, медленно, безо всякой цели, поворачивались громады подъемных кранов. Облака неподвижно висели над сплетением кирпича и металла, прямо в свинцовое небо чадили дымовые трубы домов. Зимой на город бесшумно опускалось белоснежное покрывало, но и на него скоро оседал серый налет, оно чернело. Никто не голодал, в городе не было ни богатых, ни бедных, у всех была работа, но мне ни разу не довелось услышать, как смеются дети. Город принял меня в свои молчаливые объятия, на его каменном лице темнели пустые глазницы. Ни разу не удалось мне прорваться сквозь завесу нависшей над городом тьмы, напоминавшей о сумеречном будущем человечества. Жизнь моя была лишена смысла, ибо город отвергал все, в чем не имел насущной нужды, потому что презирал излишества. Он неподвижно застыл на клочке земли, омываемой зеленоватыми водами реки, которая неутомимо пробивалась сквозь его пустынные кварталы и только иногда по весне грозно вздувалась, чтобы затопить стоявшие вдоль берегов дома.

Построенный для того, чтобы мы могли до дна испить чашу наших страданий, город научил меня осторожности даже в мелочах. Мы не боги, а всего лишь люди, которым выпало жить в эпоху, знающую толк в пытках. Нам постоянно нужны надежные убежища, куда можно было бы спрятаться, хотя бы для сна, но и их могут отобрать у нас в самых глубоких подземельях действительности. Таким надежным прибежищем стала для меня моя комната, ей я многим обязан, в ней я всегда прятался от жизни города. Находилась она в восточном предместье, на чердаке многоквартирного дома, как две капли воды похожего на все другие дома. Высокие стены были наполовину скошены, две ниши, выходявшие на север и на восток, служили окнами. У западной стены, широкой и наклонной, стояла кровать, рядом с печкой примостилась кухонная плита, из мебели в комнате были два стула и стол. На стенах я рисовал картины, не очень большие, но со временем ими покрылись и стены и потолок. Даже дымоход, проходивший через комнату, со всех сторон был изрисован фигурками. Я изображал сцены из смутных времен, особенно приключения своей бурной жизни, войны, в которых принимал участие на стороне борцов за свободу; отобразил и мощные атомные атаки. Когда для новых картин уже не осталось места, я принялся переделывать и улучшать то, что было написано раньше. Случалось, в припадке слепой ярости я соскабливал со стены картину, чтобы тут же написать ее заново, — унылое занятие в тоскливые часы одиночества. На столе лежала стопка бумаги, и я исписывал лист за листом, сочиняя по большей части бессмысленные памфлеты против города. Тут же стоял и бронзовый подсвечник, в котором всегда горела свеча, так как в комнате даже середь бела дня царил полумрак. Мне никогда не приходило в голову исследовать дом, в котором я жил. Снаружи он казался совсем новым, но внутри был старый, вконец обветшалый, с лестницами, которые вели куда-то в темные провалы. Я ни разу не видел в нем людей, хотя на дверях были написаны имена жильцов, среди них и фамилия чиновника городской администрации. Лишь

однажды я осмелился нажать на дверную ручку, дверь оказалась незапертой, я заглянул в коридор, по обеим сторонам которого тоже были двери. Мне почудилось, что откуда-то доносятся приглушенные голоса, поэтому осторожно я прикрыл входную дверь и вернулся в свою комнату. Дом, видимо, принадлежал городу, потому что у меня часто появлялись слушающие администрации. Они никогда не требовали квартплаты, будто не сомневались, что у меня за душой ни гроша. Это были люди с вкрадчивыми манерами, нередко с ними приходили и женщины, просто одетые, в плащах, но никто из них не появился дважды. Они заводили речь о ветхости дома и о том, что город давно бы его снес, если бы не крайняя нужда в жилье из-за растущего числа чужаков. Время от времени ко мне являлись какие-то личности в белых плащах, со свернутыми в трубочку бумагами под мышкой и часами, ни слова не говоря, измеряли мою комнату и что-то записывали, рисовали острыми перьями в своих чертежах. Я, однако, не могу упрекнуть их в навязчивости, да они ни разу и не спросили меня, откуда я взялся. Я относился к ним с презрением и даже не пытался прятать от них свои записки, свои памфлеты. Они приходили только ко мне и никогда не заглядывали к другим жильцам, я видел из окна, как они поднимались ко мне в комнату и сразу же выходили из дома, закончив у меня свою работу.

Научившись презирать людей, я начал их ненавидеть. Они были замкнуты, себе на уме, как и город, где они жили. Лишь изредка удавалось завязать с ними короткий, торопливый разговор о вещах, меня не интересовавших, но и в этом случае они вели себя уклончиво. Проникнуть в их дома было делом совершенно безнадежным. Но я только тогда перестал охотиться за их тайнами, когда узнал, что никаких тайн у них нет. Миллионы жителей города, у которых не было никаких идеалов, позволяли загонять себя в дымящие фабрики, на унылые предприятия, в бесконечные ряды конторских столов. Ничто не украшало и не облагораживало их облика. Город открывался моему взору в своей неприкрытой наготе. Стоя в обеденные часы на огромной площади, я наблюдал, как волнами накатывали толпы рабочих, проезжали мимо косяки велосипедистов, проходили переполненные вагоны трамваев и покрытые ржавчиной автобусы, с которых ключьями свисала облупившаяся краска. Черные провалы метро через равномерные промежутки выплевывали толпы пассажиров. Собственных машин не было ни у кого, только иногда неслышно проплывал полицейский автомобиль. Я стоял и смотрел на катящиеся валы повседневности, на беспрерывно проплывающие мимо меня все новые и новые лица, усталые, серые, грязные. Я видел согбенные спины, убогую одежду, потрескавшиеся, покрытые мозолями руки, которые только что орудовали рычагами, а теперь крепко сжимали руль велосипеда. Воздух был пропитан потом. Тупая толпа приняла меня в свои объятия, втянула в круг людей, влачащих жалкое существование, вмонтированных в гигантскую штамповочную машину, колеса которой крутились безостановочно — часы, дни, годы напролет, невидимые глазу, не ведающие движения времени. Я видел женщин, лишенных какой бы то ни было привлекательности, беспомощных, тянущих общую упряжку с вечно ворчащим, вечно пьяным мужем, видел девушек, не знавших украшений, неуклюжих, то впадавших в смешную сентиментальную влюбленность, то совершенно подавленных, с глазами, полными отчаяния. Будто испу-

ганные животные, торопились люди в свои берлоги, в захлапленные пансионы и мрачные, холодные каморки под покосившимися крышами. В складках лиц я читал их каждодневные заботы и безысходные судьбы, догадывался об их мечтах, не уносивших их дальше самых элементарных потребностей, — мечтах о куске постного мяса, который они надеялись найти дома в алюминиевой миске, об объятиях увядшей, утратившей остроту переживаний женщины, о захватанной книге из библиотеки, о коротком беспокойном сне на неудобном, потрепанном диване, о скудном урожае с крохотного огородика. По воскресеньям я наблюдал за их развлечениями. Сдавленный огромной толпой, поглощенный ее отвратительным единодушием, я стоял на футбольных площадках, слушал неистовые крики болельщиков. Затем я шел в громадные городские парки, наблюдал за семейными процессиями, покорно и равнодушно маршировавшими гусиным шагом в заданном направлении, наблюдал за отцами семейств, мечтавшими о кружке разбавленного водой пива как о глотке счастья в этой пустыне безрадостного труда. Я спускался в глубину их ночей. Хриплые песни пьяниц вспугивали звезды, красными факелами загораившиеся на горизонте. В грязных дворах и на прогнивших скамейках у реки я видел влюбленные парочки — они сжимали друг друга в объятиях, искали утешения в любви и не находили его. Я видел блудниц, продававших себя за гроши, проходил мимо зеленых щитов, рекламировавших дешевые фильмы. Я слышал несмолкаемый, монотонный гул площадей. Потом вдруг раздавались дикие проклятия, белыми молниями сверкали ножи, у моих ног застывала черная кровь. С воем сирен подъезжали машины, из них выскакивали темные фигуры, ныряли в обезумевший клубок тел, разнимали дерущихся. Покинув улицы, я шел в общественные здания. Там я находил тех, кто искал спасение в науках, я заходил в их пыльные лаборатории, в их читальные залы, видел, как они гоняются за призраками, чтобы не оказаться один на один с действительностью этого мира. Я заглядывал в мастерские художников и с отвращением отворачивался: как и я сам, они безвольно запечатлевали свои мечты. Поэты и музыканты походили на привидения из давно забытых времен. Я вступал под своды обветшалых соборов и вслушивался в проповеди священнослужителей; перед полупустыми храмами они пытались осветить светом своих религий пустое пространство этого мира. Глушцы, они надеялись одарить толпу той самой истиной, в силу которой уже не верили сами. Я видел, что безверие написано у них на челе, и со смехом шел дальше. Я нападал на след сект и диковинных сообществ, сходящихся в убогих комнатках, на чердаках, где над головами, напоминая древние хоругви, развевалась паутина, а летучие мыши гадили на дароносицу, или в подвалах, где им приходилось делить с крысами свою скудную вечерю. Все, что предлагал мне город, несло на себе печать безграничного убожества и было затоплено мутными водами повседневности, мертвым океаном, над которым черной вороньей стаей размеренно кружили охранники.

Я попал в железные объятия города, и мой удел с каждым днем становился все безысходнее. Отвращение и ненависть, которые вызывала во мне толпа на городских площадях, все чаще загоняли меня в мою каморку, где я начал предаваться бесплодным мечтам, тем более нелепым, что их исполнение в этом унылом мире было просто немислимо. Мне стало ясно, что есть лишь одна возможность жить, не причисляя себя еще при

жизни к мертвецам: эта возможность — власть. Слишком слабый, чтобы подавить в себе жажду власти, и слишком трезвый, чтобы надеяться на обретение хоть самой ничтожной власти в этом городе, я в отчаянии отдавался на волю безрассудных желаний. В мыслях я видел себя мрачным деспотом: то я изобретал для ненавистной толпы все новые и новые мучения, и любовался невиданными пожарами, то осыпал ее праздниками, награждал кровавыми игрищами и оргиями. Потом я снова гнал ее на чудовищные завоевательные войны. Темнело небо, когда в воздух поднимались эскадрильи моих самолетов. Когда приходилось трудно, я не отступал и, стиснув зубы, держался до последнего. В казенных столовках я забирался куда-нибудь в уголок, подальше ото всех, и, хлебая то, что было в алюминиевой миске, все время воображал себя участником грандиозных свершений. Я покидал обжитые людскими областями и вместе с миллионами рабочих, объединенных в специальные отряды, осваивал Антарктику, обводнял пустыню Гоби, я даже готов был отказаться от нашей планеты, отбросить ее, как скорлупу съеденного ореха. Я оказывался на Луне, облачался в фантастический скафандр и плавал в лучах огромного солнца, меряя шагами безмолвные лавовые пустыни. Когда трамвай бесконечно долго вез меня домой, в предместье, я мечтал, зажатый толпой, о дымящихся джунглях Венеры, о том, как я, обливаясь потом в клубах испарений, прокладываю себе путь сквозь полчища ящеров. Или же мне чудилось, что я вцепился руками в холодные как лед камни спутника Юпитера, круглая тень которого проносится по гигантскому красному диску планеты, заслонившей все небо, — вязкая, колышущаяся каша, чудовище неслыханной массы и веса. Зато сколько мук приносило мне возвращение к реальности! Отвращение застывало на моем лице, когда я смотрел на грязные городские крыши, видел сохнувшее на веревках, трепетавшее на ветру белье, замечал изменчивые тени, отбрасываемые тяжелыми облаками на людскую безысходность. Я перестал рисовать и принялся описывать то, что видел в мечтах. Я чувствовал себя Дон Кихотом, только у меня не было ни клячи, ни ржавого боевого снаряжения, чтобы броситься в атаку на мир, который меня окружал. Как безумный, я бегом спускался по улочкам и пыльным дворикам мелких фабричек, которых в этой части города было великое множество, к реке и неотрывно смотрел на бесконечное струение воды. Я помышлял о самоубийстве. Потом возникла мысль о преступлении, я видел себя убийцей, которого преследуют люди, хищным животным, обретающимся в разрушенной канализации и убивающим просто так, из любви к убийству. Отчаяние толкало меня в объятия порока, я все чаще проводил ночи с девицами легкого поведения, нависал над обнаженными податливыми телами где-нибудь на заброшенном чердаке, в окружении воркующих голубей, которых я пугал своими сладострастными криками. Наконец я решил действовать. Я выбрал квартиру одного чиновника, который жил через улицу, на первом этаже неопрятного густонаселенного дома, среди криков детворы и шума, производимого мелкими ремесленниками. Когда я вышел из своей комнаты, чтобы совершить бессмысленное убийство, я увидел засунутую под дверь до половины разорванную записку: на следующий день меня приглашали к чиновнику администрации.

Комната, куда мне надлежало явиться, находилась в огромном доме в центре города. Должно быть, когда-то в этом доме была школа, а теперь

на третьем этаже размещались различные отделы администрации. Лестницы были старые и грязные, стертые бесчисленными шаркающими подошвами, в окнах недоставало стекол, в коридор откуда-то доносилось тиканье старинных напольных часов; еще один коридор до самого потолка был заставлен старыми партами. На первом и втором этажах, похоже, были жилые помещения; какой-то малыш быстренько прошмыгнул у меня между ног и скрылся в одном из проходов. На третьем этаже мне пришлось потратить уйму времени, прежде чем я нашел нужный отдел, так как комнаты были пронумерованы беспорядочно, без всякой последовательности. Помимо прочего, в этом коридоре было значительно темнее, чем этажом ниже. Я выглянул в открытое окно и увидел, что нахожусь в здании прямоугольной формы; внутри прямоугольника был вымощенный булыжником двор, необычайно захламленный. Вокруг валялись ржавые велосипедные рамы, сломанные садовые скамейки, разбитые пишущие машинки, погнутая посуда, пестрый детский мяч. В самом центре, рядом с раскуроченным старым матрасом, в котором играли котятка, стояла сгнившая фисгармония. Поперек двора была натянута веревка, на которой, видимо, уже давно висело поношенное, желтое белье. Между булыжниками буйно разрасталась высокая трава. Я отвернулся от окна и продолжил поиски. Пол в коридоре был покрыт стершимся линолеумом. Вокруг стояла тишина, только раз мне показалось, будто я слышу треск пишущей машинки. Когда я наконец отыскал нужную мне дверь и постучал, мне открыл молодой еще человек, одетый довольно опрятно — белый китель, серые брюки и серая же рубашка, но без галстука.

— Простите, — сказал он вместо приветствия. — Вас, наверно, сбита с толку нумерация комнат. Здесь собраны отделы из разных департаментов. К сожалению, каждый отдел принес сюда свой прежний номер. Так возникла путаница, и посетители вынуждены попусту тратить время.

Он предложил мне обшарпанное, но удобное кресло с подлокотниками, а сам сел на обыкновенный деревянный стул, стоявший за столом. Стол был примитивный: четыре ножки и доска. На нем не было ничего, кроме картонной папки и желтого карандаша.

— Спасибо, что пришли, — сказал чиновник, открывая папку.

— Так вы же администрация, — сказал я, смущенный его благодарностью и удивляясь тому, что сидеть мне было много удобнее, чем ему. — Когда меня вызывают, я повинуюсь не раздумывая. В вашем распоряжении полиция, стоит только приказать.

— Вы служили в армии и оцениваете нас в соответствии со своими солдатскими привычками, — возразил чиновник. — Между тем администрация — организация иного рода, поэтому вы делаете ложное умозаключение.

Он говорил спокойно, деловито, будто речь шла о математике.

— В вашем случае мы не имеем права приказывать, — продолжал он. — Ведь вы даже не состоите на службе. Если кто-то отказывается прийти к нам, мы сами идем к нему, хотя это отнимает массу времени. Случается, что нам иногда попросту не открывают, тогда мы бессильны что-либо сделать, прибегать к помощи охранников мы можем лишь в очень редких случаях.

— Кого вы называете охранниками? — спросил я.

— Так мы называем полицейских. Администрация предпочитает пользоваться словом "охранники".

— И что же администрации понадобилось от меня? — спросил я, разглядывая комнату.

Кроме стола и двух стульев здесь была еще печка. Окно с тщательно вымытыми стеклами выходило во двор; одно стекло было разбито, его заменили серой картонкой. Совершенно голые деревянные стены производили неприятное впечатление.

— Я хочу попытаться предложить вам работу, — ответил чиновник и вынул из папки какой-то листок. — Вы, вероятно, меня встречали. Я живу недалеко от вас. Однажды я стоял рядом с вами на футбольном матче.

— Вы живете на первом этаже многоквартирного дома, через улицу от меня? — спросил я, весь напрягшись.

— Да. Администрация поручает каждому из нас такие дела, какие нам легко вести лично, — ответил чиновник. На его лицо падал свет, мое оставалось в тени, преимущество и здесь было на моей стороне: я мог незаметно наблюдать за ним. Его бесстрастное лицо почти ничего не выражало, глаза, нос, рот, лоб — все отличалось какой-то геометрической строгостью.

— Итак, администрация намерена определить меня на службу, — сказал я. — Вы можете объяснить, что это значит?

— Надо же найти для вас какое-то занятие, — ответил он и чуть приподнял четко очерченные веки. — Мы просто обязаны сделать для вас что-нибудь.

— Но я доволен своей жизнью, — соврал я.

— Если вам нравится так жить, живите себе на здоровье. Казенная столовая всегда к вашим услугам, комнату никто у вас не отнимет. Вы абсолютно свободны. И все же я прошу выслушать предложения администрации и только после этого принимать решение. Хотите сигарету?

— Администрация великодушна, — сказал я, прикуривая сигарету — той марки, какую все мы курим. Я почувствовал, что он хочет выиграть время, потому и предложил закурить. — Итак? — спросил я, затягиваясь и выпуская дым через ноздри. — Что же вы мне предлагаете?

— Есть место фабричного рабочего, место ремесленника, место садовника на наших сельскохозяйственных предприятиях, место складского рабочего и место в службе по уборке мусора, — ответил чиновник.

— Которая, увы, не на высоте, — заметил я.

— Мы только сейчас начинаем развивать эту службу, — сказал он. — А теперь давайте обсудим наши предложения. Вы вправе выбирать.

— Вы считаете, я должен выбрать одно из предложенных вами мест? — спросил я, откинувшись в кресле и слегка повернув голову к дверям.

— Я думаю, это лучшее, что вы можете сделать.

— Благодарю, — сказал я. — Я доволен своей жизнью. А сейчас я хотел бы вернуться в свою комнату.

Эти слова я произнес равнодушным тоном и хладнокровно посмотрел на чиновника, которому вынес смертный приговор, ибо я не отказался от мысли совершить убийство. В этом мире только преступление еще имело смысл. Чиновник, который, сам того не ведая, воевал за свою жизнь, поднес листок к глазам и проговорил:

— Вы очень недружелюбно настроены к нашему городу. Особенно плохо вы отзываетесь о тех, кого называете толпой. Вы недовольны своим нынешним положением.

— Откуда вы взяли? — насторожился я.

Чиновник положил листок обратно в папку и взглянул на меня. Я вдруг понял, что этот молодой еще человек в белом кителе и серой рубашке без галстука устал, как устают после многолетней непрерывной работы мысли, и что это постоянное напряжение наложило отпечаток на геометрически четкие черты его лица. Одновременно мне стало ясно, что в его голове таится чуткий и расчетливый ум и что его взгляд отточен даром неподкупной наблюдательности. Такие люди опасны. Я решил быть начеку.

— Я читал кое-что из того, что вы написали, — после паузы сказал чиновник и отвел глаза в сторону.

Главное было сказано. Мы снова посмотрели друг на друга и с минуту помолчали. За окном во дворе вдруг послышался детский смех.

— Смеха детей в нашем городе вы тоже не заметили. — В голосе чиновника звучала горечь.

— Относятся ли мои писания к тем случаям, когда вправе вмешиваться охранники? — спросил я, охваченный смутным подозрением.

— Интеллектуальная деятельность не наказуется ни при каких обстоятельствах, даже если она противоречит точке зрения администрации, — решительно возразил он.

— Скажите, те служащие, что приходили в мою комнату и делали какие-то замеры, шпионили за мной? — спросил я с издевкой в голосе и удобнее устроился в кресле.

— Мы обеспокоены образом вашей жизни и ваших мыслей и намерены вам помочь, — ответил он, не обратив внимания на мой вопрос. Это была его первая ошибка, ею следовало воспользоваться.

— Вот не думал, что я представляю угрозу для города, — рассмеялся я.

Чиновник молча и, как мне показалось, с некоторым удивлением посмотрел на меня. Его, похоже, поразила моя мысль.

— Город боится меня, — сказал я с показным равнодушием, хотя на самом деле мне было очень не по себе. — Я не хочу ему служить.

— Об этом не может быть и речи, — ответил наконец чиновник. — Мы никого не боимся. Но вы угрожаете самому себе, нас беспокоит только это, и ничего больше. Вы все еще не поняли, в каком мире живете.

За окном снова послышался детский смех.

— Зато это хорошо поняли те, что вкалывают в пыльных складских помещениях или на грязных сельскохозяйственных предприятиях, те, что до смертного часа ищачат на бесчисленных фабриках, если, разумеется, не решатся перейти в службу по уборке мусора, которая работает пока очень плохо, — отпарировал я, обозленный детским смехом, и пустил струю сигаретного дыма в лицо чиновнику. Он, казалось, не заметил моей бестактности и продолжал сидеть неподвижно.

— Вы презираете людей, — сказал он. — Но у вас еще остался последний шанс.

— У нас с вами нет никаких шансов, если вы называете шансом возможность стать подсобным рабочим, — заметил я. — Администрация позаботилась о том, чтобы у нас не осталось никаких шансов. Она превра-

тила мир в огромный муравейник. Я был солдатом. Я сражался за лучшую долю.

— У вас был приказ покончить с бандитами, — поправил меня чиновник, слегка приподняв брови: это движение я замечал у него всякий раз, когда он оказывался в затруднительном положении.

— Мы воевали с бандитами за мир и свободу, за лучшее будущее и еще бог знает за что, — упрямо твердил я свое. — Но вот наступил мир, мы свободны. Искали чистой воды, а попали в болото.

— Мы давно наблюдаем за вами, — сказал чиновник и выпрямился на стуле. Раньше он сидел слегка согнувшись, теперь его поза стала напряженной. Он положил локти обеих рук на стол и продолжал под нарастающий шум детей во дворе: — Вы воевали до конца, до самого последнего сражения. Вам довелось участвовать даже в альпийских войнах. Администрация несколько раз пыталась отозвать вас, но вы отказались вернуться.

— Не мог же я бросить в беде товарищей, — лаконично заметил я.

— Вы были в специальном отряде, целиком состоявшем из добровольцев. Вы и ваши товарищи в любой момент могли отказаться от участия в боевых операциях. Но никто этого не сделал. Вот вы говорите, что воевали за свободу. На самом деле вы воевали потому, что война для вас — приключение.

— Вы когда-нибудь были на войне? — полюбопытствовал я.

— Нет, — подтвердил он мое предположение.

— Я так и думал, — сказал я. — Видите ли, война не приключение, о котором мечтаешь, лежа в постели. Война — это ад.

— А вы пошли бы снова добровольцем? — спросил он, и в голосе его почувствовалось странное колебание. По его глазам я видел, с каким напряжением он ждет моего ответа.

— Разве где-нибудь еще идет война? — недоверчиво спросил я, остерегаясь ловушки.

— В Тибете.

С этого момента беседа с чиновником захватила меня. До сих пор я поддерживал ее без особого рвения, только потому, что случай свел меня с человеком, которого я решил убить. Теперь же я начал догадываться, правда, пока очень смутно, что существует еще один, помимо убийства, способ выносить тяготы этого мира: надо снова стать солдатом. Я хорошо понимал, что чиновник вовсе не собирался делать мне это предложение, просто из упрямства, свойственного всем чиновникам, он хотел настоять на своем и доказать, что война для меня всего лишь приключение. Но возвращение на фронт было единственным выходом из моего безнадежного положения, и я решил не перечить. С такими людьми надо уметь быть терпеливым.

— Разумеется, я пойду добровольцем, если представится возможность, — сказал я. — Видите, я спокойно иду в ловушку, которую вы мне расставили. Но вы не знаете войны, и на этот раз *именно вы* делаете ложное умозаключение. Война — это ад, но ад по крайней мере самоочевидный. В этом аду есть смысл бороться за свою жизнь. Если так понимать войну, то она и в самом деле приключение, тут вы правы. Но администрация создала ад куда более страшный, чем любая война, — ад повседневноности.

— Для нас наиболее показательны те ваши сочинения, где вы рассказываете о своих мечтах, — снова завел свое чиновник, не замечая моего

желания побольше узнать о войне в Тибете. — Они убеждают нас в том, что вы все еще мечтаете о приключениях, которые мы уже не можем себе позволить.

— Тем не менее мы позволяем себе концлагеря, и в их газовых камерах задыхаемся от скуки, — рассмеялся я.

— Вы правы, — помолчав, ответил чиновник. — Мы все узники.

Смех детей во дворе становился невыносимым.

— Целые тысячелетия мы беззаботно брали от земли все, что она нам давала, — продолжал чиновник. В его голосе неожиданно появилась страстность, лицо преобразилось, в глазах засверкали странные, угрожающие огоньки. — Мы сравнивали с землей горы, вырубали леса, возделывали поля, плавали по земным морям. Земля казалась неисчерпаемой, мы возводили на ней города, создавали и разрушали империи. Расточительные, как сама природа, и жестокие, как она, мы вели наши войны сначала из страсти к разрушению, потом из жадности золота и славы, а под конец просто со скуки, мы приносили в жертву своих детей, нас косили эпидемии, но мы снова входили к нашим женам, полные жадности дать начало новой жизни, из их лона вытекал все более многочисленный и могучий поток человечества, и нам никогда не приходила в голову мысль, что наше спасение и наша миссия — в сохранении самой Земли, маленькой нашей планеты.

В это мгновение со звоном разлетелось стекло, и у меня на коленях оказался пестро раскрашенный детский мяч.

— Уже второе стекло, — с досадой сказал чиновник, — а их так трудно достать.

Я механически подал ему мяч, и он выбросил его в окно.

— Вы же знаете, здесь работает администрация! — крикнул он во двор. — Каждый раз, когда у меня важное совещание, вы шумите и гоняете мяч.

— У чиновников не бывает важных совещаний, — донесся со двора мальчишеский голос.

Чиновник закрыл окно. Теперь снаружи доносились женские голоса, матери ругали своих детей, слышался наконец и мужской голос.

— Привратник, — объяснил чиновник и пожал плечами. — Он вечно пьян и никогда не следит за порядком.

Вынув из папки лист картона, он закрепил его в раме вместо битого стекла. В комнате стало темнее. Чиновник уселся на свое место.

— Вы мечтаете о полете на Луну, — неожиданно снова заговорил он, не замечая моего смущения, вызванного не только происшествием с мячом, но и страстностью и точностью его слов. — Мы побывали на Луне. Полеты, о которых вы мечтаете, уже совершены. — Он показал пальцем на лист бумаги, вынутый им из папки, я узнал в нем свои записки. — Это было ужасно глупое предприятие. Мы убедились, что, кроме нас, нет ничего живого — только мертвая бессмыслица равнодушной природы, в безбрежных пустынях которой плавают один-единственный шар, согретый дыханием жизни, — наша Земля. Эти полеты возвратили нам Землю и снова поставили нас в центр Вселенной. Произошло второе обращение к системе Птолемея. Нас изменили не познание, не разум и не религия, нас заставила измениться сама Земля. По мере того как мы набирали силу, она уменьшалась и стала вдруг совсем маленькой и обозримой, целиком

вместилась в нашем сознании. Нас победила нужда. Старые экономические системы рухнули не потому, что опирались на ложные теории, а из-за шаткости их структур. Их взаимное сближение оказалось невозможным в мире, где незначительная часть людей жила в роскоши и богатстве, изобретая неслыханные благоглупости, чтобы не умереть со скуки, а подавляющее большинство прозябало в беспросветной нужде. Чудовищный рост населения планеты потряс политические системы, предпринимались бессмысленные попытки сохранить бессмысленное равновесие, потом все рухнуло. Всеобщая нищета, голод, страх перед все более разрушительным оружием росли столь же стремительно, как и технические возможности покорения природы. Наконец наступил мир, но мир, не похожий на рай, на блаженное состояние, когда исполняются все желания. Скорее он должен восприниматься как последний шанс выжить, как тяжелые трудовые будни, вызванные потребностью создавать самое необходимое для постоянно растущего человечества, думать не о роскоши, а об одежде и продуктах питания, о лекарствах и развитии науки, как неумолимое требование, которое гонит нас на фабрики и склады, в механизированные сельскохозяйственные предприятия и полуразрушенные угольные шахты. Печально, что администрации снова и снова приходится напоминать об этом — без всякой, видимо, пользы.

— Печально, — насмешливо возразил я, — что достижения администрации... Да прославится она в веках... — Тут я преувеличенно низко поклонился. — ...Что эти достижения, в которых никто не сомневается, уже никого не удовлетворяют. Взгляните на толпы недовольных, которые ежедневно слоняются по улицам. Да, у нас есть хлеб. Да, мы не голодаем, хотя и не едим досыта. Да, протитудия процветает, насколько позволяет климат. Но не хлебом единым жив человек.

Он посмотрел на меня испытующе, но не сказал ни слова.

— Что мы имеем, кроме хлеба насущного и крыши над головой? — продолжал я. — Не буду говорить о качестве этого хлеба и этой крыши. Давайте посмотрим правде в глаза. У нас отнято все, что нас возвышало, что превращало неисчислимыи серые массы в единый организм, правда, организм довольно тупоумный, — говорил я, не сводя глаз с застигнутого врасплох чиновника. — У нас нет больше отечества, которое нас вдохновляло, которое наделяло нас честью и придавало нашей жизни величие, и смысл. У нас нет больше партий... Видите, я не требую ничего невозможного. Нет партий, которые воодушевляли бы нас обещаниями и идеалами. Мы лишены даже самого жалкого развлечения — войны, которая нас сплачивала и в которой нужно было выжить, лишены героев, которыми мы восторгались. Даже церкви, — рассмеялся я, — вы превратили в частные заведения для маленьких развлечений.

Чиновник все еще молчал.

— Отечество, партии, войны, церкви — это все вещи, значение которых мы сильно преувеличивали. Согласен. Но это все же хоть что-нибудь, — продолжал я. — А что вы дали нам взамен? Мы пожертвовали всем этим. А что получили?

— Ничего, — сказал чиновник.

— В таком случае мы совершили плохую сделку, — заявил я. — У нас не осталось ничего, кроме наших однообразных развлечений, нашего пива, наших девок, наших футбольных стадионов и наших воскресных прогулок.

— Да, у нас осталось только это, — сказал чиновник.

— И вы хотите, чтобы я с головой погрузился в это серое море повседневности? — спросил я. — Вы ведь это хотели сказать, не так ли?

Чиновник молча смотрел на меня. В комнате стояла мертвая тишина. Наконец он встал, предложил мне еще одну сигарету и сказал:

— Вы должны решиться на этот шаг.

Его лицо окаменело, стало жестоким. Настойчивость, с которой он уже во второй раз призывал меня решиться на эту ужасную жизнь, снова вызвала во мне подозрение, что администрация собирается толкнуть меня на этот шаг, даже если я буду отказываться. Я видел, с какой легкостью чиновник соглашался со мной — как человек, которому не надо кого-то уговаривать, ибо у него есть средство настоять на своем. И это усиливало мое подозрение.

— Вы не имеете права меня заставлять, — сказал я спокойным голосом, но весь напрягся в ожидании ответа и в надежде, что терпение его наконец лопнет.

— Не имеем, — подтвердил он. — Я вам об этом уже говорил.

— Следовательно, администрация намерена только побеседовать со мной, — сказал я. — Должен признаться, это меня удивляет. У администрации, надо думать, есть дела поважнее, чем беседовать с бедолагой вроде меня. Администрация отдает распоряжения, и у нее должны быть средства, чтобы проводить их в жизнь. Ненасильственных администраций не бывает. Я прошу вас сказать мне: что означает мой вызов к вам?

По его лицу было видно, что он растерян.

— Администрация намерена сделать вам предложение, — сказал он уклончиво. — В сложившихся обстоятельствах она собирается предложить вам то, что предлагает крайне неохотно и что вы, естественно, вправе отклонить. Однако, прежде чем администрация будет вынуждена сделать это, я хотел бы еще раз предложить вам шанс, который пока есть у каждого человека.

— Шанс раствориться в массе.

— Да, это так, — сказал он.

— Очень гуманно с вашей стороны.

— Вы неверно оцениваете политическую ситуацию, — принялся он снова развивать свою теорию. — Старая политика претендовала на большее, чем могла быть, и потому превратилась в пустую фразу. Нужда заставляет нас заново осмыслить политические задачи. Из крайне запутанного клубка идеологий, страстей, инстинктов, насилия, доброй воли и делячества политика стала делом разума, она стала деловой и трезвой. Она превратилась в науку бережливости, в науку приспособления планеты к нуждам человека, в искусство жить на этой планете. Война теперь невозможна не потому, что люди стали лучше, а потому, что политика не нуждается больше в этом устаревшем средстве. Отныне задача политики не в том, чтобы обезопасить государства друг от друга, а в том, чтобы создать на земле огромное, так сказать, математически вычисленное пространство, в котором будет обеспечена социальная справедливость.

— На эту приманку вряд ли кто клюнет, — сказал я со смехом.

— Такую политику нам навязали, — заметил он. — Другой мы не можем себе позволить.

— А как же свобода? — спросил я.

— Она стала личным делом каждого.

— В таком случае каждый человек только тогда почувствует себя свободным, когда станет преступником, — возразил я. — Извините, но ваши умозрительные рассуждения я привел к логическому концу.

— Мы боимся, что вы сделаете именно это ложное умозаключение, — сказал чиновник и задержал на мне взгляд.

Он помолчал. Какое-то ужасно затянувшееся мгновение мне казалось, что он видит меня насквозь и все обо мне знает, казалось, будто я сижу перед судьей, в руках которого каким-то непостижимым образом очутилась моя судьба. За окном во дворе все еще слышался детский смех. Дым сигарет поднимался в лучах света голубыми спиралями и кольцами, сгустался в облачка — они кружились и растворялись наподобие туманностей, которые астрономы открывают в бескрайних просторах Вселенной.

— Со временем наша политика даст массам возможность жить по-человечески, но она не сделает их жизнь содержательной. Это в руках только самого человека. По мере сокращения шансов толпы будут возрастать шансы отдельного человека. Нам пришлось заново определить, что принадлежит кесарю, а что отдельному человеку, что подобает обществу, а что личности. Дело политики создать пространство, дело отдельного человека — осветить это пространство.

— Очень мило, что вы доверяете нам хотя бы роль сальной свечи — пусть жалкой, зато честно делающей свое дело, — снова сдержанно пошутил я. — Вы не даете человеку ничего, а требуете от него все.

— Мы даем ему хлеб и справедливость, — сказал чиновник. — Вы только что заявили, что не хлебом единым жив человек. Я рад, что вы знаете Библию, но эта фраза звучит кощунственно в устах человека, способного прийти к выводу, будто свободу дает только преступление.

По этому неожиданному выпадку я заключил, что наша беседа взволновала его куда больше, чем могло показаться на первый взгляд.

— Того, в чем человек нуждается помимо хлеба и справедливости, ему не дадут никакая политика и никакая организация, — продолжал он свои рассуждения. — Политика дает человеку только то, что она в состоянии дать, а может она самую малость, только то, что само собой разумеется. Остальное в руках человека, его счастье не зависит от политики.

— Вы бросили нас на произвол судьбы, — возразил я с горечью. — Ваша правда, мы оказались во власти обывательского болота, во власти самодовольных мещан. Я уже не говорю об из рук вон плохо функционирующей вывозке мусора, о неудовлетворительной программе жилищного строительства и о многом другом. Администрация не особенно утруждает себя такими вещами. Она только выдает абстрактные этические лозунги, которые не вдохновляют никого.

— Мы никогда не ставили перед собой задачу кого-то вдохновлять, — тут жеотреагировал чиновник, и в голосе его появилось волнение. — Как будто администрация существует для того, чтобы вдохновлять. Нельзя восхищаться элементарной необходимостью, а то ведь даже сооружение общественных уборных станут встречать ликованием. Политика, предлагающая сегодня мировоззренческие концепции, преступна. Такая поли-

тика неизбежно растворится в экономике и превратится во всепожирающего Молоха. Человек будет вынужден вращаться вокруг нее, как Земля вокруг Солнца, а между тем он сам должен стать солнцем.

Произнеся эти слова, чиновник побледнел. Теперь мне ради достижения цели надо было во что бы то ни стало сохранить спокойствие.

— Я снова и снова перечитывал ваши сочинения, — продолжал чиновник. — Просто уму непостижимо, скажу я вам. Это же надо умудриться до такой степени не понимать действительности.

— Я очень хорошо понимаю действительность, — спокойно отпарировал я. — Вам не надоело без конца возвращаться к моим писаниям?

— Я вынужден к ним возвращаться! — В голосе чиновника прозвучала решительность, и я уступил, чтобы не испортить все дело. Спокойствие прежде всего. — В вашем изображении город — нечто серое, грязное, полуразрушенное, сплошные развалины, — продолжал он. — Ладно, все так и есть, однако кто все это сделал? Это ваша работа. Когда вы идете по городу, вы видите себя самого, вы заглядываете в собственное сердце.

— Ну, это вы уж слишком, — невозмутимо сказал я.

Чиновник какое-то время молча смотрел на меня. Казалось, он подавляет в себе желание высказать то, что вертелось у него на языке. В комнате потемнело. Детский смех со двора теперь доносился только изредка.

— Мир разрушен последними войнами, столь же чудовищными, сколь и бесполезными, — снова заговорил он. — Вы это знаете не хуже меня. Нелепо отрицать то, что есть. Да и люди все еще не избавились от тупого оцепенения, они полны недоверия и усталости. Все мы устали. Нам предстоит огромная работа, чтобы создать для всех тот уровень благосостояния, который достоин человека, ибо наша нынешняя бедность бесчеловечна. Она — следствие войны. Вы жалуетесь на бедность и в то же время готовы отправиться воевать в Тибет. Кто правил миром до того, как власть перешла к нам? Я полагаю, миром правили вы, авантюристы, независимо от того, что было в ваших руках — фабрики или оружие, стремились вы к богатству или к другим способам завоевать власть. Мир принадлежал вам, а не массам безымянных, бесправных и беспомощных, которыми вы помыкали, увлекая за собой. Нынешний мир — это дело ваших рук, хотите вы того или нет. Серые каменные пустыни, полуразрушенные дома, отвратительные фабрики, старые автомобили, ржавые перила на лестничных клетках, толпы одетых в лохмотья рабочих, все то, что придает городу такой унылый вид и наполняет вас отвращением, — дело ваших рук. Мы имеем то, что унаследовали от вас, — мир, полный нищеты, лежащий в развалинах. На нашу долю выпало убрать мусорные кучи, оставшиеся после ваших праздничных пиршеств. Вы растратили богатство мира, а нам приходится платить ваши долги. Вы искали в жизни приключений, наслаждались великолепием нашей планеты, путешествовали по голубым морям, а нам достались только будни, тесные фабрики и повседневный изнуряющий труд. Ваше время кончилось, нам предстоит жить дальше. Наша жизнь всегда была такой, по-иному жили только вы. Мы всегда были бедны, красота казалась нам обманом. И вот тонкая оболочка сорвана. Наша бедность предстала во всей своей наготе. Город таков, каким он был всегда, за сожженными куклами ваших деяний проступил его подлинный облик.

Волнение чиновника нарастало. Он раздавил пальцами сигарету и предложил мне новую. Я отказался, так как не выкурил свою и до половины. Когда он прикуривал, его рука дрожала. Видя, что ему никак не удастся это сделать, я протянул ему горящую спичку.

Он дважды затаился и снова погасил сигарету.

— А вы нервничаете, — сказал я, чтобы смутить его еще больше.

— А как же, — выдохнул он в бешенстве. — Не скрою, ваше дело меня волнует.

Вдруг он перегнулся через стол и железной рукой схватил меня за воротник.

— Послушай, — кричал он, — ты разве не понимаешь, что речь идет о поисках истинных приключений, приключений духа, любви и веры, приключений, найти которые человек может только в одиночку!

— Давайте сюда ваши приключения, но прежде уберите руки, — невозмутимо сказал я и пристально посмотрел в приблизившееся ко мне лицо.

— Не могу, — тихо ответил он. — Истинные приключения дать вам я не могу.

Он отпустил меня, встал и подошел к окну.

— В таком случае администрация признает свое бессилие, — с ликованием в голосе провозгласил я, наслаждаясь его слабостью.

— Она бессильна, — подтвердил он, поблдев. Он смотрел в окно на сумерки, заполнявшие комнату и смазывавшие очертания мира за ее стенами. Со двора больше не доносился детский смех. — Да и к чему нам сила! Разве с ее помощью можно заставить человека смиренно и мужественно делать то, что он все еще в состоянии сделать, в чем его истинное предназначение — в любой момент раствориться в безымянной толпе, стать ее солью, пропитать ее изнутри своей любовью и верой. Мир можно завоевать только с помощью духа. Понять это — вот истинное блаженство! Но мы беспомощны. Мы никому не можем открыть дверь, которая и без того открыта для всех. Мы беспомощны. Мы бессильны, — прошептал он.

Я победил.

Я повернул выключатель, который заметил на стене. Над столом зажглась тусклая лампочка.

— Давайте поговорим серьезно, — сказал я. — Что вы можете мне предложить?

Он медленно отвернулся от окна и посмотрел мне в глаза. Его лицо было смертельно бледным, на лбу выступили капельки пота.

— Убирайтесь отсюда! — крикнул он и топнул ногой. — Уходите домой!

— Я не позволю выставить себя за дверь, — холодно и твердо сказал я. — Меня вызвала сюда администрация. Я пришел и хочу знать, что вы собираетесь мне предложить.

Он подошел к столу и принялся рассматривать бумаги.

— Ладно, — устало сказал он, не отрывая глаз от папки. — Раз вы настаиваете, я вынужден повиноваться. Администрация предлагает вам власть.

Его слова смутили меня, и я в недоумении уставился на чиновника. Я и не предполагал, что одержу такую блестящую победу. Он, однако, не заметил моей растерянности и снова уселся за стол.

— Я вас не понимаю, — осторожно сказал я. Его предложение до та-

кой степени шло навстречу моим желаниям, что от радости я стал недоверчив. Не исключено, что чиновник догадался о моем намерении убить его и теперь изготовился к ответному удару.

— Раньше общество делили на тех, кто имеет, и тех, кто не имеет, — начал он как бы между прочим, — или, выражаясь терминами моей науки, на эксплуататоров и эксплуатируемых. В процессе развития это разделение устарело. Изменились политические и экономические условия. Люди получили хлеб и справедливость, а также гарантированную каждому свободу мысли, но они утратили политические свободы, потому что политики в старом понимании больше не существует. Но прежде всего они утратили власть. Властью располагают лишь немногие, особая каста. Общество распадается на бессильных и сильных, или, как мы говорим, на узников и охранников. Это делается ради точности, чтобы не придавать тем, кто в силе, слишком большого значения. Они могут внушать страх, но не преклонение.

— Вы хотите взять меня в администрацию? — спросил я, затаив дыхание. Такая мысль еще не приходила мне в голову.

— Нет, — ответил он. — Принять вас в администрацию мы не можем. У администрации только одна задача: отделять мир силы от мира бессилия и не позволять им перетекать друг в друга. Она располагает только такой властью, и никакой другой.

Он сказал это очень уверенно, не переставая пристально смотреть на меня. Не отвел он глаз и тогда, когда продолжил свою несколько абстрактную речь.

— Администрация также предоставляет городу полицейских, которых простые люди часто путают с охранниками. Благодаря полицейским она передает преступников в руки охранников, которые, как и все другие люди, наделенные абсолютной властью, отделены от населения и живут тайной жизнью. Власть администрации не распространяется на охранников, так же как она не распространяется и на узников, под которыми я разумею массы населения. В свою очередь охранники получают власть над узниками только в том случае, если это позволяет им администрация. Она выступает в роли посредника, и только. — Он сделал рукой пренебрежительное движение. — Она даже не имеет права делить людей на сословия. Каждый волен выбрать свой удел, стать узником или охранником. У вас тоже есть выбор. С вашим решением администрация *обязана* согласиться.

Последние слова он проговорил быстро, равнодушным тоном.

— В чем заключается власть охранника? — все еще недоверчиво спросил я.

— В том же, в чем и любая другая власть, — ответил он. — Во власти над людьми.

— Над какими людьми? — продолжал допытываться я.

— Над людьми, которых вам выдадут, — ответил чиновник с невозмутимым видом. — То, что происходит в среде охранников, администрации не касается. Соглашаясь на наше предложение, вы оказываетесь в царстве безмерной власти. Власть охранников не знает границ.

— Смогу ли я принять участие в тибетской войне? У меня большой опыт боевых действий в горах. Я думаю, и администрация заинтересована в том, чтобы одержать там победу.

Чиновник пожал плечами.

— Офицеры сами решат, куда вас определить.
— Куда мне нужно явиться? — решительно спросил я.
— Вы готовы принять наше предложение? — осведомился он, поколебавшись, отвечая вопросом на вопрос.

— Я выбираю профессию охранника, — заявил я.

Чиновник посмотрел мне в глаза. Он снова был совершенно спокоен.
— Хорошо. Вот адрес. — Он протянул мне листок, похожий на тот, что лежал у меня под дверью. — Отправляйтесь туда, когда захотите. Мне жаль, что вы сделали именно этот выбор. Но вам, я думаю, наплевать на мои сожаления.

— Это точно.

Он встал. Я тоже поднялся. Он тщательно закрыл папку с моими бумагами. Мы подошли к двери, он открыл ее и вдруг совершенно неожиданно положил руку на мое левое плечо.

— Вы уходите, — сказал он. — Вы приняли предложенную вам власть. Я и на этот раз потерпел поражение. Теперь вы охранник, а с ними у нас ничего общего. Я беспомощен, вы это знаете. Но в одном хочу вас заверить: в любой момент вы можете отказаться от службы в охране. Вы добровольно вступили в ряды охранников и волны их покинуть. Дверь открыта. Вы пока не понимаете, что значат эти слова, но когда-нибудь поймете: дверь открыта. Я прошу, я умоляю вас верить тому, что я сейчас сказал. Ваше счастье зависит от того, поверите вы моим словам, причем безоговорочно, или не поверите. Больше мне нечего добавить.

Я засмеялся и оставил забавного парня на пороге его кабинета. Я одержал победу, а он сохранил себе жизнь.

2

Надеюсь, читатель не будет в обиде, если то, как принимали меня на следующий день в сословие охранников, я опишу в самых общих чертах, не поступаясь, однако, исторической достоверностью; по правде говоря, мне вовсе не хочется вспоминать об этом событии во всех подробностях. В отличие от многих моих товарищей я не усмотрел в нем ничего такого, что унижало бы новобранцев, и все же это была странная процедура, объяснимая разве что небрежностью, с какой администрация относится к разного рода официальным мероприятиям. Было бы нелепо делать отсюда вывод, будто она не умеет ценить наше сословие, наоборот, она знает, что ей без охранников не обойтись. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего в полном соответствии с дисциплиной, соблюдать которую мы поклонились, раз и навсегда принять проявляемое администрацией невнимание к форме как факт, который не подлежит изменению (по крайней мере по инициативе тех, кто призван следить за порядком), и спокойно отнестись к тому, что для проведения этого важного в жизни охранников ритуала она подбирает самых неподходящих лиц.

Дом, адрес которого дал мне чиновник, находился в предместье, где я почти не бывал и поэтому плохо ориентировался, несмотря на строгую планировку улиц. Я долго не мог отыскать его, потому что все вокруг было застроено предназначенными для рабочих домишками из красного кирпича, с островерхими крышами, похожими друг на друга, с одина-

ковыми палисадничками. Дом стоял на прямой, как стрела, улице, рядом с автобусной остановкой, это я помню абсолютно точно. Обычный домик для рабочей семьи, с двумя березками у калитки. Необычным мне показалось только то, что дверь на мой звонок открыла девчонка лет пятнадцати. От нее веяло свежестью, которая чуть смягчала мрачное впечатление от убогой прихожей. Я молча показал ей записку, и она повела меня по коридору. Перед одной из дверей она вдруг прижалась ко мне всем телом и прошептала на ухо слова страшной угрозы. Затем отпустила меня и открыла дверь. Ударивший мне в глаза свет был так ярк, что я отшатнулся. Постепенно осмотревшись, я заметил, что меня ввели в комнату средней величины, обставленную безвкусной мебелью, какая обычно встречается в домах нуворишей. Видимо, администрация здесь куда терпимее относилась к бессмысленной роскоши.

Особенно противен был резкий, сладковатый запах, наполнявший комнату, но внимание мое привлекла какая-то бесформенная масса в центре. Сидя в легких складных креслах, три старухи играли за столом в карты и пили чай из японских чашечек. Даже сейчас, пытаясь описать эти существа, я испытываю непреодолимое отвращение. Губы их были накрашены синей краской, но мое омерзение вызвали не они, а отвислые, лоснящиеся от жира щеки. Глаза и руки старух я почти не запомнил. Они сдвинули головы, отчего впечатление бесформенности еще более усилилось, и, не отрывая глаз от карт, приветствовали меня потоком бессмысленных восклицаний. Внимательно и недоверчиво вслушиваясь в их грязные слова, я наконец уразумел, какая работа меня ждет. Я услышал, что нахожусь в городской тюрьме, которой в качестве представителей администрации приданы эти старухи, и что именно здесь я должен начать свою службу охранника. Они напомнили мне, что охрана действует тайно, поэтому мы ничем не должны отличаться от узников, не считая, разумеется, спрятанного под одеждой оружия. Старухи приказали девчонке подать мне одежду, полагающуюся охраннику, но не разрешили переодеться в другом месте. Мне пришлось подчиниться и раздеться в их присутствии. Странная это была одежда, которую вручила мне девчонка, разноцветными нитками на ней были вышиты таинственные знаки и фигурки, но сидела она на мне хорошо и не стесняла движений. Из оружия мне вручили револьвер, два комплекта боевых патронов и две ручные гранаты.

После этого старухи вдруг утратили ко мне всякий интерес и снова погрузились в свою игру. Девчонка вывела меня из комнаты. Мы вышли через другую дверь и очутились не в коридоре, откуда пришли, а на лестнице, которая круто спускалась вниз. Я еще находился под впечатлением случившегося, но все же не упустил случая и спросил девчонку, в какой части я буду служить, но она ничего не ответила, и я молча последовал за ней.

После короткого спуска мы попали в маленькое квадратное помещение. За деревянным столом сидел пожилой человек и что-то писал. Одет он был так же, как и я, только на плече у него висел автомат.

— А вот и новенький, — сказал он и встал. — Ну-ка подтянись, а ты, девчушка, мотай отсюда наверх, к своим старым хрычовкам!

Склонив набок голову, он прислушался к удаляющимся шагам. Когда шаги затихли, он удовлетворенно кивнул, открыл низенькую, полуразвалившуюся деревянную дверь и приказал мне следовать за ним.

Мы попали в узкий проход, прорубленный в скалах, влажный от

сочившейся отовсюду воды и тускло освещенный маленькими красными лампочками; электрические провода свободно свисали вдоль стен. Охранник протянул мне одну из двух касок, висевших на гвозде за дверь; они были обтянуты белой материей с такими же гротескными фигурками, как и на моей одежде. Затем он протянул мне автомат, заметив при этом, что старым каргам вовсе не обязательно знать все.

Проход оказался длиннее, чем я предполагал. Он вроде бы все время шел вниз, но я в этом не уверен, так как временами нам приходилось с трудом взбираться наверх, чтобы потом снова опускаться в неведомые глубины: ведь в принципе невозможно получить зрительный образ лабиринта, в котором мы живем. Иногда мы по колено погружались в ледяную воду. Слева и справа к нашему ходу примыкали такие же штольни.

Мой проводник молча шел впереди, держа автомат на изготовку. По фронтовой привычке я делал то же самое, и, как оказалось, не зря: когда мы проходили мимо одной из боковых штолен, у моей головы просвистела пуля, и лающий звук выстрела эхом отозвался в проходах. Мы стремительным броском продвинулись метров на сто вперед и остановились у винтовой лестницы, откуда охранник — как мне показалось, совершенно бессмысленно, ибо никого не было видно, — до тех пор сточил в пустоту, пока не кончились патроны.

Спустившись еще ниже, мы очутились в пещере, где было чуть светлее. Вверх и вниз из нее вели винтовые лестницы. Мой сопровождающий отступил в сторону, из крохотного тамбура, куда мы спустились по лестнице, я шагнул в пещеру и в ужасе замер на пороге: в самом центре был подвешен за руки голый бородатый человек, к ногам его привязали тяжелый камень. Человек этот висел неподвижно, время от времени издавая хрип. У стены на кое-как сколоченных нарах посреди груды разнообразного оружия и ящиков с патронами сидел огромного роста пожилой офицер в расстегнутом кителе, из-под которого выглядывала белая грудь, заросшая слипшимися от пота волосами. Мундир был мне знаком еще со времен войны.

— Ваше превосходительство, — пробормотал я. В офицере я узнал своего старого командира.

Из стоявшей рядом с ним на нарах бутылки он налил себе полный стакан шнапса и только тогда заметил меня.

— А, Ганс, мальш, — хрипло рассмеялся он и опрокинул в себя шнапс. — Подойди сюда!

Когда я подошел, он прижал мою голову к своей потной груди и впился костлявыми пальцами мне в волосы.

— Ты ли это, Ганс, мальш! — почти запел надо мной хриплый голос. — Ты снова со мной, сукин ты мой сынок, явился к своему командиру, в возвышенную, единственно достойную человека зону опасности. Будь проклята эта жизнь над нами. А? — И он с силой потряхнул мою голову. — Ни за что бы не поверил, что им удастся приручить моего паренька, этим добреньким господам из администрации. Но не будем говорить плохо о тех, кому служим!

Неожиданно он отпустил мою голову и наградил меня таким пинком, что я налетел на подвешенного, который громко застонал и закачался туда-сюда, будто язык огромного колокола. Я поднялся.

— Сигару мне, скотина! — со смехом крикнул офицер сопровож-

давшему меня охраннику и выпрямился. — Я свою порцию уже выкурил.

Когда охранник протянул ему одну из тех дешевых сигар, которые все мы курим, потому что других просто не существует, офицер небрежно прикурил ее от золотой зажигалки, выглядевшей довольно странно на фоне его грязного мундира и чудовищного убожества пещеры. Но тут я вспомнил, что зажигалка была у него еще на фронте, и это наполнило меня удовлетворением. Старые добрые времена не совсем миновали.

— Ганс, — сказал он и, подойдя к висевшему обнаженному человеку, выпустил ему в лицо клубы дыма, — дурачок, ты, кажется, удивлен, видя здесь вот этого. Армия — надеюсь, ты это еще не забыл, — не жалует живодеров. И если здесь кто-то болтается голым на веревке, то сделано это против воли твоего старого командира. Не так ли? Ты ведь порядочный парень, малыш. И подумал именно об этом?

— Так точно, ваше превосходительство, — вытянулся я по стойке смирно.

Сощурившись, старик подозрительно вглядывался в меня.

— Ганс, — спросил он, — что ты думаешь об этой вонючей собаке? Почему он здесь висит?

— Это узник, ваше высокоблагородие, — отрапортовал я, все еще вытянувшись по стойке смирно.

— Это охранник, черт возьми, — проворчал он и топнул ногой. — Такой же охранник, каким хочешь стать ты, если у тебя хватит мужества.

— Я решил стать им, — сказал я, не сдвинувшись с места.

— Отлично, — кивнул головой командир, — я вижу, ты все тот же храбрый парень, готовый на все, как и тогда, в окопах. А теперь смотри хорошенько, малыш, что я буду делать.

И он погасил горящую сигару о грудь висевшего, который громко застонал.

— Ганс?

— Слушаю, — пробормотал я, смертельно побледнев.

— Эта собака болтается здесь уже двенадцать часов. Но он храбрый пес, отличный охранник.

Он подошел ко мне. Старый великан был на две головы выше меня.

— А знаешь ли ты, кто сотворил это свинство? — угрожающе спросил он.

— Нет, ваше превосходительство, — ответил я, щелкнув каблуками.

— Я, малыш, я, — захохотал командир. — А знаешь, почему? Потому что этот вонючий пес вообразил, будто он не охранник.

— Кем же он себя считает?

— Узником, — ответил командир.

ТУННЕЛЬ

Двадцати четырех лет от роду, весь заплывший жиром, он умел провидеть страшное (это его дар, пожалуй, единственный) и, дабы не принимать все слишком близко к сердцу, старался закрыть те отверстия в своем теле, сквозь которые и проникает в нас все чудовищное, иными словами: он курил сигары ("Ормонд Брэзил-10"), поверх очков носил еще

вторые, солнечные, а уши затыкал ватой. Этот молодой человек, до сих пор зависящий от родителей, посещающий какие-то мифические занятия в университете, до которого добираться надо целых два часа, — так вот в воскресенье под вечер этот молодой человек, как обычно, сел в поезд — отправление в 17.50, прибытие в 19.27, — чтобы на другой день попасть на семинар, который он, впрочем, уже решил прогулять. Солнце сияло в безоблачном небе, когда он покидал родной городок. Стояло лето, прелестная погода. Поезд шел между Альпами и Юрой, мимо богатых деревень и крошечных городков, потом вдоль реки и меньше чем через двадцать минут, сразу за Бургдорфом, нырнул в небольшой туннель. Вагоны были переполнены. Молодой человек, сев в первый вагон, стал с трудом протискиваться назад, взмокший от пота, он производил на всех впечатление придурка. Пассажиры сидели очень тесно, многие на чмодаках; купе второго класса тоже были набиты битком, и лишь в первом классе было свободно. Когда молодой человек пробился наконец сквозь гущу рекрутов, студентов, любовных парочек и семей — на ходу его мотало из стороны в сторону, он то и дело наткнулся на чьи-то животы и груди, — в последнем вагоне он нашел место; в этом купе третьего класса (а в третьем классе редко бывают купе) было так просторно, что он смог занять целую скамейку. Напротив него сидел человек, еще более толстый, чем он, и сам с собою играл в шахматы, а рядом, у выхода в коридор, сидела рыжеволосая девушка и читала роман. Итак, он уселся у окна и только закурил свою сигару "Ормонд Брэзил-10", как начался туннель, показавшийся ему длиннее, чем обычно. Он часто ездил этим путем, чуть ли не каждую субботу и воскресенье вот уже год, и на туннель почти не обращал внимания, просто чувствовал его. Правда, он всякий раз намеревался сосредоточиться при въезде в туннель, но, вечно думая о чем-то своем, почти не замечал краткого погружения во мрак, ибо, когда он вспоминал о нем, туннель уже кончался, так быстро несся поезд и таким коротким был туннель. Вот и сейчас молодой человек даже не снял солнечных очков, когда они въехали в темноту, он и думать забыл о туннеле. Солнце еще светило вовсю, и местность, по которой они ехали, леса и холмы, далекая цепь Юры и дома в городке — все казалось сделанным из золота, все так сверкало в вечернем свете, что он вдруг осознал внезапно наступившую темноту туннеля; вот и объяснение, почему туннель показался ему длиннее обычного, когда он о нем вспомнил. В купе было темным-темно — туннель короткий, какой же смысл зажигать свет, ведь еще секунда, другая, и в окне появится первое, еще робкое мерцание дня, и, молниеносно нарастая, ворвется в купе золотой полный свет. Но поскольку все еще было темно, он снял солнечные очки. В этот миг девушка закурила сигарету, очевидно сердясь, что не может дальше читать роман, так ему показалось в красноватом свете спички; на его часах со светящимся циферблатом было десять минут седьмого. Откинувшись в угол у окна, он задумался о своей безалаберной учебе, в которую, кажется, никто не верил, о семинаре, в котором он должен участвовать завтра и на который не пойдет (все, что он делал, было только видимостью, желанием под предлогом какой-то деятельности достичь порядка, но не порядка как такового, а только ощущения порядка в предвидении того Страшного, от чего он отгораживался, заплывая жиром, затыкая рот сигарой, а уши ватой). Когда же он вновь глянул на часы, было уже четверть седьмого, а туннель все не кончался. Это сбilo его с

толку. Правда, теперь зажегся свет, в купе стало светло, рыжая девушка могла дальше читать роман, а толстый господин продолжал сам с собою играть в шахматы, но снаружи, за стеклом, в котором отражалось все купе, по-прежнему был туннель. Молодой человек вышел в коридор, где взад и вперед расхаживал рослый мужчина в светлом плаще и черном шарфе. В такую-то погоду, подумал молодой человек и заглянул в другие купе — люди сидели, уткнувшись в книги, или просто болтали. Он опять забился в свой угол, туннель вот-вот кончится, еще чуть-чуть — и все, на часах уже почти двадцать минут седьмого. Он рассердился на себя за то, что раньше не обращал внимания на этот туннель, ведь он длится уже четверть часа, и, судя по скорости поезда, это длинный туннель, один из длинейших в Швейцарии. Вполне вероятно, что он сел не в тот поезд, а иначе как он мог бы не помнить, что в двадцати минутах езды от его родного городка находится такой длинный туннель. Поэтому он спросил толстого шахматиста, идет ли этот поезд в Цюрих, тот ответил: да. "Я и понятия не имел, что на этом пути есть такой длинный туннель", — сказал молодой человек, однако шахматист, пожалуй, даже сердито — вот уже второй раз прерывают его нелегкие размышления — ответил, что в Швейцарии много, чрезвычайно много туннелей, и хотя он впервые в этой стране, но сразу же это отметил, вдобавок он читал в каком-то статистическом ежегоднике, что ни в одной стране мира нет такого количества туннелей, как в Швейцарии. А теперь он должен извиниться, нет, ему в самом деле жаль, но он занят очень важной проблемой, связанной с защитой Нимцовича, и не может больше отвлекаться. Шахматист был вежлив, но тверд, и молодой человек понял, что от него ответа не дождешься. И потому страшно обрадовался приходу контролера. Он был убежден, что ему сейчас попросту вернут билет, и, даже когда контролер, бледный, тощий человек, с виду очень нервный, особенно в сравнении с рыжеволосой девушкой — у нее он прежде всего взял билет, — сказал, что ей надо сходить в Ольтене, молодой человек все еще не терял надежды, так он был уверен, что сел не в тот поезд.

— Мне придется доплатить за билет, ведь мне надо в Цюрих, — сказал он, не вынимая изо рта сигары ("Ормонд Брззил-10"), и протянул билет контролеру.

Проверив билет, тот ответил, что все в полном порядке.

— Но мы же едем в туннеле! — сердито и довольно энергично воскликнул молодой человек, решившись наконец прояснить ситуацию.

— Герцогенбухзее уже проехали, скоро будет Лангенталь, — сообщил контролер. — Это точно, сейчас уже восемнадцать двадцать.

— Но мы уже почти двадцать минут едем в туннеле! — настаивал молодой человек.

Контролер взглянул на него с недоумением.

— Это поезд до Цюриха, — произнес он и тоже посмотрел в окно. — Восемнадцать двадцать, — повторил контролер, казалось, теперь и он чем-то встревожен. — Скоро будет Ольтен, в восемнадцать тридцать семь. Погода портится, неожиданно испортилась, вот оттого и темень, может быть, ураган, да, похоже на то.

— Чепуха! — вмешался человек, занятый защитой Нимцовича, раздраженно, поскольку все еще держал в руке свой билет, на который контролер даже не взглянул. — Чепуха! Мы едем через туннель. Совершенно отчетливо видны скальные породы, кажется, это гранит. В Швейцарии

туннелей больше, чем где бы то ни было. Я читал это в статистическом ежегоднике.

Контролер, взяв наконец билет у шахматиста, снова стал уверять, чуть ли не с мольбой в голосе, что поезд идет в Цюрих. В ответ на это молодой человек потребовал начальника поезда. Он в первом вагоне, отвелит контролер, и все-таки поезд идет в Цюрих, сейчас восемнадцать двадцать пять, и через двенадцать минут, согласно летнему расписанию, будет остановка в Ольтене, он ездит этим поездом трижды в неделю. Молодой человек вышел в коридор. Теперь идти по переполненным вагонам было еще труднее, чем раньше, когда он шел тем же путем, только в обратном направлении, вероятно, поезд набрал громадную скорость, и грохот его был ужасен; так что молодому человеку пришлось опять засунуть в уши вату — он вынул ее, садясь в поезд. Люди, мимо которых он проходил, вели себя спокойно, поезд этот ничем не отличался от других поездов, которыми он ездил по воскресеньям, во второй половине дня; и тревоги он ни в ком не заметил. В купейном вагоне второго класса у окна коридора стоял англичанин и, сияя от радости, постукивал курительной трубкой по стеклу.

— Симплон¹, — сказал он.

И в вагоне-ресторане все было как всегда, впрочем, все места были заняты. А ведь кто-нибудь из пассажиров или кельнеров, подающих на столики венские шницели с рисом, мог бы обратить внимание на туннель...

— Что вам угодно? — осведомился начальник поезда, высокий, спокойный человек с тщательно ухоженными черными усами и в очках без оправы.

— Вот уже двадцать пять минут мы едем по туннелю, — проговорил молодой человек.

Начальник поезда вопреки его ожиданиям даже не взглянул в окно, а обратился к кельнеру:

— Дайте-ка мне коробку сигар "Ормонд Брэзил-10", — сказал он, — я курю тот же сорт, что и этот господин.

Но кельнер не мог подать ему сигары, так как этого сорта в буфете не было, и молодой человек, обрадованный, что нашлась наконец точка соприкосновения, предложил начальнику поезда свои сигары.

— Спасибо, — сказал тот, — в Ольтене у меня совсем не будет времени раздобыть сигары, и потому я весьма ценю вашу любезность. Курение штука немаловажная. Могу я просить вас следовать за мной?

Он повел молодого человека в багажный вагон, расположенный рядом с вагоном-рестораном.

— Дальше уже только локомотив, — сказал начальник поезда, — мы сейчас в самой голове состава.

В багажном вагоне горел слабый желтый свет, большая часть вагона тонула во мраке и неизвестности, боковые двери были заперты, и лишь сквозь маленькое зарешеченное оконце видна была тьма туннеля. Вокруг громоздились чемоданы, многие с наклейками отелей, несколько велосипедов и одна детская коляска. Начальник поезда повесил на крюк свою красную сумку.

— Итак, что же вам угодно? — спросил он снова, не глядя на молодого

¹ Длина Симплонского туннеля 19,5 км.

человека, вынул из сумки тетрадь и стал заполнять ее какими-то таблицами.

— После Бургдорфа мы едем по туннелю, — решительно начал молодой человек, — на этой дороге нет такого длинного туннеля, я каждую неделю езжу этим поездом туда и обратно и знаю дорогу как свои пять пальцев.

Начальник поезда продолжал писать.

— Молодой человек, — сказал он наконец и подошел к нему совсем близко, почти вплотную. — Я должен вам что-то сказать. Как мы угодили в этот туннель, я не понимаю, просто не знаю, чем это объяснить. И все же я прошу вас, подумайте сами: мы же движемся по рельсам, следовательно, туннель куда-то ведет. И в туннеле все как будто в порядке, кроме, разумеется, того обстоятельства, что он не кончается.

Начальник поезда, держа во рту нераскуренную сигару, говорил тихо, но с большим достоинством и так отчетливо и определенно, что каждое его слово было внятно, хотя в багажном вагоне грохот был много сильнее чем в вагоне-ресторане.

— В таком случае я прошу вас остановить поезд, — нетерпеливо проговорил молодой человек, — я не понял ни слова из того, что вы сказали. Если с этим туннелем что-то не так, если вы сами не в состоянии объяснить, как мы сюда попали, то остановите поезд.

— Остановить поезд? — медленно переспросил начальник, он и сам уже подумывал об этом и, захлопнув тетрадь, сунул ее в красную сумку, болтавшуюся из стороны в сторону на крюке, а затем аккуратно раскурив сигару.

— Не пора ли рвануть стоп-кран? — спросил молодой человек и хотел уже схватиться за рычаг, что был как раз над его головой, но его тут же швырнуло вперед, и он ударился о стенку вагона. На него покати-лась детская коляска и обрушились чемоданы; странно покачиваясь и вытянув вперед руки, начальник поезда двинулся через багажный вагон.

— Мы едем вниз, — сказал он, прислонясь к стенке рядом с молодым человеком, но ожидаемого удара мчащегося поезда о скалу не последовало, вагон не разлетелся в щепки, не сплюснулся в гармошку, нет, оказалось, туннель все тянется и тянется. На противоположном конце вагона распахнулась дверь. В ярком свете вагона-ресторана люди весело чокались друг с другом, потом дверь опять захлопнулась.

— Идите к машинисту, — произнес начальник поезда, задумчиво и, как показалось молодому человеку, с некоторой угрозой глядя на него, затем открыл дверь, возле которой они стояли, но в лицо им с такой ураганной силой ударил поток горячего воздуха, что их опять отшвырнуло к стене и тут же багажный вагон заполнился страшным грохотом и ревом.

— Необходимо добраться до локомотива, — прокричал начальник поезда прямо в ухо молодому человеку, но его слова едва можно было разобрать, и тут же он исчез в прямоугольном проеме двери, сквозь который видны были ярко освещенные стекла кабины машиниста. Молодой человек решительно двинулся вслед за ним, хоть и не видел большого смысла в том, чтобы карабкаться на локомотив. Он ступил на платформу, с двух сторон огороженную железными перилами, и вцепился в них что было сил, но страшнее всего был не чудовишный сквозняк, который

смягчался по мере приближения к локомотиву, а близость туннельных стен, которых он, правда, не видел, поскольку смотрел только вперед, но чувствовал их, сотрясаемый грохотом колес и свистом ветра, так что ему казалось, будто он с космической скоростью мчится в мир камня. Вдоль локомотива вели узкие стальные мостки, а над ними, вместо поручней, штанга; и мостки и штанга огибали локомотив, видимо, тут и надо было идти; ему предстояло прыгнуть, он прикинул — не меньше метра. Он прыгнул, ему удалось ухватиться за штангу, и, тесно прижимаясь к обшивке электровоза, он начал медленно продвигаться вперед. По-настоящему страшно ему стало, лишь когда он достиг боковой стороны локомотива — тут ураган ревел и свирепствовал всюду и угрожающе близко пронеслись скалы, ярко освещенные огнями локомотива. Его спасло лишь то, что начальник поезда сквозь маленькую дверцу втянул его внутрь. Молодой человек в изнеможении привалился к стене, и вдруг, разом, все стихло — едва начальник поезда закрыл за ним дверцу, стальная обшивка гигантского локомотива почти совсем заглушила грохот.

— И сигары мы тоже потеряли, — произнес начальник поезда. — Глупо было закуривать, перед тем как лезть сюда, ведь эти сигары так легко ломаются, когда без коробки...

После опасной близости скальных стен туннеля молодому человеку приятно было переключиться на что-то напоминавшее ему о повседневности, в которой он пребывал еще менее получаса назад, о неразлично похожих днях и годах (неразлично похожих, ибо он жил только ради этого мгновения, мгновения обвала, ради этого внезапного опускания земной поверхности, ради этого фантастического падения в недра земли). Он достал из правого кармана коричневую коробку и вновь предложил начальнику поезда сигару, потом и себе в рот сунул сигару, и они осторожно склонились над зажигалкой начальника поезда.

— Я весьма ценю этот сорт, — заметил начальник поезда, — надо только хорошенько тянуть, а то они быстро кончаются.

Эти слова пробудили в молодом человеке подозрение, он почувствовал, что начальник поезда тоже с неохотой думает о туннеле, по-прежнему тянущемся снаружи (еще была надежда, что он вдруг кончится, как внезапно обрывается сон).

— Восемнадцать сорок, — сказал он, взглянув на свои часы со светящимся циферблатом, — сейчас мы должны уже быть в Ольтене. — И подумал о лесах и холмах, еще так недавно золотившихся в свете заходящего солнца.

Они стояли, прислонясь к стене, и курили.

— Моя фамилия Келлер, — представился начальник поезда, попыхая сигарой.

Но молодой человек не сдавался.

— Карабкаться сюда было совсем небезопасно, — заявил он, — по крайней мере для меня, непривычного к такому лазанью, и потому я хотел бы знать, зачем вы меня сюда затащили.

Келлер ответил, что и сам толком не знает зачем, просто хотел выиграть время, время для раздумий.

— Время для раздумий, — повторил молодой человек.

— Да, — сказал начальник поезда, — именно так. — И снова принялся за сигару. Локомотив, казалось, опять пошел под уклон. — Мы же можем пройти в кабину машиниста, — предложил Келлер, продолжая в нерешит-

тельности стоять у стены, тогда как молодой человек уже двинулся вперед по коридору. Открыв дверь в кабину, он замер.

— Пусто, — сообщил он подошедшему начальнику поезда. — Машиниста на месте нет.

Они вошли в кабину, шатаясь от бешеной скорости, с которой поезд все дальше и дальше несся в глубь туннеля.

— Сейчас, — сказал начальник поезда, нажимая на какие-то рычаги, и даже рванул стоп-кран. Машина не слушалась. Келлер уверял, что, едва заметив отклонение от курса, они делали все возможное, чтобы остановить состав, но он все несся и несся.

— Его теперь не остановишь, — сказал молодой человек, указывая на счетчик скорости. — Сто пятьдесят. Эта машина когда-нибудь развивала такую скорость?

— О господи! — проговорил Келлер. — Нет, такую — никогда, самое большее — сто пять.

— То-то и оно, — заметил молодой человек. — А скорость все нарастает. На счетчике уже сто пятьдесят восемь. Мы падаем.

Он подошел к приборной панели, но не мог держаться прямо и прижался лицом к стеклу, уж очень велика была скорость.

— А где машинист? — крикнул он, вглядываясь в толщу скал, стремительно летевших прямо на него в ярком свете прожекторов со всех сторон, сверху и снизу, и исчезающих за стеклами кабины.

— Спрыгнул! — в ответ ему закричал Келлер, сидевший на полу, спиной к приборной панели.

— Когда? — настаивал молодой человек.

Начальник поезда немного помедлил, ему пришлось еще раз раскурить свою сигару, при этом ноги его, так как локомотив все больше крепился вперед, были уже на уровне головы.

— Уже через пять минут, — произнес он наконец. — Надежды на спасение не было. Проводник багажного вагона тоже соскочил.

— А вы?

— Я же начальник поезда, — отвечал тот, — и к тому же всегда жил, ни на что не надеясь.

— Ни на что не надеясь, — повторил молодой человек; он теперь лежал — в относительной безопасности — на стекле кабины, лицом к бездне. Выходит, мы сидели в своих купе и знать не знали, что все кончено, подумал он. Нам казалось, что все в порядке, а бездна уже поглотила нас, и мы гибнем в ней, как сообщники Корея.

Начальник поезда крикнул, что ему необходимо вернуться.

— ...В вагонах начнется паника. Все ринутся в хвост поезда.

— Конечно, — ответил молодой человек, вспомнив толстого шахматиста и рыжеволосую девушку с романом. Он протянул Келлеру оставшуюся у него коробку сигар "Ормонд Брэзил-10". — Возьмите, — сказал он, — а то опять потеряете сигару, когда полезете туда.

— А вы не хотите вернуться? — спросил начальник поезда. Он уже поднялся на ноги и теперь с трудом пытался забраться в узкую воронку коридора.

Молодой человек смотрел на ставшие бессмысленными приборы, на все эти смехотворные теперь рычаги и переключатели, окружавшие его в серебристо сверкающем свете кабины.

— Двести десять! — сказал он. — Не думаю, что при такой скорости

нам удастся перебраться в вагоны, ведь они прямо над нами.

— Но это мой долг! — вскричал начальник поезда.

— Разумеется, — проронил молодой человек, не поворачивая головы и не видя тщетных попыток Келлера.

— Я обязан хотя бы попробовать! — кричал начальник поезда, он был уже далеко, вернее, высоко в коридоре, локтями и ляжками упираясь в его металлические стенки, а так как локомотив все круче шел под уклон, в ужасающем падении мчался к сердцу земли, к этой цели всего сущего, то начальник поезда в коридоре оказался висящим над головой молодого человека, распростертого на серебристом стекле кабины машиниста лицом вниз, силы покинули его. И тут начальник поезда рухнул на пульт управления, обливаясь кровью, подполз к молодому человеку и обхватил его за плечи.

— Что нам делать? — закричал он сквозь грохот несущегося на них туннеля прямо в ухо молодому человеку, чье жирное, уже ставшее бесполезным, ни от чего не спасающее тело недвижно покоилось на стекле, отделяющем его от бездны, и сквозь это стекло бездна струилась в его впервые широко открытые глаза. — Что нам делать?

— Ничего, — безжалостно ответил молодой человек, не отворачивая лица от этого смертоносного зрелища, однако не без какой-то уже потусторонней веселости, весь в осколках стекла от разбитой приборной панели; и вдруг весть откуда взявшийся сквозняк (в стекле кабины появилась уже первая трещина) подхватил два ватных тампона, и они со свистом унеслись вверх. — Ничего. Господь покинул нас, мы падаем и, значит, несемся ему навстречу.

ОСТАНОВКА В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ

Фрагмент

ПРИБЫТИЕ

Окончательно и бесповоротно разорившийся банкир Бертрам, последний барон из Шангнау, вот уже много лет именовавший себя де Шангнау, возвращался последним поездом домой, в Ивердон.

Подыскивая новый род занятий, он побывал в Базеле, у такого же прогоревшего финансиста, падение которого, собственно, и привело к падению барона (или, наоборот, как утверждал базелец) и которому удалось на последние гроши основать издательство для спасения западной цивилизации, более чем однозначное предприятие, процветавшее всем на удивление, хотя все наперебой предсказывали ему неизбежный крах; однако де Шангнау без раздумий отклонил предложение базельца войти в новое дело развозным агентом, ибо не до конца утратил надежду устроиться в Союз нойенбургских виноторговцев (специальность — белые вина) как секретарь и шеф по рекламе.

Он ехал навстречу цели своей поездки, мимо неярких зимних пейзажей, которые проплывали за окном, словно выцветшие рекламные проспекты. Сорок три года прожил он на земле, человек вполне заурядный — если, конечно, отвлечься от его более легендарного, нежели истин-

ного бернского высочородства, — угодивший в ужасный финансовый перешлет, как многие до него, имевший десятилетнюю дочь и жену, на которой он женился лишь затем, чтобы было где разместить банк, как он признавался теперь себе самому: ведь Мадлен, урожденная Ле Локль, была, подобно ему, последней представительницей своего рода и в этом качестве владела мрачным, но респектабельным домом в Ивердоне (на "Пляс", между Замком и Собором).

Он стоял в проходе, накинув на плечи серое твидовое пальто, прислонясь к окну и всецело погружившись в беспросветное однообразие швейцарских будней. Он бросил взгляд в купе первого класса, где некий пассажир надевал пальто, тоже из твида, тоже серое, с тем, вероятно, чтобы выйти на ближайшей остановке. Он припомнил, как в апогее своих банковских дел тоже ездил первым классом, в этих маленьких, обитых красным клетушками с цветными репродукциями, с Ходлерами и Бёклинами, с Каламе и Анкерами на стенах для сугубого просвещения верхних десяти тысяч и с неизменно укоризненными и завистливыми лицами в коридоре по ту сторону застекленной двери. Но едва дали о себе знать первые финансовые затруднения (безнадежные векселя, по которым нельзя было получить, акции, которые ничего не стоили, подписи, которые были, грубо говоря, подделаны, полиция, которая к нему зачастила), как его постоянным окружением стали купе второго класса, украшенные лишь родными пейзажами: Бернские Альпы, или там монастырь Айнзидельн, или Блюмлизальп, вид с запада, Напф — вид с юга, Маттерхорн — с севера или Пайернский собор. Недалек тот час, когда ему придется ездить среди почти голых, почти лишенных родины и культуры стен третьего класса, как он уже собирался однажды. И вот теперь тоже.

За окном давно стемнело. Поезд не слишком торопился проехать мимо Юры, останавливался то здесь, то там. Де Шангнау злился, что прозевал скорый, через Делемон, и вот теперь вынужден тащиться кружным путем, через Ольтен. Чемодан и портфель лежали в сетке над его свободным теперь местом, он три дня не был дома, успел за это время встретиться с той англичанкой. В "Христианском приюте". И в этом тоже были приметы падения. Во времена оны он нарушал супружескую верность в "Трех волхвах" либо в Цюрихе — в "Бор-о-лак". Он скупливо оглянулся на свое купе, которое покинул, чтобы передохнуть от жары в более прохладном коридоре. В этой стране все поезда были чересчур жарко натоплены. Двадцать два градуса, попробуй вытерпи. Студент заснул над своим учебником анатомии, и коммивояжер, севший в Энсингене, подремывал в молочном отбеске стекол. Де Шангнау взглянул на часы. Двадцать один час тридцать семь минут. В двадцать один пятьдесят девять он будет на месте. Он раскурил сигарету "Паризьен". Все было пронизано дрожью от равномерных толчков поезда, все облечено в лед и стекло. Проводник с красной сумкой, шатаясь, прошел мимо, вскоре после него из вагона-ресторана проследовал статский советник Рос из Лозанны — по счастью, близорукий, — с которым он некогда был дружен. Де Шангнау взгляделся, утагал взглядом отдаленные фонари и световую рекламу, поезд где-то между Золотурном и Гренхеном, а может, и еще где-то подкатил к перрону маленького городка, который трудно было опознать сквозь оледеневшие стекла и который не мог предложить сколь-нибудь разумной причины, чтобы в нем выйти.

А если банкир все-таки и вышел, то из одного лишь любопытства, единственного, за что он еще мог уцепиться в этой жизни. Сквозь почти

непрозрачное стекло он заметил освещенную женскую руку, рука, высушившись из киоска, что-то подавала пассажиру, только что покинувшему купе первого класса.

Шангнау не мог устоять перед искушением. Он вышел из поезда. Пустой перрон был более чем скупо освещен. Холод отрезвил банкира. Он проследовал вдоль поезда и подошел к киоску. Но сама киоскерша не вполне соответствовала своей изящной ручке. У нее были черные и гнилые зубы. Банкир помешкал, он не знал толком, зачем сюда подошел и что ему теперь делать, решил наконец купить сигарет, хотя у него в кармане еще лежала непочатая пачка, пошарил в карманах, злясь, что вышел, но тут поезд тронулся. Последний из баронов де Шангнау не мог вскопичить на ходу, мешало брошенное на плечи пальто. Ему не оставалось больше ничего, кроме как засунуть руки в рукава, застегнуться на все пуговицы и проводить глазами освещенный квадрат окна, который все быстрее и быстрее проплывал мимо, уходя в ночь, в пустоту, как показалось барону.

Скорые поезда, — как с легкой досадой, словно неудача постигла именно его, пояснил начальник станции, к которому обратился де Шангнау, — скорые поезда стоят очень недолго, поэтому всего лучше без крайней надобности не выходить на остановках. Сигареты можно купить и в вагоне-ресторане. Куда, кстати, направляется пассажир?

— В Ивердон.

— Где жил Песталоцци, — констатировал начальник, зажав под мышкой виновника всего случившегося — распорядительный щиток. — Верно, — ответил де Шангнау.

Далее начальник станции перелистал сводное расписание и сообщил, что, к его глубокому сожалению, в Ивердон больше никак не попадешь. Небрежно, изображая богатого банкира, которым он больше не был, де Шангнау сказал, чтобы позаботились о его багаже, купе для курящих, в первой класс.

Начальник станции обещал связаться по телефону.

— Как он, между прочим, называется, этот городок?

— Кониген.

— Вот это да! — ахнул обанкротившийся барон. — Кто по доброй воле поедет в Кониген? Тогда уж осмотрим с божьей помощью эту захолустную дыру. Здесь хоть есть порядочная гостиница?

— "Вильгельм Телль", — с достоинством ответил начальник станции и отвернулся.

Ну, подумал про себя де Шангнау, кто живет в городе Песталоцци, тот вполне может заночевать и в "Вильгельме Телле", после чего он кивнул начальнику станции, пренебрегая гневом и неприязнью последнего, и вошел в зал ожидания. Посреди зала человек в твидовом пальто, тот, что ехал первым классом, согнувшись, в позе, явно для него неудобной, завязывал шнурок на левом ботинке.

Де Шангнау проводил глазами продавщицу, которая закрыла свой киоск и теперь продефилировала мимо него к выходу. На сей раз она показалась ему еще менее привлекательной, в красном пальто и лыжных брюках. У выхода стоял замерзший газетчик с теплыми наушниками, он курил "Бриссаго". Барон купил у него "Лозаннский бюллетень" на французском языке, "Базлер нахрихтен", а также "Она и он". Он хотел на сон грядущий, уже лежа, почитать в "Вильгельме Телле", он и дома, на "Пляс", поступил бы точно так же.

На привокзальной площади было холодно. Городок лежал в отдалении, вероятно ближе к горной цепи, и лишь немногочисленные дома окружали слабо освещенную площадь: гостиница "У вокзала", которая выглядела точно так же, как все одноименные гостиницы, и здание поновой, почта. Отъехал троллейбус, красное пальто киоскерши сверкнуло в окне. Теперь на площади никого не было. Перед почтамом стоял ряд телефонов-автоматов, перед гостиницей — голые деревья, а из городка доносились голоса, музыка, пение. Над всем этим висела половинка луны, потом еще дальше — одинокая звезда, словно приколотая к серебристо-серому полю. Обанкротившийся барон почувствовал себя одиноким, заброшенным, прибитым к чужому, недоброму берегу. В нем вдруг поднялась тоска по чему-то теплomu, по его комнате в Ивердоне с гербом Ле Локлей над камином, по семейному столу и даже по жене. Глядя на эту ночную площадь, он вдруг разом возненавидел все и всяческие путешествия, всех англичанок, все закулисные маневры, весь этот мир уловок и бизнеса, в котором он так неуклюже передвигался. И он решил взять такси, только что подъехавшее такси, последнее, которое ему по карману. Два оно подъехало, Шангнау сказал:

— "Вильгельм Телль", — и, когда распахнулась задняя дверца, влез.

Он не сразу заметил, что с этим такси не все ладно. Машина рванула с места на какой-то адской скорости к рядам домов, потом — по широкой торговой улице, полной людей и освещенных магазинов, мимо кинотеатров. Де Шангнау откинулся на спинку сиденья и глянул в окно. Не так он представлял себе Кониген, исходя из распространенной присказки "дыра вроде Конигена", однако в этой ночной поездке Кониген явил приметы большого города, так что даже необузданный нрав шофера показался ему вполне уместным, впрочем, переведя взгляд налево, он заметил, что отнюдь не один разместился на заднем сиденье. Рядом с ним был еще кто-то, так же откинувшийся на спинку и лишь с трудом различимый, как неясный силуэт.

— Ну, — сказал тот, другой, — учтите: через две минуты она рванет!

И прежде, чем де Шангнау понял, о чем идет речь, ему на колени положили какой-то круглый предмет, размером с голову, тяжелый металлический предмет, и он невольно прижал его к себе.

Машина притормозила, и банкир очутился на улице посреди мощеной площади, небольшой, старинной, окруженной солидными строениями семнадцатого-восемнадцатого веков, среди которых затесался один, совершенно здесь неуместный, высотный дом. Второй пассажир буквально выкинул его из машины, де Шангнау чуть не упал и с трудом удержался на ногах. В чем дело?! — хотел он закричать, прежде чем машина, взвывая, свернула в переулок и скрылась. Но протест не состоялся. Ибо, взглянув на предмет в своих руках, он увидел, что это бомба.

Мы готовы согласиться с необычностью ситуации: разоренный дотла банкир, с бомбой, которая теперь уже меньше чем через две минуты взорвется, посреди ночного городка, о котором он ровным счетом ничего не знает, кроме названия, и в котором только что очутился в первый раз. Словом, ситуация была такова, что грозила даже самого де Шангнау вывести из тупого равнодушия, с недавних пор сопутствовавшего ему во всех его начинаниях, будь то семейная жизнь в Ивердоне или финансовые неурядицы.

Пробуждение оказалось мучительным. Он клял на чем свет стоит

приключение, внезапно на него свалившееся. Он стоял несчастный, бледный, замерзший, со зловещим предметом в руках, он уже решил положить бомбу и убежать подальше, что было бы самым естественным в данной ситуации. Но ему помешали.

Со стороны церкви, высившейся за рядом домов, на площадь вылилось шествие, духовой оркестр, музыканты в сверкающих шлемах и в черно-красных мундирах, судя по всему, пожарная часть: на уровне лица — ноты, прикрепленные к инструменту, над площадью торжественно и мощно зазвучало "Ближе к Тебе, Господь", а позади факелы, люди, распахнутые окна.

Де Шангнау, как человек отнюдь не беспомощный, понимая, что многие его заметили, и не желая напрасных жертв, отступил в ближайший переулок (а куда ж еще?) и мимо нескончаемого ряда домов, мимо любопытных, стекавшихся отовсюду поглядеть на шествие, припустился бегом, пока ноги не отказались нести его.

Перед ним была старинная башня, ярко подсвеченная прожекторами, не то романская, не то готическая, откуда банкиру знать, с гигантским циферблатом и с золотыми стрелками, под которыми именно сейчас зашевелились фигурки: папа, король, горожанин, выше кивали апостолы и размахивала крестом смерть. Послышались глухие удары. Десять часов. Арочный проем был пуст — настезь распахнутая пещера, сама башня, судя по всему, обитаема, над аркой — дощечка: музей, открыто с десяти до двенадцати и с двух до пяти. Всего несколько секунд. Де Шангнау припомнил, что когда-то, может быть среди отечественных пейзажей в купе второго класса, видел эту башню как нечто знаменитое, если не на всю Швейцарию, то по крайней мере на весь Кониген, знаменитое, почитаемое, символическое, но именно это здание представляло единственную возможность никому не повредить, если она вообще у него оставалась, эта возможность, ибо шествие уже приближалось, громче стали звуки труб, по-прежнему "Ближе к Тебе, Господь", и здесь одно за другим тоже начали распахиваться окна.

И тогда, с чувством какой-то мучительной гуманности, он швырнул бомбу под арку башенных ворот, толкнулся в ближайшую дверь, которая сразу открылась, споткнулся в подъезде, еще услышал один удар башенных часов — трубу Страшного суда, потом второй, а потом раздался взрыв.

Подъезд, куда юркнул террорист, содрогнулся. В дверях полыхнуло пламя, грохот рвал уши. Де Шангнау чувствовал, как на него сыплется штукатурка, и отступил еще дальше в глубину дома, потому что за дверью что-то рушилось с ужасным грохотом. Он пятился ощупью назад и наткнулся на другую дверь, которую тоже сумел открыть. Пока ему везло. Он очутился на какой-то улице, против гостиницы, чью вывеску украшала привычная глазу фигура национального героя Швейцарии, как с облегчением установил банкир. Теперь он желал только одного: поскорей лечь и с головой укрыться одеялом, а там будь что будет.

У ПАРИКМАХЕРА

Он проспал до девяти. Покуда он разделся и заснул, сотрясаемый зябкой дрожью после своего приключения, до него еще успел донестись вой пожарных машин и топот возбужденных людей. Затем, после внезапного пробуждения, не грозящий арест был первой заботой банкира,

удивленного, что сквозь шторы уже сияет солнце, нет, арест произойдет сам собой, и унижительный марш в полицию бок о бок с молчаливым сотрудником, и тягостный допрос, и недоверие, с каким в полиции выслушают его рассказ; нет, всего мучительней было сознание, что у него осталось при себе лишь десять франков, единственный капитал, которым он располагал на данную минуту.

В "Вильгельме Телле" он по старой привычке назвался банкиром: "Бертрам де Шангнау, директор банка "де Шангнау и Ле Локль", улица Песталоцци, 10, Ивердон" — и, довольный, что обрел пристанище, взял комнату с ванной. В последний раз. Нам это его намерение уже известно.

Номер обойдется как минимум в двадцать франков, потому что пришлось взять двухкомнатный. Словом, меньше чем в двадцать пять не уложишься, даже отказавшись от завтрака, и тем самым ничтожный шанс благополучно выпутаться из этой скверной истории, смотавшись отсюда как можно скорей, стал маловероятным из-за нехватки каких-то нескольких франков.

Потом, в теплой воде, разглядывая свое обнаженное тело, он вспомнил про англичанку, с которой опять встретился в "Христианском приюте". При всем желании он не мог найти сколько-нибудь серьезной причины, которая придала бы хоть какой-то смысл этой связи, не мог сослаться на страсть, на любовь, даже на вождение, и то не мог, из одной только прихоти, из разговора в вагоне-ресторане, когда за окном было Фирвальдштетское озеро, возникли эти равнодушные ночи в равнодушных номерах, потому, должно быть, что ему было скучно. А теперь он лежал в ванне, в номере, за который не мог заплатить, и ждал полицию. За стенами гостиницы была разрушенная башня, взорванный краеведческий музей, взбудораженный городок. Все как в скверной сказке. Все было тесно связано между собой, и одно вытекало из другого. Сплошные случайности, ненужная ночь любви, неразумная прогулка по перрону, загадочное недоразумение в такси, соединясь, породили событие, лишенное смысла, он совершил поступок, которого в жизни не думал совершать, который вообще считал для себя невозможным, и этот поступок как нельзя лучше обнажил всю бессмысленность его существования.

Поскольку полиция до сих пор не подавала признаков жизни, он решил все-таки позавтракать и, если неизвестно почему никто его так и не заподозрит, перехватить деньжонок у владельца гостиницы и первым попавшимся поездом бежать из Конигена. Заказать завтрак в номер он постеснялся, потому что его тяготил разговор с хозяином гостиницы, который за этим последует.

Вот почему, освежившись в ванной, он спустился вниз, но пошел сперва не в зал для завтраков, а к парикмахеру, и это тоже было своего рода мерой предосторожности, если уж добывать деньги, то делать это надо по-банкирски, насколько возможно.

Он надеялся перехватить займы сотню франков, а то и полторы сотни, если подыщет правильное объяснение и произнесет свою просьбу с естественной непринужденностью, которая уже не была для него естественной. Раньше, в своей прежней жизни, жизни банкира, когда ему доводилось оказаться где-нибудь без гроша в кармане, он с величайшей легкостью занимал десятки, сотни тысяч, и то, что подобная процедура вдруг оказалась ему тягостной, заставило его призадуматься. Если им завладеет эта техническая неуверенность, тогда вообще пиши пропало.

По словам портъе, надо было лишь перейти через улицу. Парикмахерская находилась рядом с дверью, из которой он вчера вечером спасся бегством. На дворе сияло солнце, посылая лучи с конца улицы, и небо поражало светлой голубизной, но было по-прежнему холодно, и все вызывало мысль о сибирских холодах.

Шангнау, без пальто, торопливо вошел в салон под звон дверного колокольчика. Парикмахер как раз читал газету и встал, чтобы его обслужить.

— Побрить. — Де Шангнау сел и тут же был повязан белой простышкой.

Собственное лицо в зеркале, круглое и отечное, произвело на банкира гнетущее впечатление, первый раз ему было так неприятно очутиться лицом к лицу с самим собой. Он показался себе тупым и бездуховным, будто взирававший террорист. И, напротив, парикмахер, высокий человек с медлительными движениями, смахивал в своем халате на преуспевающего зубного врача. Взбивая пену, он полюбозытствовал, не из Берна ли приехал его клиент.

— Из Ивердона.

— Из города Песталоцци, — констатировал парикмахер.

— Совершенно верно, — сказал банкир. Вот уже много лет он говорил "совершенно верно", когда кто-нибудь в очередной раз устанавливал связь между Ивердоном и Песталоцци.

Лично он думал, что господин приехал из Берна, подхватил парикмахера, явно разочарованный ответом, из Берна, из следственной комиссии. Господин выглядит как вылитый детектив — в них всегда есть что-то одухотворенное, и он намыллил щеки де Шангнау.

— Доброе утро, господин архитектор, — его приветствие прозвучало как-то механически, — садитесь, мой сын вас сейчас обслужит. Вильгельм, побрить!

Под звон колокольчика вошел какой-то господин, повесил на крючок свое пальто и сел рядом с банкиром. Их взгляды встретились в зеркале. Городской архитектор был человек небольшого роста, толстый, но не жирный, с могучими мускулами, надо полагать, одетый почти как крестьянин, с тяжелой серебряной часовой цепочкой поперек живота.

Де Шангнау осторожно спросил парикмахера, точившего бритву, что можно расследовать в Конигене и зачем здесь нужны детективы.

Парикмахер возбужденно отвечал, что вчера в десять вечера взлетел на воздух Большой Карапуз, от него остались только развалины да обугленные балки, потому что после взрыва башня загорелась.

— То, что случилось с нашим дорогим Карапузом, с нашим старым добрым Карапузом, — это большое, можно сказать, национальное бедствие. Не правда ли, господин архитектор Кюнци? — обратился он отчасти с гордостью, отчасти с прискорбием ко второму клиенту, но господин Кюнци не ответил на его вопрос, вместо того он то и дело украдкой бросал через зеркало пристальные взгляды на де Шангнау, почти угрожающие, как тому казалось.

В раннем выпуске известий по радио, перед утренней зарядкой (он каждый день делает зарядку), уже было передано сообщение, разливался счастливый парикмахер, радуясь, что нашел тему для разговора и уже не выпускает ее, жаль только, диктор из Беромюнстера произнес сообщение таким же тоном, как любую зарубежную новость, а ведь в данном случае было бы вполне уместно сочувствие и скорбь, при такой общешвейцарс-

кой катастрофе, в конце концов, это касается всего швейцарского народа, от федерального советника до простого парикмахера, но чтоб растрогать подобного диктора, должна по меньшей мере преставиться какая-нибудь королева или папа; к счастью, парикмахеру не дали довести речь до конца. Очередной звонок дверного колокольчика прервал его речи.

Новый клиент (осанистый мужчина с седыми усами, как де Шангнау увидел в зеркале) сел на один из стульев среди газет, взял "Швайцер иллюстрирте" и был почтительнейше приветствован кауфером как господин мясник Циль.

— Доброе утро, Кюнци, — засмеялся мясник, — ты пришел сбрить бороду? Да и как же иначе, когда у тебя под носом башни взлетают в небо.

И поскольку архитектор промолчал, вероятно обиженный подобной грубостью, мясник, все так же смеясь, добавил, что из-за вознесения Большого Карапуза Кюнци, видно, говорить разучился.

— Как вы — играть на трубе, — поспешил на выручку парикмахер, приставив бритву к левой щеке банкира (правую он уже обработал).

— Твоя правда, брадобрей, — сказал мясник, раскуривая сигару, — я вчера как раз трубил в честь столетия нашей Труды Майер-Хюнляйн-Шер-Хофер, второй муж которой, Хюнляйн, шестьдесят лет назад был у нас председателем городской общины, ну а первый, Шер то есть, был аптекарем, а третий, пастор Майер, уже сорок лет как умер, но я-то еще у него конфирмовался, вот я и трубил вчера "Ближе к Тебе, Господь" изо всех сил, как пожелала наша юбилярша, и вдруг перед самым моим носом Большой Карапуз взлетает на воздух, так что залюбуешься. И не только перед моим носом, но и перед носом у нашей пожарной дружины, которая частью тоже дудела, а частью участвовала в процессии, потому как аптекарь когда-то был у них начальником. Лично для меня это был возвышенный момент, скажу вам честно, все равно как удачная проповедь о бренности всех Больших Карапузов. Во всяком случае, умей наши духовные отцы так здорово читать проповеди, я б тоже ходил в церковь каждое воскресенье. Но наша юбилярша, верно, натерпелась страху от этой серножелтой молнии и от грохота, прямо как во времена Содомы и Гоморры. Она ведь у нас живет неподалеку от Карапуза.

Парикмахер, уже обработавший левую щеку банкира, заметил, что госпожа Майер-Хюнляйн туга на ухо.

Ее счастье, успокоил себя господин Циль, о том, чтобы трубить дальше, не могло быть и речи, вся процессия помчалась в пожарную часть взять там брандспойты и прочую утварь, но спасти башню все равно бы не удалось, хорошо хоть сумели отстоять от огня соседние дома, один наполовину обрушился, просто чудо, что сегодня можно зайти побриться, дом парикмахера тоже был в опасности. Лично ему хотелось бы узнать, какие объяснения найдет комиссия из Берна, которая приехала сегодня ночью, уж навряд ли они придумают что-нибудь толковое.

Парикмахер подхватил реплику и сказал, что с Карапузом разделились по всем правилам искусства, это ясно. Ведь недаром взрыв произошел как раз за два дня до пятисотлетия битвы под Болленом — одной из важнейших дат отечественной истории, за два дня до большого шествия и до приезда федеральных советников Эттера, Фельдмана и Птигнера. Заподозрить можно только коммунистов либо масонов, и это вполне логично, но "москвичей", по его мнению, надо исключить, они довольно слабые,

им нужны голоса, Карапуз ведь был очень популярен, и они не рискнули бы протягивать к нему свои красные пальцы.

— А вот масоны, — вдруг вскричал он, — масоны — те очень сильны, они могут позволить себе такую наглость. Вот увидите, господа, комиссия из Берна ничего не найдет, даже если привезет в десять раз лучших детективов и со всего мира, не найдет, потому что ей не позволят найти. Зато типа, который разрушил символ нашего города, я бы хорошенко прочул, попадись он мне под бритву. — И он с удвоенной энергией заскреб щечку де Шангнау; во имя родины он, парикмахер, готов даже и на убийство, как Вильгельм Телль, как Арнольд фон Винкельрид и другие швейцарцы былых времен.

— Осторожнее, — хотя и нерешительно, взбунтовался де Шангнау, поскольку и в самом деле показалась кровь, и его вдруг охватило неприятное чувство, что парикмахер догадывается, кого скребет своей бритвой.

— Ах, пардон, пардон, — вскричал растерянный парикмахер, увидев, что порезал банкира, потом обработал его кровеостанавливающим карандашом, потом выразил глубокое сожаление, вообще-то у него считается самая твердая рука в Конигене, просто сегодня он решительно не в себе из-за национального бедствия.

Мясник подал голос со своего стула, где он все еще перелистывал "Швайцер иллюстрирте", и сердито сказал, что насчет масонов — это бред сивой кобылы, не хватало еще, чтобы брадобрей приплел сюда евреев, тогда все козлы отпущения будут налицо. Скорей всего, где-нибудь лопнула газовая труба, потому как ума, который потребен, чтобы уничтожить Карапуза, он лично не находит сегодня ни у евреев, ни у масонов, а у "москвичей" — и подавно, не говоря уже про другие партии, будь то католики, демократы или социалисты. Надо честно признать, что Карапуз страшно мешал уличному движению, проехать можно было только на "фольксвагене", да и на "фольксвагене" с трудом. Но то-то и оно: наша полиция отродясь не видела того, что каждому ясно, иначе Карапуз уже давно приказал бы долго жить. Он не боится это сказать, хотя здесь же присутствует городской архитектор, вернее, именно потому, что он здесь присутствует. Нельзя построить ни дома, ни гаража, ни даже крольчатника, чтобы архитектор не вмешался, надо вечно помнить про старые времена и про старый стиль, и некоторые конигенцы ведут себя так, словно люди и впрямь по сей день разгуливают с бородами и алебардами.

— Господин Циль, — ответил парикмахер вместо архитектора, который по-прежнему молчал и не сводил глаз с де Шангнау, — господин Циль, — повторил он, опрыскивая банкира одеколоном, — помимо ценностей материальных существуют и ценности духовные, вот наш Карапуз и был такой духовной ценностью, отечественным сокровищем, символом истинно швейцарского духа, как Песталоцци и Готфрид Келлер.

На это мясник, как знаменем взмахнув "Швайцер иллюстрирте", возразил, что он и сам настоящий швейцарец, не меньше швейцарец, чем Готфрид Келлер, которого он, между прочим, тоже проходил в школе, но он современный швейцарец и потому не делает, подобно Кюнци, вид, будто лично принимал участие в сражении под Болленом под командой рыцаря Куно из Цецивила, а насчет рыцаря у него есть один вопрос: произнес бы тот свое знаменитое "Мы победим, ибо наделены духом", если бы тогдашние швабы двинулись на Боллен с атомной бомбой, или

нет. И нечего ему вечно тыкать в нос достижения предков. Платить налоги — подвиг ничуть не менее героический, чем выиграть битву, а он платит больше налогов, чем все здесь присутствующие, вместе взятые. Никому не дано повернуть время вспять, даже лучшему архитектору мира — и то не дано, сейчас город живет сыроварней, часовым заводом, заводом кузовов, сигарами и велосипедным заводом, а вовсе не Карапузом.

— Надо быть честными, господа, — воззвал он, в то время как парикмахер щеточкой чистил де Шангнау, который уже поднялся с места, — честность — вот истинная добродетель швейцарца. Сперва сыр, а уже потом Карапуз — таков естественный порядок вещей, и не только в Конигене, а во всей Швейцарии, которая уже давным-давно сделала из национального героя Телля рекламную фигуру. Поэтому не стоит так ужасно сокрушаться по поводу взлетевшего на воздух Карапуза, ну взлетел и взлетел, и никто не запрещает тем, кто захочет, по-прежнему наклеивать картинку с Карапузом на изделия сыроварни, на сигары и колбасы, где ему самое место и есть.

Де Шангнау, наконец-то вырвавшись из парикмахерской, перешел через улицу обратно в "Телля", в зал для завтраков. Он проголодался, заказал себе два яйца в стакане, которые особенно любил, и кофе с молоком. Он сидел у окна, на солнце, и мог видеть, как на другой стороне улицы вышел из парикмахерской архитектор, нерешительно поглядел на отель и побрел дальше.

За соседним столом сидел еще один постоялец, чье сходство с архитектором сразу бросилось банкиру в глаза, он был такой же приземистый и грузный, как Кюнци, только одет не на крестьянский лад. Он сидел в просторной замшевой куртке и бриджах, турист туристом, в высоких, подбитых гвоздями башмаках, ел глазунью с ветчиной и пил вперемешку молоко, томатный сок и апельсиновый.

Банкир прихватил "Базлер нахрихтен" и начал перелистывать газету в ожидании яиц и кофе, но потом вдруг с досадой отложил ее и весь побагровел, потому что со второй страницы ему неожиданно бросился в глаза один заголовок. Лопнувший банк в Ивердоне. Он велел кельнеру принести другую газету, местную, которую как раз перед этим скатал в трубку двойник Кюнци. Здесь о крахе банка "де Шангнау и Ле Локль" сообщалось уже на первой странице, а о разрушенном музее не было вообще ни строчки, потому что газета здесь выходит по вечерам. Итак, банкир потерпел неудачу и покорился своему жребию. Он принялся за еду. Ел он с большим аппетитом, чуть поспешнее, чем привык, ибо сознавал, что для него это последняя трапеза осужденного. Теперь уже не имело ни малейшего смысла просить о займе дирекцию "Вильгельма Телля", уж верно, они там тоже читают газеты, и тут в приступе черного юмора барон заказал еще и ветчины, как это сделал до того человек за соседним столиком, а управившись с ветчиной, выбрал из сигар одну "Коста-Пенна", еще раз — в последний раз. Теперь он был готов явиться с повинной, велел поставить завтрак ему в счет, который все равно уже не мог оплатить, и, надев твидовое пальто и укутавшись в тропический дым импортной сигары, отправился искать полицию.

Было половина одиннадцатого. Для начала банкир решил побывать на месте своего отнюдь не добровольного террористического акта, ибо считал долгом приличия взглянуть, что же он там натворил.

Не без растерянности узрел он гору развалин среди старинных домов, потрясенный тем, что своими руками произвел это ужасное опустошение. От бывшего величия Карапуза не осталось больше и следа, бомба сработала основательно. По горе развалин лазили полицейские в штатском и мерзли, занимаясь какими-то таинственными изысканиями, у некоторых были длинные щесты, и этими щестами они ковырялись в обожженных балках. Другие, в форме, не подпускали слишком близко конигенцев, удивленно созерцавших руины символа своего города: мужчины стояли, засунув руки в карманы пальто и охваченные чувством всеобщего гнева, женщины – с детьми на руках. Вокруг стайками стояли школьники и полные скорби учителя. Слышались всхлипывания, проклятия, приглушенный ропот.

Банкир, который невольно принимал все это хотя бы отчасти на свой счет, даже и не пытался прорвать человеческую цепь, которая отделяла его от центра катастрофы. Благоговейно помешкав, он через несколько секунд пошел обратно по той самой улочке, по которой бежал вчера вечером, с бомбой в руках, спасаясь от духового оркестра, но теперь его охватила досада, потому что в разрыве между домами он углядел реку, знай он об этом вчера, бомба взорвалась бы, никому не причинив вреда, но на сегодня это географическое открытие запоздало.

Отсюда он, как и предполагал, выбрался на маленькую площадь, где вчера вечером его вытолкнули из машины, дома сплошь семнадцатого-восемнадцатого веков, память его не подвела, узнал он и высотку и вторично подумал, что она здесь совершенно неуместна.

Площадь была почти пуста, лишь регулировщик неизвестно зачем торчал посредине в белом шлеме и белом плаще, банкир спросил его, где находится полицейское управление, и тот велел идти на Центральную площадь.

Старый город через несколько шагов закончился, то, что вчера, во время бешеной ночной гонки, произвело на него впечатление большого города, оказалось захолустной дырой с претензией на столичный шик.

Де Шангнау остановился и поглядел вниз по Главной улице, которая полого шла под гору. И движение здесь было такое, какое пристало малому городу, много крестьян, верно, где-нибудь поблизости есть рынок, жены рабочих, католический священник, школьники, многие в фуражках, указывавших на наличие гимназии. Вышли первые газеты с сообщением о несчастье: "Конигер тагблат", "Экспресс", "Бунд", и де Шангнау с удовлетворением отметил, что теперь в них есть и другой читабельный материал, кроме его банкротства.

Навстречу от вокзала, как ему подумалось, шел троллейбус и ниже, у дорожного указателя Цюрих – Берн – Лозанна, свернул за угол.

Городские строения, красные дома, желтые, синие, белые, дома из дерева, словно выпиленные лобзиком, дома из камня, из бетона, ренессансный фасад, школа, строение в стиле модерн, кантональный банк, торговый дом "Ше Бийегер", потом кинотеатры, три, четыре, по ту и по другую сторону улицы: "Капитоль", "Аполло", "Альгамбра", "Метрополь",

с яркими надписями, "Limelight"¹. "Улица в Рио, девятая неделя", "Хайди", "Мария из гавани", огромные целующиеся лица, огромные бюсты, кооперативный магазин, еще вывески врачей, портных, парикмахеров, певческая школа Конигена, лавки всех видов, мясная лавка Циля, еще одно здание в стиле модерн, вероятно театр, крестьянские дома, а между ними прямо на тротуаре кучи навоза и молочные бидоны, потом бары, кафе, перед ними — большие машины, "студебекер", "мерседес", "бьюик" и один джип; на часы местного завода поднялся небывалый спрос, они приносят небывалый доход, неплохо бы принять участие, подумал банкир. Дальше возникли флажки и вымпелы к завтрашнему юбилею битвы, бернские знамена, конигенские, синие с желтыми поперечными полосами, красные швейцарские с белым крестом, а за ними плакаты с изречениями: "Где Кониген, там и клятвенный союз", "Кониген признателен федерации" — и, наконец, призывы участвовать в фестивальных торжествах "Дух Боллена и дело Боллена".

Вот по этой патриотической аллее и надлежало пройти погубителю Большого Карапуза, коль скоро он решил признаться в своем преступлении. Вполне понятно, что он не слишком спешил. На другой стороне улицы, на солнце, свет которого совсем не давал тепла, стоял архитектор, грузный, явно способный к насилию крестьянин, стоял, несмотря на холод, в расстегнутом пальто, без шарфа, стоял и следил за де Шангнау. Банкир замерз. Последний раз он наслаждался свободой, хотя и вымученной, и тут от "Коста-Пенны" было немного проку. Он бросил ее и растер ногой, злясь из-за впустую истраченных денег и одновременно испугавшись, ибо внезапно овладевшая им скупость неопровержимо свидетельствовала о его банкротстве.

— Дяденька, — услышал он звонкий голосок, — дяденька, пойдем со мной.

Де Шангнау обернулся. В открытых дверях одного подъезда стояла девочка лет примерно десяти, в тонкой красной юбочке и грязном полуизорванном фаргучке, с голыми коленками, в желтых носочках, тоже рваных, и сандалиях. Замерзшее существо, синее от холода. Маленькое худое личико, выпученные зеленые глаза.

— Пойдем, дяденька, — повторила она.

Де Шангнау спросил, как ее зовут.

— Иветта.

Куда же ему надо идти?

— К папе.

Банкир уставился на девочку, будто грезя наяву.

— Это почему же?

Он вспомнил про свою дочку в Ивердоне, и ее тоже зовут Иветтой, и она такая же худенькая и белокурая, и так же ему непонятна и незнакома, и впервые его потянуло домой, на улицу Песталоцци.

— Из-за башни, — сказала девочка своим тихим стеклянным голоском, и ее дыхание облачками уплывало от ее лица.

— Тогда пошли, — сказал банкир, — тогда пошли.

Девочка вприпрыжку побежала перед ним, сперва по тротуару. Они прошли мимо кондитерской лавки.

— Дяденька, — сказала девочка, — купи мне пирожное, папа говорил,

¹"Огни рампы" (англ.).

что у тебя есть деньги и что ты купишь мне пирожное.

Банкир дал ей франк, мелочи у него не оказалось, и девочка забежала в магазин. Он видел через стекло, как это красное, щуплое создание с сияющими глазами выбирало что-то, потом девочка снова вышла.

— Дяденька, я купила сразу два, — сказала она, держа в каждой руке по липкому изделию кондитера и уже жуя; о том, что ей должны были дать сдачу, она ничего не сказала.

— А теперь веди меня к твоему отцу, — сказал банкир.

Девочка вприпрыжку свернула в какой-то переулок, а оттуда — во двор между домами. Банкир помешкал.

Двор был залит асфальтом, задние фасады домов — грязные, серо-голубая краска отслаивалась целыми лепешками, повсюду перед окнами висело белье, пеленки, местами ярко освещенные солнцем. Проржавелые железные штанги, кузова старых автомобилей, железные тачки и другая утварь стояли по всему двору, рифленые навесы, под ними — велосипеды, ближе к деревянным сараям, и, наконец, фабрика, почти закрытая сараями, с дымом из трубы и сладковатым запахом бензина в воздухе.

Девочка остановилась посреди двора.

— Пойдем, дяденька, — сказала она, — пойдем.

Де Шангнау вошел. Во дворе было не так холодно, как на улице: доходные дома защищали его от ветра.

— А это папа, — сказала девочка и, продолжая уминать пирожное, подошла к молодому человеку, который стоял в дверях сарая.

Человеку было от силы года двадцать два, он был белокурый, как и девочка, волосы ежиком, лицо круглое и розовое, тело тшедушное, почти детское, кожаная куртка с меховым воротником, вельветовые брюки и грубые башмаки.

— Подойдите ближе, — сказал он банкиру, — нам с вами надо поговорить. Моя фамилия Байн. То есть на самом деле у меня другая фамилия, но для вас пусть я буду Байн.

Банкир с профессиональной любезностью ответил, что ему очень приятно познакомиться, и подошел ближе, по неосторожности, потому что внезапно растянулся на асфальте, сбитый с ног ударом кулака. Молодой человек спокойно посмотрел на него. Девочка не переставая жевала.

— Это злой дяденька?

— Нет, — ответил Байн, — не злой. Встаньте, — обратился он после этого к банкиру. — И пошли за мной.

Де Шангнау с трудом поднялся.

— Пошли в сарай, — скомандовал Байн. И де Шангнау покорно последовал за ним. Пусть пригнется, чтоб не запачкать костюм. Вот здесь полотенце, а вот таз с чистой водой. Это просто кровь из носа, скоро пройдет, слышал он голос Байна, прижимал к лицу мокрое полотенце, которое сразу окрасилось в красный цвет.

Наконец-то остановив кровотечение, де Шангнау заметил, что у господина Байна престранные манеры.

— Такова жизнь. Жизнь, и больше ничего, — посочувствовал Байн. — Я сбил вас с ног, чтоб вы знали, с кем имеете дело, и впоследствии не испытали разочарования. Надеюсь, мне не придется вторично прибегать к подобной мере. Мне это было бы крайне неприятно, поскольку я вежливый человек, вежливый, но принципиальный. А теперь подайте сюда вашу карточку.

Они стояли в маленьком дровяном сарае со множеством бочек, через запыленное окно проникал свет. На ящике стоял таз с розовой от крови водой, рядом лежало полотенце, тоже в крови. Все явно заранее приготовлено. У двери стоял багор, тяжелый молот и большое зубило.

Девочка тоже пошла за ними, поглядела на де Шангнау и приступила ко второму пирожному.

Байн прочел переданную ему банкиром визитную карточку, достал бумажник из своей куртки и спрятал карточку туда.

— Бертрам, барон де Шангнау, — произнес он, — банкир, улица Песталоцци, 10, Ивердон. С титулом в порядке?

— Нет, — ответил де Шангнау.

— Вот видите, так я и думал. Обанкротились? Я читал в газете. Ваш банк прогорел. А теперь посмотрим, что у вас при себе имеется.

Он подошел к банкиру, спокойненько, не без приятности, обшарил карманы де Шангнау, ощупал всего, словно отыскивая оружие.

— Семь франков шестьдесят, — сказал он, очищая кошелек де Шангнау. Квитанции он, к сожалению, дать не может, оставить билет тоже не может, ему в самом деле очень-очень жаль, но и без золотых часов тоже вполне можно прожить.

Банкир не сопротивлялся, он лишь сокрушенно пожал плечами, с него вполне хватило удара кулаком, на героические поступки его как-то не тянуло, признание в фальшивом титуле окончательно лишило его этой тяги.

— "Голуаз"? — спросил Байн, протягивая ему раскрытый портсигар.

Банкир поблагодарил, здесь пахнет бензином, в бочках, наверно, бензин, словом, курить здесь, на его взгляд, опасно. Как барону будет угодно, отвечал Байн, потом закурил и выпустил дым через нос. Де Шангнау полюбопытствовал, что все это значит. В ответ Байн, желая объяснить свое загадочное поведение, сообщил, что намерен основать дело. Всего бы лучше открыть торговлю сигарами, только не здесь, не в Конигене, который он не любит, а в Цюрихе. Ему нужна культура, хорошая музыка, порядочный театр, а здесь он прозябает, как с моральной, так и с финансовой точки зрения. Де Шангнау одобрил его намерения, если сравнить с тем, чем господин Байн занимается в настоящее время, это, несомненно, будет шагом вперед.

— Ну, нам, пожалуй, обоим одинаково далеко до тюрьмы, — заметил Байн. — Это вы подняли Карапуза на воздух.

Банкир, начавший кое-что понимать, спросил, откуда это Байну известно, и решил все-таки выкурить сигарету. Байн промолчал. Банкир полюбопытствовал, не намерен ли Байн его шантажировать.

— А почему бы и нет? — наконец признался тот, задумчиво поглядел на банкира и дал ему огня.

Девочке, верно, стало скучно в сарае, она сказала, что пойдет купить себе еще одно пирожное, у нее остались дяденькины деньги, затем она отворила дверь и шмыгнула наружу. Мужчины тоже вышли из сарая и стояли теперь на солнце. Мимо них шли рабочие с фабрики.

— Ваше предложение? — спросил де Шангнау и поглядел на женщину, которая у себя на балконе снимала белье с веревки.

— Двадцать тысяч.

Банкир ответил, что таких денег у него нет.

— Сам знаю, — сказал Байн, — вы разорены и вам нечем заплатить за мое молчание.

Их разговор представлялся банкиру все более нереальным. Зачем, спрашивается, тогда было просить двадцать тысяч.

Чтобы дать барону шанс, отвечал собеседник в прежней загадочной манере, этого требует простая вежливость, даже если у барона почти нет возможности уйти подобру-поздорову. Двадцать тысяч за молчание — вполне справедливо, потому что двадцать ему уже посулили.

— За что? — спросил де Шангнау.

— За то, чтобы вас убить.

Тут женщина на другом балконе принялась выбивать ковер, ее примеру последовали прочие женщины, все сплошь толстые, здоровые бабищи с могучими руками и спинами. До сих пор оба говорили вполголоса, а теперь же им пришлось кричать во всю глотку, чтобы продолжить разговор, да вдобавок им пришлось отскочить в сторону от грузовика, который въехал во двор и с которого рабочие начали сгружать длинные железные штанги.

Сквозь шум Байн объяснил, что мог бы шантажировать и своего нанимателя и что в этом случае он бы тоже затребовал те же двадцать тысяч, поскольку действует по справедливости и ведет себя порядочно даже в сомнительных делах.

Де Шангнау констатировал, что господин Байн пребывает в нерешительности.

На это Байн прокричал, что знает, кто взорвал краеведческий музей и кто сделал бомбу. Такое знание надо использовать. Знание — сила.

Банкир осмелел в присутствии рабочих и женщин, да вдобавок ему наскучила вся эта нелепая ситуация, поэтому он подступил к Байну и схватил его за воротник.

— Господин! — закричал он, изо всех сил стараясь перекрыть оглушительный шум, потому что теперь чуть не десять женщин разом ударили по своим коврам да вдобавок фабрика со злобным шипением выпустила облако пара. — Господин, с кого вы намерены получить двадцать тысяч, попытавшись убить меня либо шантажируя кого-то другого, мне глубоко безразлично. Надеюсь, вы и сами поймете, как глупо и гнусно себя вели.

Байн побледнел, спросил, в самом ли деле господин де Шангнау так считает, отодрал руки банкира от своего воротника, выволок его со двора и отпустил на все четыре стороны.

— Такова жизнь, такова жизнь, — пробормотал он сокрушенно. — Я первый раз занимаюсь таким делом. У меня нет ни малейшего опыта. Даже поручение убить вас мне совершенно не по силам, я понятия не имею, как надо убивать. В конце концов, мы находимся в Конигене, а не в Париже или в Чикаго. Я был бы вам признателен за любой совет, поверьте слову. А главное, я боюсь, ужасно боюсь, что дело кончится плохо.

Они шли к Главной улице, Байн утратил розовость щек, теперь это был всего лишь беспомощный робкий паренек. Он спросил банкира, может ли пригласить его к себе домой. Это недалеко отсюда. Де Шангнау отрицательно помотал головой. Он и сам знает, где живет Байн, он видел девочку в дверях дома, но, исходя из поручения, которое получил господин Байн, он, пожалуй, откажется от визита.

— Очень жалко, — сказал Байн.

Банкир ответил, что и сам весьма сожалеет и что теперь он пойдет в полицию, твердо решив признаться в своей беде.

Тут Байн спросил, упомянет ли барон его имя.

— Само собой, упомяну.

Когда они вышли на Главную улицу, там уже стояла девочка, вся продрогшая, она ела очередное пирожное и с любопытством тарашилась на обоих.

— К Центральной площади надо идти вниз, — сказал Байн жалким голосом, — все время по Главной улице. А полиция у нас рядом со Швейцарским кредитным банком.

Де Шангнау кивнул, он уже получил необходимую информацию от полицейского.

— Не стану вас удерживать, — сказал Байн. — Вы человек свободный. Но сперва выслушайте пинкертонов. Не действуйте слишком опрометчиво. Не вылезайте сразу с признанием, постарайтесь выведать, насколько они в курсе. Я вам добра желаю, поверьте.

Де Шангнау засмеялся и сказал, что бесстыдство Байна можно сравнить только с его наивностью.

— Для начала я попрошу пинкертонов, чтобы они выслушали вас. Молодой человек грустно покачал головой.

— Вы неправильно расцениваете ситуацию, — сказал он, — я убежден, что полиция даже и не подозревает, кто взорвал Карапуза. В этих все-таки благоприятных обстоятельствах с вашей стороны было бы не очень порядочно по отношению ко мне махнуть на себя рукой и во всем прижаться.

Поскольку удивительные притязания Байна насмешили банкира, он помотал головой, хотя и не без непонятого беспокойства. К тому же он заметил, что на другой стороне улицы все так же стоит архитектор. Как будто за время его странной встречи с Байном ничего не изменилось.

— Я честно себя веду по отношению к вам, — продолжал Байн, теперь уже дрожа от холода и выпуская облачка пара. — Мой шанс — заработать двадцать тысяч, а вы мечтаете уйти подобра-поздорову. Если вы отдадите себя в руки полиции, я пропал, потому что не получу денег, а вы пропали, потому что вам никто не поверит. Если же вы не признаетесь, остается надежда, что я приобрету небольшое состояние, пусть даже после того, как сумею вас убить, но ведь и для вас тоже остается надежда, причем вот какая: вы справитесь со мной и, никем не uznанный, покинете Кониген. Не отдав себя в руки полиции, вы сохраните свободу, зато, не скрою, вступите в зону опасности и борьбы. Но именно этого человеку и не следовало бы избегать. А теперь прощайте, барон, теперь вы должны принять решение. Я говорил с вами как мужчина с мужчиной. Надеюсь снова вас завтра встретить, осуществить свою трудную задачу, а вам желаю всего доброго.

Байн взял за руку свою дочь и зашагал к Старому городу. На ходу он еще раз оглянулся.

— Такова жизнь, жизнь, и больше ничего, — пробормотал он и тоскливо помахал банкиру, который в свою очередь кивнул новичку в такой странной профессии, так что расстались они, можно сказать, без вражды.

Через два шага, если идти к Центральной площади, де Шангнау снова остановился и начал размышлять про свои семейные дела. Без всякой видимой связи, затем, может быть, чтобы не думать больше о своем

приключении, о разрушении Карапуза и о Байне. Остановился же он перед витриной мясной лавки Циля.

На Мадлен Ле Локль он женился двенадцать лет назад, в первые годы их супружество было вполне счастливым, с молодым банкиром, который без оглядки швырял деньги, жилось неплохо, но потом их брак умер, как внезапно умирает дерево, думал де Шангнау, и никто не знает почему. В это мгновение, перед мясной лавкой, он захотел представить себе, как выглядит его жена, потому что, вспоминая о ней, видел перед собой только шуплую, изыбшую девочку в красной юбке, ту, которая отвела его к Байну и напомнила ему дочку Иветту. Может быть, его жена выглядела в молодости именно так, или, может быть, она сейчас так выглядит, такая замерзшая, бедная. Ему вдруг захотелось поговорить с ней, он собирался уже перейти улицу, потому что на другой стороне стояла телефонная будка, но с досадой остановился: у него совсем не было денег.

И тогда он пошел обратно в отель, довольный, что можно на какое-то время отложить явку в полицию, хотя и не признавался себе в этом до конца. Пошел — и заблудился. Неожиданно он вновь очутился перед Карапузом, побежал обратно — и снова очутился перед ним. А тем временем подросла пресса, фотографы, журналисты, и толпа стала еще больше, чем час назад. Де Шангнау вышел наконец напрямиком к "Вильгельму Теллю".

МИСТЕР Ч. В ОТПУСКЕ

Фрагмент

Мистер Ч., существование которого от века вызывает у нас легкое неприятие, покинул жутковатые места своих трудов (заодно прихвативши толику серно-желтого пламени) и после бесконечного подъема по великому множеству лестниц добрался до конторы мистера Б., о профессии и имени коего мы опять-таки умолчим. Мистер Ч. приоделся: визит был важный, а тянул он с ним немислимо долго, — приоделся, насколько это было возможно при хотя и достойной, однако же искони грязной работе в затхлых и, как всем известно, жарких его владеньях. Итак, на худосочной фигуре мистера Ч. болтался обтрепанный сюртук, брюки были аккуратно вычищены, а руки — если не замечать траура под ногтями — отмыты; чистым было и лицо (к ушам мы приглядываться не станем), бесхитростно-скромное и — что для большинства из нас, пожалуй, явится неожиданностью — определенно располагающее к доверию. У самого входа в контору мистера Б. весь кураж, под нажимом которого он только и отважился на этот подъем, куда-то стигнул, а ведь он собирался предстать перед начальством. Крутой узенький трап (более меткого названия для такой лестницы не подобрать), ведущий к углой двери, он, правда, одолел еще вполне решительно, но прошло не одно мгновение, прежде чем он несмело потянул звонок, в надежде, что там все равно услышат. Однако звонок повел себя не так, как думал мистер Ч.: могучий, словно гул церковного колокола, звон заставил его вздрогнуть.

© 1978 by Diogenes Verlag AG, Zürich

Ждать пришлось недолго. В двери открылось оконце, мелькнул розовый лик белобородого старца и тут же снова исчез — оконце захлопнулось. Немного погодя, когда дверное оконце открылось вновь, столь же испуганно воззрился на посетителя, облаченного в не вполне отчищенный от угольной пыли сюртук, некто безбородый — судя по унылой мине, это был, скорее всего, чиновник из ведомства мистера Б., — существо, которое, преисполняясь дурных предчувствий, встретило нарушение векового однообразия горних порядков смиренным вздохом. Но впустили мистера Ч. быстрее, нежели, надо полагать, рассчитывали двое за дверью. Принципал велел просить. Чиновник — его имени мы тоже не назовем, — еще моложавый старший конторщик А., повел мистера Ч. по коридору, в дальнем конце которого находился кабинет мистера Б., и сооружение это было так утло, что ветхие половицы под гостем сплошь и рядом проваливались — то под левой его ногой, то под правой отверзалась неизмеримая бездна. Но и этот последний путь он благополучно осилил. Мистер Б., наружностью похожий на деревенского пастора, принял его доброжелательно.

— Надеюсь, у вас внизу все в порядке, — молвил он, глядя на мистера Ч. не без тревоги и сомнения.

— Конечно, в порядке, — ответил тот.

Мистер Б. облегченно вздохнул.

— Слава богу, — сказал он. — Садитесь, прошу вас.

Посетитель последовал приглашению с осторожностью — очень уж хлипким выглядел предложенный стул. Кабинет, где-то там, в горних высях, был большой и просторный, но такой же утлый, как давешний коридор, на вид вроде сарая, с голыми дощатыми стенами; сквозь щели и дырки от сучков внутрь проникал холод космического пространства, и гость, привыкший к иным пространствам и иным температурам, изрядно мерз. Он был слегка сконфужен. Принципал, сидя за письменным столом, взирал на него благосклонно, и бесчисленные голуби в открытых окнах ворковали приветливо, но его смущали валившиеся повсюду телефонные книги, длинный, старый, весь в ржавчине телескоп, нацеленный куда-то далеко во Вселенную, в точку, которую надо было держать под контролем (огромное голубое светило грозило вот-вот взорваться), а особенно его обескураживала мина старшего конторщика А.: мистер Ч. опасался теологии, хотя нападки ее и внушали ему известную гордость. Но вот мистер Б. опустил старшего конторщика А., и Ч. остался с принципалом наедине.

— Чего же ты хочешь? — спросил мистер Б., переходя на доверительное "ты" (они близко познакомились и сдружились одною исторической ночью — сей факт Б. скрывал от своих сотрудников не потому, что стыдился его, а потому, что, зная их примитивные и зачастую слишком уж педантичные нравы, не желал сеять замешательство). — Чего же ты хочешь, дорогой мой Ч.? Знаю, у тебя внизу не мешало бы кое-что улучшить, ввести определенные гигиенические послабления, не для узников, разумеется, для них все должно остаться как есть, из принципиальных соображений, а для персонала, для надзирателей, но реформа невозможна, нет средств, фирма ничегошеньки не дает, да и не может дать, вот и приходится ограничивать себя. Сам видишь, мы тут наверху тоже ничего себе не позволяем, все у нас по-старому, все как было, на живую нитку.

Мистер Ч. невольно чихнул. Он-то ведь на предприятии с самого на-

чала, нерешительно проговорил он, вот уж шесть тысяч лет, а то и семь — он и сам в точности не помнит, — и возложенную на него тяжкую работу всегда выполнял честно и добросовестно. Принципал поспешил заверить, что жалоб у него нет.

— Я трудился, не щадя своих сил, — продолжал посетитель и, осмелев, добавил: — Порой у меня такое чувство, будто из всей фирмы один я работаю по-настоящему.

В кабинете потемнело, голуби умолкли, проплывающее мимо дождевое облако закрыло солнце, холод пространства (межпланетного) стал прямо-таки лютым. Поеживаясь, оба сидели в молочной белизне облаков.

— Ты и здесь прав, — молвил принципал, — работаешь ты с прелевеликим усердием, а мы у себя наверху сильнее в планировании, нежели в исполнении. И не удивительно — (мистер Б. на миг словно бы позавидовал подчиненному), — ты работаешь руками, а мы — головой.

Гость повеселел: голуби опять заворковали, облако редело (пошел даже мелкий снежок — на такой-то головокружительной высоте). Трудился без отдыха с самого, дескать, начала, сказал он, и добился значительных успехов, это бесспорно, если учесть, в каком состоянии пребывает нынче мир, а будущее по всем приметам сулит дальнейшие, еще более грандиозные успехи. Ему бы впору гордиться, продолжал мистер Ч., да только от подобных успехов любой, у кого есть сердце, тревогой изойдет. Мир, того и гляди, покатится к черту. Мистера Б. удивило, что как раз он, мистер Ч., терзается такими мыслями. Переутомился, наверное.

— Вот именно! — воскликнул посетитель, радуясь, что разговор сам собою дал ему возможность высказать просьбу. — Мне нужен отпуск.

Мистер Б. удивился, прямо обомлел. С такими просьбами он никогда еще не сталкивался.

— Отпуск? — переспросил он на всякий случай, ведь мог и ослышаться.

— Отпуск, — подтвердил посетитель, — впервые за шесть тысяч лет.

— Надолго? — осведомился принципал.

— На три недели, — ответил посетитель и добавил, что, на его взгляд, просьба весьма скромна.

— Что же ты намерен делать эти три недели?

— Добрые дела, — ответил мистер Ч.

Принципал не поверил своим ушам.

— Ты? Добрые дела? — прошептал он.

— Почему бы и нет? — отозвался гость, он всегда мечтал творить добро, вот и решил посвятить этому целых три недели.

— А куда ты собираешься? — полюбопытствовал мистер Б.

Гость ответил не сразу. Он покраснел и смущенно потупился.

— В обитель святой Цецилии, — вымолвил он наконец, — в обитель святой Цецилии в К.

Деревенский пастор скатал план мироздания, который задумчиво развернул на столе.

— Господи, — вскричал он, — в обитель святой Цецилии?! Единственное место там внизу, где блюдут мои заповеди? Но почему?

Вот и настал тот миг, которого мистер Ч. более всего страшился (не до жиру, быть бы живу!), из-за которого он мялся здесь, в горних высях, у дверей в контору. Делать нечего, надо признаваться. Если мистер Б. благоволит взглянуть, что висит над камином в салоне обители святой Цецилии, неподалеку от письменного стола сестры Евгении Кошмарный

Апокалипсис, он все поймет, робко сказал мистер Ч. Принципал поднялся.

— Ну что ж, идем, — молвил он, — любопытно все-таки, что общего у тебя с сестрой Евгенией Кошмарный Апокалипсис.

И он провел гостя в дальний угол кабинета. Убрал всякие-разные фолианты, небесные купола и прочий хлам, они отыскивали среди утлых, затянутых паутиной балок старый, плохонький телевизор.

— Надеюсь, работает еще. — Мистер Б. взялся крутить ручки: Землю он, дескать, мигом найдет, чай не первый раз, а уж обитель святой Цецилии тем паче, любит он к ним заглянуть. Оба уселись перед аппаратом, оплетенным паучьими сетями; тенега свисали с балок, и в них копошились перепуганные крестовики. На пыльном экране возник студенистый шар, сильно сплюснутый, желтоватый, вокруг него вертелись шариком помельче.

— Она, — объявил принципал, гордый своей сноровкой, но гость осторожно заметил, что вряд ли, у Земли ведь всего одна луна.

— Верно, — молвил мистер Б., справившись по какой-то научной книге, — пожалуй, это был Юпитер.

Он опять принялся крутить настройку. Вдалеке ворковали голуби, и солнце, ослабленное размерами комнаты, чертило зигзаги на ветхом дереве стен. Наконец принципал отыскал то, что нужно: на экране, по которому в эту самую минуту полз паук, появился голубоватый шар с белыми полярными шапками и буровато-зелеными континентами.

— Нашли, — сказал мистер Б., — ну а теперь город К., по-моему, надо повернуть ручку вправо.

Перед ними было море, береговые кручи, леса, холмы, серебрилась река, пастух приветственно махал шапкой. Потом на экран выдвинулся К., черный от копоти и одновременно золотой. Блоки стали и стекла рвались в небо, из фабричных труб выползали темные клубы дыма. Куда ни глянь, всюду бесконечные ряды многоэтажных домов, всюду, вперемежку с церквами и дворцами, площади и скверы, рассеченные рельсами и мостами. Оба молча глядели вниз. Ближе к центру город уплотнялся, превращаясь в лабиринт старых домов. Вот показались узенькие, тесные переулки. Грязные, обшарпанные дома с островерхими кровлями, над мостовой сохнет белье на веревках, натянутых из окна в окно. Принципал добавил увеличения. На экране возникла людская толчае, нищие, сутенеры, проститутки, вооруженные до зубов полицейские, вор-карманник Куку Сирень — вытаскивает портмоне из брючного кармана какого-то приезжего.

— Скверное место, — заметил мистер Б., — ты поработал на совесть. — И он с легкой завистью покосился на гостя.

Переулками промчался автомобиль и резко свернул за угол.

— Чересчур уж быстро, — проворчал принципал.

Седоки палили из автоматов.

— Это надо бы запретить, — тихонько буркнул деревенский пастор.

Народ бросился враспынную. Полиция попряталась. Кто-то опрокинул рыночный ларек. На полной скорости подлетел второй автомобиль.

— Бебэ Роза, — пояснил мистер Ч.

Принципал наморщил лоб, тем более что в поле зрения возник теперь и король гангстеров Пеле Лилия: жующий резинку, небритый, он стоял на пороге борделя; принципал едва не выключил телевизор, мистеру Ч. тоже стало не по себе. Пеле метнул нож, который упруго вонзился в левое

заднее колесо Бебэ. Машина пошла юзом, откуда-то высъехали полицейские, а Бебэ Роза скакнул в окно (в объятия прекрасной гангстерской подружки Мей Мак-Мей) — и был таков. Наверху в своем кабинете мистер Б. раздумывал, не устроить ли новый потоп. Но вот он улыбнулся, и хмурое лицо разгладилось. Они увидели обитель святой Цецилии. Монастырь был расположен возле большой площади, на которой играли дети. Он утопал в диких розах, изящный дворец в стиле рококо, сильно тронутый временем, обнесенный фигурной кованой оградой. Там бесшумно сновали сестры в старомодных одеяниях, напевая псалмы, творя добро: сестра Мария Нааманова Проказа, сестра Бланш Седьмой Апостол, Генриетта Отрезанная Грудь Святой Агаты, Клер Неронова Факельная Аллея Сжигаемых Христиан и многие другие. Сидючи на гнутых стульчиках, они вязали свитера, наподобие тех — как с болью в сердце установил мистер Б. (покрутив ручку настройки в обратном направлении), — что носил король гангстеров. Из старинного зала слышалась органная музыка, а самая младшая из сестер, Розочка Десять Тысяч Мучений, наделяла голодных детей бутербродами. Лицо мистера Б. все больше светлело, голуби, долго молчавшие в испуге, разворковались как никогда, солнечные блики на стене сияли ярким золотом. Но продолжалось так лишь мгновение, и тем досаднее был поворот: на запыленном экране настоятельница, сестра Евгения Кошмарный Апокалипсис, читала в салоне Библию, а рядом, над камином, обрамленный розами, висел некий портрет, видимо высокопочитаемый. Мистер Ч. смущенно опустил голову. Принципал, изумленно взирая на экран, увеличил резкость.

— Возможно ли, — произнес он, и глас его был столь могуч, что за окнами собрались грозовые тучи, — возможно ли? Твой портрет над камином в обители святой Цецилии? Прошу тебя, объясни мне, что это значит.

Мистер Ч. долго молчал.

— Моя тяга к добру, — ответил он наконец, терзаясь угрызениями совести.

— Объяснись, — повелел принципал, и снаружи зарокотал гром.

— Может быть, соблаговолишь сам заглянуть в мое прошлое, — промямлил гость.

— Изволь, — рыкнул мистер Б.

Он нажал какой-то рычажок на телевизоре. После ряда неудачных попыток оба узрели мистера Ч. (среди языков серно-желтого пламени) в мрачных местах его трудов. Он исправлял свои служебные обязанности. Освидетельствовал некоего дипломата. Потный, во все еще элегантном фраке, покойник стоял перед ним. Мистер Ч. работал тщательно. Ничто не укрывалось от него, ни один грешок, ни одна неправедная мзда. Грехи он заносил в реестр, банкноты складывал на свой полубогубленный стол. При этом, как заметил принципал, несколько купюр отправились в ларец с надписью "Обитель святой Цецилии".

— Ты помогаешь моим овечкам, — дрогнувшим голосом сказал деревенский пастырь, — помогаешь деньгами, изъятыми при служебных освидетельствованиях?

Совершенно верно, кротко согласился мистер Ч., а иначе, мол, как бы сестрички сводили концы с концами? Ведь нет на свете ничего более разорительного, нежели благие дела. Деньги идут в обитель по почте, и для сестричек он богатый помещик Судерблум (на экране мистер Ч. заполнял

формуляр), а когда хозяйка однажды попросила у него фотографию, он выслал снимок следующим же письмом. Кто уж там внизу знает, каков он с виду. Принципала эта история не оставила равнодушным. Он со вздохом выключил телевизор. Оба вернулись к письменному столу (запорошенные пылью, с паутиной в волосах).

— Так как же теперь насчет отпуска? — поинтересовался мистер Ч.

Ему весьма неловко, ответил принципал, это в корне противоречит плану мироздания (он снова развернул его), однако же он намерен спросить старшего конторщика А., тот лучше разбирается в подобных вещах. Появился старший конторщик А. Раз уж его спрашивают, сказал он, то он вынужден признать, что никогда не понимал смысла деятельности мистера Ч., ведь в плане мироздания записано, что его предприятие со временем отомрет, а значит, по сути, в нем уже сейчас нет надобности. Принципал вынул из кармана кусок черствого хлеба. Подошел к окну (тучи развеялись) и покормил голубей, потом бросил взгляд в телескоп на далекую точку в пространстве (на солнце, которое как раз в эту минуту взорвалось).

— Мистер Ч. творит добро, а А. считает, что надобности в мистере Ч. нету, — молвил он наконец, сурово глядя на обоих. — Кажется, назревает мятеж.

Мистер Ч. и старший конторщик А. сконфуженно поклонились, гость при этом чихнул: он простудился.

— Ладно, — продолжил принципал, — попробуем. Три недели. Вы помогали моим овечкам, мистер Ч., и заслужили награду.

В плане мироздания ничего от этого не изменится, попытался унять последние сомнения старший конторщик А. Пусть мистер Ч. и не будет склоняться ко злу, целых три недели, да только люди все равно не перестанут его творить, хотя бы в силу привычки.

— Возможно, — ответил принципал, размышляя уже об иных, более важных задачах и отпуская своих подчиненных. — Возможно. Боюсь только, что искушение добром окажется слишком могучим. Прощайте, мистер Ч. Судерблум.

После этих слов старший конторщик, провожая гостя из кабинета, украдкой покачал головой. Облегченно вздохнув и радуясь успеху своего начинания, мистер Ч. возвратился в свое обиталище и по дороге не отказал себе в озорном удовольствии съехать вниз по перилам — там, где они сохранились. Внизу он черкнул хозяйке несколько строк, предупреждая ее, что он, помещик Судерблум, прибудет послезавтра и погостит у них три недели; письмо он передал одному из своих служащих, который как раз собирался вверх — это был нижний чин отдела чувственности, — с поручением бросить его в ближайший почтовый ящик. Письмо мистера Ч. (помещика Судерблума) сестре Евгении Кошмарный Апокалипсис оказалось последним из тех, что почтальону Эмилио предстояло наутро доставить по адресам. Эмилио было сорок пять лет, и двадцать пять из них он прослужил в почтовом ведомстве. Ежемесячные денежные переводы, которые он относил в обитель святой Цецилии (всегда по тринадцатым числам), не проšli для него бесследно. Левое ухо Эмилио было порвано, правая ладонь продырявлена; он хромал и лишь недавно оправился от огнестрельного ранения в грудь. На сей раз он тоже двинулся в путь с большой неохотой. На велосипеде, хотя тот наверняка будет помехой. Но страх щекотал нервы, вводил в соблазн, ведь Старый

город пользовался дурной славой. И вот он свернул налево с проспекта Маршала Фёгели, миновал Пантеон и возле "Френера и Потта" по Котельному переулку въехал в опасный район. Опасения его были, как выяснилось, справедливы. Он вдруг заметил, что переулок словно вымер, тогда как обычно там царили шум и гам. Кругом ни души — крыс и тех не видно. Перед порталом синагоги высилась баррикада, здание школы сгорело дотла — пожара еще дымилось, — окна домов были заколочены досками, магазины стояли на замке. Письмоносец повернул бы обратно, да вот беда: поскольку Котельный переулок возле "Френера и Потта" круто идет под гору и ехать по булыжной мостовой опасно, он обратил внимание на все эти перемены, уже забравшись далеко в глубь Старого города. Сейчас он проезжал мимо частного банка "Вильгельм и Эрнст". Банк ограблен подчистую. Эмилио озирался по сторонам, высматривая полицию. Увы. Когда ему продырявили ладонь, вспомнил он, все было точно так же. Делать нечего, надо ехать дальше. Он принялся насвистывать "Честность и верность навек сохрани, до самого смертного часа". Сквозь щели забаррикадированных дверей и заколоченных окон за ним испуганно наблюдали, он это чувствовал. Вот уже и Мясницкий переулок, что берет начало возле памятника неизвестному полицейскому и заканчивается у площади Святой Цецилии. Эмилио изо всех сил нажимал на педали, но Мясницкий был вымощен еще хуже, чем Котельный. Вперед он продвигался медленно, велосипед трясся и подпрыгивал. А ведь именно теперь скорость была бы как нельзя более кстати, ибо в низких дверях Мясницкого — баррикад здесь никто не возводил — стояли гангстеры. Эмилио хорошо их знал. Эти имена в К. осмеливались произносить только шепотом: Додо Тюльпан, угрюмый душитель вдов; Фруфру Мак, печально известный вор-верхолаз; Дада Лаванда, осквернитель церквей; Зисси Ревень, вымогатель; Куку Сирень, карманник; Шиши Фиалка, насильник, и другие, не менее солидные персоны. Письмоносец, обливаясь потом, ехал сквозь их строй, с перепугу насвистывая. От прессы присутствовал один Дж. П. Белчерн, репортер "Эпохи". Гангстеры стояли, прислонясь к дверным косякам и устремив взгляд в небо высоко над ущельем переулка (в сияющее летнее небо). "Ни на пядь не отступи от стези господней", — высвистывал Эмилио. Гангстеры свистели за компанию. Зловеще поднималась к небу благочестивая мелодия. Гангстеры не шевелились. Эмилио подъехал к площади Святой Цецилии, залитой солнцем, кишашей голубями и играющими детьми, а за площадью была обитель, где ему для полного счастья придется выпить ромашкового отвара, которым привратница, сестра Мария Нааманова Проказа, усиленно потчевала его всякий раз, как он приносил письмо. Опасность как будто бы миновала. Оставалось только проехать пивную "Благое желанье", двухэтажную развалюху с геранями за пыльными стеклами и до блеска начищенной небесно-голубой вывеской с золотой надписью. Письмоносец хотел было предпринять финишный рывок. Но тут с порога пивной, подмигнув левым глазом, ему улыбнулась Мей Мак-Мей (мистер Б. у себя в горних высях взирал на это с неудовольствием). Эмилио затормозил и слез с велосипеда. Правда, Мей подмигивала и в тот раз, когда он получил легочное ранение, которое только что залечил. Но, как ни боялся почталовн гангстеров (и нового легочного ранения), перед женщинами он был герой. Прислонив велосипед к бровке тротуара, он посмотрел на Мей. Она была прекрасна. И выше ростом, чем коренастый Эмилио. Складная, пухлень-

кая блондинка, не то что его супружница дома в Апостольском переулке, с пятью детьми да бесконечными пеленками.

— Выпьешь со мной перно? — спросила Мей Мак-Мей и опять подмигнула.

Гангстеры по-прежнему насвистывали, привались к косякам. Вроде бы и не интересовались почтальоном.

— С радостью, — промямлил Эмилио.

В конце концов, он вез в обитель всего лишь письмо, а не деньги. Нынче не тринадцатое, и гангстеры наверняка это знают. Как во сне, он бок о бок с Мей переступил порог пивной "Благое желанье". Солнце заглядывало внутрь сквозь пыльные окна. А в Апостольском квартира выходила на север. Где-то вддали насвистывали гангстеры: "Честность и верность навек сохрани". Пивнушка была пуста (тогда, при легочном ранении, тоже). За стойкой маячил слепой Челио. Плутон, старая овчарка, даже головы не поднял. На столе у окна стояли две рюмки перно, зеленовато-белые в солнечных лучах. Эмилио был слишком переполнен счастьем и дерзостью, чтобы в нем зародилось хоть какое-то подозрение. Благоухали духи Мей — "Роб де ню". Прошлый раз были другие, "Нюи д'амур". Мей села. Эмилио тоже. Они с улыбкой чокнулись. Эмилио отпил глоток и тотчас крепко заснул. "По крайней мере что-то новенькое", — только и успел он подумать.

СХЕМА ПРОДОЛЖЕНИЯ

Через заднюю дверь в пивную "Благое желанье" входит король гангстеров Пепе Лилия вместе со своими людьми. Мей исчезает, равно как и слепой Челио со старой овчаркой Плутоном. Почтовый эксперт вытаскивает из сумки усыпленного Эмилио письмо и аккуратно распечатывает его. Текст прочитывают вслух. Появляется Бебэ Роза, соперник Пепе Лилии. Также читает письмо. Гомерические речи короля гангстеров и Бебэ Розы — каждый норовит изобразить себя хуже, подлее, порочнее другого. Единоборство, завершающееся вничью. Оба одинаково хорошо владеют автоматами, и пули их сталкиваются в воздухе. Гангстеры заключают перемирие. Пепе Лилия и Бебэ Роза торжественно клянутся, что верят друг другу в том, будто они происходят от шлюх и преступников (на самом деле Пепе — сын учителя, а Бебэ — сын священника). Они решают совершить налет на обитель святой Цецилии. Помещика Судерблума нужно захватить, когда он прибудет в монастырь. Засим они кладут письмо, снова аккуратно запечатанное, в почтовую сумку Эмилио.

Эмилио просыпается. Пивнушка пуста, Мей исчезла, но письмо в обитель святой Цецилии пока на месте. За стойкой слепой Челио, на полу старая овчарка. Снаружи, в Мясницком переулке, гангстеры по-прежнему стоят, привалившись к косякам, и насвистывают "Честность и верность навек сохрани". Почтальон на велосипеде пробирается к обители, осторожно лавируя в сутолоке играющей детворы и порхающей голубей. Вручив письмо привратнице, он угощается ромашковым отваром.

В обители царит ликование. Настоятельница сообщает, что приезжает помещик Судерблум, на три недели. Готовят комнату для гостей. Сестра Розочка Десять Тысяч Мучений видит Бебэ Розу, тот клянчит у нее кусок хлеба: переодетый нищим, он пришел в обитель на разведку. Он получает

ломоть хлеба с маслом и съедает его с наслаждением, не отрывая глаз от зардевшейся Розочки. На кухне сестры начинают стряпать пироги и торты для большого приема.

Мистер Ч. под видом помещика Судерблума поднимается на землю. Первым делом он наносит визит нескольким банкирам, которых уличает в обмане. Дрожжашие банкиры один за другим падают в свои кресла и заполняют чеки мистера Ч. Завладевший огромнейшим состоянием, мистер Ч. отправляется за подарками для обители — к Диору, к Фату, в парфюмерные магазины, в ювелирные, в универсальные. Он покупает самые модные бюстгальтеры, умопомрачительные вечерние туалеты, самые дорогие украшения, самые лучшие вина, самые выдержанные коньяки и т.д.

Въезд мистера Ч. с караваном прислужников, несущих подарки, в обитель святой Цецилии. В подъездах и за оградами повсюду караулят гангстеры, вооруженные автоматами и ножами.

Мистера Ч. тепло принимают в обители. Набожное пение сестричек, речь растроганного мистера Ч. на тему "Творите одно лишь добро". Затем он велит распаковать подарки. Сестрички в смятенье разбегаются, увидев бюстгальтеры, вечерние платья, украшения, но мало-помалу одна за другой возвращаются. Застенчиво примеряют у себя в кельях наряды, пробуют духи. Стойко держится одна настоятельница.

В горних высях мистер Б. наблюдает на телеэкране метаморфозы в обители. Старший конторщик А. впал в задумчивость. Драгоценности и вечерние туалеты, по его разумению, суть зло. У него в голове не укладывается, как же сестрички все это надевают, тем более что мистер-то Ч. взял отпуск и зла уже не существует. Они и духами пользуются! Старший конторщик ломает руки. Мистер же Б. усмехается. Сестрички в красивых платьях нравятся ему, пожалуй, больше, чем когда-либо.

В обители святой Цецилии праздник. Сестрички рискнули появиться в вечерних платьях и драгоценностях. Одна лишь настоятельница держится стойко. В окно заглядывают ребятишки и жители квартала. Настоятельница под звуки фисгармонии танцует вальс с мистером Ч., хотя и поневоле, и с нечистой совестью. Она была бы рада выпроводить мистера Ч., но ей нужны его деньги, поэтому она решает примириться с его присутствием.

Наутро гангстеры готовят налет. Гангстерский король степенно шагает через площадь. Как только он окажется на той стороне, пора начинать атаку — таков его секретный приказ. Пепе Лилия доходит до середины площади. И тут ему под ноги катится детский мячик. Он поднимает его, бросает какой-то девочке. Малышка улыбается гангстерскому королю. Пепе Лилии становится как-то не по себе. Он опускается на скамейку посреди площади, беспомощно улыбается в ответ. Девочка усаживается к нему на колени. Пепе Лилия растроганно шмыгает носом. Облепленный детьми и голубями, король гангстеров блаженно рассказывает ребятам сказки. Искушение добром оказалось выше его сил. Гангстеры всё ждут, не зная, что им делать. Бьет полдень, час, два. Мистер Ч. выходит из обители на прогулку. Видит детей, видит короля гангстеров, рассказывающего сказки. Мистер Ч. показывает фокусы. Дети и Пепе Лилия аплодируют. Затем все вместе: мистер Ч., Пепе Лилия и дети — водят хоровод. Гангстеры хоть и с автоматами, но в отчаянии.

Без Роза решает действовать в одиночку и через окно прокрадывается в обитель. Пепе Лилия с мистером Ч., став друзьями, пришли в

комнату мистера Ч., чтобы выпить на брудершафт. Мистер Ч. пьет шампанское, Пепе Лилия — молоко. Они чокаются. Бебэ Роза с автоматом в руке крадется по дому. В коридоре он сталкивается с Розочкой Десять Тысяч Мучений, которая несет в комнату мистера Ч. торт (мистер Ч. предпочитает в первую очередь торты, украшенные надписью "Да здравствует добро!"). Розочка испуганно стискивает торт, оба медленно опускаются на колени. Бебэ Роза смотрит на Розочку Десять Тысяч Мучений, а Розочка Десять Тысяч Мучений — на Бебэ Розу. Целуются.

В мире воцаряется добро. Случай с карманником Куку Сирень. Он крадет бумажник, набитый пятидесятитысячными банкнотами, крадет чисто машинально. И, едва осознав это, хочет вернуть их потерпевшему. Но тот отказывается принять деньги: мол, раз уж Куку Сирень не может не красть, значит, и деньги ему пригодятся. Боксеры, не желающие более драться, и т.д., и т.п.

Настоятельница обнаруживает в кладовке спящих Розочку и Бебэ. На стене висит автомат с розой в дуле. Настоятельница в отчаянии, спешит вверх к мистеру Б. Но звонок у двери в контору она дергает слишком резко, поэтому не слышно ни звука. Звонок откликается лишь на мягкое обращение.

Мистер Ч. творит добро. Город К. превращается в райские кущи. Гангстеры и полицейские братаются и т.д. Пепе Лилия — солдат Армии спасения. Мир замер в неподвижности, ибо существует одно только добро. Нельзя ни заколоть тельца, ни срезать колос. Экономика разваливается, ведь полное исчезновение коррупции и биржевых мошенничеств парализует ее.

Мистер Б. у телевизора решает вмешаться. У дверей в контору он обнаруживает отчаявшуюся настоятельница и вместе с нею спускается на землю. Разговор мистера Б. с мистером Ч., который осознает, что надо вернуться к своей работе. Но, как просит мистер Б., впредь ему, пожалуй, не стоит выполнять ее столь скрупулезно, как раньше.

Мистер Ч. прощается с обителью святой Цецилии. Сестры, дети машут ему вслед и поют, утешившаяся настоятельница тоже.

Мир, однако, претерпевает обратную метаморфозу. Прямо на митинге Армии спасения Пепе Лилия снова становится гангстерским королем, спешит вернуться к своим парням, чтобы напасть в Мясницком переулке на покинувшего обитель мистера Ч., и с автоматом выходит ему навстречу, после чего прямо на глазах у перепуганных гангстеров мистер Ч. с Пепе Лилией проваливаются сквозь землю. На дороге остается лишь круглое отверстие, из которого поднимаются ввысь черные, как сажа, облачка.

А вот с Розочкой Десять Тысяч Мучений и с Бебэ Розой обратной метаморфозы не происходит, они уходят прочь.

СМИТИ

Трудности у него начались еще утром, они свалились на него неожиданно и давили и удручали тем сильнее, что Дж. Г. Смит — на этом имени, перепробовав много других, он в конце концов остановился —

чувствовал себя уж если и не преуспевающим предпринимателем, то, во всяком случае, уверенно в своем деле; доходы достигали таких высот, когда можно неплохо жить, власти относились к нему терпимо, пусть неофициально, однако более-менее сносно; тем глупее были сейчас колебания Лейбница. Конечно, Лейбница можно заменить любым студентом-медиком, имеющим маломальский опыт в рассечении трупов, но Дж.Г. Смит привязался к Лейбницу, вот штука; зарабатывал тот, видит бог, прилично, и хотя Лейбниц получил разрешение – а именно сегодня утром ему его и вручили – и мог вновь открыть врачебную практику, должен же он, однако, понимать, что это разрешение ему теперь совсем без надобности, не из-за прежних его промашек – абортот и все такое прочее, – а потому, что Лейбниц вот уже скоро четыре года как работает у Дж. Г.Смита, слишком большой срок, чтобы выходить из игры; ткнуть в это Лейбница носом было занятием не из приятных, но в конце концов до Лейбница дошло даже и то, почему ему не повысят ставку, тут Смит был непреклонен, не надо угрожать ему уходом, с ним этот номер не пройдет, однако занять такую же твердую позицию по отношению к новому фараону Смит, конечно, не мог: тот шел ва-банк и сорвал изрядный куш, против природы вещей не попрешь. "Видите ли, Смити, – заявил новый фараон, ковыряя в зубах, сразу в самом начале разговора – они стояли на углу Лексингтон-авеню и 52-й стрит, где напротив строился городской банк. – Видите ли, Смити, конечно, у старого Миллера было четверо детей, а я холостой, но у меня иные требования к жизни", а на робкую угрозу Смити обратиться к портовому инспектору – тот тоже относился к нему терпимо, он вообще был с ним на дружеской ноге – фараон только и ответил: ну, если так, тогда им не о чем и разговаривать. Трудности, одни только трудности. Да тут еще жара, и всего лишь третья мая, а подумать можно, самый разгар лета, Смити ходил все время мокрый; уже когда Лейбниц появился со своими требованиями, он весь обливался потом, все мельтешило в глазах от жары, Бруклин был почти не виден, кондиционер сейчас Смити не мог себе позволить, пахло трупами, правда, дворник не обращал внимания, а жил Смити в другом месте, по телефону его можно было еще застать у Симпсона, и Лейбниц тоже был ко всему привычный, тем не менее неудобство было, сплошь и рядом кто-нибудь из посетителей пугал дверь и вместо бара у Симпсона попадал в "анатомичку", держать же трупы постоянно в холодильной камере Лейбниц тоже не мог, он затаскивал их на цинковый стол, когда приступал к работе, вообще-то, подумал Смити, надо бы замаскировать все под лабораторию, под нечто научно-техническое, сверкающее чистотой и белизной кафеля, а то, что у него на сегодня под Трайборским мостом, выглядит весьма сомнительно. Конечно, само место имело свои бесспорные преимущества, и прежде всего близость Ист-Ривера. Смити чертыхнулся: сходить домой, принять душ и сменить рубашку времени не было. Помимо жары донимала вонь. Не трупный запах, что шел с самого утра, тот профессиональный запах, на который он обращал так же мало внимания, как дубильщик на запах сырой кожи, нет, городская вонь доводила его до бешенства, он ненавидел ее, воняло все, кругом стояла едкая и липкая вонь, склеенная мириадами молекул пыли, гари и мазута, спрессованная воедино с горячим асфальтом, фасадами домов и чадящими улицами. Он изрядно выпил, начав еще во время разговора с Лейбницем. Джин. С новым фараоном они заглянули в бар на бегах в Бельмонте. Два пива.

Потом он пил с портовым инспектором где-то на 50-й стрит виски. Инспектор выпил пива, съел два натуральных бифштекса, а Смити к своему так и не притронулся. Шеф полиции, пусть с опозданием, но все же явившийся, как и обещал портовый инспектор, оказался мерзким интеллигентиком, вообще не полицейский тип, голова яйцом, лысая, как у профессора, а пост этот он добыл через перекрестные связи гомосеков; пришел, представил Смити — конфронтирующие стороны теперь проматривались все труднее и труднее, гангстер тут один на днях, Смити помог ему избавиться от дочки миллионера, тоже, между прочим, гомик, был раньше священником, разгуливает себе спокойно на свободе. А может, шеф полиции вовсе и не гомик, на кельнершу только что поглядел очень даже с интересом. Про священника он был в курсе, сам связал его со Смити, а вовсе не портовый инспектор, как сначала думал Смити. Так что он должен еще оплатить шефу полиции дочку миллионера, хотя уже заплатил за нее портовому инспектору, что за проклятое предприятие, одни убытки. Смити допил виски. Собственно, ему пора идти к Симпсону, но шеф взял вдруг и разговорился. Этот тип может себе позволить поболтать, для него время не деньги, а тут еще жара не продохнуть, даже кондиционер не помогает: было бы лучше, если бы санитарная служба полиции все взяла на себя, само собой разумеется, будем все держать в тайне, и Холи, священник, того же мнения, слишком уж рискованно перепоручать ведение дела какому-то частному лицу, такому, как Смити, священник ведь новый секретный босс гангстеров на их участке. Смити опять перешел на джин. К мясу он все еще не притронулся, а шеф полиции вякал дальше: старый способ борьбы с преступностью больше не срабатывает, государство вынуждено сегодня жить с преступностью в согласии, с тех пор как они нашли с Холи общий язык, число преступлений на участке уменьшилось, все дело в обоюдной терпимости, Смити пора понять, что время его постоянных лавирований между легальным лагерем и нелегальным прошло, потому что на сегодня легальные силы пусть и не искоренили нелегальные, однако управляют ими, и в противном случае, если Смити не проявит должного понимания, придется подключить к делу санитарную службу полиции, на худой конец портовую полицию, хотя при этом всплывут некоторые сомнения гигиенического характера. Смити заказал кофе, взял три куска сахара, помешал ложечкой. "Сколько?" — "Половину в каждом случае", — произнес шеф, снял свои очки без оправы, подышал на них, протер, опять надел и стал изучать Смити, как естествоиспытатель вошь. Портовый инспектор ковырял в зубах, как новый фараон, когда они стояли напротив городского банка. Шеф опять снял очки, протер их еще раз, вид Смити вызывал у него отвращение. По такому тарифу работать невозможно, сказал Смити, ему придется теперь вдвое больше платить Лейбницу, эта свинья опять может легально заниматься врачебной практикой. Ну хорошо, сказал шеф полиции, заказав еще раз кофе, он переговорит с санитарной службой. Смити потребовал еще один джин. "Мне, право, жаль, Смити", — сказал портовый инспектор. Смити уступил, в надежде, что удастся договориться за спиной полиции с Холи, ведь постоянно заключались сделки, о которых ничего не следовало знать шефу полиции, точно так же, как обдывались делишки, никак не касавшиеся Холи, и Смити заказал еще одно пиво. Но когда он где-то около полуночи наконец принялся за свой натуральный бифштекс с картофелем фри во французском ресторане Томми, про который никто

не знал, почему он называется французским, к нему вместо Холи подсел ван дер Зеелен, выдававший себя то за русского, то за поляка, смотря по обстоятельствам, хотя был, скорее всего, итальянцем или греком и звался как-нибудь совсем иначе; кое-кто даже утверждал, что на самом деле он голландец, только зовут его не ван дер Зеелен, а как "сыр" податски; во всяком случае, он перекантовался сюда два года назад полудохлым эмигрантом из Европы, будь она неладна, штампует всех этих крыс подряд, давно бы уже пора президенту вмешаться в это дело, а то теперь вот смотри, сидит себе в чертовски дорогом костюме, шелковистая ткань, разит до невозможности парфюмерией, курит гаванскую сигару "Монте-Кристо". Холи, к сожалению, помешали прийти, сказал ван дер Зеелен. "Дела?" – спросил Смити, хотя лично его это вовсе не касалось, он был зол, ему надо было договориться с Холи. "Собственно, да", – ответил ван дер Зеелен, заказал себе салат из омаров и добавил, что Холи, скорее всего, лежит уже в холодильной камере в каморке у Смити, а может, даже уже и на столе у Лейбница. "Жалко гомика", – посочувствовал Смити, посмотрел задумчиво на ван дер Зеелена и решил про себя как-нибудь при случае обязательно узнать, как будет "сыр" податски: уличный фараон под Трайборским мостом был швед, а потом подумал, известно ли шефу полиции, что босс уже кто-то другой, вовсе не Холи. Ван дер Зеелен пояснил со снисходительной ухмылкой: "Двое на один участок слишком много, один – лишний. Мы уж как-нибудь поладим друг с другом, Смити". – "К сожалению, вынужден повысить тариф, – заявил Смити. – Лейбниц обходится теперь дороже". Ван дер Зеелен покачал головой. "Я женился, Смити, на прошлой неделе", – сообщил он. "Ну и что?" – спросил Смити. У его жены есть брат, студент-медик, правда, спекулирует, к сожалению, играет на бирже на срок, чертовски дорогое удовольствие. Смити понял: "Будем работать по старому тарифу", – предложил он. "На десять процентов меньше, – ответил ван дер Зеелен, – мне все-таки надо как-то поддерживать своего шурина". Дела Смити были из рук вон плохи, да плюс еще эта убийственная жара, он как в кипящий бульон окунулся, когда вышел из французского ресторана Томми. Собственно, он собирался пойти домой, в свои три меблированные комнаты с кухней и ванной, чудовищно обставленные, на немецкий лад, с пола до потолка забитые книжками, ни одну из которых невозможно прочитать, профессорская квартира, доставшаяся ему от предшественника Лейбница, не квартира, а затхлая конюшня, дышать нечем, не проветривается, не убирается, зато люкс, если вспомнить тот закуток, где он ютился много лет подряд, в трущобах Бронкса. Однако, если дела с новыми партнерами и дальше так пойдут, он очутится вскоре где-нибудь в сыром подвале, шеф полиции – коммунист, это ему ясно, а ван дер Зеелен – еврей, это еще яснее, скорее всего из Голландии, хотя и зовут его как "сыр" податски, самое время сейчас смыться отсюда, в Лос-Анджелес или еще куда, смыться и открыть там новую контору, такой, как Смити, везде нужен, трупы повсюду требуется убрать. Напротив французского заведения Томми был маленький бар. Смити стал переходить улицу, резко тормознула машина, ее занесло, шофер выругался. В баре Смити опять заказал джин, лучше всего сейчас напиток. Через открытую дверь бара он видел, как ван дер Зеелен сел в свой "кадиллак", рядом с Сэмом, своим шофером. Смити выпил одним залпом джин, но не сразу пошел домой. Лоснящаяся физиономия ван дер

Зеелена нагнала на него тоску, ему стало жалко Холи. Смити шмыгал носом, пока называл шоферу такси улицу вблизи Трайборского моста, Холи все-таки верил еще в справедливость, вообще постоянно твердил о боге, умора, конечно, при его-то бизнесе, Смити не сомневался, что гомик втайне молился, перебирая четки, хотя для Смити все это уже было пустым звуком. Шофер такси что-то бормотал себе под нос, по-испански, не замолкая ни на минуту, Смити был рад, когда машина добралась до нужной улицы, шофер казался ему ненормальным, хотя конечно, жара любого донимала. Смити нужно было еще пройти вдоль нескольких домов и спуститься потом вниз к Ист-Риверу, по старой привычке он никогда не доезжал до самого места своей работы. Улочки, как узкие коридоры, втиснутые в безжизненное пространство, казались пустыми, но на тротуарах, вдоль стен и на балконах лежали и спали люди, голые и полуголые, почти неразличимые из-за плохого освещения, но ощущалось их присутствие кругом, в колыхающе-расплывшейся массе было нечто звериное, Смити бежал вдоль пышущих жаром, храпящих, взмокших потом каменных стен, с него лило ручьями, он слишком много выпил, наконец он добрался до полуразрушенного пакгауза. На пятом этаже размещалась "анатомичка" Лейбница, не совсем, конечно, практично, но Лейбниц настаивал на этих помещениях, вообще-то Смити не совсем было ясно, как в деталях осуществлялась деятельность Лейбница и как он с этим справлялся, например, остатки, ведь должно же было что-то оставаться, ну пусть совсем немного, и их нужно же куда-то девать, с пятого-то этажа, непонятно, может, все без остатка растворялось и с шумом летело в канализационную трубу? Смити передернуло, когда он подумал, что до Лейбница его работу делал профессор прямо в той квартире, где сейчас жил Смити, хотя, правда, оборот тогда был еще небольшим — всего один труп в месяц. Смити уже открыл ключом дверь, слабо надеясь еще раз увидеть Холи, пусть хотя бы его останки, как вдруг, вторгаясь в его сентиментально-благочестивый настрой, обволакивающий Смити пьяным туманом, голос позади него, со стороны улицы, произнес: "Я хочу переспать с тобой". Смити, держась за ручку полуоткрытой двери и собираясь переступить порог, оглянулся. Вплотную позади него, тоже около двери, стояла женщина, виден был только ее силуэт, Смити еще не зажег лестничного освещения. Шлюха какая-нибудь, подумал он и собрался уже захлопнуть перед ее носом дверь, как вдруг его охватил дикий азарт. "Заходи", — сказал он и в темноте на ощупь пошел к лифту. Женщина последовала за ним, он чувствовал ее в спертой духоте нагретого за день коридора, лифт спускался сверху. Они стояли близко друг от друга, пришлось подождать, пока кабина — то был старый, еле передвигавшийся грузовой лифт — оказалась внизу, Смити, сильно пьяный, успел уже позабыть про женщину. И только когда он прислонился в ярко освещенном лифте к стенке, она попала ему на глаза, и он вспомнил, что взял ее с собой. Лет тридцати, изящная, падающие прядями темные волосы, большие глаза, может, красивая, а может, и нет, в пьяном угаре Смити никак не мог составить себе о ней цельного впечатления, сквозь хмель пробивалось ощущение исходившего от нее благоуродства, чего-то необычного, таившего в себе опасность, на ней было безумно дорогое платье, облегавшее ее, фигурка что надо, и вся она как-то никак не вписывалась в окружающую обстановку. Отчего, Смити не знал, он только чувствовал это, ее облик просто не вязался с продажным телом шлюхи, и, хотя ему

смутно мерещилось, что не стоит ввязываться в эту авантюру, он нажал на кнопку, и лифт поехал. Женщина рассматривала его в упор, без насмешки, но и без страха, просто равнодушно. Теперь он не дал бы ей больше двадцати пяти, он уже привык определять возраст чисто профессионально. "Сколько?" – спросил Смити. "Даром". Его опять захлестнул бесовский азарт, ну я ей сейчас устрою развлеченьице, и он представил себе, как она обезумеет и, забыв про свое проклятое благородство, начинавшее раздражать его, забудит, бросится вниз по лестнице, кинется, скорее всего, к фараонам и как те просто ухмыльнутся ей в ответ. Когда он все это себе представил, то ослабился в улыбке прямо ей в лицо, но она не скривилась и продолжала смотреть на него, не меняя выражения лица. Лифт остановился, Смити вышел, открыл дверь в "анатомичку", вошел, не оглядываясь на женщину. Она шла за ним, остановилась в дверях. Смити подошел к столу, оставил на Холи, тот мертвый и уже голый лежал перед ним, с простреленной грудью, удивительно чистый, Лейбниц, вероятно, уже обмыл труп. Через спинку стула была перекинута сутана священника, аккуратно сложенная, и лежало нижнее шелковое белье Холи, цвета красной киноvari. "А четок не было?" – спросил Смити. "Больше ничего, – ответил Лейбниц, – кроме вот того, – и указал в угол около окна: лента с патронами, револьвер, автомат, несколько ручных гранат. – Все было спрятано под сутаной, чудо, что все это не взлетело на воздух! – Лейбниц стал наполнять водой старую ванну, Смити видел ее впервые. – Я думаю, он вообще не был священником. Просто гомиком". – "Не исключено, – сказал Смити. – Новое приобретение?" Он рассматривал канистры и бутылки, стоявшие кругом. "Что?" – спросил Лейбниц. "Ванна", – ответил Смити. Она всегда тут была, сказал Лейбниц и подтолкнул тележку с хирургическими инструментами к цинковому столу. "Ты тоже датского не знаешь?" – "Нет", – ответил Лейбниц. Смити отвернулся, разочарованный, и увидел женщину, все еще стоящую в своем дорогом платье в дверях, небрежно прислонившись левым плечом к косяку. Он опять забыл про нее и сразу вдруг вспомнил, как представлял себе – вот она закричит и бросится бежать к фараонам. "Убирайся", – произнес Смити в бешенстве и тут же понял, что это всего лишь фраза. Она молчала. Ее лицо не было накрашено, волосы спадали вниз длинными мягкими прядями. Смити почувствовал озноб, было страшно жарко, а его вдруг пробрал ледяной холод, и тогда, не спуская глаз с женщины, все еще стоявшей, прислонившись к дверной притолоке, Смити спросил: "Лейбниц, а где ты, собственно, спишь?" – "Этажом выше", – ответил Лейбниц, уже разрезая Холи. Смити направился к женщине. Она ничего не сказала, смотрела на него равнодушным взглядом. "Иди в лифт", – приказал Смити. Опять они стояли друг против друга, прислонившись к стенкам кабины, и в течение минуты пристально разглядывали один другого. Смити закрыл решетку шахты, сквозь открытую дверь их рабочего помещения он видел Лейбница, усердно трудившегося над трупом Холи. Потом лифт пошел вверх, остановился. Они оба не двигались. Смити смотрел на женщину, она на него, как на что-то неживое, как на воздух, однако предметно-материализованный, не то чтобы она смотрела в пустоту или делала вид, что не видит его, нет, и в этом было как раз что-то безумное. Напротив, она наблюдала за ним, изучала его, ошупывала взглядом каждую пору его небритого пропотевшего лица, прослеживала каждую морщинку, и все же он оставался ей безразличен, она просто

хотела отдаться ему, совокупиться с ним, как это делают животные, а они, подумал Смити, пожалуй, тоже безразличны друг другу, он думал обо всем как-то между прочим, разглядывая ее плечи, груди под подчеркнuto изысканным платьем, а перед глазами у него стоял голый труп Холи, который Лейбниц резал этажом ниже на части. По лицу Смити струился холодный пот, ему было страшно, хотелось близости, чего-то мягкого и теплого в этом ледящем холоде, сковавшем в его теле бесновашуюся вокруг жару, он рванул за собой женщину, толкнул дверь напротив лифта, затащил ее в комнату, увидел нечеткие очертания матраца и толкнул ее туда, только свет из лифта проникал через открытую дверь, женщина безмолвно позволила ему проделать все над собой; и, покончив с этим, он принял, ползя на четвереньках, искать свои брюки, он их куда-то зашвырнул, а она лежала, не попадая в полосу света, падавшего в комнату из лифта, ситуация была комичной до идиотизма. "Такси", — сказала женщина ровным голосом. Смити влез в брюки, заправил рубашку, искал свой пиджак, нашел его, спотыкаясь о книги, комната, казалось, была набита ими, как дóма, где кругом все еще валялись книги профессора, только здесь не было никакой мебели, кроме матраца, невероятна, как опустился Лейбниц, а еще требует при этом, бродяга, повышения процента. Света Смити так и не зажег, он стыдился, хотя и подумал вскользь, что нечего ему стыдиться проститутки, но в ту же минуту с уверенностью сказал сам себе, что никакая она не проститутка. Женщина все еще лежала на матраце, куда падали слабые отблески света из лифта, обнаженная и белая. Смити удивился, он, собственно, ничего не помнил, вероятно, он разорвал на ней платье, ну и прекрасно, пусть теперь попробует собрать его по кусочкам, скорее всего, ее дорогое платье и взбесило его, да и вообще могла бы сама обо всем позаботиться, она к нему пристала, а не он к ней, однако он все же спустился вниз, к Лейбницу, вошел через все еще открытую дверь "анатомички", от Холи уже осталось одно только туловище, невероятно, как Лейбниц работает, Смити вдруг захлестнула волна гордости за него. Видит бог, Лейбниц заслужил свои проценты, он смотрел, как Лейбниц все мешал и мешал в ванне какую-то пенообразную кашу, потом раздалось бульканье, и ванна медленно освободилась. Очень практично, Смити замер благоговейно в мыслях о тленности всего земного, потом вдруг увидел, что в дверях опять стоит женщина, как и до того, и опять в платье, и платье целехонько, по-видимому, она все-таки сама сняла его. Смити смутился, возможно потому, что предавался мыслям о тленности всего земного, но он не думал, что она что-то могла заметить в этом пекле, он опять вдруг почувствовал изнурительную жару, она одолевала его, пот бежал ручьями по его телу, он сам себе был противен. Он подошел к телефону на подоконнике и позвонил ван дер Зеелену, он ему еще ни разу не звонил, но знал его номер от Сэма. Ван дер Зеелен довольно долго не отвечал на звонок, каждый раз трубку снимал кто-то другой и говорил, что ван дер Зеелен подойти к телефону не может, но когда он наконец все же взял трубку, потому что Смити непрерывно звонил туда, и зарычал, что, собственно, Смити взбрело в голову, то Смити прорычал в ответ, что требует на двадцать процентов больше, иначе он прикроет свою лавочку. "Хорошо, хорошо, — ответил вдруг ван дер Зеелен до противности любезно, — на двадцать процентов больше". А теперь он хочет спать. И еще ему нужен Сэм с "кадиллаком", прокричал Смити. Куда подать, спросил ван дер Зеелен все так же

отвратительно любезно. Под Трайборский мост, ответил Смити, и он не намерен долго ждать. "Он будет там, будет", — сказал ван дер Зеелен примирительно, и Смити положил трубку. Тем временем от Холи уже ничего не осталось, кроме его сутаны, которую Лейбниц бросил напоследок в ванну вместе с шелковым исподним цвета красной киноvari. Смити пошел с женщиной вниз. Дверь в подъезд так и стояла открытой. Прохладой все еще не веяло, хотя уже брезжил рассвет, утро подкралось, как банда налетчиков, было светло как днем, когда появился Сэм с "кадиллаком". Смити сел рядом с ним, женщина села сзади Смити. "Куда?" — спросил Смити. «В "Каберн"», — ответила женщина. Сэм хмыкнул. «Хорошо, — сказал Смити. К "Каберну" так к "Каберну"». Они ехали по пустынным улицам. Взошло солнце. В машине было приятно прохладно. Работал кондиционер. Во втором зеркале заднего вида, поставленном еще по распоряжению Холи, когда его возил Сэм, потому что Холи всегда мерещилось, что его преследует ван дер Зеелен — ну, в общем уж не настолько Холи оказался не прав, — Смити видел женщину и наблюдал за ней. На шее синяки. Должно быть, он душил ее, хотя ничего такого не помнил, зато сейчас он был по крайней мере трезв, а завтра он поговорит с этим коммунистом из полиции так же, как сегодня поговорил с ван дер Зееленом, Смити им нужен, это ему абсолютно ясно. Тут Сэм остановился перед "Каберном", у главного входа в отель. Один слуга распахнул дверцу "кадиллака", женщина вышла из машины, тот согнулся в поклоне, другой слуга согнулся перед ней у входа в отель, стеклянные двери автоматически разъехались перед ней в разные стороны. "Черт побери, — забормотал Сэм, — я готов побиться об заклад, они вышвырнут ее назад". — "Отвези меня домой, Сэм", — сказал Смити, почувствовавший вдруг смертельную усталость. Войдя к себе в квартиру, он бросился, не раздеваясь, на кровать. Сплошь книжные стеллажи, в другой комнате письменный стол, и третья комната тоже забита книгами, немецкими книгами, имена на обложках ничего не говорили ему, названия их он не понимал. Чем, собственно, занимался этот профессор, не знал ни один человек, но ему постоянно нужен был материал, а материал поставлял ему Смити, и, когда у профессора не стало денег, чтобы заплатить за материал, у Смити родилась блестящая идея, и тогда профессор занялся исчезновением трупов для честной компании, а заодно и для менее честной, а когда профессора однажды самого превратили в материал, его работу взял на себя Лейбниц, и в качестве пробы, демонстрируя свое умение, растворил профессора. Смити заснул и спал так глубоко, что долго не мог понять, что его разбудил телефон. Он бросил взгляд на будильник, он проспал не больше двух часов. Это был шеф полиции. Что ему надо, спросил Смити. «Приезжайте в "Каберн"». — "Ну хорошо", — сказал Смити. "Я выслал вам машину". — "Очень мило", — произнес Смити, побрел ощупью в ванную комнату, нашел раковину, наполнил ее водой, окунул лицо, вода была парной, ничуть не освежала, город, казалось, медленно закипал. В дверь позвонили, Смити еще раз окунул лицо в воду, хотел потом сменить рубашку, но, поскольку звонки не утихали, пошел к входной двери. Двое полицейских, потные, рубашки прилипли к телу. "Давай, пошли!" — сказал один из них Смити, а другой повернулся к нему спиной, чтобы спускаться по лестнице. Он собирался еще переодеться и побриться, сказал Смити, вода капала ему с лица на рубашку и пиджак. "Не говори глупостей. Пошли", — сказал полицейский с лестницы и зевнул. Смити

закрыл за собой входную дверь и только тут ощутил, как паршиво он себя чувствовал — болела голова, кололо в затылке, до этого как-то он ничего не замечал, подумал он про себя, ни боли, ни жары, помнил только отвратительно теплую воду в раковине. Они затолкали его в "шевроле", на переднее сиденье, зажав с двух сторон, у "Каберна" они высадили его перед служебным входом. Здесь же стоял детектив Кавер и очень возбужденный элегантный мужчина, одетый в черное, с белым платочком в нагрудном кармане. "Вот он", — сказал Кавер и указал на Смити. "Фридли, — представился человек с платочком в кармане, — Якоб Фридли". Смити не понял, что он сказал, это звучало вроде по-немецки, вероятно, его так звали, а может, он пожелал ему доброго утра по-немецки или по-голландски, ведь было как раз что-то около семи утра, и Смити вдруг очень захотелось спросить его, как будет по-датски "сыр", но человек, вытерев нагрудным платочком пот со лба, заговорил на английском языке. "Пожалуйста, следуйте за мной", — сказал он. Смити пошел за ним, детектив остался внизу, у служебного входа. "Я швейцарец", — сказал человек с платочком, пока они шли по длинному коридору, который вел, очевидно, к подсобно-хозяйственным помещениям, Смити было абсолютно безразлично, кто был этот человек и зачем он ему сообщил, кто он, по нему, будь он хоть итальянец или даже гренландец. Такого с ним еще никогда не случалось, никогда, сказал швейцарец. Смити кивнул, хотя удивился, что со швейцарцем такого никогда не случалось: труп, возникший при законных или менее законных обстоятельствах, — такое случается в каждом отеле, а то, что речь шла о трупе, было ясно, иначе шеф полиции не притащил бы сюда Смити в такую несусветную рань. Они поднимались на грузовом лифте, бесконечно долго, Смити не волновало куда, но после двадцатого этажа у него появилось предчувствие, что речь пойдет о чертовски важном трупе из знатных господ. Лифт остановился. Они вошли в помещение, похожее на кухню, вероятно буфетную, где блюдам из основной кухни придавался последний шик, перед тем как подать их здесь, наверху, особо важным господам, как рисовалось Смити в его воображении, и в этой буфетной, то ли кухне прямо посередине, перед сверкающим лаком столом, стоял шеф полиции и пил черный кофе. "Вот этот человек, Ник", — сказал швейцарец. "Добрый день, Смити, — поздоровался шеф полиции, — ты ужасно выглядишь. Хочешь тоже кофе?" Он ему просто необходим. "Дай Смити кофе, Джек", — сказал шеф полиции. Швейцарец подошел к серванту, подал Смити чашку черного кофе, вытер своим платочком пот. Смити было приятно, что такой благородный господин тоже потеет. "Остальное доверьте мне, Джек", — сказал шеф полиции. Швейцарец вышел. Шеф потягивал из чашечки кофе. "Холи исчез". "Все может быть", — ответил Смити.

"Он уже побывал на столе у Лейбница?" — "Я никогда не присматриваюсь, кто там лежит", — сказал Смити. "Ван дер Зеелен?" — "На месте", — ответил Смити, поставил свою пустую чашку на сверкающий стол и спросил, чего Нику от него надо. Ему было впервой, чтобы он назвал шефа полиции просто Ником. Прежнего он звал Толстяком. Ник ухмыльнулся, подошел к серванту, вернулся с кофейником в руках. Сколько Смити должен отдавать ван дер Зеелену, спросил Ник и налил кофе сначала себе, потом Смити. "На двадцать процентов меньше, чем Холи, — сказал Смити. — На нем было шелковое нижнее белье цвета красной киновари". — "На ком?" — спросил Ник. "На Холи", — ответил Смити. "Ну что ж, —

сказал Ник, — теперь пришел черед ван дер Зеелена экипироваться роскошно, — и опять с шумом хлебнул кофе. Помолчав, он произнес: — Смити, мы ведь вчера договорились друг с другом за обедом. На скольких процентах мы сошлись? Я что-то запямятовал”. — “На тридцати”, — сказал Смити. “Тридцать процентов твоих?” — спросил Ник. “Тридцать процентов твоих”, — ответил Смити. Ник промолчал, допил свой кофе, налил себе еще. “Смити, — сказал он спокойно, — мы сошлись на половине. Этого я в общем и целом хотел бы придерживаться. Только не сегодня. Сегодня ты удовлетворишься десятью процентами, конечно в том случае, если не проболтаешься и ван дер Зеелен ничего не узнает о том, что здесь сегодня произойдет, иначе тебе придется еще и ему платить”. О десяти процентах, сказал Смити, не может быть и речи. Он закрывает свою лавочку, пусть Ник обращается к санитарной службе полиции. Речь идет о пятистах тысячах, произнес Ник спокойно, и доля Смити составит пятьдесят тысяч. Это совсем другое дело, сказал Смити, тогда он согласен. Пусть Ник присылает труп. Ник задумчиво посмотрел на Смити. При столь огромной сумме Смити придется как-нибудь самому обо всем договориться, произнес он наконец. Смити налил себе кофе. Понятно, сказал он, чтоб Ник смог остаться чистым. “Вот именно, — сказал Ник, — пошли”. Смити выпил еще глоток кофе и вышел вместе с Ником через раздвижную дверь. Они оказались в помещении, похожем на то, из которого вышли, только без окон, пройдя еще одну раздвижную дверь, они очутились в широком фешенебельном коридоре, скорее вытянутом в длину зале, в противоположных концах которого за огромными витринными окнами бетонной стеной стояло раскаленное небо. Приятная прохлада окружала их. Они шли по зеленому ковру, закрывавшему пол от стены до стены. “Ты знаешь датский?” — “Нет, — сказал Ник, — пошли к клиенту”. — “Нет, к трупу”, — сказал Смити. Ник остановился. “Зачем? Тебе же его доставят!” Смити ответил: “После этого будет проще обо всем договариваться”. Ник похлопал его по плечу: “Смити, ты еще станешь бизнесменом”. Они пересекли коридор, Ник нажал на кнопку. “Апартаменты “Люкс” №10”, — сказал он. Открыл пожилой мужчина, лысый, очевидно, в смокинге, Смити не был в этом уверен, такую одежду он видел на мужчинах только в кино. “Мы пройдем к ней”, — сказал Ник. Лысый ничего не ответил, отступил в сторону; небольшой салон, золотистых тонов ковер на полу, благородная мебель, как назвал бы ее Смити, доведись ему ее описывать, и тут Ник открыл одну дверь, белую, филёнчатую, с позолотой по краям, спальня, белый ковер, белая широкая кровать с золоченым балдахином, задернутая, как облаками, белым пологом из вуали. Ник раздвинул облака. На белоснежной постели, в которой еще никто ни разу не спал, лежала женщина, все в том же платье, что было на ней не больше трех часов назад, когда она, выйдя из “кадиллака”, легкой тенью скользнула мимо согнувшихся перед ней слуг отеля “Каберн”. Глаза ее были широко открыты, казалось, ее взгляд устремлен на Смити, и она смотрит на него, как все время тогда — сосредоточенно и равнодушно, ее темные волосы раскинулись по плечам, разметались по белой простыне, только шея ее была на сей раз чудовищно изуродована, тут кто-то душил ее куда как энергичнее, чем Смити, и когда Смити молча смотрел на мертвую, он с удивлением вдруг увидел, как она была прекрасна. “Шлюха?” — спросил он, больше чтоб вообще что-нибудь сказать, и тут же смутился, едва успев произнести, сразу почувствовал всю грязь

своего вопроса. "Нет, — сказал Ник за его спиной, скучающе глядя в окно сквозь шторы на лежащий далеко внизу город, — иначе разве мы могли бы потребовать пятьсот тысяч". — "Пошли к клиенту", — сказал Смити устало. В небольшом салоне, служившем, очевидно, холлом, как пытался сориентироваться Смити, опять смущаясь от великосветского антуража, всей этой мебели, картин, стоял Лысый. По-видимому, дворецкий, мелькнуло в голове у Смити, испытывавшего удовлетворение от своей догадки, его всегда радовало, когда ему удавалось хоть как-то разобраться в запутанной ситуации. "Он спит?" — спросил Ник. "Врач..." — попытался объяснить Лысый. "Зовите его сюда", — сказал Ник, открыл дверь, расположенную напротив той, что вела в спальню с трупом, толкнул ее и прошел вовнутрь. Смити последовал за ним. Просторное помещение, перед фронтом окон возвышение, письменный стол. Ник бесцеремонно плюхнулся в огромное кресло. "Садись, Смити", — сказал он, указав ему на другое. Смити сел, ему было неприятно, что он не побрился. "Врач..." — начал было опять Лысый. "Возникли трудности", — перебил его Ник. "Слушаюсь", — сказал Лысый и открыл дверь позади письменного стола. "Ну, Смити, — сказал Ник, — пробил твой звездный час". — "У кого мы находимся?" — спросил Смити. Ник потянулся в огромном кресле, обмяк в нем, положил ноги на кожаный пуфик, приставил растопыренные пятерни друг к другу, упершись большими пальцами себе в грудь, помассировал кончиками указательных нос и посмотрел на Смити с явным любопытством. "Газеты читать, как видно, занятие не для тебя?" — спросил он. "Не для меня", — ответил Смити. "Ни бельмеса в политике?" Он интересуется только хоккеем, парировал Смити. Ник помолчал, потом сказал, что для хоккея сейчас не самое подходящее время года. Он вообще ненавидит лето, сказал Смити и тоже положил перед собой ноги на кожаный пуфик. "Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН", — произнес Ник. "Ну и что?" — спросил Смити. "А ничего", — сказал Ник и опять замолчал. Дверь позади письменного стола открылась, Смити тотчас же узнал этого человека, то есть он, конечно, не знал, кто был этот человек, но он его уже не раз видел по телевизору. Смити стал соображать, но так и не вспомнил, во всяком случае, этот человек в элегантно пижаме кто-то из Европы — или глава государства, или премьер-министр, или министр иностранных дел, или еще кто-то очень важный, невероятной известная личность, он только скользнул по Смити взглядом, будто Смити пустое место, так же равнодушно, как смотрела на него этой ночью та женщина, но только без всякого внимания к нему, вообще никак, таким взглядом, который мгновенно привел Смити в бешенство, хотя объяснить почему он вряд ли бы смог, и тогда он тоже прижал друг к другу растопыренные пальцы и принял позу, в какой сидел в огромном кресле Ник, принявший ее еще до того, как перед ними появился этот человек, излучавший такое спокойствие и величие духа, словно был самим Господом Богом, а Смити для него всего лишь букашкой или и того меньше, потому что букашкой Смити был уже для Ника, но Смити просто не представлял себе, что еще бывает меньше букашки и чем он мог бы быть для самого Господа Бога, перед которым предстал. "Трудности?" — спросил Отче наш, суший на небесах, обращаясь к Нику, и тот поднялся. "Трудности, да, человек тут создает трудности". — "Вот этот?" — спросил о-Господин-наш, о-наш-Бог в роскошной пижаме цвета бордо, не удостоив Смити даже повторного взгляда. "Вот этот", — сказал Ник, засунув

руки в карманы брюк. "Чего он хочет?" – спросил Бог Саваоф. Смити невольно запомнил все имена Господа Бога, их так любил цитировать Холи, и все они вдруг всплыли у него в памяти, так что ему даже пришлось подавить в себе желание спросить Господа Бога, не знает ли тот датского языка. "Не знаю", – сказал Ник. Владыка наш на небе и на земле сел за свой письменный стол, поиграл золотой шариковой ручкой. "Ну?" – спросил он. "Чей труп?" – спросил Смити. Яхве молчал, продолжая играть золотой ручкой, потом удивленно взглянул на Ника, стоявшего за спинкой кресла, в котором он только что сидел. Ник повернулся к Смити, пораженный его вопросом, но потом вдруг заухмылялся, словно до него что-то дошло. "Вашей дочери?" – спросил Смити. Бог Саваоф положил золотую шариковую ручку назад на стол, достал из зеленой коробочки туго набитую приплюснутую сигарету, прикурил от золотой зажигалки. "К чему эти вопросы?" – произнес он, все еще не удостаивая Смити взглядом. "Мне надо знать, желаю я или нет, чтоб этот труп исчез", – сказал Смити. "Назовите вашу цену, тогда и узнаете", – ответил Иегова скуечающим голосом. Смити упорствовал. Он только тогда сможет назвать цену, когда будет знать, чей труп, настаивал он на своем, к великому удовольствию Ника, как чувствовал Смити, и тут Господь всемогущий впервые по-настоящему взглянул на него, обратил серьезное внимание, рассердился на мгновение, даже разгневался, словно хотел в следующий миг испепелить Смити взглядом, но так как он не был Богом, а всего лишь, как и Смити, человеком, пусть неизмеримо более важным, в общественном и историческом смысле и по части образования, финансового состояния и всего такого прочего, гнев на этом знаменитом, может, слегка одутловатом лице, принадлежащем худощавому представителю мировой истории, сидящему тут вот за письменным столом в пижаме цвета бордо, задержался только на секунду, точнее, виден был лишь как-ую-то долю секунды, еще точнее, лишь угадывался на нем, а потом тот улыбнулся Смити почти приветливо: "Труп моей жены". Смити изучал красное одутловатое лицо знаменитой личности в пижаме цвета бордо и все никак не мог вспомнить, президентом какой страны, или там премьер-министром, или министром иностранных дел он был, или канцлером, или вице-канцлером, или как там еще называется его бизнес, если он вообще был политиком, а не известным промышленником, или банкиром, или, может, всего лишь актером, игравшим в одном из фильмов президента или министра иностранных дел, почему он теперь и путал его с ними, но Смити вдруг все это стало совершенно безразличным, тот, что за письменным столом, был мужем той женщины, с которой Смити спал всего лишь за час до рассвета, уже ступившегося опять там, за большими окнами, в спящее раскаленное марево, окунуться в которое будет дьявольски трудно, еще труднее, чем накануне. "Кто ее убил?" – спросил Смити машинально. "Я," – ответил невозмутимо-спокойно человек за письменным столом. "За что?" – спросил Смити. Тот, за письменным столом, молча курил. "Похоже, вы допрашиваете меня?" – констатировал он. "Мне надо принять решение", – сказал Смити. Тип в пижаме цвета бордо бросил сигарету в круглую майоликовую пепельницу, открыл зеленую коробку, закурил новую сигарету, проделав все неторопливо, без тени замешательства, погруженный в свои мысли, потом повернулся к Смити. "Я потерял самообладание, – сказал он, улыбнулся и замолчал, рассматривая Смити с возрастающим любопытством. – Моя жена, – продолжил он,

тщательно выбирая каждое слово, на своем английском, как в школьных учебниках, который Смити знал только по английским фильмам, хотя, конечно, может, то был вовсе и не язык учебников английского, а скорее английский с густой окраской какого-то европейского языка, однако по сравнению с тем английским, на каком разговаривал Смити, он звучал как классическая английская речь, что для Смити стало вдруг абсолютно ясно, и он сам не знал, почему его это так злило. — Моя жена ушла отсюда два дня назад. За это время она спала без разбора со многими мужчинами, сказала она, вернувшись сегодня утром в отель. Вскоре после четырех. Или около половины пятого”. Тип за письменным столом наблюдал за Смити, забавляясь, а Смити думал, что, собственно, он мог бы представить себе Холи таким же благородным, как и этот тип тут, за письменным столом, а таких рож, как у этого, в пижаме цвета бордо, — красных и опухших — хоть пруд пруди. ”Вот почему вы задушили свою жену”, — произнес Смити. Но у нее должна была быть какая-то причина, чтобы уйти отсюда. Тип за письменным столом улыбнулся. ”Она просто хотела позлить меня, — сказал он. — И ей это удалось. Я разозлился. Впервые в моей жизни”. Рожа за письменным столом казалась Смити отвратительной. ”Впервые в моей жизни, — повторил он, зевнул и спросил: — Сколько?” — ”Пятьсот тысяч, сказал он мне, — ответил Ник вместо Смити. — Не соглашайтесь на это, свинство какое, я прикажу арестовать негодяя”. ”Прекрасно, — произнесла подлая крыса из-за письменного стола, — пятьсот тысяч”. — ”Ну, если такова ваша воля, — обрадовался Ник, — тогда я бессилен”. — ”Нет”, — сказал Смити. ”Миллион”, — улыбнулся вонючий клоп в пижаме цвета бордо, Ник пожирал их глазами, обалдевший и сияющий от счастья. ”Ваша жена исчезнет даром”, — сказал Смити вонючему клопу за письменным столом, не очень хорошо соображая, что он такое говорит, он думал в этот момент о мертвой, тут, за несколькими стенами, в восьми, девяти, десяти метрах от него, распростертой на белоснежных простынях в кровати с балдахином. Он думал о ее красоте и о ее мертвых глазах, уставившихся прямо на него, и тогда он сказал, вставая: ”От вас я не приму ни гроша!” Он покинул большую комнату, апартаменты ”Люкс”, бегло оглянулся в зале с зеленым ковром на полу, швейцарец с комичным платочком в нагрудном кармашке подошел к нему, проводил его до грузового лифта. Смити спустился вниз, в двери у служебного входа все еще стоял Кавер, вытер со лба пот. ”Пусть Ник присылает мне товар”, — сказал Смити, выходя из отеля и погружаясь в немилосердное пекло, образовавшее затор в каменном колодце городских улиц, но сейчас Смити все было безразлично — и беспощадное солнце над гигантским городом, и сам город-гигант, и люди, двигавшиеся по нему, и пар, валивший из-под канализационных крышек на мостовой, и медленно ползущие, изрыгающие вонь колонны машин, он шел и шел, по Пятой ли авеню, через Мэдисон-сквер или по Лексингтон-авеню, по Третьей, Второй или Первой авеню, он не разбирал, он просто шел, выпил где-то пива, поел в какой-то грязной закусочной, не зная что, долго сидел в парке на скамейке, как долго, он не знал, рядом с ним сидела сначала молодая женщина, потом старая, а потом ему показалось, что кто-то рядом с ним читает газету, ему все было безразлично, он думал только о мертвой, о том, как она ранним утром вошла в ”Кабери”, скользнув легкой тенью мимо слуг, как он смотрел на нее в зеркале заднего вида в ”кадиллаке”, как она стояла наверху, в дверях ”анатомички”, присло-

нившись левым плечом к притолоке, как лежала голая на матрасе у Лейбница, как отдалась ему, как смотрела на него в лифте и как он ничего тогда не понял. Его охватила безумная нежность к ней и бешеная гордость за себя, он, Смити, оказался достоин ее, он тоже дал прикурить этому паршивому богу за письменным столом, показал ему, не хуже, чем она ему показала; а потом вдруг настала ночь, зажглись уличные огни, и, возможно, эта ночь была еще более душевной, чем сутки назад, и адски невыносимой, как и весь сегодняшний день, уже поглощенный ночью, окружавшей его теперь, но он ничего не замечал. Он жил, не ведая как, весь мыслями с женщиной, о которой ничего не знал: ни ее фамилии, ни имени, ничего, собственно, кроме только одного, как прекрасна она была мертвой, а до того он ее любил, и, когда он вошел в "анатомичку" Лейбница, все уже было кончено, только платье мертвой висело перекинутым через спинку стула, аккуратно сложенное, как это всегда было в привычках Лейбница. Смити взял платье. Он поехал на лифте в комнату Лейбница, но Лейбница и там не было. Он, вероятно, вышел, хотя никогда раньше не делал так в это время суток, но Смити уже в лифте знал, что найдет затхлую темную и грязную дыру пустой. Смити оставил дверь на лестничную площадку открытой, свет от лифта падал на него, он сел на матрас, прислонившись спиной к стене, на коленях у него лежало платье женщины, она была мертва, он любил ее на этом матрасе, хотя не мог об этом вспомнить, в квадрате окна забрезжил неясный свет, лифт пошел вниз, остался только слабый свет в окне, Смити ничего не воспринимал, кроме материи платья, по которой скользили его руки, невесомая тряпка, и ничего больше. Лифт вдруг вернулся на этаж, какая-то тень просунулась между полоской света и Смити, заполнила дверной проем, в комнате вдруг резко вспыхнул невыносимо яркий свет, ван дер Зеелен зажег его, за ван дер Зееленом стоял Сэм. Смити прикрыл веки, свет слепил его, а руки все гладили платье. "Ты загубил дело всей жизни", — сказал ван дер Зеелен даже как-то не очень сердито, скорее удивленно, а Смити ответил гордо: "Дело Ника". После чего ван дер Зеелен отошел в сторону, Сэм что-то держал в руке, но это "что-то" больше не производило на Смити никакого впечатления, он не боялся того, что должен был сделать Сэм, и, когда Сэм сделал это, ван дер Зеелен сказал, стоя в лифте и теперь уже с явным раздражением: "Жаль моих процентов".

СМЕРТЬ ПИФИИ

Дельфийская жрица Панихия XI, длинная и тощая, как и почти все ее предшественницы, раздраженная глупыми выходками собственных пророчеств и лежковерием греков, внимала юному Эдипу: еще один из тех, кто хотел знать, являются ли его родители на самом деле его родителями, как будто так просто разобраться с этим в аристократических кругах; ну действительно, ведь были супружницы, уверявшие, что совокуплялись с самим Зевсом, и даже мужья, верившие им. Правда, пифия в подобных случаях отвечала очень просто — и да, и нет, поскольку вопрошавшие и без нее сомневались, но сегодня все казалось ей ужасно глупым, может потому, что бледный юноша приковывал после пяти, собственно,

ей пора было уже закрывать святилище, и тут она в сердцах напредсказала ему такого — отчасти чтобы излечить юношу от слепой веры в могущество прорицаний, а отчасти потому, что ей в ее дурном настроении взбрело в голову позлить чванливого коринфского принца, и она выдала ему самое бессмысленное и невероятное пророчество, на какое только была способна и в несбыточности которого была абсолютно уверена; ну кто, думала Панихия, в состоянии убить отца и лечь в постель с собственной матерью, ведь напичканные кровосмешением истории богов и полубогов она всегда считала пустыми выдумками. Правда, неприятное ощущение слегка закралось ей в душу, когда нескладный юноша, услышав ее пророчество, побледнел, она заметила это, хотя треножник ее был окутан клубами испарений; молодой человек поистине был чрезмерно наивен и доверчив. И когда он потом медленно покинул святилище и, оплатив прорицание верховному жрецу Меропсу XXVII, лично взимавшему плату с аристократов, стал удаляться, Панихия еще какое-то время смотрела Эдипу вслед, качая головой: молодой человек не пошел дорогой на Коринф, где жили его родители. Панихия гнала от себя мысль, что, возможно, породила своим вздорным прорицанием очередную беду, и, отгоняя от себя прочь неприятные предчувствия, она выкинула Эдипа из головы.

Состарившись, она однообразно влачила свою жизнь через бесконечно тянувшиеся годы, постоянно грызаясь с верховным жрецом, загребавшим благодаря ей баснословные деньги: ее пророчества становились с годами все смелее и вдохновеннее. Она не верила в них, более того, изрекая их, она насмеялась над теми, кто верил в пророчества, но получало так, что она лишь пробуждала еще более неотвратимую веру в тех, кто верил в них. Так Панихия все предсказывала и предсказывала, об уходе на заслуженный отдых не могло быть и речи. Меропс XXVII был убежден: чем старше и слабоумнее становилась очередная пифия, тем лучше она предсказывала, а идеальной была та, которая стояла на пороге смерти; самые блистательные свои прорицания предшественница Панихии Кробила IV выдала на смертном одре. Панихия решила про себя ничего не предсказывать, когда придет ее смертный час, по крайней мере умереть она хотела достойно, не занимаясь всякой чепухой; одно уже то, что ей на старости лет все еще приходилось заниматься этим фиглярством, было для нее достаточно унижительным. А если к тому же учесть невыносимые рабочие условия? Святилище было сырым, по нему гуляли сквозняки. Снаружи оно выглядело великолепно — чистейший ранний дорический стиль, а внутри — обшарпанная, плохо законопаченная каменная дыра. Единственным утешением Панихии были пары, поднимавшиеся из расщелины в скале, над которой стоял ее треножник, они смягчали ее ревматические боли, вызванные сквозняками. Все, что происходило в Греции, давно уже не волновало ее; ей было безразлично, трещит по швам семейный союз Агамемнона или нет, и с кем сейчас спит Елена — тоже наплевать; она прорицала наобум, что в голову взбредет, но, поскольку ей слепо верили, никого не волновало, что предсказания ее сбывались лишь изредка, а когда такое все-таки случалось, то воспринималось как должное — по-другому и быть не могло. Разве был у Геракла, обладавшего силищей быка и не находившего себе достойного противника, иной выход, кроме как подвергнуть себя сожжению на костре, и все только потому, что пифия шепнула ему на ушко, что после такой гибели его ждет бес-

смертие? А кто же мог проверить, стал он на самом деле бессмертным или нет? А тот факт, что Ясон женился на Мееде, вообще уже сам по себе достаточно красноречиво объяснял, почему он в конце концов покончил жизнь самоубийством, ведь, когда он со своей невестой объявился в Дельфах, чтобы слезно вымолить для себя прорицание богов, пифия инстинктивно выпалила с молниеносной быстротой, что лучше ему сразу проткнуть себя мечом, чем жениться на такой фурии. При подобных провидениях ничто уже не могло остановить растущую популярность Дельфийского оракула, включая и его экономический расцвет. Меропс XXVII вынашивал планы колоссальных новостроек — гигантский храм Аполлона, огромный зал Муз, высоченную Змеиную колонну, банки в виде многочисленных сокровищниц и даже театр. Теперь он общался только с царями и тиранами, а то, что со временем неприятности стали громоздиться одна на другую и боги, казалось, все халатнее относились к своим обязанностям, давным-давно уже перестало его беспокоить. Меропс хорошо знал своих греков — чем несусветнее тот бред, что несла старуха, тем лучше, пифию ведь так и так уже почти невозможно было стянуть с треножника; закутавшись в черную хламиду, она дремала там, одурманенная парами. Когда святилище закрывалось, она еще сидела некоторое время перед боковым порталом, а потом ковьяляла в свою халупу, варила там себе бурду и, не притронувшись к ней, заспала на ходу. Она ненавидела любую перемену в заведенном ею распорядке текущих дней. Очень неохотно появлялась она иногда в конторе Меропса XXVII, ворча и проклиная все на свете, если верховный жрец вызывал ее, он делал это теперь только в тех крайних случаях, когда один из провидцев затребовывал для своего клиента сформулированное им самим пророчество из уст дельфийской прорицательницы. Панихия ненавидела провидцев. Пусть она сама не верила в прорицания, но она не видела в них ничего дурного, они все были для нее глупостью, вожденной для людей, а вот пророчества, составленные провидцами, которые она должна была по их заказу проносить, были чем-то совсем иным, они преследовали определенную цель, за ними скрывалась коррупция, если не политика; а что там замешаны и коррупция, и политика, она тотчас же подумала в тот летний вечер, как только Меропс, потягиваясь за своим письменным столом, объявил ей в своей елейно-приторной манере, что от провидца Тиресия поступил заказ.

Панихия тут же поднялась, не успев сесть, и заявила, что она не желает иметь никаких дел с Тиресием — она слишком стара и память у нее на тексты уже не та, чтобы заучить наизусть пророчества и декламировать его рифмы. Всё, она пошла. Минуточку, сказал Меропс и кинулся вслед за Панихией, задержав ее в дверях, минуточку, вовсе не стоит так волноваться, и ему этот слепой порядком надоел, он тоже знает, что Тиресий величайший в Греции интриган и политикан и, клянусь Аполлоном, продажен до мозга костей, но однако же он лучше всех платит, а то, что он просит, не лишено смысла — в Фивах опять гуляет моровая язва. Она там без конца гуляет, проворчала Панихия, если принять во внимание антисанитарную обстановку вокруг крепости Кадмеи, то и ничего удивительного, что болезнь в Фивах, так сказать, эндемична, то есть не переводится. Именно так, поспешил заверить Панихию XI Меропс XXVII, Фивы — жуткое место, грязная клоака во всех отношениях, не случайно ведь ходит легенда, что даже могучие орлы Зевса с трудом перелетают Фивы,

потому что махают только одним крылом, а другим зажимают ноздри, чтоб не дышать, а уж обстановочка при царском дворе не приведи господи. Тиресий предлагает дать ответ его клиенту, он пойдет к нам завтра, что болезнь исчезнет тогда, когда будет найден убийца фиванского царя Лая. Панихия удивилась банальности прорицания, Тиресий, по-видимому, страдает старческим слабоумием. Только ради проформы она еще спросила, когда же было совершено убийство. Да когда-то, несколько десятилетий назад, не имеет значения, найдут убийцу, хорошо, разглагольствовал Меропс, не найдут, тоже неплохо, болезнь так и так пройдет сама по себе, а жители Фив будут верить, что боги, во имя помощи им, жестоко покарала убийцу где-то там, в его уединении, где он сокрылся от их глаз, и тем самым собственноручно восстановили справедливость. Пифия, радуясь, что вот-вот снова оучутится в теплых парах, фыркнула только да спросила, а как зовут клиента Тиресия.

— Креонт, — ответил Меропс XXVII.

— В жизни не слыхала, — сказала Панихия.

Он тоже нет, поддакнул ей Меропс.

— А кто царем в Фивах? — спросила опять пифия.

— Эдип, — ответил Меропс XXVII.

— Тоже не знаю, — произнесла Панихия XI, она на самом деле забыла Эдипа.

— И я нет, — опять поддакнул Меропс, довольный, что сейчас избавится от старухи, и протянул ей записку с искусно составленным Тиресием текстом пророчества.

— Ямбы, — вздохнула пифия, уходя, бросив мельком взгляд на записку, — ну конечно, со стихоплетством он никак не может расстаться.

И когда на другой день, незадолго перед закрытием святилища, пифия, сидя на треножнике и блаженно раскачиваясь, укутанная в клубы паров, услышала робкий, набожно смиренный голос некоего Креонта из Фив, она выдала ему заученное наизусть пророчество, правда, не так бойко, как прежде, в одном месте ей даже пришлось начать сначала:

— Не мудрствуя велит тебе прекрасный Аполлон изгнать убийцу, забвенью не предав кровь пролитую... Не мудрствуя велит тебе прекрасный Аполлон изгнать убийцу, забвенью не предав кровь пролитую, собирающую в землях сих обильно дань: изгнать его, иль пусть он кровью кровь искупит. Кровь запятнала эту землю. За Лая смерть приказывает Феб отмстить царя убийцам. Таков его ответ.

Пифия умолкла, довольная, что справилась с текстом, размер стиха оказался не так уж прост, она вдруг очень возгордилась собой, а о том, что она запнулась в одном месте, она уже и думать забыла. Фиванец — как его там звали? — давным-давно ушел, и Панихия опять задремала.

Иногда она покидала стены святилища. Взору ее открывалась огромная строительная площадка — храм Аполлона, внизу под ней виднелись три колонны зала Муз. Жара стояла невыносимая, а ее знобило. Эти скалы, леса и море — все один обман, ее постоянный сон, но когда-нибудь и он кончится, и ничего от всего этого не останется, она знала, все выдумка и ложь, и она, пифия, тоже, ее выдавали за жрицу Аполлона, хотя она на самом деле всего лишь обманщица, изрекающая в зависимости от своих капризов безумные пророчества. И вот она наконец состарилась, стала стара как пень, превратилась в древнюю-предревнюю старуху, не помнит даже, сколько ей лет. Рядовые пророчества делает теперь ее преемница,

пифия Гликера V; Панихии осточертели эти вечные испарения, ну время от времени куда еще ни шло, может, разок в неделю, она взбиралась для платежеспособного наследного принца или самого тирана на треножник и произносила свои бессвязные слова, к чему даже Меропс относился с пониманием.

И вот как-то раз сидит она, блаженствуя на солнышке, погрузившись в себя и закрыв глаза, чтоб не глядеть на китч вокруг, во что превратился дельфийский ландшафт, прислонившись к стене святилища у бокового его портала, напротив наполовину уже возведенной Змеиной колонны, и чувствует вдруг, что перед ней что-то стоит, и, пожалуй, уже несколько часов, что-то такое, что имеет непосредственное касательство к ней и тревожит ее в ее оцепенении, и когда она открыла глаза, не сразу, медля еще, у нее было такое ощущение, что ей вначале придется освоиться, прежде чем она сможет смотреть на свет, но как только она стала различать предметы, она сразу увидела странную, невероятных объемов фигуру, опирающуюся на другое не менее странное существо, и пока Панихия XI всматривалась в них попристальнее, обе чудовищные фигуры съезжились до нормальных человеческих размеров, и она узнала в них нищего в тряпье и лохмотьях, опиравшегося на маленькую ободранную нищенку. Нищенка оказалась молодой девушкой. А сам нищий таращился на Панихию в упор, но глаз у него не было, на их месте — две дыры, залитые черной запекшейся кровью.

— Я — Эдип, — сказал нищий.

— Не знаю тебя, — ответила пифия и заморгала, взглянув на солнце, медлившее с закатом над ослепительно синим морем.

— Ты мне предсказывала, — прохрипел нищий.

— Возможно, — сказала Панихия XI, — я предсказывала тысячам таких, как ты.

— Твое пророчество сбылось. Я убил своего отца Лая и женился на своей матери Иокасте.

Панихия XI стала рассматривать нищего, потом девушку в лохмотьях, с удивлением обдумывая, что все это могло бы значить, так еще ничего и не припоминая.

— Иокаста повесилась, — тихо сказал Эдип.

— Кто? — переспросила Панихия.

— Моя жена и мать, — ответил Эдип.

— Сочувствую, примите мои соболезнования.

— И тогда я выколол сам себе глаза.

— Так, так. — И тут пифия показала на девушку. — А это кто? — спросила она, не столько из любопытства, сколько лишь чтоб что-нибудь сказать.

— Моя дочь Антигона, — ответил ослепивший себя, — или моя сестра, — добавил он смущенно и рассказал запутанную историю.

Пифия, широко раскрыв глаза, слушала лишь вполуха, уставившись на стоящего перед ней нищего, опиравшегося на свою дочь и сестру в одном лице, а за ними вдали виднелись скалы и леса, внизу шло начатое строительство театра, нестерпимо синело море, и над всем этим висело стальное небо, слепящая бездна пустоты, куда люди, чтобы не потерять рассудка, чего только не проецировали — и богов, и свои судьбы, и когда пифии открылась эта взаимосвязь, она мгновенно вспомнила, как хотела, предсказывая Эдипу, всего лишь чудовищно созорничать, чтобы навсегда

отбить у него охоту верить в прорицания, и тут Панихия XI неудержимо расхохоталась, смех ее становился все громче и неумнее, и она все еще смеялась, хотя нищий, ковьяля, давно уже удалился отсюда прочь вместе со своей дочерью Антигоной. Пифия умолкла так же неожиданно, как и рассмеялась, — все это не могло быть чистой случайностью, промелькнуло вдруг у нее в голове.

Солнце село за стройплощадкой храма Аполлона — поштое и безвкусное, как спокон веков; пифия ненавидела солнце, надо бы как-нибудь разобраться с ним, подумала она, все эти сказки про его золотую колесницу и крылатых коней просто смехотворны, она готова поспорить — ничего там нет, кроме массы вонючих огненных газов. Панихия направилась в архив, она хромала. Как Эдип, мелькнуло у нее в голове. Она полистала книгу пророчеств, искала в ней, здесь были записаны все выданные в святилище Аполлона прорицания. Она наткнулась на одно из них, провозглашенное некоему Лаю, царю Фив: Сын как будет у него, примет он смерть от руки его.

Ужасающее пророчество, подумала пифия, не иначе как моя предшественница Кробила IV стоит за ним, Панихия знала о ее готовности уступать пожеланиям верховных жрецов. Она порывалась в бухгалтерии и нашла квитанцию на пять тысяч талантов, уплаченных Менекеем, потомком древнего рода спартов, тестем фиванского царя Лая, с краткой припиской: "За прорицание по поводу сына Лая, составленное Тиресием". Пифия закрыла глаза, самое лучшее на свете быть слепым, как Эдип. Она сидела в архиве за письменным столом и размышляла. Одно ей стало ясно: если ее сбывшееся пророчество — гротесковая случайность, то Кробила IV предсказала так когда-то, чтобы помешать Лаю произвести на свет сына, а тем самым и наследника, шурин Креонт должен был стать после него царем. Первое пророчество, побудившее Лая выключить Эдипа из игры, родилось вследствие коррупции, второе произошло по воле случая, а третье, приведшее к расследованию этого дела, опять было сформулировано Тиресием: чтобы посадить Креонта на трон в Фивах. Я уверена, что он там сейчас и сидит, подумала она. В угоду Меропсу, чтобы только от него отделаться, я произнесла новое пророчество Тиресия, бормотала взбешенная Панихия, да еще вдобавок составленное в бездарных ямбах, я еще хуже Кробилы IV, та хотя бы предсказывала только в прозе.

Она поднялась из-за стола и покинула заросший пылью архив — так давно никто не заходил сюда и не рылся в нем, да и кому теперь до него дело: в Дельфийском оракуле царили неряшливость и халтура. Правда, архив тоже будут перестраивать — на месте старой каменной развалюхи поднимется помпезное сооружение, уже запланировали канцелярию архива со штатом жрецов, чтобы заменить стихийную халтуру четко организованной.

Пифия смотрела на стройплощадку в сумраке ночи — кругом валялись тесаные каменные глыбы и колонны, ей казалось, что перед ней руины; когда-нибудь так и будет: одни лишь руины. Небо слилось с морем и скалами, на западе над грядой черных облаков ярко горела красным светом звезда, зловещая и таинственная. Пифии казалось, будто оттуда сверху ей грозит Тиресий, тот самый, что вечно навязывал ей свои стратегические пророчества, которыми он, провидец, так гордился, хотя они были такой же глупостью, как и ее собственные прорицания, тот Тиресий, что был еще старше ее и жил уже тогда, когда пифией была

Кробила IV, а до Кробилы — Мелита, а до той — Бакхия. И вдруг, пока она, ковыляя, шла по огромной стройплощадке храма Аполлона, ее как током ударило: пришел ее смертный час, да по правде уж и давно пора. Она швырнула палкой в недостроенную Змеиную колонну — еще один китч вместо порядочного монумента — и пошла, не хромяя. Она переступила порог святилища: смерть — торжественный акт. Ее интриговало, как это произойдет: предстоящее любопытное событие целиком завладело ею. Она оставила главный вход открытым, уселась на треножник и стала ждать смерти. Испарения, поднимавшиеся из расщелины в скале, окутывали ее слегка красноватыми клубами, и сквозь их туман она видела светло-серую ночь, пучками света проникавшую в святилище через главный портал. Она чувствовала приближение смерти, любопытство ее росло.

Сначала появилась мрачная приплюснутая физиономия землистого цвета, с темными волосами, низким лбом и тупым взглядом. Панихия не взволновалась, должно быть, речь шла о предвозвестнике смерти, но тут вдруг она поняла, что это лицо Менекея, происходившего от древних спартов. Землистое лицо смотрело на нее. Взывало к ней, хотя и безмолвствовало, но так, что пифия без слов понимала потомка спартов.

Он был мелким крестьянином, коренастый такой, поехал потом в Фивы, работал там до седьмого пота, сначала поденщиком, затем десятником, наконец стройподрядчиком, и, когда ему подкинули заказ на перестройку крепости Кадмеи, он не прозевал своего счастья: боги милостивые, какая крепость получилась! А то, что он обязан таким везением исключительно своей дочери Иокасте, это все сплетни: конечно, царь Лай взял ее в жены, но Менекей не кто-нибудь, а знатного происхождения, он от спартов — древних воинов, выросших на глинистой фиванской пашне, куда Кадм посеял зубы убитого им дракона. Сначала из земли показались только острия копий, потом гребни шлемов, за ними головы, с ярой ненавистью плевавшие друг в друга; они выросли из земли еще только по грудь, а уже потрясали копьями, и наконец, поднявшись над пашней, где взошли, они набросились друг на друга, как хищники; но прадед Менекея Удей пережил кровавую бойню и спасся от той обломленной скалы, что обрушил Кадм на разивших друг друга мечами и копьями спартов. Менекей верил в древние героические сказания и потому ненавидел Лая, этого чванливого аристократа, ведшего свой род от брака Кадма с Гармонией, дочьрью Ареса и Афродиты, ну конечно, там наверняка был сногшибательный свадебный пир — однако все же задолго до него Кадм убил дракона и засеял поле его зубами, это доподлинно известно; Менекей, спарт, чувствовал свое превосходство над царем Лаем, ведь зачатие рода Менекея более древнее и сопряжено с большими чудесами, Гармония вкупе с Аресом и Афродитой не тянут против них, эка важность, и, когда Лай женился на Иокасте, гордой ясноокой девушке со жгуче-рыжими волосами, в Менекее забрезжила надежда — он или по крайней мере его сын Креонт придут наконец когда-нибудь к власти; тот черноволосый, мрачный, рябой Креонт, от чьего вкрадчивого голоса цепенели раньше рабочие на стройке, а теперь содрогались солдаты, потому что сегодня Креонт — шурин царя, главнокомандующий армии. Лишь дворцовая охрана не подчинялась ему. Но Креонт был до ужаса предан царю, горд своим зятем Лаем, верноподданнически благодарен ему, и к своей сестре он тоже был привязан, всегда брал ее под защиту, несмотря на мерзкие слухи вокруг нее со всех сторон; ждать радикальных дейст-

вий с его стороны не приходилось. С ума можно было сойти, как хотелось Менекею порою крикнуть Креонту: да взбунтуйся же наконец, стань царем! Но он так ни разу и не решился на такое и уже совсем оставил свои надежды, пока не встретил в корчме Полора — тоже правнука одного из спартов того же имени — Тиресия, огромного, неприступного, ведомого мальчиком слепого провидца. Тиресий, лично знакомый с богами, оценил шансы Креонта на трон без всякого пессимизма: никому не ведомо, какково будет решение богов, зачастую они еще и сами его не знают и иногда пребывают в такой нерешительности, что даже радуются, если от людей поступают кое-какие подсказки — правда, в его, Менекея, случае такая подсказка обойдется ему в пятьдесят тысяч талантов. Менекей ахнул, испугавшись даже не столько баснословной цены, сколько самого факта, что эта гигантская сумма точно соответствовала его огромному состоянию, сколоченному им на строительстве Кадмеи и прочих царских подрядах, хотя Менекей всегда указывал к обложению налогом только пять тысяч, и он заплатил Тиресию.

Перед закрытыми глазами пифии, ритмично раскачивавшейся в сгустившихся клубах паров, возникла высокомерного вида фигура, без сомнения царского обличья, вся такая меланхоличная, светловолосая, холеная, томная. Панихия поняла, что это Лай. Конечно, тиран был удивлен, когда Тиресий передал ему ответ Аполлона: его сын, если Иокаста однажды родит такого, убьет его. Но Лай знал Тиресия, цены заказанного у Тиресия пророчества были неслыханными, только богатые люди могли себе позволить обратиться к услугам Тиресия, большинство же других сами отправлялись в Дельфы, чтобы испросить ответа у пифии, надежность которого, правда, была значительно ниже; если Тиресий вопрошал пифию, то тогда, во что свято верили, сила провидца перекидывалась на пифию, бред, конечно, Лай был просвещенным тираном, вопрос весь в том, кто подкупил Тиресия поспособствовать столь коварному прорицанию, кто-то должен был быть заинтересован в том, чтобы у Лая с Иокастой не было детей, — либо Менекей, либо Креонт, унаследовавший бы трон в случае их бездетного брака. Но Креонт по своей принципиальной тупости оставался преданным ему, его невежество в политических интригах было вопиющим. Значит, Менекей. Тот уже, пожалуй, спал и видел себя отцом царя, Зевс тому свидетель, неплохо он подзаработал на государственной казне, цены, что заламывал Тиресий, далеко превосходили размеры состояния Менекея, обкладываемого налогом. Ну ладно, этот потомок спартов все же его тесть, не стоит и говорить о его махинациях, но швырнуть огромное состояние за одно лишь прорицание, когда его можно было иметь почти за так... К счастью, в Фивах вокруг Кадмеи вспыхнула, как и каждый год, маленькая эпидемия моровой язвы, прибрав к рукам несколько десятков людишек — все больше никчемный народец: философов, рапсодов и прочих сказителей. Лай послал своего секретаря в Дельфы — с определенными предложениями и десятью золотыми: за десять талантов верховный жрец сделает все, потому что одиннадцать он уже обязан был оприходовать в книге. Ответ, доставленный секретарем из Дельф, гласил: болезнь, а она тем временем уже ушла из Фив, утихнет, если один из спартов принесет себя в жертву. Теперь оставалось только дожидаться новой вспышки болезни. Полор, хозяин корчмы, заверял всех, что он вообще происходит не от того Полора, никакой он не спарт, все это злые козни. И Менекею, единственному из еще оставшихся в живых спар-

тов, не оставалось ничего другого, как подняться на городскую стену и броситься вниз, но он, собственно, был даже рад принести себя в жертву городу: встреча с Тиресием разорила его, он оказался неплатежеспособным, рабочие ворчали недовольно, поставщик мрамора Капий давно уже прекратил все поставки, и кирпичный завод тоже; восточная часть городской стены была муляжом из дерева, а статуя Кадма на площади Собрании из гипса, выкрашенного бронзовой краской, Менекею так и так при первом же ливне пришлось бы кончать жизнь самоубийством. Он бросился вниз с южной части городской стены и падал, как обмершая ласточка, а акустическим фоном действу было торжественное песнопение хора юных девственниц из благороднейших семейств. Лай сжал руку Иокасты, Креонт отдал честь. А потом Иокаста родила Эдипа, и тут Лай встал в тупик. Само собой он не верил в прорицание, тем более что оно было абсурдно — якобы он погибнет от руки собственного сына, но, Гермес свидетель, он бы дорого дал, чтобы узнать, действительно ли Эдип его сын, нет, он не отрицает, что что-то мешало ему спать со своей женой, их женитьба так и так была браком по расчету, он обручился с Иокастой, чтобы приблизиться к народу, потому что, Гермес свидетель, Иокаста с ее вольным образом жизни до замужества была очень популярна в народе, полгорода было тесно связано через нее с Лаем; конечно, может, простое суеверие мешало ему спать с Иокастой, однако же сама идея, что его сын может убить его, действовала на него как-то отрезвляюще, да и, откровенно говоря, Лай вообще не любил женщин, он предпочитал им молоденьких новобранцев, но выходило, что по пьянке он все же переспал с ней разок-другой, так по крайней мере утверждала Иокаста, а сам он точно не помнил, да и потом еще этот проклятый офицер из его охраны — лучше всего, конечно, вывести из игры этого бастрыка, вдруг оказавшегося в царской люльке.

Пифия поплотнее закуталась в свой хитон, снизу вдруг повалили ледяные испарения, она стала мерзнуть и, дрожа от холода, снова увидела перед собой ободранного нищего с запекшейся кровью на лице, но вот кровь в глазницах исчезла, и на нее глянули голубые глаза — одичавшее, все в ссадинах, негреческое лицо; перед нею стоял юноша, как и тогда, когда Панихия захотелась подурочить его и она произнесла свое пророчество, взятое с потолка. Он уже тогда знал, подумала она сейчас, что не был сыном коринфского царя Полиба и жены его Меровы, он обманул меня.

— Конечно, — донесся голос юного Эдипа сквозь парь, все плотнее окутывавшие пифию, — я всегда знал об этом. Рабы и придворные служанки все мне рассказали, да и пастух, нашедший меня на склонах Киферона — беспомощного новорожденного младенца с проколотыми булавкой лодыжками и связанными ногами. Я ведь знал, что именно в таком виде передали меня коринфскому царю Полибу. Не отрицаю, Полиб и Мерапа были добры ко мне, но никогда не были до конца честны, они боялись открыть мне правду, потому что у них были свои виды на меня, им хотелось иметь сына, и тогда я отправился в Дельфы. Аполлон был единственной инстанцией, куда я мог обратиться. Я открою тебе, Панихия, я верил Аполлону, я и сегодня все еще верю ему, я не нуждался в посредничестве Тиресия, но я задал Аполлону неискренний вопрос, ведь я же знал, что Полиб мне не отец. Я пришел к Аполлону, чтобы выманить его из его божественного укрытия, и выманил: его прорицание, грозно обрушившееся на меня из твоих уст, было поистине ужасающим, какой,

пожалуй, и бывает всегда правда, и так же ужасно оно и исполнилось. Уходя тогда от тебя, я рассуждал так: если Полиб и Мeroпа мне не родители, то, согласно пророчеству, ими будут те, с кем оно сбудется. И когда в том месте, где сходились пути, я убил вздорного честолюбивого старца, я понял — еще прежде, чем убил, — что он мой отец, а кого же еще я мог убить, как не своего отца, ведь кроме него я убил еще только одного, и это произошло позднее, какого-то нестоящего офицера дворцовой охраны, я даже имени его не запомнил.

— Нет, ты еще кое-кого убил, — бросила реплику пифия.

— Кого же? — удивился Эдип.

— Сфинкс, — ответила Панихия.

Эдип помолчал немного, будто вспоминая, и улыбнулся.

— Сфинкс, — сказал Эдип, — была чудовищем с лицом и грудью женщины, телом льва, змеей вместо хвоста и крыльями орла, она задавала всем дурацкую загадку. Сфинкс кинулась с горы Фикион и разбилась насмерть, а я женился в Фивах на Иокасте. Знаешь, Панихия, я должен тебе кое-что сказать, ты скоро умрешь и потому можешь все узнать: больше всего на свете я ненавижу своих родителей, ведь они хотели бросить меня на растерзание диким зверям. Я только не знал, кто они, и вот пророчество Аполлона принесло мне избавление от мук — встретив в тесном ущелье между Дельфами и Даулем Лая, я в неистовом бешенстве, охватившем меня, скинул его с колесницы и, увидев, что он запутался в поводьях, хлестнул коней, те понеслись, волоча моего родителя по пыли, а когда замолкли его предсмертные хрипы, я увидел в придорожной канаве его возницу, пронзенного ударом моего посоха. Как звали твоего господина? — спросил я его. Он уставился на меня и молчал. Ну?! — прикрикнул я на него. Он произнес его имя: я отправил на погибель царя Фив, а потом, когда я в нетерпении спросил про фиванскую царицу, он вымолвил и ее имя. Он назвал мне имена моих родителей. Свидетелей оставаться не могло. Я вытащил свой посох из его раны и поразил его еще одним ударом. Возница испустил дух. И пока я вытаскивал свой посох из его мертвого тела, я заметил, что на меня смотрит Лай. Он все еще был жив. Я молча пронзил его. Я хотел стать царем Фив, и боги желали того же, и с триумфом возлег я на свою мать, и еще и еще раз, со злорадством зачал я в ее чреве четверых детей, потому что на то была воля богов, тех богов, которых я ненавижу еще больше, чем моих родителей, и каждый раз, когда я ложился на свою мать, я ненавижу ее пуще прежнего. Боги приняли чудовищное решение, и оно должно было осуществиться, а когда Креонт возвратился из Дельф с ответом Аполлона, что болезнь в Фивах утихнет, как только будет найден убийца Лая, я наконец понял коварство богов, замысливших столь чудовищную по жестокости судьбу, понял, кого они хотели отравить себе на потеху — меня, того, кто выполнил их волю. И с тем же триумфом я сам провел против себя расследование, уличившее меня в убийстве, с триумфом нашел в покоях повесившуюся Иокасту и с триумфом выколол себе глаза — ведь боги подарили мне величайшее из всех, какие только могут быть, мыслимых прав: сверхвысшую свободу ненавидеть тех, кто производит нас на свет — родителей, предков, произведших на свет моих родителей, а через них и богов, породивших и предков, и родителей, и теперь я брожу по Греции слепым и нищим вовсе не для того, чтобы славить всемогущество богов, а лишь для того, чтобы подвергать их хуле и осмеянию.

Панихия сидела на треножнике. Она ничего больше не чувствовала. Может, я уже мертва, подумала она, и только очень постепенно до ее сознания дошло, что в клубах испарений перед ней стояла женщина, светлоокая, с буйными рыжими волосами.

— Я Иокаста, — сказала женщина, — я все знала сразу после брачной ночи, Эдип рассказал мне свою жизнь. Он ведь был так доверчив и искренен и, клянусь Аполлоном, так наивен и горд тем, что смог избежать веления богов, не возвратившись в Коринф, и не убив Полиба, и не женившись на Меропе, которых он все еще принимал за своих родителей, как будто так просто ускользнуть от воли богов. Я еще раньше подозревала, что он мой сын, уже в первую ночь, едва он только вошел в Фивы. Я даже еще не знала, что Лай мертв. Я узнала его по рубцам у него на лодыжках, когда он голый лежал подле меня, но я ничего ему не открыла, да и зачем, мужчины всегда такие чувствительные, и именно поэтому я не сказала ему также, что Лай вовсе не его отец, как он, конечно, до сих пор думает. Его отцом был дворцовый офицер Мнесип, совершенно пустоголовый болтун с удивительными способностями в той области, где много говорить не требуется. Того, что он напал на Эдипа в моей спальне, когда мой сын, а впоследствии и супруг впервые посетил меня, коротко и почтительно поздоровавшись со мной и тут же поднявшись ко мне в постель, по-видимому, избежать того нападения было нельзя. Очевидно, он хотел защитить честь Лая, именно он, Мнесип, который сам-то не очень считался с его честью. Я только успела вложить в руку Эдипа меч, последовал короткий бой, но Мнесип никогда не умел хорошо драться. Эдип приказал выбросить его труп на поругание коршунам, не из жестокости, нет, просто Мнесип катастрофически плохо провел бой, исходя из судейских оценок спортивных состязаний. Ну да, они были ниже всякой критики, спортсмены ведь строгий народ. И вот, поскольку я не осмелилась открыться Эдипу, чтобы не противиться воле богов, я не могла помешать ему и жениться на мне, охваченная ужасом, что твое пророчество, Панихия, исполнилось и я оказалась бессильна как-либо воспрепятствовать ему: сын ложится в постель к собственной матери, Панихия, я думала, я лишусь чувств от ужаса, а я лишила их от сладострастия, никогда не испытывала я большего наслаждения, чем отдаваясь ему. Из моего чрева появился на свет прекрасный Полиник, рыжая, как я, Антигона, нежная Исмена и герой Этеокл. Отдаваясь по воле богов Эдипу, я мстила Лая, за то, что он велел отдать моего сына на растерзание диким зверям и я годами лила горькие слезы, оплакивая моего сына, и поэтому каждый раз, когда Эдип заключал меня в объятия, я была едина с решением богов, пожелавших, чтобы я отдалась насильнику сыну и принесла себя в жертву. Клянусь Зевсом, Панихия, я принадлежала бесчисленному количеству мужчин, но любила одного Эдипа, которого боги определили мне в мужа, чтобы я, единственная из смертных женщин, подчинилась не чужому, а рожденному мною мужчине: себе самой. Мой триумф в том, что он меня любил, не ведая, что я его мать, и то, что самое противоестественное стало самым естественным, составило мое счастье, предопределенное мне богами. В их честь я и повесилась — то есть, собственно, я повесилась не сама, это сделал преемник Мнесипа, первый офицер из дворцовой охраны Эдипа Молорх. Когда он прослышал, что я мать Эдипа, он в бешенстве от ревности ко второму офицеру дворцовой охраны Мериону ворвался в мою спальню и с криком: горе тебе, кровосмесительница! — вздернул

меня на дверной перекладине. Все думают, я повесилась сама. И Эдип так думает, и раз он по велению богов любил меня больше, чем собственную жизнь, он и ослепил себя. Настолько сильна его любовь ко мне — его матери и жене в одном лице. Хотя Молорх, может, приревновал меня вовсе и не к Мернону, а к третьему офицеру дворцовой охраны Мелонфу — забавно, имена всех моих дворцовых офицеров начинаются по велению богов на М, — но это вот уж действительно не имеет никакого значения, главное, я думаю, что по велению богов я сумела устроить так, чтоб жизнь моя кончилась в радости. Во славу Эдипу, моему сыну и супругу, Эдипу, которого я любила по велению богов сильнее, чем всех остальных мужчин, и во хвалу Аполлону, возвестившему твоими устами, Панихия, чистую правду.

— Ах ты шлюха! — закричала хриплым голосом Панихия. — Потаскуха этакая! Ты с твоим велением богов... Какая там еще чистая правда моими устами? Все прочество было сплошным обманом!

Но крика не получилось, раздался лишь хриплый шепот, а из расщелины поднялась огромная тень, перед пифией встала стена, не пропускавшая слабый свет сизой ночи.

— Знаешь, кто я? — спросила тень, когда на ней проступило лицо с серыми глазами и холодным льдистым взглядом.

— Ты Тиресий, — ответила пифия, она ждала его.

— Ты знаешь, зачем я явился тебе, — сказал Тиресий, — хотя и чувствую себя довольно неуютно в этих испарениях, я ведь не страдаю ревматизмом.

— Я знаю, — сказала пифия с облегчением, болтовня Иокасты окончательно отравила ей жизнь. — Я знаю, ты пришел, потому что я должна сейчас умереть. Я это уже давно поняла. Задолго до того, как начали подниматься тени — Менекей, Лай, Эдип, потаскуха Иокаста и вот теперь ты. Спускайся вниз, Тиресий, я устала.

— И я сейчас тоже умру, Панихия, — сказала тень, — нас обоих не станет в один и тот же момент. Я только что, приняв свое подлинное обличье, напился, разгоряченный, из холодного источника Тельфусы.

— Я ненавижу тебя, — прошипела пифия.

— Перестань злиться, — засмеялся Тиресий, — давай помиримся и спустимся вместе в аид. — И тут вдруг Панихия заметила, что огромный, древний-предревный провидец вовсе не был слепым, его светло-серые глаза подмигнули ей. — Панихия, — молвил он отеческим голосом, — лишь одно неведение того, что ждет нас в будущем, заставляет нас примириться с настоящим. Меня всегда безмерно удивляло, как падки люди до того, чтобы узнать свое будущее. Казалось, они готовы предпочесть своему счастью несчастье, лишь бы только знать, что их ждет. Ну хорошо, мы жили за счет этой навязчивой зависимости людей от судьбы, я признаюсь, гораздо лучше, чем ты, хотя разыгрывать из себя в течение семи жизней, подаренных мне богами, слепого было вовсе не так легко. Но людям вынь да положь слепого провидца, а разочаровывать своих клиентов не дело. Что же касается первого заказанного мною в Дельфах пророчества, связанного с судьбой Лая и так разгневавшего тебя, то не суди слишком строго. Провидцу тоже нужны деньги, мнимая слепота чего-то стоит, мальчику, водившему меня, ведь нужно было платить и каждый год менять его, потому что он непременно должен был оставаться семилетним, а спецслужба, а доверенные люди по всей Греции, и тут приходит этот Менекей... Знаю, знаю, ты нашла в архиве квитанцию только на пять ты-

сяч талантов, уплаченных мною за пророчество, хотя Менекей дал мне за него пятьдесят — но, по сути, оно даже и не было пророчеством, а всего лишь предостережением, ведь у Лая, которому было сделано предостережение, что его сын убьет его, не только не было сына, но и не могло его быть чисто физически, я же, в конце концов, учел его роковую для продолжения династии предрасположенность.

Панихия, — продолжил примиряюще Тиресий, — я, так же как и ты, человек разумный и тоже не верю в богов, но я верю в разум, и поскольку я верю в разум, я убежден, что неразумную веру в богов нужно разумно использовать. Я демократ. Я же вижу, что наша старинная аристократия, ведущая свое происхождение от олимпийских богов, дошла до ручки и погрязла в трясины разврата, все они насквозь продажны и подкупны, готовы на любое грязное дело, а их моральное разложение не поддается никакому описанию. Достаточно только вспомнить вечно пьяного Прометея, налево и направо рассказывающего сказки, что орлы Зевса искали ему печень, тогда как у него цирроз на почве алкоголя, или возьми законченного обжору Тантала, впавшего теперь в другую крайность: не ест, не пьет, ссылаясь на строгости диеты для диабетиков. А посмотри на наши царские династии, я тебя умоляю. Фиест поедает на пиру своих сыновей, Клитемнестра убивает секирой мужа, Леда занимается любовью с лебедем, жена Миноса с быком. Благодарю покорно. А уж как представляю себе спартанцев с их тоталитарным государством — прости меня, Панихия, мне не хотелось бы обременять тебя политикой, — но спартанцы тоже ведут свое происхождение от спартов, от Хтония, одного из тех пяти бешеных воинов, что остались в живых, а Креонт происходит от Удея, отважившегося вылезти из земли, когда вся резня уже была позади. Моя дорогая Панихия, Креонт — преданная душа, согласен, преданность есть нечто чудесное и в высшей степени порядочное, и с этим согласен, но без преданности не состоялась бы ни одна диктатура, преданность — это та твердость, на которой зиждется тоталитарное государство, без преданности оно рухнет, рассыпавшись в прах; демократия же нуждается в некоем умеренном отступничестве и непостоянстве, в некоей ветрености и легкомыслии, в аморфности мысли и избытке фантазии. А есть ли у Креонта фантазия? Из него вылупится чудовишный государственный деятель, Креонт из спартов, как и спартанцы тоже их потомки. Мой намек Лаю, он должен остерегаться своего сына, иметь которого он не мог, было предостережением ему не сделать своим наследником Креонта, Лай неминуемо привел бы его к власти, если бы не принял заблаговременно мер: в конце концов, одним из его генералов был Амфитрион, самый лучший и благороднейший воин высокородного происхождения, его жена Алкмена еще более высокого рода или его, а может, и не его сын Геракл — оставим эти бабские сплетни. Роду Кадма пришел конец, Лай это понимал, помня о своих неотвратимых пристрастиях, а ведь я всего только и хотел подсказать ему своим пророчеством, что было бы умно с его стороны усыновить Амфитриона, но он не усыновил его. Лай оказался не столь умен, как я думал.

Тиресий умолк, помрачнел, посуровел.

— Все лгут, — сказала, как припечатала, пифия.

— Кто лжет? — спросил Тиресий, все еще погруженный в свои мысли.

— Тени, — ответила пифия, — никто не говорит правды до конца, за исключением Менекея, но тот слишком глуп, чтобы лгать. Лай лжет, и потаскушка Иокаста лжет. Даже Эдип не во всем честен.

— Ну, в общем и целом да, — согласился Тиресий.

— Может, конечно, все и так, — сказала пифия с горечью, — но только про Сфинкс он врет. Чудовище с лицом и грудью женщины и телом льва. Смех один.

Тиресий долгим взглядом посмотрел на пифию.

— Ты хочешь знать, кто такая Сфинкс? — спросил он.

— Ну кто? — спросила Панихия.

Тень Тиресия приблизилась к ней, накрыла ее, заслонив собой почти по-отчески.

— Сфинкс, — начал рассказывать Тиресий, — была столь прелестна, что я вытаращил глаза, когда увидел ее впервые в окружении ручных львиц, это было перед ее гротом на горе Фикион близ Фив. "Иди сюда, Тиресий, ты, старый мошенник, прогони своего мальчика в кусты и сядь рядом со мной", — заворковала она. Я был рад, что она не произнесла этих слов при мальчике, она знала, что я только разыгрываю из себя слепого, но сохранила мою тайну. И вот я сел подле нее на расстеленную шкуру, львицы так и кружили, мурлыкая, вокруг нас. Пряди ее длинных, мягких, белокурых волос делали Сфинкс таинственной и лучезарной, она была просто чем-то совсем настоящим. И только когда она застыла словно камень — я испугался, Панихия, один только раз видел я ее такой: когда она рассказывала мне про свою жизнь. Ты ведь знаешь несчастную семью Пелопса. Высочайшего происхождения, от героев. Так вот, юный Лай, не успев стать царем Фив, соблазнил знаменитую Гипподамию, тоже особу высококородную. Ее супруг отомстил за себя в стиле этой семейки: Пелопс оскотил Лая и отпустил повизгивающим восвосяси. Дочь, родившуюся у Гипподамии, сама мать в насмешку назвала Сфинкс, "душительница", и посвятила ее в жрицы Гермесу, проклиная и обрекая ее на вечную девственность, но с расчетом, чтобы Гермес, бог торговли, покровительствовал экспорту на Крит и в Египет, чем жили Пелопсы; и при всем при этом Гипподамия совратила и Лая, не то чтобы в ответ, а, как все аристократы, она тоже умела совмещать приятное с жестоким и жестокое с полезным. А вот почему Сфинкс осадила на горе Фикион своего папашу в Фивах и отдавала каждого, кто не мог отгадать ее загадку, на растерзание своим львицам, она мне не открыла, может потому, что догадалась, что я пришел к ней по поручению Лая выпытать у нее ее намерения. Она передала мне только приказ — Лай должен покинуть Фивы вместе со своим возницей Полифонтom. К моему великому удивлению, Лай повиновался.

Тиресий задумался.

— То, что случилось потом, — сказал он, — тебе, пифия, самой известно: роковая встреча в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, убийство Лая и Полифонта Эдипом и его встреча со Сфинкс на горе Фикион. Ну хорошо. Эдип разрешил загадку, и Сфинкс бросилась с горы вниз.

Тиресий умолк.

— Что ты болтаешь, старый, — сказала пифия, — зачем рассказываешь мне эту байку?

— Эта история мучает меня, — сказал Тиресий. — Можно я сяду с тобой? Я озяб, холодный источник Тельфусы сжигает мне нутро.

— Садись на треножник Гликеры, — ответила пифия, и тень Тиресия взгромоздилась рядом с ней над расщелиной. Повалившиеся парь сгустились и окрасились в алые тона.

— А почему она тебя мучает? — спросила пифия почти по-дружески. — Что такое история этой Сфинкс, как не побочное свидетельство того, как ков был конец жалкого рода Кадма? Кастрированный царь и проклятая на вечную девственность жрица.

— Что-то в этой истории не сходится, — сказал Тиресий задумчиво.

— Да в ней ничего не сходится, — подтвердила пифия, — это и неважно, что в ней ничего не сходится, потому что для Эдипа никакой роли не играет, был ли Лай гомиком или кастратом, так или иначе он не был его отцом. А история Сфинкс сама по себе совершенно второстепенна.

— Вот именно это и беспокоит меня, — пробормотал Тиресий, — не бывает никаких второстепенных историй. Все взаимосвязанно. Стоит только потрясти в одном месте, как зашатается все целиком. Панихия, — замотал он головой, — как получилось так, что именно ты своим пророчеством предрекла то, что произошло потом? Ведь без твоего прорицания Эдип не женился бы на Иокасте и сидел бы сейчас преспокойно на троне в Коринфе. Нет, я не собираюсь тебя обвинять. Больше всех виноват я. Эдип убил своего отца, ладно, бывает, переспал со своей матерью. Ну и что? А вот то, что все это вылезло как беспримерный прецедент наружу, уже чистая катастрофа. Будь проклято мое последнее провидение по поводу этой вечной моровой язвы! Вместо того чтобы сделать приличную канализацию, подавай им опять очередное пророчество.

При этом я же был в курсе. Иокаста мне во всем покаялась. Мне было известно, кто настоящий отец Эдипа: какой-то нестоящий офицер дворцовой охраны. И я понимал, на ком он женился — на своей матери. Ну хватит, подумал я, пора наводить порядок. Кровосмешение кровосмешением, но у Эдипа с Иокастой как-никак четверо детей, их брак надо спасти. Единственный, кто еще мог угрожать ему, был до ужаса честный Креонт, преданный своей сестре и своему зятю, и если бы он дознался, что его зять ему племянник, а дети его зятя ему племянники, равноправные его племянникам от его племянника, у него от этого свихнулись бы набекрень мозги и он свергнул бы Эдипа, уже из-за одной только преданности моральным устоям. И мы получили бы в Фивах такое же тоталитарное государство, как в Спарте — бесконечные войны с потоками крови, ликвидация неполноценных детей, ежедневная военная муштра на плацу, героизм как гражданская повинность, и тогда я инсценировал величайшую в своей жизни глупость: я был убежден, Креонт убьет Лая в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, чтобы самому стать царем, из преданности, конечно, на сей раз своей сестре, отомстив за ее сына, потому что он свято верил, что устранный с дороги Эдип — сын Лая, наивная простота Креонт даже мысли не допускал о супружеской неверности сестры; и всю эту комбинацию я сконструировал так только потому, что Иокаста скрыла от меня, что Эдип убил Лая. Я склонен теперь думать, она знала об этом. Я уверен, что Эдип рассказал ей о случае, происшедшем с ним в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, и что она только сделала вид, что не знает, чьей жертвой пал Лай. Иокаста должна была сразу обо всем догадаться.

Ну почему, Панихия, люди раскрывают только подобие правды, как будто в правде детали не самое важное? Может, потому, что люди сами — лишь подобие. Эта проклятая неточность. В данном случае она, псжалуй, вкралась потому, что Иокаста просто обо всем забыла, ведь смерть Лая ничуть не тронула ее, она выпустила из виду этот пустячок, и все тут, но

этот пустячок, он открыл бы мне глаза и помешал бы направить подозрение на Эдипа как на убийцу Лая, мне следовало бы так сформулировать твое пророчество: Аполлон повелевает вам построить канализацию, и тогда Эдип по сей день был бы царем в Фивах, а Иокаста, как и прежде, царицей. А вместо этого? Теперь в Кадмее восседает преданный им Креонт и трудится над возведением своего тоталитарного государства. Случилось то, чему я хотел воспрепятствовать. Пошли вниз, Панихия.

Старуха взглянула на открытый вход в святилище. В клубах красноватых испарений ясно вырисовывался светлый проем портала, за ним простиралась вся еще во власти ночных красок земная твердь; и вдруг возник неопределенного вида клубок, постепенно принимавший все более ясные очертания, став потом желтым и оформившись наконец во львицу, терзающих мясной оковалок; затем львицы исторгли из себя проглоченные куски назад, и из их лап вырвалось человеческое тело; разодранные ключья тонкой ткани срослись, львицы отступили, и в проеме портала появилась женщина в белом одеянии жрицы.

— Не надо мне было приручать львицу, — произнесла она.

— Мне очень жаль, — сказал Тиресий, — но конец твой поистине ужасен.

— Это только так выглядит со стороны, — успокоила его Сфинкс, — даже досада берет, что ничего не чувствуешь. Ну а теперь, когда все уже позади и вы оба скоро тоже станете лишь тенями — пифия тут и Тиресий сначала тут, в пещере, а потом уже у источника Тельфусы, — вы должны узнать правду. Клянусь Гермесом, какой тут сквозняк! — Она стала спешно подхватывать свои тонкие прозрачные одежды.

— Ты всегда удивлялся, Тиресий, — продолжила она свою речь, — почему я осадилась со своими львицами Фивы. Так вот, мой отец был не тем, за кого он себя выдавал и кем ты его считал для успокоения своей совести. Он был коварным и суеверным тираном. Он прекрасно знал, что любое тиранство становится тогда невыносимым, когда опирается на принципы; нет ничего невыносимее для человека, чем тупая справедливость. Именно ее он воспринимает как несправедливую. Все тираны, основывающие свою власть на принципах — на всеравенстве или всеобщности, — будят в тех, над кем они властвуют, несравненно более сильное ощущение их угнетенности, чем тираны, которые, вроде Лая, ленивы на всякого рода увертки и довольствуются тем, что просто пребывают в тиранах, даже если они по сути своей более гнусные правители: поскольку их тиранство капризно и непредсказуемо, у их подданных создается иллюзия некоторой свободы. Они не ощущают, что над ними довлеет постоянный диктат и произвол, не оставляющие им ни малейшей надежды, нет, им кажется, они подвержены капризам произвола, и в промежутках между ними они усматривают лазейки для собственных надежд.

— Черт побери, — воскликнул Тиресий, — а ты умна.

— Я много думала о людях, расспрашивала их, прежде чем загадать им свою загадку и отдать их на растерзание моим львицам, — ответила Сфинкс. — Меня интересовало, почему люди позволяют властвовать над собой: от лени и тяги к покою, заходившими зачастую так далеко, что они выдумывали безумные теории ради чувства собственного единения со своими властителями, а те в свою очередь тоже измышляли такие же безумные теории ради собственной веры, что они не подчиняют себе тех, кем правят. Но только моему отцу все это было безразлично. Он принад-

лежал еще к тем авторитетам, которые гордились быть носителями неограниченной власти. Он не считал нужным прибегать к уверткам для проявления своего деспотизма. Его мучило только одно — его роковая судьба: то, что его кастрировали и тем самым положили роду Кадма конец. Я чувствовала его грызущую тоску, его злобные мысли, коварные планы, ворочавшиеся в его голове, когда он навещал меня, часами сидя передо мной и тайком следя за мной, и я стала бояться своего отца, вот тогда-то я и начала приручать львиц. И мои страхи оказались не напрасными. Умерла жрица, воспитавшая меня, и я осталась жить одна со своими львицами в святилище Гермеса в горах Киферона. Панихия, тебе я хочу рассказать об этом, да и ты, Тиресий, пожалуй, тоже можешь послушать: вот тогда ко мне и пришел Лай со своим возницей Полифонтом.

Они появились из леса, где-то в стороне пугливо ржали их кони, рыкали львицы, и у меня родилось предчувствие чего-то дурного, но меня как сковало. Я впустила их в святилище. Мой отец запер на засов дверь и приказал Полифону изнасиловать меня. Я сопротивлялась. Мой отец помог Полифону — он обхватил меня сзади, и Полифонт приступил к выполнению его приказа. Львицы с ревом носились вокруг святилища. Мощные удары их лап обрушивались на дверь. Она не поддавалась. Я закричала, когда Полифонт овладел мною; львицы умолкли. Они дали Лаю и Полифону беспрепятственно уйти.

В то же самое время, когда Иокаста родила от своего офицера дворцовой охраны сына, я тоже произвела на свет мальчика — Эдипа. Мне ничего не было известно про глупое пророчество, сформулированное тобой, Тиресий. Я знаю, ты хотел предостеречь моего отца и помешать приходу Креонта к власти и ты хотел обеспечить мир. Но, не говоря уже о том, что Креонт пришел к власти и начинается затяжная война, потому что против Фив выступило семь вождей, ты еще жестоко ошибся в Лае. Я знаю его пышные фразы: он выдавал себя за просвещенного правителя, а сам прежде всего верил в пророчества и больше всего испугался, когда ему предсказали, что его сын убьет его. Лай отнес это пророчество на счет моего сына, его внука; то, что он заодно избавился, подстраховавшись, еще и от сына Иокасты и ее офицера дворцовой охраны, было само собой разумеющимся: игры диктатора, зачем искушать судьбу.

И вот однажды вечером передо мной появился пастух Лая с младенцем на руках, лодыжки ног мальчика были проткнуты и связаны вместе. Пастух передал мне послание, в котором Лай приказывал мне бросить моего сына, своего внука, вместе с сыном Иокасты львицам на съедение. Я поднесла пастуху вина, и тот, охмелев, признался мне, что Иокаста подкупила его: он должен передать ее сына знакомому пастуху коринфского царя Полиба, не раскрывая тому происхождения ребенка. Когда пастух заснул, я бросила сына Иокасты львицам, проколола своему сыну лодыжки, и на следующее утро пастух отправился с запеленутым детенышем дальше, не заметив подмены.

Не успел он уйти, явился мой отец с Полифонтом; львицы лениво потягивались, около них на земле лежала детская ручонка с обескровленными пальчиками, бледенькая и маленькая, как цветок. "Львицы разорвали обоих детей?" — хладнокровно спросил мой отец. "Обоих", — ответила я. "Я вижу только одну ладошку", — сказал он, перевернув ее копьём. Львицы зарычали. "Львицы разорвали обоих, — сказала я, — но оставили только одну ладошку, и тебе придется этим довольствоваться". —

“Где пастух?” — спросил мой отец. “Я отослала его”, — ответила я. “Куда?” — “В одно святилище, — сказала я, — он был твоим орудием, но он — человек. У него есть право очиститься от своей вины, что он стал твоим орудием, а теперь ступай”. Мой отец и Полифонт помедлили еще, но тут поднялись разгневанные львицы, прогнали обоих и не спеша вернулись назад.

Мой отец не отважился больше появляться у меня. Восемнадцать лет я не давала о себе знать. А потом я начала со своими львицами осаду Фив. Наша вражда выпилась наружу, однако мой отец не осмелился раскрыть причину этой войны. Раздосадованный и все еще напуганный пророчеством, ведь наверняка он знал только, что один ребенок был мертв, а что, если другой жив, и он не знает какой, он опасался, что где-то в живых остался его внук и я нахожусь с ним в заговоре. Он послал ко мне тебя, Тиресий, чтобы выпытать у меня.

— Он не сказал мне правды, и ты тоже не открыла мне ее, — с горечью произнес Тиресий.

— Если бы я сказала тебе правду, ты бы опять инсценировал очередное пророчество, — засмеялась Сфинкс.

— А почему ты приказала своему отцу покинуть Фивы? — спросил Тиресий.

— Потому что я знала, что смертельный страх обуял его и он собрался в Дельфы. Я же не могла предвидеть, какую кашу заварила там тем временем Панихия со своим гениальным пророчеством, я думала, придет Лай, там пороются в архиве во избежание несовпадений и повторят ему старый ответ, что повергло бы его в еще больший страх и трепет! А теперь одним только богом известно, что произошло бы, если бы Лай обратился с вопросом к Панихии, и что бы она ему там насочиняла и во что бы он поверил. До этого дело не дошло, Лай и Полифонт столкнулись в тесном ущелье между Дельфами и Даулем с Эдипом, и сын не только заколол своего отца Полифонта, но и замучил до смерти своего деда, хлестнув коней, понесшихся вскачь.

Сфинкс умолкла. Пары рассеялись, треножник рядом с пифией опустел. Тиресий опять превратился в огромную тень, сливавшуюся с глыбами тесаного камня, громоздившимися друг на друга перед главным порталом, в проеме которого белел силуэт Сфинкс.

— А потом я стала возлюбленной своего сына. Многого не расскажешь о тех его счастливых днях, — произнесла после долгого молчания Сфинкс, — счастье не терпит лишних слов. До Эдипа я презирала людей. Они изолгались и, утратив естественность, не догадывались, что загадка — у какого из всех живущих на земле существ меняется в течение его жизни число ног: утром оно ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех, и когда оно ходит на четырех ногах, тогда меньше всего у него сил и оно медленнее всего двигается — имела в виду их самих, потому-то я без числа и отправляла их, не сумевших дать разгадку, на растерзание своим львицам. Они кричали о помощи, когда львицы рвали их на части, я не помогала им, я только смеялась.

Но когда пришел Эдип, хромя, из Дельф и ответил мне: Это человек, который ползает, пока он мал и слаб, на четвереньках, ходит в зрелом возрасте прочно на двух ногах, а в старости опирается на палку, — я не бросилась вниз с горы Фикион. Ради чего? Я стала его возлюбленной. Он никогда не спрашивал меня о моем происхождении. Он заметил, конечно,

что я жрица, и, будучи набожным человеком, помнил о запрете сожительства с одной из них, но, поскольку он все же жил со мной, он притворялся неведущим и не задавал мне никаких вопросов относительно моей былой жизни, а я не расспрашивала его, даже не интересовалась его именем, чтобы не повергнуть его в смущение. Я хорошо понимала, что, открыв мне свое имя и свое происхождение, он стал бы опасаться Гермеса, в чьи жрицы я была посвящена и кому отныне стало бы известно и его имя, ведь, как все набожные люди, он считал богов ужасно ревнивыми, а может, у него было предчувствие, что, выпытав у меня о моем происхождении, о чем он, собственно, должен был бы полюбопытствовать, как всякий любящий, он наткнулся бы на то, что я его мать. А он боялся узнать правду, и я боялась того же. Так он не знал, что он мой сын, а я — что я его мать. Счастливая, что у меня есть любимый, которого я не знаю и который не знает меня, я вернулась со своими львицами назад в свое святилище в горах Киферона; Эдип приходил ко мне все чаще и чаще, наше счастье было непорочным, как и сама сокровенная тайна.

Только львицы становились все беспокойнее и злее, но не к Эдипу, а ко мне. Они рычали на меня, возбуждаясь все сильнее, все больше выходя из повиновения и все чаще поднимая на меня свои когтистые лапы. Я отбивалась от них кнутом. Они опускались на землю с грозным рычанием, и, когда Эдип перестал появляться, они набросились на меня, и я мгновенно поняла, что произошло нечто непостижимое — ну вот, вы видели, что случилось тогда со мной и бесконечно случается в преисподней. И когда сквозь расщелину, над которой сидит Панихия, до меня донесло ветром ваши голоса, я вняла истине, услышав ту правду, которую мне положено было знать давным-давно, но и она не в силах уже больше ничего изменить: мой возлюбленный был моим сыном и ты, Панихия, провозгласила тогда истинную правду.

Сфинкс начала смеяться, как смеялась прежде пифия при появлении Эдипа. И смех ее тоже становился все неудержимее, и, даже когда львицы опять набросились на нее, она все смеялась, и когда они в клочья изодрали ее белое платье и начали рвать ее на части, она все еще смеялась. Ну а потом уже ничего нельзя было разобрать, осталось ли там что после желтых бестий, смех отзвенел, львицы подлизали языками кровь и исчезли. Из расщелины вновь повалили испарения. Алые, как маковый цвет. Умирающая пифия осталась одна с едва различимой тенью Тиресия перед входом.

— Удивительная женщина, — произнесла тень.

Ночь отступила перед свинцово-сизым утром, оно как-то стремительно заполнило весь каменный свод святилища. Но то было еще не утро, но уже и не ночь — нечто неосоздаемое неудержимо вторгалось, переливаясь снаружи вовнутрь, ни свет, ни темень — без теней и без красок. Как всегда в эти самые первые ранние часы, испарения опустились холодной изморосью на каменные плиты, осели на стенах в скале, повисли черными каплями, падающими постепенно под собственной тяжестью, повисая длинными тонкими нитями, исчезающими в расщелине скалы.

— Только одного я не понимаю, — сказала пифия. — То, что мое пророчество сбылось — пусть и не так, как представляет себе Эдип, — всего лишь невероятнейшее случайное совпадение. Но если Эдип с самого начала верил в прорицание и первый человек, кого он убил, был возница

Полифонт, а первая женщина, ставшая его любовью, Сфинкс, почему он тогда не заподозрил, что его отцом был возница, а его матерью Сфинкс?

— А потому, что Эдип хотел лучше быть сыном царя, чем возницы. Он сам себе выбрал свою судьбу, — ответил Тиресий.

— Мы с нашими пророчаниями, — застонала пифия в ярости, — только благодаря Сфинкс узнали мы правду.

— Не знаю, — произнес в задумчивости Тиресий. — Сфинкс — жрица Гермеса, бога воров и плутов.

Пифия умолкла; испарения не поднимались больше из расщелины, и она мерзла.

— С тех пор как они начали строить театр, — заявила она, — испарений стало намного меньше. — Помолчав, она еще добавила: — Сфинкс, пожалуй, только в отношении фиванского пастуха сказала неправду. Она вряд ли послала его в святилище, скорее отдала на съедение львицам, как и Эдипа, сына Иокасты. А своего Эдипа, своего сына, тогда она собственно-ручно передала коринфскому пастуху. Сфинкс действовала так, чтобы ее сын наверняка остался в живых.

— Не думай об этом, старушка, — засмеялся Тиресий, — выкинь из головы, что там было не так и еще не раз окажется не так, чем долгие мы будем в этом разбираться. Не ломай больше голову, а то из преисподней поднимутся новые тени и не дадут тебе спокойно умереть. Откуда ты знаешь, может, есть еще и третий Эдип? Нам же неизвестно, а вдруг коринфский пастух вместо сына Сфинкс — если это вообще был сын Сфинкс — отдал царице Меропе своего сына, также предварительно проколов ему лодыжки, а настоящего Эдипа, который, может, и не был настоящим, отдал на съедение хищным зверям, или, может, Меропа бросила третьего Эдипа в море, а своего собственного сына, рожденного ею тайно — может, тоже от офицера дворцовой охраны, — предъявила доверчивому Полибу как четвертого Эдипа? Истина сокрыта от нас, и давай оставим ее в покое.

Забудь старые истории, Панихия, они не столь важны, во всей этой катавасии мы с тобой главные действующие лица. Мы оба столкнулись с чудовищной действительностью, которая сама по себе такая же тайна за семью печатями, как и человек, порождающий ее. Может, боги, если бы они существовали, пребывая за пределами этого гигантского клубка фантастически переплетенных друг с другом фактов, способствовавших тому, что имели место те беспрецедентные по бесстыдству случаи, составили бы себе некоторое, хотя и поверхностное, представление обо всем, а мы, смертные, варясь в котле этой невиданной неразберихи, только беспомощно барахтаемся в ней. Мы оба надеялись, изрекая пророчества, привнести в нее робкую видимость порядка, хоть малую толику законности в тот мутный, грязно-похотливый и зачастую кровавый поток событий, обрушивавшихся на нас и затягивавших нас, и именно потому, что мы пытались — пусть хоть и в малой дозе — обуздать их.

Ты предсказывала с фантазией, по настроению, из озорства, пожалуй, даже отчасти с беспардонным нахальством, короче: шалила кощунственно и остроумно. Я формулировал свои пророчества трезво, с холодным рассудком, железной логикой, или короче: по законам разума. Согласен, твое пророчество — полное попадание. Был бы я математиком, я бы точно рассчитал, какова вероятность того, что твое пророчество сбудется: оно было фантастически невероятным и вероятность его мала до бесконеч-

ности. Но, несмотря ни на что, оно сбылось, тогда как мои наиболее вероятные, построенные на разумных расчетах, преследовавшие цель вершить политику и изменить мир в духе разумного начала, оказались холостым выстрелом. Я глупец. Подчинив все разуму, я высвободил цепную реакцию причин и ступков, приведших к результатам, противоположным тому, к чему я стремился. И тут вмешиваешься ты, такая же безрассудная, как и я, с твоей неумемной раскованностью, и начинаешь напролом, с бухты-барухты вещать, чем коварнее и злее, тем вдохновеннее, почему так — давным-давно уже неважно, а кому во зло, тебя тоже абсолютно не волновало; и вот однажды чисто случайно ты предсказываешь бледному хромающему юноше по имени Эдип. Какая польза тебе, что твое пророчество попало в самую точку, а я ошибся? В нанесенном нами чудовищном ущербе мы виновны поровну. Выбрось свой треножник, пифия, твое место там, внизу, в преисподней, да и мне пора в могилу, источник Тельфусы сделал свое дело. Прощай, Панихия, но не надейся, что пути наши разойдутся. Как я, стремившийся подчинить мир своему разуму, противостою сейчас тебе в этой промозглой дыре, тебе, пыгавшейся обуздать мир своими спонтанными фантазиями, так и те, для кого мир — воплощение порядка, будут на веки вечные конфронтировать с теми, для кого мир — непредсказуемое чудовище. Одни будут считать, что этот мир можно критиковать, другие будут принимать его таким, каков он есть. Одни будут считать, что мир можно изменить, как можно изменить камень, придавая ему резцом заданную форму, другие будут высказывать опасения, что мир со всей его непредсказуемостью, изменяясь, будет, подобно чудовищу, гримасничать, корча все новые рожи, и что мир можно критиковать только в тех пределах, в каких тончайший слой человеческого разума способен влиять на сверхмощные, тектонические силы человеческих инстинктов. Одни будут обзывать других пессимистами, а те высмеивать их как утопистов. Одни будут утверждать: история вершится по определенным законам, а другие говорить: эти законы существуют только в человеческом воображении. Противоборство между нами двоими, Панихия, вспыхнет во всех сферах, противоборство провидца и пифии; пока еще оно носит эмоциональный характер и в нем мало конструктивного, но уже строят театр, уже в Афинах неизвестный поэт слагает рифмы, описывая трагедию Эдипа. Однако Афины — провинция, и Софокла забудут, а Эдип будет жить вечно, как материал и тема, задавая нам все время Эдипову загадку. Боги ли предрешили его судьбу или он сам — тем, что согрешил против принципов, на которых зиждется общество своего времени, от чего я пытался оградить его своим провидением, или, может, он пал жертвой случая, вызванного к жизни твоими причудливым пророчеством?

Пифия ничего больше не ответила, ее вдруг вовсе сразу не стало, пропал и Тиресий, а с ним и свинцово-сизое утро, тяжелым бременем придавившее Дельфы, тоже погрузившиеся в вечность.

БУНТОВЩИК

Историю главного героя надо бы начать с его юношеских лет. А. (к сожалению, имя его выпало у меня из головы) вырос в довольно крупном населенном пункте, ну, например, тысяч в сто жителей, условия

преимущественно городские, ландшафт сельский, среднеевропейский, однако это неважно — начало повествования неопределенно, смутно, как будто рассказчик располагает лишь приблизительными данными о ранней юности А.

А. — единственный ребенок обеспеченного торговца. Своего отца ни разу в жизни не видел. Когда жена его была беременна, тот отправился в путешествие и так никогда и не вернулся. Сын живет с матерью и старой служанкой в большом доме в центре города. Служанка — глухонемая старуха, только мать может объясняться с ней при помощи знаков. Мать — очень красивая женщина. К сыну она равнодушна, целыми днями сидит в своей комнате, выходит оттуда, только чтобы поужинать, прислуживает им старуха, ужин проходит в полном молчании, в лучшем случае мать справляется об успехах А. на уроках, которые дает ему домашний учитель, горбун. О своем пропавшем муже она не говорит никогда. Если А. и спрашивает об отце, то не получает ответа; только однажды мать упоминает, как бы между прочим, что отцу было уже семьдесят, когда она вышла за него. После ужина она идет к себе, чтобы позже в другом наряде покинуть дом и вернуться под утро.

Однажды, в ночь полнолуния, мальчик следит за ней. Она пересекает центр города, выходит по одному из мостов в предместье по ту сторону реки, проходит и его, там стоят только виллы среди лесных участков. Мать отворяет какую-то решетчатую калитку, распахивает ее широко, мальчик незаметно следует за ней. Из-за вековых деревьев внезапно появляется небольшой, освещенный огнями дворец, она поднимается по лестнице, слуги в ливреях встречают ее, кланяясь. Из дворца доносятся звуки музыки, одно за другим гаснут затем окна. Только в верхнем этаже светится стеклянная дверь, ведущая на балкон.

Мальчик пробирается в тени деревьев ко дворцу и пробует взобраться на балкон. Огромный, скуластый, с раскосыми глазами слуга в ливрее спугивает его, большой черный дог с рычанием бежит за мальчиком и гонит его вон из парка, через предместье, через мост в центр города, пока мальчик вновь не оказывается в отцовском доме, захлопывает за собой дверь, бледный и дрожащий, прижимается к ней.

Так проходят юные годы. После уроков А. обшаривает огромный чердак, полный всякой рухляди, привезенной из путешествий отцом: кроваво-красные азиатские маски, маленькие каменные чертики с огромными гениталиями, пожелтевшие гравюры с причудливыми ландшафтами.

Позже, став старше, он любит проводить время в библиотеке отца, перелистывает атласы, погружается в описания путешествий. Среди старых книг он находит учебник грамматики незнакомого языка. К кому он только ни обращается: к горбатому домашнему учителю, к священнику, у которого конфирмовался и который представляется ему некоей высшей инстанцией, а позже и к специалистам, исследователям языков и сравнительного языкознания, — язык остается неразгаданным, не похожим ни на какой другой.

В этом языке нет существительных и прилагательных, одни глаголы, различается более пятисот спряжений, благодаря которым наряду со словами, выражающими действие, выражаются главные состояния и свойства: так, глаголы в застывшей форме настоящего времени выступают как существительные, "ненавидеть" — "ненависть", в то время как застывшая форма прошедшего выражает прошлую ненависть, однако если говорится

это о времени настоящем, то прошлая ненависть — это уже "любовь".

А. изучает этот крайне сложный язык с трудом, потому что никто не в силах помочь ему, до всего приходится доходить самому, сначала он говорит на ломаном языке, затем все свободнее и, наконец, вполне гладко, не зная даже, правильно ли он выговаривает слова. Язык этот становится для него языком пропавшего без вести отца, хотя он и знает, что мысль эта абсурдна, это уже навязчивая идея, ибо семья отца на протяжении многих поколений живет в этом городе, многие из его предков были бургомистрами, и родители его родителей из этих же мест, и все же...

А. начинает выяснять, кем был его отец. Он находит старого прокурора, служившего еще при его отце. Прокурор отзывается о нем как о надменном, строгом, но справедливом торговце старой закваски. А. продолжает розыски. Еще более старый человек, бывший закупщик, который работал у отца, рисует юноше совершенно другой портрет: отец никогда не заботился о своих торговых делах; другой — совсем уже древний работник фирмы, — чертыхаясь, рассказывает об отце как о самом известном в городе бабнике, который переспал и с его женой; четвертый старец, еще древнее этого древнего, вспоминает, что отец якобы был во всех отношениях благочестивым человеком. А. узнает о своем отце абсолютно противоположные мнения, остальные сведения он находит в домах для престарелых у людей таких старых, что они, возможно, путают его отца с кем-то другим. И он отказывается от дальнейших розысков.

Ему исполняется двадцать лет. Он поступает в университет. Собирается стать математиком. Больше всего его интересует неевклидова геометрия Римана. Он все так же ужинает со своей матерью, все такой же красивой, она все так же уходит из дома по ночам — и вот однажды утром не возвращается. Сын, беспокоясь, обшаривает весь дворец, который ему с трудом удастся отыскать, тот — пуст. Предпринятые поиски показывают, что он пустовал всегда. Соседи из близлежащих вилл никогда ничего не замечали, сам парк, окружавший дворец, заросшая, хозяин неизвестен, дворцом управляет какой-то банк, дворец не продается, все это связано в конце концов с какими-то банковскими тайнами. Кроме того, А. не до конца уверен, тот ли это дворец, который обычно посещала его мать. Он возвращается домой. Старухи служанки тоже нет.

А. продает дом и без определенной цели покидает родину, из необъяснимого чувства, что должен отправиться туда, откуда более двадцати лет назад не вернулся его отец. Он скитается по Балканам, Малой Азии, Персии, то и дело ему кажется, что он видит ту землю, которую видел когда-то на старых гравюрах на чердаке.

В каком-то лесистом ущелье, на развалинах старого храма он находит маленького каменного чертика с огромными гениталиями, похожего на того, который был у отца. Теперь он уверен, что найден верный след, но его уверенность разбивают другие свидетельства и факты. Он сбивается с пути, скитается по ущельям, неисследованным горным массивам, пустыням, он не раз поднимается на один и тот же унылый перевал, не замечая, что движется по кругу.

И вот уже А. подумывает отказаться от своих намерений, поиски кажутся ему безнадежными, даже возвращение домой сомнительно: на него нападают разбойники, слуги убиты, его лошади, багаж, оружие, географические карты, компас украдены, — он случайно оказывается на

границе какой-то страны, не зная точно, где он находится, и бредет, хромя, в лохмотьях.

Здание таможни – убогий, покосившийся домишко, таможенник – маленького роста, раскосый, широкоскулый – останавливает А. и обращается к нему на странном языке, который А. изучал в юности. ”Язык отца” становится реальностью, только звучит он гораздо грубее и в нем больше шипящих звуков, чем А. себе представлял.

А. изумлен, он отвечает на том же языке, таможенник удивляется, все время кланяется, обращается к А. с уважением и с тайным страхом. Он дает ему есть и пить, укрывает меховой шубой и предлагает лошака.

А. принимает решение изучить незнакомую страну. Он едет по широкому, продуваемому всеми ветрами плато, окруженному низкими голыми холмами, где на склонах лепятся деревушки из одноэтажных домиков. Небо безоблачно и необытно, чаще всего густо-фиолетового цвета, так что даже днем видны звезды. Сверкает Сириус, а на горизонте горит яркая звезда, которую А. сначала принимает за планету и только потом признает в ней Канопус: оказывается, он попал далеко на юг.

Скупая растительность, тут и там кустарники да редкие уродливые деревья. Пастухи, неподвижно опираясь на свои палки и молча наблюдая за ним, пасут небольшие овечьи стада, изредка попадает несколько коз. Коров или буйволов не видно. Деревни лежат в стороне от пыльной дороги, и все-таки оттуда, издалека, приходят малорослые, раскосые, широкоскулые люди, как тот таможенник, чтобы поглазеть на А., становятся по обе стороны дороги, молчаливые, смиренные, бедные на вид, женщины поднимают маленьких детей повыше.

А. медленно приближается к столице, деревни попадают все чаще, они уже побольше, появляются даже признаки некоторого благосостояния, дорога теперь вымощена камнем. Коренные жители одеты, как А., в меховые шубы, ниспадающие до земли, которые они не снимают и дома, обходятся с А. все более почтительно. Если раньше он ночевал в темных каменных маленьких домишках, в дымных сумрачных труппах, то теперь он ночует у помещиков и зажиточных крестьян, которые встречают его на лошадках и приглашают в свои дома, пусть внешне и похожие на дома бедняков, но более просторные, разделенные внутри на маленькие смежные комнаты, на полу ковры и мягкие подушки.

Приезд А. в столицу откладывается: всё новые сановники ищут знакомства с ним, ему приходится ночевать у каждого, люди здесь легко обижаются, а он не хочет никого обижать. Его произношение со временем все более приближается к местному, он чувствует себя как дома, всё до странности знакомое, родное, и чуждое одновременно, но он не может не заметить беспокойства, которое довлеет над всем вокруг.

Политическая обстановка хаотична. Страной управляет властитель, который жестоко угнетает народ: людей ежедневно арестовывают, публично казнят, а после жители сопровождают их в торжественных похоронных процессиях под тихую мелодичную музыку к могиле, гроб покрыт голубым ковром.

А. наблюдает большое количество казней, возмущается, удивляясь тому, что, несмотря на все ужасы, страна охвачена тлеющей, иррациональной надеждой, которая делает открытый бунт невозможным: в нем нет смысла, потому что он привел бы лишь к насильственному изменению порядка вещей, а это все равно произойдет – ведь народ верит в некоего

таинственного бунтовщика, который однажды явится и освободит его. Все живит этим ожиданием, уже не могут без этой надежды.

А. намерен прояснить для себя причины этого странного ожидания. Он беседует с бедными крестьянами, ремесленниками, подручными рабочими, беседует дружелюбно, тронутый вниманием, которое оказывают ему эти люди, без всякого определенного желания что-либо изменить, из интереса к их наивной мечте, которая живет во всех: что явится бунтовщик, быть может, он уже здесь и находится среди них.

А. прибывает в столицу, внешне она выглядит также примитивно, построена вокруг скалы, на вершине стоит дворец правителя — квадратный, без украшений, без окон, замок с беспорядочно пробитыми бойницами; снизу к скале лепятся дома, карабкаются вверх друг на друга, дальше несколько грубых дворцов, за ними круто спускаются вниз улицы и площади.

Его приглашают во дворец главы церкви; старый, лет за сто, теолог дружески принимает А. и просит остановиться у него. Религия здесь — странное христианство, или точнее: смесь христианства с неизвестными местными верованиями, люди верят в некоего шестиединого Бога, в единство Бога-отца, Бога-сына и Бога святого духа, но также равным образом в Бога святой энергии, Бога святой материи и Бога святого Ничто, которое также считают и бытием, так что единство Бога — это шесть состояний бытия. Однако глава этой необычной церкви вовсе не такой уж упрямый догматик, чего А. вначале опасался, напротив, это достопочтенный теолог, который излагает свое учение с некоей благочестивой иронией и учтивостью, как будто считает своим долгом разъяснить чужестранцу особенности этой земли.

Больше, чем церковная догма, его, кажется, волнует судьба несчастного народа, о чем он говорит во время первой же аудиенции. Теолог берет А. под руку и ведет в зал, где политики страны собирают тайный, как выражается глава церкви, парламент: консерваторы, реформаторы, революционеры, идеалисты, атеисты и анархисты.

Теолог представляет А. и открывает собрание. Каждый начинает излагать свою позицию, мнения противоречат одно другому, причем теолог не поддерживает никого. Кажется, что он только глава оппозиции, но не способен направить различные течения в единое русло, для этого он политически слишком неопытен и наивен, тем не менее вокруг него сплываются все, потому что его собственная позиция неизменна, как духовный глава церкви, он по рангу стоит выше правителя, хотя у него и нет никакой политической власти.

Теолог удаляется. А. остается один с политиками. Он затевает с ними разговор, добивается, чтобы каждый еще раз выступил, разбирает их аргументы, но не для того, чтобы вести переговоры, а из чистого, иногда даже веселого любопытства, как сторонний наблюдатель.

Хотя все сходится на том, что революция необходима, и все дают понять А., что она вот-вот произойдет, потому что по всем признакам скоро появится бунтовщик, но каждый хочет благодаря революции достичь разных целей: один — создать государство по европейскому образцу, с развитой индустрией, ведь в стране полно полезных ископаемых; другой оспаривает наличие этих полезных ископаемых, говоря, что страна должна вернуться к своей исконной свободной пастушеской культуре; третий — молодой, горячий, симпатичный, с рыжим чубом — вскакивает и заяв-

ляет, что христианские элементы должны быть удалены из религии, шестиединство Бога привело не только к тому, что каждый может иметь лишь шесть акров земли и шесть жен, а не столько, сколько хочет и может иметь, но чуждое стране христианство является также причиной, почему теперь страной управляет только один правитель: якобы это является ложным истолкованием шестиединства Бога; третьему возражает четвертый — человек огромного роста: именно так и изворачивается шестиединство, на самом деле оно означает наличие шести классов: правители, чиновники, теологи, солдаты, пастухи, ремесленники — все составляют один класс, так что всё принадлежит всем и все управляют всеми; тут подскакивает какой-то невысокого роста толстяк, чьи раскосые глаза едва можно различить среди жировых складок, и кричит: пора кончать идеологическую возню, единственное, что нам необходимо, — парламент и подотчетное ему правительство и избранный народом авторитетный президент государства. Ты хочешь, чтобы выбрали тебя, кричат ему одни, демократия — это плутократия, орут другие, начинается столпотворение, кому-то в кровь разбили лицо.

Расстаются лишь на рассвете, но тайный парламент собирается вновь уже следующей ночью, потом и в другие ночи. А. примиряет революционеров различного толка, сглаживает противоречия. Его нейтральность, его спокойствие и юмор, поскольку ему смешны многие слишком радикальные мнения, действуют примиряюще, приводят к единодушию, так что в конце концов возникает только один вопрос: можно ли доверять капитану дворцовой охраны, у которого в подчинении и тайная полиция? Все расходится, так и не разрешив этого вопроса, так как большинство не доверяет капитану, однако, с другой стороны, очевидно, что без него совершить переворот не удастся; теолог призывает А. к себе.

А. хочет все рассказать. Теолог прерывает его, говоря, что он в курсе дела, однако, прежде чем тайный парламент предпримет какие-то действия, его долг в качестве главы церкви разъяснить А. некоторые особенности нынешнего правителя, при всем его к нему уважении. Никому никогда не удавалось его увидеть.

Правитель никого не принимает, он живет абсолютно замкнуто, некоторые теологи и политики высказывают предположение, что, возможно, его нет и вовсе, что его существование — чистая фикция, придуманная либо капитаном дворцовой охраны, либо самим народом.

На вопрос А. о том, как же может править властитель, о котором неизвестно, существует ли он вообще, старик отвечает, что сам он никогда не получал никаких распоряжений, но другие утверждают, что получали приказы, спущенные, однако, через капитана дворцовой охраны, но, как уверяют, и самому капитану неизвестно, от кого они исходят, от самого правителя или от какой-то нижестоящей инстанции, ведь административная сеть во дворце всеобъемлюща.

Но самое главное, что тирания держится только благодаря тому, что никто не может разгадать, существует ли этот ужасный правитель на самом деле. Сам он, как глава церкви, считает, однако, что иначе и быть не может, и никакой революции не дано ничего изменить, потому что эта "невидимость правителя" воплощает сущность святого Ничто в шестиединном Боге.

Ошеломленный рассуждениями теолога, А. возвращается в свои апартаменты. Тут, по обычаю страны, тоже нет никакой мебели, только

дорогие ковры и мягкие подушки на полу, большая свеча освещает помещение. А. погружается в глубокий сон, но внезапно вскакивает в испуге: над его лицом веет теплое дыхание, перед ним стоит огромный черный дог, точь-в-точь как тот, который преследовал его однажды в юности, его глаза сверкают в свете свечи, как отшлифованные камни, дог рычит, как будто хочет схватить его, затем отворачивается от А. и выпрыгивает за дверь. А. поднимает по тревоге дворец главы церкви, молодые теологи обшаривают здание, но безрезультатно, главный портал и боковые двери заперты.

На другой день, когда А. прогуливается по столице, ему кажется, что в одной из боковых улочек он видит огромного слугу, который однажды испугал его в дворцовом парке, куда всегда ходила его мать; на другой день мимо него проходит глухонемая старуха, служившая некогда в их доме; однако он, конечно, мог и ошибиться, как и в случаях с догом и со слугой, до конца он не уверен, что это именно они. Он идет за старухой, она поднимается во дворец правителя по крутой лестнице и неожиданно исчезает.

Когда А. возвращается к себе, его уже ждет капитан дворцовой охраны, офицер высокого роста, интеллигентный, с почти европейскими чертами лица. Капитан в курсе дел оппозиции, тайная полиция уже донесла ему. Он пренебрежительно отзывается о главе церкви, теологе: да он просто суеверный мистик, на самом деле правитель вовсе не является воплощением шестиединого Бога, или как там называется эта чушь, в действительности это просто бессовестный человек, который скрывается за раздутым штатом чиновников, в одном только дворце правителя служат более двухсот писцов, все давно безнадежно коррумпировано, подгнило, все это средневековые пережитки. Просто надо выкурить всех их из этого гнезда, нужно действовать, вот и все. Начались эти безобразия более двадцати лет назад, к сожалению, сам он тогда был еще слишком молод, так что точно ничего не знает.

Но, насколько ему известно, однажды откуда-то пришел некий чужестранец, пешком, в лохмотьях, который по какой-то случайности знал язык страны и по этой причине был принят народом как предреченный правитель, после чего чужестранец овладел столицей, что ему легко удалось, потому что страна находилась тогда в состоянии полной анархии, в абсолютном беспорядке, борьбе всех против всех. И будто бы потому население приветствовало новый строгий порядок, как бы predeterminedенный шестиедыным Богом; это был всегдашний обман, которому поддались все.

Этот порядок снова выродился в невыносимую диктатуру, которая стала таким же произволом, как прежде анархия, и требует столь же много жертв, никто не застрахован от ареста и смертного приговора, даже он, капитан. Очевидно, правитель сошел с ума, а быть может, он тоже пленник административного аппарата, который никого к нему не допускает и держит его в изоляции, поэтому все свои надежды народ связывает с бунтовщиком, который тем временем уже объявился и в котором народ так же видит посланца Бога, как и более двадцати лет назад видел его в нынешнем правителе, народ так же религиозен, как и тогда.

А. изумлен. Наконец он отвечает, что ему ничего не известно о приходе бунтовщика. Капитан смеется, кланяется и умолкает.

Во дворец главы церкви приходят политики и удивляются, увидев

капитана. Но тот объясняет им, что он заодно с ними, что больше колебаться нельзя и уже на рассвете надо совершить государственный переворот, охрана дворца посвящена в тайну и готова действовать.

Так как бунтовщик наконец объявился и устранил все противоречия в народе и среди политиков благодаря своему мудрому посредничеству, дальнейшее промедление бессмысленно. Послан ли бунтовщик самим шестиедыным Богом, как верит в это народ, или он такой же человек, как и все другие, который только воспользовался исключительной, может быть случайной, возможностью, чтобы вновь подарить народу свободу, во что он сам верит, будучи капитаном дворцовой охраны, не играет никакой роли, да, собственно, все, что думает о себе бунтовщик, неважно, решающим является то, что он представляет собой политическую реальность, которую нужно использовать, ведь речь идет о свержении ненавистного правителя, и ни о чем больше.

А. вдруг начинает осознать, что все воспринимают его как того самого бунтовщика. Он тщетно пытается разъяснить это недоразумение, но никто ему не верит, все смеются, никого невозможно разубедить в этом заблуждении. А. знает язык страны, А. — тот самый долгожданный бунтовщик, мессия.

Политики и капитан дворцовой охраны расходятся только в полночь. Глава церкви остается стоять перед А., серьезный и печальный.

— Ты — бунтовщик, — говорит он ему, — не пытайся более отречься. Прими свой рок, ни один человек не может больше помочь тебе.

Потом старик поднимает руку, как будто благословляет его, уходит из зала и возвращается в свои покои.

А. в смущении идет к себе, где его поджидает некий молодой священник, который уже не раз попадался А. на глаза. Всегда казалось, что он хочет что-то сообщить ему. И теперь он тоже колеблется, смущается, наконец он просит А. позволить ему что-то сказать. А. кивает. Молодой священник ведет А. обратно в зал и проводит в покои главы церкви. Там пусто. А. смотрит на молодого священника, но все еще не понимает, чего тот от него хочет.

— Главы церкви во дворце нет, — говорит молодой священник.

— Ну и что? — спрашивает А.

— Глава церкви и есть наш правитель, — говорит молодой священник. Правда, у него нет никаких доказательств, добавляет он, но все его поиски приводят именно к такому заключению.

Глава церкви и есть тот чужестранец, который более двадцати лет назад пришел в страну в лохмотьях, пешком. Он въехал в столицу на лошаке, как теперь А., и захватил одновременно и церковную и государственную власть, и все сочли его правителем, предопределенным шестиедыным Богом, как теперь все видят в А. предреченного бунтовщика. Однако глава церкви как будто проявился в двух ипостасях: с одной стороны, неприступный, немилосердный правитель, с другой — добродушный теолог, открытый каждому и дарящий всем утешение; таким образом, он внушал народу надежду и ужас.

— Это чепуха, — возражает А.

Молодой священник кланяется:

— Это следы истины, господин, — отвечает он, собираясь проводить А. обратно в его апартаменты.

— Я сам найду дорогу, — говорит А., все еще возмущаясь этими неле-

пыми домыслами. Но в зале его хватают и арестовывают два солдата из дворцовой охраны.

— Кто отдал приказ? — спрашивает А. невозмутимо.

— Правитель, — отвечает один.

— Вы сами разговаривали с правителем? — продолжает спрашивать А.

— С ним никто не разговаривал, — отвечает другой.

А. продолжает настаивать:

— Откуда же вам известно, что приказ исходит от него?

— Это точно известно, — звучит ответ.

А. дает увести себя. В дверях, ведущих во внутренние покои главы церкви, стоит молодой священник, с безучастным видом, молча.

Оба солдата проводят А. через ночной город во дворец правителя, где его встречает капитан дворцовой охраны, который шепчет ему, что все это только подстроенная хитрость, что солдаты, как и все, верят, что арестовать А. приказал сам правитель. На самом же деле А. арестовали по его, капитана, приказу, чтобы обмануть правителя, осторожность в таком деле не помешает. Через несколько минут А. будет освобожден, бунт может начаться еще до рассвета, в любой момент, даже раньше, чем запланировано, все готово, все на подходе.

Но едва мнимый бунтовщик оказывается в следственной тюрьме, как все старые разногласия вспыхивают среди союзников снова, они сами мешают себе, вновь обнаруживаются старые противоречия, консервативно настроенные политики начинают сомневаться, действительно ли А. тот самый предопределенный шестиедыным Богом бунтовщик, если это так, то он мог бы сам себя освободить. Политики прогрессивного революционного направления опасаются, что А., как и старый правитель, просто установит новую диктатуру, ведь он тоже пришел в страну в лохмотьях, из чужих земель. Наконец, колеблется и сам капитан дворцовой охраны.

Дискуссии и переговоры тянутся до утра, потом продолжают весь день, потом весь следующий. Администрация не знает, будет она арестована или нет, правитель, как и прежде, невидим, глава церкви хранит молчание, а народ ждет, как ждал и доньше. Бунт откладывается. Сначала временно, а потом навсегда.

Политики покидают столицу, возвращаются в свои поместья, проводятся первые аресты, первые казни, трупы под тихую мелодичную музыку несут к могилам, в гробах, покрытых голубыми коврами.

А., не зная никаких новостей, ждет своего освобождения, он все еще убежден, что каждую минуту, каждую секунду может вернуться капитан. Тогда А. выйдет перед народом, перед *своим* народом, чтобы объявить ему свободу. Проходят секунды, минуты, часы, дни, он зовет, кричит, никто не отзывается.

А. помещают в зал, стены которого сложены из зеркал. Пол и потолок тоже из зеркал. Он ищет дверь, но она тоже из зеркала, и потому он ее не находит.

Время идет, ни допросов, ни единой весточки извне. А. мечется по своей тюрьме; то ему кажется, что все стены раздвинулись, то ему чудится, что они сузились, а зал представляется крошечным помещением, состоящим из многих комнат, из анфилады комнат.

Постепенно он теряет рассудок. Он принимает себя, отраженного во многих зеркалах, за необъятную толпу, которая собралась, чтобы поднять бунт против правителя. Он выступает перед этой мнящейся ему

массой людей с обвинительными речами против произвола и несправедливости правителя, произносит все более пламенные слова о свободе и справедливости для всех, требует со все более безумной риторикой, чтобы объявились добровольцы, готовые пойти на штурм дворца, где скрывается невидимый правитель, отважно разбить стены, свергнуть тиранию, сжечь все законы, открыть темницы и освободить его.

Его дух так запутывается, что он одновременно воображает себя и внутри и снаружи, и на свободе и в тюрьме. Но никто не отзывается, когда он недвижно ждет ответа, его тысячекратно отраженный в зеркалах образ и есть толпа бунтовщиков, но она неподвижна, как и он сам. Он впадает в отчаяние, он думает, что приверженцы покинули его, и бросает им в лицо слова свободы.

Постепенно он прекращает борьбу, целыми днями молчит, уставясь на самого себя. Никто не приносит ему еду, иногда он слизывает лужу, время от времени появляющуюся на полу из твердого зеркального стекла, откуда-то просачивающиеся капли воды. А где-то, за зеркалами, прячется кто-то, быть может, наблюдает за ним, всего в нескольких метрах от него, тот, против кого он бунтовал, если этот тот вообще существует, может, он и правитель, а может, и глава церкви, а может, и его отец, ему это безразлично. Ему действительно безразлично.

А. лежит, забывает о бунте, об окружающем его мире, о зеркалах, о самом себе. Когда-нибудь он издохнет как зверь, его труп высохнет, превратится в мумию, его забудут и политики, и народ, который будет ждать нового бунтовщика или нового правителя, со все той же благостной надеждой, что это когда-нибудь исполнится, быть может, скоро, быть может, через год, быть может, через десять лет или в каком-нибудь будущем поколении.

МИНОТАВР

Баллада

Посвящается Шарлотте

Существо, рожденное дочерью Солнечного бога Пасифаей, после того как она пожелала, чтобы ее, спрятанную внутри поддельной коровы, покрыл Посейдонов белый бык, долгие годы подрастало в хлеву среди коров, проспав все это время беспокойным сном. А потом слуги Миноса, взявшись за руки и растянувшись длинной цепью, чтобы не потерять, затащили его в Лабиринт — сооружение, специально построенное Дедалом, чтобы защитить людей от этого существа, а это существо — от людей, — и там швырнули его на пол. Лабиринт был построен так, что вступивший в него никогда уже не мог найти выход, а бесчисленные его стены, как бы вложенные одна в другую, были сделаны из стекла. Минотавр — дитя Пасифаи, — лежавший скорчившись на полу, видел не только свое отражение, но также и отражения своих отражений. Он видел перед собой великое множество себе подобных, и когда он повернулся кругом, чтобы больше не видеть их, снова перед ним было великое множество таких же существ. Он находился в мире, населенном скорчившимися существами, не зная, что все эти существа — он сам. Минотавр был словно

парализован этим зрелищем. Он не понимал ни где он находится, ни чего надо этим скорчившимся существам, а возможно, он спит и видит сон, впрочем, Минотавр не знал, что есть сон, а что — явь. Минотавр инстинктивно вскочил на ноги, чтобы прогнать эти существа, — в тот же миг вскочили все его отражения. Минотавр встал на четвереньки, и вместе с ним встали на четвереньки его отражения. Прогнать их было невозможно. Минотавр вперил взгляд в отражение, которое казалось ему ближе всех, медленно отполз, и отражение тоже отодвинулось от него. Его нога уперлась в стену, он резко повернулся и оказался лицом к лицу со своим отражением; он осторожно отполз, отражение отползло тоже. Минотавр невольно ощупал свою голову, и в тот же миг отражения ощупали свою. Минотавр встал на ноги, и вместе с ним встали его отражения. Он взглянул вниз, на свое тело, и сравнил его со своими отражениями, и те тоже посмотрели вниз и сравнили его с собой, и так, рассматривая себя и свои отражения, Минотавр осознал, что в точности похож на них: вероятно, он был одним из многих одинаковых существ. Его лицо стало дружелюбным, лица его отражений тоже стали дружелюбнее. Минотавр помахал им, и они помахали в ответ, он помахал правой, они — левой рукой, впрочем, он не знал, что такое право и лево. Он потянулся, вытянул руки, замычал, вместе с ним потянулась, вытянула руки, замычала несметная масса одинаковых существ, тысячекратно отозвалось ему эхо, казалось, этому реву не будет конца. Чувство счастья охватило Минотавра. Он подошел к ближайшей стеклянной стене, одно из отражений также приблизилось к нему, а остальные в это время отделились. Минотавр прикоснулся к своему отражению правой рукой, прикоснулся к левой руке своего отражения, на ощупь она была гладкой и холодной. Перед его глазами, тысячекратно повторяясь, взялись за руки остальные отражения. Минотавр побежал вдоль стены, касаясь гладкого зеркала, прикрывая левую руку отражения своей правой. Вместе с ним бежало его отражение, и когда он побежал обратно вдоль зеркальной стены уже по другой стороне коридора, его отражение вместе с ним бежало обратно.

Минотавр расшалился, стал прыгать, кувыркаться, и вместе с ним прыгали и кувыркались его бесконечные отражения. Видя, что они мгновенно повторяют его движения, Минотавр почувствовал себя их предводителем, более того — богом (если бы только он знал, что такое бог), и от этого росла его шаловливость, все веселее и необузданнее бежал он и прыгал, кувыркался и ходил на руках. И мало-помалу его детская радость вылилась в ритмичный танец. Минотавр танцевал со своими двойниками, часть которых выступала в перевернутом зеркальном отображении, другие, будучи отражениями отражений, точно совпадали с самим Минотавром, еще другие, в свою очередь как отражения этих отражений, снова выступали зеркально перевернутыми, и так до бесконечности. Минотавр танцевал среди своего Лабиринта, среди мира своих отражений, танцевал, как чудовищное дитя, как его собственный чудовищный отец, как чудовищный бог среди вселенной своих отражений. Но вдруг Минотавр замер, остановился как вкопанный, скорчился на полу, его взгляд сделался настороженным, и вместе с Минотавром скорчились и с опаской наблюдали его отражения. В упоении танцем Минотавр вдруг увидел среди танцующих отражений какие-то иные существа, они не танцевали и не были послушны ему. Девушка, отраженная в стене, как и сам Минотавр, стояла недвижно, нагая, с длинными черными волосами, а кругом скор-

чились подобия Минотавра, они были везде: перед ней, рядом с ней, позади нее, так же как и она сама тоже была везде: перед ним, рядом с ним, позади него. Девушка не решалась пошевелиться, не сводя испуганного взгляда с существа, которое скорчилось перед ней и было к ней ближе всех. Она знала, что существует лишь одно скорчившееся существо, остальные же — отражения, но она не знала, кто же сам Минотавр. Быть может, то существо, которое скорчилось перед ней, быть может, его отражение, быть может, отражение его отражения — этого девушка не знала. Она знала только, что бежала от этого существа, но и бегство привело ее к нему же, и видела теперь собственное отражение рядом со скорчившимся существом, а подальше — себя со спины и рядом с ней — скорчившееся существо со спины, и так дальше до бесконечности. Прикрыв скрещенными руками грудь, она как зачарованная смотрела на по-прежнему скорчившееся у ее ног существо. Ей казалось, что она может дотянуться до него рукой. Ей казалось, что она чувствует его дыхание. Ей казалось, что она слышит его сопенье. У него была бычья голова, огромная, покрытая блеклой светло-коричневой шерстью, высокий широкий лоб, заросший спутанными курчавыми волосами, рога короткие и изогнутые так, что концы загибались к корням, красноватые глаза казались, скорее, маленькими по сравнению со всем черепом и утопали в глазницах. Эти глаза были непостижимы. Мягкий наклон массивного носа, косо прорезанные ноздри, изо рта свисал длинный иссиня-красный язык, а подбородка — длинная, слипшаяся от слюны борода. Все это еще можно было вынести, но что было невыносимо, так это переход от быка к человеку. Над бычьим черепом куполом поднималась целая гора меха, сверху лохматого, ниже потертого, и из его щетины и косм росли две челоуевчих руки, которые опирались о стеклянный пол. Как если бы огромная голова и горб над ней поднимались, буйно разрастаясь, из тела мужчины, который, приготовившись к прыжку, стоял на четвереньках перед девушкой и, опять-таки, рядом и позади нее. Минотавр встал на ноги. Он был огромен. Он вдруг понял, что на свете бывают не только минотавры. Его мир удвоился. Он видел отраженные в зеркалах глаза, рот, длинные черные волосы, ниспадающие на плечи, он увидел белую кожу, шею, груди, живот, лоно, бедра, как все это переходило, переливалось одно в другое. Он двинулся в сторону девушки. Девушка отстранилась — а в это время где-то в другом месте двинулась ему навстречу. Минотавр гнался за девушкой по Лабиринту, девушка убегала. Казалось, вихрь закружил минотавров и девушек, так завертелись они, двигаясь прочь друг от друга, друг мимо друга, навстречу друг другу. И вот девушка нечаянно очутилась у него в объятьях, он вдруг прикоснулся к живому телу, к влажной от пота теплой плоти вместо твердого стекла, к которому прикасался до сих пор. Тут он понял — в той мере, в какой к минотавру применимо слово "понимание", — что до сих пор он жил в мире, где существуют только минотавры, каждый — заключенный в свою стеклянную тюрьму, а теперь он прикасается к другому телу, прикасается к плоти другого существа. Девушка выскользнула из его рук, он не препятствовал этому. Она отпрянула, не сводя с него своих больших глаз, и когда он пустился в пляс, девушка тоже пошла плясать, и отражения их обоих плясали вместе с ними. Он выплясывал свое уродство, она — свою красоту, он выплясывал радость, что ее нашел, она — ужас, что он ее нашел, он выплясывал свое освобождение, она — свою обреченность, он — свое

вожделение, она — свое любопытство, он — свое преследование, она — свое отступление, он — свое вторжение, она — свое слияние с ним. Они плясали, и вместе с ними плясали их отражения, и Минотавр не знал, что взял девушку, не мог он знать и того, что убил ее, ведь он не знал, что такое жизнь и что — смерть. В нем было лишь неистовое счастье и неистовое вожделение. Взяв девушку, он громко замычал, а в зеркалах минотавры брали девушек, и, разносясь по Лабиринту, мычание превращалось в чудовищный рык, в немислимый вселенский рык, словно не было в мире ничего, кроме этого рыка, который заглушил крик девушки. И вот Минотавр уже лежит на земле, и в зеркалах также лежат минотавры, и белое нагое тело девушки с большими черными глазами лежит рядом и отражается в стенах. Минотавр поднял левую руку девушки — она безжизненно упала, поднял правую — она безжизненно упала, повсюду безжизненно падали руки. Минотавр облизал девушку своим иссиня-красным огромным языком — лицо, груди, — девушка оставалась недвижимой, все девушки оставались недвижимы. Он перевернул девушку рогами — она не шелохнулась, ни одна девушка не шелохнулась. Он поднялся во весь рост, огляделся вокруг, повсюду стояли во весь рост минотавры и оглядывались вокруг, и повсюду лежали у их ног белые девичьи тела. Он нагнулся, поднял девушку с земли, жалобно замычал, вскинул девушку к темным небесам, и повсюду нагнулись минотавры, подняли девушек с земли, жалобно замычали, вскинули девушек к темным небесам, а потом он положил девушку между стеклянных стен, лег с ней рядом и уснул, и вместе с ним уснули все минотавры, растянувшиеся на полу, сплошь покрытом белыми нагими девичьими телами. Минотавр спал, и ему снилась девушка с черными волосами и большими глазами, он гнался за ней, играл с ней, заключал в объятия, любил ее. Когда он открыл глаза, что-то сидело у него на груди, вцепившись когтями в его заскорузлую бороду. Это "что-то" мазнуло крыльями по его влажному носу и нырнуло своей голой изжелта-белой шеей с маленькой головкой, красными глазами и диковинно выгнутым мощным клювом куда-то вниз рядом с ним. На стенах выросли густые джунгли из перьев, шей, глаз, клювов, а сверху, над Минотавром, затемняя едва занимающееся утро, что-то кружило, камнем падало вниз, ныряло, раздирало, блаженствовало, мародерствовало, копалось, жрало, пронзительно визжало, улетало, прилетало, снова камнем падало вниз, падая и взлетая, отражалось в стенах, и Минотавр не понимал, почему это "что-то" падает вниз, ныряет, отрывает куски, взмывает вверх, кружит над ним, — не понимал, потому что слишком плотно окружало его это порхание и взмахи крыльев. А когда все это, кружа на все большей высоте, растворилось в слепяще светлой пустоте теперь уже ярко сверкающего неба, сквозь стеклянные стены проломилось солнце и выжгло в мозгу Минотавра свой образ в виде огромного крутящегося колеса. Оно бросало в небо снопы света в знак своего гнева на святотатство дочери своей, Пасифаи, родившей существо, которое было оскорблением для богов и проклятием для людей, существо, осужденное быть ни богом, ни человеком, ни зверем, а всего лишь Минотавром, безвинным и в то же время виновным. Он видел, хотя глаза его были закрыты, необъятное колесо, катившееся вверх по небу, колесо проклятья, тяготеющего на нем, колесо его судьбы, колесо его рождения и колесо его смерти, колесо, которое горело в его мозгу, хотя он и не знал, что такое проклятье, судьба, рождение и смерть, колесо, которое

прокатилось по нему, колесо, на котором он был колесован; так лежал Минотавр, палимый солнцем и его до бесконечности отраженным светом, и вдруг заметил расплывчатый силуэт ноги, похожей на его собственную. Он подумал, что это девушка, что она снова обрела способность двигаться и хочет с ним поиграть. Он поднял голову и теперь увидел две ноги, которые отступили назад. Он встал во весь рост. Перед ним стояло существо, похожее на девушку и все-таки не девушка, в левой руке оно держало изодранный плащ, а в правой — меч; Минотавр не знал ни что такое плащ, ни что такое меч, он знал только — ибо пронизанные слепящим светом солнца стены больше ничего не отражали, — что покинут минотаврами и девушками, а та девушка, которую он взял, вероятно, снова обрела способность двигаться и ушла, раз ее здесь больше нет. Он был вытолкнут, изгнан из своего мира минотавров, оставлен один на один с существом, которое, не спуская глаз с Минотавра, то отступало назад, то останавливалось, то шло навстречу Минотавру и снова отступало назад. Минотавр приближался к нему, исполненный доброжелательности, хоть он и не смог бы определить это чувство, оно отличалось от того, какое он испытывал к девушке, было менее порывистым и жадным. Минотавр радовался, представляя, как будет играть с этим существом, бегать за ним по коридорам, возможно, это существо приведет его к другим минотаврам и к девушке и к таким же существам, как оно само. Но только обращаться с ним надо осторожнее, нежнее, чем тогда с девушкой, а не то оно тоже перестанет двигаться. Минотавр радостно фыркнул, а когда то существо снова взмахнуло плащом, он пустился в пляс. На фоне сверкающих на солнце стен оба двигались как тени: танцующий и скачущий, хлопающий в ладоши и лихо притопывающий Минотавр и существо, взмахивающее куском ткани, то подступающее ближе, то отступающее, снова и снова пытающееся достать Минотавра мечом; этот меч, спрятав его под плащом, человек пронес в Лабиринт, чтобы убить Минотавра, но теперь, когда он стоял с чудовищем лицом к лицу и видел его незлобивость, ему стало стыдно. Минотавр плясал вокруг него, хлопая в ладоши и топя ногами. Он выплясывал радость избавления от одиночества, выплясывал надежду встретить других минотавров, девушек и существа, подобные тому, вокруг которого он сейчас плясал. В танце он забыл о солнце, в танце он забыл о проклятье. Остались лишь веселье, приветливость, легкость, нежность. Он танцевал, а пришелец выжидал своего часа, наскакивая на него со всех сторон; солнце опустилось, и вместе с его тысячекратным отражением стали видны отражения и обоих партнеров. Минотавр танцевал, он был счастлив, что нашел других минотавров и эти новые существа, скоро он найдет девушку, которую он взял и которая стала вдруг неподвижна, а потом ушла, и других девушек, которых взяли минотавры, после чего они тоже стали неподвижны, а потом ушли. Оба танцевали, сходясь и расходясь, отражения пересекались, накладывались друг на друга, стремительно проносились мимо друг друга. Куда ни глянь, всюду танцевал, вертелся волчком Минотавр, и куда ни глянь, юноша делал прыжок вперед и снова отскакивал, то пружинисто, то неловко, выжидая случая нанести удар; и когда солнце опустилось за Лабиринт и стеклянные стены вспыхнули глубоким багряным светом, юноша нанес удар, отскочил назад, прислонился к стене, не сводя глаз с Минотавра. Тот с мечом в груди сделал еще несколько танцевальных па, остановился, вытаскил меч правой рукой, удивленно оглядел его, левой схватился за грудь, из

которой била черная струя, отбросил меч с такой силой, что тот прокатился по полу, прижал и правую руку к груди, зашатался; казалось, он вот-вот упадет, но он вновь встал неподвижно. Он был сбит с толку. Он не понимал, чем окрасились его руки и откуда боль, бушующая у него в груди. Он чувствовал лишь, что это существо, которое подскочило к нему и воткнуло что-то в его тело, не любит его, как любили до сих пор все — минотавры, девушка, другие девушки. И когда он это почувствовал, его охватила подозрительность, ведь он не умел думать, все проплывало у него в голове как вереница картинок, как послание, написанное своего рода картиночным письмом. Возможно, девушка его совсем не любила, и другие девушки не любили минотавров, потому-то они стали неподвижны, а потом ушли. Возможно, они принадлежали этому новому существу, которое было похожим на девушку и все-таки другим, существу почти такому же мощному, как он, Минотавр. Это существо подскочило к нему, и другие такие же существа подскочили к минотаврам, и вот те сейчас, как и он, прижимают руки к груди, из которой бьет черная струя. И тут появились шестеро других девушек и шестеро других юношей, они шли взявшись за руки, и в зеркалах их хоровод казался непрерывным, в свете вечера он удваивался, учетверялся, умножался тысячекратно. Они нашли наконец своего со товарища, который прислонился к стене и ждал, когда Минотавр наконец-то упадет замертво. Человекобыку показалось — показалось бы, если бы он владел этим понятием, — что все человечество вторглось в Лабиринт, чтобы уничтожить его, Минотавра. Он пригнулся. Ему стало страшно, и, чтобы не бояться, он призвал на помощь гордость. Он гордился тем, что он Минотавр, и всех, кто не были минотаврами, он воспринимал как врагов. Только минотавры имеют право находиться в Лабиринте, ибо у них нет иного мира — ведь смутное ощущение коровьего тепла в хлеву, где он вырос, едва брезжило в его памяти. Его обуяла ненависть, которую питает животное к человеку — тому, кто приручил зверя, использует его ему же во зло, охотится на него, забивает на бойне, пожирает его, — извечная ненависть, которая тлеет в каждом животном. Глаза его налились бешенством. На губах выступила пена. Юноша отделился от стены, ошибочно истолковав движение Минотавра как приближение смерти, убежденный, что ранил его смертельно, и люди — девушки и юноши — окружили пригнувшегося быка, не замечая его бешенства, и тоже ликовали и водили вокруг Минотавра необузданный хоровод, все стремительнее, все задорнее, словно были спасены, все неистовее, не думая о том, что обречены хотя бы потому, что находятся в Лабиринте, — ведь даже если бы человекобык умер, они все равно не выбрались бы из вставленных друг в друга зеркальных коробок, — все неосторожнее в опьянении своей мнимой свободой, все более сужая свой крикливый круг, все более угрожающие в наступающей ночи; в этой ночи Минотавр видел лишь людей и не видел больше собственных отражений, потому что кружащиеся и скачущие вокруг юноши и девушки заслонили от него стены Лабиринта и он больше не отражался в них. Поэтому ему казалось, что и минотавры тоже бросили его на произвол судьбы и предали. Минотавр стал вращать глазами и сопеть, пригнулся еще ниже, напряг мускулы, прыгнул, помчался, поднял одну девушку на рога и, подкидывая ее вверх, исчез в Лабиринте. После чего вернулся, вне себя от ярости, с перепачканными кровью — так часто они вонзались в тело девушки — рогами, а люди сбились в кучку, свились в клубок теней. Между тем над их головами голод-

ные пернатые-джунгли уже опустились на стены, темный клубок над другим темным клубком. Птицы метались, и их карканье, свист, хриплые крики и гогот смешивались с воплями перепуганных людей. Где-то за Лабиринтом всходила луна; ночь, лишь скудно подсвеченная закатившимся солнцем, стала яснее. Минотавр ринулся в атаку, врезался в мягкий клубок белых тел, пропорол его насквозь, снова врезался и катался по нему, топтал ногами, затаптывал, поднимал на рога, рвал на куски, наносил удары, вспарывал, а вокруг него обрушивались вниз, клевали, грызли, хрустели, хватали куски, заглатывали птицы; кричащий и воющий человеческий клубок, посреди которого буйствовал Минотавр, был накрыт облаком летучих пожирателей падали: бородачи, ягнятники, черные грифы, стервятники, кондоры, коршуны хватали, заглатывали, снова ныряли в гущу тел. Непрерывно наносил удары, взбешенный человекобык вырывал из человеческого клубка то чью-то руку, то ногу, лакал кровь, ломал кости, разворачивал чрева и лона до тех пор, пока не рассеялась в лунном свете косматая туча крыльев, перьев, шей, глаз, клювов, лап и когтей. Минотавр был один. Ослепленный луной, он снова увидел в холодных стенах свои отражения — черные тени, они вкладывались одна в другую, срастаясь в лабиринт теней внутри Лабиринта. Он поднял руки, погрозил кулаками, потряс ими, вместе с ним подняли руки его отражения, погрозили кулаками, потрясли ими, и от этого ярость Минотавра возросла до того, что он, нагнув свою бычью голову, вслепую ринулся на ближайшую тень. Он проломил стену и в ярости искал среди осколков отражение, не зная, что оно — его собственное; ему казалось, что оно просто засыпано осколками. Он просунул в дыру свою огромную голову и, увидев на следующей стене свое отражение, все еще ничего не понял, снова кинулся в атаку, снова бросился, нагнув голову, на врага, а тот, нагнув голову, бросился на него. Минотавр отскочил, наткнувшись на стену, уставился бешеными красноватыми бычьими глазами на свое отражение, и оно тоже уставилось на него бешеными красноватыми бычьими глазами. Он снова бросился на врага, еще стремительнее, и еще резко отбросила его стена, он даже упал навзничь. Луна находилась пока позади Лабиринта, но она светила сквозь стены и отражалась в них, она не была еще полной, неровные края кратеров на ее еще не округлившейся стороне были причудливо увеличены, и отражений луны было так много, что Минотавру казалось, будто он попал в каменную вселенную, иссеченную трещинами. Он вглядывался в этот лунный мир и при этом боялся, что враг его тем временем встал на ноги. Он перевернулся на живот и увидел, что предатель хотя и не встал, но подстерегает его, лежа на животе. Минотавр пополз навстречу своему отражению, и оно приближалось к нему таким же способом. Минотавр был готов вскочить и броситься на врага, но, наблюдая за ним, он всякий раз, как только собирался сделать это, видел в глазах того точно такое же намерение. Он старался запомнить лицо предателя — покрытое шерстью, широкий лоб зарос спутанными курчавыми волосами, обсыпанными битым стеклом, голубоватого поблескивающим в лунном свете. Короткие изогнутые рога, мягкий наклон носа, мокрые губы, длинный иссиня-красный язык. Минотавр перевел дух, пар из его ноздрей замутил зеркало, к которому он придвинулся так близко, что больше не видел своего отражения. Чтобы разогнать туман, он произвольно провел рукой по влажной поверхности — и был поражен, когда за гладкой холодной стеной внезапно возникла громадная

бычьего морда предателя. Минотавр инстинктивно ринулся на нее лбом вперед, но ударился о стену, а не о лоб предателя, который, как это ни странно, оказался в самой стене, а не снаружи. Минотавр недоумевал. Он отодвинулся от стены, стукнул по ней правым кулаком, в тот же миг отражение стукнуло левым, и еще раз они обменялись ударами разными руками, потом Минотавр ударил обоими кулаками сразу, то же сделало отражение, и в конце концов Минотавр стал бить кулаками в стену, как в барабан. Он барабанил свою ярость, он барабанил свою страсть к разрушению, он барабанил свою жажду мести, он барабанил свой страх, он барабанил свой бунт, он барабанил свое самоутверждение. Но вдруг он почувствовал, что существо перед ним — казалось бы, такое же существо, как он сам, но все же предавшее его, потому что было другим существом, а все, что не было им самим, было враждебно, — так вот, он понял, что существо это недостижимо для него, неприступно. Вообще-то он сразу же, как только начал просыпаться в Лабиринте — хотя он до сих пор еще не знал, что находится в Лабиринте, — ощутил, что между ним и всеми этими минотаврами стоит нечто загадочное, похожее на стену, но, пока он танцевал с ними как их предводитель, как их царь, как их бог в мире минотавров, он не придавал этому значения, однако сейчас, после того как он взял девушку и слился телом с ее телом, и после того как он пронзил рогами тела других людей и разорвал их в клочья, и из них потекло что-то горячее и красное, и из его собственного тела тоже потекла горячая и красная жидкость, — теперь, после всего этого, он ощутил нереальность существа, которое, правда, предало его, но тоже было осыпано осколками стекла, как и он сам, и возможно, его, Минотавра, лицо было так же перепачкано кровью, как и лицо предателя. Он ощупал лицо, посмотрел на руки — да, и его лицо испачкано кровью. Он настороженно наблюдал за своим отражением, притворяясь, что не смотрит на него, он чувствовал, что оно не то, чем кажется. Минотавр испытывал ужас и вместе любопытство. Он отступил от стены, то же сделал его двойник, и постепенно до Минотавра дошло, что ему противостоят не кто иной, как он сам. Он попытался спастись бегством, но, куда бы он ни повернулся, напротив стоял он сам, он был замурован в себе самом, везде был он сам, он сам был бесконечен, до бесконечности отражаемый стенами Лабиринта. Он ощутил, что на самом деле нет множества минотавров, есть лишь один Минотавр, что такое существо, как он, — одно-единственное, ни до, ни после него такого не было и не будет, что он — единственный в своем роде, одновременно исключенный и заключенный, что Лабиринт создан специально для него только потому, что он родился на свет Минотавром, потому, что он существо, какого не должно быть; Лабиринт создан, чтобы сохранить границу, установленную между зверем и человеком и между человеком и богами, дабы мир пребывал в порядке и не превратился бы в лабиринт и по этой причине не впал бы снова в хаос, из которого некогда возник. И когда Минотавр ощутил это — чувствуя, но не понимая, то было озарение без осознания, непохожее на человеческое познание через понятия, то было познание Минотавра через образы и чувства, — он рухнул наземь и, лежа на земле скрючившись, как некогда во чреве Пасифаи, начал мечтать о том, чтобы стать человеком. Он мечтал о речи, он мечтал о братстве, он мечтал о дружбе, он мечтал о защищенности, он мечтал о любви, о близости, о тепле и, мечтая об этом, знал в то же время, что он — чудовище, нелюдь, что никогда не знает ему ни речи, ни братства,

ни дружбы, ни любви, ни близости, ни тепла; он мечтал об этом так, как люди мечтают уподобиться богам, люди — с человеческой тоской, Минотавр — с тоской звериной. А когда появилась Ариадна, он спал. Она шла танцующей походкой со своим клубком шерсти, разматывая его. И, пританцовывая, прямо-таки с нежностью, она обмотала рога Минотавра красной нитью, потом, следуя за нитью, такую же танцующей походкой вышла из Лабиринта. Проснувшись стеклянным утром, Минотавр увидел, как в бесчисленных отражениях к нему приближается минотавр, устремив взгляд на шерстяную нить, словно то был кровавый след. Сначала Минотавр подумал, что это его собственное отражение, — хотя он до сих пор не понимал, что такое отражение, — но потом сообразил, что сам лежит на полу, а к нему направляется другой минотавр. Он был сбит с толку. Минотавр встал, не заметив, что рога его обмотаны красной нитью. Тот, другой, подошел ближе. Минотавр вскинул вверх руки, то же сделал и другой, Минотавр было заподозрил, что это все-таки его отражение, но вспомнил, что тот, другой минотавр вроде бы вскинул руки немножко позже, чем он, а ведь обычно отражения все делали одновременно с ним. Впрочем, он мог и ошибиться, тем более что оба многократно отражались в стенах, и тот, другой, теперь остановился. Минотавр сделал танцевальное па, то же сделали отражения, но на этот раз многие отражения повторили его шаг с опозданием. Минотавр отчетливо заметил это. Минотавр снова стоял неподвижно и сторожко наблюдал за другим минотавром, тот тоже стоял неподвижно. Минотавр пытался размышлять. Он пошевелил мизинцем правой руки, зорко присматриваясь, пошевелил еще раз. Другой тоже пошевелил мизинцем правой руки, и это обеспокоило Минотавра: что-то было не так, кажется, другой должен был пошевелить мизинцем левой руки. Другой минотавр стоял прямо перед ним, но это могло быть и отражение другого минотавра или отражение его собственного отражения, вероятно, в этом невозможно разобраться, сколько ни размышляй. У этого другого — если на самом деле это другой — была такая же голова, как у него, и такое же тело, как у него. Минотавр пошевелил правой рукой, теперь другой пошевелил левой рукой, почти, а может быть, и совсем, без опоздания; и, перебирая вот так разные возможности, Минотавр вдруг увидел, что у другого минотавра или отражения другого минотавра у пояса висит какой-то предмет, что-то меховое. Минотавр хоть и не понимал, что это за предмет, но это было неопровержимым доказательством того, что перед ним другой минотавр или отражение другого минотавра. Минотавр вскрикнул, впрочем, то был скорее рев, чем возглас, протяжный вопль, рык и вой, рожденный радостью, ведь он был теперь не единственный в своем роде, одновременно исключенный и заключенный, на свете был другой минотавр. Кроме его собственного "я" существовало еще и что-то "ты". Минотавр стал танцевать. Это был танец братства, танец дружбы, танец защищенности, танец любви, танец близости, танец теплоты. Минотавр выплясывал свое счастье, выплясывал избавление от одиночества, выплясывал свое освобождение, выплясывал погибель Лабиринта, чьи стены и зеркала теперь с грохотом уйдут в землю, выплясывал дружбу между минотаврами, зверями, людьми и богами. С рогами, обвитыми красной шерстяной нитью, танцевал он вокруг другого минотавра и не заметил, как тот натянул красную нить и вытаскивал из меховых ножен, и отражения одного танцевали вокруг отражений другого, которые натягивали красную нить и вытаскивали кин-

жал из меховых ножен, и когда Минотавр бросился в раскрытые объятия другого, веря, что обрел брата, такое же существо, как он сам, и когда все его отражения бросились в объятия отражений другого, тот, другой, нанес удар, и его отражения нанесли удар, и так точно вонзил тот, другой, свой кинжал ему в спину, что Минотавр был уже мертв, когда тело его коснулось пола. Тесей снял с лица маску, изображавшую бычью морду, и все его отражения сняли маску, он смотал красную нить и покинул Лабиринт, и все его отражения смотали красную нить и покинули Лабиринт, и теперь стеклянные стены отражали только бесконечно повторяемый темный труп Минотавра. Потом, перед восходом солнца, прилетели птицы.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Павлова. Невероятность современного мира</i>	5
ПРАВОСУДИЕ. Роман. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	21
ГРЕК ИЩЕТ ГРЕЧАНКУ. Комедия в прозе. <i>Перевод Л. Черной</i>	135
*АВАРИЯ. Почти правдоподобная история. <i>Перевод Н. Бунина</i>	211
ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ. Повесть. <i>Перевод Г. Косарик</i>	241
ЗИМНЯЯ ВОЙНА В ТИБЕТЕ. Повесть. <i>Перевод И. Кивель</i>	273
ПОРУЧЕНИЕ, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями. Новелла в 24 предложениях. <i>Перевод Н. Федоровой</i>	319

РАССКАЗЫ

ПИЛАТ. <i>Перевод С. Белокриницкой</i>	363
ГОРОД. <i>Перевод В. Сефьянца</i>	371
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПЕЧАТИ В КАМЕННОМ ВЕКЕ. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	383
СОБАКА. <i>Перевод В. Сефьянца</i>	386
ИЗ ЗАПИСОК ОХРАННИКА. <i>Перевод В. Седельника</i>	390
*ТУНнель. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	410
ОСТАНОВКА В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	417
МИСТЕР Ч. В ОТПУСКЕ. <i>Перевод Н. Федоровой</i>	433
СМИТИ. <i>Перевод Г. Косарик</i>	442
СМЕРТЬ ПИФИИ. <i>Перевод Г. Косарик</i>	455
БУНТОВЩИК. <i>Перевод Т. Стеженской</i>	475
МИНОТАВР. <i>Перевод С. Белокриницкой</i>	484

Фридрих Дюрренматт

ИЗБРАННОЕ

Составитель Владимир Денисович Седельник

Редактор Е. ПРИКАЗЧИКОВА

Художник А. КОРОТИЧ

Художественный редактор С. БАРАБАШ

Технический редактор Н. ДУХАНИНА

Корректоры Г. ИВАНОВА, В. ЛЕБЕДЕВА, В. ПЕСТОВА

ИБ № 5439

Сдано в набор 10.10.89. Подписано в печать 15.08.90. Формат 60х90/16.

Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсет. Усл. печ. л. 31,0.

Усл. кр.-отт. 62,5. Уч.-изд. л. 41,92. Тираж 100000 экз. Заказ № 1541. Цена 5 р. 50 к.

Изд. № 6716.

Издательство "Радуга" В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР
по печати. 119859, Москва, ГСП-3, Zubовский бульвар, 17.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате
В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "РАДУГА"
(до 1982 г. — "ПРОГРЕСС")

Серия "Мастера современной прозы"

Вышли в свет избранные произведения:

- К. Х. СЕЛЫ (ИСПАНИЯ)
М. ВАРГАСА ЛЬОСЫ (ПЕРУ)
Ф. МОРИАКА (ФРАНЦИЯ)
Я. КАБАБАТЫ (ЯПОНИЯ)
С. ДЫГАТА (ПОЛЬША)
М. ЛАУРИ (КАНАДА)
В. КЁППЕНА (ФРГ)
В. ЭЛСХОТА (БЕЛЬГИЯ)
К. ЧАНДАРА (ИНДИЯ)
С. ВЕСТДЕЙКА (ГОЛЛАНДИЯ)
У. ФОЛКНЕРА (США)
Ч. ПАВЕЗЕ (ИТАЛИЯ)
Э. КОША (ЮГОСЛАВИЯ)
В. ХАЙНЕСЕНА (ДАНИЯ)
И. ВО (АНГЛИЯ)
К. ФУЭНТЕСА (МЕКСИКА)
А. ЗЕГЕРС (ГДР)
Р. К. НАРАЙАНА (ИНДИЯ)
М. ДЕЛИБЕСА (ИСПАНИЯ)
О. КЕМАЛЯ (ТУРЦИЯ)
М. ФРИША (ШВЕЙЦАРИЯ)
Т. ХОАЯ (СРВ)
Х. КОРТАСАРА (АРГЕНТИНА)
Т. УАЙЛДЕРА (США)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (КЕНИЯ)
П. УАЙТА (АВСТРАЛИЯ)
А. МАРШАЛЛА (АВСТРАЛИЯ)
Х. ЛАКСНЕССА (ИСЛАНДИЯ)
М. А. АСТУРИАСА (ГВАТЕМАЛА)
Р. ВАЙАНА (ФРАНЦИЯ)
А. МОРАВИА (ИТАЛИЯ)
Р. РАЙТА (США)
К. ОЭ (ЯПОНИЯ)
Д. ИЙЕША (ВЕНГРИЯ)
Й. РАДИЧКОВА (БОЛГАРИЯ)
Ч. АЧЕБЕ (НИГЕРИЯ)
Ю. БОРГЕНА (НОРВЕГИЯ)
Г. ГАРСИА МАРКЕСА (КОЛУМБИЯ)
ДЖ. КЭРИ (АНГЛИЯ)
М. ЛАЛИЧА (ЮГОСЛАВИЯ)
П. ЛАГЕРКВИСТА (ШВЕЦИЯ)
ЛАО ШЭ (КИТАЙ)
Э. СТАНЕВА (БОЛГАРИЯ)
Х. ФОН ДОДЕРЕРА (АВСТРИЯ)
- М. ОТЕРО СИЛЬВЫ (ВЕНЕСУЭЛА)
Э. БАЗЕНА (ФРАНЦИЯ)
Л. НЕМЕТА (ВЕНГРИЯ)
Г. НОССАКА (ФРГ)
Т. ПАРНИЦКОГО (ПОЛЬША)
К. АБЭ (ЯПОНИЯ)
А. АЛВЕСА РЕДОЛА (ПОРТУГАЛИЯ)
О. СИГЮРДСОНА (ИСЛАНДИЯ)
Т. ВЕСОСА (НОРВЕГИЯ)
Х. К. ОНЕТТИ (УРУГУВАЙ)
Я. КЕМАЛЯ (ТУРЦИЯ)
И. АНДРИЧА (ЮГОСЛАВИЯ)
Э. ШТРИТМАТТЕРА (ГДР)
М. СПАРК (АНГЛИЯ)
И. КАЛЬВИНО (ИТАЛИЯ)
М. ЮРСЕНАР (ФРАНЦИЯ)
Г. ГЕССЕ (ФРГ)
Х. Л. БОРХЕСА (АРГЕНТИНА)
Г. ГРАССА (ФРГ)
Л. АРАГОНА (ФРАНЦИЯ)
Ф. АЯЛЫ (ИСПАНИЯ)
В. ФЕРЕЙРЫ (ПОРТУГАЛИЯ)
М. БЕНЕДЕТТИ (УРУГУВАЙ)
М. СЕЛИМОВИЧА (ЮГОСЛАВИЯ)
Т. БРЕЗЫ (ПОЛЬША)
Г. КАНТА (ГДР)
А. АНДЕРША (ФРГ)
В. ШОЙИНКИ (НИГЕРИЯ)
Ф. БАЙКУРТА (ТУРЦИЯ)
А. КАРПЕНТЬЕРА (КУБА)
Н. ХОАКИНА (ФИЛИППИНЫ)
Ш. О'ФАОЛЕЙНА (ИРЛАНДИЯ)
М. МАММЕРИ (АЛЖИР)
Г. БЁЛЛЯ (ФРГ)
Ф. САРДЖЕСОНА (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)
А. ТАМАШИ (ВЕНГРИЯ)
Ц. КОСМАЧА (ЮГОСЛАВИЯ)
А. КАМЮ (ФРАНЦИЯ)
Х. ГОЙТИСОЛО (ИСПАНИЯ)
Ф. КАФКИ (АВСТРИЯ)
Ф. ФЮМАНА (ГДР)
Г. ГРИНА (АНГЛИЯ)
Д. БУЦЦАТИ (ИТАЛИЯ)
Г. БРОХА (АВСТРИЯ)